This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

34
B I-III
1895
B 1,099,715

105с-330817

КНИЖКИ НЕДѢЛИ. Январь 1895 г.

I. ОБЛИЧИТЕЛЬ XV ВѢКА. **В. С.** 7
II. ДВА СТИХОТВОРЕНІЯ **К. К. Случевскаго** 17
III. ОФИЦЕРИКЪ. Изъ разсказовъ моей старой знакомой. **Вѣры Джонстонъ.** 18
IV. ДЕМОНЪ ВѢКА. Стихотвореніе **В. П. Лебедева** . . 42
V. НЕ ВЫДЕРЖАЛЪ. Рождественскій разсказъ. **Кота Мурлыки.** 43
VI. ЗАМѢТКИ О НѢКОТОРОЙ ПУБЛИЦИСТИКѢ. Стихотворенія **А. М. Жемчужникова** 69
VII. СТРАНА БЕЗЪ ПРОШЕДШАГО И БЕЗЪ БУДУЩАГО. Триполи. **М. В. Венюкова** 70
VIII. ПРИЗРАКЪ. Стихотвореніе **К. М. Фофанова** . . . 91
IX. РОЖДЕСТВО НА ЧУЖБИНѢ. Картинка морского быта. **В. И. Семенова** 92
X. «ЛЕДЯНЫЯ ЗАВѢСЫ». Стихотвореніе **К. М. Фофанова.** 111
XI. ОЧЕРКИ НЕВОЛЬНАГО ТУРИСТА. (Отъ Иркутска до Качуга). **Я.** 112
XII. КЪ СЛАВѢ. Романъ **Маартена Маартенса.** . 257—304
XIII. НЕ СДАЛАСЬ. Романъ **Ж. Рони** . . . . . 1—32
XIV. О В. В. СТАСОВѢ. **М. М. Антокольскаго.** . . . 138
XV. ВЕРШИНА НАТУРАЛИЗМА. (Собраніе сочиненій Гюи де-Мопассана). **П. Н. Краснова** 153
XVI. ОТЗЫВЧИВЫЙ ПИСАТЕЛЬ. (Изъ этюда о П. Д. Боборыкинѣ). **С. А. Венгерова** 163

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

XVII. КАРМА. Буддійская сказка, переведенная гр. Л. Н. Толстымъ 182

XVIII. ИЗЪ РУССКИХЪ ИЗДАНІЙ. Что такое «основы общества».—Критерій муравьиной и человѣческой цивилизаціи.—Разсказъ Н. С. Лѣскова о литературныхъ женахъ. — Начинающій беллетристъ-декадентъ. — Черезчуръ строгая формула самодержавія и новый идеалъ свободнаго гражданина.—Какъ Бакунинъ агитировалъ въ Швеціи.—Дружба Герцена съ Гарибальди. . . . 193

IX. ИЗЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИЗДАНІЙ. — Уменьшеніе преступности въ Англіи.— Публичныя библіотеки. — На границѣ трехъ имперій.—Новыя теченія въ чешской литературѣ.—Мнѣніе лорда о палатѣ лордовъ . . 204

XX. ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНАГО МІРА.—Литературныя кофейни въ Мадридѣ.—Приключеніе съ новой драмой Ибсена.—Стивенсонъ. 213

Обличитель XV вѣка.

Въ самыя темныя времена заблужденій и ожесточеній, въ которыя впадали иногда народы, появлялись среди нихъ отдѣльные люди съ чуткою совѣстью, глубокимъ и независимымъ умомъ, искренно стремившіеся къ познанію правды и нравственному совершенствованію. Ихъ отдѣльные голоса легко заглушались шумомъ болѣе грубаго «большинства голосовъ»,—и проходили годы и столѣтія, и забывались нетолько эти единичные люди, но и самыя ихъ ученія.

Къ числу такихъ почти забытыхъ замѣчательныхъ людей принадлежитъ Петръ Хельчицкій, чешскій мыслитель XV вѣка, сочиненія котораго до недавняго времени существовали только въ рукописи. Благодаря трудамъ одного изъ русскихъ ученыхъ славяновѣдовъ, Анненкова, часть сочиненій Хельчицкаго была издана на чешскомъ и русскомъ языкахъ академіей наукъ въ 1893 г. * Ранняя смерть помѣшала Анненкову перевести всѣ дошедшія до насъ сочиненія Хельчицкаго, но онъ успѣлъ перевести самое важное изъ нихъ — «Сѣть вѣры». Помимо чисто литературныхъ и историческихъ достоинствъ— простоты и ясности изложенія и вѣрности въ изображеніи общественнаго строя того времени,—этотъ выдающій-

* См. Отдѣленіе русскаго языка и словесности Императорской Академіи наукъ, за 1893 г., т. 55-й.

ся памятникъ чешской литературы еще болѣе интересенъ по своему оригинальному содержанію.

«Сочиненія Хельчицкаго,—говорится въ введеніи къ его сочиненіямъ, — носятъ на себѣ отпечатокъ совершенно современный эпохѣ по своему народному и демократическому характеру, такъ-что могутъ заинтересовать и современнаго читателя». Въ другомъ мѣстѣ введеніе называетъ Хельчицкаго «глубокимъ знатокомъ человѣческой природы и замѣчательно наблюдательнымъ мыслителемъ». Но главное значеніе Хельчицкаго въ томъ, что въ своемъ ученіи о жизни и вытекающей изъ него критикѣ общественнаго строя того времени онъ является выразителемъ чрезвычайно оригинальныхъ религіозныхъ и нравственныхъ воззрѣній.

Жизнь и дѣятельность Хельчицкаго совпали съ періодомъ знаменитаго религіознаго движенія, охватившаго въ первой половинѣ XV вѣха всю Чехію и извѣстнаго въ исторіи подъ названіемъ «гуситскихъ войнъ». Какъ извѣстно, движеніе это, начавшееся еще во второй половинѣ XIV вѣка, съ внѣшней стороны было вызвано различными злоупотребленіями господствовавшей римской церкви. Первоначально оно касалось лишь нѣсколькихъ реформъ въ самой церкви, напримѣръ, причащенія подъ обоими видами, подъема нравственности въ средѣ духовенства и др.; но въ то-же время возникали и другіе вопросы, свидѣтельствовавшіе о томъ, что движеніе это вызывалось болѣе глубокими внутренними причинами. «Такъ—говоритъ введеніе—проповѣдывалось даже, что съ кончиною шестого тысячелѣтія вновь придетъ Христосъ, но не затѣмъ, чтобы судить людей послѣднимъ судомъ своимъ, а чтобы стать царемъ тысячелѣтняго царства, въ которое войдутъ только избранные. Въ этомъ царствѣ люди будутъ такъ совершенны, что обойдутся безъ законовъ, безъ наказаній. Разумъ ихъ просвѣтится свѣтомъ божественнымъ, такъ-что законъ библейскій, какъ излишній, будетъ упраздненъ. Поэтому не будетъ

также различія сословій и состояній, настанетъ всеобщее блаженство. Тогда перестанутъ существовать школы и наука, государство и церковь. Послѣдствіемъ этихъ мечтаній явились новыя недоумѣнія, главнымъ образомъ спрашивалось: нужно-ли истреблять всѣхъ невѣрныхъ безбожниковъ еще до начала этого царства, или нѣтъ? Можно-ли браться за оружіе въ интересахъ вѣры? Послѣдній вопросъ рѣшался утвердительно, и рѣшеніе это встрѣтило всеобщее одобреніе». Въ этихъ мечтаніяхъ, овладѣвшихъ умами многихъ людей, соединялись рядомъ съ вѣчными и основными стремленіями человѣческой души къ добру и правдѣ различныя суевѣрія, свойственныя всякому времени. Это напряжонное состояніе многихъ умовъ, искавшихъ истины и опутанныхъ всею силою мрака, средневѣковой жестокостью нравовъ, схоластической безполезной ученостью, подавляющимъ авторитетомъ римской церкви, должно было выдвинуть людей наиболѣе высоко-одаренныхъ. Дѣйствительно, многіе предлагали въ это время свое ученіе. Въ силу того вліянія, которымъ пользовалась римская церковь въ то время и которое проникало и обнимало собою жизнь каждаго отдѣльнаго человѣка, всякая проповѣдь, всякое ученіе прежде всего сталкивалось съ церковнымъ ученіемъ и расходилось съ нимъ въ большей или меньшей степени. Волненіе недовольныхъ умовъ, искавшихъ новыхъ жизненныхъ началъ, довольно легко сложилось въ форму протеста противъ господства церкви и разрѣшилось долгою борьбою съ церковью, въ Чехіи въ XV в.—гуситскими войнами, а позднѣе—реформаціей и ея войнами.

Большинство людей такимъ образомъ удовлетворилось тѣмъ, что стало добиваться опредѣленной цѣли—освобожденія отъ власти церкви. При этомъ они имѣли въ виду преимущественно тѣ злоупотребленія, которыя въ то время господствовали среди духовенства, и надѣялись искоренить ихъ преобразованіями церкви. Какъ и во всякихъ движеніяхъ, охватывающихъ собою большія

массы, общее неясное исканіе правды жизни уступило мѣсто гораздо низшимъ, но болѣе опредѣленнымъ цѣлямъ—измѣненію существующаго порядка. Лишь немногіе люди сохранили въ себѣ стремленіе къ разрѣшенію возникавшихъ въ нихъ основныхъ нравственныхъ вопросовъ, и можетъ-быть, чѣмъ дальше отъ ихъ разрѣшенія стояла дѣйствительность, тѣмъ упорнѣе, безусловнѣе и рѣшительнѣе отрицали такіе люди эту дѣйствительность. «Среди этого боевого грома и смятенія умовъ, говоритъ введеніе, — слышимъ мы одинокій голосъ человѣка, прославившагося многочисленными разсужденіями по вопросамъ вѣры и нравственности, которыя потомъ легли въ основаніе ученія такъ-называемыхъ чешскихъ братьевъ. Это—Петръ Хельчицкій, который протестуетъ противъ всѣхъ проявленій враждебности и насильственныхъ дѣйствій, не соглашаясь даже съ мнѣніемъ университета. Вмѣсто вопроса: слѣдуетъ-ли сражаться за вѣру, онъ сдѣлалъ шагъ дальше, разсуждая: слѣдуетъ-ли вообще браться за мечъ?»

О жизни Хельчицкаго не сохранилось опредѣленныхъ данныхъ. Родился онъ, какъ предполагаютъ, около 1390 года. По общественному положенію онъ былъ мірянинъ, свободный крестьянинъ или мелкопомѣстный дворянинъ. Неизвѣстно, получилъ-ли онъ образованіе въ университетѣ. Сначала онъ жилъ въ Прагѣ, а потомъ удалился въ деревню Хельчицы, въ южной Чехіи, отъ которой и получилъ свое прозваніе. Здѣсь онъ занимался богословіемъ; здѣсь-же около него образовался кружокъ образованныхъ людей, называвшихся «братьями Хельчицкими»; кромѣ того, онъ былъ въ сношеніяхъ со многими выдающимися представителями гуситскаго движенія. Умеръ онъ около половины XV вѣка.

Уже одно отрицательное отношеніе къ войнамъ и ко всякому насилію показываетъ, до какой степени особнякомъ стоялъ Хельчицкій среди другихъ религіозныхъ проповѣдниковъ и реформаторовъ, и объясняетъ,

почему онъ не оказалъ никакого вліянія на исторію. Въ то время какъ вниманіе другихъ реформаторовъ привлекали преимущественно вопросы церковно-догматическаго характера, Хельчицкій всецѣло сосредоточивался на вопросахъ нравственныхъ и рѣшенія ихъ искалъ единственно въ ученіи Христа. «Закона Христова, говоритъ онъ,—вполнѣ достаточно каждому человѣку и въ этой жизни и для вѣчнаго спасенія; онъ учитъ человѣка тому, что онъ долженъ дѣлать для своего блага и чего избѣгать». «Царство Христа есть царство жизни, имѣетъ божественное начало и есть самое совершенное».

Главное его сочиненіе «Сѣть вѣры» выясняетъ именно ученіе Христа и тѣ заблужденія, въ которыя вдались люди, уклонившіеся отъ первоначальнаго чистаго христіанскаго ученія. Эти человѣческія заблужденія нарушили законъ Христовъ, отвлекли вѣрующихъ отъ того пути, слѣдуя которому они могли достигнуть истиннаго блага, и наполнили ихъ жизнь зломъ и всякаго рода насиліемъ. Чтобы улучшить свою жизнь, люди должны отказаться отъ тѣхъ ложныхъ путей, по которымъ они идутъ къ злу и погибели, и руководиться закономъ Бога, исполняя который человѣкъ дѣлается блаженнымъ и счастливымъ.

«Смыслъ всего, что нами будетъ сказано, говоритъ Хельчицкій,—тотъ: мы желаемъ возстановленія того состоянія вещей, которое было прежде, и держаться его, если только поможетъ Богъ. Но какъ трудно бываетъ добраться до основанія въ грудѣ развалинъ обрушившагося зданія, когда эти развалины поросли уже лѣсомъ и сдѣлались обиталищемъ звѣрей,—такъ трудно найти первоначальное истинное основаніе церкви, Іисуса Христа, во множествѣ выросшихъ на немъ и противныхъ ему нововведеній, которыя многими принимаются за основаніе». «Вѣра основывается на словахъ Божіихъ, и кто вѣритъ въ Бога, что Онъ есть истинный Богъ и неизмѣнный, тотъ вѣритъ въ истинность и неизмѣнность Его

словъ, т. е. что исполненіе ихъ есть соблюденіе воли Божіей и влечетъ за собою любовь Бога и благословеніе Его, а нарушеніе какого-нибудь слова Божія есть смертный грѣхъ и навлекаетъ на человѣка гнѣвъ Божій». Хельчицкій жалуется на то, что истинная вѣра повредилась въ его дни. «Въ наше время вѣрятъ многому тому, чему не слѣдуетъ вѣрить; истинную вѣру христіанскую считаютъ заблужденіемъ и ересью, а мертвые обычаи принимаютъ за вѣру... вѣра живая затемнена и отвергнута».

Чтобы яснѣе показать это уклоненіе жизни того времени отъ ученія Христа, Хельчицкій рисуетъ жизнь первыхъ христіанъ. «Во времена апостоловъ въ каждомъ народѣ были нѣкоторые, избранные Богомъ, которые увѣровали въ Евангеліе. Они составляли собраніе вѣрующихъ, выдѣленное апостолами изъ среды другихъ людей, невѣрныхъ. Это нужно понимать не буквально, въ томъ смыслѣ, что вѣрующіе занимали отдѣльную улицу въ городѣ, но духовно, т. е. всѣ были соединены одною вѣрою. Во время римскаго владычества апостолы проповѣдывали Евангеліе язычникамъ и іудеямъ; нѣкоторые изъ нихъ увѣровали и отдѣлились отъ другихъ. Этому обществу вѣрующихъ апостолы дали двоякое устройство: внѣшнее и внутреннее. Внѣшнее должно было обезпечивать спокойное пребываніе христіанъ среди язычниковъ и іудеевъ. Христіане должны были: 1) платить дань властямъ и, въ чемъ должно, имъ повиноваться и 2) по отношенію къ іудеямъ и язычникамъ обнаруживать кротость и служить для нихъ добрымъ примѣромъ, который въ общеніи съ людьми дѣйствуетъ сильнѣе, чѣмъ одна словесная проповѣдь. По отношенію къ себѣ самимъ новообращенные христіане должны были заботиться прежде всего о совлеченіи съ себя ветхаго человѣка съ его страстями и похотями и облеченіи въ новаго человѣка—Христа».

«Между первыми христіанами апостолы установили

равенство: никто не былъ ничѣмъ обязанъ другъ другу, но всѣ должны были любить другъ друга и служить другъ другу изъ любви. Хотя христіане жили подъ властью язычниковъ, которымъ должны были платить дань, но сами не занимали языческихъ должностей. Такъ продолжалось болѣе трехсотъ лѣтъ, до Константина».

«Взаимныя отношенія, установленныя апостолами между первыми христіанами, основаны были на законѣ Христовѣ. Такое евангельское устройство общества скорѣе можетъ исправить испорченный родъ человѣческій, чѣмъ языческое».

«Одного закона Христова было вполнѣ достаточно для устроенія общинъ первыхъ христіанъ, и, руководясь имъ однимъ, они преуспѣвали въ нравственномъ отношеніи».

Такъ смотрѣли и такъ жили первые христіане; но жизнь понемногу брала свое, усложнялась и затруднялась и во многомъ уклонилась отъ первоначальнаго своего склада. Въ «сѣть вѣры» ворвались, вмѣстѣ съ другими рыбами (т.-е. вѣрующими) «киты» и разорвали ее; одинъ изъ этихъ «китовъ» — папа нарушилъ законъ Христа тѣмъ, что, отвергнувъ нищету и трудъ, пріобрѣлъ свѣтскую власть, почетъ, требуетъ себѣ поклоненія и ведетъ роскошную жизнь, которой стремится подражать и низшее духовенство, и вообще на мѣсто ученія Христа поставилъ свое собственное, такъ-что люди не могутъ видѣть истиннаго ученія Христа. «Одно изъ двухъ, говоритъ Хельчицкій:—или совершенно отвергнуть Бога и отступиться отъ Него, или всѣмъ сердцемъ прилѣпиться къ Нему. Но людямъ не легко ни то, ни другое; ибо человѣкъ не такъ порочень, чтобы всецѣло отвергнуть Бога, съ другой стороны немного найдется и такихъ, которые захотѣли-бы всѣмъ сердцемъ прилѣпиться къ Богу. Вѣра, основанная на папскихъ законахъ, представляетъ нѣчто

среднее между тѣмъ и другимъ, и на этомъ большинство людей успокаивается».

Съ значительною силою и въ то-же время грустью изображаетъ Хельчицкій современное ему раздвоеніе жизни. «Передъ нами явилось,—говоритъ онъ,—два пути, далекихъ другъ отъ друга и противоположныхъ одинъ другому: путь Іисусовъ и путь ученыхъ. Іисусъ теперь очень бѣденъ; не ходятъ больше за нимъ толпы народа, развѣ какой-нибудь отверженный и неразумный жалко тащится за нимъ. Зато ученые очень богаты и славны въ свѣтѣ, много породили слугъ Божіихъ съ мечомъ, и весь міръ взираетъ на нихъ. Взглянетъ мудрый свѣта на Іисуса, увидитъ, что Онъ покинутъ всѣми, облеченъ бѣдностью, терпитъ невзгоды, — и броситъ Его и пойдетъ къ ученымъ, что по законамъ своимъ цѣлыми толпами служатъ Богу. За такую широкую службу Богу и ухватится мудрый свѣта, а за Іисусомъ пойдетъ только безумецъ, и свѣтъ освищетъ его».

Съ безусловнымъ отрицаніемъ относится Хельчицкій къ тѣмъ различнымъ «сбродамъ», которые вошли вслѣдъ за «китами» въ сѣть вѣры и разорвали ее еще больше. Хельчицкій, конечно, долженъ былъ ясно видѣть противорѣчіе современнаго ему общества, полнаго средневѣкового изувѣрства, съ христіанскими началами единенія, любви и братства. Съ большимъ остроуміемъ и силою обличаетъ онъ всѣ общественные классы того времени: дворянъ, городское сословіе, ученыхъ, монаховъ и бѣлое духовенство.

Средневѣковое рыцарство, которое Хельчицкій называетъ сбродами «украшенными гербами», наиболѣе удалилось отъ христіанскаго идеала равенства. «Они стараются выдѣлить себя передъ другими людьми всѣмъ, чѣмъ только можно: именами, манерою себя держать, одеждою, пищею, постройкою жилища, правами и обращеніемъ. Во всемъ ихъ образѣ жизни, обычаяхъ и рѣчи выражается тщеславіе. Они стремятся обладать всѣми благами тѣла и свѣта, чтобы пользоваться почетомъ и

славою, и избѣгаютъ всего непріятнаго, что должны переносить люди за свои грѣхи. Имъ неприличны усиленный трудъ, терпѣніе, преслѣдованіе, простота, униженіе, услужливость: имъ нужна жизнь свободная, праздная, легкая, пресыщеніе земными благами, чистота, красота, одежда особо затѣйливыхъ и изящныхъ покроевъ; они должны задавать роскошные пиры на удивленіе всѣмъ, какъ боги и богини; имъ нужны чистыя и мягкія ложа, рѣчь сладкая и вкрадчивая, исполненная лести, съ приговариваніемъ: «Не угодно-ли вашей милости начать». Благородство заставляетъ ихъ бѣлиться... Сознаніе благородства порождаетъ тщеславіе, отсутствіе смиренія и терпѣнія. Другіе грѣхи, вытекающіе изъ того-же источника,—праздность, стремленіе къ роскоши, языческому господству, жестокость, насиліе».

Трудно распространяться закону Христа и въ городахъ. «Въ основаніи каждаго города и во взаимныхъ отношеніяхъ его обитателей такъ много противнаго вѣрѣ, что истинная вѣра въ городахъ существовать не можетъ. Вѣра въ городскомъ сословіи является подъ видомъ папскихъ законовъ, по которымъ требуется, чтобы Евангеліе и посланія пѣлись для того, чтобы люди не плакали и не испытывали чего-либо непріятнаго и чтобы такимъ образомъ было ясно, что Евангеліе въ пѣсняхъ пребываетъ съ горожанами въ мирѣ, не разрушаетъ ихъ валовъ, стѣнъ съ улицами и пищалями, не побуждаетъ къ штурмамъ, не запрещаетъ звонить, не опрокидываетъ тучныхъ столовъ, не возбуждаетъ гнѣва въ членахъ ратуши».

Въ такомъ-же родѣ высказывается Хельчицкій и о другихъ сословіяхъ своего времени.

Хельчицкій не игралъ видной роли въ религіозномъ движеніи своего времени, отчасти потому, что онъ былъ лишь писатель, а не проповѣдникъ, отчасти по самой исключительности своего ученія. Прямымъ послѣдствіемъ дѣятельности Хельчицкаго было лишь образованіе об-

щины «братьевъ Хельчицкихъ», однимъ изъ членовъ которой былъ Амосъ Коменскій. Эта очень немногочисленная община отличалась замѣчательной чистотой жизни. «Со временъ апостольскихъ, говоритъ нѣмецкій историкъ Zeschwitz,—ни одно церковное общество, приближаясь такъ или иначе къ этимъ временамъ, не постигло въ такой мѣрѣ эту чистую высокую жизнь, какъ чешскіе братья».

Объясняя незначительность распространенія ученія Хельчицкаго, составители введенія къ его сочиненіямъ говорятъ: «Принадлежи онъ къ національности нѣмецкой, французской или англійской, онъ несомнѣнно имѣлъ-бы значеніе и вліяніе въ европейской исторіи права и соціальной науки». Но это едва-ли вѣроятно. Гораздо вѣроятнѣе, что онъ такъ и остался-бы одинокимъ историческимъ явленіемъ, человѣкомъ не отъ міра сего, непонятнымъ для своего времени мечтателемъ о далекомъ золотомъ вѣкѣ, къ которому медленно и тяжело идетъ исторія, для такихъ, какъ онъ, уже принадлежащихъ идеальному міру, ненужная и потому въ свою очередь непонятная...

В. С.

* * *

Ты нѣжнѣй голубки бѣлокрылой,
Ты —рубинъ блестящій, огневой!
Бѣдный духъ мой, столько лѣтъ унылый,
Краской жизни рдѣетъ предъ тобой.

Въ тихомъ свѣтѣ кроткаго сіянья
Давнихъ дней въ прозрачной глубинѣ,
Возникаютъ снова очертанья
Прежнихъ чувствъ, роившихся во мнѣ.

Можно-ль вѣрить—вѣрить умъ не смѣетъ!—
Будто новый нашихъ чувствъ расцвѣтъ,
Какъ и тѣ, пройдетъ и поблѣднѣетъ,
Погрузившись въ мертвый холодъ лѣтъ!

---

* * *

Тебѣ обязанъ я святою тишиной,
Столь непривычною душѣ моей больной;
Тобой единою вся эта тишина
Мнѣ незаслуженно, какъ божій даръ, дана.

И если ангелы, чтобъ на землю сойти,
Имѣютъ тихіе, завѣтные пути, —
Я вѣрю, чувствую,—я чувствовалъ не разъ:
Они, незримые, проходятъ возлѣ насъ.

К. Случевскій.

ОФИЦЕРИКЪ.

(Изъ разсказовъ моей старой знакомой).

...Удивляюсь, отчего это никто не напишетъ книги о философіи мимолетныхъ встрѣчъ? Я по себѣ знаю, что предметъ этотъ пребогатый. Въ моей жизни, по крайней мѣрѣ, была мимолетная встрѣча, оставившая на мнѣ слѣдъ совершенно несоразмѣрный, какъ я думаю, когда сужу о ней только разумомъ, то-есть поверхностно. Но, несмотря на всѣ мои лукавыя мудрствованія, при каждомъ воспоминаніи о ней, у меня щемитъ на сердцѣ и хочется мнѣ и улыбаться, и плакать.

Во время крымской войны мы жили какъ-разъ на перепутьи Россіи съ Закавказьемъ; такъ-что когда войска начали стягиваться на югъ, къ турецкой границѣ, для нашего города настало самое оживленное время. Множество офицеровъ ѣхало изъ Петербурга въ Закавказье, много полковъ шло туда-же съ Сѣвернаго Кавказа и изъ внутреннихъ губерній, —и все это проходило и проѣзжало черезъ нашъ городъ.

Приходъ и уходъ каждаго полка всегда сопровождался большимъ скопленіемъ городской публики на Соборномъ бульварѣ. И мы тоже всей семьей неизмѣнно ходили взглянуть на нашихъ воиновъ.

— Вѣдь какъ стройно и бодро идутъ, голубчики... Съ музыкой, съ парадомъ... Сколько между ними чуть-что не ребятъ, малосмысленныхъ, что и пожить еще не успѣли, а между тѣмъ никому изъ нихъ и въ голову не приходитъ, что со всѣмъ этимъ веселіемъ большинство ихъ идетъ на вѣрную смерть. Помогай имъ Господь! бывало скажетъ мама и смахнетъ невольную слезу.

Мы всѣ три—и я, и старшая сестра, уже совсѣмъ тогда взрослая барышня, и наша младшая сестра, Катя, еще дѣвочка-подростокъ,—слушали мамины грустныя рѣчи и понимали, что и намъ-бы слѣдовало ощутить печаль и жалость, но онѣ какъ-то не приходили, мы и сами не знали отчего. Подъ веселые, заразительные звуки военныхъ маршей намъ и самимъ хотѣлось выступать такъже браво и стройно, какъ тѣ солдатики, что шли на вѣрную смерть. Я помню, мнѣ всегда какъ-то чувствовалось, что дай я волю своимъ ногамъ и замаршируй въ тактъ музыкѣ,—это будетъ очень смѣшно, и я удерживалась, старательно умельчая свой собственный, и безъ того уже мелкій шагъ. Но удерживаться было трудно.

Да и судите сами, была-ли намъ малѣйшая возможность грустить и задумываться. Мнѣ было шестнадцать лѣтъ, старшей сестрѣ девятнадцать, Катя была на годъ моложе меня. Мы были хорошенькія, веселыя, разговорчивыя дѣвушки. Одинъ полкъ ушолъ, смотришь — ужь другой идетъ. И каждый разъ имъ встрѣчи, пикники, балы, обѣды, проводы. Отъ кавалеровъ намъ отбою не было. Что за бѣда, что приходилось этихъ кавалеровъ мѣнять чуть-что не по два раза въ недѣлю: чѣмъ больше, тѣмъ лучше.

Правда, всеобщій подъемъ духа, овладѣвшій тогда Россіей изъ конца въ конецъ, сообщился и

намъ. Мы всѣ три не разъ принимались строить планы о томъ, какъ и мы тоже поѣдемъ «на войну» сестрами милосердія, будемъ спасать больныхъ и раненыхъ и вообще совершать подвиги. Но только всѣ эти подвиги самоотверженія и самопожертвованія, какъ я теперь вижу послѣ столькихъ лѣтъ, представлялись намъ какъ-то не совсѣмъ въ правдоподобномъ свѣтѣ. Вмѣсто карболовой кислоты и тяжелыхъ мукъ, отъ нихъ въ нашемъ воображеніи отдавало все тѣми-же пикниками и обѣдами.

Какъ-бы то ни было, побывать «на войнѣ» намъ не удалось. Старшая сестра скоро сдѣлалась невѣстой человѣка штатскаго и воинственнымъ дѣламъ непричастнаго. А насъ съ сестрой Катей отецъ нашъ разогорчилъ до слезъ, заявивъ намъ на-отрѣзъ, что наши затѣи—сущій вздоръ, что на полѣ брани никому такихъ «слабосильныхъ букашекъ», какъ мы, не нужно, такъ-какъ «первая-же лошадь насъ подъ копытами раздавитъ,— только мокренько останется».

Нечего дѣлать, пришлось намъ утолять нашъ патріотическій пылъ усиленнымъ шитьемъ бѣлья на госпитали (помню, наши пальцы и даже руки были вкровь исколоты,—до такой степени это бѣлье было толсто и грубо), да заготовленьемъ бинтовъ и щипаніемъ корпіи. Для корпіи няня намъ выдала цѣлый ворохъ стараго бѣлья, которое за ненужностью она складывала на чердакѣ. Но Катя (замѣтьте разницу между нашими характерами: она дѣйствовала, когда я больше мечтала) въ своемъ воодушевленіи дошла до того, что расщипала на корпію цѣлую полдюжину своихъ, съ-иголочки новенькихъ сорочекъ...

— Если нужны жертвы, будемъ жертвовать! говорила она, и я была съ ней совершенно согласна.

Но жертва обошлась ей довольно дорого, такъ-какъ, во-первыхъ, ей крѣпко досталось и отъ мамы, и отъ няни за самовольство, а во-вторыхъ, новыхъ рубашекъ ей шить не стали, а приказали довольствоваться пока моими старыми.

Ну, теперь приходитъ время разсказать вамъ о знаменательной мимолетной встрѣчѣ, съ которой я начала рѣчь, и вмѣстѣ съ тѣмъ представить вамъ героевъ печальной странички изъ моей ранней молодости.

Одинъ изъ нихъ былъ князь Коловницынъ. Года за полтора передъ этимъ онъ вышелъ въ одинъ изъ элегантныхъ кавалерійскихъ полковъ гвардіи, чѣмъ порядочно-таки чванился. Однако, съ приближеніемъ войны, онъ рѣшилъ ѣхать на Кавказъ и перевелся въ армію. Но хотя военныя дѣйствія уже начались къ тому времени, о которомъ я говорю, въ дѣйствующую армію онъ все что-то не ѣхалъ, а проживалъ подъ крылышкомъ своей аристократической тетушки, нашей губернаторши, разыгрывая петербургскаго льва въ провинціи и дирижируя всѣми нашими мазурками.

Другой и главный мой герой былъ много попроще. Онъ былъ просто себѣ офицерикъ, служилъ въ скромномъ армейскомъ пѣхотномъ полку, едва-ли больше, чѣмъ за мѣсяцъ предъ тѣмъ, оставивъ ученическую скамью.

Князь Коловницынъ, хотя и принужденъ былъ запастись армейскимъ мундиромъ, но умѣлъ «носить» его такъ, будто мундиръ этотъ былъ совсѣмъ не армейскій, а гвардейскій. Это было одно изъ его преимуществъ, которыхъ, впрочемъ, у него было еще много въ запасѣ. Во-первыхъ, его темные волосы были удивительно ловко пробраны длиннымъ, безукоризненнымъ проборомъ. Во-вторыхъ, онъ носилъ монокль. Чтобъ удержать этотъ мо-

нокль въ глазу, онъ тужился ужасно, приподнимая одну бровь выше другой. Какъ я теперь вспоминаю, отъ потугъ этихъ на лбу его образовывались двѣ толстыя неуклюжія морщины, придававшія ему видъ довольно глупый и совсѣмъ некрасивый. Но тогда монокль князя Коновницына производилъ на меня впечатлѣніе неотразимое. Въ-третьихъ, онъ обладалъ шпорами и справлялся съ ними такъ ловко, будто такъ съ ними и родился.

— А что-жь за офицеръ безъ шпоръ?.. Точь-въ-точь пѣтухъ безъ хвоста! говорила Катя, и опять-таки я съ ней была совершенно согласна.

Мундиръ-же офицерика въ плечахъ былъ слишкомъ узокъ, въ таліи слишкомъ широкъ, да и самая талія приходилась у него почему-то чуть-что не на половинѣ спины. Онъ не умѣлъ «носить», портной его не умѣлъ кроить. На погонахъ его была цифра сто съ чѣмъ-то. Словомъ, впечатлѣніе получалось нетолько не побѣдительное, а скорѣе жалости достойное. Бѣлобрысенькіе волоса его были подрѣзаны на затылкѣ слишкомъ ровно и коротко, словно у извощика, а за ушами они образовывали неряшливые вихры. Шпоръ и монокля у офицерика совсѣмъ не было.

Удивительно, какой наблюдательный народъ дѣвочки-подростки. Большая ошибка преувеличивать ихъ наивность и слѣпую неопытность. Напротивъ, онѣ умѣютъ все замѣтитъ и все услышать. Пройдетъ лѣтъ десять,— смотришь, изъ хаоса и путаницы мелочныхъ въ своей незначительности подробностей образуется нѣчто цѣлое и стройное. Какъ розетскій камень далъ европейцамъ ключъ ко всему жизненному строю древнихъ египтянъ, такъ намъ, женщинамъ, какая-нибудь мелочь, какой-нибудь вихоръ на макушкѣ головы или складка на неладно-сшитомъ платьѣ даетъ

доступъ къ вѣрной и быстрой оцѣнкѣ мужскихъ характеровъ.

Мои шестнадцать лѣтъ умѣли подмѣтить разницу въ наружности этихъ двухъ моихъ случайныхъ знакомцевъ такъ хорошо и такъ «съ подлиннымъ вѣрно», что я и до сихъ поръ ихъ обоихъ какъ-будто вижу. Но заключеній изъ этой разницы я тогда, разумѣется, не умѣла вывести. Зато теперь, послѣ столькихъ лѣтъ разлуки и забвенія, все это получило для меня совершенно ясный и опредѣленный смыслъ.

Я знаю теперь, что молоденькій князь Коловницынъ былъ именно однимъ изъ тѣхъ людей, которыхъ позже все наше войско окрестило «фазанами», не взлюбивъ ихъ за то, что они будто-бы любятъ чужими руками жаръ загребать. А офицерикъ безошибочно былъ однимъ изъ тѣхъ, руками которыхъ загребается жаръ, одною изъ десятковъ тысячъ безхитростныхъ, безотвѣтныхъ единицъ, которыя живутъ какъ птицы небесныя и умираютъ такъ-же легко и просто. И это именно въ силу того, что въ нихъ нѣтъ умствованія, нѣтъ способности смотрѣть на себя какъ-бы со стороны, любуясь собой или ненавидя себя, что въ сущности одна и та-же гордыня передъ Господомъ. Нѣтъ въ нихъ и горделиваго, да зато и мучительнаго-же сознанія отдѣльности своей человѣческой личности, отгороженной отъ другихъ людей и не сливающейся съ остальной природой въ ея полнотѣ. Зато въ нихъ живо крѣпкое сознаніе долга и много философскаго, часто даже не сознаваемаго ими фатализма. И благо имъ: они не знаютъ того ужаснаго страха передъ жизнью и смертью, которымъ страдаетъ все европейское человѣчество.

Полкъ моего офицерика пришолъ къ намъ изъ одной изъ внутреннихъ губерній и остановился

отдохнуть въ нашемъ городѣ всего только на три дня.

Время года было раннее. Не помню теперь, середина или конецъ мая, но теплынь стояла уже большая. Наше дворянское собраніе рѣшило дать полку балъ на открытомъ воздухѣ, въ загородной рощѣ.

Мама хотѣла-было оставить насъ съ Катей дома, находя, что мы и безъ того ото всѣхъ этихъ развлеченій и увеселеній словно ошалѣли. Но папа сказалъ, что не бѣда, если мы повеселимся еще разокъ: балъ вродѣ пикника, многіе знакомые собираются везти съ собой даже совсѣмъ маленькихъ ребятъ.

Я живо помню, какъ мы съ Катей собирались на этотъ балъ.

Она была олицетворенное, хотя и не шумное ликованіе (она отъ природы была не шумлива, не то, что я). А я—несовсѣмъ. Дѣло въ томъ, что она уже и тогда умѣла жить въ дѣйствительности гораздо больше меня. Она ѣдетъ на балъ, она будетъ много танцовать, няня уже разложила на большомъ диванѣ наши бѣлыя платьица съ розовыми бантами,—вотъ чѣмъ были заняты Катины мысли. Для меня-же, неисповѣдимыми путями женскаго воображенія, предстоявшій намъ балъ оказался поводомъ, чтобы цѣлый день продумать совсѣмъ не о немъ, а о шелковомъ платьѣ, съ съ отдѣлкой изъ стекляруса clair de lune, непремѣнно черномъ и непремѣнно со шлейфомъ, которое я выпрошу у мамы, лишь только мнѣ минетъ семнадцать лѣтъ. Черный цвѣтъ, извѣстное дѣло, служитъ какъ-бы патентомъ на взрослость. А мнѣ такъ тогда хотѣлось этой взрослости!

Цѣлый день основнымъ моимъ ощущеніемъ было смутное сознаніе, что мнѣ предстоитъ нѣчто

удивительно хорошее и пріятное. Но сознательно моя мысль на этомъ хорошемъ не останавливалась, а все перепархивала вокругъ да около. Совсѣмъ такъ, какъ когда вышиваешь: вѣдь безъ канвы не существовать-бы никакимъ цвѣтистымъ узорамъ,— а между тѣмъ кто-же думаетъ собственно о канвѣ, вышивая?

Всѣ мои мысли и чувства цѣликомъ сосредоточились на самомъ фактѣ бала только тогда, когда мы почти добрались до мѣста.

Еще издали, подъѣзжая къ рощѣ, мы увидѣли высоко надъ деревьями сверкающій въ сумеркахъ щитъ, на которомъ словно брилліанты блестѣли шкалики, образуя надпись: «*Богъ вамъ въ помощь, воины православные*!» Лишь только мы въѣхали въ рощу, ряды разноцвѣтныхъ фонариковъ побѣжали по обѣимъ сторонамъ дороги такой веселой, манящей вдаль перспективой, что казалось, вѣкъ-бы ѣхать не останавливаться!

Лишь только я услыхала первые раскаты музыки, меня такъ и охватило бальными ощущеніями.

Не знаю, какъ на другихъ, а на меня даже и до сихъ поръ бальная музыка производитъ совсѣмъ особое дѣйствіе. Бодрость какая-то, и веселость, и беззаботность... Не умѣю опредѣлить это никакимъ инымъ словомъ, какъ только *экстазъ*... Это то странное состояніе, когда ежедневная жизнь, съ ея заботами и подробностями, какъ-бы стушовывается. Знаешь ее и помнишь, но чувствуешь себя какъ-бы *внѣ* ея. Даже физическія ощущенія какъ-то притупляются.

Напримѣръ, у меня такія маленькія ноги, что даже при моемъ маломъ ростѣ онѣ кажутся и теперь смѣшными въ своей непропорціональности. Будучи помоложе, я очень гордилась ими, и если

было у меня что, чѣмъ я положительно кокетничала, то это своей обувью. Зачастую мнѣ случалось покупать такія крохотныя бальныя туфли, что даже и моимъ маленькимъ ногамъ въ нихъ было тѣсновато. Одѣнешься дома—кажется, на ногахъ не устоять, такъ онѣ жмутъ. Дорогою въ каретѣ все время ихъ чувствуешь... А растанцуешься—забудешь и туфли, и собственныя ноги, и все свое тѣло, и даже самую возможность физической боли. Я думаю, то-же самое случается съ дервишами-вертунами, когда они ужь очень разойдутся. Ну, такъ какъ-же не экстазъ послѣ этого?

Какъ я соскочила съ папиныхъ колѣнъ, на которыхъ благополучно прибыла изъ города, какъ входила въ ярко освѣщенную «ротонду»,—такъ называли у насъ павильоны для танцевъ,—кто меня пригласилъ первый, — этого я ничего не помню, нетолько теперь, но не вспомнила-бы и на слѣдующее утро.

Одну изъ кадрилей я танцовала съ полковникомъ Оржецкимъ. Это былъ пожилой, но далеко не остепенившійся человѣкъ,—крупный и бравый, съ выпяченной грудью и не безъ претензіи на интересную наружность и оригинальность обращенія, но, въ сущности, характеръ мелочный и довольно-таки пошлый,—одинъ изъ этихъ людей, которые называютъ «милая моя барынька» женщинъ, имѣвшихъ честь имъ понравиться, не справляясь о томъ, нравится-ли это имъ, или нѣтъ.

Послѣ кадрили онъ отвелъ меня въ палатку, гдѣ былъ устроенъ буфетъ, отдохнуть и освѣжиться. Я немедленно пожелала выпить шампанскаго. Не-то чтобы я его особенно любила,—нѣтъ,—въ глубинѣ души я предпочитала клюквенную шипучку, да и теперь предпочитаю; но надо

же мнѣ было «тону задать». «Молоденькая—молоденькая, а жуировать любитъ и *въ винахъ толкъ знаетъ*», вотъ какое впечатлѣніе я желала производить на своихъ кавалеровъ.

Я весь этотъ вечеръ дурачилась ужасно, чуть что не козломъ скакала; говорила гораздо громче, чѣмъ подобало-бы благовоспитанной дѣвицѣ; всѣхъ, особенно своихъ кавалеровъ, находила «необыкновенно, чрезвычайно милыми»—и такъ имъ о томъ и заявляла. Какъ сквозь дымку, я нѣсколько разъ ловила на себѣ маминъ укоризненный взоръ, но онъ только слегка касался грани моего внутренняго сознанія, не переходя за нее. «Довлѣетъ, молъ, дневи злоба его»: завтра мы обо всемъ переговоримъ, за все отвѣтимъ, а сегодня—«море по колѣно, хоть трава не расти!»

Выпивъ-же хотя и совсѣмъ маленькій бокалъ непривычнаго мнѣ шампанскаго, я дотого разошлась, что вдругъ почувствовала позывъ предложить моему кавалеру выпить «*на брудершафтъ*». Но этотъ ни съ чѣмъ не сообразный поступокъ встрѣтилъ на пути своего исполненія двоякое препятствіе: во-первыхъ, я инстинктивно почувствовала, что это было-бы изъ рукъ вонъ неприлично! а во-вторыхъ,—вотъ мы и добрались до моего офицерика,—во-вторыхъ, когда я опускала осушенный бокалъ на столъ, мой взглядъ вдругъ повстрѣчался съ другими, чужими, неизвѣстными мнѣ глазами.

Боже мой, что это были за глаза! Не то чтобы они были очень красивы или чарующе загадочны. Напротивъ, глаза эти были совсѣмъ обыкновенные, сѣрые, небольшіе. Точно такіе-же часто бываютъ у замазулекъ крестьянскихъ пареньковъ-подростковъ. Но какъ краснорѣчиво они говорили! Въ нихъ я прочла такое благоговѣйное любо-

ваніе моей собственной маленькой, ничего не обозначающей и, вдобавокъ, неприлично себя ведущей особой, что вѣкъ мнѣ не забыть этого взгляда. Въ немъ былъ какой-то недоумѣвающій оттѣнокъ, будто въ глубинѣ его таился вопросъ: неужли-же въ этомъ сѣренькомъ мірѣ трудовъ, скуки, слезъ дѣйствительно возможны такія чарующія видѣнія, неужели-же такое скопище всякихъ прелестей дышетъ однимъ воздухомъ съ остальными смертными? И вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ было то рыцарское почтеніе передъ женщиной, которое никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ не можетъ носить и тѣни оскорбительнаго, грязненькаго одобренія ея физическихъ красотъ.

Однимъ словомъ, взглядъ этотъ былъ изъ тѣхъ, которые рѣдко выпадаютъ на долю даже самыхъ избалованныхъ свѣтскими успѣхами женщинъ.

А я, что такое была я? Дѣвочка-подростокъ, безъ всякой опытности, безъ малѣйшаго понятія о томъ, какъ вести ту опасную увлекательную игру, при которой мужчина зачастую ставитъ на карту спокойствіе и довольство многихъ и многихъ дней, а женщина—только удовлетвореніе тщеславія, даже безъ умѣнья владѣть и хотя-бы нѣсколько управлять своимъ поведеніемъ.

Однако-же, я какимъ-то наитіемъ поняла все, что означалъ этотъ взглядъ. Онъ расхолодилъ мою слишкомъ буйную, слишкомъ неудержимую веселость. Онъ заставилъ меня вспомнить о своемъ женскомъ достоинствѣ.

Я отказалась отъ второго бокала шампанскаго, который предлагалъ мнѣ полковникъ Оржецкій. Я какъ-то безъ словъ сказала себѣ, что полковникъ Оржецкій, подъ предлогомъ любезности и галантности, только позволяетъ мнѣ забавлять его своими ребяческими выходками, а въ сущности,

вѣроятно, думаетъ обо мнѣ не совсѣмъ-то хорошо. Я почувствовала, что больше не хочу и не стану тѣшить его, и, отказавшись опереться на его руку, степенно вышла изъ палатки.

Помнится, цѣлыя десять минутъ, а то такъ и четверть часа послѣ этого мнѣ было не по себѣ и даже хотѣлось очутиться дома, у себя, въ дѣтской (моя и Катина комната все еще называлась тогда дѣтской), въ своей свѣженькой, бѣлой постелькѣ, подъ кіотомъ съ образами, отъ которыхъ лился свѣтъ лампады, никогда не угасавшей благодаря нянинымъ заботамъ,—и не то что спать, а такъ лежать съ закрытыми глазами и думать.

Но приближалась мазурка.

Мазурку я должна была танцовать съ княземъ Коловницынымъ.

Надо вамъ сказать, что его я не особенно-то любила. Мнѣ съ нимъ было скучновато. Ужь слишкомъ покровительственна была его манера со мной... Онъ ни на минуту не забывалъ, да и мнѣ не давалъ забыть, что своимъ вниманіемъ онъ дѣлалъ мнѣ въ нѣкоторомъ родѣ честь. Кто-де что ни говори, а какъ-бы то ни было, онъ — *величина;* онъ—*нѣкто,* а я—провинціальная, хотя и смазливенькая, но совсѣмъ не интересная дурочка. Со свойственной мнѣ чуткостью, я очень хорошо понимала это его отношеніе ко мнѣ, но въ танцахъ ему не отказывала. Вѣдь я уже говорила вамъ, что его монокль производилъ на меня неотразимое впечатлѣніе; да и кромѣ того, танцовать съ дирижеромъ уже само по себѣ есть отличіе.

Мое самолюбіе чувствовало себя униженнымъ его вѣчнымъ важничаньемъ, которое, что и говорить, было довольно противно въ такомъ юнцѣ, какъ онъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ, то-же мое самолюбіе было чрезвычайно польщено тѣмъ, что изо

всѣхъ барышень онъ выбралъ меня и выставилъ, такъ сказать, на показъ, какъ дирижерскую даму. Уязвленное самолюбіе и чванство рука объ руку,—вотъ и разберитесь въ этомъ противорѣчіи.

И именно, въ силу того, что, танцуя съ княземъ Коловницынымъ, я чувствовала себя униженной, я при этомъ «задавала тону» вдвойнѣ, противъ обыкновеннаго! Я напускала на себя взрослость и свѣтскость, совсѣмъ небывалую и мнѣ несвойственную.

Князь Коловницынъ былъ прекрасный дирижеръ. Въ его голосѣ, когда онъ выкрикивалъ свои распоряженія, звучала именно та подмывающая, подзадоривающая, хотя и немного дѣланная дирижерская нотка, отъ которой у танцоровъ сами ноги пляшутъ. Даже преувеличенная озабоченность, съ которой онъ шмыгалъ изъ конца въ конецъ «ротонды», направляя на путь истины заблудшихъ, перепутавшихъ фигуру танцоровъ, не портила впечатлѣнія. Конечно, она была смѣшна на этомъ юношескомъ, почти безусомъ лицѣ, но все-таки она безусловно входила въ программу его дирижерской роли.

Ну, такъ вотъ въ одно изъ такихъ его отсутствій «по дѣламъ службы», когда я осталась одна, выжидая, что вотъ-вотъ меня выберетъ какой-нибудь другой танцоръ, подходитъ ко мнѣ сестра Катя. Смотрю на нее и глазамъ своимъ не вѣрю.

Всякій, кто зналъ насъ во времена нашей ранней молодости, вѣроятно, помнитъ, что Катя умѣла веселиться безъ судорогъ и порывовъ, въ чемъ заключалось еще одно различіе между нашими характерами. Въ самую веселую минуту улыбка ея была хотя и ясная и открытая, но все-таки какъ-бы немного сдержанная, словно размѣренная какая-то.

И вдругъ, вмѣсто этой ея обычной сдержанной улыбки, я увидѣла на лицѣ ея что-то такое странное, совсѣмъ ей непривычное:—волненіе, и смущеніе, и недоумѣніе. А лицо ея было совсѣмъ дѣтское, несмотря на то, что она уже и тогда была такая-же большая, какъ теперь, да пожалуй, еще полнѣй, чѣмъ теперь.

— Коротконожечка, говоритъ Катя (она всегда называла меня коротконожкой, гордясь своимъ большимъ ростомъ и презирая мой малый),—коротконожечка моя, что мнѣ дѣлать? Какой-то незнакомый офицеръ просто проходу мнѣ не даетъ. Сначала все ходилъ да посматривалъ; потомъ сталъ приглашать, хотя самъ, кажется, не танцуетъ... Я отказывала; а теперь, только выберутъ моего кавалера,—онъ тутъ какъ тутъ съ разговоромъ!... Я просто бояться начинаю... Кажется, онъ меня принимаетъ Богъ вѣсть за какую!

— Да кто онъ такой? спросила я, стараясь говорить какъ можно равнодушнѣе и спокойнѣе,—вѣрный знакъ, что въ глубинѣ души у меня не было ни равнодушія, ни спокойствія.

— Одинъ изъ этихъ, изъ новыхъ. Изъ тѣхъ, которымъ этотъ балъ даютъ... Да вотъ онъ опять стоитъ и смотритъ, прервала сама себя Катя. — И что ему только надо? Ахъ ты, Господи, Боже мой!...

И Катя привычнымъ движеніемъ попыталась спрятаться за меня, что, какъ младшая, дѣлала всегда въ минуты жизни трудныя, съ самыхъ младенческихъ лѣтъ. Но увы, послѣдніе года два-три эта уловка ея стала невозможна,—до такой степени она переросла меня.

— Позвольте, mademoiselle Мережнева, вмѣшался князь Коловницынъ, который, очевидно, уже давно стоялъ тутъ и слышалъ весь нашъ

разговоръ, хотя въ пылу своей тревоги мы его и не замѣтили.—Если я вѣрно васъ понялъ, господинъ этотъ не имѣлъ чести быть вамъ представленъ?

— Да нѣтъ-же, нѣтъ... Я не знаю, кто онъ такой, я его никогда не видала, заторопилась объяснять Катя, обрадованная находкой еще одного симпатизирующаго слушателя.—Вы, можетъ быть, мнѣ не повѣрите, но я право-же, право ничего такого не дѣлала, чтобъ дать ему поводъ подходить...

Катины красивые глаза затуманились, подбородокъ ея покрылся подозрительными ямочками, однимъ словомъ, я увидѣла, что еще немного—и моя Катя посрамитъ свою пятнадцатилѣтнюю взрослость и расплачется при всемъ честномъ народѣ... Увидѣлъ это и князь Коловницынъ.

— Mais, mademoiselle, calmez vous, зачастилъ онъ (слово *mademoiselle* онъ выговаривалъ совсѣмъ на особенный манеръ, и вообще онъ могъ говорить по-французски какъ никто у насъ въ городѣ; по-русски онъ говорилъ не такъ хорошо, ужь слишкомъ преувеличенно напирая на звукъ *а*). Et dire qu'on va gâter de si jolis yeux pour un malapris qui ne vaut pas la moindre attention!.. Мужланъ этакій!.. Ва-абще всѣ эти га-спада, одна слава, что офицеры русской службы, а въ сущности мужичье неотесанное!.. Но потрудитесь указать его мнѣ... Вотъ я сейчасъ все улажу, я самъ съ нимъ а-бъяснюсь...

Но напрасно князь Коловницынъ собирался объясняться съ нимъ «самъ». Прежде чѣмъ Катя успѣла вторично указать ему виновника нашей бури въ стаканѣ воды, я уже устремилась по его направленію, повинуясь внезапному неудержимому импульсу.

Всѣ впечатлѣнія этого вечера были слишкомъ сильны для моей легко возбуждавшейся головы. Полковникъ Оржецкій и князь Коловницынъ слишкомъ много и слишкомъ умѣло меня поддразнивали и подзадоривали. Рыцарское поклоненіе, которое я прочла въ говорящихъ глазахъ неизвѣстнаго юноши, только повидимому, только на поверхности отрезвило меня, въ сущности только подливъ масла въ огонь. Я узнала его немедленно и въ Катиномъ преслѣдователѣ, лишь только она сказала: «да вотъ онъ опять», и та нѣсколько приниженная, заискивающая улыбка, съ которой онъ издали слѣдилъ за нашими переговорами, словно хлыстомъ ударила по моимъ расходившимся нервамъ.

Но все это я такъ хорошо разобрала и поняла только гораздо позднѣе, а пока я стрѣлою неслась черезъ всю ротонду къ той соснѣ, подъ которой онъ стоялъ все съ болѣе и болѣе испуганнымъ видомъ, мысли или скорѣе ощущенія мои были:

«А, такъ вотъ какъ! Мы съ Катей тебя не знаемъ, мы тебя и знать не хотимъ!.. А ты ни съ того, ни съ сего бѣдную Катю чуть не до слезъ доводишь своими приставаніями?.. Да къ тому-же еще мѣшаешь и моему веселью,—такъ задамъ-же я тебѣ! Князь Коловницынъ воображаетъ, что я глупенькая, провинціальная дѣвчоночка,—вотъ я ему себя покажу! Вотъ я и тебѣ покажу!..»

— Соблаговолите разъяснить мнѣ, милостивый государь,—налетѣла я на него:—по какому это праву вы позволяете себѣ преслѣдовать сестру мою Екатерину Васильевну Мережневу (для пущей важности я такъ и обозначила Катю, полнымъ именемъ и фамиліей)?.. Кажется, ужь она ничѣмъ не подала вамъ повода къ такому странному поведенію? Я не знаю, кто васъ училъ ма-

нерамъ... Вы, быть можетъ, воображаете, что хорошо и прилично безпокоить порядочную дѣвушку такимъ образомъ? Ну, такъ я чувствую себя принужденной сказать вамъ, что мнѣ стыдно за васъ! Вспомните, милостивый государь, что вы офицеръ...

Не помню, что я говорила дальше, знаю только, что въ этомъ-же родѣ я наговорила ему еще много несправедливыхъ, самонадѣянныхъ глупостей.

Офицерикъ потерянно переминался передо мной съ ноги на ногу. Сначала онъ попробовалъ-было усмѣхнуться, но усмѣшка вышла жалкой гримасой. Чѣмъ больше я кипятилась, тѣмъ уничтоженнѣе становился онъ, отчего я, въ свою очередь, говорила только громче и безпорядочнѣе и глупѣе. Я окончательно сошла съ рельсовъ и, по всей вѣроятности, кончила-бы свою полоумную тираду слезами.

Наконецъ, его терпѣнію пришла граница. Его нижняя губа дрогнула, онъ тряхнулъ своими неизящно подстриженными русыми волосами и заговорилъ:

— Семь бѣдъ — одинъ отвѣтъ-съ! Простите меня великодушно. Я не зналъ, я понятія не имѣлъ, что дѣлаю не такъ, какъ принято въ большомъ свѣтѣ. Вы свѣтскія, вы знаете, а намъ — гдѣ ужь намъ! Извините, я право-же не зналъ...

Не безъ затаеннаго ужаса я вдругъ сознала, что на насъ обращено общее вниманіе. Танецъ пріостановился, ближайшія пары танцующихъ прислушивались, заинтересованныя. Старшая наша сестра, завидѣвъ съ другого конца ротонды, что въ нашей группѣ происходитъ какая-то кутерьма, шла къ намъ со встревоженнымъ и недоумѣвающимъ лицомъ. Катя, все еще стоя подъ недоста

точнымъ прикрытіемъ моей спины, плакала, даже и не пробуя скрыть свои слезы отъ непрошенныхъ любопытныхъ взглядовъ.

Причисленіе насъ съ Катей къ «большому свѣту» подкупило меня; да и кромѣ того, офицерикъ извинялся такъ искренне и такъ глубоко чувствовалъ свою вину. Мое взбудораженное краснорѣчіе дало внезапную осѣчку, и меня опять потянуло домой, въ нашу дѣтскую. Да и всѣмъ намъ слѣдовало-бы угомониться и покончить нашу нелѣпую стычку...

Но не тутъ-то было.

Князь Коловницынъ, танцуя котильонъ со мною, чувствовалъ, что его права въ нѣкоторомъ родѣ распространяются на меня, хотя временно, но все-же несомнѣнно. Князь Коловницынъ былъ почти такъ-же молодъ и зеленъ, какъ и мы съ Катей, и, конечно, много глупѣе и чванливѣе насъ. Какъ-же ему было упустить такой подходящій случай выказать въ блестящемъ свѣтѣ превосходство своихъ столичныхъ гвардейскихъ манеръ надъ манерами армейскими и не столичными!

Онъ пустилъ предательскую, невеликодушную стрѣлу въ отступавшаго съ урономъ непріятеля:

— Га-спадинъ офицеръ, позвольте мнѣ, какъ дирижеру, замѣтить вамъ, что ваше поведеніе неприлично и не служитъ къ чести вашего мундира.

Офицерикъ остановился и даже руками взмахнулъ безпорядочно и безпомощно, словно отъ электрическаго удара. Прошла минута молчанія.

— Позвольте и мнѣ вамъ замѣтить, господинъ офицеръ, отвѣтилъ онъ такъ сдержанно и спокойно, что я даже удивилась:—что то, что я могу терпѣливо выслушать и вынести отъ женщины,— отъ васъ я сочту оскорбленіемъ. Сдѣлайте мнѣ

честь объясниться со мною, какъ офицеръ съ офицеромъ, когда и гдѣ вамъ угодно, но не здѣсь,— не при посторонней публикѣ.

«Господи! Дуэль!» мелькнула мнѣ мысль, поразивъ меня какъ громомъ.

Одной изъ способностей моего воображенія, которое стоило мнѣ многихъ горестей и разочарованій и въ послѣдующей моей жизни, была способность мечтать удивительно живо и картинно. Въ ранней молодости я любила изображать въ этихъ мечтахъ свою совсѣмъ неблистательную и незамѣтную личность поразительной, роскошной, всепобѣдительной красавицей. Разъ отождествивъ себя съ этимъ вымысломъ своего воображенія, я часто представляла себѣ, какъ всѣ мужчины въ меня влюблены, какъ они всѣ изъ-за меня съ ума сходятъ и убиваютъ другъ друга до смерти на дуэляхъ. Но когда въ этотъ вечеръ эти праздныя и нездоровыя фантазіи неожиданно покусились принять окраску дѣйствительности, позолота марева слетѣла съ нихъ какъ пыль. Результатъ получился такой, какого въ мечтахъ своихъ я ужь никакъ себѣ не представляла.

Я такъ перепугалась и такъ потерялась, что, свѣта не взвидя, бросилась къ мамѣ, которая уже успѣла подойти, предупрежденная старшей сестрой.

Повезли насъ, несчастныхъ, домой.

Катя всхлипывала, вытирая слезы уголкомъ своей шали, такъ-какъ ея тоненькаго, бальнаго носового платочка ужь никакъ не могло хватить на такое море слезъ. Я упорно отмалчивалась на всѣ мамины распросы, а на сердцѣ у меня было такъ тяжело и смутно. Фонарики по сторонамъ дороги, манившіе меня только за нѣсколько часовъ передъ этимъ въ такую веселую, увлекательную даль, тухли и печально мерцали...

На другой день темныя тучи съ утра заволокли нашъ семейный горизонтъ. Мама ходила переконфуженная и огорченная и шепталась съ няней и со старшей нашей сестрой. Папа даже и говорить съ нами не сталъ, едва отвѣтивъ намъ, когда мы пришли съ нимъ здороваться передъ завтракомъ. Вообще всѣ старшіе словно сговорились не замѣчать насъ.

Позже, изъ-за затворенныхъ дверей отцовскаго кабинета, до моего тонкаго слуха долетѣлъ-таки маминъ, чуть-что не плачущій голосъ:

— Говорила я тебѣ, Василій Петровичъ, рано имъ еще! Дѣти онѣ еще совсѣмъ...

И потомъ папинъ сердитый отвѣтъ:

— Твое, матушка, дѣло!.. Тебѣ было-бы за дѣвчонками смотрѣть. Скажите на милость, скандалы выдумали заводить... Срамъ этакій!

Только послѣ обѣда были обнародованы его распоряженія на нашъ счетъ: во-первыхъ, когда гости въ домѣ, держать насъ въ дѣтской; во-вторыхъ, всѣ платья наши укоротить; въ третьихъ, всякіе выѣзды и увеселенія совершенно отложить на цѣлый годъ.

Прощай мое черное шелковое платье со стеклярусомъ! Прощай взрослость, прощай свѣтскость и независимость!...

Ввечеру я отпросилась въ соборъ. И какъ горячо я молилась, чтобы Богъ смиловался надъ нами и уладилъ всѣ наши глупости! Огорченное, смущенное лицо офицерика, съ дѣтски-дрожащей нижней губой, такъ и стояло передо мной. Господи, какъ я боялась, что князь Коловницынъ убьетъ его, какъ ясно мое несчастное воображеніе рисовало мнѣ его раненымъ, блѣднымъ, мертвымъ!..

Возвращаясь изъ собора, я повстрѣчала развеселаго и удалого полковника Оржецкаго.

— Вотъ такъ-такъ, барышня! едва поздоровавшись, началъ онъ.—Въ городѣ слышно, вы у насъ покорительницей сердецъ оказываетесь. Ссоры изъ-за васъ, дуэли! Хвалю, барышня,—далеко пойдете!

Полковникъ Оржецкій вдругъ показался мнѣ такъ противенъ, съ его подхваченною грудью колесомъ, его длинными, молодецки прикрученными усами, про которые онъ говорилъ, что они ему «служатъ для нанизыванія женскихъ сердецъ», и его развязнымъ, безцеремоннымъ тономъ.

Я чуть-было опять не стала на-дыбы. Но на душѣ у меня было такъ смутно и горько, что въ словахъ моихъ не оказалось и тѣни обычной бойкости, когда я принялась объяснять ему, какъ было дѣло, стараясь выгородить себя и Катю и вообще дать ему такое впечатлѣніе, что все случилось само собой, а мы совсѣмъ не виноваты.

— Толкуйте тамъ! махнулъ онъ рукою.—Или у меня во лбу глазъ нѣтъ? Не даромъ-же я почитай что всю жизнь на васъ, бабъ, убилъ. Какой-же зрячій человѣкъ изъ вчерашнихъ взглядовъ этого злополучнаго птенца не понялъ-бы, что сестричка ваша Катенька, дѣйствительно, ни въ чемъ не повинна, а вы-то и есть самый корень зла, волшебница-приворотница!.. Катенька только вродѣ какъ лѣстничкой ему служила, по которой онъ надѣялся добраться до васъ, такъ-какъ обратиться къ вамъ самой—духа не хватало! Но царицей его сердца были, ужь разумѣется, вы. Такъ-то-съ, барышня! Поучайтесь премудрости,—практикуйтесь... Современемъ толкъ изъ васъ выйдетъ.

«Старый дуракъ!» атестовала я его мысленно, хотя до тѣхъ поръ онъ мнѣ никогда не казался такимъ, даже совсѣмъ напротивъ.

На слѣдующій день чистѣйшій случай при-

велъ меня къ подъѣзду нашего дома въ одно время съ почтальономъ и далъ мнѣ, такимъ образомъ, возможность получить письмо, которое, хотя и было предназначено мнѣ, ужь никакъ не попало-бы въ мои руки, еслибъ не этотъ чистѣйшій случай.

Письмо было адресовано незнакомымъ почеркомъ «милостивой государынѣ, ея высокоблагородію, госпожѣ Анастасіи Васильевнѣ Мережневой, въ собственныя руки, конфиденціально».

Оно было написано съ такими росчерками, то крупно, то мелко, и вообще такъ тщательно, что очевидно авторъ его былъ озабоченъ нетолько содержаніемъ его и стилемъ, но даже и калиграфіей.

Надо-ли говорить, отъ кого оно было?

Кромѣ выраженій рабской преданности по гробъ жизни, кромѣ удостовѣреній въ готовности смыть кровью своей оскорбленіе, если я считаю обожаніе его таковымъ, и заплатить жизнью за нѣсколько часовъ неожиданнаго счастія и т. д.,—въ этомъ письмѣ было нѣсколько погрѣшностей противъ общепринятаго правописанія... Словомъ, письмо было глупенькое, высокопарное, безграмотное, но такое чистое, искреннее и честное!

Въ своемъ страхѣ попасться старшимъ, я тогда-же сожгла его,—о чемъ и до сихъ поръ жалѣю...

Вечеромъ я долго не могла заснуть. Ужь очень о многомъ мнѣ пришлось передумать въ эти короткіе два дня. Я знала, что Катя тоже не спитъ (она еще нѣсколько дней ходила съ заплаканными глазами, но скоро потомъ забыла этотъ бурный эпизодъ нашей ранней молодости окончательно и безслѣдно). Она ворочалась у себя на постели даже съ какимъ-то ожесточеніемъ. Но говорить мнѣ не хотѣлось, и я лежала, не подавая и виду,

что не сплю. Наконецъ, она сбросила одѣяло и сѣла, спустивъ ноги на полъ.

— Настя, послушай, Настя... Я все не сплю, и знаешь, что я думаю? Послушай, какія мы скверныя и глупыя! Вѣдь, какъ мы его, бѣднаго, разогорчили и разобидѣли, а между тѣмъ, что онъ такое сдѣлалъ? Ничего дурного онъ не сдѣлалъ. И знаешь, что мнѣ теперь кажется? Мнѣ кажется, что онъ чуть-ли не единственный считалъ насъ порядочными и хорошими...

И дѣйствительно, я теперь соглашалась съ сестрой, что напрасно такъ его огорчила и обидѣла! А между тѣмъ онъ первый далъ мнѣ понять, что есть на свѣтѣ люди, умѣющіе относиться къ женщинѣ съ искреннимъ благоговѣніемъ, безъ самолюбиваго и мелочного желанія дать поблажку своему тщеславію, а нето еще болѣе грязненькимъ страстишкамъ.

Къ нашему, съ Катей, счастью, никакой дуэли не состоялось. Съ одной стороны въ дѣло вмѣшались губернаторъ съ губернаторшей, съ другой— командиръ полка, хотя задавшій-таки порядочный нагоняй своему подчиненному «за неумѣнье вести себя прилично въ обществѣ», но стремившійся довести полкъ въ порядкѣ на мѣсто военныхъ дѣйствій и ужь никакъ не желавшій терять своихъ офицеровъ по пустякамъ.

Тѣмъ не менѣе, нашъ «офицерикъ» не зажился на этомъ свѣтѣ и «пира жизни» никакого не видѣлъ. Осенью этого-же года онъ былъ изрубленъ на куски въ стычкѣ съ турками, гдѣ-то за Ахалцыхомъ.

Съ тѣхъ поръ прошло столько долгихъ лѣтъ, но и теперь его лицо нѣтъ-нѣтъ да и воскреснетъ передо мною, то съ выраженіемъ рыцарскаго обожанія, то горестно-заискивающее, недоумѣваю-

щее,—просящее пощады... Но каково-бы ни было выраженіе на этомъ лицѣ, мнѣ всегда и жутко, и пріятно видѣть его передъ взоромъ моей памяти.

— Теперь я даже и фамиліи его не припомню, заключала разсказы свои моя добрая знакомая, и затѣмъ умиленно вздыхала:

— Бѣдный мой офицерикъ, — да отпуститъ онъ мнѣ невольное прегрѣшеніе моей юности!

Вѣра Джонстонъ.

Демонъ вѣка.

Онъ блѣденъ, мраченъ, какъ злодѣй,
Таящій пагубное дѣло...
Змѣей онъ вползъ въ сердца людей —
И хитрой власти нѣтъ предѣла!
Не заставляетъ онъ гремѣть
Свой мощный голосъ вмѣстѣ съ бурей
И — какъ расплавленную мѣдь —
Вливать въ сердца всю ярость фурій...
Не смотритъ съ сумрачной скалы
Съ улыбкой ѣдкой въ міръ презрѣнный,
Надъ суетою жизни тлѣнной
Паря какъ горные орлы...
Онъ съ нами, здѣсь — гдѣ блескомъ залитъ
Веселый пиръ, гдѣ шумъ и смѣхъ, —
Змѣей скользитъ, шипитъ и жалитъ
И на порокъ толкаетъ всѣхъ...
Онъ людямъ льститъ, поя отравой
Грѣхорожденнаго ума, —
И совѣсть блѣдная нѣма
Предъ рѣчью жгучей и лукавой!
Разрушенъ прежній пьедесталъ,
Духъ зла развѣнчанъ — бредъ красивый...
Какъ жалкій демонъ блѣденъ сталъ!
Какъ не похожъ онъ — суетливый,
Низкопоклонный и пустой —
На искусителя Тамары
Съ его угрюмой, полной чары,
Неотразимой красотой!..

В. Лебедевъ.

НЕ ВЫДЕРЖАЛЪ.

(Рождественскій разсказъ).

«Le son—c'est l'âme tremblante».

A. Fouillet.

I.

Я собирался давно къ Палаузову и наконецъ собрался.

Навѣстить его было необходимо, во-первыхъ, потому, что онъ былъ мой товарищъ, съ которымъ мы просидѣли рядомъ весь нашъ университетскій курсъ, съ перваго до четвертаго; во-вторыхъ, потому, что я давнымъ-давно далъ ему обѣщаніе пріѣхать къ нему въ деревню, хотя признаюсь откровенно, что исполненіе этого обѣщанія меня нисколько не соблазняло.

Еслибъ это было иначе, то я навѣрно давно-бы былъ у него, потому-что мы жили другъ отъ друга всего въ двадцати-четырехъ верстахъ.

Товарищество наше въ университетѣ нисколько не сблизило насъ, хотя мы и просидѣли всѣ четыре года рядомъ на одной студенческой скамейкѣ. Разница здѣсь была не въ годахъ (мы оба были однихъ лѣтъ), а въ общественномъ положеніи, главное, во взглядахъ на вещи.

Онъ былъ помѣщикъ довольно богатый, я былъ просто управляющій у богатаго князя Д. Онъ былъ нелюдимъ, почти мизантропъ, философъ, а я, грѣшный человѣкъ, никогда не любилъ никакой философіи и всегда держался одного правила: коли живешь на свѣтѣ, такъ надо жить. Вслѣдствіе этого, я постоянно гналъ изъ головы всякія фантасмагоріи и дѣлалъ дѣло, а не гамлетничалъ. Вслѣдствіе этого, я почти въ 40 лѣтъ былъ здоровъ и крѣпокъ, чего и каждому отъ всей души желаю. Положимъ, что ростъ мой не изъ крупныхъ, въ немъ не болѣе 2 арш. съ 1 верш., но я не желаю быть болѣе высокимъ.

Я давно уже, лѣтъ 10, какъ женатъ, и у меня трое мальчугановъ такихъ-же крѣпкихъ и здоровыхъ, какъ я самъ. Точно также и жена моя отличается надежнымъ здоровьемъ. Она выше и массивнѣе меня. И всѣ наши общіе интересы сосредоточены на нашемъ семейномъ и деревенскомъ хозяйствѣ.

Мой товарищъ Константинъ Никандрычъ Палаузовъ былъ женатъ около года тому назадъ, но жена его уже умерла, и дѣтей у него не было. По странной прихоти вкуса (другимъ ничѣмъ я не могу это объяснить), онъ женился зная почти навѣрное, что жена его должна скоро умереть. И они жили болѣе года съ мыслью, что ихъ союзъ недолговѣченъ и что ей предстоитъ смерть, можетъ быть, въ очень скоромъ времени: у ней былъ наслѣдственный аневризмъ.

Время для моего посѣщенія палаузовской усадьбы я выбралъ, разумѣется, наиболѣе для меня удобное. Проведя первый день Рождества въ моей семьѣ и съ моими добрыми знакомыми, я на другой день велѣлъ заложить тройку караковыхъ въ обиходныя, легкія санки, и мы отправились съ Ми-

шукомъ на козлахъ — моимъ привычнымъ, завсегдашнимъ возницей.

День былъ теплый. Легкій снѣжокъ чуть-чуть порошилъ дорогу, и черезъ два часа съ небольшимъ мы подъѣзжали къ Арѣскову—усадьбѣ Палаузова. Усадьба была заброшена и своеобразна. Село было довольно большое, но неуклюже построенное. Мужики жили бѣдно, прижимисто, хотя и считались самыми богатѣйшими во всемъ околоткѣ.

Домъ въ усадьбѣ былъ старинный, каменный помѣщичій домъ. Онъ былъ выстроенъ еще въ прошломъ столѣтіи и своей архитектурой, неуклюжей и вычурной, напоминалъ дома и дворцы во вкусѣ Растрелли. Дворъ, огороженный чугунной рѣшоткой, былъ усаженъ старыми елями, и всякій разъ какъ я въѣзжалъ въ него, какое-то жуткое чувство невольно западало мнѣ на душу. Огромный садъ изъ вѣковыхъ, тѣнистыхъ деревьевъ примыкалъ къ дому съ противоположной стороны, такъ-что весь онъ казался какъ-бы окружоннымъ старымъ тѣнистымъ лѣсомъ.

Рѣшотчатыя ворота были отворены. Молча въѣхали мы въ аллею изъ елей и подъѣхали къ высокому крыльцу. Молча взошолъ я на это крыльцо по каменнымъ ступенямъ и съ усиліемъ отворилъ большія дубовыя двери. Все было старо, заброшено; на всемъ «лежала печать времени», какъ говорятъ поэты.

«Сломать-бы этотъ домъ, думалъ я, и на мѣсто его выстроить простенькій, но веселенькій, свѣженькій, хоть-бы деревянный домикъ. Гніетъ, разрушается... Ни себѣ въ красу, ни людямъ въ пользу».

Я вошолъ въ переднюю—большую и мрачную, которая казалась еще мрачнѣе отъ двухъ толстѣйшихъ колоннъ, стоявшихъ подлѣ высокой и широкой лѣстницы, ведущей во второй этажъ.

У конника, направо, сидѣлъ на низенькой скамейкѣ Никитичъ, — дряхлый, сѣдой старикъ, — и что-то портняжилъ. Это былъ единственный оставшійся у Палаузова отъ сотни прежнихъ крѣпостныхъ слугъ и не желавшій бросить барина, которому служилъ уже болѣе четверти вѣка. Это былъ страстный и безкорыстный угодникъ крѣпостничества. Онъ сжился съ барскимъ дворомъ, съ барской усадьбой, съ барской грозой и лаской. Оба—и онъ, и баринъ—были одинокіе, точно забытые судьбой и временемъ, и оба вмѣстѣ съ домомъ и садомъ медленно, но неизбѣжно разрушались.

II.

— Здравствуйте, сударь, Александръ Павлычъ! встрѣтилъ меня Никитичъ.—Давненько къ намъ не изволили жаловать.

И онъ заторопился снимать съ меня шубу и теплые сапоги.

— Ну, что? Какъ Константинъ Никандрычъ?

— Ничего, сударь, слава Богу! Ничего... Живемъ помаленьку. Сейчасъ доложу-съ.

Но я остановилъ его и пошолъ самъ, безъ доклада. Дорога мнѣ была знакома. Кабинетъ Палаузова былъ внизу; надо было пройти двѣ большихъ комнаты и небольшую токарню.

Я раздвинулъ темныя, тяжолыя портьеры и вошолъ въ большую комнату, въ которой было четыре окна и два изъ нихъ были завѣшаны шторами.

Въ серединѣ, за большимъ письменнымъ столомъ, сидѣлъ мой старый однокашникъ.

Онъ нисколько не измѣнился въ этотъ годъ, хотя и пережилъ страшное, тяжолое горе—потерю любимой жены. Только длинные волосы его нѣ-

сколько посѣдѣли. Такое-же худощавое лицо, съ высокимъ, выдавшимся лбомъ, безъ усовъ и бороды, казалось удивительно моложавымъ, такъ-что ему нельзя было дать болѣе 25 лѣтъ; и эта, кажется, никогда не измѣнявшая ему, добрая, радостная улыбка; и добрые, радостные глаза, темно-голубые, задумчивые и восторженные.

— А!... Вотъ сюрпризъ!

Встрѣтилъ онъ меня радостно, крѣпко обнялъ меня, и мы расцѣловались. И при этомъ поцѣлуѣ во мнѣ опять проснулась прежняя, дружеская, товарищеская пріязнь, и я невольно подумалъ: какъ-бы было хорошо, еслибы и всѣ люди относились всегда другъ къ другу такъ-же искренно и просто! Но разумѣется, эта мысль только на одно мгновеніе скользнула въ моемъ мозгу и исчезла какъ молнія.

— Что, я тебѣ не помѣшалъ?.. А? спросилъ я его.

— Чѣмъ-же ты мнѣ можешь помѣшать? Да и кто можетъ мнѣ помѣшать? спрашивалъ онъ, крѣпко пожимая мою руку.

— Твоимъ философскимъ размышленіямъ?..

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Да и что это за занятіе—«философское размышленіе»? Люди выдумали философію, а въ сущности или въ реальности она не существуетъ... Каждый человѣкъ обязанъ думать... Данъ ему разумъ, онъ и долженъ разсуждать, обдумывать каждое дѣло, каждый свой шагъ, каждую мысль... Онъ долженъ это дѣлать по своей организаціи, а тутъ выдумали какую-то науку!.. Философію!.. И сдѣлали изъ нея отдѣльную каѳедру!.. Когда-же люди уразумѣютъ истину?!..

— Ну!.. Это ты, по обыкновенію, преувеличиваешь, сказалъ я.—Какъ-будто нѣтъ разницы между обыкновеннымъ, обиходнымъ строемъ нашихъ

мыслей и разсужденій и между философскими положеніями и выводами? Припомни «метафизика» Хемницера.

— Да право-же нѣтъ! Это все люди выдумали... Я знаю только одну философію... Да ты съ дороги вѣрно хочешь чего-нибудь закусить? А я-то пустился въ разсужденія о философіи... И онъ быстро подошолъ къ портьерѣ, распахнулъ ее и закричалъ: — Никитичъ! Никитичъ! Этакій старый жолудь!.. Совсѣмъ оглохъ!..

И онъ двинулся по направленію къ передней.

— Да ты не хлопочи! возражалъ я.—Я закусилъ передъ отъѣздомъ.

Но Палаузовъ расходился и велѣлъ приготовить завтракъ. Поваръ у него былъ тоже старый, но хорошій поваръ.

— Я, знаешь, живу здѣсь точно въ заколдованномъ, сонномъ царствѣ, говорилъ онъ, вернувшись въ кабинетъ.—Все у меня совершается въ положенное время, точно заведенные часы.

— И не скучно тебѣ?

— Нѣтъ, я привыкъ! Напротивъ, я, кажется, скучалъ-бы, еслибы кругомъ меня была суматоха жизни... А теперь... Я хожу, думаю, читаю. Тишина мертвая... Посмотрю кругомъ... точно все спитъ.

Я невольно оглядѣлъ комнату. Стѣны ея были изъ стараго дуба. Онѣ совсѣмъ почернѣли и смогрѣли чѣмъ-то средневѣковымъ. Полъ-паркетъ почти весь расщелялся и расклеился. Диваны обиты темно-зеленымъ, полинялымъ и потертымъ трипомъ. Шкафы, тоже дубовые, всѣ полны книгъ. Каминъ тоже какой-то средневѣковой, громадный. Все взятое вмѣстѣ производило удивительно грустное впечатлѣніе.

— И тебѣ не жутко здѣсь? По вечерамъ или по ночамъ? спросилъ я.

Онъ отвѣтилъ не вдругъ и отвѣтилъ, по обыкновенію, вопросомъ:

— Что такое «жутко»? Я не понимаю этого слова... Я страха человѣческаго не знаю и не признаю.

— Вотъ какъ! удивился я и пристально посмотрѣлъ на него.

Приэтомъ я вспомнилъ, что еще въ университетѣ онъ отличался какой-то удивительной храбростью. Эта храбрость была, кажется, сродни апатіи. Онъ былъ всегда невозмутимъ и все встрѣчалъ съ однимъ неизмѣннымъ афоризмомъ: «Что будетъ, то будетъ, и мнѣ до этого нѣтъ никакого дѣла».

— Я думаю, сказалъ онъ,—что всякій страхъ происходитъ оттого, что мы слишкомъ привязаны къ жизни и боимся ее потерять. Я живу потому, что судьба или Богъ далъ мнѣ жизнь... И я стараюсь какъ можно меньше объ ней заботиться.

И съ этими словами онъ тихо опустился на широкій диванъ и хлопнулъ по немъ. Я сѣлъ подлѣ него.

— И вотъ почему, продолжалъ онъ,—я не думаю ни о жизни, ни о смерти... Все идетъ—какъ оно идетъ... Я постарался проникнуть въ смыслъ нашей жизни...—Онъ вдругъ остановился, какъ-бы прислушиваясь къ чему-то, пробормоталъ: «Нѣтъ, ничего!» и снова продолжалъ:—И все ничего. Все односторонность... И человѣчество напрасно думаетъ, что оно когда-нибудь можетъ понять или разрѣшить неразрѣшимое.

— А если это неразрѣшимое не существуетъ? вдругъ осадилъ я его.—Если это неразрѣшимое одна наша фантазія?

Онъ какъ-то задумчиво взглянулъ на меня ис-

подлобья и проговорилъ тихо, но съ такимъ твердымъ убѣжденіемъ:

— Нѣтъ! Оно есть!.. Оно кругомъ насъ. Только необходимо, чтобы мы могли его видѣть или слышать.

И въ эту самую минуту мнѣ казалось, что я дѣйствительно повѣрилъ, что это невидимое существуетъ и что оно кругомъ насъ... И какъ-бы въ подтвержденіе этого раздался какой-то глухой трескъ, такъ-что у меня поневолѣ пробѣжала дрожь по спинѣ.

— Что это у тебя? спросилъ я его.—Паркетъ что-ли сохнетъ?

— Дда! сказалъ онъ неохотно. — Мы часто слышимъ такіе трески, шумы, стуки и объясняемъ ихъ такъ, какъ это слѣдуетъ по нашей обыденной логикѣ и согласно здравому смыслу...

Но тутъ на меня вдругъ налетѣлъ здоровый припадокъ смѣха... И я потрепалъ его по колѣнкѣ.

— Мистицизмъ! Милый мой, мистицизмъ!. Смотри, не сдѣлайся спиритомъ.

Онъ пожалъ плечами и ничего не сказалъ. Въ это время Никитичъ заявилъ, что завтракъ поданъ.

III.

Мы отправились въ столовую, которая была наверху во второмъ этажѣ.

Намъ подали карасей въ сметанѣ, прекрасно зажареннаго тетерева съ маринованными китайскими яблочками и такъ-же прекрасно сдѣланный тортъ со сливками.

Мы принялись разсуждать о политикѣ... Удержится Метернихъ и не будетъ-ли у насъ война съ Турціей?.. Потомъ вспоминали нашу студенческую

жизнь, нашихъ товарищей, студенческія проказы и похожденія. Вспоминали черноглазую юлу Дуню, извѣстную подъ именемъ Дуняшки Валбергской. Впрочемъ, должно замѣтить, что къ этимъ послѣднимъ воспоминаніямъ мой Константинъ былъ совершенно равнодушенъ.

Послѣ завтрака мы проѣхались по деревнѣ. Проѣхали на каменныя ломки, гдѣ добывался бутнякъ. И такъ незамѣтно у насъ прошло время до обѣда.

Послѣ обѣда я началъ собираться домой, но Константинъ напалъ на меня съ такой энергіей, которой я даже не подозрѣвалъ въ немъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! говорилъ онъ.—Ты уже по-товарищески подари мнѣ цѣлый день, не обрѣзывая... А завтра, коли тебѣ очень нужно, поѣзжай на здоровье—и скатертью дорога...

Я остался... И дѣйствительно, послѣ обѣда напало на меня такое блаженное сонное состояніе, что я невольно дремалъ въ томъ мягкомъ, покойномъ креслѣ, въ которое усадилъ меня хозяинъ послѣ обѣда.

— Поди-ка, я тебѣ еще что покажу, сказалъ онъ, взявъ меня подъ руку.

Я не сопротивлялся и, пошатываясь, пошолъ за нимъ. Онъ привелъ меня въ полутемную комнату, въ которой стояла очень мягкая, покойная кровать.

— Попробуй, сказалъ онъ. — До вечера еще далеко. Надо подкрѣпить силы.

Я не заставилъ его упрашивать себя, пробормоталъ спасибо, повалился и почти тотчасъ-же заснулъ.

Я проспалъ почти до 9 часовъ. Меня разбудилъ какой-то шорохъ. Я проснулся, опомнился, осмотрѣлся, всталъ съ постели. Нашолъ спич-

ки—зажогъ. Но сонъ не желалъ еще оставить меня въ покоѣ. Я чувствовалъ, что я сижу, сижу на мягкомъ, покойномъ креслѣ и дремлю. Какой-то слабый, едва слышный шорохъ раздавался во всѣхъ углахъ. Я чувствовалъ, что я не сплю, но мнѣ трудно было разжать глаза мои, они слипались. И вмѣстѣ съ тѣмъ я ясно сознавалъ, что тутъ, рядомъ съ этой комнатой, въ которой я сидѣлъ, кто-то стоитъ и ждетъ меня, чувствовалъ, что я долженъ встать и войти въ ту комнату, и это именно обстоятельство наполняло все мое сердце какимъ-то нестерпимымъ ужасомъ. Я ясно чувствовалъ, какъ усиленно билось это сердце и кровь стучала въ вискахъ.

Наконецъ, подъ вліяніемъ этого неодолимаго побужденія, я быстро поднялся съ кресла и отворилъ дверь въ сосѣднюю комнату... Въ ней никого не было и было темно. Но въ первое мгновенье, какъ я вошолъ въ нее, мнѣ послышался легкій шорохъ въ правомъ углу подлѣ камина, и что-то бѣловатое, легкое какъ паръ мелькнуло въ этомъ углу.

Я очень хорошо сознавалъ и ясно помню это даже и теперь, хотя уже прошло болѣе 20 лѣтъ съ тѣхъ поръ, помню, что я подумалъ: «Это былъ просто кошмаръ—и вотъ откуда создаются ночные страхи и разныя галлюцинаціи. Они являются отъ неправильнаго кровообращенія». Но въ то-же самое время вмѣстѣ съ этой мыслью я ясно сознавалъ, что это не такъ, что здѣсь есть что-то совсѣмъ другое, далекое отъ всякихъ галлюцинацій и правильности кровообращенія.

Я взялъ свѣчу, прошолъ нѣсколько комнатъ; вездѣ было темно. Сердце мое еще усиленно билось. Я сошолъ внизъ и нашолъ моего пріятеля попрежнему въ его кабинетѣ, всего погружоннаго въ какую-то глубокую думу.

— Ну что? Выспался? спросилъ онъ, приподнявъ голову и прямо смотря на меня.

— Выспался, пробормоталъ я.

— А я вѣдь знаю, отчего ты проснулся, знаю, отчего ты ходилъ со свѣчкой въ сосѣднюю комнату.

— Отчего?

— Тебя давилъ кошмаръ.

— Почему-же ты это знаешь?

Онъ ничего не отвѣтилъ и, вставши съ кресла, началъ задумчиво ходить по большой комнатѣ. Подошолъ къ камину, поправилъ въ немъ дрова. Потомъ снова подошолъ ко мнѣ въ то самое время, когда я обрѣзалъ кончикъ сигары, и сказалъ, положивъ руку мнѣ на плечо:

— Мы многое могли-бы знать, еслибъ захотѣли.

— Какъ! Еслибъ захотѣли?

— Мы отбрасываемъ тѣ знанія, которыя служили древнему человѣку, и ничего не хотимъ отбросить изъ того, что служитъ современному человѣчеству...

— Да что-же отбросить?

— Да все!.. Все это рутина, давно уже сгнившая и обветшавшая. Матерія, матерія, матерія... И ничего, кромѣ матеріи. До тѣхъ поръ пока будетъ продолжаться этотъ культъ матеріи и мамонѣ, до тѣхъ поръ мы ничего не будемъ знать и только будетъ плавать по-верху.

И онъ рѣзко отнялъ руку съ моего плеча и опять пошолъ своей медленной походкой къ камину. Затѣмъ, не дойдя до камина, онъ опять рѣзко повернулся и опять подошолъ ко мнѣ.

— Скажи, пожалуйста, сказалъ онъ,—думалъ-ли ты когда-нибудь о томъ, что такое жизнь и что такое смерть?

— Это надъ гамлетовщиной-то? Нѣтъ! Никогда и слава Богу!...

Но онъ перебилъ меня.

— О жизни написаны цѣлые трактаты... И мы до сихъ поръ не знаемъ, что такое жизнь...

— Потому, что ищемъ въ ней того, чего въ ней нѣтъ...

— О смерти тоже много написано, но мы знаемъ только, что она есть конецъ жизни... Такъ думаютъ по крайней мѣрѣ всѣ реалисты и матеріалисты, подобные тебѣ. А между тѣмъ...

И онъ замолкъ и какъ-будто къ чему-то прислушался.

— Между тѣмъ... Объясни, напримѣръ, почему я зналъ, что ты наверху, за нѣсколько комнатъ отъ меня, проснулся и именно проснулся въ 9 часовъ безъ 5 минутъ? Почему тебя мучилъ какой-то кошмаръ и тебѣ было нехорошо, жутко? Почему...

Онъ не договорилъ и сказалъ:

— Слушай!..

И вслѣдъ за этимъ словомъ я дѣйствительно услыхалъ...

Я услыхалъ рядъ стуковъ, шумовъ или звоновъ—я не знаю какъ ихъ назвать. Я услыхалъ первый ударъ въ сосѣдней комнатѣ, затѣмъ второй нѣсколько слабѣе и дальше... Затѣмъ третій, четвертый и такъ далѣе... Точно какъ будто-бы кто-то удалялся, проходя черезъ всѣ комнаты. Ихъ былъ довольно длинный рядъ, и проходя ихъ, онъ, этотъ нѣкто, постоянно ударялъ, хлопалъ по столамъ, по стульямъ и кресламъ, по стеклянной и фарфоровой посудѣ и по всему, что попадалось ему на пути.

При этомъ необычайномъ явленіи я чувствовалъ, какъ сердце мое опять сжалось, точно передъ

новымъ приступомъ кошмара, и я во всѣ глаза вопросительно смотрѣлъ на моего товарища.

IV.

— Чтобы объяснить тебѣ всю эту исторію, необходимо начать съ начала, сказалъ онъ и, подвинувъ ко мнѣ одно изъ креселъ, усѣлся на него, оперся обоими локтями въ колѣна и подставилъ обѣ руки подъ подбородокъ.

— Помнишь, мы разстались съ тобой въ маѣ. Была цвѣтущая весна, и ты отклонялъ меня тогда всѣми силами своего краснорѣчія отъ женитьбы. Согласись, что моя невѣста, а затѣмъ моя жена, необыкновенно гармонировала съ этой весной; что она была нѣжна какъ ландышъ и очаровательна какъ скромная, благоухающая фіалка. Но не подумай, чтобы меня соблазняла прелестная форма ея тѣла... Нѣтъ!.. Наши души любили другъ друга...

При этихъ словахъ полъ подлѣ моего кресла какъ-то странно, особенно треснулъ. Но я не обратилъ тогда на этотъ трескъ вниманія. Трещалъ полъ, трещала мебель... Все, очевидно, ссыхалось и коробилось отъ времени въ этомъ старомъ домѣ.

— Я и жена моя, продолжалъ разсказъ свой Константинъ, — были твердо убѣждены, что мы созданы другъ для друга... и притомъ я долженъ теперь открыть тебѣ одну изъ нашихъ семейныхъ тайнъ.

Онъ потупился и продолжалъ свой разсказъ съ очевиднымъ смущеніемъ:

— Ты, вѣроятно, помнишь, что я, еще бывши студентомъ, избѣгалъ цинизма и сладострастія, которому вы всѣ чуть не поклонялись ..

— Еще-бы этого не помнить! вскричалъ я. — Тебя мы всѣ прозвали «стыдливой дѣвственницей»...

Онъ началъ кивать головой и прошепталъ такъ тихо, что я едва могъ разслышать, что онъ сказалъ:

— Я и теперь, прошепталъ онъ,—остался такимъ-же...

Я удивленно посмотрѣлъ на него.

— Какъ-же? вскричалъ я.—Вѣдь ты былъ женатъ?.. Стало быть... и жена твоя?..

Онъ ничего не отвѣтилъ и только молча опять кивнулъ мнѣ.

Я съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него, и признаюсь откровенно, у меня даже въ душѣ шевельнулось какое-то озлобленіе и презрѣніе къ нему. «Бѣдная Еля! подумалъ я (такъ онъ звалъ свою покойную жену, которую звали Еленой Борисовной), ты умерла, не испытавъ счастья быть женщиной и матерью».

Но это чувство или скорѣе настроеніе скользнуло какъ тѣнь. Я припомнилъ эту Елю, взглянулъ на большой акварельный портретъ ея, который стоялъ передо мной на письменномъ столѣ, и подумалъ: «Ты и въ жизни была нѣжной, полувоздушной красавицей-фіалкой, какимъ-то безплотнымъ, полуфантастическимъ существомъ». Признаюсь откровенно, я не сочувствую такимъ созданіямъ. По моему, каждая вещь должна согласоваться съ ея назначеніемъ или, правильнѣе, съ ея употребленіемъ. Человѣкъ вполнѣ нормальный, правильно организованный, здоровый и вполнѣ уравновѣшенный,—вотъ мой идеалъ, если только нужны въ жизни идеалы.

— И знаешь-ли, сказалъ Константинъ,—такая жизнь мнѣ кажется совершенно нормальной и правильной.

— Слѣдовательно, природа, по твоему, должна быть передѣлана и человѣчество рано или поздно должно прекратить свое существованіе?

Я вскочилъ съ кресла, прошолся по комнатѣ и затѣмъ снова опустился на прежнее мѣсто. Такія мысли и воззрѣнія сильно волновали и возмущали меня тогда, да и теперь возмущаютъ.

— Человѣчество, сказалъ покойно Константинъ,—никогда не прекратится. Оно будетъ существовать до кончины міра... Нѣтъ, я говорю о званыхъ и избранныхъ.

— Къ послѣднимъ ты навѣрно и себя причисляешь?

— Я причисляю къ этой категоріи всѣхъ, которые поняли всю мерзость нашей земной, прозаической жизни и кто вѣритъ въ иную, свободную и правильную, нормальную жизнь.

— Ну, я въ нее не вѣрю, сказалъ я.

И какъ только я успѣлъ проговорить послѣднее слово, въ то-же самое время, направо, въ темномъ углу, раздался явственный, глубокій вздохъ. Я вздрогнулъ и вскочилъ со стула.

— Кто тамъ? вскричалъ я невольно.

Онъ пристально посмотрѣлъ на меня и улыбнулся.

— Это идеальное, тихо сказалъ онъ,—переходитъ въ реальное, чтобы дать тебѣ знать о своемъ присутствіи...

Я помню, какъ приэтомъ у меня явилось опять стѣсненіе въ груди, какъ отъ кошмара, и мнѣ страстно захотѣлось бѣжать дальше, какъ можно дальше отъ этого мѣста, изъ этой комнаты, оклеенной старымъ, почернѣлымъ дубомъ, и всей ея странной обстановки. Но я призвалъ на помощь все присутствіе духа и сказалъ ему:

— Послушай! Я ясно слышалъ вздохъ, человѣческій вздохъ... Тамъ, въ томъ углу... кто-то есть...

Онъ медленно всталъ со стула, взялъ лампу и съ улыбкой сказалъ:

— Пойдемъ, посмотримъ, есть-ли кто-нибудь тамъ или нѣтъ?

Онъ сказалъ это съ такимъ спокойствіемъ, съ такой самоувѣренностью, что я пошолъ за нимъ, хотя чувствовалъ, какъ сердце мое сжималъ невольный ужасъ.

Мы осмотрѣли уголъ; тамъ никого не было.

«Можетъ быть, подумалъ я, этотъ вздохъ раздался въ сосѣдней комнатѣ», и я посмотрѣлъ на дверь, ведущую въ эту комнату.

Онъ какъ-будто угадалъ мою мысль и, отворивъ эту дверь, вошолъ въ нее, высоко держа лампу надъ головой.

Въ этой комнатѣ тоже никого не было.

Мы молча повернулись, вошли снова въ кабинетъ и усѣлись на прежнія мѣста.

V.

— Послушай! сказалъ тихо Константинъ. — Случалось-ли тебѣ испытывать сильное чувство недовольства жизнью, недовольства своимъ безсиліемъ?

Я весь еще былъ подъ впечатлѣніемъ случившагося и не вдругъ могъ отвѣтить.

— Послѣднее, сказалъ я,—дѣйствительно случалось, но недовольства жизнью я никогда не испытывалъ... Были, признаюсь, очень трудныя времена... Но я боролся и горжусь моей борьбой...

— Нѣтъ, нѣтъ! прервалъ онъ меня.—Я не объ этомъ спрашиваю. Случалось-ли тебѣ испытывать такое чувство, что у тебя какъ-бы руки связаны, что ты видишь во всемъ предѣлъ и стѣсненіе... Наука ограничена, искусство еще болѣе... Жизнь наша... такъ-же ограничена... Куда ни взглянешь— вездѣ предѣлъ, вездѣ преграда... Ты какъ-будто

въ громадной темницѣ... Посреди обширнаго міра, посреди всей вселенной—и ты связанъ.

— Нѣтъ, такого чувства я не испытывалъ, сказалъ я,—и думаю, что никогда его не испытаю, потому-что... я умѣренъ въ своихъ желаніяхъ и никогда не ищу и не добиваюсь того, чего не могу получить... что не лежитъ въ самой природѣ вещей и въ ихъ порядкѣ.

Онъ пристально посмотрѣлъ на меня, пожалъ плечами и сказалъ тихо и робко:

— Я искренно сожалѣю о тебѣ... Я, напротивъ, часто, очень часто желалъ-бы быть какимъ-нибудь магомъ... чтобы меня не связывали условія времени и пространства... чтобы я былъ полный властелинъ матеріи... Кстати, вѣришь-ли ты въ существованіе времени и пространства?

— Этого вопроса я никогда не касался и не коснусь... Это чистѣйшая метафизика.

— Напрасно... Это чистѣйшій реализмъ, до котораго Кантъ дошолъ своимъ глубокимъ мышленіемъ... А не случалось-ли тебѣ испытывать другое чувство: когда ты былъ сильно возбужденъ, взволнованъ чѣмъ-нибудь, то у тебя сердце какъ-будто освобождалось изъ груди, билось восторженно и сильно... Тогда тебѣ хотѣлось всѣхъ любить и обнять весь міръ...

Я молча отрицательно повертѣлъ головой.

— Я всегда, сказалъ я,—избѣгалъ всякихъ фантазій и гордился и горжусь трезвою жизнью... Жизнь и наука имѣютъ свои законы. Надо имъ подчиняться, необходима дисциплина науки.

— И тебя никогда не связывала эта дисциплина?

— Никогда!

— Даже въ дѣтствѣ ты ничѣмъ не увлекался?.. Сказки тебя не занимали, изящная литература

тоже: я помню, съ какимъ пренебреженіемъ ты относился къ романамъ, которыми мы зачитывались... Но что-же тебя занимало и занимаетъ до сихъ поръ въ жизни? Я помню, какъ ты въ студенчествѣ все читалъ «Журналъ общеполезныхъ свѣдѣній» и дѣлалъ изъ него выписки; вѣдь былъ такой журналъ?

— Да, былъ...

— Помню, занимало тебя финансовое право и технологія... Когда у насъ открылся камеральный факультетъ, ты сейчасъ-же перешолъ въ него и меня перетащилъ.

— Развѣ ты раскаеваешься теперь въ этомъ?

— Н...нѣтъ, отвѣчалъ онъ, — университетская наука не имѣла на меня почти никакого вліянія... Я образовалъ себя самъ, помимо университета... Но я все-таки удивляюсь тебѣ и никакъ не могу понять...

— Чего?

— Какъ можно прожить всю жизнь съ такими взглядами и чувствами?

— Видишь, я прожилъ!..

— Ничѣмъ не увлекаясь, ничему не вѣря и не тяготясь жизнью?

Мы молча нѣсколько мгновеній смотрѣли другъ на друга, и мнѣ показалось, что онъ началъ къ чему-то прислушиваться.

— Ты слышишь? спросилъ онъ меня чуть слышно.

Но я ничего не слыхалъ. «Онъ галлюцинируетъ, подумалъ я; пожалуй и я поддамся той-же галлюцинаціи».

И въ то-же мгновенье я услыхалъ гдѣ-то вдали чуть слышную музыку. Что это была за музыка—я не могъ разобрать, но я ясно слышалъ гармоническое сочетаніе слабыхъ звуковъ и на-

чалъ прислушиваться. Оно стало слышнѣе, явственнѣе, такъ-что я могъ ясно разобрать, что это гдѣ-то вдали играетъ рояль. Съ каждой минутой я слышалъ лучше, отчетливѣе. Да, это играетъ рояль.

— Ты слышишь?! спросилъ онъ меня.—Слышишь?

Я молча кивнулъ головой — и въ то-же время почувствовалъ, какъ опять давишнее стѣсненіе и волненіе овладѣвали мной. Но это волненіе было нѣсколько иное. Страхъ не такъ ясно дѣйствовалъ теперь на меня, и эта музыка мнѣ удивительно нравилась. Она была до крайности мелодична и оригинальна. Въ ней не было отрывистыхъ, рѣзкихъ звуковъ. Все сливалось въ удивительно нѣжную, невыразимую мелодію.

— Кто это играетъ? спросилъ я.

Онъ ничего не отвѣтилъ и молча, съ страстнымъ, восторженнымъ взоромъ слушалъ чудную музыку. Я повторилъ вопросъ.

Онъ задумчиво посмотрѣлъ на меня и чуть слышно прошепталъ:

— Она!.. Еля!

Я почувствовалъ, какъ холодъ пробѣжалъ по моей спинѣ. А музыка продолжалась, продолжалась 10—15 минутъ. Она то усиливалась и какъ-будто приближалась, то снова умирала или, лучше, удалялась. Это было что-то новое, оригинальное, какая-то соната или каватина. Порой вдругъ эта чудная игра затихала, останавливалась и затѣмъ, послѣ короткаго перерыва, снова начиналась такими нѣжными, едва слышными звуками, точно далекая эолова арфа. Затѣмъ эти звуки росли, крѣпли, переходили въ форте, но это форте не поражало своей силой. Въ немъ не было ничего повелительнаго. Оно было страстно и глубоко.

Подъ эту музыку я обдумывалъ все, что тогда происходило въ моемъ присутствіи и что такъ глубоко взволновало и испугало меня. Помню, я пришолъ къ заключенію, что я, точно такъ-же, какъ и Константинъ, сдѣлался жертвою галлюцинаціи. У него эта галлюцинація развилась долгимъ упражненіемъ и затѣмъ передалась мнѣ съ такой-же силой и ясностью, какъ и полная дѣйствительность. Помню, что подъ конецъ эта музыка не возбуждала уже во мнѣ никакого страха, что я слушалъ ее съ полнымъ удовольствіемъ и даже пожалѣлъ, когда она замолкла.

Она прекратитась не вдругъ. Она начала ослабѣвать, прерываться на болѣе и болѣе долгіе промежутки и наконецъ совсѣмъ замолкла.

Мы оба сидѣли молча и ждали. Наконецъ Константинъ закрылъ глаза рукой и опустилъ голову.

Когда онъ снова поднялъ ее, то на глазахъ его какъ-будто были слезы.

VI.

— Объясни-же ты мнѣ, пожалуйста, вскричалъ я,—что-же все это значитъ?

Онъ не понялъ моего вопроса и смотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ.

— Кто это игралъ на роялѣ? дополнилъ я мой вопросъ.

— Ты хочешь слышать объясненіе? спросилъ онъ.

— Да, я желалъ-бы слышать его.

Онъ прошолся по комнатѣ, опустился на одинъ изъ дивановъ и тихо началъ говорить:

— Ты, вѣроятно, знаешь, что весь міръ состоитъ изъ колебательныхъ движеній, изъ колебаній невидимыхъ и непостижимыхъ для насъ частицъ...

— Хотя не знаю, но съ охотой готовъ это допустить.

— Эти движенія продолжаются въ безконечность и въ вѣчность, но только мы ихъ не замѣчаемъ... Мы не видимъ этихъ колебаній, если они продолжаются меньше $^1/_{10}$ секунды. Эти колебанія могутъ быть индивидуальны, т.-е. соединяться въ группы, принадлежащія каждому человѣку. Они носятъ всѣ свойства этого человѣка, весь его характеръ... Они могутъ быть громкими, ясными почти для всѣхъ ушей, или неслышными для самаго тонкаго музыкальнаго слуха. Они могутъ быть добрыми, любящими и злыми, пугающими. Всѣ явленія міра матеріальнаго и духовнаго и самъ человѣкъ выражается въ этихъ колебаніяхъ... Понялъ ты меня?

Я молча кивнулъ головой.

— Пойми-же, что эти колебанія совершаются съ удивительной, непостижимой быстротой. Этой быстротой онѣ преимущественно отличаются отъ нашихъ колебаній здѣшняго матеріальнаго міра. Наши глаза и уши приспособлены къ колебаніямъ сравнительно очень медленнымъ. Быстрые, частые колебанія принадлежатъ тому міру, который мы называемъ «невидимымъ», и дѣйствительно онъ невидимъ для нашихъ глазъ, но онъ существуетъ.

Послѣднія слова онъ произнесъ тихо, какъ-бы не довѣряя мнѣ и не рѣшаясь передать то, въ чемъ онъ убѣжденъ и святость чего я могу нарушить моимъ невѣріемъ, и замолкъ.

Я думалъ, что его объясненіе кончено. Но онъ быстро поднялъ голову и рѣзко сказалъ:

— Тѣ колебанія для насъ чужды. Да, да! Они болѣзненны для насъ. Вотъ почему ты испыталъ кошмаръ, стѣсненіе въ груди, когда они являлись тебѣ. Но я къ нимъ привыкъ... Боль ощущеній заглушается радостью, что я ее увижу... Ты понимаешь? Я чувствую грубость нашихъ ощущеній, и мнѣ

страшно и больно заставлять ее переводить изъ колебаній тѣхъ высокихъ тоновъ, которые ее окружаютъ тамъ, переводить въ міръ нашихъ низкихъ, грубыхъ колебаній... Но любя меня, она это дѣлаетъ... И этого мало, вихревыми колебаніями она захватываетъ частицы изъ окружающаго насъ матеріальнаго міра, и мы нашими грубыми глазами видимъ то, что она выдѣляетъ изъ ея нематеріальнаго міра. Ты понимаешь, какихъ страшныхъ усилій стоитъ ей сдѣлаться доступною для нашихъ чувствъ. Но я узнаю ея присутствіе, я привыкъ къ этимъ болѣе тонкимъ и быстрымъ колебаніямъ... Я слышу, напримѣръ, что она теперь невидимо здѣсь, около меня...

Я посмотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ и въ тоже время почувствовалъ опять страшное стѣсненіе въ груди и непреодолимый ужасъ. Мнѣ показалось, что, дѣйствительно, около насъ кто-то есть, кто-то присутствуетъ невидимо, а онъ продолжалъ свое объясненіе:

— Вотъ! Вотъ! говорилъ онъ —Слышишь? Слышишь? Она говоритъ мнѣ.

Но я ничего не слыхалъ.

— Бываютъ дни, когда она постоянно со мной, цѣлый день и вечеръ со мной... Но бываютъ дни, когда она исчезаетъ... Скучные, тяжелые дни!... Тогда все во мнѣ какъ-будто опускается, всѣ предметы какъ-будто въ туманѣ, какъ будто покрыты чернымъ флеромъ, черной дымкой. И это продолжается иногда цѣлыя недѣли, мѣсяцы—тяжелое, убійственное состояніе! Когда она со мной, то мнѣ бываетъ такъ-же тяжело дышать, меня давитъ, мое сердце почти совсѣмъ не бьется, пульсъ останавливается; но я терплю, я выдерживаю эти матеріальныя, тѣлесныя мученія: потому что передъ этими мученіями ничтожны тѣ страда-

нія убійственной тоски, которая накрываетъ меня въ ея отсутствіе... Я знаю, что надо выдержать, надо преодолѣть мою непривычку къ ея быстрымъ колебаніямъ, эту потребность моей ничтожной земной оболочки... Ахъ, повѣрь, что въ этихъ быстрыхъ колебаніяхъ скрыто все, все,—всѣ геніальныя мысли и чувства. И вотъ почему такъ трудно ихъ выдержать... Вотъ почему геніальность и сумасшествіе такъ близки другъ къ другу. Наша матеріальная оболочка, наше тѣло не можетъ выносить этихъ быстрыхъ колебаній, въ которыхъ выражается и высшая мудрость, и высшее чувство...

Онъ опустилъ голову, сдѣлалъ какое-то судорожное движеніе рукой и быстро, отрывисто заговорилъ:

— Вотъ! Вотъ! Она шепчетъ мнѣ. Она говоритъ мнѣ о какомъ-то подаркѣ.

И онъ весь потянулся, лицо его приняло страдальческое выраженіе. Онъ припалъ головой къ столу, и тихій, жалобный стонъ вырвался изъ его стѣсненной, сдавленной груди.

— Вотъ! проговорилъ онъ.—Смотри!.. Вотъ!..

И онъ быстро поднялъ голову. И въ то-же самое мгновенье я услыхалъ, что что-то упало передъ нами на столъ. Я вздрогнулъ и вскочилъ со стула.

На бумагахъ, которыя лежали на столѣ, очутился маленькій букетикъ изъ ландышей, фіалокъ и миртъ.

Онъ съ трудомъ дышалъ. Онъ схватилъ меня за руку и прошепталъ съ усиліемъ, припавъ головой къ моей рукѣ:

— Ахъ, если-бъ ты зналъ, какъ это трудно, тяжело... вынести... И вотъ... вотъ почему... мы такъ рѣдко, какъ-бы случайно, видимъ невидимое. А оно есть... оно кругомъ насъ...

И какъ-бы въ подтвержденіе этихъ словъ, раздался рѣзкій ударъ въ оконное стекло. Точно будто кто-то бросилъ небольшимъ камнемъ въ это окно. И при этомъ стукѣ на меня напалъ такой страхъ, что я опрометью бросился вонъ въ сосѣднюю комнату. Но въ этой комнатѣ была тьма кромѣшная. Тамъ было пусто. Я опомнился и вернулся назадъ.

Очевидно, что возбужденіе моихъ нервовъ достигло своей вершины. Я опустился на одинъ изъ дивановъ, закрылъ глаза руками, закрылъ уши, чтобы ничего не видѣть и не слышать, и такъ просидѣлъ минутъ пять или десять.

Волненіе утихло. Разсудокъ вернулся... Я открылъ глаза. Константинъ попрежнему сидѣлъ на креслѣ, опустивъ голову. Онъ держалъ въ обѣихъ рукахъ букетикъ живыхъ цвѣтовъ и, какъ мнѣ показалось, нѣжно цѣловалъ его.

Я потихоньку всталъ и подошолъ къ нему. Онъ протянулъ ко мнѣ букетикъ. Лицо его все дышало восторженностью. На глазахъ блестѣли слезы.

Я машинально взялъ изъ его рукъ цвѣты и сталъ разсматривать ихъ. Въ нихъ не было ничего необыкновеннаго. Необыкновенно было только то, что они были совершенно свѣжіе, живые, а на дворѣ былъ декабрь, было Рождество.

Впрочемъ, они могли быть принесены изъ какой-нибудь оранжереи... Но кѣмъ и какъ?..

VII.

Былъ уже первый часъ ночи, когда я ушолъ къ себѣ на-верхъ, въ ту комнату, въ которой я спалъ днемъ. Тамъ была приготовлена мнѣ по-

стель. Константинъ проводилъ меня и пожелалъ мнѣ доброй ночи.

Онъ былъ, очевидно, страшно утомленъ, какъ-бы разбитъ, съ трудомъ двигался и говорилъ.

Когда я остался одинъ и началъ раздѣваться, то я думалъ, что ко мнѣ опять явятся ночные страхи, стѣсненіе въ груди. Но этого не было. Я почти тотчасъ-же заснулъ, какъ только опустился въ постель, и проспалъ всю ночь какъ убитый.

Утро было морозное и туманное. Клубы этого тумана окутывали все кругомъ, и все представлялось въ какомъ-то странномъ, фантастическомъ видѣ.

Константинъ былъ очевидно боленъ. Онъ былъ блѣденъ, угрюмъ, молчаливъ, и ни на какой разговоръ нельзя было его вызвать.

Я простился и уѣхалъ. Когда я оставилъ усадьбу Палаузова, то на меня напало совсѣмъ другое настроеніе. Я сталъ обдумывать все, что я видѣлъ и слышалъ, и пришолъ къ заключенію, что все это было дѣло внушенія и поразительной, чудовищной галлюцинаціи. Я жалѣлъ, что на другой день не посмотрѣлъ на тѣ цвѣты, которые явились на его письменномъ столѣ наканунѣ. Я былъ убѣжденъ, что эти цвѣты въ дѣйствительности не существовали.

Остальное все легко объяснимо.

Прошло шесть или семь лѣтъ.

Одинъ разъ, зимой, я былъ въ клубѣ и встрѣтилъ одного изъ знакомыхъ сосѣдей по деревнѣ, помѣщика Галявкина.

— Слышали вы? спросилъ онъ меня. — Нашъ сосѣдъ Палаузовъ... Константинъ Никандрычъ?

— Что такое?

— Сошолъ съ ума.

— Не можетъ быть! вскричалъ я.

— Я видѣлъ его сегодня въ центральной больницѣ. Онъ говоритъ страшную чепуху, бормочетъ несвязныя слова, никого не узнаетъ и бросается почти на всѣхъ, кого увидитъ.

«Не выдержалъ!» подумалъ я.

Котъ Мурлыка.

Замѣтки о нѣкоторой публицистикѣ.

I.

Онъ, съ политической и съ нравственной сторонъ
Вникая въ нашу жизнь, легко съ задачей сладилъ:
То сердцемъ, то умомъ въ своей газетѣ онъ,
Всего касаясь, все загадилъ.

II.

Увы! Праматерь наша Ева
Грѣхъ даромъ на̀-душу взяла,
Давъ и ему въ наслѣдство древо
Познанія добра и зла.
Порукой въ томъ—его газета
И въ ней плоды его пера:
Онъ распознать ни тьмы отъ свѣта,
Ни зла не можетъ отъ добра.

III.

Служитель слова, я невольный чую страхъ
При мысли о иныхъ въ печати властныхъ барахъ:
Все грезится, что червь господствуетъ въ садахъ,
Что крыса властвуетъ въ амбарахъ.

IV.

Порой мягчитъ онъ голосъ свой,
Тупою злобой не пугая...
Напрасно! Звѣря дикій вой—
Эффектнѣй рѣчи попугая.

Алексѣй Жемчужниковъ.

Страна безъ прошедшаго и безъ будущаго.

Триполи.

Признаніе всѣмъ образованнымъ міромъ, по слѣдамъ Монтескье, Гердера, К. Риттера, Ратцеля и др., силы географическихъ вліяній на судьбу рода человѣческаго нынѣ всеобще. Однако, если спросить даже первоклассныхъ географовъ, гдѣ найти систематическое изложеніе гео-антропологическихъ или историко-географическихъ ученій въ ихъ современномъ видѣ, то окажется, что такого изложенія нѣтъ. Нельзя-же въ наше время брать за руководство устарѣлое и нѣсколько тяжеловатое сочиненіе Карла Риттера, относящееся къ 1820-мъ годамъ; нельзя взять и новѣйшій трудъ Ратцеля, потому-что онъ нѣсколько одностороненъ. Лица, имѣющія возможность одолѣть девятнадцать большихъ томовъ «Всеобщей географіи» Реклю, конечно, могутъ найти въ этомъ твореніи много драгоцѣнныхъ гео-антропологическихъ сужденій объ отдѣльныхъ странахъ и народахъ; но эти сужденія не сведены въ систему и не вездѣ изложены по одному діалектическому образцу. Главная причина всѣхъ этихъ логическихъ недостатковъ новой, и, по-правдѣ, даже слишкомъ новой антропологической или исторической географіи состоитъ въ томъ, что ученые, ее созидающіе, не всегда держатся правила: идти отъ простого къ сложному, а не обратно. Берутъ, напримѣръ, для

обсужденій прямо Францію, Англію, даже цѣлыя Европу и Азію, и дѣлаютъ нѣсколько общихъ сравнительныхъ выводовъ, положимъ, разительныхъ и легко остающихся въ памяти, но не исчерпывающихъ всего, что можно сказать относительно вліянія земли на судьбу людей, и нетолько прошлую (дикарей), а настоящую и будущую (цивилизованныхъ). Для поясненія того, что я хочу выразить этими словами, припомню здѣсь законъ Риттера, что «страна тѣмъ удобнѣе для цивилизованной жизни, чѣмъ береговая ея линія пропорціонально длиннѣе». Это очень вѣрно при сравненіи Европы съ Африкою; но уже неточно, когда мы сопоставимъ Индостанъ и Индо-Китай, изъ которыхъ берега у перваго короче, чѣмъ у послѣдняго, а между тѣмъ его цивилизація древнѣе и выше загангской. Также нельзя придти къ выводу Риттера, сравнивая окруженную съ трехъ сторонъ океанами Патагонію съ имѣющею такъ мало береговъ Австро-Германіею, несмотря на положеніе обѣихъ странъ въ сходственныхъ широтахъ. Ясно, стало быть, что положеніе Риттера условно и требуетъ дополнительныхъ данныхъ, поясненій, поправокъ и оговорокъ, чтобы стать общеприложимымъ, строго-научнымъ, Главная часть этихъ дополненій можетъ, впрочемъ, всегда быть почерпнута изъ физической-же географіи странъ, напр. изъ сравненія ихъ климатовъ, орошенія почвы, ея химическаго и геологическаго состава и пр. Исландія и Ява довольно сходны по величинѣ, поверхности и геологическимъ особенностямъ; по относительной длинѣ береговъ первая даже имѣетъ преимущество надъ второю; однако, Ява представляетъ сплошную почву для высоко-развитой цивилизаціи многочисленнаго населенія, а полярная Исландія есть негостепріимная пустыня, едва населенная рыбаками по берегамъ: таково вліяніе *теплоты* и холода. Сильно производительная Ломбардія представляетъ полосу земли въ 100—150 верстъ шириною и лежащую не ближе 90 и не далѣе 200 верстъ отъ Средиземнаго моря *къ сѣверу;*

а на такихъ-же 90 — 200 верстахъ *къ югу* отъ того-же моря и на тѣхъ-же меридіанахъ тянется безотрадная степь Хамаданская. Она теплѣе Ломбардіи, но лишена *влаги* и потому для человѣческой жизни неудобна. Образованный читатель самъ легко приберетъ примѣры отступленій отъ Риттерова закона и легко дастъ имъ дѣльныя объясненія.

I.

Что нужно разумѣть подъ *простотою* въ области географіи?—Примѣръ налицо: Триполи и Барка—страны по географическому устройству очень *простыя*, а лежащія отъ нихъ къ сѣверу, черезъ море, Италія и Греція—очень *сложныя*. Нѣтъ въ Триполи и Баркѣ такого множества морскихъ заливовъ и бухтъ, какъ въ Италіи и Греціи; нѣтъ горъ, подобныхъ Альпамъ, Аппенинамъ и Пинду, съ ихъ развѣтвленіями и высокими, часто снѣговыми вершинами; нѣтъ рѣкъ, напоминающихъ нетолько По, но хоть Волтурно или Саламбрію; нѣтъ хорошо орошенныхъ и потому производительныхъ междугорныхъ долинъ; нѣтъ обильныхъ дождей, оплодотворяющихъ почву, и оттого нѣтъ нетолько лѣсовъ, но даже порядочныхъ травъ, а большая часть земли есть пустыня. Мало того: у Италіи и Греціи съ сѣвера, т.-е. на материкѣ, лежатъ производительныя, даже богатыя части Европы, а у Триполи и Барки материковый сосѣдъ есть Ливійская степь, Сахара, одно имя которой вызываетъ мысль о голой пустынѣ. Двѣ наши африканскія страны, превосходящія по величинѣ Грецію и Италію, имѣютъ едва-ли полтора милліона жителей; тогда какъ двѣ европейскія населены тридцатью-тремя милліонами. Вотъ въ чемъ разница между географическими простотою и сложностью, разница чрезвычайно рѣзкая и, при внимательномъ ея анализѣ, весьма поучительная. На этомъ анализѣ мы и остановимся.

За исключеніемъ береговой линіи Средиземнаго моря,

отъ Эль-Меджена до залива Солумъ, у Триполи и Барки нѣтъ опредѣленныхъ границъ. Правда, на западѣ французы попробовали разграничить Триполи съ Тунисомъ; но эта граница, оканчивающаяся на югѣ близъ Гадамеса, есть чисто фиктивная, постоянно переходимая кочевниками обѣихъ странъ, къ немалой досадѣ тунисскихъ и триполійскихъ чиновниковъ, собирающихъ подати. На востокѣ условною пограничною чертою съ Египтомъ служитъ подобная-же линія, еще болѣе короткая и тоже ничѣмъ въ натурѣ необозначенная. Самою южною мѣстностью Триполи, точнѣе, подвѣдомственнаго ему Феззана, нужно считать холмы Тюммо, южнѣе тропика Рака; но вообще полуденная граница обѣихъ земель неизвѣстна и вовсе не рисуется на сколько-нибудь порядочныхъ картахъ. Оттого нѣтъ возможности опредѣлить величины Триполи и Барки, хотя онѣ входятъ въ составъ Турціи, для большей части своихъ провинцій имѣющей порядочную статистику. Секретарь лондонскаго географическаго общества и ученый спеціалистъ по географіи Африки, Кельти, опредѣляетъ пространство Триполи въ 310.000 кв. англійскихъ миль, а пространство Бенгази или Барки — въ 88.000 кв. англійскихъ миль; но это цифры гадательныя, какъ и сумма ихъ, 398.738 англ. кв. миль, которая внесена авторомъ въ извѣстный ежегодникъ «Statesman's Year-Book». Если принять послѣднюю какъ приблизительную, то Триполи и Барка вмѣстѣ выйдутъ слишкомъ втрое обширнѣе Италіи и Греціи въ совокупности; но отбросимъ ее какъ мало надежную. Въ дѣйствительности государственная власть турецкаго падишаха распространяется на гораздо меньшую площадь, и триполійскій вали командуетъ лишь тамъ, гдѣ есть турецкіе гарнизоны или куда могутъ заходить турецкіе военные корабли.

Гдѣ причина этой политической пестроты, разрозненности частей земли, которая на картѣ представляется величиной однородною?—Да въ физико-географическихъ-

же ея особенностяхъ. Если мы нивеллируемъ барометромъ большую дорогу, ведущую изъ Триполи къ озеру Чадъ и пересѣкающую турецкій виляйетъ посрединѣ. то получимъ слѣдующія цифры высотъ, начиная отъ сѣвера къ югу:

Триполи	0	метровъ.
Бу-Ниджеймъ. . .	60	»
Джофра	310	»
Себелія	430	»
Мурзукъ	500	»
Гатрунъ.	510	»
Теджери	550	»
Г. Тюммо	840	»

Итакъ, это низменность, слабо покатая къ Средиземному морю. Еслибы при этомъ она была безусловной равниной, то представляла-бы простое продолженіе безплодной Сахары, какъ впрочемъ и есть на большей части ея площади; но къ счастью нѣкоторыя мѣстности выше средняго уровня, и это придаетъ почвѣ нѣкоторую рельефность, а съ нею и разнообразіе физико-географическихъ свойствъ. Уже въ тридцати верстахъ отъ гор. Триполи высятся холмы Джебель-Гуріянъ, достигающіе 300—400 метровъ надъ моремъ; въ западномъ продолженіи ихъ ряда находятся даже вершины въ 670 метровъ. Около оазиса Джофры высятся Черныя горы (Джебель-эсъ-Сода); оазисъ Ратъ, на крайнемъ юго-западѣ страны, высится на 730 метровъ; горы Тюммо, на крайнемъ югѣ достигаютъ, какъ сказано, 840 метровъ. Эти возвышенности нетолько разнообразятъ рельефъ почвы, но служатъ причиною существованія оазисовъ, частью у подножія горъ, частью въ самыхъ горахъ. А изъ оазисовъ слагается и вся населенная часть страны, какая-нибудь сотая доля ея протяженія. Само-собою разумѣется, что наиболѣе обширныхъ оазисовъ надо ожидать тамъ, гдѣ горы находятся недалеко отъ моря;

и въ самомъ дѣлѣ, наибольшій изъ всѣхъ есть собственно триполійскій, вмѣщающій главный городъ страны. Онъ имѣетъ до 30 верстъ въ поперечникѣ и орошается во-первыхъ дождями, сравнительно частыми, и во-вторыхъ рѣчками, текущими съ высотъ Джебель-Гуріянъ и Джебель Нефуза. Тамъ, гдѣ есть вода, тамъ жители развели сады финиковой пальмы; но гдѣ воды нѣтъ, тамъ почва становится голою степью, несмотря на сосѣдство Средиземнаго моря. И то-же явленіе, да еще съ большею рѣзкостью, повторяется во всѣхъ внутреннихъ оазисахъ, изъ которыхъ самый большой — мурзукскій, въ Феззанѣ.

Еслибы была возможность подняться, напримѣръ, на аэростатѣ, на высоту, достаточную для одновременнаго обозрѣнія такой обширной страны, какъ Триполи, то взору нашему, при ясной погодѣ, представилась-бы площадь желтоватаго цвѣта, съ слабыми пятнами буроватыми (глина), бѣлыми (известняки) и темнозелеными (пальмовые лѣса). При болѣе внимательномъ разсмотрѣніи почвы, въ зрительную трубу, можно было-бы еще замѣтить кое-гдѣ черноватыя пятна базальта, котораго выступленіе изъ-подъ земли наружу, вѣроятно, и было причиною поднятія страны съ морского дна. Затѣмъ въ очень немногихъ мѣстностяхъ зрительный снарядъ обнаружилъ-бы крошечныя синеватыя пятна озеръ, очень притомъ рѣдкихъ; а рѣкъ нельзя было-бы видѣть и въ наилучшія трубы, потому-что это — мельчайшіе ручейки. Ихъ присутствіе обнаруживалось-бы развѣ тѣмъ, что обыкновенно вдоль ихъ жители сажаютъ финиковыя пальмы, которыя, чтобы рости, требуютъ постояннаго орошенія снизу, а не одними дождями, сверху. На всѣхъ 6 500 верстахъ морскихъ береговъ нынѣ есть только четыре пристани для кораблей: одна собственно въ Триполи (городѣ этого имени) и три въ Баркѣ: Бенгази, Мерса-Суза и Тобрукъ. Прежде, на памяти исторіи, ихъ было больше. Во времена Геродота, т.-е. за пять вѣ-

ковъ до Р. Х., и римлянъ, черезъ тысячу лѣтъ послѣ, въ Триполи еще было три торговыхъ приморскихъ города, а въ Баркѣ пять: отъ этого и тогдашнія названія ихъ: Триполисъ и Пентаполисъ, изъ которыхъ послѣднее, впрочемъ, исчезло, а первое если сохранилось, то по привычкѣ, безъ всякаго логическаго основанія. Поучителенъ этотъ фактъ потому, что представляетъ несомнѣнное доказательство расширенія африканскихъ пустынь насчетъ Средиземнаго моря, т.-е. усыханія послѣдняго. Куда дѣвалась высохшая вода? Въ Африку? — Нѣтъ; тамъ пустыни расширились. Въ Европу?—Сомнительно, потому-что тамъ также замѣчено обсыханіе береговъ, а не расширеніе морей. Не унесли-ли вѣтры усохшую влагу на дальній сѣверъ и тамъ отложили въ видѣ постоянно ростущихъ снѣговъ Гренландіи, которымъ теперь иные приписываютъ потерю землею ея равновѣсія вокругъ оси и перемѣщеніе полюсовъ?.. Конечно, одной триполійской воды для этого мало; но и она могла принимать въ дѣлѣ участіе, наравнѣ съ другими подобными источниками паровъ и снѣга.

Изученіе климатическихъ явленій въ Триполи, съ должной подробностью, было-бы очень любопытно по результатамъ, потому-что тутъ соприкасаются двѣ обширныя, разнородныя поверхности—море и степь. Но, къ сожалѣнію, нетолько подробныхъ и долговременныхъ наблюденій термометра, барометра и гигрометра, а и никакихъ опредѣлительныхъ свѣдѣній о климатѣ страны нѣтъ. Приписываютъ городу Триполи среднюю температуру года въ 20—22° С., а Мурзуку въ Феззанѣ 26—28° С.; но это *на-глазъ*. Точнѣе извѣстія о *крайностяхъ* температуръ. Въ Триполи лѣтомъ бываютъ жары за 45° С., а зимой, по утрамъ, наблюдаются температуры 5—6° С. Въ Мурзукѣ лѣтняя теплота достигаетъ 50°, а на солнцѣ и цѣлыхъ 60°; но зато въ зимнія ночи, если онѣ ясны, замерзаетъ стоячая вода. Въ Баркѣ температура, повидимому, ровнѣе, но и то лишь

въ сѣверной части ея, вдающейся мысомъ въ Средиземное море; а на югѣ все та-же Ливійская степь, за которою издавна укоренилась слава полуденныхъ жаровъ и ночныхъ прохладъ, чтобы не сказать морозовъ. Словомъ, климатъ въ Триполи-Баркѣ рѣзко-континентальный, несмотря на сосѣдство обширнаго моря. Послѣднее отзывается замѣтно лишь въ Баркѣ, гдѣ нетолько сѣверные, но и западные вѣтры приносятъ влагу и повременамъ сопровождаются дождями. Въ собственно Триполи дожди составляютъ рѣдкость, кромѣ береговой полосы, обставленной съ юга холмами. Феззанъ знаетъ очень рѣдкія грозы, сопровождаемыя дождями: это случается тамъ зимою, когда въ страну проникаютъ холодные вѣтры съ сѣвера и смѣшиваются съ мѣстнымъ горячимъ воздухомъ. Барометрическихъ картъ для Триполи не имѣется, какъ и всякихъ физико-географическихъ: геологическихъ, гидрографическихъ, изотермическихъ и другихъ; поэтому предсказанія погоды тамъ рѣшительно невозможны, а жители, по долгому опыту, научились лишь узнавать приближеніе шамсина, т.-е. степного вѣтра, несущаго пыль. Горизонтъ тогда, за нѣсколько минутъ до урагана, становится красновато-бурымъ, атмосфера—удушливой. Если люди и животныя находятся въ пути, посреди степи, то благоразуміе обязываетъ ихъ немедленно улечься на землю, спиною къ вѣтру. Ураганъ обыкновенно проносится въ 10—15 минутъ, но рѣдко бываетъ безъ жертвъ.

II.

Вотъ, въ немногихъ словахъ, физико-географическій очеркъ Триполи. Зная эти данныя, можно-бы поставить вопросъ: какова-же должна быть производительность страны, ея органическая жизнь, ея флора, фауна и населеніе? До нѣкоторой степени на него можно отвѣчать, сказавъ, что страна должна отличаться бѣдной расти-

тельностью, однообразной и притомъ сосредоточенной исключительно въ оазисахъ, что животный міръ ея также не можетъ быть богатъ ни числомъ недѣлимыхъ, ни разнообразіемъ видовъ, наконецъ, что люди тутъ должны быть въ большей части страны кочевниками, а въ оазисахъ—осѣдлыми и полуосѣдлыми, какъ у насъ въ Закаспійскомъ краѣ и Киргизскихъ степяхъ, но не какъ въ нагорномъ Туркестанѣ, гдѣ возможны и есть обширные города и многочисленныя деревни. Все это совершенно согласно съ дѣйствительностью; только Триполи жарче Туркменіи и суше ея, какъ и естественно для страны, лежащей на 10—12 градусовъ (1 000—1 200 в.) ближе къ экватору, да еще въ сосѣдствѣ съ Сахарою, которой, можно сказать, она и образуетъ трудно отдѣлимую часть. Затѣмъ подробности мѣстныхъ флоры, фауны и характера населенія менѣе опредѣлимы a priori, и ихъ нужно изучать a posteriori, при содѣйствіи спеціалистовъ, посѣтившихъ страну. Простота орографическаго устройства и однообразіе климата и тутъ значительно сокращаютъ трудъ, потому-что, напримѣръ, растительныхъ породъ найдено въ Триполи не болѣе пятисотъ, тогда-какъ въ Италіи и Греціи ихъ есть нѣсколько тысячъ. А число породъ культурныхъ, годныхъ для человѣка и имъ воздѣлываемыхъ, почти совершенно ничтожно. Нѣкогда Триполи и особенно Барка (Киренаика) принадлежали къ числу житницъ Рима, куда доставлялась изъ нихъ пшеница; теперь зерновые хлѣба почти не родятся въ странѣ и для приготовленія хлѣба лицамъ, привыкшимъ къ нему, привозятся изъ Европы. Огородные овощи, требующіе тучной и влажной почвы, разумѣется, тоже составляютъ рѣдкость. Изъ садовыхъ деревьевъ растутъ миндальныя, абрикосовыя, персиковыя, даже груши; но плоды ихъ плохи. Апельсины и лимоны тоже хуже южноевропейскихъ, и только гранаты хороши. Но всѣхъ ихъ, впрочемъ, замѣщаютъ въ ходячемъ употребленіи финики, которые здѣсь составляютъ не лакомство, а настоящую

пищу, главную, даже иногда единственную, для народа. Финики триполійскіе хороши, потому-что за ними много ухода; но ими кормятся нетолько люди, а и главное домашнее животное—верблюдъ; стало-быть, много въ продажѣ сортовъ низшаго качества. Октябрь и ноябрь—время ихъ сбора, и тогда дѣлаются запасы плодовъ на цѣлый годъ, что удобнѣе, чѣмъ у насъ для грушъ или яблокъ, потому-что высушенные финики легко сохраняются въ сухомъ климатѣ, чего съ грушами, напримѣръ, достигнуть трудно. Стоитъ замѣтить, что финиковая пальма не любитъ дождя; но чтобы она давала плоды, надобно обильно орошать ея корни, что достигается проведеніемъ, помощью каналовъ, изъ рѣчекъ воды, которую впускаютъ въ окружающій каждое дерево маленькій бассейнъ, вродѣ тарелки, борты которой образованы, въ видѣ валика, изъ глины. При хорошемъ уходѣ дерево можетъ рости до 200 лѣтъ и давать обильные ежегодные урожаи, а когда состарится, достигнувъ 10—12 саженъ вышины, то снабжаетъ, на прощанье, своихъ хозяевъ очень вкуснымъ питьемъ изъ надрѣзовъ коры, втеченіе одного-двухъ мѣсяцевъ, послѣ чего оно засыхаетъ и идетъ на постройки или на дрова. Финиковые сады, точнѣе, рощи, составляющія мѣсто жительства осѣдлыхъ и полуосѣдлыхъ жителей Триполи, и образуютъ главную массу растительности въ оазисахъ; и число ихъ, напримѣръ, въ непосредственномъ сосѣдствѣ главнаго города полагается до милліона. А прежде, во время карфагенскаго и римскаго господства было еще больше, что видно по развалинамъ тогдашнихъ населенныхъ мѣстностей. Сильный ущербъ древесной растительности въ странѣ нанесли двукратные ея завоеватели—арабы—въ VII и XI столѣтіяхъ. Виноградъ родится въ Триполи и, при уходѣ, даетъ сладкій плодъ для ѣды, но не для винодѣлія, какъ у насъ въ астраханскихъ степяхъ, и по той-же причинѣ: сухости воздуха и жаровъ въ періодъ созрѣванія. Можно-бы, вѣроятно, развести

и лозы для вина; но кто это сдѣлаетъ? Населеніе Триполи—мусульманское, которому вино запрещено кораномъ; немногіе европейцы не могутъ быть землевладѣльцами и виноградарями, по мѣстнымъ законамъ. Надобно прежде, чтобы какая-нибудь европейская нація стала повелительницей Триполи; тогда, быть можетъ, возникнетъ и винодѣліе, какъ въ Тунисѣ, послѣ прихода туда французовъ.

Въ послѣднія 10 — 15 лѣтъ пошолъ въ ходъ еще одинъ растительный продуктъ триполійской почвы—альфа или, по туземному, спарта. Мѣстные жители издавна употребляли этотъ африканскій ковыль на рогожки, которыми устилаютъ полы; но европейцы нашли, что изъ него можно приготовлять прочную оберточную и даже писчую бумагу, а потому стали его скупать у триполійцевъ. И теперь подъ самымъ городомъ Триполи устроено нѣсколько прессоваленъ для сжатія этого громоздкаго товара, какъ въ Европѣ прессуютъ сѣно. Отъ этого дешоваго товара привозящіе его на рынокъ почти ежедневно, на верблюдахъ и ослахъ, арабы и берберы выручаютъ едва-ли менѣе, чѣмъ отъ финиковъ. Вырученное серебро зарывается владѣльцами въ землю или прячется въ сундукахъ, съ одеждой и другимъ скарбомъ, потому-что кочевники, главные поставщики спарты, не любятъ расходовать металлическихъ денегъ; они—не осѣдлые хозяева финиковъ, дозволяющіе себѣ роскошь европейскихъ тканей и даже одежды; они—оборванцы, а денежку копятъ про черный день.

Растенія служатъ пищей животнымъ. Понятно, что если ихъ мало или совсѣмъ нѣтъ, какъ во многихъ частяхъ триполійскихъ пустынь, то и животное царство въ странѣ не можетъ быть многочисленно, ни числомъ породъ, ни числомъ особей. Въ Триполи и Баркѣ главныя животныя — верблюдъ и оселъ, оба культурные, оба вьючные или верховые. Впрочемъ, верблюдъ верховой тоже рѣдкость, а исключительно почти вьючный.

Онъ одногорбый и меньше нашего двугорбаго, туркестанскаго и закавказскаго. Шесть-семь пудовъ грузу— вотъ все, что онъ можетъ поднять и перевозить; но остальныя «добродѣтели» въ немъ тѣ-же, что и въ другихъ сородичахъ: выносливость въ трудѣ, жаждѣ и голодѣ, невзыскательность къ обстановкѣ; зато тотъ-же и порокъ: неодолимое упрямство, когда требуемая отъ него услуга ему не нравится. Этимъ порокомъ особенно извѣстны верблюды джорбинскіе, съ острова Джорбы, въ сосѣднемъ Тунисѣ, которые однако-же сильнѣе прочихъ. Обыкновенную пищу триполійскихъ верблюдовъ составляютъ финики, которые они поѣдаютъ съ косточками. Если послѣднія не перевариваются, то верблюдъ ихъ изрыгаетъ; но когда косточки предварительно истолчены, то порошокъ ихъ переваривается верблюжьимъ желудкомъ отлично, и животныя отъ такой пищи толстѣютъ и становятся болѣе сильными. Шерсть ихъ, съ весной опадающая, служитъ, какъ и у насъ, для приготовленія веревокъ и грубыхъ тканей.

Оселъ есть общераспространенное животное на всѣхъ прибрежьяхъ Средиземнаго моря, въ Африкѣ и Азіи въ особенности, а въ Триполи едва-ли не больше, чѣмъ гдѣ-нибудь. Немногіе европейцы, даже ихъ дамы, должны употреблять его вмѣсто лошади въ ихъ переѣздахъ или даже въ свѣтскихъ прогулкахъ. Онъ достаточно крѣпокъ для этого, и у воротъ города Триполи есть цѣлая извощичья биржа, гдѣ берутъ ословъ для поѣздокъ въ окрестности. Да еще какъ берутъ — безъ провожатаго и не платя денегъ впередъ: до того конкурренція ословладѣльцевъ велика. Любопытно варварское средство погонять ихъ въ пути: не довольствуясь палкою и иногда шпорами, всадники укалываютъ ихъ въ верхнюю часть шеи, гдѣ отъ этого у нихъ почти постоянныя язвы... Если оселъ есть образецъ терпѣнія вообще, то триполійскій въ особенности. Ходитъ онъ и въ караванахъ,

подъ грузомъ, но небольшимъ: пуда въ три, рѣдко болѣе, иногда меньше. Онъ возитъ преимущественно зерно и финики на кормъ вьючнымъ своимъ собратьямъ. Лошади почти исключительно въ городахъ, у европейцевъ, а среди туземцевъ онѣ идутъ подъ-верхъ у караванъ-башей и караваннаго прикрытія, т. е. всадниковъ, вооруженныхъ «до зубовъ», по французской поговоркѣ. Онѣ рѣдки, между прочимъ, потому, что плохо выносятъ жажду и требуютъ повременамъ травы или сѣна, а этотъ предметъ, какъ и вода, не часто попадается въ Триполи. И надежды ввести травосѣяніе нѣтъ никакой: сверхъ жгучаго триполійскаго солнца, у травы есть очень опасный врагъ въ видѣ саранчи, залетающей изо всѣхъ сосѣднихъ земель и даже акклиматизировавшей въ самой странѣ.

Назвавъ саранчу, мы, кажется, исчерпали всю зоологическую географію Триполи и Барки. Нѣтъ, впрочемъ, несовсѣмъ, потому-что есть еще изъ болѣе крупныхъ животныхъ бараны и куры, а изъ мелкихъ разныя насѣкомыя, иногда ядовитыя, какъ и въ нашихъ азіатскихъ степяхъ. Куры очень многочисленны и въ изобиліи продаются, какъ и яица, на триполійскихъ базарахъ. Но водяныхъ птицъ, какъ гуси и утки, разумѣется, нѣтъ, потому-что водоемы, какіе есть, всѣ содержатъ соленую или горькую воду, вредную даже для птичьихъ желудковъ; а прѣсноводныхъ озеръ и рѣкъ нѣтъ почти вовсе. Изъ дикихъ звѣрей изрѣдка встрѣчаются въ странѣ газели, еще рѣже тигры и львы. Однако послѣдніе заставляютъ быть на-сторожѣ нетолько караваны въ степи, но и деревни въ оазисахъ. Большіе хищники рода кошекъ (Felix) чаще всего встрѣчаются близь южныхъ предѣловъ страны, по сосѣдству съ Суданомъ, ибо настоящее ихъ мѣсторожденіе—лѣса послѣдняго, а лѣса тамъ начинаются лишь подъ 17-мъ градусомъ широты, крайнимъ къ сѣверо-западу предѣломъ пассатовъ Индѣйскаго океана, а съ ними и періодическихъ дождей, орошаю-

щихъ почву настолько, чтобы лѣсная растительность стала возможною.

III.

Люди въ Триполи и Баркѣ принадлежатъ къ тѣмъ же племенамъ, какъ и въ другихъ «Варварійскихъ владѣніяхъ»—Марокко, Алжирѣ и Тунисѣ; только численность породъ, безусловная и относительная, не та, и смѣшеніе, напримѣръ, берберовъ съ арабами гораздо тѣснѣе, чѣмъ въ Марокко и даже въ Тунисѣ. Арабы, придя въ Триполи какъ завоеватели и вѣроучители, раньше, чѣмъ гдѣ-либо, почувствовали усталь отъ своихъ подвиговъ и вошли съ покоренными людьми въ семейныя связи; а отсюда до образованія смѣшанной расы, вродѣ теперешнихъ испанцевъ, французовъ, англичанъ, грековъ,—одинъ только шагъ. Правда, арабы хотѣли сохранить дикую свободу кочевой жизни, а берберы оставались поклонниками осѣдлости; одни остались предпочтительно скотоводами, а другіе садоводами и даже земледѣльцами; но рѣзкая черта эта мало-помалу изглаживалась, и теперь нерѣдко природные берберы говорятъ только по-арабски. Почему не наоборотъ? — Да потому, что языкъ арабовъ есть языкъ религіи и грамотности, а берберовъ — языкъ безсильнаго простонародья: сліяніе произошло по тому-же закону, какъ у нѣмцевъ съ славянами на Эльбѣ и въ Помераніи. Другіе народы въ Триполи—евреи, мальтійцы, итальянцы и негры; но на арабо-берберійскомъ фонѣ этнографической карты страны они занимаютъ очень немного мѣста. Теперешнимъ-же ея повелителямъ, туркамъ, совсѣмъ нельзя отвести никакого мѣста, потому-что они только временные пришельцы, чиновники и солдаты, никакихъ корней въ странѣ неимѣющіе и перемѣняющіеся въ составѣ.

Турецкая статистика, конечно, не отличается точностью цифръ; въ частности статистика населенія и со-

всѣмъ невозможна, потому-что мусульманскій законъ запрещаетъ народныя переписи, а кочевники имъ не поддаются нигдѣ. Однако, для опредѣленія численности населенія въ вилайетѣ Триполи и области Бенгази (Баркѣ) нѣтъ другого источника, какъ турецкіе документы, по которымъ въ Триполи живетъ 800 000 человѣкъ, а въ Бенгази—500 000. Сумма 1 300 000 д. не велика для страны втрое больше Италіи съ Греціей и даетъ всего, въ среднемъ, полтора человѣка на квадратную версту. Но эта цифра невразумительна, потому-что огромное большинство населенія сосредоточено въ немногихъ оазисахъ, и тамъ оно довольно густо; а пустыни такъ и остаются пустынями, безъ опредѣленнаго населенія. Въ давнія времена, при карфагенянахъ, грекахъ и римлянахъ, по прибрежью Средиземнаго моря существовали значительные торговые города: Лептисъ, (теперь Лебда), Аполонія, Кирена и пр.; но теперь порты ихъ засыпаны пескомъ, а города обратились въ деревни или вовсе исчезли, оставивъ каменныя развалины. Подъ владычествомъ римлянъ страна, по крайней мѣрѣ, вблизи морскихъ береговъ, вообще имѣла другой видъ, чѣмъ теперь: почва была воздѣлываема и давала богатые урожаи; рѣки, отъ которыхъ теперь остались лишь сухія русла, были даже судоходны, что доказывается остатками канала въ восточной части вилайета; было устроено нѣсколько дорогъ, отъ которыхъ теперь не осталось почти ничего. Въ Триполи сохранилась тріумфальная арка, воздвигнутая жителями въ честь Марка-Аврелія и Луція Вера; вообще, страна процвѣтала, насколько это позволяли ея физико-географическія условія. Но и въ древности она не возвышалась до степени самостоятельной исторической единицы: это всегда былъ придатокъ то Карфагена, то Египта, то римской «Африки», то-есть Туниса.

Въ наше время численность триполійскаго населенія, конечно, менѣе чѣмъ была въ древности и, какъ

уже сказано выше, не простирается свыше 1 300 000 душъ. Три племени господствуютъ въ немъ по числу: туземцы-берберы и пришельцы арабы и негры. Отличить ихъ одно отъ другого легче всего по жилищамъ: арабъ остался кочевникомъ и потому любитъ палатку; берберъ строитъ себѣ домъ, каменный или землебитный; негръ живетъ въ хижинѣ изъ соломы, тростника или спарты, прикрѣпленныхъ къ легкому деревянному остову. Но мы уже сказали, что арабы и берберы частью слились въ одинъ народъ; въ этомъ случаѣ родъ жилища недовольно отличителенъ для коренного племени, а больше характерны занятія скотоводствомъ или земледѣліемъ и ремеслами. Слабыя по числу племена, какъ евреи, мальтійцы, итальянцы и другіе европейцы, всѣ почти горожане или, по крайней мѣрѣ, живутъ въ домахъ, имѣющихъ характеръ дачъ, выстроенныхъ среди финиковыхъ рощъ или небольшихъ огородовъ. Очень немногіе европейцы завели нѣчто въ родѣ фабрикъ или заведеній, гдѣ работаютъ машины; они исключительно живутъ въ г. Триполи. Одежда сильно отличаетъ евреевъ и европейцевъ отъ туземныхъ жителей, носящихъ бурнусъ или только рубашку и штаны, въ случаѣ бѣдности и при работахъ; но берберъ и арабъ по костюму мало отличимы. У негровъ всякія извнѣ пріобрѣтаемыя отличія замѣняются, какъ и вездѣ, цвѣтомъ ихъ кожи, плоскими носами и толстыми губами. Негры вообще бѣднѣе всѣхъ прочихъ племенъ, и это понятно: еще недавно они всѣ были рабами, пріобрѣтавшимися на базарахъ какъ скотъ, и оправиться отъ этого бѣдственнаго положенія не успѣли вполнѣ. Турки, чиновники и солдаты, разумѣется, носятъ мундиры и; разумѣется-же, засаленные и худые. Впрочемъ, отдадимъ справедливость османлисамъ въ Триполи: они здѣсь, напримѣръ, въ таможнѣ не вымогаютъ бакшишей, по крайней мѣрѣ у европейцевъ; но туземцами они нелюбимы *всѣми* и держатся въ роли повелителей лишь силою оружія.

Въ вилайетѣ до 15 000 солдатъ и постоянно два военныхъ корабля, въ Триполи и Бенгази; войска обыкновенно живутъ въ цитаделяхъ или въ казармахъ, прочно устроенныхъ. Начальникъ войскъ, подчиненный пашѣ, генералъ-губернатору, имѣетъ чинъ дивизіоннаго генерала; начальникъ моряковъ — адмиралъ. Турецкое офицерство держится, по большей части, въ сторонѣ отъ гражданскаго туземнаго населенія, и если не на службѣ, то проводитъ время въ кофейняхъ, гдѣ чашка кофе стоитъ всего три копѣйки.

Нечего почти сказать о евреяхъ, которыхъ въ Триполи считается 6 000 душъ: они здѣсь то-же, что и вездѣ, то-есть занимаются ростовщичествомъ. Арабы у нихъ постоянно въ долгу, и за товары, и за наличныя деньги, нерѣдко занятыя чтобы уплатить подати. По счастію еще, въ Триполи нѣтъ бумажныхъ денегъ: однимъ источникомъ алчной наживы у мѣстнаго израиля меньше. Мальтійцы, числомъ до 3 000,—лодочники, мелкіе торгаши, ремесленники, рабочіе, какъ во многихъ портахъ Средиземнаго моря: они помогаютъ жить другимъ, скопляя понемногу денежку и для себя. Я думаю, англійское правительство пришло-бы въ изумленіе и отчаяніе, еслибы всѣ мальтійцы изъ сѣверной Африки и южной Европы вздумали вернуться на Мальту: тамъ не нашлось-бы мѣста для ихъ водворенія. Впрочемъ, иные изъ нихъ и не видали родного острова, потому-что родились и живутъ заграницею. Вотъ итальянцы могли-бы безъ затрудненій воротиться на свою «золотую» родину; но, вѣроятно, соображеніе, что золота-то тамъ нѣтъ, а есть лишь бумажки въ 50 сантимовъ и 1 франкъ, удерживаетъ ихъ въ Триполи. Мало того, находя, что ихъ тамъ больше, чѣмъ другихъ европейцевъ (цѣлыхъ 600 человѣкъ!), они непрочь думать, что имъ-то и должна принадлежать триполійская земля.

IV.

Повидимому, нѣтъ ничего смѣшнѣе послѣдней претензіи, и однако, она имѣетъ свое значеніе. Благодаря именно ей, турецкое правительство и содержитъ въ Триполи цѣлую дивизію войскъ и военные корабли. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, вслѣдъ за появленіемъ французовъ въ Тунисѣ, повсюду стали говорить, что Триполи отойдетъ къ итальянцамъ. При извѣстной наклонности современнаго итальянскаго правительства къ пріобрѣтеніямъ, толки казались несовсѣмъ безосновательными, и вотъ султанъ усилилъ триполійскіе гарнизоны, увеличилъ арсеналъ, прислалъ флотилію, въ составѣ которой есть даже броненосецъ. Боялся онъ нетолько итальянцевъ, но и французовъ, послѣднихъ, можетъ быть, больше, чѣмъ первыхъ. Но французы скоро опомнились. Они наслали въ Триполи цѣлый рядъ развѣдчиковъ, и нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напр., Фурнель, напечатали цѣлыя книги *противъ* захвата этой земли Франціею. «Она, молъ, слишкомъ бѣдна и не имѣетъ никакой будущности. Пусть итальянцы забираются въ нее: тѣмъ лучше для насъ, ибо это ослабитъ Италію, которая такъ недружелюбна къ намъ послѣ того какъ мы столько сдѣлали для ея освобожденія». Но Криспи и другіе государственные люди Италіи, вѣроятно, прочитавъ кое-какія географическія сочиненія и узнавъ, что Триполи—страна бѣдная, тоже раздумали завязывать изъ-за нея ссору съ султаномъ и предпочли завоевать Эретрію, которой ни они, никто другой изъ итальянцевъ вовсе не знали и которая была имъ, въ англійскихъ видахъ, рекомендована изъ Лондона. «Величіе» при этомъ получалось еще большее, по причинѣ отдаленности края, да и парламентская оппозиція не могла ничего возразить, опять-таки по невѣжеству. Триполи, стало быть, очутился внѣ опасности попасть подъ власть европейцевъ, и падишахъ могъ-бы нынѣ сокра-

тить расходы на его охраненіе. Но тутъ есть два обстоятельства, о которыхъ мы еще не упоминали и которыя противорѣчатъ военной экономіи. Во-первыхъ, во всей сѣверо-восточной Африкѣ возникло сильное мусульманское движеніе въ пользу возстановленія калифата. Турецкій султанъ, въ послѣднее время столь униженный, пересталъ быть повелителемъ правовѣрныхъ и грозою невѣрныхъ: надо его замѣнить другою, имущею власть особою, не опоганившеюся связью съ гяурами. На верхнемъ Нилѣ, въ Дарфурѣ, Кордофанѣ, Вадаи и пр. это ученіе нашло множество приверженцевъ, и они теперь внушаютъ опасенія даже англичанамъ въ Египтѣ. Въ Триполи единеніе мусульманъ внѣ турецкаго господства тоже служитъ идеаломъ для многихъ; поэтому турки усиливаютъ тамъ свои войска на случай возстанія. Съ другой стороны, европейцы вовсе не отказались отъ захвата Триполи, о которомъ самый авторитетный изъ путешественниковъ, Рольфсъ, сказалъ, что «это — ворота Судана, безъ овладѣнія которыми нельзя имѣть доступа и въ послѣдній». Турки, глядя на карту, видятъ, что топографически это правда, и изъ дипломатической зависти не хотятъ никого допустить нетолько въ Дарфуръ или Борну, но даже и въ Триполи. Они положительно противятся проникновенію европейцевъ вдаль отъ морскихъ береговъ, точнѣе отъ города Триполи съ его окрестностями. Пашѣ европейцы иногда грозятъ фирманами изъ Стамбула, за султанской печатью, а онъ отвѣчаетъ: «Пусть привезутъ фирманъ; я его не исполню, а чужеземца немедленно вышлю изъ страны и потомъ спишусь съ Константинополемъ, гдѣ гяуры забрали слишкомъ большую власть, которой здѣсь, слава Аллаху, еще не имѣютъ». И онъ дѣйствуетъ соотвѣтственно этому да еще прикрывается любезностью обращенія съ европейскими проѣзжими *съ юга*,, т. е. изъ Судана... но не съ обратными.

Отчего-же это недовѣріе? Да оттого, что въ Европѣ, особливо во Франціи, уже много лѣтъ идетъ рѣчь о транссахарской желѣзной дорогѣ къ озеру Чадъ или къ берегамъ Нигера, и многіе наивные прожектеры, посмотрѣвъ на карту, видятъ, что Триполи есть ближайшая къ Чаду средиземно-береговая мѣстность и что, слѣдовательно, начинать дорогу нужно изъ нея. Это внушаетъ туркамъ большія опасенія потому, что «если у европейцевъ затронуты карманные интересы, то они не пожалѣютъ ничего, чтобы добиться ихъ удовлетворенія...» Къ счастію для триполійскихъ турокъ, это опасеніе мало-по-мало утрачиваетъ силу. Завладѣвъ Тунисомъ, французы видятъ теперь, что имъ выгоднѣе будетъ строить транссахарскую дорогу изъ Габеса, меридіанъ котораго есть какъ-разъ средній между нижнимъ Нигеромъ и озеромъ Чадомъ. Гдѣ-нибудь въ оазисѣ Азбенѣ можно будетъ раздѣлить дорогу на двѣ вѣтви: юго-западную, къ Тимбукту, и юго-восточную, къ Кукѣ: вотъ и дѣлу конецъ. Вся западная Африка подпадетъ подъ ихъ власть, отъ Средиземнаго моря до южнаго берега Дагомеи, и отъ Чада до Зеленаго мыса. Триполійскому пашѣ и султану Абдулъ-Гамиду нечего опасаться: по географическому своему *ничтожеству* Триполи останется въ ихъ безспорной власти, доколѣ они сами не почувствуютъ отъ того тягости.

Теперь читатель, надѣюсь, согласится съ правильностью заглавія этой статьи. Если затѣмъ ему придетъ на мысль самому удостовѣриться во всемъ вышеизложенномъ, то могу рекомендовать дороги на Тріестъ или Неаполь и Мальту, откуда ходятъ почтовые пароходы. Прибывъ въ Триполи, путешественникъ остановится въ Трансатлантической гостинницѣ и тамъ перезнакомится безъ большого труда съ обычными ея обитателями и посѣтителями, которые перескажутъ всѣ подробности мѣстной жизни. Затѣмъ—прогулка на ослѣ по окрестностямъ, до предѣловъ оазиса, нѣсколько сидѣній въ café, около городскихъ

воротъ, наблюденія на рынкѣ разнообразнаго населенія, пожалуй, представленіе пашѣ,—и домой!.. Развѣ, если есть рекомендательныя письма къ австрійскому, итальянскому или французскому консуламъ, можно побывать у нихъ и поговорить не безъ пользы, потому-что они отъ скуки рады всякому заѣзжему европейцу (нашего консула нѣтъ). Можно побесѣдовать съ французскими монахами, которые считаютъ себя за esprits forts Триполи, но въ показанія которыхъ нужно вводить дробный, антиклерикальный коеффиціентъ. Потомъ—на пароходъ и въ Марсель, чрезъ Тунисъ, ради полученія матеріаловъ для сравнительно-географическихъ соображеній и выводовъ. Внутрь страны васъ не пустятъ.

М. Венюковъ.

ПРИЗРАКЪ.

—Кто ты, мой призракъ неземной?
—Я лунный свѣтъ надъ темной чащей.
—Зачѣмъ-же голосъ твой дрожащій
Исполненъ грусти роковой?

—То шепчутъ сказки вѣтки кленовъ
Въ безстрастномъ холодѣ лучей...
—Зачѣмъ-же слезы изъ очей,
Зачѣмъ-же трепетъ этихъ стоновъ?

—То капли бѣлыя росы, —
То сонный вздохъ земного праха...
—Зачѣмъ-же я клонюсь отъ взмаха
Твоей сверкающей косы?!..

К. Фофановъ.

РОЖДЕСТВО НА ЧУЖБИНѢ.

(Очеркъ морского быта).

Большой висячій подсвѣчникъ передъ судовой иконой св. Николая-Угодника былъ густо уставленъ горящими восковыми свѣчами; тѣ, которымъ не хватило мѣста на подсвѣчникѣ, тѣснились на полкѣ кіота, прилѣпленныя прямо къ дереву.

Въ палубѣ передъ образомъ собралось почти все населеніе «Монгольца». Впереди—командиръ и офицеры въ полной парадной формѣ, за ними—сплошная стѣна команды.

Среди офицерскихъ мундировъ темнымъ пятномъ выдѣлялся штатскій сюртукъ единственнаго гостя, пріѣхавшаго съ берега. Это былъ датчанинъ, чиновникъ китайской таможни, просившій у командира разрѣшенія присутствовать на молитвѣ.

Онъ стоялъ низко склонивъ голову, видимо съ глубокимъ вниманіемъ прислушиваясь къ стройному пѣнію на непонятномъ ему языкѣ. Когда въ толпѣ происходило движеніе, раздавались молитвенные вздохи, мелькали сотни рукъ, творящихъ крестное знаменіе, онъ вмѣстѣ съ другими поднималъ глаза къ высокому кіоту, гдѣ среди богатой золоченой ризы темнѣли суровыя черты лика Угодника, и тоже крестился по примѣру сосѣдей.

На «Монгольцѣ» не было іеромонаха, а потому

служилась не обѣдня, а обѣдница. Обязанности дьячка исполнялъ баталеръ, просто, но внятно и съ чувствомъ читавшій положенныя молитвы.

«...Богъ послалъ въ сердца ваши Духа Сына Своего; посему ты уже не рабъ, а сынъ; а если сынъ, то и наслѣдникъ Божій...» раздавались въ тишинѣ слова Апостола, и общее напряженное вниманіе, казалось, говорило, какъ отрадно сердцу слушать эту властную рѣчь ободренія и утѣшенія, встрѣчая Великій Праздникъ далеко на чужбинѣ.

Старательно пѣли пѣвчіе; вся толпа шопотомъ вторила имъ, и сливающійся вмѣстѣ шопотъ двухъ-сотъ человѣкъ, то разростаясь, то падая, словно мощный гулъ морского прибоя, проникалъ въ душу, наполняя ее молитвеннымъ трепетомъ, вызывая и укрѣпляя мысль, что здѣсь, дѣйствительно, едино стадо и единъ пастырь.

Окончилась служба. Барабанъ глухо прогремѣлъ отбой, потомъ сборъ. Всѣ заспѣшили наверхъ. Команда начала выстраиваться по-вахтенно, во фронтъ; офицеры направились на шканцы.

Датчанинъ взволнованно пожималъ имъ руки и благодарилъ.

— Ужь семь лѣтъ сижу я безвыѣздно въ этой проклятой норѣ,—все коплю деньги, чтобъ вернуться на родину и зажить по-человѣчески. Даже отпуска взять нельзя: у меня нѣтъ товарища, я одинъ европеецъ, а оставить дѣло на китайца—не рѣшаюсь. Поймите, что семь лѣтъ я не видѣлъ, какъ молятся христіане, не слышалъ церковнаго пѣнія. Моимъ единственнымъ утѣшеніемъ была Библія, которую я выучилъ почти наизусть. О, благодарю васъ! Я такъ доволенъ сегодня...

— Смирно! скомандовалъ старшій офицеръ.

Командиръ обошолъ фронтъ, поздоровался, по-

здравилъ съ праздникомъ, потомъ остановился посрединѣ.

— Сегодня, началъ онъ,—очередная вахта будетъ уволена на берегъ. Веселиться тутъ негдѣ, а все-таки поразомнете ноги. Что-жь дѣлать,—самъ знаю! Давно на походѣ; всѣмъ трудно, всѣ устали: ни я, ни офицеры не лежимъ на печкѣ... Зато, придемъ въ Шанхай, я вашей службы не забуду—тамъ свое наверстаете.

— Рады стараться! Покорнѣйше благодаримъ, ваше высокоблагородіе! дружно, какъ одинъ человѣкъ, рявкнули матросы, изъ которыхъ многіе ужь давно мечтали о прелестяхъ Шанхая и за командирское обѣщаніе готовы были работать хоть по 24 часа въ сутки. Въ настоящее-же время берегъ дѣйствительно представлялъ мало интереснаго. «Монголецъ» стоялъ въ рѣкѣ У-Кіангъ, у небольшой китайской деревни, такъ-какъ мелководье не позволяло ему подняться выше, къ самому городу Ванъ-чи-фу, до котораго оставалось еще семь миль.

Парадный завтракъ въ каютъ-компаніи только-что кончился. Офицеры еще сидѣли у стола за чашкой кофе и рюмкой вина, слушая разсказы датчанина, возмущавшагося китайской рутиной.

— Это чортъ знаетъ, что за народъ! восклицалъ онъ.— Что было сказано тысячу лѣтъ тому назадъ, то онъ принимаетъ на вѣру, но ни въ чемъ новомъ вы его не убѣдите, не докажете, хотя-бы то было ясно какъ дважды-два—четыре!

— Однако, они легко убѣдились въ преимуществѣ пули и ружья передъ лукомъ и стрѣлами, замѣтилъ кто-то.

— Ну, еще-бы! И это единственный способъ разговаривать съ ними, не теряя времени даромъ.

Чтобы цивилизовать китайцевъ, надо ихъ покорить, взять въ крѣпкія руки!..

— Позвольте, позвольте! протестовали собесѣдники.—Зачѣмъ вы будете навязывать имъ эту цивилизацію? Они сидятъ смирно, никого не трогаютъ и желаютъ лишь, чтобы ихъ никто не трогалъ. Желаніе вполнѣ законное.

— А знаете-ли вы, что они насъ презираютъ, считаютъ дикарями и варварами?..

— Ага! Въ васъ оскорблено самолюбіе европейца, и вы хотите поддержать свои убѣжденія пушечными выстрѣлами?

— Но если иначе невозможно!

— Пустое! Все возможно. Какое нравственное право имѣете вы залѣзать въ чужую душу и насильственно разрушать тысячелѣтнія преданія?

— Во имя цивилизаціи. Свѣтъ цивизаціи долженъ озарить весь міръ!

— И озаряйте! Помоги вамъ Богъ! Но безъ насилія, безъ пушекъ... Дѣйствуйте миромъ и убѣжденіемъ...

Споръ былъ прерванъ появленіемъ старшаго офицера, который спрашивалъ, не желаетъ-ли кто ѣхать на берегъ. Желающихъ не оказалось.

— Въ такомъ случаѣ, господа, надѣюсь, всѣ примутъ немедленно-же дѣятельное участіе въ приготовленіяхъ къ вечернему торжеству. Надо разобрать подарки, распредѣлить угощеніе, написать билеты... словомъ—дѣла хватитъ. По одному весьма существенному вопросу вся надежда возлагается на нашего мичмана: извѣстно, что онъ художникъ, умѣетъ приспособиться ко всякому дѣлу... хотя и лѣнивъ на-подъемъ...

— Ого! отозвался съ другого конца стола мичманъ, сражавшійся съ механикомъ въ трикъ-

тракъ.—Не знаю, куда клонится ваша рѣчь, но, судя по комплиментамъ, думаю—не къ добру.

— Первое—надо убрать елку...

— Это не хитро... Сдѣлаемъ... Экъ вамъ везетъ, Иванъ Иванычъ! Когда-жь я васъ наконецъ обыграю?

— Да бросьте вы свой трикъ-тракъ и слушайте! Какъ вамъ не надоѣло за два года...

— Охъ, Господи! вздохнулъ мичманъ, прерывая интересную партію. — Слушаю со всѣмъ вниманіемъ.

— Вотъ онъ,—старшій офицеръ мотнулъ головой на датчанина,—обѣщалъ доставить елку. Сейчасъ ее привезли.

— Значитъ—all right?

— То-то и есть, что нѣтъ. Хоть я въ такихъ дѣлахъ мало смыслю, а все-таки по-моему это не елка, а кустъ можевельника. Обстоятельства вамъ выяснены, и каютъ-компанія ждетъ рѣшительнаго отвѣта: будетъ-ли елка?

— Будетъ.

— Ну, и отлично.

Черезъ полчаса на всемъ «Монгольцѣ» кипѣла работа.

Мичманъ съ двумя столярами и машинистомъ уединились на ютъ и тамъ «дѣлали» елку. На столѣ въ каютъ-компаніи возвышались груды предметовъ нехитраго матросскаго обихода: щетки, куски мыла, ремни, рубахи, фуфайки, теплыя перчатки... Все это связывалось въ пачки, по возможности равноцѣнныя, каждая со своимъ номеромъ. Предсѣдатель «обжорной комиссіи» хлопоталъ насчетъ угощенія; спеціалисты обсуждали рецептъ глинтвейна, для котораго было запасено два бочонка краснаго вина. На верхней палубѣ ставили тенты.

Вскорѣ, еще задолго до назначеннаго срока, одинъ за однимъ, начали возвращаться матросы съ берега.

Раньше другихъ пріѣхалъ боцманъ и сейчасъ-же заперся вдвоемъ съ фельдшеромъ въ своей каютѣ, къ немалому изумленію остальной команды.

— Ну, какъ погуляли? Много-ли денегъ истратили? посмѣиваясь, встрѣчалъ возвращающихся вахтенный начальникъ.

— Да что, вашбродь! Послѣднее дѣло! Самое нестоющее мѣсто—ни тебѣ гостинницы, ни опчества... безнадежно махалъ рукой машинный унтеръ-офицеръ.

— То-то я вижу, ты противъ обыкновенія ни въ одномъ глазу!..

— А я, вашбродь, въ гостяхъ былъ, вмѣшался усатый, загорѣлый марсовой.

— Какъ въ гостяхъ? Разскажи, разскажи...

— А такъ-что, вашбродь, бреду я по улицѣ—тоска! Вдругъ вижу—ихняя молельня. Дай, думаю, зайду? Зашолъ. Стоитъ этта ихнее идолище, къ стѣнкѣ прислонено; передъ имъ жаровня, а передъ жаровней, значитъ, китаецъ. Сидитъ, бормочетъ что-то и въ огонь бумажки бросаетъ. Бумажки... такъ... махонькія, и прописано на нихъ. Поглядѣлъ я тутъ и давай ему пособлять: енъ побормочетъ, побормочетъ—бумажку кинетъ, и я тоже...

— Ахъ, ты, голова! разсмѣялся офицеръ.—Вѣдь это онъ своему Буддѣ молился. И ты съ нимъ!

— А что-жь, вашбродь! заговорилъ марсовой, внезапно воодушевляясь.—Этта я смекнулъ: вижу—вродѣ-бы молится... Ну, и пущай—кажінный человѣкъ по своему закону, какъ ему дадено... А ежели по ихнему положенію эфто ему на пользу—такъ зачѣмъ и не подсобить?..

— А онъ тебя изъ молельни-то не выгналъ за твое «подсобленіе»?

— Зачѣмъ гнать — премного доволенъ былъ, благодарилъ, кланялся, къ себѣ въ гости зазвалъ.

— Угощалъ чѣмъ-нибудь?

— Извѣстно! Не въ сухую-же! Только, вашбродь, и водка-жь у нихъ—ни скусу, ни силы... тьфу! одно слово.

— Да это не водка, это вѣрно рисовое пиво...

— Можетъ, и пиво... пожалъ плечами марсовой.—Прямо скажу—съ души претъ!..

Въ собравшейся толпѣ слушателей раздался смѣхъ. «Ай да угостили!» «Вотъ такъ Титовъ!» «Вляпался!»

— Зато рыба важнѣющая, защищался тотъ,— и лепешки тоже; трава въ ихъ запечена этакая, вродѣ-бы мята. Опять-же скажу, братцы, баба тамъ была... услужающая. во!

— Ну, ладно, ладно, перебилъ офицеръ, — ты разсказывай по порядку.

— Да что, вашбродь,—тутъ и конецъ. Сидѣли этта мы, закусывали, чай пили... енъ про житье свое горемычное разсказывалъ, что и земли мало, и хозяйство...

— Ты по-китайски развѣ понимаешь?

— Никакъ нѣтъ, вашбродь, а такъ... вразумительно онъ пояснялъ... бѣдноту свою показывалъ, одежонку рваную: видно, что жалился... Ну, я ему долеръ далъ...

— Какъ доларъ? изумился офицеръ.—Самъ-то ты что за богатый?

Марсовой добродушно развелъ руками.

— Намедни, вашбродь, вы говорили: китаецъ на долеръ цѣльный мѣсяцъ прожить можетъ... и съ семьей...

— Вѣрно. Говорилъ.

— То-то и я думалъ, потому шибко онъ обрадовался, не зналъ, какъ и провожать... А я полагалъ: мнѣ што?—Все равно прогуляю... Лучше ужь того... для ради праздника... закончилъ онъ съ широкой улыбкой, словно извиняясь.

Въ окружающей толпѣ пробѣжалъ одобрительный говоръ.

— Это ты правильно, замѣтилъ старый, суроваго вида матросъ: — потому все — живая душа, пущай чувствуетъ...

Въ восьмомъ часу вечера всѣ приготовленія къ торжеству были окончены. Пространство подъ тентомъ задрапировано флагами и убрано маленькими фонарями. Посрединѣ шканцевъ, на помпѣ возвышалась фальсифицированная елка, заслужившая общія похвалы. Вѣтви можевельника, тщательно выбранныя и подрѣзанныя, были довольно искусно и правдоподобно расположены вокругъ фальшиваго ствола — попросту палки, покрытой однако настоящей корой. Въ стройномъ деревцѣ, убранномъ клочьями ваты и горящими свѣчами, опутанномъ золотыми нитками, увѣшанномъ разными украшеніями, непосвященный зритель врядъ-ли угадалъ-бы пышный можевеловый кустъ. Всторонѣ, по бортамъ, тянулись столы съ подарками и угощеніемъ: корзины орѣховъ, мандариновъ и... пряниковъ. Послѣдніе были пріобрѣтены мѣсяцъ тому назадъ и пришли въ состояніе окаменѣлости; имѣя вдобавокъ шарообразную форму, съ которой срывался самый острый зубъ, они представлялись рѣшительно несъѣдобными, и большинство каютъ-компаніи предлагало просто выбросить ихъ за бортъ, а не подавать въ видѣ угощенія какихъ-то зубодробительныхъ аппаратовъ. Другіе-же, наоборотъ, утверждали, что пряники-то и будутъ самымъ

«гвоздемъ» пиршества, что орѣхи и мандарины съѣдятъ моментально, а надъ пряниками, небось, повозятся; вопросъ-же главнымъ образомъ въ продолжительности удовольствія. Такъ-какъ во главѣ меньшинства стоялъ многоопытный «дѣдъ»—старшій лейтенантъ, неизмѣнный распорядитель всякихъ матросскихъ праздниковъ, то послѣднее мнѣніе восторжествовало.

Но вотъ два матроса вынесли изъ самоварной большую ендову съ дымящимся напиткомъ и поставили ее на табуретѣ подъ елкой. Старшій офицеръ отправился докладывать, что все готово. Команда собралась на шканцахъ. Черезъ нѣсколько минутъ изъ каюты вышелъ командиръ, молча подошолъ къ ендовѣ, захватилъ полную чарку, выпрямился и заговорилъ своимъ рѣзкимъ, отрывистымъ голосомъ:

— Ребята! Сегодня вотъ ужь второй разъ, что мы съ вами встрѣчаемъ Великій Праздникъ на чужой сторонѣ. Въ будни, когда работы по горло,— думать некогда: только-бы отдохнуть да выспаться. А вотъ какъ праздничаешь, все и лѣзетъ въ голову: что-то тамъ—въ семьѣ? Ну, дай имъ Богъ этотъ день провести весело, безъ заботъ. Скоро и свидимся — недолго осталось. За работой время летитъ. Скучаетъ только тотъ, кто не работаетъ. Наше росписаніе должно быть такое: скуки—ни минуты, дѣлу—время, потѣхѣ—часъ. Но ужь коли часъ, такъ отъ души веселиться. За ваше здоровье, молодцы! За здоровье вашихъ родныхъ! Ура!

Командиръ поклонился и, по матросскому обычаю, снявъ фуражку, разомъ опрокинулъ чарку въ горло.

— Ура! подхватили кругомъ...

Вслѣдъ за командиромъ начали подходить офицеры въ порядкѣ старшинства, потомъ команда.

Когда церемоніальное питье чарки приблизилось къ концу, вмѣсто одной ендовы появилось нѣсколько; матросы вытащили изъ-за пазухи припасенныя кружки и волной хлынули черпать желанный напитокъ. Изъ каютъ-компаніи появился вѣстовой съ бокалами шампанскаго.

— Это будетъ все-же понадежнѣе вашего глинтвейна, вполголоса посмѣивался предсѣдатель «обжорной комиссіи».

Неожиданно среди команды произошло какое-то смятеніе. Говоръ стихъ... «Стой! Стой, дьяволъ! Сказано—не пей! Чего пасть разинулъ—успѣешь наглотаться!» разносился угрожающій «шопотъ» боцмана.

Офицеры, улыбаясь и догадываясь, въ чемъ дѣло, терпѣливо ожидали.

Наконецъ, водворивъ желаемый порядокъ, боцманъ выступилъ изъ толпы съ подносомъ, на которомъ возвышались наполненныя до верху кружки, и съ торжественнымъ видомъ началъ обходить начальство; затѣмъ, ставъ посрединѣ образовавшагося полукруга, произнесъ громовымъ голосомъ:

— Ребята!..

Все замерло. Всѣмъ стало ясно, зачѣмъ онъ запирался съ фельдшеромъ въ каютѣ. Однако, здоровый мужчина, разставивъ ноги и упорно разглядывая что-то на палубѣ, только краснѣлъ, съ остервенѣніемъ крутилъ усы и... молчалъ.

— Ребята! повторилъ онъ уже тише—и снова смолкъ...

Очевидно, приготовленная рѣчь вся цѣликомъ выскочила изъ его крѣпкой головы.

Положеніе становилось критическимъ. Боцманъ такъ пыхтѣлъ и надувался, что можно было опасаться апоплексическаго удара. Дѣдъ уже соби-

рался двинуться на помощь... Но старый матросъ, видавшій виды, не терявшійся въ штормахъ, нашолся и тутъ. Энергично махнувъ рукой, вѣроятно, въ душѣ пославъ къ чорту и свою рѣчь, и фельдшера, онъ обвелъ окружающихъ побѣдоноснымъ взглядомъ—и заговорилъ:

— Ребята!.. Такъ-что теперича мы въ Китаѣ, а праздникъ справляемъ по-нашему. Тоись на-манеръ какъ-бы дома. Потому, значитъ, командеръ приказалъ, а господа офицеры постарались. И вы должны эфто понимать и чувствовать. За здоровье его высокоблагородія и господъ офицеровъ! Ура!

— Ура-а! подхватила команда, и могучій крикъ, повторяемый эхомъ, долго не умолкалъ во тьмѣ ночи, будя мирныхъ жителей рѣчной долины.

— Надѣлаете вы тревоги въ окрестныхъ деревняхъ, смѣялся датчанинъ: — они и теперь, навѣрно, ждутъ нападенія!..

Офицеры чокались съ боцманомъ, благодарили и хвалили рѣчь.

— Вотъ видишь, Загаиновъ, поучалъ дѣдъ,— я чувствовалъ, что у тебя приготовлено: никогда этого не нужно. Говори, что Богъ на душу положитъ, и хорошо выйдетъ.

— Такъ точно, вашбродь! Это все онъ меня спуталъ... Я еще тебѣ пркпомню, аспидъ! грозилъ тотъ въ сторону фельдшера.

Дальше тосты пошли одинъ за другимъ. Пили и за ротнаго командира, и за артиллериста, и за минера—словомъ, за всѣхъ по порядку. Гвоздемъ угощенія, дѣйствительно, оказались пряники, притомъ гвоздемъ очень крѣпкимъ. Матросы изъ силъ выбивались надъ ихъ уничтоженіемъ—мочили, кололи, грызли—а корзина все стояла полнымъ-полнехонька.

Начался розыгрышъ подарковъ. Команда съ

веселыми шутками и смѣхомъ толпилась около дѣда, который, потряхивая фуражкой, замѣнявшей лотерейное колесо, предлагалъ вытащить «нумерокъ получше». Надо было видѣть, какъ по его совѣту эти взрослыя дѣти старательно шарили въ совершенно одинаковыхъ, свернутыхъ въ трубочку билетахъ, съ какимъ нетерпѣніемъ осаждали затѣмъ остальныхъ офицеровъ, занимавшихся подыскиваніемъ нумеровъ, съ какимъ удовольствіемъ получали отъ нихъ самыя обыденныя вещи, не составлявшія по своей стоимости значительной суммы даже для скромнаго матросскаго жалованья.

Очевидно, тутъ вся суть была въ названіи: выигрышъ, подарокъ съ елки.

— Вотъ эфто ремень—такъ ремень! восклицалъ одинъ.—Эфтому ремню, братецъ ты мой, сносу не будетъ!

— Теперича мыла у меня—хошь каждый день весь мойся! Во! раздавалось въ другомъ концѣ.

— Рубаху эфту мы про запасъ спрячемъ. Потому, значитъ, по осени въ деревню иттить — службу кончаемъ!..

— Ну къ рылу-ли тебѣ? Что ты въ емъ увидишь? укоризненно говорилъ красивый комендоръ товарищу, получившему въ числѣ вещей зеркальце.

— Ладно, толкуй! самодовольно возразилъ тотъ, внимательно изслѣдуя свои рыжіе щетинистые усы.

Фуражка дѣда, неумолчно повторявшаго: «По одному, молодцы, по одному на счастье!» «Тащи судьбу зá косу—она баба съ норовомъ!»—быстро пустѣла.

— Ну, кто тамъ еще? Одинъ билетикъ остался! Загаиновъ! Вѣрно со службы не смѣнили?

— Никакъ нѣтъ, вашбродь! отрапортовалъ боц-

манъ.—Самолично обходилъ: и часовые, и вахтенные, и дневальные—всѣ смѣнены!

— Вѣрно-ли?

— Самъ, вашбродь! Самъ и въ машину ходилъ...

— Что у васъ такое? подошолъ старшій офицеръ.

— Да вотъ одинъ билетъ остался... Боцманъ утверждаетъ, что всѣ, *кто на лодкѣ*, ужь взяли, проговорилъ дѣдъ небрежнымъ тономъ, странно поглядывая на начальство.

— А билетовъ... сколько было?

— По числу команды.

— Вы провѣряли?

— Не я одинъ—трое офицеровъ считали и пересчитывали: боялись—вдругъ кому-нибудь не достанется.

— Сколько-же числомъ?

— Сто шестьдесятъ-шесть.

— Сто-шестьдесятъ-шесть? отчетливо произнося каждое слово, переспросилъ старшій офицеръ.

— Такъ точно, отвѣтилъ дѣдъ, надѣвая фуражку и прикладывая руку къ козырьку.

— Эй, молодцы! весело крикнулъ старшій офицеръ, покрывая своимъ голосомъ общій шумъ и говоръ.—Кто тамъ зѣваетъ? Кто билета не бралъ? Подходи сюда!

Наступило молчаніе. Матросы съ недоумѣніемъ переглядывались... Никто не отзывался.

— Унтеръ-офицерамъ обойти свои части! Всѣхъ спросить! Кого забыли смѣнить—веди сюда!

Унтеръ-офицеры съ боцманомъ во главѣ бросились исполнять приказаніе.

Веселье прекратилось. На всѣхъ лицахъ читалась смутная тревога. Старые матросы хмурились, молодые растерянно озирались кругомъ. Этотъ

маленькій клочокъ бумаги, который дѣдъ досадливо вертѣлъ между пальцами, не сулилъ ничего хорошаго... Если билеты были по числу команды, если *всѣ, кто на лодкѣ,* ихъ получили... значитъ — самовольная отлучка, можетъ быть, побѣгъ—стыдъ и позоръ для всего «Монгольца»...

Посланные возвращались одинъ за другимъ. Командиръ стоялъ мрачно потупившись и слушалъ ихъ рапорты.

Безбилетный не находился.

— Сдѣлайте перекличку, приказалъ командиръ сквозь зубы.

— Повахтенно, во фронтъ! отрывисто скомандовалъ старшій офицеръ, скрываясь въ каютѣ, и тотчасъ-же появился вновь со спискомъ въ рукахъ.

Черезъ нѣсколько секундъ вдоль обоихъ бортовъ, на фонѣ пестрой драпировки флаговъ, вытянулись стройныя линіи матросовъ. Передъ фронтомъ стояли неубранныя, наполовину опустѣвшія ендовы, лежали на-скоро свернутыя вещи, возвышалась горящая огнями елка, казавшаяся въ эту минуту какой-то неприличной насмѣшкой надъ общей тревогой.

Старшій офицеръ среди гробового молчанія началъ перекличку, произнося номеръ и фамилію. Матросы стремительно отзывались обычнымъ: «Есть!» словно торопясь заявить о своемъ присутствіи. По мѣрѣ того какъ списокъ приходилъ къ концу, росло нервное возбужденіе толпы, усиливалось безпокойство... «Вотъ, вотъ сейчасъ...» думалось всякому...

— Сто шестьдесятъ шестой—Рубцовъ!

— Есть! не удержался, даже слегка выдвинулся тотъ изъ строя.

У всѣхъ отлегло отъ сердца.

Старшій офицеръ закрылъ списокъ, повернулся

къ командиру и, взявъ подъ-козырекъ, отрапортовалъ:

— Всѣ налицо.

Командиръ медленно поднялъ голову.

— Слушай, ребята: чтобъ не портить праздника, не хочу и допытываться, какой дуракъ надѣлалъ намъ столько тревоги. Я объ этомъ забуду. Разойтись!

Фронтъ разсыпался, но равновѣсіе въ атмосферѣ не было возстановлено. Матросы безпорядочно толпились на палубѣ, не прикасаясь къ недопитымъ кружкамъ, оживленно вполголоса толкуя о происшествіи.

— Ахти, грѣхъ какой! — Скажи на милость! Какъ его лукавый попуталъ! Чтобъ ему!... слышались замѣчанія.

— Нѣтъ, я его уличу! Я его со дна моря достану! Я ему покажу, какъ шутки шутить! разносился по всему судну «шопотъ» Загаинова, появлявшагося то тутъ, то тамъ.—Подсобите, братцы, приглядывайтесь—соопча надо! Соопча! убѣждалъ онъ.

Очевидно, праздникъ разстраивался. Тщетно офицеры пытались разсѣять непріятное впечатлѣніе, смягчить негодованіе возмущенной команды.

Какъ послѣднее средство, дѣдъ вызвалъ пѣсенниковъ... Вдругъ на бакѣ раздался необычайный шумъ...

— Такъ вотъ кто ты таковъ есть! Вотъ онъ что за гусь! гремѣлъ боцманъ.

Все сначала ринулось туда, потомъ хлынуло обратно на шканцы.

Командиръ хотѣлъ крикнуть: «Не надо!» но не успѣлъ,—между нимъ и живой стѣной матросовъ уже стояла, вся съежившись, маленькая фигурка

съ безусымъ, безбородымъ, совсѣмъ еще дѣтскимъ лицомъ.

— Виноватъ, ваше высокоблагородіе!... пропищалъ тоненькій, испуганный голосъ.

Командиръ сдвинулъ брови и особенно грозно спросилъ:

— Ты кто такой?

— Ефимъ Головатыхъ, ваше высокоблагородіе... такъ-же жалобно, на-распѣвъ, отвѣтилъ игрушечный матросикъ.

— Новобранецъ? еще больше хмурясь, продолжалъ командиръ.

— Такъ точно... всего мѣсяцъ тутотка...

— Отчего ты не взялъ билета?

— Позадѣ стоялъ, ваше высокоблагородіе... Апосля подошолъ—мотрю—ужь кончили...

— Другіе кончили, а не ты. Надо было сказать.

— Не доспѣлъ, ваше высокоблагородіе....

— Ну, а потомъ? Отчего не объявился, когда старшій офицеръ вызывалъ? Когда ундера спрашивали?...

Молчаніе.

— Ну?... Не бойся, ничего тебѣ не будетъ — говори прямо!

Матросикъ мнется.

— Застыдился... раздается наконецъ среди общаго напряженнаго вниманія.

Командиръ машетъ рукой и поспѣшно отворачивается: «Уберите его...»

Кругомъ раздается неудержимый смѣхъ.

— Эхъ, ты! укоризненно «шепчетъ» боцманъ.— Какой губерніи?

— Тобольской..

— Ну, вотъ, одно слово—Азія!

— Гдѣ-жь пѣсенники? кричитъ дѣдъ.

Но туча прошла. Матросы снова развеселились. Невдалекѣ ужь побрякивалъ бубенъ. Вотъ въ середину круга выступилъ запѣвало и высокимъ теноромъ началъ:

Я иду, иду, иду—
Собаки лаютъ на-бѣду!...

Онъ махнулъ рукой, закружился на мѣстѣ...

Собаки лаютъ, сами знаютъ,
Что я къ миленькой иду!

Дружно подхватилъ хоръ. Двое катерныхъ — штатные плясуны—ринулись въ присядку; зазвенѣли тарелки, засвистѣли дудки, послышалось уханье, гиканье; на танцующихъ сыпались одобрительныя восклицанія: «Ловко! Волкъ-те заѣшь! Ишь, ухватываетъ! Дуй его горой!...»

Предсѣдатель «обжорной комиссіи» давно уже возмущался.

— Сказано: ужинъ въ девять часовъ—значитъ въ девять надо и за столъ... Потомъ на меня-же будутъ кидаться: тутъ перешло, тамъ подгорѣло! вполголоса, но такъ, чтобы всѣ слышали, заявлялъ онъ.

Уступая его требованіямъ, командиръ и офицеры спустились въ каютъ-компанію.

Но никому не сидѣлось на мѣстѣ. Веселье, дѣйствительно, заразительно. Каждый съ непроизвольной улыбкой прислушивался къ пѣснямъ и взрывамъ дружнаго смѣха, доносившимся сюда. Наконецъ наверху произошло что-то невообразимое: хохотали, апплодировали (обычай, перенятый нашими матросами отъ французскихъ матросовъ), кричали «ура». Разговоръ за столомъ оборвался. Офицеры молча переглядывались, смѣясь,

слушая и стараясь понять. Командиръ, уступая общему настроенію, нарушилъ этикетъ:

— Господа, не пойти-ли взглянуть... Все равно— десертъ можно подать наверхъ... Тамъ что-то особенное...

Дѣйствительно, наверху происходило нѣчто особенное. Распорядителемъ и главнымъ заводчикомъ увеселеній являлся дѣдъ, стоявшій на вахтѣ.

Съ машиннаго люка на планширь, на высотѣ, примѣрно, аршинъ двухъ, былъ перекинутъ шестъ, совершенно гладкій, толщиной не больше трехъ вершковъ. На шестъ другъ противъ друга садились два матроса. Въ правой рукѣ каждый держалъ за уголъ подушку; лѣвая оставалась свободной и хвататься ею за что-либо строго воспрещалось. Своеобразный турниръ сводился къ тому, чтобы ударомъ подушки сшибить противника на палубу, а самому удержаться. Задача нелегкая, такъ-какъ сохранять равновѣсіе на тонкомъ, скользкомъ шестѣ даже и безъ борьбы требовало большого искусства. Но въ данную минуту буйный восторгъ команды былъ вызванъ главнымъ образомъ тѣмъ, что въ состязаніи добровольно принялъ участіе нашъ поваръ-китаецъ съ мудренымъ именемъ, для простоты окрещенный Иваномъ.

Въ то время какъ толпа матросовъ почтительно разступилась, пропуская командира и офицеровъ, Иванъ, уже нѣсколько разъ потерпѣвъ неудачу, безъ шапки, красный, возбужденный, стремился снова занять позицію, съ которой былъ только что сверженъ.

— Стой, Ванька! Стой, косатый чортъ! удерживали его доброжелатели. — Башку сломаешь! Палубу пробьешь!

— Не трожь! Не трожь! галдѣли другіе.—Вали, Ванька! Покажи ему Кузькину мать!

— Ни, ни, ни! Еще одинъ! Моя тогда не зналъ! Моя тепель будетъ зналъ! кричалъ упрямый китаецъ, вырываясь изъ рукъ пріятелей и снова громоздясь на шестъ.

— Ну, Зуевъ, держись! предупреждали нѣкоторые его противника, побѣдоносно озиравшагося съ подушкой въ рукѣ.—Ванька-то озвѣрѣлъ! Не сдобровать тебѣ!

— Ладно! посмѣивался Зуевъ, гладя усы.— Онъ у меня живымъ манеромъ рѣдьку вкопаетъ! Въ лучшемъ видѣ!

Но товарищи словно напророчили. Китаецъ видимо приспособился, весь какъ-то подобрался, съежился, ловко отразилъ ударъ, изловчился, сдѣлалъ неожиданный выпадъ—и матросскіе башмаки высоко мелькнули въ воздухѣ и исчезли въ толпѣ.

— Ура-а! заревѣли кругомъ.—Качать его! Качать!

— Моя! Моя! кричалъ побѣдитель, взлетая кверху...

Колоколъ на бакѣ пробилъ восемь склянокъ.*

По знаку старшаго офицера, звонко залилась боцманская дудка, и вслѣдъ затѣмъ раздалась команда:

— Стопъ пѣсни пѣть и веселиться! Повахтенно во фронтъ—на молитву!

Черезъ полчаса весь «Монголецъ» спалъ крѣпкимъ сномъ. По темной, опустѣвшей палубѣ одиноко бродилъ вахтенный начальникъ...

Надъ трубой уже вился легкій дымокъ—въ машинѣ разводили пары: на разсвѣтѣ предстояла съемка съ якоря.

В. Семеновъ.

---

* Восемь склянокъ—полночь.

* * *

Ледяныя завѣсы зима
Опустила на окна мои
И сокрыла отъ глазъ
Оголенныхъ деревьевъ уборъ,
И строенья, и ветхій заборъ,
Гдѣ безпечно трещатъ воробьи, —
И на льдистой завѣсѣ зажгла
Брилліанты огней безъ числа...

И на памяти блѣдной моей
Опустило завѣсы забвенье
И сокрыло въ умѣ навсегда
Всѣ восторги измѣнчивыхъ дней,
И страданье, и сердца стремленье —
Пытку мукъ и стыда, —
И на памяти блѣдной зажгла
Грезы—пѣсни мои безъ числа...

К. Фофановъ.

Очерки невольнаго туриста.

(Отъ Иркутска до Качуга).

I.

Партія и ша вышла изъ Александровскаго завода въ послѣднихъ числахъ апрѣля; она состояла изъ 270 человѣкъ. Тутъ были и холостые и семейные всевозможныхъ національностей, самыхъ разнообразныхъ категорій арестантовъ: ссыльные административнымъ порядкомъ, препровождаемые въ Якутскую область вслѣдствіе непринятія ихъ «за порочность» никакимъ крестьянскимъ или мѣщанскимъ обществами, ссылаемые на житье и поселеніе по суду и даже каторжные. Восемь семей этихъ послѣднихъ слѣдовали на какой-то соляной заводъ. Но огромное большинство составляли житейцы и поселенцы, назначенные для причисленія по волостямъ Верхоленскаго округа и по улусамъ Якутской области. Общій видъ партіи далеко не производилъ того мрачнаго, тяжолаго впечатлѣнія, какое всегда испытываешь при встрѣчѣ каторжныхъ по московскому или забайкальскому тракту. Партія шла безпорядочно, разсыпавшись по обѣ стороны дороги, гдѣ было суше. За ней тянулось около 40 подводъ, переднія—подъ больными, бабами съ дѣтьми и просто уставшими, а заднія — подъ арестантскими вещами. Въ этой подвигавшейся впередъ массѣ народа одни отставали, чтобы присѣсть, другіе сходили

съ телѣгъ и бѣжали впередъ. Около каждой подводы толпилось нѣсколько человѣкъ, переругиваясь съ тѣми, которые, по ихъ мнѣнію, слишкомъ долго засиживались, и торопясь другъ передъ другомъ завладѣть опроставшимся мѣстомъ. По сторонамъ бѣгали разныхъ возрастовъ ребятишки, гоняясь за овражками или срывая распустившіеся цвѣты подснѣжника. Раздавалось дикое гиканье ямщиковъ-бурятъ, понукавшихъ то-и-дѣло останавливавшихся подъ «буторомъ» коней. Конвой, въ количествѣ 18 солдатъ, совершенно терялся въ этомъ движеніи. Не было слышно бряцанья кандаловъ, и самая внѣшность толпы, ея костюмы далеко не представляли собою сѣраго однообразія.

Съ 1886 года главное передвиженіе арестантовъ по якутскому тракту начинается съ весны, послѣ вскрытія рѣки Лены. За восемь станковъ отъ Иркутска, въ селеніи Качугѣ, ихъ размѣщаютъ на плавучихъ баракахъ или такъ-называемыхъ паузкахъ, и такимъ образомъ они уже слѣдуютъ дальше воднымъ путемъ по Ленѣ. До Качуга (300 верстъ) партіямъ приходится идти 12 дней. Здѣсь не имѣется этапныхъ командъ; арестантовъ ведетъ «проходной», т. е. одинъ и тотъ-же конвой отъ Иркутска (или Александровскаго завода) до Киренска, гдѣ онъ сдаетъ ихъ мѣстной командѣ, которая сопровождаетъ партію уже безсмѣнно до самаго Якутска. Этапныя зданія существуютъ только черезъ одинъ переходъ, на дневкахъ. Это собственно лѣтніе бараки, весьма изящной формы, напоминающіе собой швейцарскія шале. Помѣщеніе раздѣлено на двѣ половины съ общимъ выходомъ прямо на дворъ; въ каждой половинѣ по правую и по лѣвую сторону—нары съ широкимъ по серединѣ проходомъ. Снизу ведутъ двѣ лѣстницы въ верхній этажъ, гдѣ непосредственно подъ крышей тоже нары. Печи имѣются только въ небольшомъ отдѣленіи для семейныхъ, примыкающемъ въ видѣ пристройки къ лѣвой стѣнѣ главнаго зданія. Эти бараки просторны и

удобны какъ лѣтнія помѣщенія, но для апрѣля мѣсяца они вовсе не по сезону. По ночамъ еще настолько холодно, что многіе, вслѣдствіе тѣсноты при огромномъ скопленіи народа, не находятъ разницы спать на дворѣ, укрывшись своимъ барахломъ. Большой дворъ вокругъ этапа окружонъ невысокимъ досчатымъ заборомъ. Сторожа нѣтъ; арестанты сами заботятся о доставкѣ для себя воды. Приготовленіе кипятку и варка пищи происходитъ на дворѣ, на многочисленныхъ кострахъ, изъ которыхъ каждый разводится отдѣльно группой въ нѣсколько человѣкъ. Для закупки провизіи арестанты отпускаются въ деревню по пяти и болѣе человѣкъ заразъ; какъ только одни возвращаются, другіе уходятъ, такъ-что это хожденіе не прекращается цѣлый день до повѣрки. За недостаточностью военнаго конвоя, по требованію партіоннаго начальника, стража усиливается крестьянами мѣстной деревни; крестьяне-же обыкновенно сопровождаютъ, съ дубинами въ рукахъ, отправляющихся въ лавку за покупками. Въ селахъ, гдѣ арестанты «по маршруту» останавливаются на ночовку, бараковъ нѣтъ; партія по счету сдается на руки сельскому начальству, которое и размѣщаетъ ее по обывательскимъ квартирамъ. Военный конвой тутъ свободенъ, ему нѣтъ никакого дѣла до арестантовъ. Надзоръ за ними и отвѣтственность за побѣги лежитъ исключительно на крестьянахъ. Утромъ арестантовъ сгоняютъ въ одно мѣсто, строятъ въ рядъ, считаютъ и сдаютъ обратно партіонному начальнику. Эта процедура совершается не такъ-то просто: нужно не мало времени, чтобы разыскать всѣхъ арестантовъ, согнать ихъ въ кучу, откуда они опять разбѣгаются; нужно заставить ихъ въ ряду стоять смирно, не перебѣгая съ мѣста на мѣсто, и дать себя пересчитать. Считаютъ по нѣскольку разъ, и всегда выходитъ то больше, чѣмъ слѣдуетъ, то меньше. Возня длится до тѣхъ поръ, пока офицеръ, давно собравшійся въ дорогу, не выйдетъ на помощь потерявшимъ голову

обывателямъ и не водворитъ порядка. Затѣмъ начинается второй актъ кутерьмы—собираніе старостой или старшиной подводъ подъ партію, и если принять во вниманіе, что доставка этихъ подводъ составляетъ общественную повинность, то легко представить себѣ, сколько времени она длится. Кажется, никогда не бываетъ, чтобы военный конвой получилъ обратно партію въ томъ числѣ, въ какомъ она была сдана сельскому караулу. Обязательно нѣсколькихъ человѣкъ, а то и нѣсколькихъ десятковъ не хватаетъ. Всѣ-ли они бѣжали, или нѣкоторые валяются гдѣ-нибудь пьяные, офицеру дѣла нѣтъ; онъ предоставляетъ разыскивать ихъ сельскимъ властямъ, а самъ, взявъ росписку въ принятіи того количества, какое оказывается въ наличности, отдаетъ распоряженіе трогаться въ путь. Кого именно недостаетъ, станетъ извѣстнымъ не ранѣе, какъ въ Верхоленскѣ, гдѣ всѣ будутъ провѣрены по статейнымъ спискамъ.

II.

Кетъ Мерсденъ.—На дневкѣ.—Денежкинъ.

Мы прибыли на дневку въ селеніе Ольмонъ позже обыкновеннаго, благодаря непредвидѣнной задержкѣ, происшедшей съ нами въ пути. Почти на половинѣ дороги партію нагналъ засѣдатель. Онъ остановилъ кибитку офицера, нѣсколько минутъ поговорилъ съ нимъ и ускакалъ впередъ. Вслѣдъ затѣмъ офицеръ приказываетъ партіи остановиться. Велѣно было всѣмъ построиться въ шеренгу, въ два ряда, по одну сторону дороги, и только больнымъ да добровольно слѣдующимъ женамъ съ грудными дѣтьми позволено оставаться въ телѣгахъ. Офицеръ объяснилъ недоумѣвающимъ арестантамъ, что партію желаетъ видѣть одна особа, которая сейчасъ должна проѣхать. Простояли такимъ образомъ съ четверть часа; моросилъ мелкій, но частый дождикъ, и несмотря на возбужденное любопытство, арестанты

начинали ворчать и отпускать по адресу неизвѣстной важной особы извѣстныя русскія ругательства. Наконецъ, показались вдали двѣ почтовыя тройки; при ихъ приближеніи, мы увидѣли въ передней двухъ дамъ, а въ задней, нагружонной вещами, сидѣлъ казакъ. Тройки остановились; арестанты, по командѣ офицера, обнажили свои головы. Изъ кибитки вышла высокая женщина въ бѣлой повязкѣ на лбу, съ нашивнымъ краснымъ крестомъ. Въ сопровожденіи офицера, казака и своей спутницы, дама, раскланиваясь, подошла къ выстроившимся арестантамъ. Обмѣнявшись съ своей спутницей нѣсколькими словами по-англійски, она взяла у нея изъ рукъ мѣшочекъ и, вынимая изъ него по кусочку пиленаго сахара, подавала каждому изъ арестантовъ, подвигаясь отъ одного конца шеренги до другого. Дойдя до подводъ, на которыхъ сидѣли бабы съ ребятами, она остановилась у одной семьи и, тронутая, очевидно, многочисленностью маленькихъ дѣтей, пожертвовала матери три рубля. Въ заключеніе всего подано было еще на всю партію два кирпича чаю, который офицеръ тутъ-же передалъ старостѣ. Затѣмъ неизвѣстная дама, отдавъ нѣсколько прощальныхъ поклоновъ направо и налѣво, уѣхала, оставивъ арестантовъ въ полномъ недоумѣніи относительно своей личности. Офицеръ тоже не счелъ нужнымъ просвѣтить ихъ на этотъ счетъ. Онъ сказалъ только, что это одна знатная англичанка, а подробности предоставлялъ разрабатывать арестантской фантазіи. И вотъ пошли догадки и предположенія. Одни видѣли въ ней англійскую королеву, будто-бы родственницу нашего Государя, обозрѣвающую россійскія владѣнія. На возраженіе, что для королевы она черезчуръ ужь скромно разъѣзжаетъ, отвѣчали, что англійскій народъ свой карманъ соблюдаетъ, жалованье своей королевѣ отпускаетъ неважное—«не шибко-то разгуляешься». Другіе подходили довольно близко къ истинѣ, считая ее сестрой милосердія, путешествующей по Сибири съ миссіонерскими

цѣлями. Наконецъ, многіе утверждали, что это просто государственная преступница, отправляемая въ Якутскую область. Послѣднее мнѣніе основывали на томъ, что ѣдетъ она въ сопровожденіи конвоира, т. е. казака, и что вообще «люди этой *нацыи* * жалостливы къ нашему брату». А загадочная дама была англичанка Кетъ Мерсденъ, предпринявшая далекое путешествіе въ Вилюйскій округъ съ цѣлью добыть у якутовъ извѣстное, будто-бы, имъ средство противъ проказы.

У этапа ожидали партію сельскій староста и другія сельскія власти. Тутъ-же стояла посторонняя публика: молодой дьяконъ въ голубомъ подрясникѣ и шляпѣ на бекрень, еще какой-то духовный чинъ, два-три по-городски одѣтыхъ парня. Для этой публики приходъ партіи былъ, повидимому, такимъ-же развлеченіемъ, какъ прибытіе желѣзнодорожнаго поѣзда или парохода для жителей, напр., приволжскихъ деревень. Какъ только партію пересчитали, она съ такой стремительностью кинулась въ отворенныя ворота этапа, что посторонніе зрители инстинктивно шарахнулись въ сторону, хотя имъ никакая опасность не угрожала.

Арестанты, давя и толкая другъ друга, ворвались въ бараки, и болѣе проворные мигомъ позанимали мѣста на нарахъ, отставшіе-же должны были довольствоваться поднарьемъ, располагались въ проходѣ или-же просто во дворѣ подъ стѣнами барака. Поднявшаяся затѣмъ суматоха—втаскиванье вещей, препирательства изъ-за мѣстъ, крики и ругань, причинъ которыхъ нельзя было понять,—длилась около часу. Староста бѣгалъ по всѣмъ отдѣленіямъ, выкрикивая: «шестой десятокъ, по воду!», но никто на этотъ зовъ не откликался. Ребятишки плакали и кричали: «мама, дай хлѣба!» Бабы тоже ссорились и упрекали другъ друга въ захватѣ чужого мѣста... Но мало-по-малу суматоха унялась, шестой десятокъ

* Арестантскій терминъ, обозначающій сортъ, родъ.

притащилъ на себѣ бочку воды, и во дворѣ запылали костры, окруженные цѣлой батареей котелковъ, жестяныхъ и мѣдныхъ чайниковъ. Картина принимала болѣе мирный характеръ: вездѣ сидѣли группы, распивая чай; у нѣкоторыхъ семей это имѣло даже идиллическій видъ: на сундукѣ, накрытомъ чѣмъ-то въ родѣ скатерти, самоваръ, чашки съ блюдцами, кругомъ дѣти, хозяйка, разливающая чай,—все какъ слѣдуетъ быть. У полуотворенныхъ воротъ виднѣлся часовой съ ружьемъ, уплетавшій изрядный ломоть булки. Тутъ-же въ резервѣ сидѣлъ на бревнѣ, жуя смолку, «брацковатый» *) крестьянинъ съ внушительной дубиной въ рукѣ. Около него стояло десятка полтора арестантовъ въ ожиданіи своей очереди идти въ село за покупками. У нѣкоторыхъ изъ нихъ на рукѣ или на плечѣ висѣли казенныя рубахи, порты, халаты, предназначенные для продажи. Возвращавшіеся приносили хлѣбъ, мясо, картошку въ шапкахъ и т. п. У воротъ солдаты подвергали ихъ «тщательному, но поверхностному» обыску, что нисколько не препятствовало имъ проносить бутылки съ водкой. На крыльцѣ, внутри плотнаго кольца зрителей, загородившихъ входъ въ баракъ, шла игра въ штосъ. Накормленные и веселые ребятишки съ визгомъ и смѣхомъ бѣгали по двору, ловя другъ друга.

За воротами послышались вдругъ голоса: «Нянюшку привели! Нянюшка пойманъ!—И впрямь Нянюшка.... Ну, ребята, дуть его надо!»

Арестантъ, носившій эту кличку, бѣжалъ на предыдущей ночовкѣ, гдѣ при сдачѣ партіи оказался недочетъ въ шесть человѣкъ. Утромъ передъ отходомъ у многихъ обнаружилось исчезновеніе разныхъ вещей, казенныхъ и своихъ, и не было сомнѣнія, что виновниками кражи были бѣжавшіе. Въ партіяхъ, слѣдующихъ по якутскому тракту, это явленіе—довольно заурядное. Здѣсь нѣтъ

*) Т. е. съ бурятскими чертами лица.

строгой дисциплины, господствующей среди каторжныхъ московскаго тракта. Въ то время какъ тамъ каждый состоитъ на этотъ счетъ подъ общей охраной, а въ случаѣ пропажи, немедленно производится строгій обыскъ самими-же арестантами и воръ подвергается жестокому наказанію, — тутъ нѣтъ ничего подобнаго: разъ что украдено,—пиши пропало. Обысковъ не дѣлается, да это было-бы и безполезно: украденную вещь спѣшатъ унести въ село и сбыть въ лавкѣ или крестьянамъ. Еслибы потерпѣвшій вздумалъ разыскивать свои вещи, онъ встрѣтилъ-бы всеобщій отпоръ: «Не зѣвай, безъ наблюденія себя оставлять не моги, поймалъ вора— бей сколько влѣзетъ, а прозѣвалъ—его фартъ.»—Неизвѣстно, насколько и дѣйствительно-ли былъ виноватъ въ исчезновеніи вещей пойманный «Нянюшка», но его ожидала горькая участь козла отпущенія за всѣхъ виновныхъ. Около дюжины потерпѣвшихъ уже приготовились принять его у воротъ. Какъ только солдатъ втолкнулъ его, закованнаго въ кандалы, во дворъ этапа, они набросились на него и стали бить. «Нянюшка» крикнулъ: «За что?»—и больше его голоса не было слышно. Его лупили кулаками, палками, топтали ногами. Нѣкоторые изъ незаинтересованныхъ и вначалѣ не выражавшихъ никакого озлобленія противъ «Нянюшки» заразились ожесточеніемъ и тоже кинулись его бить. Толпа остервенѣла и навѣрное не оставила-бы живой свою жертву, еслибъ вдругъ не вмѣшался знакомый мнѣ арестантъ Денежкинъ.

— До смерти забьете, дьяволы! Довольно! кричалъ онъ, отталкивая своими сильными руками далеко въ сторону разъярившихся арестантовъ.

Изъ кучекъ, не принимавшихъ участія въ экзекуціи, но издававшихъ поощрительные и одобрительные возгласы: «Такъ его!... Пусть помнитъ, язвіе! А-а-ахъ, ево-олочь!» теперь послышались голоса: «Будетъ! Чего тамъ! Потрепали и будетъ. Можетъ, и не онъ, почемъ

знать!»—«Брось!» оралъ Денежкинъ энергично расчищая мѣсто около лежавшаго на землѣ «Нянюшки». Несчастный былъ весь въ крови, одежда на немъ вся была разорвана въ куски, онъ оставался недвижимъ и издавалъ глухіе стоны. Избавитель его приказалъ дать воды, влилъ ему въ ротъ и спрыснулъ лицо... Затѣмъ съ помощью другихъ соболѣзнующихъ, въ которыхъ теперь не было недостатка, перенесъ его въ баракъ и положилъ на своемъ мѣстѣ, укрывъ халатомъ. А разъяренные экзекуторы долго еще ходили съ налившимися кровью глазами и злобно шипѣли: «Нѣ-ѣ-ѣтъ, погоди! Я тѣ печонки отшибу!.... Полтора цѣлковыхъ рубаха!... Плисовы-отъ штаны въ три рубля!.... Я тѣ покажу!»

Денежкинъ—крестьянинъ Нерчинскаго округа, одной изъ волостей, расположенныхъ по Шилкѣ. Это молодой, лѣтъ 26, красивый парень, умный, энергичный, нисколько не унывающій, несмотря на постигшее его несчастье. «Въ нашемъ быту - жизни безъ риску невозможно, говорилъ онъ:—сегодня потеряешь, завтра найдешь. Было-бы только здоровье». Онъ хорошо грамотный, толково говоритъ, любитъ почитать. Я давалъ ему разсказы Короленка, изъ которыхъ всего больше произвело на него впечатлѣніе «Въ дурномъ обществѣ».

— Трогательно написано. Читаешь это, какъ дѣвчурка умирала и какъ это мальчишка куклой ее утѣшить хотѣлъ, такъ прямо слезы даже изъ глазъ текутъ.

— А «Убивецъ» развѣ вамъ не понравился?

— Однако, тоже хорошій разсказъ, только не такъ шибко трогаетъ.

Денежкинъ не прочь почитать и газету, знаетъ про Бисмарка, про генерала Буланже и имѣетъ даже довольно опредѣленное понятіе о разныхъ формахъ государственнаго управленія. По профессіи онъ хищникъ-золотоискатель и за золото-же идетъ въ Якутскую область. Въ этомъ занятіи онъ ничего преступнаго не

видитъ. Всякій, по его мнѣнію, имѣетъ право извлекать изъ земли заложенное въ ея нѣдрахъ богатство. Ежели казнѣ невыгодно, чтобы добываемое золото сбывали на китайской границѣ, пусть устроятъ пріемныя конторы, куда бы каждый могъ свободно приносить свою добычу и получать за свой продуктъ столько, сколько онъ стоитъ; тогда, думаетъ Денежкинъ, продажа хищническаго золота китайцамъ прекратится. Работалъ онъ съ однимъ товарищемъ гдѣ-то на Амурѣ. Напали они на хорошую падь; вода для промывки—подъ бокомъ, китайская граница — рукой подать, всего верстъ 40—50, Вырыли яму, добрались до «породы», и первая-же проба дала около полтины на лотокъ. Проработали они съ мѣсяцъ и взяли болѣе $2^1/_2$ фунтовъ золота, но на этомъ и попшабашили. Въ одинъ прекрасный день, когда золотая крупа особенно охотно шла въ лотки, на нихъ налетѣли казаки. Хищники замѣтили ихъ, когда они были уже очень близко. Они моментально бросились бѣжать въ лѣсную чащу.—«Стой, стой, закричали казаки, а то будемъ стрѣлять». Одинъ казакъ погнался за бѣглецами и выстрѣлилъ; товарищъ Денежкина отвѣчалъ ему выстрѣломъ изъ револьвера и ранилъ казака въ ногу. Но бѣжать дальше было немыслимо, до тайги оставалось еще порядочное разстояніе, и ихъ непремѣнно уложили-бы пули остальныхъ трехъ казаковъ. Бѣглецы остановились. «Погоди, не стрѣляй, крикнулъ Денежкинъ, мы не уйдемъ».—«Ну, давайте ладиться, сказалъ онъ подъѣхавшимъ казакамъ; ваша взяла, давайте ладиться». Нужно сказать, что хищники никогда не держатъ при себѣ добытаго ими золота. При нихъ больше дневной промывки не найдешь. Вся же добыча прячется гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстѣ, подальше отъ ямы, въ землѣ, въ травѣ, въ дуплѣ дерева. Если казаки поймаютъ хищниковъ, то обыкновенно самое золото отъ ихъ рукъ ускользаетъ. Собственно казаки являются опасными для такихъ золотоискателей, которые не платятъ имъ дани.

Разъ договоръ заключенъ, они могутъ спокойно работать на своихъ мѣстахъ подъ условіемъ уплаты опредѣленной контрибуціи. Ловля хищниковъ превращается такимъ образомъ въ охоту на тѣхъ изъ нихъ, которые скрываются отъ казаковъ, не желая дѣлиться съ ними своей добычей. Такъ-какъ размѣры дани довольно значительны, то хищники предпочитаютъ часто бросать яму и пускаться въ бѣга. Съ большими артелями въ нѣсколько человѣкъ происходятъ даже цѣлыя сраженія, въ которыхъ нерѣдко приходится спасаться нападающей сторонѣ. Но въ случаѣ съ Денежкинымъ выстрѣлъ погубилъ все дѣло. Казаки выражали полную готовность «ладиться», —ихъ смущала только раненая нога товарища. Какое дать объясненіе начальнику? Изъ-за чего да почему, пойдетъ пожалуй слѣдствіе, осмотръ врача, который можетъ и не признать случайнаго происхожденія раны... «Нѣтъ, братцы, заарестовывайтесь, ладиться не станемъ. Давайте руки, будемъ вязать».—И вотъ Денежкинъ съ товарищемъ попали въ лапы засѣдателя. Однако они еще не отчаявались выкрутиться. Золото ихъ оставалось въ тайгѣ, а съ деньгами никакой засѣдатель не страшенъ. Денежкинъ при первомъ-же допросѣ вступилъ съ нимъ въ торгъ. Соглашеніе состоялось на полуфунтѣ золота. Имъ обоимъ предоставлялась возможность уйти изъ каталашки, причемъ въ протоколѣ объ ихъ задержаніи они были названы не настоящими, а вымышленными именами, такъ-что терять имъ «свою родословную» не приходилось. Было условлено, что Денежкинъ останется въ качествѣ заложника, а товарищъ его пойдетъ въ тайгу за золотомъ и расплатится съ засѣдателемъ, послѣ чего имъ приказывалось немедленно убираться отсюда какъ можно дальше. Товарищъ ушолъ, но Денежкинъ такъ его больше и не видалъ. Едва-ли товарищъ, польстившись на все золото, рѣшился бѣжать, мирясь даже съ потерею своей легальности. Денежкинъ увѣренъ, что это произошло не иначе

какъ съ согласія засѣдателя. И тому, и другому было выгодно погубить его: товарищъ завладѣвалъ въ такомъ случаѣ двойной частью золота, а засѣдатель, получивъ полфунта и вмѣстѣ съ тѣмъ удерживая одного арестанта, подвергался все-таки меньшей отвѣтственности передъ высшимъ начальствомъ, чѣмъ еслибы онъ отпустилъ ихъ обоихъ.

— А что, Денежкинъ, вы-бы не поступили такъ, какъ поступилъ съ вами вашъ товарищъ? спросилъ я его послѣ нѣкотораго колебанія, когда онъ кончилъ разсказъ о своемъ дѣлѣ.

Онъ былъ, повидимому, озадаченъ моимъ вопросомъ и не сразу отвѣчалъ на него. Мнѣ казалось, онъ хотѣлъ быть со мной искреннимъ и предварительно самъ задалъ себѣ этотъ вопросъ.

— Нѣтъ, я-бы такъ не сдѣлалъ, сказалъ онъ просто.

III.

На ночовкѣ.—Ягодкинъ.

Населеніе деревень верхоленскаго тракта состоитъ изъ крещеныхъ, обрусѣвшихъ бурятъ. Хотя они уже въ нѣсколькихъ поколѣніяхъ вступаютъ въ смѣшанные браки съ русскими, но преобладающія черты ихъ типа чисто монгольскія: широкое скуластое лицо, узкіе, маленькіе глаза, прямые черные волосы. По-русски они говорятъ плохо: шепелявятъ, пришепетываютъ, дзюкаютъ, и гораздо охотнѣе изъясняются по-бурятски. Между собой, въ семьѣ, у нихъ постоянно слышна только бурятская рѣчь. Села ихъ—обыкновенныя, сибирскія русскія деревни. Дома почти всегда въ двѣ, три комнаты; внутри чисто, нерѣдко на окнахъ цвѣты, на стѣнахъ плохія олеографіи и лубочныя картины, въ углу обязательно образъ Николая-Чудотворца, самаго популярнаго святого между всѣми крещеными сибирскими инородцами. Въ деревняхъ по нѣскольку лавокъ еврейскихъ.

бурятскихъ или русскихъ. И если вы спросите, гдѣ лучше можно купить, вамъ всегда посовѣтуютъ еврейскую. Обыватели не называютъ себя крестьянами, а *ясачными*; они состоятъ на положеніи инородцевъ, управляются инородческими управами, соотвѣтствующими нашимъ волостнымъ правленіямъ, и освобождены отъ воинской службы. Зато на нихъ лежитъ повинность доставлять подводы подъ арестантскія партіи, караулить ихъ и отводить квартиры на ночовкахъ. Эта повинность является для нихъ очень тягостной, и главнымъ образомъ потому, что время передвиженія арестантовъ, съ апрѣля и по августъ, совпадаетъ съ рабочей порою.

Мы пришли въ селеніе Баяндаевское. Партія остановилась у поскотины. Здѣсь ее приняли въ свое вѣдѣніе сельскія власти, и арестанты разсыпались по всей деревнѣ. Они бросаются прежде всего въ ближайшіе дома, торопясь поскорѣе занять квартиру. У воротъ обыкновенно стоятъ хозяева; они стараются впустить къ себѣ какъ можно меньше, увѣряютъ, что у нихъ тѣсно, большая семья, а вотъ, молъ, у сосѣдей просторнѣе, и т. п. Сосѣди, въ свою очередь, говорятъ то-же самое, расписывая удобства и просторъ слѣдующей избы. Но тутъ ворота оказываются запертыми, въ окнахъ никого не видать; арестанты стучатъ, ругаются, но никто не откликается; хозяева благоразумно попрятались, надѣясь этой хитростью избавиться отъ непріятныхъ и опасныхъ гостей. На нѣкоторое время это имъ удается; арестанты спѣшатъ къ слѣдующему дому, чтобы не заняли его другіе. Наконецъ, большинство отвоевываетъ себѣ помѣщенія, но человѣкъ 50 шатается по деревнѣ, не находя себѣ пріюта. Куда ни кинутся—мѣста нѣтъ, вездѣ полно. Идутъ къ управѣ, требуютъ старшину или старосту, которымъ въ концѣ концовъ удается разсовать ихъ по разнымъ домамъ.

На нѣкоторое время улица пустѣетъ; арестанты устраиваются, пьютъ чай, отдыхаютъ. Но мало-по-малу они вы-

сыпаютъ на улицу, снуютъ взадъ и впередъ, переходятъ изъ избы въ избу совершенно свободно; нигдѣ не видать никакихъ признаковъ караула. Деревня принимаетъ оживленный, базарный видъ. Завалинки и подворотныя скамейки усѣяны народомъ. Въ лавки пройти нельзя— биткомъ набито; одни пришли купить чего на три, на пять копѣекъ, другіе принесли продавать казенныя и неказенныя вещи, третьи такъ себѣ торчатъ или высматриваютъ, нельзя-ли чего-нибудь стянуть. Кабаки, по распоряженію начальства, съ прибытіемъ партіи должны быть заперты; но это, конечно, ничуть не мѣшаетъ получать водку ходомъ со двора. Такой способъ для кабатчика еще удобнѣе, потому-что даетъ основаніе, подъ предлогомъ риска, повысить водку въ цѣнѣ. Пьяные такъже свободно разгуливаютъ, горланятъ и ругаются, какъ еслибы кабаки были открыты настежь.

Движеніе прекращается поздно, и когда уже стемнѣетъ, тогда только стража даетъ о себѣ знать. Вокругъ деревни зажигаются костры и разставляется цѣпь караульныхъ, вооружонныхъ дубинами и даже ружьями. Ночью то и дѣло раздаются выстрѣлы, напоминающіе охотникамъ бѣжать, что стража бодрствуетъ. По улицѣ разъѣзжаютъ верховые караульщики, перекликаются какими-то нечеловѣческими звуками, стрѣляютъ въ воздухъ и вообще стараются произвести какъ можно больше шуму, воображая, что этимъ запугиваютъ арестантовъ. Но рѣдкая ночовка подъ обывательскимъ надзоромъ обходится безъ побѣговъ. Солдаты, принимая на утро партію, удивляются, если не хватаетъ всего двухъ, трехъ человѣкъ. «Однако, паря, сегодня мало что-то бѣжало?»—«Однако, паря, мало».

Мнѣ попалась квартира въ большомъ богатомъ домѣ. За нѣкоторое вознагражденіе хозяева отвели мнѣ отдѣльную комнату, гдѣ я и расположился вмѣстѣ съ Ягодкинымъ, — арестантомъ, состоявшимъ при мнѣ въ роли прислужника или, вѣрнѣе сказать,—дядьки. Несмотря на

то, что Ягодкинъ обѣдаетъ со мною, пьетъ чай, лежитъ рядомъ на нарахъ и вмѣстѣ со мной ночуетъ на квартирѣ, я знаю только, что онъ родомъ изъ Московской губерніи, лѣтъ ужъ двадцать какъ шатается по Сибири, много разъ мѣнялъ свою фамилію, но за что онъ попалъ въ Сибирь и какова «біографія его жизни»—мнѣ такъ и не удалось узнать. Сближеніе мое съ нимъ произошло не вслѣдствіе симпатій, а въ силу обстоятельствъ моего положенія. На первомъ-же этапѣ въ Ж. я, кажется, внушилъ ему состраданіе къ себѣ своей безпомощностью. Утромъ я не успѣлъ захватить воды въ свой чайникъ, въ бочкѣ оставалась на днѣ грязная муть, и я предпочелъ ждать, пока не привезутъ свѣжей.

— Ты чего-же, господинъ, чаю не пьешь? обратился ко мнѣ въ первый разъ Ягодкинъ.

Я объяснилъ причину.

— Давай сюда твой чайникъ, сказалъ онъ довольно грозно, и черезъ десять минутъ принесъ мнѣ чистаго и горячаго кипятку.

Приглашаю его пить чай—отказывается, предлагаю табаку—не куритъ. Съ обѣдомъ я опять прозѣвалъ: поставилъ свой котелокъ съ мясомъ и картошкой у костра, а самъ ушолъ, находя лишнимъ и скучнымъ все время торчать около него пока не сварится, какъ это дѣлаютъ другіе. Лежу на своемъ сундукѣ и читаю старый номеръ «Восточнаго Обозрѣнія». Подходитъ Ягодкинъ:

— Ты что-же тово... котелокъ-то?.. Ушолъ вѣдь. А соли пошто не положилъ?

Оказывается, что, въ моемъ отсутствіи, онъ приглядѣлъ за котелкомъ и не далъ ему черезчуръ сбѣжать. Достаю соль и отсыпаю въ бумажку.

— Что ты, что ты! Ѣсть не станешь. Экъ, отвалилъ-то сколько. Давай сюда!

Онъ отсыпаетъ больше половины обратно въ коробку и уходитъ. Я чувствую неловкость отъ этой его заботливости, подымаюсь и иду за нимъ на дворъ.

— Сиди, сиди, чего тамъ тебѣ... Я ужь пригляжу.

Черезъ полчаса возвращается съ двумя котелками въ рукахъ:

— Вотъ твой супъ, готовъ.

Опять приглашаю его отобѣдать.

— А съ своимъ-то что-же я стану дѣлать? отвѣчаетъ онъ, указывая на другой котелокъ.

Желая отблагодарить его за услугу, я вынимаю кошелекъ, хотя чувствую, что это глупо, что этого вовсе не нужно.

— Это что-же? Оставь, оставь, нѣтъ, нѣтъ, никакихъ...

Онъ покраснѣлъ, замахалъ рукою и удалился. Въ этотъ день онъ болѣе ко мнѣ не подходилъ. Но утромъ безъ всякихъ разговоровъ взялъ мои вещи и, унося ихъ, не оборачиваясь буркнулъ:

— На котору подводу класть?

Такимъ образомъ онъ окончательно завладѣлъ мною, съ чѣмъ я, впрочемъ, охотно мирился послѣ того какъ онъ согласился пользоваться моимъ обѣдомъ и чаемъ. Благодаря ему, на этапѣ у меня всегда было мѣсто на нарахъ, вещи мои находились подъ бдительнымъ надзоромъ, отъ всякихъ кулинарныхъ заботъ я былъ избавленъ. Ягодкинъ не любитъ разговаривать и избѣгаетъ касаться своего прошлаго. Выражается онъ крайне невразумительно, какимъ-то наборомъ предлоговъ, союзовъ, нарѣчій, такъ-что иногда рѣшительно ничего невозможно понять. Въ особенности рѣчь его становилась безсвязной и безтолковой, когда онъ волновался. Онъ не разспрашиваетъ меня, кто я, откуда и пр.; также точно и я, послѣ одной или двухъ безполезныхъ попытокъ, потерялъ охоту его разспрашивать. Только разъ какъ-то, когда я перечитывалъ свои письма, онъ спросилъ:

— Письмо отъ родителевъ?

— Да, еще въ Иркутскѣ получилъ.

— Родители твои какъ?.. Сказать, значитъ... вродѣ какъ... насчетъ сословія...

Я объяснилъ. Онъ подсѣлъ ближе съ явнымъ намѣреніемъ побесѣдовать по душѣ.

— Родительница, напримѣръ... тово... сокрушается?

Отвѣчаю, что очень даже сокрушается.

— Конечно... что-жь... всякому свое... Чужая сторона... оно будто тово... А все-же... ни туда, ни сюда... никакихъ данныхъ...

На этомъ и закончился душевный разговоръ, послѣ котораго, однако, онъ сталъ обнаруживать ко мнѣ еще большую нѣжность. Даже въ дорогѣ не оставлялъ онъ меня своимъ попеченіемъ.

— Ты что-жь... тово... такъ сидишь? ворчалъ онъ, подходя къ моей подводѣ.—Подстилка-то съѣхала. Привстань маленько, поправить надо.

И во всѣхъ этихъ заботахъ и услугахъ не видно было никакихъ корыстныхъ видовъ съ его стороны; напротивъ, приходилось даже ссориться съ нимъ изъ-за того, напримѣръ, что онъ завариваетъ свой чай, а не мой, бросаетъ въ супъ свою крупу, покупаетъ для меня орѣхи. Ни разу не просилъ онъ денегъ, а на мои предложенія всегда сердито заявлялъ, что деньги ему не нужны.

Однажды, гуляя по двору, я увидалъ Ягодкина нагруженнаго порядочнымъ количествомъ вещей; повидимому, онъ собирался въ село.

— Откуда у тебя столько вещей? спрашиваю.

— Съ этимъ народомъ что подѣлаешь? Жиганы, все жиганы... И то и се... Дай двадцать копѣекъ, дай четвертакъ... Пожалѣешь... Куда тебѣ! Ждешь, ждешь, говоришь, говоришь... Сколько угодно... Никакихъ данныхъ...

Онъ еще продолжалъ въ этомъ родѣ, и я понялъ наконецъ, что это вещи—заложенныя у него жиганами. Онъ ушолъ, а я рѣшился обратиться къ нѣкоторымъ знакомымъ арестантамъ за болѣе обстоятельными свѣдѣніями насчетъ личности моего дядьки. Къ огорченію

своему, узнаю, что онъ занимается ростовщичествомъ: даетъ деньги подъ залогъ вещей и за весьма солидные проценты. Увы, напрасно я пытался внушить ему, что это одна изъ самыхъ предосудительныхъ профессій — Ягодкинъ не находилъ въ ней ничего нехорошаго. Мало того, онъ былъ увѣренъ, что благодѣтельствуетъ жиганамъ, которые при игрѣ часто до-зарѣзу нуждаются въ какихъ-нибудь двадцати копѣйкахъ. А если онъ выиграетъ на его, Ягодкина, двугривенный, рубль, развѣ грѣхъ взять съ него десять копѣекъ лишнихъ? А проиграетъ, не пропадать-же деньгамъ,—волей-неволей приходится продавать заложенныя вещи. Но чувствуя, что все это мнѣ не нравится, что онъ много потерялъ въ моихъ глазахъ, онъ сталъ изливать свою досаду на жигановъ, за которыми, будто-бы, много его денегъ пропало, ругалъ ихъ и божился, что больше они отъ него копѣйки не получатъ. Раскраснѣвшійся, взволнованный, онъ ушолъ куда-то, и я его до самой повѣрки не видалъ. Я уже помышлялъ, какъ мнѣ отъ него отдѣлаться и съ кѣмъ изъ арестантовъ условиться насчетъ услугъ; рѣшилъ посовѣтоваться завтра объ этомъ съ Денежкинымъ. Вечеромъ Ягодкинъ пришолъ, взобрался на нары, полежалъ немного, потомъ вытащилъ изъ-подъ изголовья свой мѣшокъ и началъ въ немъ рыться, выбрасывая разныя вещи.

— Ванька, ступай сюда! позвалъ онъ проходившаго мимо арестанта.—Бери! Чего... дуракъ! Тебѣ-ли говорю или кому?

Ванька взялъ какую-то старую ситцевую рубаху.

— Тишка, тащи, морда! Чего еще... все одно... Проваливай! Ахметка! бери порты! Чортъ! Чего глядишь? Говорю, бери!

Опроставъ такимъ образомъ наполовину свой мѣшокъ, онъ завязалъ его и, бормоча что-то сквозь зубы, сунулъ обратно подъ изголовье.

— А что, Ягодкинъ, не напиться-ли намъ чаю? Мы вѣдь послѣ обѣда, кажись, не пили.

И миръ между нами былъ возстановленъ.

На ночовкѣ въ селеніи Б. мы съ Ягодкинымъ въ первый разъ устроились отдѣльно отъ партіи. Мы уже собрались ложиться спать, какъ на улицѣ раздались крики, послышался быстрый топотъ конныхъ стражниковъ, грянуло нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ. Наша хозяйка побѣжала на дворъ узнать, въ чемъ дѣло. Мы послѣдовали за ней, но остановились у воротъ, не желая, какъ выражаются арестанты, за чужое удовольствіе пули глотать. Суматоха происходила довольно далеко; изъ доносившихся криковъ нельзя было ничего разобрать. Двое крестьянъ съ дубинами спѣшили на мѣсто происшествія. Мимо насъ промчался верхомъ бурятъ выстрѣливъ на-лету изъ ружья. Изъ-за домовъ по обѣимъ сторонамъ улицы виднѣлось зарево зажженныхъ костровъ. «Должно быть, бѣжавшихъ поймали», рѣшили мы и направились обратно въ избу. Скоро вернулась хозяйка и объяснила намъ причину поднявшейся тревоги. Въ чей-то амбаръ залѣзли арестанты, ихъ накрыли, сбѣжалась стража и т. д. На другой день въ пути Ягодкинъ узналъ и сообщилъ мнѣ, что двое изъ пойманныхъ въ амбарѣ были забиты крестьянами до смерти, а числятся они, конечно, въ бѣгахъ.

IV.

Выборъ старосты.—Неразмѣнныя деньги.

Мы на дневкѣ. Рано утромъ я былъ разбуженъ визгливыми голосами ворвавшейся въ наше отдѣленіе толпы бабъ. Еще вчера староста роздалъ кормовые холостымъ, а семейныхъ просилъ обождать до утра, ссылаясь на неимѣніе мелкихъ. За ночь онъ эти деньги проигралъ, и вотъ, когда объ этомъ дошолъ слухъ до семейныхъ, бабы напустились на него, требуя немедлен-

ной выдачи кормовыхъ. Староста сначала увѣрялъ, что деньги въ цѣлости, что нужно только пойти въ село размѣнять; но бабы не унимались, онѣ желали получить такими бумажками, какія есть, заявляя, что размѣняютъ и раздѣлятся сами. Тогда, припертый къ стѣнѣ, староста сознался, что деньги имъ проиграны, но онъ божился и клялся всѣми святыми, что сейчасъ пойдетъ въ деревню, продастъ свои вещи и расплатится. Хотя бабамъ это было уже раньше извѣстно, но при его признаніи онѣ завопили еще пуще, побѣжали къ воротамъ требовать офицера. Староста между тѣмъ метался во всѣ стороны, обращаясь съ просьбой выручить его — занять денегъ или купить порыжѣлое суконное пальто. Мнѣ сказали, что онъ нѣкогда былъ чиновникомъ и что у него одинъ сынъ засѣдателемъ, а другой даже совѣтникомъ губернскаго правленія. Подходилъ онъ и ко мнѣ, но безуспѣшно: его испитая багровая физіономія не внушала ни довѣрія, ни сочувствія его критическому положенію. Къ тому-же Ягодкинъ такъ выразительно мигалъ глазами и крутилъ головой, что я отказалъ наотрѣзъ. А бабы продолжали изливать свое негодованіе, толпясь у воротъ въ ожиданіи офицера. Онъ, наконецъ, пришолъ.

— Ты почему не выдаешь имъ кормовыхъ? обратился онъ къ старостѣ.

— Денегъ нѣтъ, ваше благородіе, несчастье случилось...

— Ты мнѣ бобовъ не разводи! Чтобъ сейчасъ-же были выданы, а то прикажу заковать. Слышишь?

— Какъ хотите, ваше благородіе, хоть убейте, а денегъ у меня сейчасъ нѣтъ. Вотъ продамъ свои вещи, тогда, клянусь Богомъ, ваше благородіе...

— Если ты черезъ часъ не расплатишься,—розги. Слышишь? Черезъ часъ. А вы, ребята, обратился онъ къ арестантамъ, — выберите другого старосту. Этотъ чтобъ больше ко мнѣ не являлся.

Не знаю, какимъ образомъ старостѣ удалось извернуться. Онъ носилъ въ село свое пальто и разныя казенныя вещи, возвратился даже безъ картуза и порядочно выпивши. Надо полагать, что бабы получили удовлетвореніе, потому-что онѣ перестали ругаться и кричать. Выборы новаго старосты происходили очень вяло, или, лучше сказать, не происходило никакихъ выборовъ.

— Ну, что-жь, старики, кого?

— Груздева, что-ли, отвѣчалъ кто-нибудь равнодушно.

— Гвоздевъ, пускай будетъ.

— Все одинъ чортъ, Груздевъ али Гвоздёвъ...

И дѣйствительно, всѣхъ это интересовало очень мало. Время отъ времени опять кто-нибудь отъ-нечего-дѣлать подымалъ вопросъ:

— Такъ какъ-же, господа, будетъ у насъ староста или нѣтъ?

— Пусть выбираютъ, чего-жь молчатъ? флегматично откликались голоса.

— Бабу надо-бы выбрать, ишь какія горластыя, бѣды!

Этотъ индиферентизмъ объясняется тѣмъ, что должность старосты въ партіяхъ якутскаго тракта не имѣетъ почти никакого значенія. Всѣ его обязанности сводятся на полученіе и раздачу кормовыхъ. Онъ нуженъ партіонному начальнику, а арестантамъ собственно ни къ чему. Здѣсь не то, что въ каторжной партіи, гдѣ староста облеченъ значительной властью, слѣдитъ за порядкомъ, является отвѣтственнымъ лицомъ за всѣхъ передъ начальникомъ конвойной команды; гдѣ безъ его вѣдома не станутъ предпринимать ничего такого, что можетъ по своимъ послѣдствіямъ отразиться на всѣхъ. Здѣсь староста ни въ чемъ ни для кого не указъ, кромѣ развѣ того случая, когда десятки заспорятъ, чья очередь воду возить. Вознагражденія онъ никакого не получаетъ, до-

ходовъ тоже никакихъ: майдана нѣтъ, каждый свободно можетъ пойти въ село и купить что ему нужно *; даже въ парошникахъ никакой необходимости не имѣется. Раздача кормовыхъ—дѣло простое, тогда-какъ тамъ оно является для старосты довольно сложной бухгалтеріей: съ того нужно вычесть долгъ майданщику, съ другого взыскать карточный проигрышъ, разобраться въ переводахъ долговъ одними лицами на другихъ, послѣдними на третьихъ; здѣсь вся партія раздѣлена на десятки, староста выдаетъ деньги десятнику, который уже распредѣляетъ ихъ по числу членовъ своей группы. А разъ должность старосты по самому характеру партіи имѣетъ такое ничтожное значеніе, для всѣхъ рѣшительно все равно, кто-бы въ этой роли ни состоялъ; требуется лишь одно качество — не присваивать чужихъ кормовыхъ; да и тогда, какъ, напримѣръ, въ случаѣ съ нашимъ старостой, расправляется съ нимъ не партія, а офицеръ.

День былъ воскресный, о чемъ для меня, потерявшаго счетъ днямъ, говорилъ праздничный видъ арестантовъ: чистыя рубахи, красныя блузы, плисовые штаны, яркіе костюмы бабъ и—какъ обязательная праздничная принадлежность—повсюду шуршавшая подъ ногами орѣховая шелуха. Многіе были навеселѣ, хотя настоящихъ пьяныхъ не было видно. Карточныя игры шли въ нѣсколькихъ пунктахъ съ большей, чѣмъ обыкновенно, оживленностью: франтоватыя блузы и другія принадлежности одежды то и дѣло мѣняли своихъ владѣльцевъ, которые, пройдясь въ нихъ по двору и показав-

* Въ каторжной партіи старостѣ удѣляется часть суммы, выплачиваемой майданщикомъ за право торговли, другая часть идетъ на парошниковъ, а третья дѣлится между жиганами, то-есть проигравшимися, въ виду того, что наибольшій доходъ майданщикъ имѣетъ отъ игроковъ. Карты отдаются майданщику на откупъ, съ каждаго выигрыша взимается въ его пользу извѣстный процентъ, наприм. 10% при игрѣ въ штосъ.

шись публикѣ, спѣшили проиграть ихъ другимъ. Раздавались звуки гармоникъ. Татары почему-то надѣли на свои бритыя головы новенькія ермолки. На крыльцѣ Зелекъ открылъ свою лавочку, состоявшую изъ сундука, наполненнаго разной мелочью. Расхаживали точно по бульвару кавалеры съ своими дамами, а въ довершеніе картины, у костровъ стояли голые, въ однихъ штанахъ, и морили огнемъ паразитовъ. Наконецъ, въ углу, образуемомъ выступомъ крыльца и стѣной барака, устраивался изъ арестантскихъ халатовъ занавѣсъ: готовилось представленіе Петрушки. Онъ уже издавалъ пискъ за занавѣской и сзывалъ зрителей.

— Ну, что-же, ребята, начальникъ вѣдь приказалъ старосту выбирать, сказалъ кто-то изъ стоявшихъ на крыльцѣ, но не возбудилъ никакого вниманія.

— Подходи, подходи! визжалъ Петрушка и, показавшись изъ-за халатовъ, тотчасъ-же скрылся.

Публика собиралась; ребятишки взлѣзали на бочку съ водой и умащивались верхомъ на шеяхъ взрослыхъ. Представленіе началось. Толпа хохотала и принимала самое живое участіе своими замѣчаніями въ подвигахъ Петрушки. Трудно было разобрать, что собственно происходитъ на сценѣ: выпрыгивали разныя куклы, танцовали подъ гармонику стоявшаго среди зрителей музыканта, потомъ дрались, потомъ выскакивалъ Петрушка съ дубинкой въ рукахъ и всѣхъ ихъ убивалъ. Появлялись новыя куклы, тормошили убитыхъ, размахивали руками, забирали ихъ и проваливались внизъ. Затѣмъ выпрыгивали двѣ куклы, мужская и женская, цѣловались, обнимались, потомъ принимались танцовать; гармоника наигрывала «По улицѣ мостовой». Но вотъ въ самый разгаръ танца они опять обнимаются и ведутъ себя очень неприлично. Въ это время подкрадывается Петрушка, лупитъ мужскую куклу дубинкой и завладѣваетъ куклой женскаго пола. Публика въ восторгѣ: неумолкаемое гоготанье и крики «браво». Но вотъ вы-

двигается чудовище, похожее на крокодила, разверзаетъ свою пасть и хватаетъ увлекшагося страстью Петрушку. Петрушка отчаянно визжитъ, болтая ногами въ пасти чудовища, которое уноситъ его за халаты. Черезъ нѣкоторое время снова раздается его пискъ за занавѣской; онъ выскакиваетъ живъ и невредимъ, съ арестантской шапкой въ рукахъ, и приглашаетъ публику вознаградить его за удовольствіе, которое онъ ей доставилъ. Нѣсколько рукъ потянулось къ шапкѣ—кто съ горстью орѣховъ, кто съ кускомъ сахара, кто съ калачомъ. Толпа начинала рѣдѣть.

— Эй, ребята, не расходись! послышался чей-то голосъ. — Петрушка намъ скажетъ, кому старостой быть. А ну, Петръ-арестантъ, другъ разлюбезный, посовѣтуй намъ хорошаго человѣка.

— Чтобы значитъ, пальцы не были медомъ намазаны.

— Чтобы къ женскимъ кормовымъ обожанія не имѣлъ.

Петрушка потеръ свой длинный носъ обѣими руками и произнесъ: «Смолкина! Распрекрасный человѣкъ. Только Богъ смерти не даетъ», прибавилъ онъ, проваливаясь внизъ.

— Быть Смолкину старостой! раздалось въ толпѣ.

— Смолкинъ, на линію! кричали со всѣхъ сторонъ.

Такимъ образомъ, благодаря Петрушкѣ, былъ рѣшонъ вопросъ о старостѣ.

Этотъ день закончился для меня еще однимъ зрѣлищемъ, чѣмъ-то въ родѣ черной магіи. Мага изображалъ собою нѣкій Тишка, небольшого роста, юркій арестантъ съ безобразной, изрытой оспою физіономіей: ротъ кривой, лѣвый глазъ тусклый, точно стекляный, правый—чрезвычайно подвижной и плутоватый. Одѣтъ онъ далеко не по праздничному; въ его фигурѣ прежде всего

бросается въ глаза огромная шапка вродѣ папахи, сшитая изъ остатковъ отслужившаго свой вѣкъ казеннаго полушубка, и до крайности истоптанные валенки безъ голенищъ. У этого Тишки была оригинальная профессія — дѣлать деньги неразмѣнными. Грубый этотъ обманъ разсчитанъ на самую, что называется, непроходимую глупость, и однакоже Тишка утверждаетъ, что ему случалось недурно зарабатывать и имѣть въ числѣ своихъ кліентовъ нетолько челдановъ и ясачныхъ, но и лицъ военнаго и духовнаго званія, не свыше, впрочемъ, ефрейторскаго чина и дьячка. Я видѣлъ, какъ онъ надулъ одного стражника изъ крестьянъ, глупо торчавшаго у воротъ съ длинной толстой дубиной. Не знаю, какимъ образомъ Тишка убѣдилъ его въ своихъ магическихъ способностяхъ. Это было особенно удивительно при взглядѣ на костюмъ чародѣя, обладавшаго даромъ превращать деньги въ неразмѣнныя и предпочитавшаго ходить въ оборванномъ халатѣ и никуда негодныхъ валеныхъ мокроступахъ. Тишка согласился превратить ему рублевую бумажку въ неразмѣнную, за что великодушно отказывался отъ всякаго вознагражденія. У крестьянина не было при себѣ денегъ, и онъ нарочно даже сходилъ за ними домой, отлучившись отъ своего сторожевого поста. Тишка взялъ рублевку, аккуратно сложилъ ее, завернулъ въ бумагу и заклеилъ разжеваннымъ хлѣбомъ. Затѣмъ положилъ этотъ пакетикъ въ книгу, помахалъ книгой по воздуху и вручилъ крестьянину, приказавъ раскрыть книгу и взять пакетикъ собственными руками. Пакетикъ крестьянину велѣно носить на груди и развернуть его только по истеченіи трехъ дней. Если это условіе будетъ нарушено, все пропало — колдовство не подѣйствуетъ; но зато при точномъ его соблюденіи рублевка получаетъ чудесное свойство оставаться неразмѣнною.

— Придешь въ лавку, поучалъ Тишка, — покупай чего хошь на 95 к., не болѣе того. Сдадутъ тебѣ сдачу, ты

ее бери, слышь? Бери, клади въ карманъ и ступай домой. Придешь домой, анъ у тебя вмѣсто пятака она самая рублевая бумажка, какъ живая. И такъ она у тебя вѣкъ служить будетъ.

Разумѣется, Тишка незамѣтно подмѣнивалъ пакетикъ съ деньгами на точно такой-же пустой, приготовленный заранѣе, который и оставался у крестьянина.

Я.

До слѣд. кн.

О В. В. СТАСОВѢ.

Пересматривая три тома сочиненій В. В. Стасова, я поневолѣ вспомнилъ былое время, и картина за картиной прошли мимо меня одна другой чуднѣе, и мнѣ захотѣлось высказать то, что всплыло на душѣ.

— Но вы не должны писать о Владимірѣ Васильевичѣ, говорилъ мнѣ одинъ мой знакомый.

— Почему?

— Потому-что ваши сужденія о немъ будутъ пристрастны.

— Пусть убавятъ сколько угодно, но сколько-бы ни убавили, все-таки останется достаточно хорошаго! При томъ же, кто относился къ нему безпристрастно?.. Да я и вовсе не сталъ-бы писать о немъ, еслибы въ послѣднее время среди художниковъ не начало твориться нѣчто до того странное, до того непонятное, что поневолѣ хватаешься за перо, какъ за послѣднее средство.

Я пишу для того, чтобы добрые люди услышали, что думаютъ о Вл. Вас. Стасовѣ его друзья, ибо о томъ, что думаютъ о немъ его враги,—наслышались достаточно. Я пишу, кромѣ того, для того еще, чтобы самъ Владиміръ Васильевичъ слышалъ это именно *теперь*, а не потомъ, когда онъ уже не услышитъ, когда ему будетъ все равно, что-бы о немъ ни говорили, ни писали. Пишу еще и потому, что это касается русскаго искусства. Наконецъ, я, какъ другъ Владиміра Василье-

вича, имѣю право писать и не въ правѣ дольше молчать.

Повторяю, Владиміръ Васильевичъ—мой старый, добрый другъ. Отмѣчаю это съ особеннымъ удовольствіемъ; въ наше время, когда декораціи и дѣйствующія лица такъ быстро смѣняются и измѣняются,—тридцатилѣтняя дружба такого человѣка, дружба не помраченная ни однимъ облачкомъ,— большая отрада въ моей жизни. Я не забуду, какъ мы въ первый разъ встрѣтились съ нимъ на улицѣ и въ проливной дождь, подъ зонтиками, долго простояли, толкуя о томъ, какая скуфья должна быть у Ивана Грознаго и какъ она должна быть надѣта и т. п. Я тогда лѣпилъ Ивана Грознаго; подобныя свѣдѣнія были для меня существенно необходимы; я былъ весь поглощенъ этой работою, я ждалъ отъ нея чего-то, того, чего ждетъ каждый художникъ... назовите это какъ хотите: извѣстностью, славой, богатствомъ... Но онъ, Владиміръ Васильевичъ, чего онъ ждалъ отъ нея? Ничего... Изъ-за чего-же онъ такъ волновался, такъ принималъ мою работу къ сердцу, если не изъ-за любви къ самому дѣлу? Я часто думалъ объ этомъ, но Владиміръ Васильевичъ еще чаще напоминалъ мнѣ это подобными-же поступками по отношенію къ другимъ.

Высоко-образованный человѣкъ, первоклассный археологъ, страстный любитель всего русскаго, русскаго искусства въ особенности, онъ зорко слѣдилъ за всѣмъ, что творится за-границей и съ завистью смотрѣлъ на быстрые успѣхи иностранцевъ. Онъ хотѣлъ-бы, чтобы мы, русскіе, не отставали отъ нихъ, а были-бы равны имъ и по-возможности скорѣе. Онъ вѣритъ въ эту возможность, вѣритъ въ талантливость русскаго народа, но въ то-же время знаетъ его безпечность. Поэтому-то, и со свойственной ему энергіей и горячностью, онъ торопится и торопитъ другихъ, будитъ, толкаетъ: «Иначе не разбудить!» говоритъ онъ.

Конечно, такой человѣкъ не можетъ не имѣтьмного-

численныхъ противниковъ, которые дѣлаютъ все, что могутъ, не брезгая никакими средствами, чтобы парализовать его дѣятельность. Не имѣя силы и возможности подойти къ нему прямо, логически доказать его несправедливость, они подходятъ къ нему какъ-то бокомъ, смѣшиваютъ его личность съ дѣломъ, глумятся надъ нимъ, подхватываютъ его малѣйшія ошибки, цитируютъ его отдѣльныя фразы, раздуваютъ ихъ и искажаютъ ихъ смыслъ... И надо имъ отдать справедливость—они успѣли во многомъ. Люди, не имѣющіе своего царя въ головѣ, привыкшіе смотрѣть на все чужими глазами и говорить съ чужихъ словъ, охотно присоединяются къ общему хору и тоже поютъ, хотя фальшиво, но не незамѣтно...

Я не стану перечислять разнообразныя небылицы, распространяемыя о В. В. Стасовѣ. Ихъ такъ много, что для этого мнѣ пришлось бы написать цѣлые томы, но къ счастью, онѣ до того нелѣпы, что и писать о нихъ не стоитъ. Я возьму только то, что всплыло наружу, что стало чуть-ли не ходячей монетой. Вотъ съ этими-то нелѣпостями мнѣ и хотѣлось-бы покончить раньше всего.

Въ чемъ обвиняютъ Владиміра Васильевича? Въ самой малости: «онъ врагъ русскаго искусства», «совращаетъ молодежь»; «у него нѣтъ возвышенности чувства, нѣтъ и чувства мѣры»; «онъ предпочитаетъ мужицкое искусство античному»; «въ своихъ похвалахъ и порицаніяхъ онъ не знаетъ границъ»; «онъ сдвинулъ Брюллова съ пьедестала»... И только-то!..

Но противники, вызывая его на бой, хватаются за оружіе не съ того конца, а поэтому сами себя ранятъ, выдаютъ свою слабость и этимъ самымъ доставляютъ побѣду своему-же противнику.

«Стасовъ—врагъ русскаго искусства»!.. Да было-ли русское искусство тогда, когда Стасовъ началъ свою дѣятельность какъ художественный критикъ? Художники стараго закала были, быть можетъ, люди честные,

искренніе и съ глубокимъ убѣжденіемъ; но воспитанные на Овербекѣ и Флаксманѣ, страстные поклонники Винкельмана и Торвальдсена, они съ благоговѣніемъ охраняли священный огонь, данный Богомъ человѣку, и съ искреннимъ фанатизмомъ нападали на всякій проблескъ реализма, осмѣливавшійся врываться въ ихъ волшебный кругъ. Дѣйствительности они чуждались, дрязгъ жизни они не касались, «законы искусства» были для нихъ выше всего и выше всѣхъ... Правда, они ихъ не выдумывали, и можетъ быть, даже о нихъ и не думали, зато свято исполняли ихъ, какъ вѣрующія дѣти, какъ дѣти подражали старшимъ во всемъ—и надо признать это—подражали изумительно, хотя путнаго изъ этого ничего не выходило. Въ погонѣ за прекраснымъ они упускали изъ виду самое прекрасное — душу, истинный источникъ всѣхъ искусствъ, со всѣмъ безконечнымъ разнообразіемъ ея страстей и богатства. Будучи въ академіи художествъ, я зналъ такихъ двухъ профессоровъ—одного классика, другого романтика. Оба были страстные поклонники прекраснаго, что не мѣшало имъ обоимъ находиться между собою въ неменѣе страстномъ-же антагонизмѣ. О нихъ мнѣ разсказывали слѣдующее: Однажды оба выставили свои картины; классикъ подошолъ къ картинѣ романтика и, увидавъ фигуру разодѣтую въ драгоцѣнныя матеріи, бархатъ и парчу, не выдержалъ и со вздохомъ замѣтилъ своему собрату: «На то-ли Провидѣніе одарило тебя талантомъ, чтобы ты сдѣлался художникомъ гостинаго двора?!» Романтикъ подошолъ затѣмъ къ картинѣ классика — сюжетъ, конечно, миѳологическій, всѣ фигуры нагія,—и тоже не выдержалъ и сказалъ: «Вишь, баня какая, даже безъ раздѣленія мужеской отъ женской...» Вы смѣетесь, вамъ это кажется забавнымъ, но подобное искусство было тогда въ порядкѣ вещей. Даже такіе геніальные люди, какъ Пушкинъ, воспѣвали статую Пименова, изображавшую голаго дѣтину, играющаго въ бабки... Я Пименова чту, глубоко уважаю какъ худож-

ника и профессора; онъ сильно напоминаетъ мнѣ знаменитаго французскаго скульптора Рюда какъ работою, такъ и горячностью темперамента; но оба они были романтики, смотрѣли на себя какъ на дѣтей божіихъ, а на остальныхъ какъ на божьи коровки... Тѣмъ не менѣе врядъ-ли и самъ Пименовъ придавалъ большое значеніе этой статуѣ, — она была лишь техническимъ упражненіемъ.

Такъ вотъ приблизительно въ какое время началъ свою дѣятельность Стасовъ. Сколько надо было душевной силы, устойчивости, убѣжденія, вѣры въ себя и въ самое дѣло, для того чтобы сорокъ лѣтъ долбить камень, одному выдерживать натискъ многочисленныхъ противниковъ, всевозможныя нападки, насмѣшки и клеветы въ прозѣ и въ стихахъ, отъ всѣхъ, кто хотѣлъ, кто умѣлъ и кто не умѣлъ,—и все-таки продолжать идти впередъ, топча и ломая палки, бросаемыя ему подъ ноги, и въ семьдесятъ лѣтъ оставаться тѣмъ-же, чѣмъ былъ въ тридцать, тѣмъ-же бодрымъ, энергичнымъ, чутко прислушивающимся ко всему живому, словомъ—старцемъ, носящимъ въ себѣ молодую душу...

«Стасовъ совращаетъ молодыхъ художниковъ»... Странно! Что-же дѣлали всѣ благочестивые люди въ самой академіи художествъ со всѣмъ ея штатомъ, со всѣми профессорами и преподавателями?.. Неужели-же они не были въ силахъ отвратить пагубное вліяніе этого единичнаго человѣка и возвратить въ свое лоно хоть одну заблудшую овечку,—замѣтьте, *хоть одну?* По крайней мѣрѣ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ академія художествъ не только не дала талантовъ, которыхъ и дать не могла, такъ-какъ они даются только Богомъ, но и техниковъ, которыхъ она могла-бы дать, но не дала, потому-что сама потеряла технику, именно — рисунокъ, то, что Энгръ называетъ «честностью въ искусствѣ». И въ этомъ развѣ Стасовъ виноватъ?..

«Стасовъ сбросилъ Брюллова съ пьедестала»... Опять

крикъ пигмеевъ на великана. Шутка сказать,—сбросить съ пьедестала такой кумиръ, какъ Брюллова... Вѣдь для этого надо быть чуть-ли не Ильей-Муромцемъ!.. Что-же стоило поклонникамъ Брюллова опять поставить его на прежнее мѣсто? Но они не поставили,—потому-что не могли, потому-что это было немыслимо... И поэтому-то они и сердятся.

Что Брюлловъ былъ крупный талантъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но что онъ не былъ геніемъ,—это тоже внѣ всякаго сомнѣнія. Онъ, можетъ быть, былъ талантливѣе своего собрата Бруни, но не геніальнѣе его. Брюлловъ ничего не началъ и ничего не закончилъ. Это былъ крупный талантъ своего времени, со всѣми тогдашними достоинствами и недостатками. То было время рисунка, законченности. Отлично владѣя техникой, съ горячимъ темпераментомъ, искренній въ своихъ порывахъ, Брюлловъ тѣмъ не менѣе былъ условнымъ въ композиціи. Кисть его, хотя и цвѣтистая, была холодна и напоминаетъ Гвидо-Рени своими синеватыми оттѣнками, какъ у мертвеца. Его портреты превосходны, въ особенности его собственный портретъ, но далеко уступаютъ его предшественнику Левицкому. Въ то время когда Брюлловъ дошолъ у насъ до апогея, въ Парижѣ Деларошъ успѣлъ затмить его. Его Голгофа, въ особенности, проста, искренна, глубоко прочувствована, полна драматизма и душевной скорби. Въ нынѣшнее время, во время погони за красками, во Франціи предпочитаютъ колоритность Делакруа душевной глубинѣ Делароша, но это участь всѣхъ сильныхъ людей, уходящихъ дальше своего времени. Но зачѣмъ намъ искать примѣровъ у чужихъ, когда у насъ есть и свой, который шагнулъ еще дальше. Именно, въ это время нашъ геніальный труженикъ Ивановъ тихо и скромно продолжалъ трудиться надъ своей картиной «Явленіе Христа народу» и надъ своими замѣчательными иллюстраціями Библіи, къ сожалѣнію мало извѣстными даже у насъ, хотя пре-

восходно изданными... Что-же оставалось дѣлать Стасову? Онъ не могъ закрыть глаза передъ всѣмъ тѣмъ, что творилось вокругъ него. Врагъ реставраціи, компромиссовъ и всякихъ оговорокъ: «но», «однако», «такъ-какъ» и т. п., онъ не могъ въ одно и то-же время служить двумъ богамъ, строить два зданія, одно надъ другимъ, новое надъ старымъ... Не могъ даже, еслибы и хотѣлъ: жизнь слишкомъ сильно стала стучаться въ дверь.

Но говорятъ еще, что «Стасовъ захваливаетъ своихъ фаворитовъ и рѣзко осуждаетъ тѣхъ, кого недолюбливаетъ». Можетъ быть. Можетъ быть, такимъ онъ былъ и въ отношеніи Брюллова,—онъ самъ этого не отрицаетъ. Но французская пословица говоритъ: «кто не любитъ слишкомъ, тотъ не любитъ достаточно». Прибавлю: кто сильнѣе любитъ—сильнѣе и ненавидитъ...

Таковъ В. В. Стасовъ. Взявши въ соображеніе то время, когда онъ началъ свою дѣятельность въ художественной сферѣ, и тотъ заколдованный кругъ, который ему приходилось прорвать, — это человѣкъ неоцѣнимый.

Утверждаютъ еще, что у В. В. Стасова «нѣтъ возвышенности чувства». Такъ-ли? Я не знаю болѣе возвышеннаго чувства, какъ любовь къ Богу, къ правдѣ и къ ближнему. Если Стасовъ не вполнѣ достигъ этого идеала, или не вездѣ въ одинаковой мѣрѣ, то во всякомъ случаѣ— болѣе чѣмъ очень многіе въ наше время. Но вотъ опять упрекъ: «у него нѣтъ чувства изящества, онъ предпочитаетъ мужицкое искусство античному». Боже мой! Не всѣ-же могутъ быть энциклопедистами, успѣвать вездѣ и угождать всѣмъ, да притомъ, о вкусахъ и не спорятъ. Я-бы могъ указать на цѣлый рядъ художниковъ и критиковъ, у которыхъ вкусы и наклонности различны, и неужели-же мы станемъ упрекать ихъ за то, что они не поклоняются тому, чему поклоняются другіе, что они думаютъ то, что умѣютъ и къ чему призваны, а не то, въ чемъ они не сильны? Подобные упреки напоминаютъ извѣстный разсказъ о евреѣ, который спросилъ въ театральной кассѣ,

что сегодня играютъ? Ему отвѣтили: «Марту».—«Марту? съ удивленіемъ спросилъ еврей, — почему-же не «Травіату?»—Да до драгоцѣнныхъ-ли декорацій было тогда Владиміру Васильевичу, когда самыя основы искусства приходилось перестраивать вновь?

Поклонники прекраснаго оплакиваютъ вѣчно лазурное небо. Имъ отвѣчаютъ, что однообразіе такъ-же утомительно, какъ и пестрота, что тропическій зной такъ-же невыносимъ, какъ и полярный холодъ. Они горевали о пальмахъ—ихъ утѣшали, что у насъ растутъ зато сосны и березы; они указывали на грацію антиковъ—имъ отвѣчали: полюбите насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбитъ. Кажется, все это ясно какъ день, а между тѣмъ вотъ уже сорокъ лѣтъ, какъ Стасовъ говоритъ приблизительно то-же самое, и никто не хочетъ его понять, несмотря на то, что фактъ совершился, что реализмъ пробилъ свою брешь и сдѣлался господствующимъ, и что сами отрицатели дѣлаютъ то, что отрицаютъ у Стасова. Достаточно было ему сказать слово, чтобы всѣ начинали затыкать уши. Всѣ возмущались его смѣлостью, его рѣзкостью.

Чтобы не казаться голословнымъ, я разскажу слѣдующее. Однажды, когда я пріѣхалъ въ Петербургъ, Стасовъ самъ прочелъ намъ сатирическую статью, написанную на его счетъ Щедринымъ. Статья была, разумѣется, въ обычномъ салтыковскомъ тонѣ: очень смѣшна, очень зла, немного жестока и на этотъ разъ не совсѣмъ справедлива. Въ особенности она не была справедлива, касаясь Мусоргскаго; въ памяти моей сохранилась слѣдующая фраза: «за перегородкой слышенъ былъ храпъ пьянаго»,—намекъ на порокъ Мусоргскаго и на его музыку. Не лучше Щедрина высказывался о Стасовѣ и покойный Тургеневъ; онъ воспѣлъ его даже въ одномъ изъ своихъ «стихотвореній въ прозѣ», которое оканчивается словами: «съ Стасовымъ не спорьте!» Но кто у насъ на Руси спорить умѣетъ? Самъ Тургеневъ отлично зналъ, что

никто. Онъ самъ изобразилъ въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» русскіе споры тоже какъ никто. Да правду сказать, и съ самимъ Тургеневымъ спорить было трудно; трудно потому, что «только пустое сердце бьется ровно». Что-же сказать о другихъ, когда такія крупныя величины, какъ Тургеневъ и Салтыковъ, увлекались общимъ теченіемъ и импровизировали «злобы дня» со свойственнымъ имъ талантомъ. Но прошло извѣстное время, умеръ Мусоргскій, личныя страсти улеглись, и надъ нимъ начался судъ болѣе безпристрастный, болѣе справедливый. Надъ его порокомъ никто болѣе не смѣется, а всѣ только сожалѣютъ, что подобныхъ пороковъ у насъ на Руси болѣе чѣмъ гдѣ-либо, что этотъ порокъ погубилъ его, какъ и Кольцова и другихъ. Его музыку, по ея свѣжести и оригинальности, ставятъ уже на первомъ мѣстѣ послѣ Глинки. Но вотъ что чуть-ли не на-дняхъ говорилъ, какъ мнѣ передавали, профессоръ М. М. Ковалевскій, здѣсь, въ Парижѣ, на соціологическомъ конгрессѣ: «Послѣднія изслѣдованія профессора В. Ѳ. Миллера доказали вполнѣ справедливость мнѣнія, высказаннаго много лѣтъ тому назадъ Вл. Вас. Стасовымъ о восточномъ происхожденіи нашихъ былинъ, мнѣнія, встрѣченнаго тогда чуть-ли не общимъ негодованіемъ». То, что почтенный профессоръ сказалъ о Стасовѣ, относительно русскихъ былинъ, то-же самое я могу повторить о немъ и по отношенію къ русскому искусству.

Нѣтъ, Стасовъ не врагъ русскаго искусства, не развращаетъ молодыхъ художниковъ. Онъ всю жизнь шолъ навстрѣчу всему хорошему, всему русскому — всему, что только пробуждалось и поднималось. Онъ радовался каждой божьей искрѣ, восторгался каждымъ елеле пробивавшимся росткомъ, ухаживалъ за нимъ съ любовью, слѣдилъ за его ростомъ, выпалывалъ вокругъ него сорную траву, дрожалъ надъ нимъ и вкладывалъ въ него все то, что ему было дорого. Вспомните, съ какимъ восторгомъ онъ встрѣчалъ каждый восходящій талантъ: кар-

тину Мясоѣдова — «Самозванецъ въ корчмѣ», «Нижегородскую ярмарку» Попова. «Первый шагъ» Корзухина, «Колдуна» Максимова, «Княжну Тараканову» Флавицкаго, и въ особенности Перова, Ге, Шварца, Влад. Маковскаго, Рѣпина, Верещагина, товарищей-передвижниковъ вообще! Что-же? Развѣ Стасовъ въ комъ-нибудь изъ нихъ ошибся, развѣ они не заслужили тѣхъ похвалъ, которыя онъ расточалъ имъ?.. И что дурного въ томъ, что онъ увлекался ими съ такой искренностью? Напротивъ, онъ ихъ этимъ вознаграждалъ за то холодное «сочувствіе», съ которымъ искусство встрѣчаютъ у насъ и донынѣ.

Такъ мало-по-малу русское искусство росло и крѣпло Если оно еще не расцвѣло вполнѣ, то дайте срокъ: весна придетъ, зажурчатъ ручейки, стволы деревъ одѣнутся яркою зеленью, — и на нашей улицѣ будетъ праздникъ. Если мы сами еще несовершенны, не можемъ вполнѣ достигнуть идеала, то художники, идущіе за нами, будутъ лучше, совершеннѣе насъ... Зданіе не создается сразу, оно начинается съ фундамента, камни кладутся одинъ на другой; сперва выводятъ стѣны, а затѣмъ ихъ и украшаютъ. Лишь-бы только меньше было задержекъ, столько-же зависящихъ отъ «сочувствующихъ», сколько и отъ самихъ художниковъ.

Сорокъ лѣтъ тому назадъ въ русскомъ отдѣлѣ всемірной выставки въ Лондонѣ, если не ошибаюсь, была всего только одна картина изъ русской жизни: «Продавщица яблокъ», Якоби. Она выглядѣла орлинымъ яйцомъ, высиженнымъ въ вороньемъ гнѣздѣ. У насъ тогда ничего не было своего: все было заимствовано у другихъ; мы тянулись въ хвостѣ Европы; за нами ничего не признавали; въ семью европейскихъ художниковъ насъ не принимали, никакихъ наградъ мы не получали... А теперь, что за разница!.. Палаты нашихъ любителей полны произведеній *нашего* искусства, русскими картинами, изображающими русскую природу, русскую исторію съ ея героями, русскіе типы, характеры—со всѣмъ ихъ богатствомъ и не-

взрачностью, со всѣми ихъ радостями и невзгодами. Европа уже признаетъ за нами права гражданства, мы уже нѣчто, съ нами уже считаются, на выставкахъ на насъ указываютъ, насъ награждаютъ наравнѣ съ другими... Еслибъ у насъ было единство, еслибы мы всѣ жили дружно, а не толкали другъ друга локтями, еслибы посылали заграницу все то, чѣмъ владѣемъ, что мы прячемъ, — къ намъ питали-бы еще больше довѣрія, а главное—мы сами въ себѣ больше-бы увѣрились, не разочаровывались, не злобствовали и не уходили-бы въ свою скорлупу раньше времени и не кричали-бы оттуда: «плевать на все!..»

Ахъ, еслибы... Но тутъ-то и начинается обратная сторона дѣла... Остановлюсь на одномъ явленіи, по поводу котораго въ сущности я и началъ свою рѣчь...

Любители искусства навѣрно помнятъ еще, какъ образовалось товарищество передвижниковъ. То былъ смѣлый, живой протестъ десятка молодыхъ художниковъ противъ устарѣлой академической рутины. Скоро примкнули къ нимъ лучшіе таланты, и всѣ общими силами, честно и дружно повели дѣло въ гору. Нечего и говорить о томъ, съ какимъ энтузіазмомъ встрѣтилъ ихъ Владиміръ Васильевичъ. Они нашли въ немъ своего истолкователя, онъ объ нихъ писалъ, писалъ и до сихъ поръ не умолкаетъ; онъ на нихъ надѣялся какъ на залогъ будущаго искусства—и не ошибся. Въ дѣлѣ искусства передвижники явились настоящими подвижниками. Они обратились къ живому источнику—природѣ, и этотъ источникъ оказался неизсякаемымъ. Ихъ картины проникли въ глубь Россіи, въ такіе темные уголки, куда художественный свѣтъ никогда еще не проникалъ; они показали людямъ то, чего тѣ никогда не видѣли. Впечатлѣніе было огромное; число любителей искусства увеличилось, спросъ на картины усилился; словомъ—въ этомъ направленіи они, какъ художники, сдѣлали то, что могли. Но какъ товарищи—далеко недостаточно... Строго придерживаясь буквы своего устава, они передвигали свои картины изъ города въ

городъ, они продолжали вертѣть колесо аккуратно изъ года въ годъ, но безъ всякой новой иниціативы, безъ всякаго порыва подвинуть впередъ и расширить свою миссію. Они не пытались основать хоть какой-нибудь художественный журналъ, они не открыли ни своихъ, ни общей мастерскихъ, гдѣ молодые художники могли-бы найти то, чего самому такъ трудно достигнуть. Однѣ галлереи и выставки не могутъ вполнѣ развить художника: необходима еще школа, а главное — руководство. А вѣдь передвижники могли-бы дать это такъ легко: ихъ слава достигла своего апогея, ими гордились, на нихъ указывали, имъ довѣряли, и ихъ вѣское слово въ дѣлѣ искусства имѣло бы благотворное вліяніе. Мы знаемъ, сколько талантовъ развилось, и сколько ихъ, такъ-сказать, всплыло наверхъ, но знаемъ-ли мы, сколько ихъ заглохло и пошло ко дну?.. Правда, разъ какъ-то передвижники попытались издать художественный альбомъ изъ своихъ оригинальныхъ набросковъ. Альбомъ этотъ въ матеріальномъ отношеніи потерпѣлъ неудачу. Не удалось — и бросили. Не отыскивали причины, почему не удалось, и повидимому не пожелали устранить эту причину.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ между мною и покойнымъ Крамскимъ пробѣжала черная кошка... Мы были въ разладѣ. Владиміръ Васильевичъ примирилъ насъ. Затѣмъ, будучи въ Петербургѣ, я отправился къ Крамскому и засталъ его уже больнымъ. Тѣмъ не менѣе, онъ меня принялъ съ тѣмъ-же оживленнымъ радушіемъ, какъ и всегда, и мы разговорились о прошломъ, о настоящемъ и о томъ, что дѣлается вокругъ насъ,—и конечно, больше всего объ искусствѣ. Рѣчь зашла и о передвижникахъ. Я заговорилъ съ нимъ о необходимости основать общую мастерскую. Въ академіи художествъ техника слабѣла, да и люди выходили оттуда вовсе не художниками... Я говорилъ о нравственной обязанности передвижниковъ удѣлить молодежи хоть частицу того, что они знаютъ, чѣмъ они владѣютъ и т. д. Крамской терпѣливо выслушалъ меня и лаконически отвѣчалъ:

— То-же самое и я предлагалъ передвижникамъ, но это было отклонено!

Въ послѣдніе годы наше искусство сильно понизилось. Въ немъ уже не чувствуется того сильнаго и единодушнаго порядка, стремленія углубляться въ природу и отыскивать въ ней нетолько русское, но и человѣческое... Теперь, въ послѣднее время, искусство «обстоитъ благополучно»—и того меньше: ровно, сѣро; чувство поверхностное, сюжеты мелки и скудны, — да иначе и быть не могло. Передовые ряды рѣдѣютъ, новые мало прибываютъ: кто умеръ, кто усталъ, а кто отсталъ... Въ такихъ случаяхъ становятся другъ къ другу бокомъ и посматриваютъ другъ на друга искоса... Владиміръ Васильевичъ не могъ этого не видѣть. Онъ давно жалуется и покачиваетъ головой... Онъ пытался однихъ уговаривать, другихъ упрашивать, урезонивать — не дробиться, идти попрежнему дружно... Но тщетно: его не слушали, ему отвѣчали коротко: «отстаньте!» Но онъ слишкомъ любитъ это дѣло, да и не таковъ онъ, чтобы положить оружіе и бить отбой... И вотъ разъ на общемъ собраніи передвижниковъ, какъ мнѣ передали, нѣкоторые изъ нихъ внесли предложеніе: сдѣлать Вл. В. Стасову «внушеніе»... Къ чести передвижниковъ надо сказать, что это предложеніе не было принято; тѣмъ не менѣе одинъ изъ нихъ прислалъ ему письмо, въ видѣ благодарности, но, увы— въ видѣ черной благодарности... Содержаніе этого письма можно резюмировать въ трехъ словахъ: «Вы намъ мѣшали, мѣшаете и пожалуйста больше не мѣшайте!» И это говорилъ одинъ изъ передвижниковъ, которымъ Стасовъ всю жизнь былъ такъ преданъ, которыхъ онъ такъ любилъ и на которыхъ такъ надѣялся. И говорилось это кому?.. Семидесятилѣтнему, сѣдовласому старцу!.. Побойтесь Бога! В. В. Стасовъ вамъ мѣшаетъ? Въ чемъ? Подняться или упасть? Двадцать-пять лѣтъ онъ васъ убаюкивалъ, пѣлъ вамъ колыбельныя пѣсни, пока вы не выросли, не окрѣпли, пока не выросли у васъ острые зубы,

которыми вы укусили его такъ больно... Стасовъ вамъ мѣшалъ?! Отчего-же вы двадцать-пять лѣтъ молчали? Отчего-же вы не сказали ему этого раньше?..

А всетаки, пусть кто попробуетъ обидѣть его бывшихъ любимцевъ! Онъ забудетъ свою обиду и грудью станетъ передъ ними, за нихъ, не щадя себя попрежнему... Еще недавно онъ писалъ мнѣ: «Не удивляйтесь, что я вновь выступаю за X., несмотря на наши ссоры и вражду (!). Я заступаюсь не за настоящаго, а за прежняго X!..»

Таковъ Владиміръ Васильевичъ, таково его отношеніе къ другимъ, таково отношеніе другихъ къ нему... Стасовъ никогда не смѣшивалъ личныхъ отношеній съ дѣломъ... Ради дѣла онъ никогда никому не отказывалъ ни въ чемъ, даже своему врагу. Появится талантъ, онъ бѣжитъ ему навстрѣчу съ распростертыми объятіями и будетъ съ нимъ возиться какъ мать съ ребенкомъ; выростетъ этотъ ребенокъ, отплатитъ ему зломъ за добро,—онъ отвернется отъ него какъ отъ человѣка, но останется вѣрнымъ его таланту. Умретъ этотъ человѣкъ, онъ поторопится написать его біографію, издать его письма, и съ одинаковымъ вниманіемъ будетъ корректировать и тѣ изъ нихъ, въ которыхъ покойный его жестоко бранилъ.

Есть еще у Стасова одна черта, теперь почти уже рѣдкая: онъ до ногтей патріотъ, но патріотъ прежняго закала: не узкій, не фанатикъ, и еще меньше патріотъ по разсчету... Онъ горячо любитъ всю Россію, онъ не раздѣляетъ людей отъ людей, совѣсть отъ религіи, онъ только желаетъ, чтобы каждый былъ тѣмъ, чѣмъ онъ есть, сохранилъ-бы свою индивидуальность и совершенствовалъ-бы ее для общаго блага и прогресса.

Того, что онъ желаетъ видѣть въ жизни,—того-же самаго онъ требуетъ и отъ искусства.

Теперь пусть кто хочетъ скажетъ, что я отношусь къ нему пристрастно; пусть скажутъ, что и Владиміръ Ва-

сильевичъ относится ко всему пристрастно... Хорошо! Въ такомъ случаѣ отбросьте четверть, половину, оставьте десятую долю, одну каплю изъ всего того, что онъ говорилъ... Но прошу только помнить, что когда ваше чувство и умъ засорятся, имѣйте-же мужество проглотить эту горькую каплю: она будетъ вамъ всегда на здоровье...

Мнѣ-же остается сказать слѣдующее: я лично не желаю быть ни лучше, ни хуже своихъ собратій по искусству; не хотѣлось-бы мнѣ ихъ упрекать; не хотѣлось-бы мнѣ также, чтобы изъ-за Стасова наши отношенія измѣнились — этого онъ самъ менѣе всего желаетъ. Мы оба одинаково глубоко ихъ уважаемъ. Поэтому-то я и обращаюсь къ нимъ съ горячею просьбой доказать на дѣлѣ, а не на словахъ, что я неправъ, что мои опасенія за будущность русскаго искусства напрасны. Этимъ они только обрадуютъ Владиміра Васильевича, и частица этой радости выпадетъ, быть можетъ, на долю и мнѣ.

Антокольскій.

Вершина натурализма.

(Собраніе сочиненій Гюи де-Мопассана).

Однимъ изъ самыхъ популярныхъ писателей въ послѣднее время у насъ является Мопассанъ. Можно, поистинѣ удивляться широтѣ круга его поклонниковъ. Русскія дамы и дѣвицы—самыя благовоспитанныя—нетолько перечли его сочиненія, но даже дважды ихъ перевели... Кутилы и свѣтскіе люди обновили разсказами Мопассана пріѣвшійся репертуаръ послѣобѣденныхъ анекдотовъ. Писатели — и самые лучшіе—чтутъ Мопассана, какъ образцоваго стилиста.

Нельзя, однако, не замѣтить, что восторги передъ Мопассаномъ въ значительной степени преувеличены.

Мопассанъ по роду и свойствамъ своихъ произведеній принадлежитъ къ французской натуралистической школѣ, основаніе которой было положено сочиненіями Флобера, и Мопассанъ является литературнымъ сыномъ Флобера, крайнимъ развитіемъ его идей, въ существѣ ложныхъ, и потому дошедшихъ у Мопассана до самоотрицанія, такъ-что Мопассанъ является въ своихъ произведеніяхъ уже не вполнѣ натуралистомъ, но отразилъ въ себѣ также черты парнасцевъ и декадентовъ. Необходимо замѣтить, что между французскимъ натурализмомъ и русскимъ реализмомъ большая разница. Нашъ реализмъ есть ученіе скорѣе общественное, чѣмъ литературное.

Наша литература, до послѣдняго времени, не получила вполнѣ независимаго значенія: она у насъ не чистое искусство, удовлетворяющее извѣстнымъ потребностямъ духа, но всегда преслѣдуетъ и нѣкоторыя постороннія цѣли—поученіе, проповѣдь. Ея значеніе у насъ не столько эстетическое, сколько нравственное или общественное. Русскій реализмъ по существу своему тенденціозенъ; онъ требуетъ, чтобы писатель не прикрашивалъ жизни, не скрывалъ отъ читателя ея дурныхъ и мрачныхъ сторонъ, не идеализировалъ природы человѣка, но выставлялъ ее во всей тлѣнности и ничтожности. Тайная цѣль русскаго реализма—обличеніе и поученіе. Онъ долженъ вызывать сочувствіе къ обездоленнымъ классамъ и обнаруживать тщету и ничтожность богатыхъ и сильныхъ, а потому часто онъ сбивается на сатиру или-же этнографію.

Французскій натурализмъ — чисто литературная школа. Она характеризуется гораздо болѣе формой произведеній, манерой письма, чѣмъ содержаніемъ и тѣмъ болѣе направленіемъ ихъ. Основанія натурализма (флоберовской школы) состоятъ, во-первыхъ, въ безстрастномъ, почти безличномъ отношеніи художника къ изображаемой имъ жизни. «Нравственность, честность, принципы», говоритъ Мопассанъ въ своей статьѣ о Флоберѣ, «все это необходимыя условія для поддержанія установленнаго общественнаго строя, но нѣтъ ничего общаго между этимъ послѣднимъ и литературой. Предметомъ наблюденія и изслѣдованія романиста служатъ человѣческія страсти—дурныя и хорошія. Учить, руководить, бичевать — не дѣло романиста, и потому ни одно тенденціозное произведеніе не можетъ быть названо художественнымъ. Всякій хорошій или дурной поступокъ имѣетъ цѣну для романиста только какъ предметъ изслѣдованія, независимо отъ присущей ему идеи добра и зла. Онъ составляетъ только литературный документъ, не болѣе». Такое отношеніе натурализма къ жизни сдѣ-

мало его, во-вторыхъ, крайне неразборчивымъ въ отношеніи выбора сюжетовъ творчества. Художникъ, по мнѣнію Мопассана, черпаетъ подобно насосу все, что попадется, и воспроизводитъ свою случайную добычу въ художественныхъ образахъ. «Читатель, который интересуется только изложеннымъ фактомъ, который не понимаетъ, что настоящій смыслъ литературнаго произведенія не въ излагаемомъ фактѣ, а въ его подготовкѣ, его постановкѣ и выраженіи, не имѣетъ художественнаго чутья». Узость этого взгляда натуралистовъ очевидна. Если придерживаться его, то нѣтъ разницы между алмазомъ и стекломъ, лишь-бы они огранены были въ форму совершеннѣйшаго брилліанта.

Третья отличительная черта натурализма состоитъ въ стараніи описывать только факты и жесты, изображать людей въ дѣйствіи, по возможности не вдаваясь въ анализъ и психологію. Этотъ чисто литературный пріемъ ведетъ въ концѣ-концовъ къ тому, что за внѣшней тѣлесной оболочкой натуралистъ не разглядываетъ души, двигающей поступками человѣка, и пріобрѣтаетъ матеріалистическое міровоззрѣніе. Матеріалистическое воззрѣніе на жизнь ведетъ къ крайнему пессимизму, являющемуся всегда неизбѣжнымъ слѣдствіемъ излишней сосредоточенности на дѣйствительности. Но этотъ натуралистическій пессимизмъ очень мало похожъ на философскій пессимизмъ, ищущій выхода изъ душнаго, смраднаго міра—въ игрѣ-ли фантазіи, въ святомъ-ли образѣ жизни, или въ самоубійствѣ; пессимизмъ натуралистовъ примиряется съ жизнью на томъ основаніи, что таковы ея законы и иначе быть не можетъ. Людей съ возвышеннымъ образомъ мысли онъ повергаетъ въ безотрадное уныніе и тоску, схожую съ тоскою, производимою на нихъ явленіями самой жизни; людей-же низменныхъ скорѣе радуетъ, такъ-какъ въ произведеніи художника они видятъ какъ-бы признаніе своихъ пороковъ чѣмъ-то неизбѣжнымъ, лежащимъ въ общей природѣ человѣка.

Если къ этимъ свойствамъ натурализма прибавить еще заботы о слогѣ, доходящія у натуралистовъ до крайней степени, то мы получимъ основныя черты типичныхъ представителей этой школы.

Мопассанъ во французской натуралистической школѣ играетъ такую-же роль, какую Гейне игралъ въ романтической поэзіи. Являясь крайнимъ натуралистомъ, доводя до крайнихъ предѣловъ ученія этой школы, Мопассанъ доказываетъ на себѣ самомъ несостоятельность ея и въ послѣднихъ произведеніяхъ впадаетъ въ литературное декадентство, которое вообще является протестомъ противъ натурализма.

Въ смыслѣ выбора сюжетовъ Мопассанъ совершенный натуралистъ. Самое легкое знакомство съ его біографіей обнаруживаетъ, что всѣ разсказы его не выдуманы, но написаны подъ вліяніемъ происшествій, въ которыхъ онъ или самъ игралъ роль, или былъ ихъ свидѣтелемъ, или слышалъ о нихъ. Но, несмотря на случайность сюжетовъ произведеній Мопассана, можно видѣть, что интересовали его преимущественно слѣдующія три явленія жизни: любовь въ смыслѣ страсти, проявленія жестокости человѣческой натуры и настроеніе начинающагося помѣшательства.

Всего больше по числу — разсказовъ, посвященныхъ любви. Ей-же посвящены и всѣ значительныя сцены большихъ романовъ Мопассана. Пониманіе любви художникомъ—очень важная сторона его таланта: оно даетъ окраску всему его міросозерцанію. Каково-же оно у Мопассана?

Любовь, по мнѣнію Мопассана, есть грубый физіологическій инстинктъ, и ничего больше. Графъ Л. Н. Толстой очень тонко подмѣтилъ, что Мопассанъ въ сущности развѣнчалъ, помимо своей воли, любовь, и своими разсказами достигаетъ того-же, чего старался достичь своими афоризмами Маркъ-Аврелій. Императоръ-философъ, желая погасить любовные инстинкты, говорилъ, въ очень грубыхъ и об-

разныхъ выраженіяхъ, что любовь только некрасивый физіологическій актъ. То-же получаемъ мы и по прочтеніи разсказовъ Мопассана. Всегда любовь является у него въ видѣ простой похоти. Его любимое выраженіе, что онъ любитъ «тѣло женщины». На женщину онъ смотритъ почти исключительно какъ на источникъ грубаго наслажденія. Цѣлый рядъ его разсказовъ, вродѣ «La fenêtre» (Окно), «Fou?» (Сумасшедшій-ли?), «Le signe» (Знакъ), «Le verrou» (Задвижка), «Remplaçant» (Замѣститель), «M-me Paris» (г-жа Парисъ) и т. п.—въ сущности не болѣе какъ скабрезные анекдоты, въ стилѣ Польде-Кока. Другіе разсказы, какъ «La femme de Paul» (Подруга Поля), «Marocca» (Марокка), многія сцены его большихъ романовъ—«Fort comme la mort» (Сильна, какъ смерть), «Notre coeur» (Наше сердце), «Une vie» (Жизнь)—посвящены описаніямъ чувственной любви, иногда любви развращенной, и заставили критиковъ Мопассана вспомнить о Боккачіо и Лафонтенѣ, писавшихъ изящной прозой и стихами нескромные разсказы на темы о любви. Но разница между этими писателями и Мопассаномъ громадна. У тѣхъ, при всей откровенности ихъ содержанія, мы имѣемъ дѣло со здоровою чувственностью. Всѣ любовники Боккачіо молоды и прекрасны, а обманутые мужья стары, вялы и смѣшны. Разсказы Боккачіо нетолько нескромные анекдоты, но и протестъ молодой чувственности противъ общественныхъ условій, продающихъ красоту богатымъ старикамъ и вообще окружающихъ молодую жизнь ненормальной обстановкой. Совсѣмъ не то у Мопассана. Всѣ его разсказы имѣютъ какой-то болѣзненный характеръ. Неговоря уже о такихъ, какъ «La femme de Paul», въ которой идетъ дѣло прямо объ извращенныхъ инстинктахъ, и цѣломъ рядѣ разсказовъ объ амурныхъ развлеченіяхъ въ неприличныхъ мѣстахъ,—во всѣхъ остальныхъ—мужчины нападаютъ на женщинъ какъ-будто въ припадкѣ какого-то помѣшательства, какого-то умственнаго затменія. Женщины отдаются са-

мымъ ничтожнымъ мужчинамъ. Словомъ, любовниками двигаетъ не чувство къ данному человѣку, а простая похоть. Умъ и чувство не участвуютъ въ любви, а если и участвуютъ, то идутъ вразрѣзъ съ нею, или независимо отъ нея. Порой Мопассанъ прямо какъ-будто смѣется надъ вмѣшательствомъ этихъ высшаго порядка чувствъ въ любовь, понимаемую имъ исключительно какъ внѣшняя потребность. Впечатлѣніе такой горькой насмѣшки производитъ, напримѣръ, «Miss Harriette» (Миссъ Гарріэтъ): старая дѣва, бросившаяся въ колодезь, увидавъ, какъ молодой человѣкъ, въ котораго она влюбилась, весьма не платонически ухаживалъ за служанкой въ гостинницѣ; «Une aventure Parisienne» (Парижское приключеніе), въ которомъ разсказывается, какъ одна добродѣтельная провинціалка пожелала узнать сладость грѣха съ однимъ малоизвѣстнымъ писателемъ и что изъ этого вышло, и нѣкоторые другіе. Словомъ, Мопассанъ, въ своихъ разсказахъ, продѣлываетъ съ любовью работу, обратную той, какую произвела съ нею вся исторія культуры и цивилизаціи. Онъ устраняетъ всѣ слѣдствія вліяній, произведенныхъ любовью на умъ и сердце, и повсюду видитъ и выставляетъ на первый планъ одинъ животный инстинктъ.

Русскіе поклонники Мопассана обыкновенно видятъ въ его разсказахъ, посвященныхъ любви, особый смыслъ, нерѣдко возвышенный. Пикантныя исторіи изъ свѣтской жизни, вродѣ «Joseph» (Жозефъ), «Sauvée» (Спасена), «Un signe» (Знакъ), считаютъ за ѣдкую сатиру на французское общество; въ «La rouille» (Ржавчина) думаютъ видѣть убѣжденіе, что чувственная сторона любви въ бракѣ не имѣетъ особаго значенія; въ разсказахъ, вродѣ «Un fils» (Сынъ), «L'ermite» (Пустынникъ)—защиту правъ незаконныхъ дѣтей, угрозу за незаконныя связи, всегда могущія имѣть своимъ слѣдствіемъ дѣтей. Врядъ-ли это справедливо. Вѣдь наряду съ этими разсказами можно найти цѣлый рядъ другихъ, въ которыхъ цѣль автора

состояла исключительно въ изображеніи скабрезныхъ сценъ чувственной любви, да и самъ Мопассанъ высказывалъ мнѣніе, что «книга можетъ служить и нравоученіемъ, но независимо отъ воли автора, въ силу самихъ изложенныхъ имъ фактовъ».

Что Мопассанъ не понималъ другой любви, кромѣ чувственной, въ этомъ особенно можно убѣдиться изъ его романа «Notre coeur» (Наше сердце). Герой его—человѣкъ вполнѣ современный, настоящій представитель декаданса чувства. Въ немъ живетъ потребность чувственной любви наряду съ потребностью въ женской духовной ласкѣ, въ обществѣ женской души, и эти двѣ потребности нисколько не смѣшиваются между собою. Послѣ долгаго романа съ тонкой, но холодной кокеткой, герой «Notre coeur» кончаетъ тѣмъ, что свою героиню сохраняетъ себѣ для ума, а для чувственности онъ вступаетъ въ связь съ хорошенькой служанкой, съ которой онъ познакомился въ одномъ загородномъ трактирѣ. И такое раздѣленіе чувства вполнѣ удовлетворяетъ и героя, и обѣихъ женщинъ, и повидимому, самого автора.

Безстрастіе и безличное отношеніе Мопассана къ жизни проявилось въ особенности въ его большомъ романѣ «Bel ami» (Милый другъ), и въ его разсказахъ изъ народнаго быта. Въ романѣ герой-альфонсъ, существо ничтожное и грязное, благодаря своему успѣху у женщинъ, достигаетъ высокаго и почетнаго положенія. Но похожденія этого альфонса описаны такъ спокойно, такъ безстрастно, что только самая невѣроятность предположенія не даетъ возможности думать, что авторъ сочувствуетъ герою. Въ смыслѣ натуралистическаго безстрастія «Bel ami» одинъ изъ шедевровъ во всей французской литературѣ. Такимъ-же безстрастіемъ отличаются разсказы Мопассана, посвященные франко-прусской войнѣ, народной жизни и сценамъ изъ жизни проститутокъ. Въ «La maison Tellier» (Заведеніе Телье)—содержательница публичнаго дома описана почтенною женщиною; въ «Le lit 29»

(Постель № 29) проститутка, заражающая извѣстной болѣзнью пруссаковъ, выставляется чуть не героиней въ «La mère Sauvage» (Тетка Соважъ) разсказывается въ тонѣ веселаго и бойкаго анекдота, какъ французская крестьянка сожгла живьемъ нѣсколькихъ пруссаковъ... Всѣ французскіе крестьяне изображаются грубыми, низменными животными; но краски Мопассана приэтомъ остаются такими-же яркими, свѣтлыми, любовными, какъ и въ описаніяхъ его амурныхъ похожденій въ Алжирѣ. Очевидно, нервы Мопассана, при всей ихъ чуткости и тонкости, въ нравственномъ отношеніи были уже на столько притуплены въ то время, когда онъ писалъ эти вещи, что жестокость и ужасъ этихъ вещей уже не чувствовались имъ въ достаточной мѣрѣ, и сохранивъ еще свой умъ вполнѣ свѣжимъ, онъ точно страдалъ той извѣстной формой нравственнаго помѣшательства, которая мѣшаетъ различать добро и зло, а въ каждомъ фактѣ видитъ только существующее явленіе—не болѣе.

Выборъ такихъ жестокихъ и такихъ грязныхъ сюжетовъ—главный упрекъ, какой можно сдѣлать Мопассану какъ художнику. Господствующая эстетическая теорія (Шопенгауера) требуетъ, чтобы произведеніе искусства способствовало безмятежному созерцанію, забвенію всего окружающаго и полному умиротворенію страстей. Произведенія Мопассана погрѣшаютъ противъ этихъ требованій: иныя изъ нихъ возбуждаютъ чувство брезгливости, другія—у страстныхъ натуръ—будятъ чувственность, третьи производятъ подавляющее, угнетающее впечатлѣніе. Но за исключеніемъ этого недостатка, Мопассанъ является тонкимъ художникомъ. Его маленькіе разсказы, по построенію своему, по сжатому выразительному стилю, могутъ считаться образцовыми. Въ нихъ все прилажено, каждое слово стоитъ на мѣстѣ; стиль упоительный, проникающій въ сердце; къ концу всегда пригнанъ высшій интересъ, такъ-что разсказъ читается безъ всякаго утомленія и скуки. Въ смыслѣ отдѣлки

произведеній, музыки стиля, образности выраженій Мопассанъ гораздо ближе къ парнасцамъ, вродѣ Леконтъ-де-Лиля, чѣмъ къ натуралистамъ вродѣ Зола. Этихъ уже чисто внѣшнихъ качествъ было-бы достаточно, чтобы объяснить, почему Мопассана любятъ нетолько любители игриваго чтенія, но и тонко развитыя, артистическія натуры, которыя всегда будутъ высоко ставить форму.

Но будучи натуралистомъ по выбору сюжетовъ и парнасцемъ по ихъ отдѣлкѣ, Мопассанъ является декадентомъ по расчлененности своихъ чувствъ. Онъ отлично умѣлъ разбираться въ тѣхъ почти неуловимыхъ ощущеніяхъ и настроеніяхъ, которыя стоятъ на границѣ физическаго и духовнаго міра. Мопассанъ, какъ мы сказали, не былъ вполнѣ натуралистомъ, какъ Гейне не былъ вполнѣ романтикомъ. Своими тонкими нервами Мопассанъ смутно чувствовалъ существованіе чего-то иного за грубой тѣлесной оболочкой. Онъ не вѣрилъ въ возвышенныя чувства, не вѣрилъ въ нравственность, но онъ не могъ ограничиться грубой животной жизнью. Онъ обладалъ способностью чувствовать за другихъ людей, жить въ матеріальной оболочкѣ другихъ существъ, и его несчастье состояло въ томъ, что во время своей литературной дѣятельности онъ избиралъ для этой цѣли преимущественно грубыя животныя натуры, или, по крайней мѣрѣ, нравственно ничтожныя, вродѣ героини «Une vie». Но когда Мопассанъ обращался къ самому себѣ, онъ кромѣ этихъ грубыхъ животныхъ чувствъ и инстинктовъ находилъ цѣлый рядъ другихъ настроеній, неизвѣстнаго для него происхожденія, заключенныхъ и угнетенныхъ въ тѣлесной оболочкѣ. Онъ не нашолъ имъ названія, не нашолъ имъ объясненія, но съумѣлъ выразить ихъ во множествѣ мѣткихъ замѣчаній, разсѣянныхъ въ его разсказахъ и повѣстяхъ, свидѣтельствующихъ о его способности, доходящей чуть не до ясновидѣнія, понимать тайный смыслъ вліянія природы

на человѣка, въ особенности въ такихъ его разсказахъ, какъ «Solitude» (Одиночество), «Sur l'eau» (На водѣ), «Horla» (Орлà) и нѣкоторые другіе. Всѣ эти произведенія—сплошной протестующій крикъ духовнаго начала, живущаго въ человѣкѣ, противъ условій окружающаго его міра. Это наболѣвшій стонъ сердца, ищущаго другого сердца; исканіе чувства, встрѣчавшаго до сихъ поръ только чувственность. Мысли, выраженныя въ «Sur l'eau», возвышенны и благородны; ощущенія, которыми занятъ Мопассанъ, тонки и почти готовы перейти въ букетъ самыхъ роскошныхъ, благоуханныхъ чувствъ, какимъ позавидовалъ-бы любой идеалистъ. Но какъ у сына больного вѣка, всѣ настроенія этого рода у Мопассана отличаются крайнею болѣзненностью,—и, быть можетъ, въ самой болѣзненности его разсказовъ лежитъ значительная доля ихъ привлекательности. Вслѣдствіе этого болѣзненнаго тона, читатель подозрѣваетъ, что авторъ недоволенъ собой, мучится неудовлетворенностью существующимъ, ищетъ чего-то высокаго и свѣтлаго за его предѣлами. Эти болѣзненныя ноты звучатъ похоронной музыкой самому натурализму—сначала, въ первыхъ произведеніяхъ Мопассана, чуть слышно, а въ послѣднихъ уже весьма явственно. Тамъ Мопассанъ является уже вполнѣ декадентомъ, въ томъ лучшемъ смыслѣ этого слова, въ какомъ были декадентами Боделэръ и Верлэнъ.

Пл. Красновъ.

Отзывчивый писатель.

(Изъ этюда о П. Д. Боборыкинѣ).

Наша критика, если не считать мимолетныхъ газетныхъ рецензій, замѣчательно мало удѣляетъ вниманія литературной дѣятельности П. Д. Боборыкина. Спеціально посвященной ему критической статьи П. Д. дождался только послѣ тридцати-трехъ лѣтъ неустаннаго литературнаго «дѣланія» (М. А. Протоповъ въ «Русск. Мысли» 1892 г.). И то эта *единственная* сколько-нибудь если и не обстоятельная, то хоть объемистая статья написана въ той публицистической манерѣ, при которой разбираемый писатель остается почти въ сторонѣ. Въ «Исторіи новѣйшей литературы» А. М. Скабичевскаго Петру Дмитріевичу посвящено меньше мѣста, чѣмъ Новодворскому (Осиповичу); въ нѣмецкой «Geschichte der russischen Litteratur» Рейнгольда, вѣрно отразившей настроеніе руководящихъ русскихъ литературныхъ кружковъ, Боборыкину посвящено нѣсколько строкъ.

Такое невниманіе нельзя не назвать крайне несправедливымъ. Боборыкинъ заслуживаетъ гораздо болѣе серьезнаго отношенія, и совокупность его многочисленныхъ произведеній представляется замѣчательной во многихъ отношеніяхъ. Въ Боборыкинѣ замѣчательна и его плодовитость, ничего общаго не имѣющая съ ремесленностью, и его необыкновенно-живая отзывчивость на все, что въ данный моментъ интересуетъ и волнуетъ общество, и на-

конецъ, то, что годы нетолько не вліяютъ отрицательно на его творчество, а напротивъ того, расширяютъ поле зрѣнія его художественнаго объектива, что даетъ ему возможность захватывать картины очень широкія.

Объясненіе несправедливаго отношенія критики къ Боборыкину слѣдуетъ искать въ томъ, что многія особенности его творчества, которыя получаютъ правильное освѣщеніе только при изученіи совокупности его литературной дѣятельности, въ каждомъ отдѣльномъ произведеніи легко могутъ быть приняты за недостатки. Боборыкинъ очень много пишетъ — на языкъ подвертывается упрекъ въ спѣшности, неотдѣланности, ремесленности. Боборыкинъ быстро на все отзывается: онъ модникъ, его творчество фельетонно, легковѣсно. Боборыкинъ много и подолгу живетъ во Франціи, проводитъ время въ изученіи лучшихъ произведеній европейской литературы, въ общеніи съ видными дѣятелями европейскаго слова—онъ чрезмѣрно объевропеился, онъ французъ въ русской литературѣ. Наконецъ, Боборыкинъ часто говоритъ о новыхъ явленіяхъ и теченіяхъ европейской мысли, такъ или иначе ихъ комментируя,—онъ человѣкъ неустойчивый: что послѣдняя книга ему скажетъ, то на душу ему и ляжетъ.

Мы вовсе не намѣрены утверждать, чтобы всѣ эти упреки были неосновательны; но нельзя не видѣть и другой стороны. Человѣкъ, который при *всѣхъ* житейскихъ и матеріальныхъ условіяхъ, благопріятны они или нѣтъ, пишетъ много—пишетъ, конечно, не по ремесленности и не вслѣдствіе спѣшности, а потому, что ему много есть что сказать. Человѣкъ, *всю свою жизнь* неустанно слѣдящій за ходомъ европейской мысли,—проявляетъ уже не желаніе быть на высотѣ моды, а глубокій интересъ. Наконецъ, писатель, отразившій за послѣднюю четверть вѣка почти все, что было выдвинуто русскою интеллигентною жизнью—никакъ не можетъ считаться простымъ фотографомъ и портретистомъ, какъ утверждаютъ нѣкоторые.

Если Боборыкину и не удалось воплотить свою отзывчивость въ созданіи очень крупныхъ типовъ, то, все-таки, онъ создалъ цѣлую галлерею вполнѣ живыхъ фигуръ. Его литературный инвентарь огроменъ, и сплошь да рядомъ это типы, свидѣтельствующіе о большой проницательности: Боборыкинъ ихъ схватывалъ, когда они только-что стали обозначаться. Его герои «солидныхъ добродѣтелей», его «дѣльцы», его представители нарождающейся русской интеллигентной буржуазіи, его «поумнѣвшіе» «ренегатишки», его Василій Теркинъ, общественное настроеніе, схваченное въ «Перевалѣ»,—честь перваго воспроизведенія этихъ очень характерныхъ явленій нашей общественной жизни безусловно принадлежитъ нашему романисту.

Одна изъ наиболѣе характерныхъ чертъ духовной физіономіи П. Д. Боборыкина — разносторонняя и рѣдкая образованность. Боборыкинъ не диллетантъ, не всезнайка дешеваго сорта, а человѣкъ истинно высокаго энциклопедическаго образованія. Этотъ химикъ по долголѣтнимъ, спеціальнымъ занятіямъ, медикъ по пройденному полному курсу врачебныхъ наукъ, юристъ по диплому и подготовленію къ магистерскому экзамену, выдающійся знатокъ сценическаго искусства по своимъ занятіямъ теоріею драматургіи, столь-же выдающійся знатокъ европейскаго литературнаго и философскаго творчества, наконецъ, этотъ человѣкъ, превосходно знающій семь языковъ, по справедливости долженъ быть причисленъ къ самымъ замѣчательнымъ представителямъ образованія въ Россіи.

Къ сожалѣнію, надо признаться, что писательскій *темпераментъ* П. Д. Боборыкина въ такой-же степени бѣденъ и блѣденъ, въ какой умственный капиталъ замѣчателенъ и значителенъ. Нѣтъ въ немъ и слѣда колоритности, нѣтъ въ немъ поэзіи, нѣтъ глубины и постоянства настроенія. И вотъ отчего, пользуясь огромною

извѣстностью, почтенный романистъ никогда не пользовался *любовью* русской читающей публики, которая не даритъ своей душевной привязанности писателямъ, шевелящимъ только ея любопытство. Надъ чтеніемъ романовъ Боборыкина сердце не бьется, голова не горитъ, духовныя очи новыхъ горизонтовъ не видятъ.

Основная и главная черта писательскаго темперамента Боборыкина — полное отсутствіе страсти и страстности. Истинной любви уже потому не можетъ быть въ романахъ Боборыкина, что онъ почти никогда не описываетъ любви молодой. За исключеніемъ первыхъ книгъ перваго романа нашего автора «Въ путь-дорогу», первой драмы его—«Ребенка» и нѣкоторыхъ небольшихъ повѣстей, тоже принадлежащихъ къ началу его литературной дѣятельности («Фараончики» и др.) и въ которыхъ бьется настоящее, молодое, свѣжее чувство, во всѣхъ остальныхъ романахъ Боборыкина описывается тепловатая любовь разныхъ развинченныхъ и искалѣченныхъ жизнью нытиковъ, которые ни сами любить какъ слѣдуетъ не умѣютъ, ни другимъ серьезнаго чувства внушить не въ состояніи. Женщины-же Боборыкина—это, за самыми малыми исключеніями, удивительная по полному отсутствію женственности и граціозности коллекція бездушныхъ кокетокъ, скучающихъ вдовъ и перезрѣлыхъ особъ бальзаковскаго возраста, предающихся «наукѣ страсти нѣжной» единственно по авторскому велѣнію, а вовсе не по органическому требованію своего рыхлаго и холоднаго темперамента. Дѣвушекъ почти нѣтъ въ произведеніяхъ Боборыкина, и уже это одно придаетъ необыкновенную сѣрость любовнымъ эпизодамъ его романовъ и повѣстей. Никогда вы не встрѣтите у него ни настоящаго объясненія въ любви, такого, чтобы вамъ стало жаль отцвѣтшей молодости вашей, не встрѣтите горячей или даже просто чувственной сцены между любящими, не встрѣтите ни одного граціознаго любовнаго эпизода,—словомъ не встрѣтите ничего такого, что придаетъ очарованіе нетолько любовнымъ сценамъ

такихъ пѣснопѣвцевъ любви, какъ Тургеневъ, но даже самыхъ уравновѣшенныхъ и объективныхъ бытописателей житейской прозы, какъ напр. Гончаровъ. Можно и нужно быть реалистомъ, смѣшно и нелѣпо расписывать аркадскихъ пастушковъ и пастушекъ, но любовь есть все-таки любовь, т.-е. призывъ къ усиленной жизнедѣятельности всего, что есть въ человѣкѣ необыденнаго. Между тѣмъ, для огромнаго большинства героевъ и героинь Боборыкина любовь является тяжелымъ кошмаромъ, огромнымъ несчастіемъ, которое ихъ совершенно раздавливаетъ

Въ такой-же степени, какъ любовь, мало доступны писательскому темпераменту Боборыкина и всякія другія страсти: восторгъ, гнѣвъ, ненависть, злоба. Какъ исключенія, и у него попадаются фигуры колоритныя, полныя жизни и движенія. Такова, напр., Серафима въ одномъ изъ лучшихъ романовъ П. Д. «Василій Теркинъ». Но на общемъ фонѣ галлереи боборыкинскихъ портретовъ фигуры въ родѣ Серафимы мелькаютъ рѣдкими пятнами, совершенно пропадая въ мглистомъ туманѣ сѣрыхъ, сухихъ и скучныхъ лицъ. Одинокая попытка Петра Дмитріевича посвятить цѣлое произведеніе области страстей кончилась крайне печально:—его романъ «На судъ», гдѣ фигурируютъ разные ужасы прямо лубочная мелодрама. Говоря заглавіемъ одного изъ его романовъ, колоритная область страстей для Боборыкина—«Чужое поле», гдѣ онъ совершенно не умѣетъ оріентироваться.

Всего ощутительнѣе изъ недостатковъ писательскаго темперамента Боборыкина отсутствіе восторга и неизбѣжной спутницы его—писательской злости. У Боборыкина совершенно нѣтъ того внутренняго творческаго паѳоса, присутствіе котораго должно ощущаться въ самыхъ объективныхъ произведеніяхъ. Въ большинствѣ романовъ и повѣстей Боборыкина совершенно не чувствуется, что самъ авторъ увлеченъ своимъ сюжетомъ, что онъ пишетъ подъ вліяніемъ органической потребности высказаться, подѣлиться тѣми образами и чувствами, которые перепол-

няютъ его творчество и ищутъ выхода. Удивительно-ли что и читателя не захватываетъ, что и читатель равнодушно дочитываетъ нестройные романы Боборыкина, часто состоящіе изъ десятка разрозненныхъ эпизодовъ, несвязанныхъ единствомъ авторскаго настроенія. Чтобы воспламенить читателя, нужно, чтобы и писатель горѣлъ. А горѣнія-то именно никогда и нѣтъ у Боборыкина. Вотъ почему онъ совершенно лишонъ властности, способности сдѣлать популярной какую-нибудь изъ своихъ симпатій или хотя-бы прочно остановить вниманіе читателя на какомъ-нибудь явленіи. Съ именемъ писателей, никакъ не превосходящихъ Боборыкина размѣрами таланта, сплошь да рядомъ представленія о нѣкоторыхъ вещахъ до такой степени тѣсно связаны, что стоитъ только ихъ назвать, чтобы ваша память тотчасъ-же подсказала-бы и имя писателя, впервые обратившаго на нихъ вниманіе. Пусть произнесутъ слово «Соловки»—и неизбѣжно вамъ придетъ на умъ имя В. И. Немировича-Данченко; нельзя говорить о дворянскомъ «Оскудѣніи», не отдавши должнаго его вѣрному лѣтописцу Сергѣю Атавѣ; Авдѣевъ неразрывно связанъ съ типами народившагося печоринства и проповѣдью свободы любви, Помяловскій—съ типами бурсы и понятіемъ о «Мѣшанскомъ счастьи», Рѣшетниковъ съ «Подлиповцами», Маминъ-Сибирякъ съ жизнью Пріуралья, и т. д. и т. д. Имя каждаго изъ этихъ писателей связано съ чѣмъ-нибудь однимъ, опредѣленнымъ. А Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ, обнявшій, такъ сказать, все, не обнялъ какъ слѣдуетъ ничего, Въ вѣчномъ стремленіи схватывать все новыя и новыя явленія, у него не хватаетъ творческаго терпѣнія, нѣтъ охоты идти въ глубь, разрабатывать. За исключеніемъ нарождающейся культурной буржуазіи русской, которой нашъ авторъ посвятилъ два крупныхъ произведенія — «Китай-Городъ» и «Перевалъ», онъ никогда не возвращается къ средѣ, разъ имъ затронутой. Говоря сравненіемъ изъ области живописи, Боборыкинъ не идетъ далѣе вѣрнаго и талантливаго рисунка.

Отсутствіе восторга и способности зажечь читателя особенно ярко сказалось на судьбѣ многочисленныхъ критическихъ и публицистическихъ статей Петра Дмитріевича. Несмотря на то, что онъ, при своей необыкновенной чуткости, сплошь да рядомъ первый заговаривалъ о новыхъ явленіяхъ въ умственной жизни Европы, не ему, однакоже, выпадало на долю провести въ сознаніе русскаго общества новыя идеи и представленія. Онъ первый обратилъ серьезное вниманіе на Тэна и историческій методъ изученія литературы, первый заговорилъ въ приподнятомъ тонѣ о французскихъ натуралистахъ; еще лѣтъ десять тому назадъ, когда никто у насъ понятія не имѣлъ о декадентствѣ, отмѣтилъ этотъ уродливый плодъ современнаго пессимизма, да и мало-ли вообще о чемъ не заговаривалъ первый Петръ Дмитріевичъ, проводящій полжизни заграницей, въ постоянномъ общеніи съ выдающимися представителями европейской мысли и знающій такъ-сказать все изъ первыхъ рукъ. Но талантъ, жадный только къ тому, что составляетъ «послѣднее слово», что ново, а затѣмъ съ такою-же быстротою остывающій, Боборыкинъ на-завтра являлся провозвѣстникомъ уже чего-нибудь еще болѣе новаго. Эта быстрая смѣна вовсе не характеризуетъ поверхностности Боборыкина, какъ думаютъ многіе. Поверхностнымъ его назвать несправедливо, потому-что въ огромномъ большинствѣ случаевъ его прогностики вполнѣ оправдываются и черезъ нѣкоторое время точное представленіе о возвѣщаемыхъ П. Д. новыхъ явленіяхъ и теченіяхъ входитъ въ общій обиходъ. Боборыкину даже принадлежитъ честь введенія въ русскую рѣчь такого многозначительнаго слова какъ *интеллигенція*, о чемъ, однако-же, ни одинъ человѣкъ не помнитъ. Обладая очень тонкимъ и развитымъ вкусомъ, Боборыкинъ никогда не порекомендуетъ плохого писателя, никогда не остановитъ вниманіе читателя на чемъ-нибудь малозначительномъ и не характерномъ. И будь только у него больше настойчивости и больше охоты возвращаться, углубляться

и разрабатывать, словомъ, будь у него больше увлеченія, онъ-бы по праву занялъ мѣсто въ ряду любимцевъ русской публики, какъ вѣрный и свѣдущій указчикъ всего, что въ Европѣ появляется важнаго и интереснаго.

Не обладая восторгомъ, не умѣя любить, Боборыкинъ не умѣетъ также ненавидѣть. У него, конечно, есть длинный рядъ всяческихъ антипатій, и брюзжанія всяческаго у него болѣе чѣмъ достаточно. Но настоящей злобы, которая свойственна только людямъ съ глубокимъ темпераментомъ и глубокими убѣжденіями, у него нѣтъ и слѣда. Ни проклинать, ни негодовать онъ не способенъ.

Чтобы покончить съ недостатками писательскаго темперамента Боборыкина, мѣшающими ему стать любимцемъ русской публики и хотя въ нѣкоторой степени властителемъ ея думъ, намъ остается отмѣтить полное отсутствіе въ немъ мечтательности—недостатокъ крупнѣйшій для всякаго писателя, а для писателя русскаго двойной. Что тамъ ни говорите о русскомъ реализмѣ, а все-же, въ формѣ-ли глубокой меланхоліи, въ формѣ-ли страстнаго порыва къ идеалу, въ формѣ-ли, наконецъ, думъ объ аллюминіевыхъ дворцахъ, мечтательность есть кардинальная черта всѣхъ тѣхъ произведеній, которыя волновали русскаго человѣка. Тотъ русскій читатель, мнѣніемъ котораго стоитъ интересоваться, даже нравоописательный романъ не для того беретъ въ руки, чтобы удовлетворить имъ чувство любопытства. Если онъ ищетъ «трезвую правду», то только въ силу искренно-мистическаго стремленія къ правдѣ высшей, къ выясненію жизненныхъ задачъ и путей. Не даромъ-же величайшіе русскіе реалисты—Гоголь и Толстой—суть вмѣстѣ съ тѣмъ и величайшіе мистики наши.

Этого мистицизма въ какой-бы то ни было формѣ въ сухомъ темпераментѣ почтеннаго романиста нѣтъ и слѣда. Нельзя въ концѣ-концовъ попрекать его этимъ, но вѣдь мы только стараемся объяснить, почему даровитый писатель, обладающій многими серьезными достоинствами, не

завоевалъ себѣ любовь русской публики. Любовь—начало мистическое, и для того, чтобы ее пріобрѣсть, нужны и пути мистическіе.

Мы многаго не поймемъ въ литературномъ положеніи П. Д., если не выяснимъ себѣ, къ какой онъ примыкаетъ литературно-политической «партіи», какого онъ «направленія». Въ силу того, что весь запасъ нашихъ общественныхъ стремленій, не имѣя возможности проявляться другими путями, всецѣло долженъ уходить въ литературу, въ Россіи всякій видный литературный дѣятель неизбѣжно становится дѣятелемъ общественно-политическимъ. Въ основѣ лучшихъ литературныхъ произведеній нашихъ лежитъ проповѣдь тѣхъ или другихъ общественно-политическихъ взглядовъ и воззрѣній. Хорошо-ли это или худо, но съ тѣхъ поръ какъ кружокъ Бѣлинскаго рѣшительно примкнулъ къ демократизму, свободолюбивая струя проходитъ чрезъ всю нашу литературу и окрашиваетъ въ свой цвѣтъ всѣхъ сколько-нибудь замѣчательныхъ литературныхъ дѣятелей. Все, что составляетъ основаніе славы и значенія Тургенева, Достоевскаго, Гончарова, Толстого, Писемскаго, Григоровича, Островскаго, уже не говоря о Щедринѣ, Некрасовѣ и писателяхъ-«разночинцахъ», вынесенныхъ на литературную арену уравнительнымъ теченіемъ шестидесятыхъ годовъ, все это является передовыми позиціями демократическихъ идей въ Россіи.

П. Д. Боборыкинъ безспорно тоже долженъ быть причисленъ къ искреннимъ приверженцамъ демократическихъ идей. Его первоначальное равнодушіе къ общественно-политическимъ вопросамъ скоро исчезло. Уѣхавъ на пять лѣтъ за-границу и попавъ въ оппозиціонные кружки конца второй имперіи, П. Д., какъ онъ самъ говоритъ, началъ «искреннѣе и серьезнѣе отзываться на политическіе и соціальные вопросы». Въ Парижѣ онъ довольно тѣсно сближается съ Литре и Накэ, встрѣчается

съ Гамбеттой, въ Англіи заводитъ знакомство со Спенсеромъ, Миллемъ и писателями радикальнаго направленія, въ Испаніи—съ Кастеляромъ, наконецъ, онъ болѣе или менѣе дружески видается съ представителями русской эмиграціи — Герценомъ, Огаревымъ, Бакунинымъ. Обязанности корреспондента побуждали его бывать на всяческихъ митингахъ и конгрессахъ, слѣдить за политическимъ движеніемъ, которое въ то время было гораздо одноцвѣтнѣе, чѣмъ теперь, и имѣя противъ себя такихъ враговъ, какъ Наполеона III, Бисмарка, Изабеллу, какъ-то дѣлало совершенно невозможнымъ колебаніе, на какую сторону стать. Въ результатѣ, впечатлительный П. Д. вернулся въ 1871 г. въ Россію человѣкомъ совершенно опредѣленной окраски. Онъ примыкаетъ къ лѣвой сторонѣ русской журналистики, переходя подчасъ отъ умѣренныхъ ея фракцій—коршевскихъ «С.-Пет. Вѣд.», «Нашего Вѣка», «Вѣстн. Европы» и др.,—къ оттѣнкамъ болѣе крайнимъ—«Отеч. Зап.», «Дѣлу», «Слову», «Рус. Мысли», «Рус. Вѣдомостямъ», но въ общемъ всегда оставаясь исключительно въ предѣлахъ журналистики свободолюбивой. Его произведенія—съ одной стороны проповѣдь дѣятельной работы на пользу народной массы, развитія общественной самодѣятельности, общественнаго самосознанія, свободы отъ предразсудковъ, эмансипаціи женщинъ; съ другой—весьма опредѣленный протестъ противъ темныхъ силъ русской жизни и насмѣшка надъ людьми, умѣющими «ловить моментъ» и плотно присѣсть къ общественному пирогу.

Казалось-бы, при такомъ общемъ характерѣ произведеній Петра Дмитріевича, отчего-бы ему не считаться однимъ изъ столповъ россійскаго либерализма? Если правы тѣ, которые увѣряютъ, что либеральная тенденція есть главное условіе успѣха въ русской журнальной критикѣ, то почему-бы Петру Дмитріевичу не быть излюбленнымъ дѣтищемъ этихъ журнальныхъ аристарховъ?

На самомъ дѣлѣ, однако, Боборыкинъ, какъ мы уже

отмѣчали, принадлежитъ къ писателямъ, почти никогда не слышащимъ ласковаго слова, и въ то время, какъ недруги его травятъ, «единомышленники» не только хранятъ угрюмое молчаніе и не заступаются, но сплошь да рядомъ сами подымаютъ на смѣхъ почтеннаго романиста, и получается какой-то всеобщій, однотонный хоръ какъ «либеральныхъ», такъ и «консервативныхъ» органовъ.

Разгадка этого, на первый взглядъ страннаго явленія весьма проста. Причина его опять-таки въ томъ отсутствіи глубины темперамента, о которомъ мы говорили выше, въ томъ отсутствіи сконцентрированности, безъ которой нельзя передать читателю и критику своего настроенія. Никто какъ-то не считаетъ торопливаго, перебѣгающаго отъ одного сюжета къ другому романиста способнымъ имѣть серьезныя общественно-политическія убѣжденія. Когда вы читаете такъ-называемыя «тенденціозныя» произведенія русской литературы послѣднихъ 30 лѣтъ, вамъ основное стремленіе автора ясно до прозрачности; оно сквозитъ изъ каждой строчки, кричитъ изъ каждой сцены. И если это основное стремленіе симпатично, то небольшой грѣхъ и простить за него недочеты художественнаго исполненія. Но у Петра Дмитріевича въ каждомъ его сколько-нибудь крупномъ произведеніи тысячи задачъ. И вотъ эти-то тысячи думушекъ, это-то порханіе отъ сюжета къ сюжету и подрываетъ вѣру въ истинную убѣжденность автора. Вѣдь дѣйствительное «служеніе идеѣ» предполагаетъ нѣчто аскетическое, нѣчто преданное до исключительности, и если вы замѣчаете, что писатель съ однимъ и тѣмъ-же творческимъ вниманіемъ относится и къ тому, что пошло, и къ тому, что должно быть для него свято, вы невольно задаете себѣ вопросъ: да есть-ли у этого писателя что-нибудь за душою, поклоняется-ли онъ какой-нибудь святынѣ?

Одно только короткое время, искренняя преданность Петра Дмитріевича лучшимъ завѣтамъ демократизма захватила его съ такою силою, что онъ сконцентрировалъ

всѣ свои душевные порывы на защитѣ ихъ противъ надвигающейся все плотнѣе и плотнѣе реакціи. Это было нѣсколько лѣтъ назадъ, когда началась какая-то эпидемія ренегатства, захватившая слои общества, еще недавно очень стойкіе. Въ «Итогахъ моей жизни», написанныхъ П. Д. для нашего «Критико-біографическаго словаря», находится очень интересная страничка, посвященная этой критической эпохѣ, которая, къ великой чести для нашего писателя, нетолько не поколебала въ немъ преданности прежнимъ стремленіямъ, а напротивъ того, только закалила его и воодушевила.

«То, что принесло съ собою послѣднее десятилѣтіе», говорилъ П. Д.,—«и на Западѣ, и у себя дома, дало не одному мнѣ чувство законной неудовлетворенности. Мы не ожидали, чтобы конецъ вѣка принесъ съ собою столько нравственныхъ дефицитовъ и чтобы мы очутились въ такомъ ничтожномъ меньшинствѣ, принужденные, противъ воли, стоять въ сторонѣ, видя все яснѣе, что мы «не ко двору» и что успѣхъ и фактическое преобладаніе у тѣхъ, кто еще двадцать лѣтъ назадъ сохранялъ хоть нѣкоторое чувство стыдливости или страха передъ завоеваніями разума, правды и человѣчности.

«Но я долженъ признать, что послѣднее десятилѣтіе всѣми своими тяжелыми для насъ проявленіями ставило передо мною болѣе строгія задачи, углубляло преданность дорогимъ идеямъ, освобождало отъ предвзятости, отъ всего суетнаго и дилетантскаго, усиливало потребность воспользоваться остаткомъ жизни для болѣе крупныхъ замысловъ, искреннѣе и теплѣе сливаться душою съ своей родиной, успѣть во многомъ пополнить свои знанія, отбросить все несущественное и сосредоточить себя на томъ, что стоитъ высшаго напряженія, что слѣдуетъ воспроизводить, не смущаясь никакими малодушными соображеніями. Личныя обстоятельства сдѣлали болѣе возможнымъ выполненіе такой программы писателя и гражданина».

Уже одинъ лиризмъ и высокій строй приведеннаго

отрывка, столь мало соотвѣтствующій обычному суховатому тону нашего писателя, показываетъ, что на этотъ разъ все его нравственное существо было искренно и глубоко задѣто. И вотъ онъ пишетъ большую повѣсть «Поумнѣлъ» (1890), гдѣ, съ совершенно несвойственною ему сконцентрированностью, бьетъ все въ одну и ту-же точку и, не позволяя себѣ отклоняться въ сторону, съ полною рельефностью обрисовываетъ новый типъ ренегатовъ, долго крѣпившихся, но наконецъ не выдержавшихъ тоски по вліятельному положенію.

Повѣсть имѣла крупный успѣхъ и быстро подняла въ обществѣ популярность Боборыкина. Слово «поумнѣлъ» сдѣлалось крылатымъ. Всѣ сразу почувствовали искреннее волненіе автора, а самое главное — всѣмъ были ясны настроеніе и намѣренія автора. Что причина успѣха лежала только въ концентрированности авторской мысли, а вовсе не въ ея либеральности, лучше всего видно изъ судьбы большого романа «На ущербѣ», появившагося въ томъ-же году. Романъ тоже имѣлъ цѣлью показать «ущербъ» прогрессивныхъ идей въ обществѣ и нарисовать типы разныхъ «ренегатишекъ»; но такъ-какъ кромѣ того, по свойственной почтенному романисту дурной манерѣ наполнять свои произведенія десятками эпизодическихъ лицъ, романъ кишѣлъ множествомъ народа изъ совсѣмъ другой оперы, то вниманіе читателя разбивалось, и второстепеннымъ заслонялось главное.

Къ той-же спутанности и неясности вернулся П. Д. и въ дальнѣйшихъ своихъ произведеніяхъ—«Василіѣ Терпинѣ», «Перевалѣ» и, конечно, въ ней главная причина того, что эти, сами по себѣ весьма замѣчательные романы, не имѣли широкаго и прочнаго успѣха.

Но если талантливый писатель лишонъ глубины и постоянства настроенія, если онъ только въ видѣ исключенія можетъ сосредоточиться для защиты дорогихъ ему идеаловъ, то чѣмъ-же онъ восполняетъ эти существеннѣйшіе недостатки своего писательскаго темперамента?

Главнымъ образомъ — необыкновенною впечатлительностью, правда неглубокой и непродолжительною, но зато изъ ряда вонъ выходящею по своей возбудимости, по способности отзываться буквально на всякое явленіе, проходящее предъ его творческою душою. Соединенная съ страстью и глубиною, такая впечатлительность могла-бы сдѣлать Петра Дмитріевича однимъ изъ самыхъ колоритныхъ писателей нашихъ. Безъ нихъ она дала ему только одно изъ проявленій сангвинизма—живость. Живой и въ разговорахъ, и въ жестахъ, не способный заживаться гдѣбы то ни было, вѣчно странствующій, вѣчно живущій на бивуакахъ, вѣчно жаждущій новыхъ умственныхъ впечатлѣній—Боборыкинъ ни на іоту не состарился ни умомъ, ни сердцемъ, и остается какимъ-то вѣчнымъ студентомъ, которому никогда не надоѣдаетъ учиться и изъ книгъ, и изъ жизни. Ему скучно безъ новыхъ впечатлѣній, и всю свою жизнь онъ съ лихорадочною тревогою идетъ имъ навстрѣчу, ища ихъ во всѣхъ сферахъ жизни и никогда не считая достаточнымъ запасъ своихъ житейскихъ наблюденій.

Опытъ учитъ П. Д., что въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ оставляетъ въ сторонѣ задачи «ловленія» моментовъ, его произведенія подвергаются гораздо меньшимъ нападкамъ. Однако-же, его съ истинно-стихійною силою притягиваетъ именно желаніе сказать свое слово о нарождающихся на нашихъ глазахъ новыхъ явленіяхъ жизни, о злобѣ текущаго дня. Задача «ловленія моментовъ», ктому-же, давно уже совсѣмъ и не въ модѣ, и самъ П. Д., когда разсуждаетъ теоретически о литературныхъ задачахъ, ставитъ выше всего «вѣчное» искусство, чуждое злобы дня. Но, очевидно, природа сильнѣе теоріи, душевная тревога сильнѣе спокойныхъ указаній холодно-анализирующей мысли. И, конечно, въ этой тревожности Боборыкина главная причина того, что, при отсутствіи глубины и истиннаго воодушевленія, произведенія его все-же волнуютъ и публику, и критику. Неужели одною «торопливостью» можно

объяснить, что всякое большое произведеніе Боборыкина вызываетъ столько споровъ и разговоровъ? И если изъ этихъ толковъ литературная репутація почтеннаго романиста выходитъ обыкновенно съ урономъ, потому-что, дѣйствительно, дальше добрыхъ намѣреній тревожное стремленіе его къ разработкѣ литературной цѣлины не идетъ, то развѣ не серьезная заслуга и простое возбужденіе вниманія къ серьезнѣйшимъ вопросамъ современной общественной психологіи? У всѣхъ свѣжи въ памяти толки, вызванные послѣднимъ романомъ Петра Дмитріевича— «Переваломъ». Онъ мало кого удовлетворилъ, но все-же ни одно изъ литературныхъ произведеній послѣднихъ лѣтъ не вызвало столько сужденій на тему, въ чемъ главныя черты переживаемой нами эпохи, какъ «Перевалъ». Въ статьѣ молодого критика «Недѣли», М. Н. Мазаева, этотъ романъ весьма удачно названъ «смотромъ современниковъ»: это именно «смотръ»—т. е. внѣшнее обозрѣніе; но развѣ мало того, что сдѣлана попытка систематизаціи, попытка разобраться въ современномъ хаосѣ и разбродѣ? У Виктора Гюго гдѣ-то сказано, что Маренго небольшая деревня, но при ней произошло великое сраженіе. Нѣсколько варьируя это глубокомысленное сопоставленіе, можно сказать, что Боборыкинъ не первостепенный писатель, но благодаря ему, привлекается вниманіе къ вопросамъ первостепенной важности.

Опредѣленіе Боборыкина, какъ писателя собственнаго, самостоятельнаго почина, неустанно стремящагося одновременно и къ новому, и къ своему слову, совершенно расходится съ обычнымъ опредѣленіемъ его какъ писателя, напротивъ того, подражательнаго.

Чаще другихъ повторяется по отношенію къ Боборыкину стереотипный упрекъ въ подражаніи французамъ. Только потому, что онъ подолгу живалъ въ Парижѣ, онъ и русскій обликъ потерялъ, онъ и въ парижскаго

булевардье превратился, онъ вообще иностранецъ въ русской литературѣ.

«Частое пребываніе въ Парижѣ, говоритъ А. М. Скабичевскій въ своей «Исторіи нов. рус. литературы»,—въ то-же время тотъ шумъ, какой подняли въ послѣднее десятилѣтіе французскіе натуралисты, и въ особенности Зола, не могли не увлечь слишкомъ впечатлительную и поддающуюся чужимъ вліяніямъ натуру Боборыкина. И вотъ въ немъ развилась крайняя парижеманія, въ родѣ той, какою болѣли наши предки, петиметры восемнадцатаго столѣтія, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ударился въ подражаніе французскимъ натуралистамъ, ихъ манерамъ письма, протокольной детальности внѣшнихъ мелочей жизни, отправленія анализа съ исключительно одной физіологической точки зрѣнія, страсти къ черезчуръ смѣлымъ описаніямъ альковныхъ тайнъ и т. п.».

Интересно было-бы узнать, въ какихъ такихъ романахъ Петра Дмитріевича имѣются альковныя тайны? Если въ «Жертвѣ вечерней», то она написана въ 1868 г., когда еще ни о какомъ Зола и слуха не было, а въ романахъ 70-хъ, 80-хъ и 90-хъ годовъ любовныя сцены какъ-разъ страдаютъ полною безцвѣтностью и холодомъ.

Детальности и излишняго пристрастія П. Д. къ внѣшнимъ мелочамъ мы, конечно, не будемъ отрицать. Въ немъ источникъ растянутости его романовъ и того, что они не производятъ цѣльнаго, сконцентрированнаго впечатлѣнія. Это дѣйствительно недостатокъ и недостатокъ крупный, но происхожденіе его ровно ничего общаго не имѣетъ ни съ Зола, ни съ другими французскими беллетристами. Возьмите первую-же главу первой книги перваго повѣствовательнаго произведенія Боборыкина—«Въ путь дорогу», относящагося къ 1862 году, и предъ вами то-же пристрастіе къ деталямъ, то-же протокольное описаніе всякаго попавшаго въ поле зрѣнія автора предмета. Самъ П. Д. имѣетъ слабость считать эту детальность однимъ изъ своихъ достоинствъ и не безъ горделиваго

удовольствія отмѣчаетъ онъ, что до его перваго произведенія въ русскихъ романахъ не было такой обстоятельности описанія дома, сада и т. п.

Но что больше всего дѣлаетъ невѣрнымъ обвиненіе Боборыкина въ томъ, что онъ подражаетъ французамъ,— это общее настроеніе, проникающее всѣ его произведенія. Главное стремленіе Зола какое? Показать въ человѣкѣ звѣря, выловить всю гадость, которая скапливается на днѣ души человѣческой. У Боборыкина-же нѣтъ никогда и тѣни такихъ пессимистическихъ задачъ. Совсѣмъ наоборотъ, онъ повиненъ въ нѣкоторой сентиментальности, его романы переполнены добродѣтельными лицами, и каждое изъ крупныхъ его произведеній заканчивается бодрою увѣренностью въ конечную побѣду добрыхъ побужденій.

Само собою разумѣется, что найдется и много точекъ соприкосновенія у Боборыкина съ французскими натуралистами, но это не потому, что онъ «французъ въ русской литературѣ», какъ его иной разъ называютъ, а потому именно, что онъ чистокровный русскій писатель, и великіе завѣты русскаго реализма сидятъ въ немъ глубоко и неизгладимо. Онъ потому-то и обрадовался французскимъ натуралистамъ, потому и сталъ объ нихъ усердно писать, что почуялъ въ нихъ много своего, родного.

Послѣ живости, дара почина и самостоятельности, мы къ числу положительныхъ качествъ П. Д. причисляемъ и его плодовитость. У насъ принято жестоко издѣваться надъ многописаніемъ Боборыкина, совмѣщающаго въ одномъ лицѣ романиста, драматурга, фельетониста, литературнаго критика, театральнаго теоретика, театральнаго рецензента, корреспондента, философа, эстетика, публициста и т. д. и т. д. Въ Европѣ человѣку, претендующему на званіе писателя, поставятъ въ упрекъ малую продуктивность, но чтобы смѣяться надъ тѣмъ, что писатель много пишетъ, т. е. дѣлаетъ

свое прямое дѣло, — это возможно только у насъ, гдѣ всякая дисциплинированность считается смѣшнымъ и мѣщанскимъ качествомъ, а трудолюбіе — даже удѣломъ бездарностей. Упреки были-бы возможны, еслибы плодовитый писатель постоянно повторялся и писалъ безсодержательно. Но вѣдь ничего подобнаго сказать нельзя. Боборыкинъ никогда не повторяется, онъ никогда почти не возвращается къ одному и тому-же сюжету — это даже его слабая сторона. Значитъ, его многописаніе есть прямое слѣдствіе его необыкновенной впечатлительности, его замѣчательной беллетристической памяти, удерживающей всякую мелочь, всякій штрихъ.

Еще неосновательнѣе смѣяться надъ обиліемъ небеллетристическихъ писаній Боборыкина Какъ газетный сотрудникъ, онъ принадлежитъ къ числу цѣннѣйшихъ пріобрѣтеній для каждаго изданія. Всякая его газетная статья, обыкновенно полная воспоминаній о видѣнномъ и слышанномъ, представляетъ собою интересную бесѣду умнаго, разносторонне-образованнаго человѣка, который всегда разскажетъ что-нибудь любопытное и поучительное. Журнальныя статьи его менѣе интересны, потому-что тутъ уже требованія повышаются и бѣглость раздражаетъ въ разработкѣ серьезныхъ вопросовъ, но все-таки каждая журнальная статья П. Д. есть истинно-литературное явленіе по прекрасному знакомству съ предметомъ, по точкѣ зрѣнія, обыкновенно идущей въ разрѣзъ съ установившимися шаблонами.

Въ дѣятельности г. Боборыкина одинаково поразительны и разнообразіе его работъ, и самое количество ихъ.

Петръ Дмитріевичъ помѣстилъ въ однихъ только журналахъ 15 большихъ романовъ, 18 большихъ повѣстей, 24 разсказа, 19 драматическихъ произведеній, 9 большихъ очерковъ беллетристическо-этнографическаго характера, 9 статей по эстетикѣ, психологіи творчества и философіи, 13 статей по драматургіи, 20 критическихъ статей и литературныхъ характеристикъ,

7 статей смѣшаннаго характера. Въ совокупности все это составляетъ около 900 печатныхъ листовъ, т. е. около 40 томовъ.

Объемъ газетныхъ статей Боборыкина трудно опредѣлить сколько-нибудь точно. Но если считать, что П. Д. всего только 25 лѣтъ изъ 34 сотрудничалъ въ газетахъ, что онъ писалъ только по одному фельетону въ недѣлю, хотя на самомъ дѣлѣ онъ писалъ больше, то это по самому умѣренному разсчету еще 30 — 40 томовъ. Итого не менѣе 70—80 томовъ написано Петромъ Дмитріевичемъ.

Не сомнѣваемся въ томъ, что у многихъ эта феноменальная цифра непремѣнно вызоветъ охоту къ остротамъ разнаго рода. Въ насъ-же она вызываетъ только искреннее уваженіе, потому-что мы смотримъ на все, что написалъ П. Д., какъ на явленіе по меньшей мѣрѣ полезное, а чѣмъ больше полезнаго, тѣмъ конечно лучше. Какъ-бы кто ни относился къ таланту П. Д. Боборыкина, никто не рѣшится отрицать, что это человѣкъ истинно-благонамѣренный, въ каждомъ произведеніи зовущій къ добру, культурности и гуманности. Онъ во всякомъ случаѣ будитъ мысль, затрогиваетъ жгучіе вопросы. Поэтому мы и на 80 томовъ, написанныхъ Петромъ Дмитріевичемъ, смотримъ какъ на длинный рядъ благодѣтельныхъ воздѣйствій на русскую читающую публику, въ сознаніе которой, худо-ли, хорошо-ли, Петръ Дмитріевичъ всегда вводилъ лучшія начала европейскаго просвѣщенія.

С. Венгеровъ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

КАРМА.

Графъ Л. Н. Толстой перевелъ съ англійскаго интересную буддійскую сказку, которую мы считаемъ нелишнимъ перепечатать цѣликомъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими вступительными словами Льва Николаевича, адресованными въ редакцію «Сѣвернаго Вѣстника». Особенно интереснымъ въ этой сказкѣ показалось намъ чрезвычайно наглядное изображеніе взаимной внутренней связи личностей, не имѣющихъ каждая своего особаго, самостоятельнаго существованія, а служащихъ только отдѣльными проявленіями одного общаго мірового начала и какъ-бы живущихъ одна въ другой.

Посылаю вамъ переведенную мною изъ американскаго журнала «Open Court» буддійскую сказочку подъ заглавіемъ «Карма» * Сказочка эта очень понравилась мнѣ и своей наивностью, и своей глубиной. Особенно хорошо въ ней разъясненіе той, часто съ разныхъ сторонъ въ послѣднее время затемняемой истины, что избавленіе отъ зла и пріобрѣтеніе блага добывается только своимъ усиліемъ, что нѣтъ и не можетъ быть такого приспособленія, посредствомъ котораго, помимо своего личнаго усилія, достигалось бы свое или общее благо. Разъясненіе это въ

---

* Карма есть буддійское вѣрованіе, состоящее въ томъ, что не только складъ характера каждаго человѣка, но и вся судьба въ этой жизни есть послѣдствіе его поступковъ въ предшествующей жизни, и что добро или зло нашей будущей жизни точно также будутъ зависѣть отъ нѣкоторыхъ нашихъ усилій избѣжать зла и совершенія добра, которыя мы сдѣлали въ этой. *Л. Т.*

особенности хорошо тѣмъ, что тутъ-же показывается и то, что благо отдѣльнаго человѣка только тогда истинное благо, когда оно благо общее. Какъ только разбойникъ, вылѣзавшій изъ ада, пожелалъ блага себѣ одному, такъ его благо перестало быть благомъ, и онъ оборвался. Сказочка эта какъ-бы съ новой стороны освѣщаетъ двѣ основныя, открытыхъ христіанствомъ, истины: о томъ, что жизнь только въ отреченіи отъ личности—кто погубитъ душу свою, тотъ обрѣтетъ ее,—и что благо людей только въ ихъ единеніи съ Богомъ и черезъ Бога между собою: Какъ Ты во Мнѣ и Я въ Тебѣ, такъ и они да будутъ въ Насъ едино...» Іоан. XVIII, 21.

Я читалъ эту сказочку дѣтямъ, и она нравилась имъ. Среди большихъ-же послѣ чтенія ея всегда возникали разговоры о самыхъ важныхъ вопросахъ жизни. И мнѣ кажется, что это очень хорошая рекомендація.

Л. Толстой.

Панду, богатый ювелиръ браминской касты, ѣхалъ съ своимъ слугой въ Бенаресъ. Догнавъ по пути монаха почтеннаго вида, который шолъ по тому-же направленію, онъ подумалъ самъ съ собой: «Этотъ монахъ имѣетъ благородный и святой видъ. Общеніе съ добрыми людьми приноситъ счастье; если онъ также идетъ въ Бенаресъ, я приглашу его ѣхать со мной въ моей колесницѣ». И, поклонившись монаху, онъ спросилъ его, куда онъ идетъ, и узнавъ, что монахъ, имя котораго было Нарада, идетъ также въ Бенаресъ, онъ пригласилъ его въ свою колесницу.

— Благодарю васъ за вашу доброту, сказалъ монахъ брамину,—я дѣйствительно измученъ продолжительнымъ путешествіемъ. Не имѣя собственности, я не могу вознаградить васъ деньгами, но можетъ случиться, что я буду въ состояніи воздать вамъ какимъ-либо духовнымъ сокровищемъ изъ богатства знанія, которое я пріобрѣлъ, слѣдуя ученію Сакья Муни, блаженнаго великаго Будды, учителя человѣчества.

Они проѣхали вмѣстѣ въ колесницѣ, и Панду дорогою слушалъ съ удовольствіемъ поучительныя рѣчи Нарады. Проѣхавъ одинъ часъ, они подъѣхали къ мѣсту, гдѣ дорога была размыта съ обѣихъ сторонъ, и телѣга земледѣльца съ сломаннымъ колесомъ загораживала путь.

Девала, владѣтель телѣги, ѣхалъ въ Бенаресъ, чтобы

продать свой рисъ, и торопился поспѣть до зари слѣдующаго утра. Еслибы онъ опоздалъ днемъ, покупатели риса могли уже уѣхать изъ города, скупивъ нужное имъ количество риса.

Когда ювелиръ увидалъ, что онъ не можетъ продолжать путь, если телѣга земледѣльца не будетъ сдвинута, онъ разсердился и приказалъ Магадутѣ, рабу своему, сдвинуть телѣгу на сторону, такъ, чтобы колесница могла проѣхать. Земледѣлецъ противился, потому-что возъ его лежалъ такъ близко къ обрыву, что могъ разсыпаться, если его тронуть, но браминъ не хотѣлъ слушать земледѣльца и приказалъ своему слугѣ сбросить возъ съ рисомъ. Магадута, необыкновенно сильный человѣкъ, находившій удовольствіе въ оскорбленіи людей, повиновался, прежде чѣмъ монахъ могъ вступиться, и сбросилъ возъ. Когда Панду проѣхалъ и хотѣлъ продолжать свой путь, монахъ выскочилъ изъ его колесницы и сказалъ:

— Извините меня, господинъ, за то, что я покидаю васъ. Благодарю васъ за то, что вы по своей добротѣ позволили мнѣ проѣхать одинъ часъ въ вашей колесницѣ. Я былъ измученъ, когда вы посадили меня, но теперь, благодаря вашей любезности, я отдохнулъ. Признавъ-же въ этомъ земледѣльцѣ воплощеніе одного изъ вашихъ предковъ, я не могу ничѣмъ лучше вознаградить васъ за вашу доброту, какъ тѣмъ, чтобы помочь ему въ его несчастьѣ.

Браминъ взглянулъ съ удивленіемъ на монаха.

— Вы говорите, что этотъ земледѣлецъ есть воплощеніе одного изъ моихъ предковъ: этого не можетъ быть.

— Я знаю, отвѣчалъ монахъ,—что вамъ неизвѣстны тѣ сложныя и значительныя связи, которыя соединяютъ васъ съ судьбою этого земледѣльца. Но отъ слѣпого нельзя ожидать того, чтобы онъ видѣлъ, и потому я сожалѣю о томъ, что вы вредите сами себѣ, и постараюсь защитить васъ отъ тѣхъ ранъ, которыя вы собираетесь нанести себѣ.

Богатый купецъ не привыкъ къ тому, чтобы его укоряли; чувствуя-же, что слова монаха, хотя и сказанныя съ большой добротой, содержали въ себѣ язвительный упрекъ, онъ приказалъ слугѣ своему тотчасъ-же ѣхать далѣе.

Монахъ поздоровался съ Девалой земледѣльцемъ и сталъ помогать ему въ починкѣ его телѣги и въ томъ,

чтобы подобрать разсыпавшійся рисъ. Дѣло шло быстро, и Девала подумалъ:

«Этотъ монахъ, должно быть, святой человѣкъ,—ему какъ-будто помогаютъ невидимые духи. Спрошу его, чѣмъ я заслужилъ жестокое со мной обращеніе гордаго брамина».

И онъ сказалъ:

— Почтенный господинъ! Не можете ли вы сказать мнѣ, за что я потерпѣлъ несправедливость отъ человѣка, которому я никогда не сдѣлалъ ничего худого?

Монахъ сказалъ:

— Любезный другъ, вы не потерпѣли несправедливости, но только потерпѣли въ теперешнемъ существованіи то, что вы совершили надъ этимъ браминомъ въ прежней жизни. И я не ошибусь, сказавши, что даже и теперь вы-бы сдѣлали надъ браминомъ то-же самое, что онъ сдѣлалъ съ вами, еслибы были на его мѣстѣ и имѣли такого-же сильнаго слугу.

Земледѣлецъ признался, что еслибы онъ имѣлъ власть, то не раскаялся-бы, поступивъ съ другимъ человѣкомъ, загородившимъ ему дорогу, такъ-же, какъ браминъ поступилъ съ нимъ.

Рисъ былъ убранъ въ возъ, и монахъ съ земледѣльцемъ приближались уже къ Бенаресу, когда лошадь вдругъ шарахнулась въ сторону.

— Змѣя, змѣя! воскликнулъ земледѣлецъ.

Но монахъ, пристально взглянувъ на предметъ, испугавшій лошадь, соскочилъ съ телѣги и увидалъ, что это былъ кошелекъ, полный золота.

— Никто, кромѣ богатаго ювелира, не могъ потерять этотъ кошелекъ, подумалъ онъ и, взявъ кошелекъ, подалъ его земледѣльцу, сказавъ:

— Возьмите этотъ кошелекъ, и когда вы будете въ Бенаресѣ, подъѣзжайте къ гостинницѣ, которую я укажу вамъ, спросите брамина Панду и отдайте кошелекъ. Онъ будетъ извиняться передъ вами за грубость своего поступка, но вы скажите ему, что вы простили его и желаете ему успѣха во всѣхъ его предпріятіяхъ, потому-что, вѣрьте мнѣ, чѣмъ больше будутъ его успѣхи, тѣмъ лучше это будетъ для васъ. Ваша судьба во многомъ зависитъ отъ его судьбы. Еслибы Панду спросилъ у васъ объясненій, то пошлите его въ монастырь, гдѣ онъ всегда найдетъ меня въ готовности помочь ему совѣтомъ, если совѣтъ нуженъ ему.

Панду между тѣмъ пріѣхалъ въ Бенаресъ и встрѣтилъ Малмека, своего торговаго пріятеля, богатаго банкира.

— Я погибъ, сказалъ Малмека, — и не могу дѣлать никакихъ дѣлъ, если нынче же не куплю возъ лучшаго риса для царской кухни. Есть въ Бенаресѣ мой врагъ банкиръ, который, узнавъ то, что я сдѣлалъ условіе съ царскимъ дворецкимъ о томъ, что я доставлю ему сегодня утромъ возъ рису, желая погубить меня, скупилъ весь рисъ въ Бенаресѣ. Царскій дворецкій не освободитъ меня отъ условія, и завтра я пропалъ, если Кришна не пошлетъ мнѣ ангела съ неба.

Въ то время, какъ Малмека жаловался на свое несчастье, Панду хватился своего кошелька. Обыскавъ свою колесницу и не найдя его, онъ заподозрилъ своего раба Магадуту и, призвавъ полицейскихъ, обвинилъ его и, велѣвъ привязать его, жестоко мучилъ, чтобы вынудить отъ него признаніе. Рабъ кричалъ, страдая:

— Я не виновенъ, отпустите меня! Я не могу переносить этихъ мукъ! Я совершенно невиненъ въ этомъ преступленіи и страдаю теперь за грѣхи другихъ! О, еслибы я могъ выпросить прощеніе у того земледѣльца, которому я сдѣлалъ зло ради моего хозяина! Мученія эти, вѣрно, служатъ наказаніемъ за мою жестокость.

Въ то время какъ полицейскіе еще продолжали бить раба, земледѣлецъ подъѣхалъ къ гостинницѣ и, къ великому удивленію всѣхъ, подалъ кошелекъ. Раба тотчасъ-же освободили изъ рукъ его мучителей, но, будучи недоволенъ своимъ хозяиномъ, онъ убѣжалъ отъ него и присоединился къ шайкѣ разбойниковъ, жившихъ въ горахъ. Когда-же Малмека услыхалъ, что земледѣлецъ можетъ продать самаго лучшаго рису, годнаго для царскаго стола, онъ тотчасъ-же купилъ весь возъ за тройную цѣну, а Панду, радуясь въ сердцѣ своемъ возвращенію денегъ, тотчасъ-же поспѣшилъ въ монастырь, чтобы получить отъ монаха тѣ объясненія, которыя онъ обѣщалъ ему.

Нарада сказалъ:

— Я бы могъ вамъ дать объясненіе, но зная, что вы неспособны понять духовную истину, я предпочитаю молчаніе. Однако, я дамъ вамъ общій совѣтъ: обращайтесь съ каждымъ человѣкомъ, котораго вы встрѣтите, такъ-же, какъ съ самимъ собой, служите ему такъ-же, какъ вы желали-бы, чтобы вамъ служили. Такимъ образомъ вы по-

сѣете сѣмя добрыхъ дѣлъ, и богатая жатва ихъ не минуетъ васъ.

— О, монахъ! Дайте мнѣ объясненіе, сказалъ Панду,— и мнѣ легче будетъ тогда слѣдовать вашему совѣту.

И монахъ сказалъ:

— Слушайте-же, я дамъ вамъ ключъ къ тайнѣ: если вы и не поймете ее, вѣрьте тому, что я скажу вамъ. Считать себя отдѣльнымъ существомъ есть обманъ, и тотъ, кто направляетъ свой умъ на то, чтобы исполнять волю этого отдѣльнаго существа, слѣдуетъ за ложнымъ свѣтомъ, который приведетъ его въ бездну грѣха. То, что мы считаемъ себя отдѣльными существами, происходитъ отъ того, что покрывало Майи ослѣпляетъ наши глаза и мѣшаетъ намъ видѣть неразрывную связь съ нашими ближними, мѣшаетъ намъ прослѣдить наше единство съ душами другихъ существъ. Немногіе знаютъ эту истину. Пусть слѣдующія слова будутъ вашимъ талисманомъ:

«Тотъ, кто вредитъ другимъ, дѣлаетъ зло себѣ.

«Тотъ, кто помогаетъ другимъ, дѣлаетъ добро себѣ.

«Перестаньте считать себя отдѣльнымъ существомъ,— и вы вступите на путь истины».

Для того, чье зрѣніе омрачено покрываломъ Майи, весь міръ кажется разрѣзаннымъ на безчисленныя личности. И такой человѣкъ не можетъ понимать значенія всеобъемлющей любви ко всему живому.

Панду отвѣчалъ:

— Ваши слова, почтенный господинъ, имѣютъ глубокое значеніе, и я запомню ихъ. Я сдѣлалъ небольшое добро, которое мнѣ ничего не стоило, для бѣднаго монаха во время моей поѣздки въ Бенаресъ, и вотъ какъ благодѣтельны его послѣдствія: Я много обязанъ вамъ, потому что безъ васъ я нетолько потерялъ бы свой кошелекъ, но не могъ бы дѣлать въ Бенаресѣ тѣхъ торговыхъ дѣлъ, которыя значительно увеличили мое состояніе. Кромѣ того, ваша заботливость и прибытіе воза риса содѣйствовали благосостоянію моего друга Малмека. Еслибы всѣ люди познали истину вашихъ правилъ, насколько лучше-бы былъ нашъ міръ, какъ уменьшилось-бы зло въ немъ и возвысилось общее благосостояніе! Я желалъ-бы, чтобы истина Будды была понята всѣми, и потому я хочу основать монастырь въ моей родинѣ Колшамби, и приглашаю васъ посѣтить меня съ тѣмъ, чтобы я могъ посвятить это мѣсто для братства учениковъ Будды.

Прошли годы, и основанный Панду монастырь Колшамби сдѣлался мѣстомъ собранія мудрыхъ монаховъ и сталъ извѣстнымъ, какъ центръ просвѣщенія для народа.

Въ это время сосѣдній царь, услыхавъ о красотѣ драгоцѣнныхъ украшеній, приготовляемыхъ Панду, послалъ къ нему своего казначея, чтобы заказать корону чистаго золота, украшенную самыми драгоцѣнными камнями Индіи.

Когда Панду окончилъ эту работу, онъ поѣхалъ въ столицу царя и, надѣясь тамъ дѣлать торговыя дѣла, взялъ съ собой большой запасъ золота. Караванъ, везшій его драгоцѣнности, былъ охраняемъ вооруженными людьми, но когда онъ достигъ горъ, то разбойники, съ Магадутой, ставшимъ атаманомъ ихъ, во главѣ, напали на него, побили охрану и захватили всѣ драгоцѣнные камни и золото. Самъ Панду едва спасся. Это несчастіе было большимъ ударомъ для благосостоянія Панду, богатство его значительно уменьшилось.

Панду былъ очень огорченъ, но переносилъ свои несчастія безъ ропота; онъ думалъ: «я заслужилъ эти потери грѣхами, совершонными мною въ моей прежней жизни. Я въ молодости былъ жестокъ съ народомъ; и если я теперь пожинаю плоды своихъ дурныхъ дѣлъ, то мнѣ нельзя жаловаться».

Такъ-какъ онъ сталъ много добрѣе ко всѣмъ существамъ, то несчастья его послужили только къ очищенію его сердца.

Опять прошли годы, и случилось, что Пантака, молодой монахъ и ученикъ Нарады, путешествуя въ горахъ Колшамби, попалъ въ руки разбойниковъ. Такъ-какъ у него не было никакой собственности, атаманъ разбойниковъ крѣпко избилъ его и отпустилъ.

На слѣдующее утро Пантака, идя черезъ лѣсъ, услыхалъ шумъ битвы и, придя на этотъ шумъ, увидалъ много разбойниковъ, которые съ бѣшенствомъ нападали на своего атамана, Магадуту.

Магадута, какъ левъ окружонный собаками, отбивался отъ нихъ и убилъ многихъ изъ нападавшихъ. Но враговъ его было слишкомъ много, и подъ конецъ онъ былъ побѣжденъ и упалъ на землю замертво, покрытый ранами.

Какъ только разбойники ушли, молодой монахъ подошолъ къ лежавшимъ, желая подать помощь раненымъ. Но всѣ разбойники были уже мертвы, только въ началь-

никѣ ихъ оставалось немного жизни. Монахъ тотчасъ-же направился къ ручейку, бѣжавшему невдалекѣ, принесъ свѣжей воды въ своемъ кувшинѣ и подалъ умирающему.

Магадута открылъ глаза и, скрипя зубами, сказалъ:

— Гдѣ эти неблагодарныя собаки, которыхъ я столько разъ водилъ къ побѣдѣ и успѣху? Безъ меня они скоро погибнутъ, какъ затравленные охотникомъ шакалы.

— Не думайте о вашихъ товарищахъ и участникахъ вашей грѣшной жизни, сказалъ Пантака,—но подумайте о вашей душѣ и воспользуйтесь въ послѣдній часъ той возможностью спасенья, которая представляется вамъ. Вотъ вамъ вода для питья, дайте я перевяжу ваши раны. Можетъ быть, мнѣ удастся спасти вашу жизнь.

— Это безполезно, отвѣчалъ Магадута:—я приговоренъ; негодяи смертельно ранили меня. Неблагодарные подлецы! Они били меня тѣми ударами, которымъ я научилъ ихъ.

— Вы пожинаете то, что посѣяли, продолжалъ монахъ.—Еслибы вы учили своихъ товарищей дѣламъ добра, вы-бы и получили отъ нихъ добрые поступки. Но вы учили ихъ убійству, и потому вы черезъ свои дѣла убиты ихъ рукою.

— Ваша правда, отвѣчалъ атаманъ разбойниковъ.—Я заслужилъ свою участь; но какъ тяжолъ мой жребій тѣмъ, что я долженъ пожать плодъ всѣхъ моихъ дурныхъ дѣлъ въ будущихъ существованіяхъ. Научите меня, святой отецъ, что я могу сдѣлать, чтобы облегчить мою жизнь отъ грѣховъ, которые давятъ меня какъ скала, наваленная мнѣ на грудь.

И Пантака сказалъ:

— Искорените ваши грѣшныя желанія, уничтожьте злыя страсти и наполните свою душу добротою ко всѣмъ существамъ.

Атаманъ сказалъ:

— Я дѣлалъ много зла и не дѣлалъ добра. Какъ могу я выпутаться изъ той сѣти горя, которую я связалъ изъ злыхъ желаній моего сердца? Моя карма повлечетъ меня въ адъ, я никогда не буду въ состояніи вступить на путь спасенія.

И монахъ сказалъ:

— Да, ваша карма пожнетъ въ будущихъ воплощеніяхъ плоды тѣхъ сѣмянъ, которыя вы посѣяли. Для дѣ-

лателя дурныхъ дѣлъ нѣтъ избавленія отъ послѣдствій своихъ дурныхъ поступковъ. Но не отчаявайтесь: всякій человѣкъ можетъ спастись, но только съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ искоренилъ изъ себя заблужденіе личности. Какъ примѣръ этого, я разскажу вамъ исторію великаго разбойника Кандаты, который умеръ нераскаяннымъ и вновь родился дьяволомъ въ аду, гдѣ онъ мучился за свои дурныя дѣла самыми ужасными страданіями. Онъ былъ уже въ аду много лѣтъ и не могъ избавиться отъ своего бѣдственнаго положенія, когда Будда явился на землѣ и достигъ блаженнаго состоянія просвѣтленія. Въ это достопамятное время лучъ свѣта попалъ и въ адъ, возбудивъ во всѣхъ демонахъ жизнь и надежду, и разбойникъ Кандата громко закричалъ: «О Будда блаженный, сжалься надо мной! Я страшно страдаю; и хотя я дѣлалъ зло, я желаю теперь идти по пути праведности. Но я не могу выпутаться изъ сѣти горя; помоги мнѣ, Господи, сжалься надо мной!» Законъ Кармы таковъ, что злыя дѣла ведутъ къ погибели.

Когда Будда услышалъ просьбу страдающаго въ аду демона, онъ послалъ къ нему паука на паутинѣ, и паукъ сказалъ: «Схватись за мою паутину и вылѣзай по ней изъ ада». Когда паукъ исчезъ изъ вида, Кандата схватился за паутину и сталъ вылѣзать по ней. Паутина была такъ крѣпка, что не обрывалась, и онъ поднимался по ней все выше и выше. Вдругъ онъ почувствовалъ, что нить стала дрожать и колебаться, потому-что за нимъ начинали лѣзть по паутинѣ и другіе страдальцы. Кандата испугался: онъ видѣлъ тонкость паутины и видѣлъ, что она растягивается отъ увеличившейся тяжести. Но паутина все еще держала его. Кандата передъ этимъ смотрѣлъ только вверхъ, теперь-же онъ смотрѣлъ внизъ и увидѣлъ, что за нимъ лѣзла по паутинѣ безчисленная толпа жителей ада. «Какъ можетъ эта тонкая нить вынести тяжесть всѣхъ этихъ людей»,—подумалъ онъ и, испугавшись, громко закричалъ: «Пустите паутину, она *моя*!» И вдругъ паутина оборвалась, и Кандата упалъ назадъ въ адъ. Заблужденіе личности еще жило въ Кандатѣ. Онъ не зналъ чудесной силы искренняго стремленія вверхъ для того, чтобы вступить на путь праведности. Стремленіе это тонко какъ паутина, но оно подниметъ милліоны людей лѣзть по паутинѣ, тѣмъ легче будетъ каждому изъ нихъ. Но какъ только въ сердцѣ человѣка возник-

нетъ мысль, что паутина эта *моя*, что благо праведности принадлежитъ *мнѣ* одному, и что пусть никто не раздѣляетъ его со *мной*, то нить обрывается и ты падаешь назадъ въ прежнее состояніе отдѣльной личности; отдѣльность-же личности есть проклятіе, а единеніе есть благословеніе. Что такое адъ? Адъ есть не что иное, какъ себялюбіе, а Нирвана есть жизнь общая...

— Дайте-же мнѣ ухватиться за паутину, сказалъ умирающій атаманъ разбойниковъ Магадута, когда монахъ кончилъ свой разсказъ,— и я выберусь изъ пучины ада.

Магадута пробылъ нѣсколько минутъ въ молчаніи, собираясь съ мыслями, потомъ онъ продолжалъ:

— Выслушайте меня, я признаюсь вамъ: я былъ слугою у Панду, ювелира изъ Колшамби. Но послѣ того какъ онъ несправедливо истязалъ меня, я убѣжалъ отъ него и сталъ атаманомъ разбойниковъ. Нѣсколько времени тому назадъ я узналъ отъ моихъ развѣдчиковъ, что онъ проѣзжаетъ черезъ горы, и я ограбилъ его, отнялъ отъ него большую часть его состоянія. Подите теперь къ нему и скажите ему, что я простилъ его отъ всего сердца за оскорбленіе, которое онъ несправедливо нанесъ мнѣ, и прошу его простить меня за то, что я ограбилъ его. Когда я жилъ съ нимъ, сердце его было жестоко какъ камень, и я научился отъ него его себялюбію. Я слышалъ, что онъ теперь сталъ добродушенъ, и что на него указываютъ какъ на образецъ доброты и справедливости. Я не хочу оставаться въ долгу у него; поэтому скажите ему, что я сохранилъ золотую корону, которую онъ сдѣлалъ для царя, и всѣ его сокровища, и спряталъ ихъ въ подземельѣ. Только два разбойника знали это мѣсто, и теперь они оба мертвые; пусть Панду возьметъ съ собою вооруженныхъ людей и придетъ къ этому мѣсту и возьметъ назадъ ту собственность, которой я лишилъ его».

Послѣ этого Магадута разсказалъ, гдѣ было подземелье, и умеръ на рукахъ Пантаки.

Какъ-скоро молодой монахъ Пантака вернулся въ Колшамби, онъ пошолъ къ ювелиру и разсказалъ ему обо всемъ, что случилось въ лѣсу.

И Панду пошолъ съ вооруженными людьми къ подземелью и взялъ изъ него всѣ сокровища, которыя атаманъ спряталъ въ немъ. И они съ почестью похоронили

атамана и его убитыхъ товарищей, и Пантака надъ могилой, разсуждая о словахъ Будды, сказалъ слѣдующее:

«Личность дѣлаетъ зло, личность-же и страдаетъ отъ него.

«Личность воздерживается отъ зла и личность очищается.

«Чистота и нечистота принадлежатъ личности: никто не можетъ очистить другого.

«Человѣкъ самъ долженъ сдѣлать усиліе; Будды только проповѣдники».

«Наша Карма,—сказалъ еще монахъ Пантака, не есть произведеніе Шивары или Брамы, или Индры, или какого-нибудь изъ боговъ,—наша Карма есть послѣдствіе нашихъ поступковъ.

«Моя дѣятельность есть утроба, которая носитъ меня, есть наслѣдство, которое дается мнѣ, есть проклятіе моихъ злыхъ дѣлъ и благословеніе моей праведности. Моя дѣятельность есть единственное средство моего спасенія».

Панду привезъ назадъ въ Колшамби всѣ свои сокровища, и съ умѣренностью пользуясь своимъ, столь неожиданно возвращеннымъ богатствомъ, онъ спокойно и счастливо прожилъ свою остальную жизнь, и когда онъ умиралъ уже въ преклонныхъ лѣтахъ, и всѣ его сыновья, дочери и внуки собрались около него, онъ сказалъ имъ:

— Милыя дѣти, не осуждайте другихъ въ своихъ неудачахъ. Ищите причины вашихъ бѣдъ въ самихъ себѣ. И если вы не ослѣплены тщеславіемъ, вы найдете ее, а найдя ее, вы съумѣете избавиться отъ зла. Лѣкарство отъ вашихъ бѣдъ въ васъ самихъ. Пусть вашъ умственный взоръ никогда не покрывается покровомъ Майи... Помните тѣ слова, которыя были талисманомъ моей жизни:

«Тотъ, кто дѣлаетъ больно другому, дѣлаетъ зло себѣ.

«Тотъ, кто помогаетъ другому, помогаетъ себѣ.

«Пусть исчезнетъ обманъ личности—и вы вступите на путь праведности».

ИЗЪ РУССКИХЪ ИЗДАНІЙ.

Что такое «основы общества». — Критерій муравьиной и человѣческой цивилизаціи. — Разсказъ Н. С. Лѣскова о литераторскихъ женахъ. — Начинающій беллетристъ-декадентъ. — Черезчуръ строгая формула самодержавія и новый идеалъ свободнаго гражданина. — Какъ Бакунинъ агитировалъ въ Швеціи. — Дружба Герцена съ Гарибальди.

Въ послѣдней книжкѣ «Вѣстника Европы», Вл. С. Соловьевъ помѣстилъ очень интересную, замѣчательную статью: «Нравственныя основы общества». Въ послѣдніе годы часто раздаются голоса, что нравственныя основы общества ослабѣли: «Религія, говоритъ Ж. Симонъ, въ упадкѣ, семья распадается, собственность теряетъ свое значеніе, такъ-какъ доходность капитала дошла до 3%» и т. п. Такъ-ли это? Что такое человѣческое *общество* и что такое *нравственныя* его основы? Г. Соловьевъ многочисленными примѣрами изъ жизни общественныхъ насѣкомыхъ (по Леббоку) доказываетъ, что общественность сама по себѣ не есть признакъ человѣческаго существа. Общественность гораздо рѣзче, нежели у людей, развита у муравьевъ и пчелъ. Если характерный признакъ цивилизаціи—раздѣленіе труда, то невозможно отрицать муравьиной цивилизаціи: у нихъ есть, напримѣръ, сословія воиновъ съ непомѣрно развитыми клещевидными челюстями, которыми они отрываютъ вражьи головы,—сословія рабочихъ, господъ, которые не умѣютъ сами ни кормиться, ни ходить, наконецъ, рабы, добываемые завоеваніемъ. У нихъ больше домашнихъ прирученныхъ насѣкомыхъ, чѣмъ у насъ—домашнихъ животныхъ (584 вида),—есть даже такія, что держатся для забавы, вродѣ шутовъ, мопсовъ и канарееекъ. Леббокъ свидѣтельствуетъ о величайшемъ соціаль-

номъ согласіи между муравьями; никогда никакихъ ссоръ и усобицъ у нихъ (въ предѣлахъ каждаго муравьинаго государства) не происходитъ; вооружонныя силы ихъ предназначаются только для внѣшнихъ войнъ, и «ни одинъ наблюдатель не могъ замѣтить никакихъ признаковъ организованной полиціи или жандармеріи». Но это согласіе обусловливается исключительно *общимъ* благомъ: если отдѣльный муравей впадаетъ въ какое-либо бѣдствіе, касающееся его одного, это не вызываетъ никакого сочувствія и никакой помощи. Изъ этого г. Соловьевъ выводитъ, что основной признакъ *человѣческаго* общества состоитъ не въ общественности, а въ *нравственности:* помимо общества человѣкъ, какъ нравственное существо, имѣетъ безусловное достоинство и ни при какихъ условіяхъ, ни по какой причинѣ не можетъ разсматриваться только какъ *средство* для общаго блага. Общество имѣетъ право не на человѣка, а на его дѣятельность, и то только въ той мѣрѣ, въ какой этотъ трудъ обезпечиваетъ трудящемуся *достойное* существованіе. Общество можетъ обязывать лицо къ чему-бы то ни было лишь чрезъ актъ его собственной воли, иначе *человѣкъ* превращается въ *вещь*. Далѣе г. Соловьевъ доказываетъ, что человѣческое достоинство независимо отъ того, добродѣтеленъ-ли данный человѣкъ и полезенъ-ли онъ: многія животныя добродѣтельнѣе человѣка, многія вещи—полезнѣе его. Печатный станокъ или паровой котелъ сдѣлали больше пользы для человѣчества, чѣмъ цѣлые дикіе народы; однако, еслибы Гуттенбергу или Уатту пришлось для этихъ великихъ изобрѣтеній пожертвовать хоть однимъ дикаремъ — ихъ дѣло было-бы безнравственное, подлежащее осужденію. Единственная *нравственная* основа общества—внутреннее *свободное* единство всѣхъ. Г. Соловьевъ доказываетъ, что религія, семья, собственность сами по себѣ еще не есть нравственныя основы: религія можетъ быть и безнравственною (культы Молоха или Астарты), какъ и семья не всегда нравственна (каковы семьи въ древнія, до-христіанскія времена и теперь у варварскихъ племенъ съ ихъ дѣтоубійствомъ, наложничествомъ и т. п.). И религія, и семья сами нуждаются въ нравственной основѣ, прежде

чѣмъ сообщить ее чему-нибудь. «Что касается до собственности, говоритъ г. Соловьевъ, то признать ее саму по себѣ нравственною основой общества есть нетолько логическая, но для меня, напримѣръ, еще и психологическая невозможность: первое пробужденіе сознательной жизни и мысли произошло во мнѣ подъ громъ разрушенія собственности въ двухъ ея коренныхъ историческихъ формахъ—рабства и крѣпостного права; это разрушеніе и въ Америкѣ, и въ Россіи требовалось и совершилось во имя *общественной нравственности*. Мнимая неприкосновенность была блистательно опровергнута фактомъ столь удачнаго прикосновенія». Г. Соловьевъ доказываетъ, что всѣ древнія общества—и родовая дружина спартіатовъ, и аѳинскій демосъ, и соединеніе обѣихъ формъ—senatus populusque romanus—допускали истинное значеніе человѣка въ границахъ своего гражданскаго союза, и потому они не были обществами, основанными на нравственномъ началѣ. Этотъ древній строй мы еще не пережили; война, рабство, казни, нормальныя для древняго общества, еще кое-гдѣ встрѣчаются, но начинаютъ отбрасываться, какъ явленія, несвойственныя новому, *нравственному* строю общества, которое не допускаетъ рабовъ, считаетъ равноправными иностранцевъ и начинаетъ на преступниковъ смотрѣть какъ на больныхъ. Нравственный принципъ не допускаетъ нетолько личныхъ, но и коллективныхъ убійствъ и обидъ, какими являются войны и казни. «Войны еще не упразднены, но общее отношеніе къ нимъ поразительно измѣнилось. Если судить по тѣмъ небывалымъ всеобщимъ прославленіямъ, которыя заслужила мирная внѣшняя политика покойнаго Государя, то слѣдуетъ думать, что люди, которые теперь рѣшились-бы вызвать европейскую войну, будутъ погребены подъ тяжестью всемірныхъ проклятій... И вотъ этотъ-то, хотя поздній, но отнынѣ быстрый и рѣшительный процессъ по пути, предназначенному девятнадцать вѣковъ тому назадъ, вызываетъ опасенія за нравственныя основы общества, говоритъ г. Соловьевъ:—на самомъ-же дѣлѣ ложное понятіе объ этихъ основахъ есть главное препятствіе, которое задерживаетъ коренной нравственный переворотъ

въ общественномъ сознаніи и жизни». Нѣтъ нравственныхъ основъ общества, а есть единое истинное нравственное начало, которое только и можетъ различныя основы дѣлать нравственными. Прекрасную статью г. Соловьева трудно исчерпать въ краткомъ пересказѣ, и она, какъ и всѣ послѣдніе труды почтеннаго философа, заслуживаетъ самаго внимательнаго прочтенія.

Какая жена для литератора лучше—образованная или простая? Литераторы и ученые, этотъ «цвѣтъ интеллигенціи», казалось-бы, только и могутъ жениться на самыхъ интеллигентныхъ и ученыхъ женщинахъ,—но на дѣлѣ это рѣдко случается. Именно тѣ, кто создаютъ на бумагѣ «чудные типы» дѣвушекъ и возвышенныхъ женщинъ, ведя жизнь замкнутую, рабочую, не имѣютъ ни времени, ни способностей найти себѣ «достойную» подругу жизни, и чтобы не отвлекаться отъ работы, довольствуются первымъ скромнымъ существомъ, какое пошлетъ имъ судьба въ видѣ хоть-бы горничной или кухарки. И такіе браки и связи часто оказываются самыми счастливыми. Н. С. Лѣсковъ помѣстилъ въ «Русской Мысли» очень интересный разсказъ на эту тему. Герой разсказа—писатель изъ «Отечественныхъ Записокъ» 60-хъ годовъ, героини—законная жена и, послѣ разрыва съ нею,—сожительница его Праша. Писатель былъ идеалистъ, эстетикъ, забывавшій все на свѣтѣ за работой; еще студентомъ онъ «по состраданію» женился на какой-то актрисѣ, которая была старше его и обладала «счастливѣйшимъ женскимъ талантомъ — не бояться никакихъ скандаловъ». Образованная, институтка, т. е. умѣвшая пересыпать рѣчь французскими фразами и держать въ рукахъ иностранный романъ, она отравляла жизнь писателю безконечными выходками и скандалами, которые старалась сдѣлать всѣмъ извѣстными. «Сама приходила въ редакцію или контору и жаловалась на мужа всѣмъ: Дудышкину, Краевскому и т. д. до конторщика Боголюбова, который выдавалъ деньги... Скромность она не уважала и безъ всякаго стыда разсказывала самыя ужасныя вещи, о томъ, какъ грубо и безцеремонно она обращается съ мужемъ. Бѣдный мужъ ея за какую-то статью получилъ

письмо отъ сочувствующихъ дамъ, и это было поводомъ новыхъ безобразныхъ скандаловъ, живописно разсказываемыхъ г. Лѣсковымъ. Жена довела мужа до болѣзни, и кончилось тѣмъ, что однажды написанная имъ статья для журнала «была изорвана супругою въ клочки, а самъ онъ опарапанъ, облитъ чернилами и изгнанъ изъ дома съ отобраніемъ у него часовъ и денегъ», причемъ жена собиралась сдѣлать доносъ на мужа о его неблагонамѣренности. Г. Лѣсковъ принялъ участіе въ товарищѣ, пріютилъ его у себя и добился, что она за извѣстную сумму его оставила, захвативъ съ собой и ребенка. Въ то время какъ бѣдный писатель лежалъ больной и покинутый, за нимъ пришла ухаживать Праша, бывшая ихъ нянька, простая деревенская дѣвушка, «фефёла». Она сжалилась надъ писателемъ за то, что очень онъ былъ ужъ «простой и смирный», и стала за нимъ ходить. Въ результатѣ явилась взаимная любовь. Законная жена «этой измѣны ни мужу, ни Прашѣ не подарила и вызывала ихъ обоихъ къ мировому, гдѣ былъ какой-то инцидентъ съ истерикой... Супруга взяла еще, что могла, съ оброчнаго мужа и сгинула съ нашихъ глазъ, а у Праши къ году родился ребенокъ». Несмотря на то, что приходилось всячески себя урѣзать, чтобы «послать барынѣ», Праша устроила бѣдняку-писателю то счастье, въ какомъ онъ нуждался: тишину, покой и любовь. Но писатель, какъ это бываетъ часто, заработался, переутомился и умеръ. Законная жена («дама», какъ ее называетъ г. Лѣсковъ въ отличіе отъ «фефёлы») сейчасъ-же вступила во всѣ права скуднаго наслѣдства, а Праша осталась съ ребенкомъ на улицѣ. Г. Лѣсковъ оказалъ ей помощь, собралъ среди пріятелей двѣсти рублей; ребенка ей совѣтовали отдать на воспитаніе, а самой идти въ услуженіе, но она не захотѣла съ нимъ разстаться: она выпросила всѣ деньги сразу и открыла прачешную, пригласила одну бывалую женщину—и стала работать и ростить сына. Дѣла у Праши пошли превосходно; она познакомилась съ какимъ-то писаремъ, полякомъ, который оказался прекраснымъ человѣкомъ. Она вышла за него замужъ, послѣ долгихъ колебаній—не оскорбитъ-ли этимъ память покой-

наго писателя, отца ея ребенка. Бракъ вышелъ удачливый, явился новый мальчикъ Адамчикъ и дѣвочка Пелагеичка; законныхъ дѣтей Праша пріучала къ простой работѣ, мальчика готовила въ повара, дѣвочку—въ прачки, а незаконнаго, литераторскаго сына—оба изъ силъ бились—содержали въ гимназіи и вывели въ лекаря. Мужъ Праши сополъ съума, дѣти подросли, и она почувствовла, что пора вспомнить о душѣ. Распродала хозяйство, купила себѣ хуторъ въ Финляндіи и занялась ухаживаньемъ за брошенными дѣтьми изъ воспитательнаго дома. Благочестивое настроеніе не перешло у нея, какъ это бываетъ у недобрыхъ и нечистыхъ людей, въ ханжество, а преобразилось въ какой-то свѣтъ душевный. Она умерла отъ разрыва сердца, душою чистая, какъ родилась; безграмотная, она безъ всякихъ теорій «никого не погубила и себя усовершила»,—она со всѣми вступала въ истинныя, чистыя отношенія и была хороша для всѣхъ. Такова была «фефёла». Что касается «дамы», законной жены писателя, она свою гадкую жизнь кончила тѣмъ, что сдѣлалась начальницей монастыря, «сдѣлалась жизни высокой и могла обо всемъ говорить по христіански», а сынъ ея, носившій имя писателя (на самомъ дѣлѣ не его вовсе) выросъ «грубіяномъ» и «живетъ съ актерами». Эта простая исторійка расцвѣчена рядомъ вводныхъ, крайне-колоритныхъ сценъ и типовъ: развратной красавицы Зинаиды Павловны, честнаго Апрѣля Иваныча, мужа Праши, кіевскихъ старцевъ—сожителей Зинаиды Павловны, мистика-чухонца Авеля и др. Разсказъ этотъ по замыслу и исполненію напоминаетъ лучшіе разсказы г. Лѣскова.

Въ подражаніе французамъ, и у насъ понемногу нарождается декадентская литература. Главный штабъ этого любопытнаго движенія ютится въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ». Въ декабрьской книжкѣ «Вѣстника» напечатанъ разсказъ начинающаго беллетриста Г. Ѳ. Сологуба «Тѣни», ярко доказывающій прикосновенность символизма къ сумасшествію. Разсказъ написанъ талантливо и обѣщаетъ автору будущность — если онъ во-время отстанетъ отъ дурной декадентской моды. Худощавый, блѣдный мальчикъ Во-

Sologub nejvíce ovládl Merei Kolyrovéh, ale tento pak napadl ho projevy dekadentskými! (viz R. hud. 1896. bibliogr. oddíl)

лодя увидалъ въ объявленіяхъ «Нивы» рисунки, изображавшіе сложенныя разными способами руки, тѣни которыхъ, отброшенныя на бѣлую стѣну, образовали темные силуэты: головку барышни въ какой-то рогатой шляпкѣ, голову осла, быка и пр. Володѣ захотѣлось воспроизвести эти тѣни, и онъ ими увлекся. Отъ природы нервный—съ широкимъ лбомъ и большими глазами на блѣдномъ лицѣ, Володя былъ переутомленъ гимназическими занятіями и раздраженъ учителями, изъ которыхъ «каждый хочетъ поскорѣе курсъ пройти... Если о чемъ спросишь — такъ навѣрно ужъ думаютъ, что это гимназистъ зубы заговариваетъ, чтобы до звонка протянуть, чтобы не спросили... Послѣ уроковъ тоже торопится домой или въ женскую гимназію на уроки. И все-такъ скоро, сейчасъ геометрія, сейчасъ — греческій... Какъ бѣлка въ колесѣ»... Замученный бѣдный мальчикъ, жившій со своею мамой, такою-же нервною и мечтательною, какъ и онъ, получилъ отвращеніе къ книгамъ. Засѣвъ за уроки, онъ вспомнилъ о тѣняхъ и сталъ пробовать дѣлать ихъ на стѣнѣ. Сначала не выходило, потомъ начало выходить, и Володѣ стало весело. Онъ наклонилъ руки и слегка шевелилъ пальцами, — головка кланялась, улыбалась, дѣлала смѣшныя гримасы... Въ такихъ занятіяхъ онъ провелъ съ полчаса и забылъ объ урокахъ, о гимназіи, обо всемъ въ мірѣ. Мать подмѣтила, что онъ отвлекается отъ уроковъ, онъ сталъ прятаться отъ нея. Чувство воображенія, которое подавлялось и гимназическими уроками и бѣдною впечатлѣньями дѣйствительностью, вдругъ ожило въ ребенкѣ и завладѣло имъ; онъ уже не могъ справиться съ недугомъ, его тянуло къ стѣнѣ и лампѣ, и вся душа его уходитъ въ міръ фантазій, пробуждаемыхъ тѣнями, отдаленными, смутными намеками на какую-то иную дѣйствительность. Мальчикъ забылъ уроки; онъ приноситъ единицы, мать мучится за него, заставая его за дѣланіемъ тѣней, она ясно видитъ, что это нервное, можетъ-быть психическое разстройство. Мысль о тѣняхъ ее преслѣдуетъ, она пробуетъ дознаться, что-же такое заманчивое въ этихъ тѣняхъ, которыя сводятъ съ ума ея мальчика, и сама начинаетъ ими увлекаться. Она уговаривается съ Володей, что каждый вечеръ она

съ нимъ будетъ вмѣстѣ, понемножку играть въ тѣни, а потомъ будутъ садиться за уроки. Володя въ восторгѣ, онъ открываетъ ей фантастическія картины, которыя возникаютъ въ его умѣ, и она, столь похожая на него, начинаетъ подпадать подъ власть этого очарованія. Куда-бы они ни пошли, что-бы ни дѣлали, ихъ преслѣдуютъ тѣни: «Но и на улицѣ были повсюду тѣни вечернія, таинственныя, неуловимыя, и онѣ шептали Володѣ что-то родное и безконечно печальное... Тѣни не были нѣмы, онѣ говорили, и Володя понималъ ихъ лепечущій языкъ... Тѣни отрицательно колышутся, тѣни рѣютъ по стѣнамъ церкви и утопаютъ вверху, въ этихъ темныхъ сводахъ, онѣ толпятся въ углахъ, шевелятся за кіотомъ и лепечутъ что-то тайное. Безнадежная тоска, неизъяснимая грусть въ ихъ медленно-зыбкихъ колебаніяхъ... Тѣни обступаютъ ее, мягко шуршатъ за ея спиною, ползутъ у ея ногъ, падаютъ, легкія какъ паутина, къ ней на плечи и, заглядывая въ ея широкіе глаза, лепечутъ что-то непонятное... Она стоитъ, окруженная смутными тѣнями, обвѣянная смутными страхами». Кончается тѣмъ, что въ Володиной комнатѣ на полу горитъ лампа. За нею у стѣны на полу сидитъ мама и Володя. Они смотрятъ на стѣну и дѣлаютъ руками странныя движенія... «По стѣнѣ бѣгутъ и зыблются тѣни. Володя и мама понимаютъ ихъ. Они улыбаются грустно и радостно и говорятъ другъ другу что-то томительное и невозможное. Лица ихъ мирны и грёзы ихъ ясны, ихъ радость безнадежно-печальна, и дико радостна ихъ печаль. Въ глазахъ ихъ свѣтится безуміе, блаженное безуміе... Надъ ними опускается ночь».

Этотъ маленькій разсказикъ полонъ болѣзненной поэзіи. Весь «символизмъ» ея въ томъ, что она исполнена глубокаго сочувствія къ маніи, овладѣвшей героями разсказа. Напиши тотъ-же разсказъ не символистъ—и вышла-бы простая художественная «клиническая картина», вродѣ Гаршинскаго «Краснаго цвѣтка» (впрочемъ и Гаршинскій разсказъ не чуждъ символизма). Читатель не забываетъ, что имѣетъ дѣло съ извращеніемъ жизни,—тутъ-же, въ устахъ декадентовъ, это извращеніе выво-

дится какъ высшая прелесть жизни. Намъ кажется, «Тѣни» г. Ѳ. Соллогуба могутъ служить хорошимъ символомъ самого символизма: подобно вырождающимся героямъ «Тѣней» (у обоихъ, у Володи и мамы, головы не симметричныя), декаденты, усталые, переутомленные однообразной теперешней дѣйствительностью, увлекаются иллюзіями, бредомъ воображенія, и «въ глазахъ ихъ свѣтится безуміе, блаженное безуміе»...

Восьмидесятые и девяностые годы выдвинули цѣлый рядъ новыхъ представителей либерализма и консерватизма на смѣну старымъ, и уже обозначились дарованія, достойныя держать знамена, выпавшія изъ рукъ сошедшихъ со сцены вождей общественной мысли. Въ лагерѣ консервативномъ быстро выдвинулся г. В. Розановъ, критикъ, философъ и публицистъ, еще недавно бывшій учителемъ одной уѣздной прогимназіи. Талантъ у него туманный и спутанный, но крайне оригинальный и содержательный. Вотъ какъ напримѣръ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» онъ опредѣляетъ идею русскаго самодержавія: «Значеніе нравственное гораздо болѣе присуще имени царя, нежели смыслъ политическій... Царь—это высшій человѣкъ, которому слабости человѣческія особенно чужды, которому идеальныя, свѣтозарныя черты особенно свойственны... Царь долженъ быть прекрасенъ; онъ долженъ быть болѣе человѣкъ, чѣмъ мы, безъ нашихъ смѣшныхъ недостатковъ, слѣпоты, пороковъ, царь долженъ быть праведенъ. Церковь... не молитъ о немъ какъ о реформаторѣ, побѣдителѣ, но только какъ «о благочестивомъ» человѣкѣ; ранѣе всякаго успѣха внѣшняго, народъ нашъ хочетъ быть чистъ душевно... Обстоятельствами жизни, нуждою, зависимостью мы всѣ пригнетены; мы съужены въ природѣ своей... передъ собою, передъ глазами народными дорого поэтому видѣть человѣка, надъ которымъ не господствуетъ никакая нужда, никакая зависимость, и онъ осуществляетъ свободный идеалъ человѣка... Въ комъ-нибудь, хотя-бы въ одномъ человѣкѣ, нужно видѣть эти акты совершенной свободы, въ *одномъ* только онъ и можетъ ихъ видѣть, ибо два — они уже

ограничивали-бы другъ друга... Идея царя, поэтому, есть идея таинственная и священная въ исторіи; къ ней привязаны глубочайшія мистическія нужды человѣка. Жалокъ народъ, который слѣпъ къ ней; вообще у народовъ она и отсутствуетъ: нашъ народъ былъ такъ счастливъ, такъ даровитъ, онъ такъ провиденціально предъизбранъ, что возвысился до этой святой, праведной, необходимой идеи... У насъ идея царя есть нравственно-историческая; съ народомъ онъ тѣснѣе слитъ, нежели съ чиновничествомъ; онъ есть явленіе скорѣе бытовое, чѣмъ административное; необходимое — но болѣе для покоя сердца, нежели для безопасности страны... Самыя «успѣшныя» царствованія не суть самыя чтимыя, любимыя у насъ, народъ оцѣниваетъ своихъ государей только въ мотивахъ и нисколько не въ фактахъ... Не нужно дождя указовъ, законовъ—онъ засѣваетъ, закрываетъ какъ пелена отъ глазъ главное. Нужно народу, чтобы царь былъ совершененъ—въ этомъ его функція; чтобы былъ праведенъ, чистъ; чтобы не закрывалось солнце, отъ котораго и я въ моемъ униженіи, грязи, темнотѣ могъ-бы зажечь свою свѣчу; чтобы умирая недостойнымъ, я могъ взглянуть на одного, который достоинъ»... Такова идея царя по г. Розанову. Она возвышенна, но требованія ея едва-ли не чрезмѣрны. Не только государи, но даже папы и патріархи, для которыхъ благочестіе еще необходимѣе, по немощи своей не всегда бывали святыми. Не вѣрно также и то, что царь долженъ служить *идеаломъ свободнаго* человѣка, такъ-какъ свобода царя есть прерогатива его власти, а власть царя не можетъ быть цѣлью стремленій отдѣльныхъ лицъ.

Въ «Русской Старинѣ» продолжаются интересныя воспоминанія Н. А. Тучковой-Огаревой. Возмущеніе въ Варшавѣ 1864 г. принесло ожидаемые плоды. Началась реакція; въ Петербургѣ появилось общество «Земля и Воля». Огаревъ и Бакунинъ приняли предложеніе быть членами этого общества, но Герценъ сильно противъ этого возставалъ. «Мы стоимъ отдѣльно, говорилъ онъ,— наша программа извѣстна, намъ смѣшно быть членами

какого-бы то ни было общества». Въ Петербургѣ издавались листки «Великороссъ», которые печаталъ Михайловъ; Михайлова сослали въ Сибирь. Одинъ представитель Жонда въ Лондонѣ набралъ человѣкъ восемьдесять всѣхъ націй; нашли пароходъ, который долженъ былъ ихъ доставить въ Польшу. На пароходъ сѣлъ и Бакунинъ. Но капитанъ парохода бросилъ якорь у шведскихъ береговъ и дальше не хотѣлъ двигаться. Волонтеры подняли шумъ, но безуспѣшно. Бакунинъ отправился въ Стокгольмъ для принесенія жалобы на капитана; онъ слышалъ, что братъ короля былъ принцъ образованный и либеральный. Общество въ Стокгольмѣ было очень образовано и горячо сочувствовало всему либеральному. Бакунинъ во все время былъ очень хорошо принятъ братомъ короля и чествуемъ обществомъ, какъ русскій агитаторъ 48 года. Ему безпрестанно давали обѣды, дѣлали для него вечера, пили за его здоровье, но ничего не помогли относительно строптиваго капитана. Прочіе эмигранты рѣшились на отважный поступокъ: наняли лодки и хотѣли на нихъ достигнуть русскаго берега. Поднялась буря, и всѣ они погибли. Къ Герцену пріѣхали однажды трое очень молодыхъ студентовъ, которые жаловались на реакцію, охватившую всѣ сферы послѣ польскаго мятежа. Студенты рѣшились на преступленіе, чтобы спасти отечество. Герценъ горячо ихъ отговаривалъ, доказывалъ, что это будетъ безполезная жертва, которая поведетъ къ еще большей реакціи, чѣмъ польское возстаніе. Студенты раздумали, и катастрофа 1881 г., по мнѣнію г-жи Тучковой, была отодвинута, благодаря Герцену, на 18 лѣтъ. Очень любопытны сношенія Герцена съ казаками-некрасовцами, съ Кельсіевымъ, съ Мадзини и Гарибальди. Оба вождя итальянскаго освобожденія были въ ссорѣ, и именно Герцену удалось примирить ихъ. Это случилось во время пріѣзда Гарибальди въ Лондонъ, гдѣ ему былъ устроенъ царственный пріемъ. Герценъ пригласилъ Гарибальди къ себѣ; хотя генерала брали буквально на расхватъ, и хотя онъ пріѣхалъ всего на пять дней,— онъ поѣхалъ къ Герцену: «Герценъ—давнишній другъ, и какъ-бы то ни было, я буду у него». Были приглашены

всѣ эмигранты. За обѣдомъ Гарибальди казался очень доволенъ и веселъ. «Какъ мнѣ хорошо у васъ, Герценъ, говорилъ онъ,—тутъ нѣтъ ни этикета, ни стѣсненья... Даже въ выборѣ блюдъ и винъ узнаю вниманіе друга Герцена; онъ хотѣлъ напомнить мнѣ мою родину». Когда подали марсалу, Гарибальди всталъ съ бокаломъ въ рукѣ. Лицо его просіяло тѣмъ ему присущимъ выраженіемъ любви и кротости. «Была печальная эпоха, сказалъ онъ,—когда Италія скованная дремала, чувствуя свое безсиліе. Одинъ человѣкъ не спалъ; этотъ человѣкъ—Мадзини, мой учитель; онъ разбудилъ насъ, я пью за его здоровье!» Тогда все зашумѣло, загремѣло, всѣ встали съ своихъ мѣстъ, чокались, плакали. То, чего пламенно желала партія Мадзини—совершилось публично. И Россію не забыли, ей предсказывали блестящую будущность, пили тосты за осуществленіе всѣхъ этихъ пожеланій... Съ польскаго возстанія «Колоколъ» Герцена утратилъ свою популярность. Это огорчало Герцена. «Мы стары, говорилъ онъ, нигилисты считаютъ насъ за реакціонеровъ, пора честь знать, пора заняться какой-нибудь большой работой».

ИЗЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИЗДАНІЙ.

Уменьшеніе преступности въ Англіи.—Публичныя библіотеки.—На границѣ трехъ имперій.— Новыя теченія въ чешской литературѣ. — Мнѣніе лорда о палатѣ лордовъ.

Замѣчательное явленіе наблюдается въ Англіи: въ то время какъ всюду число преступленій ростетъ съ каждымъ годомъ, въ Англіи оно уменьшается. Въ первой декабрьской книжкѣ «Revue de Paris» помѣщена прекрасная статья Анри Жоли, въ которой приводятся статистическія данныя за послѣднія десять лѣтъ, изъ которыхъ видно, что общая преступность въ Англіи уменьшилась за это время на 8%, а такъ-какъ въ этоже время населеніе увеличилось на 12%, то слѣдуетъ

признать такое уменьшеніе преступности очень значительнымъ. Эти цифры относятся къ преступленіямъ противъ личности, собственности и государства, а контингентъ судившихся по этимъ дѣламъ лицъ заключался въ 12 000—15 000. Если-же мы перейдемъ къ проступкамъ, то окажется, что по этимъ дѣламъ въ 1893 году судилось 160 625, а въ 1883 году—166 000. Хотя съ перваго взгляда уменьшеніе покажется незначительнымъ, но не надо забывать соотвѣтственное увеличеніе населенія; наконецъ, обращаясь къ мелкимъ нарушеніямъ закона, мы получимъ увеличеніе на 2,4%, но ввиду прироста населенія на 12%, это увеличеніе, въ сущности, явится уменьшеніемъ на 10%. Даже относительно рецидивистовъ, число которыхъ всюду увеличивается въ грозномъ размѣрѣ и, напримѣръ, во Франціи возросло въ послѣднія пять лѣтъ на 5%, въ Англіи мы видимъ уменьшеніе, правда, очень незначительное, именно на 0,93%. Еще знаменательнѣе слѣдующія цифры: въ 1867 г. весь преступный классъ въ Англіи, въ томъ числѣ находящіеся на свободѣ и сидящіе въ тюрьмѣ, состоялъ изъ 87 000 лицъ, а въ 1893 году изъ 50 000 чел., если-же мы возьмемъ въ соображеніе только преступниковъ и подозрительныхъ лицъ внѣ тюрьмы, то за послѣднія десять лѣтъ ихъ число уменьшилось съ 38 960 на 29 826; приэтомъ заслуживаетъ особаго вниманія тотъ фактъ, что въ Лондонѣ это уменьшеніе выразилось 11%. Наконецъ англійская уголовная статистика представляетъ свѣдѣнія насчетъ числа домовъ, имѣющихъ дурную славу, т. е. служащихъ жилищемъ преступникамъ: втеченіе трехъ лѣтъ число этихъ домовъ уменьшилось съ 2 688 до 2 360. Къ этому надо прибавить, что въ Англіи нарушенія законовъ преслѣдуются нетолько полиціей, но и особыми обществами, которыя слѣдятъ за исполненіемъ законовъ относительно посѣщенія первоначальныхъ школъ, пьянства и т. д. Такимъ образомъ уменьшеніе преступности въ Англіи составляетъ несомнѣнный фактъ, которымъ она можетъ по всей справедливости гордиться. Но этотъ фактъ принимаетъ еще бо́льшую важность, когда онъ является передъ нами не голымъ, а освѣщен-

нымъ тѣми причинами, которыми можно его объяснить.

Среди этихъ причинъ, по словамъ Жоли, однѣ имѣютъ экономическій, другія юридическій и третьи воспитательный характеръ. Къ первому разряду относится общій экономическій прогрессъ и улучшеніе общественной гигіены; ко второму — усовершенствованіе тюремной системы, усиленіе полиціи и уменьшеніе числа оправданій по несоотвѣтствію тяжести наказаній съ совершоннымъ преступленіемъ. Но наиболѣе важной и вліятельной причиной уменьшенія преступности въ Англіи служитъ развитіе элементарныхъ школъ и общественная помощь, оказываемая малолѣтнимъ дѣтямъ. Съ этимъ вполнѣ согласны всѣ англійскіе авторитеты по означенному вопросу, и Жоли говоритъ, что въ оффиціальныхъ сферахъ англійской администраціи объясняютъ исключительно этимъ путемъ утѣшительный для Англіи фактъ.

Хотя движеніе въ пользу даровыхъ публичныхъ библіотекъ даже въ Америкѣ составляетъ животрепещущій вопросъ дня, но Вилліамъ Флетчеръ, авторъ интересной статьи по этому предмету въ ноябрьской книжкѣ «Cosmopolitan Magazine», справедливо указываетъ, что вопросъ о публичныхъ библіотекахъ — одинъ изъ самыхъ древнихъ на свѣтѣ. Нетолько сирійскій царь Асурбанипалъ въ VII столѣтіи до Р. Х. открылъ въ своемъ дворцѣ библіотеку, съ надписью на входѣ въ нее: «Я создалъ эту библіотеку въ моемъ дворцѣ для просвѣщенія моихъ подданныхъ»,—но за 3 000 лѣтъ до основанія этого книгохранилища, изъ котораго сохранились многочисленныя глиняныя плитки въ британскомъ музеѣ, Саргонъ I положилъ начало дѣйствительно первой въ свѣтѣ публичной библіотеки въ городѣ Аккадѣ, и первый ея библіотекарь носилъ имя Ибнъ-Сару, какъ видно изъ дошедшей до насъ его печати. Конечно, въ древнемъ Египтѣ существовали также библіотеки, и Діодоръ упоминаетъ о той, которую основалъ Рамзесъ I и которая имѣла на своихъ дверяхъ надпись: «Даровая лѣчебница души». Знаменитѣйшая изъ древнихъ библіотекъ—Але-

ксандрійская, основанная Птоломеемъ I, имѣла до 700 000 названій, и ея уничтоженіе огнемъ въ IV столѣтіи считается вполнѣ справедливо однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ ударовъ, нанесенныхъ человѣческому просвѣщенію. Въ Римѣ было много частныхъ и публичныхъ библіотекъ; о послѣднихъ сообщаетъ чрезвычайно интересныя и полныя свѣдѣнія Ланчіани, въ особой главѣ его книги: «Древній Римъ, освѣщенный современными открытіями». По его словамъ, онѣ отличались безцѣнными богатствами, также погибшими подъ святотатственною рукой варваровъ, которые, уничтожая книги, тѣшили себя надеждой, что истребляютъ душу той цивилизаціи, которую они хотѣли погубить. До эпохи возрожденія и открытія книгопечатанія, библіотекъ въ Европѣ было очень мало, и то исключительно въ монастыряхъ, гдѣ хранились драгоцѣнныя рукописи. Даже 300 лѣтъ спустя послѣ великаго изобрѣтенія Гуттенберга, библіотеки существовали только въ монастыряхъ, университетахъ и дворцахъ, а для простыхъ смертныхъ онѣ были недоступны. Движеніе въ пользу публичныхъ библіотекъ началось въ Европѣ въ началѣ XVIII вѣка, а въ Америкѣ первое такое учрежденіе открылъ знаменитый Веніаминъ Франклинъ въ Филадельфіи. Сначала американскія публичныя библіотеки учреждались на частныя пожертвованія, и только съ тридцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія муниципалитеты стали отпускать на ихъ содержаніе извѣстную долю мѣстныхъ налоговъ, или устанавливать для этой цѣли совершенно отдѣльный спеціальный налогъ. Иниціатива въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ Бостону, и его примѣру послѣдовали почти всѣ сѣверные штаты; теперь всюду существуетъ законъ, дозволяющій городскимъ и сельскимъ общинамъ взимать особый налогъ на библіотеки. Большую роль въ распространеніи публичныхъ библіотекъ играютъ законодательныя собранія нѣкоторыхъ штатовъ, которыя назначаютъ пособія отъ штатовъ для тѣхъ маленькихъ бѣдныхъ городовъ, которые не могутъ найти собственныхъ средствъ для этого добраго дѣла. Въ послѣднее время возбужденъ вопросъ во многихъ изъ штатовъ о необходимости

провести новый законъ, по которому учрежденіе библіотекъ сдѣлалось-бы такъ-же обязательнымъ для каждой городской и сельской общины, какъ учрежденіе школъ. По справедливому замѣчанію автора статьи въ «Cosmopolitan», только тогда дѣло народнаго образованія станетъ на совершенно твердую почву, когда рядомъ съ обязательной школой явится обязательная библіотека, въ смыслѣ обязательнаго ея существованія въ каждой общинѣ.

Въ послѣдніе годы о Памирахъ много писалось, и не одна ученая экспедиція обслѣдовала страну, лежащую къ востоку отъ Гинду-Куша. Но разобраться въ происхожденіи и нравахъ племенъ, населяющихъ этотъ мѣстами недоступный горный край, чрезвычайно трудно. О характерѣ его природы и обитателей даетъ нѣкоторое понятіе статья Ольджернона Дюранда, въ октябрьской книжкѣ «Contemporary Review». Авторъ, бывшій военный агентъ въ Гильгитѣ, на англо-индійской границѣ, имѣлъ случай близко ознакомиться съ ними. Большую часть своей статьи онъ посвящаетъ описанію дикой природы этой страны, гдѣ нѣтъ ничего похожаго на дороги. Гильгитъ лежитъ въ центрѣ области, гдѣ горы достигаютъ наибольшей вышины, доходящей до 28 000 футовъ. Но въ узкихъ долинахъ, запертыхъ со всѣхъ сторонъ каменными громадами, глазъ не можетъ охватить ихъ и составить себѣ надлежащее понятіе о величіи этой дикой природы. Лишь изрѣдка передъ нимъ открываются панорамы однообразныхъ, нагроможденныхъ одна на другую горъ. Нѣкоторыя изъ племенъ, населяющихъ этотъ край, замѣтно вымираютъ и замѣняются болѣе сильными и предпріимчивыми переселенцами изъ долинъ нижняго Инда. За немногими исключеніями, эти племена довольно миролюбивы, однако, осажденные, они защищаются стойко и обладаютъ искусствомъ строить надежныя укрѣпленія. Англичане знаютъ по опыту, какъ трудно съ ними справляться въ подобныхъ случаяхъ. Фанатизма въ нихъ незамѣтно. Большая часть ихъ принадлежитъ къ раскольничьей магометанской сектѣ мавлаевъ, прези-

раемой правовѣрными магометанами. Эти еретики глумятся надъ кораномъ, пьютъ вино, не читаютъ молитвъ и признаютъ только главу своей секты. Въ Читралѣ населеніе принадлежитъ къ двумъ главнымъ магометанскимъ сектамъ, шіитамъ и суннитамъ, но власть находится въ рукахъ послѣднихъ. Какъ читралійцы, такъ и другія племена этого края страстно любятъ азартныя игры, танцы и пѣніе. Правители ихъ, за отсутствіемъ тюремъ, продаютъ преступниковъ въ рабство, и читралійскіе рабы особенно цѣнятся за свою вѣрность. Афганскій эмиръ окружилъ себя читралійскими заложниками, ввѣривъ имъ самые важные посты при своей особѣ.

Во всемъ восточномъ Гинду-Кушѣ нѣтъ ни одного города, за исключеніемъ небольшихъ городковъ Гильгита и Астора. Торговля ведется коробейниками, преимущественно изъ жителей Коли и Паласа, въ долинѣ Инда. За исключеніемъ Гильгита и одного или двухъ мѣстъ въ Читралѣ, населеніе живетъ въ укрѣпленныхъ деревняхъ, вѣрнѣе фортахъ, стѣны которыхъ имѣютъ иногда до 15 футовъ толщины. Дома скучены и часто нагромождены одинъ на другой. Они безъ оконъ и освѣщаются дверью или отверстіемъ въ крышѣ, служащимъ и для выхода дыма. Войны между племенами и неустроенное положеніе края дѣлали до послѣдняго времени такой характеръ поселеній необходимымъ.

Дюранду удалось ознакомиться и съ повѣрьями и легендами мѣстныхъ племенъ, суевѣрныхъ какъ и всѣ дикія племена. Они вѣрятъ, что колдуны крадутъ ихъ дѣтей, скачутъ по ночамъ на ихъ лошадяхъ, что женщины, подъ вліяніемъ духовъ, становятся ясновидящими—дойнялами,—предсказываютъ судьбы династій и результаты войнъ. Когда женщина объявляетъ, что въ ней сидитъ духъ, ее заставляютъ доказать это питьемъ крови изъ перерѣзанныхъ жилъ обезглавленнаго козла. Если она выдерживаетъ этотъ искусъ, то признается дойнялой, если-же нѣтъ, то никто не обращаетъ вниманія на ея пророчества, и она считается просто сумасшедшей.

Слѣды язычества встрѣчаются здѣсь на каждомъ шагу. Мѣстами, какъ напримѣръ въ Кафиристанѣ, со-

хранились слѣды друидическихъ вѣрованій—поклоненія дубамъ. Въ отдаленныхъ деревняхъ пріѣзжему почетному лицу кадятъ зажженными дубовыми вѣтвями, и женщины приносятъ дубовые сучья на алтарь деревенскаго идола. Въ другихъ мѣстахъ сохранились слѣды огнепоклонства, а еще чаще слѣды буддизма. На многихъ тропинкахъ встрѣчаются буддистскіе алтари, и въ трехъ миляхъ отъ Гильгита находится огромное, высѣченное въ скалѣ изображеніе Будды въ молящейся позѣ. Остатки буддизма свидѣтельствуютъ о былой цивилизаціи гильштскаго края. О томъ-же говорятъ и высѣченныя въ скалахъ глубокія четырехъ-угольныя ямы, въ которыя, по всѣмъ вѣроятіямъ, вставлялись деревянные водопроводы, доставлявшіе орошеніе нагорнымъ долинамъ, которыя въ настоящее время представляютъ совершенно сухія и безплодныя террассы. Нынѣшніе обитатели этого края не обладаютъ ни искусствомъ, ни орудіями для оросительныхъ работъ, но авторъ надѣется, что для нихъ наступаетъ эра мира, которая позволитъ улучшить положеніе этого края.

Давно замѣчено, что чешская литература отстаиваетъ свою самобытность съ такимъ-же рвеніемъ, какъ и чешскій народъ, и притомъ безъ всякаго вреда для своего совершенствованія и богатства. Съ новѣйшими теченіями въ ней знакомитъ насъ чешскій писатель Крежай въ новомъ чешскомъ журналѣ «Die Zeit». Чехи, какъ и всякій молодой народъ, чрезвычайно чутки къ господствующимъ теченіямъ въ мірѣ европейскихъ идей, и у нихъ, какъ и въ другихъ странахъ, есть свои декаденты, свои символисты и парнасцы; а въ особенности свои «молодые». Послѣднимъ даже не пришлось бороться за политическое и литературное преобладаніе: они прямо пришли и смѣнили старыхъ. Вождь старочеховъ, Ригеръ, предводительствовавшій чешскимъ народомъ въ его борьбѣ съ Австріей, заживо отпѣтъ и похороненъ. Въ политикѣ, какъ и въ искусствѣ, господствуютъ теперь молодые, болѣе пылкіе и смѣлые. За молодымъ строемъ уже встаетъ еще болѣе молодой, идущій къ нему на смѣну.

и во всѣхъ сферахъ на передній планъ выступаютъ новыя силы.

До 1860 года чешская литература была исключительно патріотической. Затѣмъ, подъ вліяніемъ поэта Влицкаго, истиннаго творца чешской поэзіи, патріотическое направленіе смѣнилось космополитическимъ и гуманитарнымъ романтизмомъ. Послѣ Влицкаго слѣдуетъ назвать Святополка Сеча, самаго популярнаго и демократическаго изъ чешскихъ поэтовъ. Съ 1880 г., подъ вліяніемъ политической борьбы, въ чешской литературѣ проявилось новое теченіе: поклоненіе своему прошлому, своимъ историческимъ добродѣтелямъ. Но съ почина профессора Масарыка, величайшаго изъ современныхъ чешскихъ критиковъ, чешская литература и умственная жизнь проникаются духомъ самобичеванія. Писатели-реалисты, группирующіеся вокругъ Масарыка, учатъ чеховъ поменьше любоваться собою и побольше изучать себя; обличаютъ свои національныя слабости, критикуютъ свои иллюзіи, смѣются надъ преувеличенными восхваленіями талантовъ и добродѣтелей чешскаго народа. Новыя поколѣнія увлекаются великими иностранными писателями, переводятъ Толстого, Бьернсона, Флобера и др. Литературный реализмъ занесенъ къ чехамъ изъ Франціи золаизмомъ, и изъ Россіи — толстоизмомъ, который укоренился однако въ этой странѣ глубже золаизма. Въ общемъ, современныя теченія въ чешской литературѣ развиваются, по словамъ Крежая, подъ вліяніемъ четырехъ факторовъ: традиціонныхъ тенденцій, французской литературы, реалистическаго движенія и соціальныхъ вопросовъ. Наиболѣе молодые изъ чешскихъ поэтовъ идутъ по слѣдамъ Бодлэра и Верлена. Символическая и декадентская школы хотя по имени и несуществуютъ въ Чехіи, но имѣютъ въ ней много представителей. Что касается прозы, то у чешскихъ прозаиковъ талантъ и оригинальность идутъ объ-руку. Чешскій реализмъ имѣетъ совсѣмъ особый отпечатокъ, замѣтно отличающій его отъ реализма русскаго и французскаго. У чеховъ это фотографія вседневной жизни, со всѣми ея грустными и веселыми сторонами, — но фотографія

безъ предвзятости, безъ преувеличеннаго пессимизма и безъ преувеличенныхъ тонкостей, не отвѣчающихъ банальности вседневной жизни. Изъ чешскихъ прозаиковъ особенно выдаются: Игнатій Германнъ, спеціалистъ по изображенію философскихъ взглядовъ на жизнь; Гербенъ и Мстикъ, исключительно описывающіе жизнь моравскихъ крестьянъ, и Симойскъ, избравшій своею спеціальностью бытъ рабочихъ сахарныхъ заводовъ. По тонкости психологіи и изяществу слога, лучшій изъ нихъ Мстикъ. Вышедшій годъ тому назадъ романъ его «Santa Lucia» возбудилъ общій восторгъ въ Богеміи и далъ автору видное мѣсто въ ряду современныхъ романистовъ. Чешская драма, напротивъ того, оставляетъ многаго желать. На этомъ поприщѣ наиболѣе видными силами являются: Свобода и Слимачекъ. Первый склоненъ выводить въ своихъ произведеніяхъ соціологическіе эксперименты, какъ напримѣръ вліяніе различныхъ факторовъ дѣйствительной жизни на семью. Слимачекъ же снискалъ себѣ извѣстность драмой: «Свѣтъ маленькихъ людей», въ которой онъ рисуетъ жизнь рабочихъ.

Англійская журналистика много занимается въ послѣднее время будущей судьбой палаты лордовъ, но изъ всѣхъ взглядовъ на этотъ вопросъ наиболѣе интересенъ и новъ взглядъ лорда Гобгоуза, изложенный въ декабрьской книжкѣ «Contemporary Review». Гобгоузъ не желаетъ упраздненія палаты лордовъ, хотя находитъ существованіе что такой палаты, «которую можно заставить дѣйствовать согласно требованіямъ общественнаго мнѣнія, только пригрозивъ маленькимъ мятежомъ», совершенно не отвѣчаетъ цѣли. Что нужно,—по его мнѣнію,—такъ это ревизіонный корпусъ. Палата общинъ, за множествомъ дѣла, за спѣшкой, за усталостью отъ продолжительной борьбы, часто выпускаетъ свои труды въ крайне необработанномъ видѣ, нуждающемся въ пересмотрѣ и переработкѣ. Однако лордъ Гобгоузъ не останавливается на мысли, что дѣло пересмотра спѣшныхъ и необработанныхъ законодательныхъ мѣръ, выходящихъ изъ палаты общинъ, ближе всего

было-бы поручить комитету изъ опытныхъ юристовъ, а стоитъ на томъ, что единственнымъ ревизіоннымъ трибуналомъ должна быть въ этомъ случаѣ вторая палата. Для того-же, чтобы помѣшать ей тормозить законодательство, надо лишить ее права пріостанавливать мѣры, прошедшія черезъ палату общинъ, и присвоить этой послѣдней право издавать законъ, послѣ вторичнаго пересмотра его перами, не взирая на ихъ оппозицію, и наблюдать, чтобы сущность закона не была измѣнена. Кромѣ того, лордъ Гобгоузъ считаетъ нужнымъ, для подкрѣпленія значенія палаты лордовъ, отмѣнить наслѣдственныя права перовъ на законодательный постъ (за исключеніемъ членовъ королевской фамиліи). Члены верхней палаты должны быть назначаемы короной пожизненно или на срокъ, съ правомъ слагать съ себя это званіе, когда вздумается, а также и съ правомъ вступать въ палату общинъ. Перовъ должно быть не менѣе двухъ-сотъ, для обезпеченія состава различныхъ коммиссій, и въ корпусъ ихъ должны входить люди опытные по разнообразнымъ спеціальностямъ. Лордъ Гобсонъ напоминаетъ, что палата лордовъ впродолженіе цѣлыхъ вѣковъ не была основана на наслѣдственномъ правѣ, и это былъ періодъ ея наибольшаго могущества.

ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНАГО МІРА.

Литературныя кофейни въ Мадридѣ. — Какъ издаются во Франціи журналы. — Инцидентъ съ новой драмой Ибсена. — Стивенсонъ.

Испанскій публицистъ Сангецъ Перецъ разсказываетъ въ декабрьской книжкѣ мадридскаго журнала «Revista de Ispana» исторію тѣхъ кофеенъ испанской столицы, гдѣ собирались въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ литераторы и драматурги. Такой-же славой, какъ Тортони въ Парижѣ и Страндская таверна въ Лондонѣ, пользовалась маленькая кофейня Принца, въ Мадридѣ, бо-

лѣе извѣстная подъ названіемъ «Маленькій Парнасъ». Открытая за нѣсколько времени до смерти короля Фердинанда VII, т. е. въ 1832 или 33 году, она неизвѣстно по чьей инициативѣ превратилась въ центръ литературной и вообще интеллектуальной дѣятельности. Тамъ составлены проекты литературныхъ обществъ «Ateneo» и «Liceo», обсуждались романтичныя драмы Мартинеца дела-Розы и читались произведенія какъ старыхъ лириковъ Листа или Квинтана, такъ и новыхъ поэтовъ Зориллы, Родригеца, Руби и т. д. Эта литературная кофейня сохранила свое вліяніе впродолженіе пятидесяти лѣтъ, послѣ чего оставшіеся члены стараго литературнаго центра перебрались въ кофейню Суицо, которая получила названіе «Внучки Маленькаго Парнаса». Тамъ общество было болѣе смѣшанное, чѣмъ въ маленькой кофейнѣ Принца, и рядомъ съ поэтами и романистами, въ ней встрѣчались художники и каррикатуристы, Съ этимъ новымъ центромъ литературнаго міра соперничала кофейня Иберія, которая, однако, имѣла болѣе политическій характеръ. Какъ торжество О'Доннеля и прогрессистской партіи, повело къ закрытію маленькой кофейни Принца, такъ сентябрьская революція 1868 года разсѣяла завсегдатаевъ кофейни Суицо. Впослѣдствіи образовалось три литературныхъ клуба: «Общество писателей и артистовъ», «Собраніе изящныхъ искуствъ» и «Собраніе артистическое и литературное»; но они не имѣли ничего общаго съ прежней свободной литературной кофейней, гдѣ не было ни баллотировки въ члены, ни старшинъ, ни устава. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, кружокъ писателей и любителелей литературы пытался воскресить старыя литературныя кофейни и началъ собираться въ извѣстномъ ресторанѣ, подъ названіемъ «Клуба жолчныхъ»; но эта попытка не удалась. Слишкомъ многое измѣнилось. Въ настоящее время Мадридъ, какъ Парижъ и Лондонъ, уже не волнуется по поводу новаго литературнаго произведенія, и писатели перерождаются въ писакъ, которыхъ не связываютъ между собой литературные интересы, побуждавшіе прежнихъ литераторовъ собираться

въ литературныхъ кофейняхъ свободными и тѣсными дружескими кружками.

Съ Ибсеномъ произошолъ недавно инцидентъ, надѣлавшій большого шума въ скандинавскихъ странахъ. Въ копенгагенской газетѣ «Politiken» появилась замѣтка, резюмировавшая сюжетъ новой драмы Ибсена, еще невышедшей изъ печати. Всѣ скандинавскія газеты подняли крикъ по поводу этого факта и посвятили ему цѣлые столбцы, испещренные словами: «преступленіе», «покушеніе на право собственности», «оскорбленіе генія» и т. п. Ибсенъ, возмущенный поступкомъ датской газеты, заявилъ, что онъ сдѣлался жертвою кражи, и перенесъ дѣло въ судъ. Оказалось, что содержаніе пьесы Ибсена стало извѣстно, благодаря чистой случайности. Молодой норвежскій писатель Крагъ, беря изъ типографіи корректурные листы своей книги, захватилъ нечаянно, вмѣсто своихъ листовъ, корректуру одной сцены изъ драмы Ибсена. Слѣдствіе показало, что Крагъ не извлекъ для себя никакой матеріальной пользы изъ захваченныхъ листовъ и немедленно возвратилъ ихъ въ типографію; но онъ имѣлъ неосторожность прочитать ихъ и разболтать ихъ содержаніе. По поводу этого происшествія между норвежскими и датскими газетами завязалась ожесточенная полемика, продолжавшаяся цѣлыхъ двѣ недѣли. Ничтожный самъ по себѣ случай вызвалъ очень крупныя послѣдствія: датская публика и печать пришли въ сильное раздраженіе, и въ Даніи громко кричатъ теперь, что пора положить предѣлъ самомнѣнію и заносчивости норвежскихъ писателей и приняться за освобожденіе Даніи отъ литературнаго господства Норвегіи.

На дняхъ Англія лишилась одного изъ самыхъ даровитыхъ своихъ писателей, Роберта Луи Стивенсона, умершаго 44-хъ лѣтъ на островѣ Самоа, отъ паралича мозга. Стивенсонъ, родомъ шотландецъ, принадлежалъ къ семьѣ математиковъ и оптиковъ, построившихъ въ Шотландіи десятка два маяковъ. Лучшіе изъ романовъ его — «Похищенный», «Катріона», «Островъ

Клада», «Д-ръ Джекиль и Гайдъ» и др.—пользуются въ Англіи огромною популярностью и переведены на иностранные языки, въ томъ числѣ нѣкоторые и на русскій. Стивенсонъ, вмѣстѣ съ Рэдіардомъ Киплингомъ, Риддеромъ Гаггардомъ и др., принадлежалъ къ той школѣ англійскихъ писателей, которая отказалась отъ изображенія домашнихъ нравовъ, находя эту тему исчерпанною Джорджемъ Элліотомъ, Диккенсомъ и Теккереемъ, и занялась жизнью и нравами далекихъ странъ и далекихъ народовъ. Но романисты этой школы пишутъ не такъ, какъ Фениморы Куперы и Майнъ-Риды; ихъ интересуетъ нетолько внѣшность чуждой жизни, но мысль и чувства, идеалы и міросозерцаніе полуварварскихъ народовъ. Они ищутъ въ нихъ новой ноты, которую трудно уже найти въ европейской жизни. Стивенсонъ, умершій среди дикарей, съѣвшихъ сто лѣтъ тому назадъ, экипажъ и капитана «Медузы», восхищался этими дикарями, находилъ ихъ гораздо интереснѣе европейцевъ. Онъ выучился ихъ языку и успѣлъ снискать себѣ у нихъ такую популярность, что они чуть было силой не провозгласили его своимъ королемъ или президентомъ республики. Это возбудило подозрительность нѣмцевъ, главныхъ «покровителей» этихъ острововъ, и они грозились изгнать его оттуда. Однако Стивенсону суждено было умереть въ своемъ новомъ отечествѣ, и онъ завѣщалъ похоронить себя на одной изъ самыхъ высокихъ скалъ, глядящихъ на море. Туземцы на рукахъ отнесли его бренные останки на вѣчный покой.

Редакторъ-издатель В. П. ГАЙДЕБУРОВЪ.

ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ

„НЕДѢЛЯ“

И

„КНИЖКИ НЕДѢЛИ“

ВЪ 1895 Г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

«КНИЖКИ НЕДѢЛИ» выходятъ ежемѣсячно при еженедѣльной газетѣ «НЕДѢЛЯ».

Цѣна «НЕДѢЛИ» вмѣстѣ съ «КНИЖКАМИ НЕДѢЛИ» — *девять* (заграницей — *двѣнадцать*) рублей въ годъ и *пять* руб. за полъ-года. Допускается разсрочка на слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ уплачивается 5 руб., а къ 1-му іюня остальные 4 рубля.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ редакціи «НЕДѢЛИ», Ивановская, 4.

Редакторъ-издатель **В. П. Гайдебуровъ.**

КНИЖКИ НЕДѢЛИ.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

ФЕВРАЛЬ

SLOVANSKÁ KNIHOVNA
BOHOSLOVCŮ
V OLOMOUCI.

1895.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Меркушева, Невскій просп., № 8

КНИЖКИ НЕДѢЛИ. Февраль 1895 г.

I. НРАВСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО. (По поводу новой теоріи морали: G. Ferrero, «Les conditions du progrés moral»). **Л. Е. Оболенскаго** 7

II. ОБЛИКЪ. Разсказъ **К. К. Случевскаго** 28

III. ВЫЖАТЫЕ ЛИМОНЫ. Стихотвореніе **Я. П. Полонскаго** 35

IV. НА ЛАДОГѢ. (Изъ путевыхъ впечатлѣній). **Е. Л. Маркова** 39

V. ИЗЪ ЮНОШЕСКИХЪ СТИХОТВОРЕНІЙ С. Я. НАДСОНА: На свѣжей могилѣ. — Ф. Ф. Стаалю. — По слѣдамъ Діогена 69

VI. СЧАСТЬЕ. Повѣсть. Часть I. **Т. Л. Щепкиной-Куперникъ.** 73

VII. ИЗЪ КНИГИ ПРЕМУДРОСТИ ІИСУСА СЫНА СИРАХОВА. Стихотвореніе **К. М. Фофанова** 117

VIII. ОЧЕРКИ НЕВОЛЬНАГО ТУРИСТА. (Отъ Иркутска до Качуга). «Макся». **Я.** 118

IX. «ПОЗДНО. ЛАМПА ДОГОРѢЛА...» Стихотвореніе **В. М. Грибовскаго** 127

X. СЫНЪ. Разсказъ **А. Н. Будищева** 128

XI. «ТИХАЯ НОЧЬ НА ЗЕМЛѢ». Стихотвореніе **П. П. Перцова** 147

XII. КЪ СЛАВѢ. Романъ **Маартена Маартенса** . . 305—352

XIII. НЕ СДАЛАСЬ. Романъ **Ж. Рони** . . . . . 33— 80

XIV. ИСКАНІЕ НЕОБЫЧАЙНАГО. **П. Н. Краснова** . . . 148

XV. ДОБРЫЙ ПОЭТЪ. Жизнь и сочиненія Адельберта Шамиссо. **В. А. Поссе** 159

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

XVI. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ ИСПАНІИ 186

XVII. ИЗЪ РУССКИХЪ ИЗДАНІЙ.—Статья Л. Н. Толстого о религіи и нравственности.—Три типа религіи и морали.—Статья Вл. С. Соловьева о національности и космополитизмѣ. — Какъ помирить патріотизмъ съ нравственностью.—Романъ г. Мережковскаго изъ эпохи IV вѣка.—Философъ о божествѣ и природѣ.—Встрѣча русскаго ученаго со Спенсеромъ и Марксомъ.—Интеллигентные колонисты. 190

XVIII. ИЗЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИЗДАНІЙ. — Султанъ Абдулъ-Гамидъ.—Лондонскій земскій совѣтъ.—Къ вопросу о перенаселеніи.—Явленія на Марсѣ.—Отчего въ Англіи мало читаютъ. — Возрожденіе олимпійскихъ игръ. . 204

XIX. ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНАГО МІРА. — Рѣчь А. Ф. Кони и «юридическія поминки». — Три чествованія памяти Грибоѣдова.—Литературная физіономія Бьернстьерне-Бьернсона.—Японская журналистика 215

Нравственность и общество.

(По поводу новой теоріи морали: G. Ferrero, «Les conditions du progrès moral»).

Обычная односторонность человѣческаго ума часто заставляетъ его видѣть только одну половину или сторону явленія и мѣшаетъ видѣть другую. Такъ, однимъ изъ самыхъ распространенныхъ доводовъ противъ значенія личности въ морали и за полную власть надъ ней общественныхъ условій служитъ извѣстный статистическій законъ, открытый Кетле, по которому изъ года въ годъ совершается приблизительно одно и то-же число кражъ, убійствъ и другихъ преступленій; но достаточно, чтобы случился неурожай или голодъ, и цифра преступленій повышается. «Не очевидно-ли, говорятъ защитники экономическихъ причинъ морали, — что личность тутъ не причемъ: она носится, какъ челнокъ безъ руля, по капризу волнъ экономическаго прилива и отлива».

Но такъ-ли это? То-ли это доказываетъ?

Хотя неурожай или голодъ повышаютъ процентъ преступленій, но, однако, преступленія совершаются далеко не всѣми пострадавшими отъ нихъ. Это знаетъ каждый, это говоритъ и статистика. Мало этого, она показываетъ даже, что въ голодные годы увеличивается и число нищихъ, и число самоубійцъ. Что это значитъ? А значитъ это то, что среди пострадавшихъ были и та-

ніе, которые предпочли преступленіямъ нищенство и даже лишеніе себя жизни, то-есть доказываетъ огромную силу моральнаго *сопротивленія* нѣкоторыхъ личностей.

Заставьте полкъ солдатъ нести въ ранцахъ по два пуда,—процентъ упавшихъ подъ этой тяжестью на извѣстномъ протяженіи пути будетъ, при равныхъ условіяхъ, постоянно болѣе или менѣе одинаковъ. Теперь, заставьте каждаго нести въ ранцѣ по пяти пудовъ. Конечно, нетолько сократится протяженіе, но и самый процентъ упавшихъ повысится.

То-же и въ моральной области: процентъ ежегодно повторяющихся паденій остается постояннымъ, пока остаются постоянными какъ разныя внѣшнія условія, такъ и средняя моральная сила сопротивленія личностей этимъ условіямъ. Увеличьте тягость условій, не измѣняя силы сопротивленія со стороны морали (какъ это всегда и бываетъ)—и, конечно, процентъ моральныхъ паденій повысится: новая тягость окажется не по силамъ многимъ изъ тѣхъ, которые выносили прежнюю.

Но отсюда-то и очевидно, что личность и мораль играютъ огромную роль въ общественныхъ явленіяхъ. Благодаря слабости морали, только извѣстный процентъ личностей, недостаточно сильныхъ, падаетъ, и благодаря ея-же силѣ, гораздо большій процентъ борется. Конечно, внѣшнія условія играютъ роль, но роль обыкновенной тяжести, которая преодолѣвается нѣкоторой дѣятельной силой.

Въ послѣднее время общественная наука быстро подвигается къ толковому разъясненію этой темной и важной области. Одну изъ любопытнѣйшихъ попытокъ въ этомъ направленіи представляетъ новая работа Ферреро, напечатанная въ декабрьской книжкѣ «Revue Phyloso-phique». Познакомиться съ его теоріей мнѣ было тѣмъ болѣе пріятно, что она почти совершенно тождественна съ моей собственной теоріей, изложенной, еще 10 лѣтъ

тому назадъ, въ сочиненіи «Классификація и развитіе чувствованій» (Спб. 1884 г.). Хотя Ферреро и могъ знать о моей теоріи, такъ-какъ она была воспроизведена въ прошедшемъ году въ нѣмецкомъ журналѣ «Zeitschrift für Phylosophie und Phylos. Kritik», но конечно, онъ пришолъ къ ней совершенно самостоятельно, и совпаденіе нашихъ взглядовъ можетъ служить только ихъ лишнимъ подтвержденіемъ.

Ферреро выступаетъ съ возраженіями противъ эволюціонной теоріи морали, по которой нравственныя свойства накапливаются въ людяхъ путемъ наслѣдственности. Послѣднія изслѣдованія въ біологіи значительно пошатнули ученіе о наслѣдственности именно въ той ея части, на которую опираются эволюціонисты: передача «благопріобрѣтенныхъ» свойствъ оказалась весьма сомнительной (см. работы А. Уоллеса, Вейсмана, В. Вундта, Лесгафта и мн. друг.). Кромѣ того, новѣйшая біологія доказала, что для измѣненія какого-либо органа у животнаго требуются огромные періоды времени, тысячелѣтія, а между тѣмъ моральныя чувства иногда чрезвычайно быстро то прогрессируютъ, то регрессируютъ. Напримѣръ, еслибы война охватила Европу, то самые кроткіе и мирные люди въ нѣсколько мѣсяцевъ и даже дней могли-бы обратиться въ жестокихъ воиновъ, не щадящихъ ни чужой жизни, ни собственности, ни созданій искусствъ и культуры,—какъ было, напримѣръ, во франко-прусскую войну. А между тѣмъ, по теоріи эволюціонной морали, предполагается, что каждое моральное чувство, для своего появленія въ людяхъ, должно имѣть въ мозгу особый механизмъ, нѣчто вродѣ «органа», образовавшагося упражненіемъ, подборомъ и наслѣдственностью, какъ и другіе органы тѣла. Возьмемъ противоположное явленіе, т. е. быстрое прогрессированіе морали. Не далѣе какъ три, даже два столѣтія тому назадъ, нравы европейцевъ были варварскими и жестокими. Человѣческая жизнь совершенно

не уважались. Чувство симпатіи или состраданія даже къ физическимъ мученіямъ другихъ (не говоря уже о моральныхъ страданіяхъ) почти совершенно отсутствовало. Массовыя казни, съ десятками тысячъ жертвъ, убійства, кражи, грабежи, дуэли считались явленіемъ самымъ обыкновеннымъ и нормальнымъ. Сравните это съ нашей эпохой, когда жизнь людей охраняется всѣми мѣрами,—и закономъ, и обычаемъ, когда преслѣдуются даже лица, причиняющія страданія животнымъ, когда ежедневно пріобрѣтаются новые способы облегчить чужія страданія. И все это совершилось въ какихъ-нибудь 200—300 лѣтъ!

Возможно-ли допустить, что въ столь короткій періодъ образовались какіе-то особые органы морали? Возможно-ли думать, что они такъ-же легко могутъ исчезать и атрофироваться при извѣстныхъ условіяхъ? Современная біологія рѣшительно не допускаетъ такого предположенія.

Однако, Ферреро не отрицаетъ совершенно возможности эволюціоннаго развитія морали, но онъ думаетъ, что явленіе это гораздо сложнѣе,—что необходимо попытаться отыскать болѣе широкія причины, сдѣлать болѣе глубокое синтетическое изслѣдованіе, которое примиряло-бы противорѣчія, ярко бросающіяся въ глаза.

Совершенно то-же говорилъ и я, признавая значеніе эволюціонной теоріи въ развитіи нѣкоторыхъ основныхъ моральныхъ или общественныхъ инстинктовъ у людей. Но въ виду фактовъ, заставляющихъ допустить, что мораль въ нѣкоторые моменты исторіи (напр., въ эпоху освобожденія негровъ въ Америкѣ, освобожденія крестьянъ въ Россіи и т. д., и т. д.) вдругъ временно подымалась на необыкновенную высоту, наконецъ, въ виду того, что подобные-же подъемы и повышенія моральнаго чувства встрѣчаются постоянно и у отдѣльныхъ лицъ, я считалъ необходимымъ отыскать другую, болѣе чуткую и подвижную причину, независящую отъ механической

эволюціи и тѣлесной организаціи. Изслѣдуя факты, упомянутые выше, я приходилъ, какъ и Ферреро, къ выводу, что причина эта лежитъ въ *симпатіи*, которая присуща всякому органическому живому веществу и состоитъ въ *въ способности всего живущаго — одинаково чувствовать* при одинаковыхъ условіяхъ со стороны возбужденій внѣшнихъ или состояній внутреннихъ. Такъ, напр., самый развитой человѣкъ и самое ничтожное низшее животное должны ощущать боль отъ жженія, холода, удара. *Представленіе* человѣка, *его воображеніе* даютъ ему возможность *сочувствовать*, симпатизировать другому существу. И эта способность тѣмъ сильнѣе, чѣмъ сильнѣе, во 1-хъ, способность воображенія именно въ этой спеціальной области чужихъ чувствъ, и во 2-хъ, чѣмъ болѣе развито въ насъ сознаніе о внутреннемъ сходствѣ другихъ существъ съ нами. Напр., мы смотримъ безъ всякаго сожалѣнія на распиливаніе дерева, потому-что не предполагаемъ въ немъ ощущеній, подобныхъ нашимъ. Но еслибы при насъ пилили нетолько человѣка, но даже какую-нибудь лягушку, мы не вынесли-бы этого зрѣлища И чѣмъ больше мы увѣрены въ тождествѣ чужихъ чувствъ и ощущеній съ нашими, тѣмъ сильнѣе наша симпатія. Поэтому-то мы сильнѣе сочувствуемъ людямъ близко знакомымъ, роднымъ, наконецъ,—одной національности, религіи, однихъ убѣжденій и т. д. Но по мѣрѣ того какъ мы узнаемъ непосредственно или благодаря искусствамъ, литературѣ и т. п., о тождествѣ чувствованій у насъ и у людей другихъ сословій, націй, религій, наша симпатія къ нимъ возростаетъ, и они изъ враговъ становятся ближними. Отсюда я выводилъ значеніе для морали, во 1-хъ, *знанія* о внутреннемъ, психическомъ тождествѣ людей, во 2-хъ, значеніе искусства и литературы въ этомъ знаніи, и въ 3-хъ, значеніе *воображенія*, развитію котораго особенно способствуетъ беллетристическая литература, указывающая намъ и заставляющая переживать чувствованія и ощущенія другихъ сословій, націй и т. п.

Наглядный примѣръ такого вліянія мы видимъ въ воздѣйствіи на американскую публику романа Бичеръ-Стоу «Хижина дяди Тома», въ эпоху освобожденія негровъ, а у насъ — произведенія Григоровича и Тургенева, въ эпоху освобожденія крестьянъ. Эти произведенія показали душу негра, душу крѣпостного раба—*наглядно* и породили этимъ взрывъ симпатіи, вызвавшій на подвиги и самопожертвованія.

Ферреро, въ своемъ изслѣдованіи, имѣетъ въ виду только ту мораль, которая *регулируетъ отношенія общественной жизни между членами даннаго общества во всемъ томъ, что необходимо для физическаго и душевнаго сохраненія личностей, для защиты и роста общества.*

Такъ-какъ половая мораль имѣетъ свои спеціальные законы, то авторъ устраняетъ ее изъ своего изслѣдованія и обращается прямо ко второй. Задача состоитъ въ томъ, чтобы открыть,— *почему и подъ вліяніемъ какихъ причинъ преобразуются моральныя дѣйствія, принимая различныя формы у разныхъ народовъ и въ различныя эпохи.*

Если мы разсмотримъ самую идею о моральномъ прогрессѣ, то замѣтимъ, что увѣренность наша въ моральномъ прогрессѣ есть ничто иное, какъ *увѣренность въ постепенномъ ростѣ отвращенія людей отъ причиненія страданій другимъ людямъ* (съ которыми они живутъ). Такъ, дикари, убивающіе другихъ, угнетающіе своихъ женщинъ и т. п., кажутся намъ менѣе моральными, чѣмъ люди цивилизованные, которые уважаютъ человѣческую жизнь, проявляютъ почтительное уваженіе къ женщинѣ и нѣжную любовь къ дѣтямъ. Древнее римское общество, основанное на побѣдахъ, грабежахъ, убійствахъ — гдѣ богатые собственники забавлялись иногда мученіями рабовъ, гдѣ чиновники воровали и угнетали подвластные народы, — мы считаемъ менѣе моральнымъ, чѣмъ, напр., современную намъ Швейцарію, которая нетолько не угнетаетъ другихъ, но употребляетъ усилія для

ослабленія гнета и страданій у другихъ народовъ и т. д.

Итакъ, *вопросъ о моральномъ прогрессѣ сводится къ вопросу о томъ, въ силу какихъ причинъ увеличивается или уменьшается въ человѣческой душѣ это отвращеніе къ причиненію страданій другимъ существамъ, одареннымъ чувствительностью вообще, и — въ особенности людямъ, съ которыми мы живемъ въ обществѣ.*

Отвращеніе къ причиненію страданія другимъ можетъ имѣть нѣсколько причинъ, среди которыхъ первое мѣсто занимаетъ *симпатія*, т. е. душевное представленіе страданія, испытываемаго другими. Если это представленіе очень живо, то и отвращеніе отъ дѣйствій, причиняющихъ страданіе, весьма сильно, такъ-какъ всякое продолжительное страданіе другого лица преобразуется въ наше личное страданіе, т. е. въ боль душевную, порождаемую этимъ яркимъ представленіемъ. Все, что увеличиваетъ яркость и живость такихъ душевныхъ представленій, увеличиваетъ и отвращеніе къ дѣйствіямъ, причиняющимъ страданіе, т. е. заставляетъ прогрессировать моральное чувство; и, наоборотъ, все, что заставляетъ его уменьшаться, производитъ моральное паденіе. Отсюда слѣдуетъ, что *можно открыть законъ моральнаго прогресса, изслѣдуя причины, заставляющія измѣняться* (transformer) *эту представляющую способность души.* Причинъ этихъ, конечно, много, и онѣ разнаго рода (физическія, физіологическія, психологическія); Ферреро начинаетъ съ анализа причинъ психологическихъ, которыя кажутся особенно важными и могутъ быть выражены такъ: «каждое отвращеніе отъ дѣйствій, причиняющихъ страданіе другимъ, уменьшается или совершенно прекращается, если это причиняемое страданіе должно удовлетворить какой-либо нашей потребности или желанію, которыя сильнѣе, чѣмъ душевное представленіе причиняемаго страданія».

Иными словами: *чужое страданіе заставляетъ насъ*

страдать тѣмъ меньше, чѣмъ болѣе оно полезно намъ. По мнѣнію Ферреро, ежедневный опытъ каждаго подтверждаетъ это положеніе. Такъ, напримѣръ, самый сострадательный человѣкъ дѣлается способнымъ даже убить другого, если дѣло идетъ о защитѣ собственнаго существованія; моряки, подъ вліяніемъ голода, съѣдали своихъ товарищей, и т. п. Желаніе жить и потребность въ пищѣ, очевидно, гораздо сильнѣе, чѣмъ душевное представленіе чужого страданія, вызваннаго убійствомъ.

Съ этимъ основнымъ положеніемъ авторъ весьма удачно пытается объяснить многія великія преобразованія (transformations) моральнаго чувства.

Онъ начинаетъ съ разбора довольно распространеннаго мнѣнія, полагающаго, что среди дикарей и примитивнаго человѣчества моральное чувство было развито сильнѣе, чѣмъ у людей цивилизованныхъ. На первый взглядъ, нѣкоторые факты, сообщаемые путешественниками, какъ-будто подтверждаютъ это мнѣніе. Такъ, въ превосходномъ изслѣдованіи Munziger'а о двухъ африканскихъ племенахъ—Бареа и Кунама, разсказываются самыя умилительныя вещи о кротости, сердечности и общественной свободѣ у этихъ дикарей. Возьмемъ для примѣра ихъ законы о должникахъ: кредиторъ не имѣетъ права принудить силой своего должника къ уплатѣ. Онъ обращается къ «старикамъ» и съ ихъ разрѣшенія можетъ «украсть» у должника предметъ, который по цѣнности покрываетъ сумму долга. Но эта кража должна быть совершена безъ малѣйшаго насилія надъ должникомъ.

Воровство не наказывается у этихъ племенъ: воръ, пойманный на мѣстѣ преступленія или съ поличнымъ, не можетъ быть ни убитъ, ни даже раненъ. У него только отбираютъ украденное, а его отпускаютъ на свободу, давъ нѣсколько легкихъ ударовъ. Тюремъ или рабства, какъ наказанія, не существуетъ; рабы встрѣ-

чаются въ небольшомъ числѣ, но обращеніе съ ними чрезвычайно мягко. Кромѣ того, имъ достаточно удалиться изъ дома хозяина, чтобы сдѣлаться свободными. Если они недовольны господиномъ, они просто уходятъ въ сосѣднюю деревню и считаются настолько полноправными, что могутъ жениться на свободныхъ.

Если сравнить такое положеніе рабовъ съ древнеримскимъ или греческимъ, то мы, конечно, будемъ поражены высотой моральнаго уровня этихъ дикарей сравнительно съ уровнемъ такихъ высоко-цивилизованныхъ странъ, какъ древній Римъ и Греція. Еще поразительнѣе окажется сравненіе обычаевъ этихъ дикарей съ законами Англіи, гдѣ еще въ XVI столѣтіи, т.-е всего какихъ-нибудь 300 лѣтъ назадъ,—были казнены смертью 38 000 человѣкъ за то только, что просили милостыню, а при Елизаветѣ казнили даже дѣтей за кражу въ 30 пенсовъ.

Какъ объяснить такое поразительное противорѣчіе цивилизаціи и жестокости, съ одной стороны,—и примитивной дикости, соединенной съ гуманностью, съ другой?

Ферреро весьма удачно объясняетъ это кажущееся противорѣчіе при помощи своей формулы, приведенной выше: у дикарей и вообще у первобытнаго человѣка мы находимъ развитіе симпатіи къ ближнимъ въ тѣхъ случаяхъ, когда борьба за существованіе не обострена; потребности дикарей весьма малы и несложны, а потому легко удовлетворяются собственнымъ трудомъ, слѣдовательно рабы не составляютъ здѣсь той насущной необходимости, какую они составляли, напримѣръ, въ древней Греціи и Римѣ. Здѣсь утонченныя привычки были такъ сложны, сильны и многочисленны, что для ихъ удовлетворенія требовались сотни и тысячи людей. Между тѣмъ, человѣчество не выработало еще въ то время тѣхъ формъ добровольнаго труда (наемныхъ рабочихъ), которыя впослѣдствіи смѣнили рабство. И вотъ приходилось для

удовлетворенія этихъ потребностей заставлять другихъ работать силой. Неповиновеніе раба или его бѣгство грозили владѣльцу нарушеніемъ его привычныхъ потребностей, чувствуемыхъ, при извѣстной изнѣженности, такъ сильно, что страданіе отъ такого лишенія заглушало голосъ симпатіи.

Тоже и относительно всякой иной собственности. Чувство собственности и суровость ея защиты возростаютъ съ усиленіемъ борьбы за существованіе и съ возростаніемъ нашей потребности или привычки къ окруженію себя «вещами» или предметами комфорта.* Для дикаря такія лишенія нечувствительны; для человѣка, избалованнаго цивилизаціей, они иногда кажутся невыносимыми.

Но почему-же, впослѣдствіи, въ той-же Европѣ, законы о нарушеніи собственности стали гораздо мягче? Почему рабство стало до такой степени невыносимо чувству европейскаго человѣка, что попытка воскресить его въ Америкѣ вызвала войны для защиты рабовъ?

Это объясняется такъ: постепенная организація въ европейскихъ государствахъ усовершенствованной полиціи и судовъ настолько оградила общество отъ преступленій и кражъ, что въ прежнихъ жестокихъ карахъ уже не чувствовалось *необходимости*. И вотъ они постепенно смягчаются по тому-же закону симпатіи, которая, какъ мы видѣли, слабѣетъ и заглушается лишь пропорціонально *необходимости* самосохраненія.

Относительно же американскаго рабства, Ферреро развиваетъ другой законъ, управляющій симпатіей, который онъ называетъ «*закономъ сравненія*». Состоитъ онъ въ томъ, что *чужое страданіе поражаетъ тѣмъ*

---

* При обиліи свободныхъ земель, слабо чувство земельной собственности, но сильно чувство собственности рабовладѣльческой, такъ-какъ труднѣе имѣть рабочія руки. Этимъ объясняетъ Ферреро,—какъ и Лоріа,—возникновеніе рабства въ Америкѣ.

сильнѣе, чѣмъ менѣе мы привыкли видѣть его какъ явленіе обычное. Такъ, напр., въ наше время всѣхъ привели-бы въ ужасъ способы лѣченія сумасшедшихъ, практиковавшіеся еще недавно. Какъ извѣстно, ихъ лѣчили «устрашеніемъ» и съ этой цѣлью привязывали, напр., къ быстро-вращающемуся креслу, причемъ больного оставляли въ полной темнотѣ, а комнату, гдѣ совершалась эта пытка, наполняли вонючимъ и удушливымъ газомъ. Еще чаще больныхъ заставляли неожиданно падать въ воду или сажали въ яму, которая постепенно наполнялась водой, такъ-что больной могъ думать, что онъ утонетъ,—пока вода не останавливалась у его шеи.

Не болѣе гуманныя средства употребляли и хирурги: напр., чтобы остановить кровотеченіе въ ампутированномъ членѣ, они погружали его въ кипящую смолу и т. п. Въ то время это никому не казалось нетолько жестокостью и варварствомъ, но представлялось истиннымъ благодѣяніемъ. Теперь-же, когда наука изобрѣла хлороформъ для оперируемыхъ, когда она доказала, что для душевно-больныхъ вредны даже привязываніе и «сумасшедшія рубашки»,—конечно, понятенъ тотъ ужасъ, который испытали-бы мы, узнавъ даже о томъ фактѣ, что хирургъ не хлороформировалъ больного, имѣя къ тому полную возможность, и т. д.

Тутъ, очевидно, кромѣ закона «необходимой потребности», съ которымъ примиряется наша симпатія,—господствуетъ еще «законъ сравненія»: въ то время какъ рабства уже не существовало въ Европѣ и во многихъ штатахъ Америки,—возобновленіе его въ другихъ штатахъ, конечно, дѣйствовало потрясающимъ образомъ на души людей, отвыкшихъ отъ этого института. Между тѣмъ, въ Греціи и Римѣ великіе философы и ученые, даже самъ Аристотель, считали это учрежденіе нетолько законнымъ, но и благодѣтельнымъ для самихъ рабовъ.

Они доказывали, что это пріобщаетъ раба къ цивилизаціи, учитъ его труду и т. д., и т. д.

На эту черту—философскаго и моральнаго оправданія какихъ-либо человѣческихъ страданій, Ферреро справедливо обращаетъ особое вниманіе: когда начинаетъ сознаваться въ обществѣ тяжолое положеніе какой-либо группы людей, то почти всегда среди лицъ, которымъ выгодно это положеніе, являются моралисты и философы, старающіеся оправдать его въ интересахъ самихъ страдающихъ. Напр., въ Америкѣ, въ защиту рабства явились цѣлые теоретическіе трактаты. Между прочимъ, въ публичномъ собраніи въ Гваделупѣ, въ 1838 г., говорилось, что «торговля рабами была счастливымъ, *благороднымъ, человѣчнымъ* результатомъ стремленія защитить безчисленное количество несчастныхъ рабовъ отъ вѣрной смерти, грозившей имъ въ ихъ родныхъ краяхъ». Доказывалось даже, что только этимъ путемъ «они могутъ быть пріобщены къ христіанству, и изъ варваровъ и людоѣдовъ, какими были у себя на родинѣ,—посредствомъ подражанія примѣру людей цивилизованныхъ,—сами вступятъ на извѣстные пути цивилизаціи».

При помощи такого самооправданія, люди находили возможность заглушать голосъ своей естественной симпатіи.

Для этой-же цѣли служило имъ и другое, чисто внѣшнее обстоятельство: какъ мы видѣли, «симпатія» есть отвращеніе къ причиненію страданія себѣ подобнымъ. Если мы всмотримся ближе въ то,—чье именно страданіе производитъ въ насъ наиболѣе тяжелое впечатлѣніе, то увидимъ слѣдующее: чѣмъ болѣе приближается живое существо по своей внѣшности къ намъ самимъ, тѣмъ тяжелѣе намъ его страданіе. Такъ, мы безъ сожалѣнія смотримъ на то, какъ рубятъ лѣсъ; мы не задумываемся, когда топчемъ ногой какое-нибудь насѣкомое. Нѣкоторые вегетаріанцы допускаютъ употребленіе рыбы. Но едва дѣло доходитъ до теплокровныхъ животныхъ, особенно

тѣхъ, которыя живутъ вмѣстѣ съ нами, страданія ихъ для насъ мучительны, и тѣмъ мучительнѣе, *чѣмъ больше мы предполагаемъ въ нихъ внутренняго, психическаго сходства съ нами.* А такъ-какъ заключеніе о внутреннемъ сходствѣ (т. е. одинаковой способности чувствовать) мы дѣлали изъ внѣшняго сходства, то, понятно, что среди людей мы больше сострадаемъ людямъ своей націи, затѣмъ — своей расы. Чужія расы возбуждаютъ въ насъ тѣмъ менѣе симпатіи, чѣмъ они дальше отъ насъ по своимъ внѣшнимъ признакамъ.

Но тутъ замѣчается одно поразительное противорѣчіе, которое, однако, тоже успѣшно объясняетъ Ферреро. Въ наше время есть множество людей, которые горячо защищаютъ животныхъ. Организованы цѣлыя общества, подвергающія судебному преслѣдованію всякаго, кто грубо или жестоко обходится съ лошадью, собакой или кошкой. Но ничего подобнаго такимъ обществамъ мы не видимъ для людей. А, между тѣмъ, западно-европейская, современная цивилизація, несмотря на свои громадныя преимущества передъ недавнимъ прошлымъ, еще заключаетъ въ себѣ не мало человѣческихъ страданій. Такъ, напр., даже такой консервативный ученый, какъ Жюль Симонъ, указываетъ на крайне тяжкое положеніе дѣтей, занятыхъ на Западѣ фабричнымъ трудомъ. Если обратиться къ писателямъ болѣе прогрессивнаго лагеря, то такихъ указаній не оберешься. Очевидно, европейскій человѣкъ еще не изобрѣлъ такой формы экономическаго производства, которая-бы устраняла потребность въ трудѣ дѣтей и т. п. Въ силу этого, передъ нимъ нѣтъ примѣра иныхъ, болѣе гуманныхъ формъ производства, съ которыми онъ могъ-бы сравнивать современное положеніе. Но подобно тому какъ наука и развитіе государственности устранили нужду въ жестокихъ пыткахъ, казняхъ, мученіяхъ душевнобольныхъ, истязаніяхъ оперируемыхъ и т. п., устранили тѣмъ, что сдѣлали ихъ ненужными,—такъ, вѣроятно, они устранятъ и нужду въ

нѣкоторыхъ современныхъ страданіяхъ или лишеніяхъ людей.

Тутъ намъ становится очевиднымъ и еще одинъ фактъ: мораль, т. е. симпатія, можетъ развиваться не сразу относительно всѣхъ сторонъ жизни, но, такъ-сказать, по частямъ или группамъ. Отъ этого-то въ иныхъ отношеніяхъ впереди насъ могутъ стоять даже дикари, но зато въ другихъ — мы несомнѣнно стоимъ впереди ихъ. Какое-либо измѣненіе въ условіяхъ жизни можетъ сразу или освободить нашу симпатію отъ путъ извѣстной потребности, или, наоборотъ, подавить ее и затемнить.

Въ своей книгѣ я указывалъ тѣ условія, которыя помогаютъ развитію симпатіи. Ферреро указываетъ, наоборотъ, тѣ условія, которыя мѣшаютъ ему. Оба момента одинаково важны. Вѣдь изъ борьбы ихъ-то и вытекаетъ результатъ, состоящій въ томъ, направимся-ли мы по пути эгоизма или, наоборотъ, охваченные врожденной симпатіей, отдадимъ «душу свою за други своя».

Какъ усилить въ себѣ и другихъ чувство симпатіи, лежащее въ основѣ морали, мы видѣли: необходимо, во-первыхъ, развивать въ себѣ знаніе внутренняго единства или подобія всѣхъ людей, безъ различія общественныхъ классовъ, положеній, національностей, высоты заслугъ общественныхъ или паденія «блудныхъ дѣтей» общества. Не велика заслуга сочувствовать людямъ лучшимъ и безукоризненнымъ. Истинная заслуга пожалѣть отверженныхъ, сочувствовать врагу... Любить лучшихъ людей можетъ и фарисей. Любить врага можетъ только истинный христіанинъ. Во-вторыхъ, кромѣ этого знанія, которое само по себѣ холодно, необходимо развить въ себѣ способность представлять или воображать чужія страданія. Этому помогаютъ искусства и литература. Величайшая заслуга художниковъ—въ этомъ умѣньи открывать намъ чужія души. Викторъ Гюго умѣлъ заста-

вить милліоны людей плакать страданіями преступника, приговореннаго къ смерти, и этимъ вызвалъ движеніе въ законодательствахъ о смертной казни.

Посмотримъ теперь, что нужно устранять съ своего пути, чтобы не заглушалось чувство симпатіи.

Его заглушаютъ, какъ мы видѣли, во-первыхъ, обиліе и сила привычныхъ потребностей къ комфорту и роскоши. Эти потребности заставляютъ насъ любить вещи больше, чѣмъ людей, трепеща за лишеніе какой-нибудь привычной мелочи въ нашей обстановкѣ и жизни. Очевидно, что проповѣдь самоограниченія, которая слышится въ послѣднее время со стороны нѣкоторыхъ наиболѣе чистыхъ и человѣчныхъ моралистовъ, имѣетъ важное значеніе. Но эта проповѣдь должна быть разумна, т. е. не должна распространяться на такія потребности, которыя увеличиваютъ симпатію къ людямъ, напримѣръ, на потребность въ знаніи, въ искусствѣ,— конечно, не въ искусствѣ и знаніи безплодныхъ. Съ отрицаніемъ *такого* знанія и искусства слѣдуетъ идти объ-руку. Во-вторыхъ, мы видѣли, что симпатію подавляетъ отсутствіе живого примѣра иныхъ, болѣе совершенныхъ отношеній между людьми, напримѣръ, въ области производства и т. п. Отсюда очевидно, что проповѣдь— воздѣйствія на людей *личнымъ примѣромъ* лучшей жизни имѣетъ глубокія основанія. Но не нужно ограничивать этого «примѣра» узкой сферой личнаго совершенствованія. Необходимо создавать болѣе идеальныя формы лучшихъ нравственныхъ и экономическихъ отношеній, хотя-бы и въ небольшихъ размѣрахъ. Поэтому имѣютъ немалое значеніе тѣ дѣятели, которые заботятся объ устройствѣ артелей среди кустарей, о сохраненіи среди крестьянъ общественнаго землевладѣнія и т. д. и т. д. Даже люди, относящіеся къ своимъ наемникамъ, крестьянамъ, рабочимъ съ самоотверженной заботой и гуманностью, помогаютъ этимъ торжеству симпатіи, хотя и въ малыхъ размѣрахъ. Важно вѣдь

даже приближеніе къ идеалу добра, если человѣкъ не въ силахъ осуществить идеалъ вполнѣ. Черезчуръ идеальныя требованія, особенно, если при этомъ осуждается неполное осуществленіе идеала, — опасны: они могутъ заставить вовсе сложить руки, при отсутствіи надежды достигнуть идеальной высоты. Между тѣмъ, первые, робкіе шаги въ области добра и симпатіи заставятъ сдѣлать потомъ и дальнѣйшіе.

Л. Оболенскій.

ОБЛИКЪ.

Несомнѣнно, что Александръ Ивановичъ Телепневъ былъ человѣкомъ отвратительнымъ.

Но, при этомъ, прекрасная внѣшность, игривый умъ и большой талантъ: Александръ Ивановичъ, обладая замѣчательнымъ голосомъ, не коснувшись нашихъ консерваторій, но занявшись пѣніемъ въ Италіи втеченіе трехъ лѣтъ, вернулся въ Россію и «поцѣловалъ», какъ говорятъ французы, сценическую дорогу.

У него былъ отличный баритонъ, а внѣшностью своею онъ отчасти напоминалъ, en beau, нашего Петрова-Сусанина и былъ въ этой роли, какъ и въ нѣсколькихъ другихъ, очень хорошъ.

Ничто и никогда въ жизни не привязывало къ себѣ этого человѣка, и если въ его весьма космополитической совѣсти существовалъ особенно темный уголокъ, такъ это тотъ именно уголокъ, въ которомъ, какъ въ архивѣ безъ каталога, складывались эпопеи отношеній его къ женщинамъ.

Уголокъ этотъ былъ богато снабженъ всѣми болѣе или менѣе крупными событіями жизни Александра Ивановича. Сложенныя въ него, или, лучше сказать, сваленныя въ кучу бытописанія его похожденій, будучи быстро забываемы, одно вслѣдъ за другимъ, какъ и всѣ заброшенные уголки архи-

вовъ, если не покрывались пылью и не были затянуты паутиною, такъ исключительно потому, что въ архивъ то и дѣло сваливались новые документы.

Хотя Телепневу минуло сорокъ лѣтъ, но снабженный превосходнымъ здоровьемъ и особенно счастливою организаціею, онъ находился въ полномъ блескѣ своихъ успѣховъ и пользовался ими во всю.

За послѣдніе два года онъ входилъ въ составъ оперной труппы одного изъ нашихъ лучшихъ губернскихъ городовъ. Чуть-ли не столица, городъ этотъ былъ и есть настолько многолюденъ и богатъ, что давалъ и даетъ возможность содержать въ немъ двѣ превосходныхъ труппы—драматическую и оперную.

Черты лица Телепнева были извѣстны всему городу, благодаря множеству фотографій его, выставленныхъ во всѣхъ лучшихъ магазинахъ. Въ бранныхъ доспѣхахъ и въ гражданскихъ одѣяніяхъ, Александръ Ивановичъ былъ равно красивъ. Высокій лобъ, прекрасное очертаніе овала лица, темные, снабженные густыми рѣсницами глаза, высокій ростъ и гордая, какъ-бы фельдмаршалская осанка прославлялись и почитались городскими дамами.

Дамами... это-бы еще ничего; но къ несчастію, молодыми и неопытными дѣвушками.

Снизошолъ Телепневъ какъ-то къ одной гувернанткѣ.

Отдать себя всю и за это не спросить ничего; полюбить пламенно и безпредѣльно, не спросивъ даже, любятъ-ли; расцвѣсти для любви только разъ, единственный разъ, какъ это знаменитое алоэ оазисовъ Африки, или тотъ Мохамедъ изъ Іемена въ извѣстномъ стихотвореніи Гейне, который полюбивъ—умиралъ, — это было удѣломъ гувернантки.

Отдать отъ всего своего пестраго бытія только нѣкоторую долю страстности и то на короткое время; не любить вовсе и тяготиться отвѣтною любовью; находиться въ вѣчномъ цвѣтеніи какой-то самовозобновляющейся весны, полной не живыхъ цвѣтовъ и соловьиныхъ трелей, а удивительныхъ искуственныхъ цвѣтовъ, надушенныхъ наркотическими благовоніями, цвѣтовъ, бумажное безсмертіе которыхъ одухотворялось звуками чудеснѣйшихъ и благозвучнѣйшихъ, неизвѣстно гдѣ скрытыхъ машинныхъ гармоній,—это было удѣломъ Телепнева.

Случилось какъ-то такъ, что для завершенія спектаклей передъ рождественскимъ постомъ, давали въ театрѣ «Жизнь за Царя». Въ началѣ седьмого вечеромъ, кончая обѣдать въ лучшемъ и, дѣйствительно, хорошемъ ресторанѣ города, Телепневъ напомнилъ своему пріятелю Ѳивову, человѣку лѣтъ тридцати, пріятной наружности и сомнительныхъ средствъ существованія, о заранѣе условленномъ ближайшемъ свиданіи.

— Ты зайдешь за мною къ концу третьяго дѣйствія, и мы отправимся.

— Да пріѣдетъ-ли она?

— Навѣрное.

Дѣло касалось гувернантки, имѣвшей глупость отдаться Телепневу. Онъ, послѣ весьма недолгаго времени, вздумалъ «передать» ее Ѳивову и назначилъ для первыхъ маневровъ въ этомъ направленіи вечеръ того представленія, на которое онъ шолъ.

Два слова о Петрѣ Петровичѣ Ѳивовѣ. Это былъ своего рода мародеръ. Когда дѣйствующая армія покорителя женскаго сердца, воплощавшаяся, въ данномъ случаѣ, въ Телепневѣ, празд-

новала побѣду, добытую не безъ усилій, не безъ хитрыхъ стратегическихъ и тактическихъ пріемовъ, и шла далѣе, къ другой побѣдѣ, Ѳивовъ находился всегда въ тылу этого побѣднаго шествія и неоднократно подбиралъ оставшееся и, надобно сказать правду, не безъ успѣха, иногда довольно быстраго. Стоитъ вспомнить знаменитую сцену въ «Ричардѣ III», гдѣ подлѣ гроба короля Генриха его убійца Глостеръ признается въ любви королевѣ-женѣ убитаго, клянется ей въ любви тутъже при гробѣ и дѣйствительно успѣваетъ, втеченіе какихъ-нибудь четверти часа...

«Была-ль когда такъ ведена любовь?
Была-ль такъ женщина добыта?»—

иронически восклицаетъ вслѣдъ удаляющейся леди Анны, Глостеръ, только-что зарѣзавшій ея отца и ея мужа и добившійся любви въ четверть часа времени!

Конечно, Ѳивовъ не былъ Глостеромъ, но мародеромъ онъ былъ.

— Такъ, смотри-же, сказалъ ему, готовясь идти въ театръ, Телепневъ,—не опоздай; это будетъ часовъ около десяти съ половиною. Я привезу ее съ собой.

— Ладно.

— Помни, что у нея есть одна слабая сторона, которою можно прилучить ея сердечко.

— Любовь ея къ отцу?

— Да.

— Мы будемъ разговаривать о немъ; я стану дурачить эту любовь, непривѣтно отзовусь о немъ, а ты защити. Понимаешь?

— Еще-бы!

— Затѣмъ я поссорюсь и уйду, а дальнѣйшее будетъ въ твоемъ умѣніи.

— Я постараюсь помирить васъ, неправда-ли? Предложу свои услуги. Такъ-ли?

— О, да, да! Ты понялъ, понялъ!

Пріятели разстались, и Телепневъ направился въ театръ; времени оставалось немного.

Въ роли Сусанина Телепневъ вызывалъ частыя и единодушныя рукоплесканія. Осанистая, чрезвычайно благообразная фигура его, игра хорошей школы, душевно звучавшій голосъ, мастерски обработанный и пускаемый въ ходъ съ замѣчательнымъ умѣніемъ и экономіею силы, многія музыкальныя фразы высокаго художественнаго достоинства и, наконецъ, одна изъ благодарнѣшихъ ролей,—роль костромского старца,—все это не могло не вліять на зрителей и слушателей. Несомнѣнно. что многіе изъ нихъ который уже разъ въ жизни находились подъ обаяніемъ музыки Глинки и передачи главной роли Телепневымъ, исполняемой имъ въ городѣ чуть-ли не въ двадцать-пятый разъ.

По окончаніи третьяго дѣйствія, Телепневъ направился, согласно условію, съ Ѳивовымъ для совершенія предположеннаго имъ дѣянія.

Много есть бѣдныхъ людей, изыскивающихъ разныя неблаговидныя средства для добычи денегъ, нерѣдко съ наилучшими цѣлями, напримѣръ, для поддержанія своей семьи. Имѣются. напримѣръ, въ большихъ городахъ квартиродержатели, отдающіе комнаты свои для разныхъ болѣе или менѣе незаконныхъ цѣлей; это не трактиръ, не меблированныя комнаты, это частныя квартиры съ нѣкоторыми особенностями меблированныхъ комнатъ. Въ этихъ квартирахъ нерѣдки два хода на улицу, или на улицы; меблировка ихъ часто очень комфортабельна, и въ нихъ

имѣется прислуга, хорошо знающая свои обязанности. Находясь въ подобной комнатѣ, посѣтитель слышитъ нерѣдко изъ-за стѣны дѣтскіе голоса; это именно тѣ дѣти, для которыхъ отецъ или мать пустились въ добываніе денегъ отдачею на часы комнаты въ «семейномъ домѣ». И дѣйствительно: семья эта — солидная, хорошая, оберегаемая и воспитываемая самою любящею родительскою властью, самымъ сердечнымъ вниманіемъ. Въ семьѣ этой (такъ думаютъ, по крайней мѣрѣ, отецъ и мать) — дѣти никогда не узнаютъ тщательно скрываемаго ремесла: отецъ, одинъ отецъ беретъ на себя, на свою совѣсть совершаемое имъ, потому-что не умирать-же съ голоду бѣднымъ его дѣтямъ, не оставлять-же безъ медицинской помощи давно больной, неизлѣчимо больной жены. Богъ разсудитъ впослѣдствіи, кто правъ, кто виноватъ въ данномъ случаѣ, но вѣрно то, что такія квартиры существуютъ, и въ одну изъ нихъ, завершивъ свое пѣніе въ оперѣ, направился, согласно условію съ Ѳивовымъ, Телепневъ. На ближайшемъ перекресткѣ ожидала его гувернантка, и они вошли въ таинственную квартиру вдвоемъ. Обстановка была хороша, почти роскошна. Лампа, подъ большимъ краснымъ абажуромъ освѣщала комнату со стороны дивана. У другой стѣны стоялъ накрытый къ ужину столъ, и Ѳивовъ суетливо хлопоталъ вокругъ стола, уставленнаго хорошими закусками.

— Го, го, го, го! воскликнулъ онъ, завидя вошедшихъ.—Что такъ рано?

— Своевременно! отвѣтилъ Телепневъ и бросилъ на кресло опушенную снѣгомъ бобровую шапку.

— Здравствуйте, Анна Семеновна, сказалъ Ѳивовъ, отставивъ коробку съ икрой, только-что имъ открытую, и подошолъ къ ручкѣ гувернантки.

Ручки цѣлуютъ обыкновенно у дамъ почтенныхъ, и у тѣхъ дамъ, которыя, подобно Аннѣ Семеновнѣ, въ данномъ случаѣ, никакъ не могутъ считаться почтенными, — это особенно нравится; Ѳивовъ зналъ эту особенность и не замедлилъ выполнить ее.

— Вы не въ духѣ сегодня, проговорила гувернантка, обращаясь къ Телепневу и довѣрчиво кладя ему обѣ руки на плечи.

— Будешь тутъ не въ духѣ, отвѣтилъ онъ довольно рѣзко, снимая съ себя руки гувернантки, какъ обузу, тяготившую его: — твой отецъ, ветеранъ французской службы, мнѣ всю жизнь отравляетъ. Опять письмо получилъ.

Телепневъ завѣдомо лгалъ: никакого письма за послѣднее время онъ не получалъ. Отецъ гувернантки, жившій постоянно въ Парижѣ, прослышавъ какъ-то объ отношеніяхъ своей дочери, дѣйствительно писалъ ему раза два, причемъ сообщалъ Телепневу, что отнюдь не сомнѣвается въ его честныхъ намѣреніяхъ; но на этотъ разъ новаго письма не получалось.

Анна Семеновна молча отошла въ сторону къ зеркалу, тихонько вздохнула и начала оправлять свою прическу.

— А я, дѣйствительно, не знаю, вмѣшался въ разговоръ Ѳивовъ, начавъ откупоривать бутылку бѣлаго бургонскаго,— зачѣмъ только существуютъ отцы на свѣтѣ?

— Зачѣмъ? отвѣтилъ Телепневъ. — Конечно, чтобы дурить и вмѣшиваться не въ свое дѣло.

— Однако, ты не правъ, mon cher, возразилъ Ѳивовъ своему пріятелю, щелкая пробкою. — Отвѣть-ка: кто тутъ болѣе при своемъ дѣлѣ — отецъ или мы съ тобою?

Анна Семеновна повернула голову отъ зеркала

въ сторону къ Ѳивову и благодарно взглянула на него, не произнеся ни слова. Телепневъ въ это время вздернулъ плечами и, тоже не говоря ни слова, никого не приглашая къ столу, сѣлъ къ нему и принялся за устрицы.

— Садитесь, Анна Семеновна, садитесь, быстро проговорилъ Ѳивовъ, придвинувъ стулъ и прося гувернантку сѣсть.

— Благодарю васъ, отвѣтила она и сѣла.

— Устрицъ не угодно-ли? спросилъ Ѳивовъ.— Икорки?.. Вотъ превосходная вещь, случайно парадирующая у насъ сегодня въ закускѣ: это фритированные псковскіе снѣтки.

— Снѣтки?! спросила Анна Семеновна, недоумѣвая, и наклонилась къ столу, чтобы посмотрѣть на предлагаемую закуску.

— Да, да, снѣтки, отвѣтилъ Ѳивовъ.—У меня тамъ, во Псковѣ, братъ есть, военный; при случаѣ онъ посылаетъ; удивительная вещь! Ты пробовалъ, Александръ Ивановичъ? неожиданно спросилъ онъ Телепнева, уничтожавшаго устрицы.

— Нѣтъ, mon cher, отвѣтилъ Телепневъ,— да и пробовать не хочу; между снѣтками, вѣроятно, тоже много отцовъ есть, а я отцовъ пожирать избѣгаю— дѣтки заплачутъ.

Грубый, циничный отвѣтъ этотъ покоробилъ Анну Семеновну настолько, что она, только-что взявшись за ножикъ и вилку, бросила ихъ на свою тарелку и откинулась на спинку стула.

— Ты нахалъ! быстро отвѣтилъ Телепневу Ѳивовъ и, поднявшись съ мѣста, упорно глядѣлъ на него.

— Садись, садись, mon cher! отвѣтилъ Телепневъ, не поднимая на него глазъ своихъ и продолжая уничтожать устрицы.— Я сначала поѣмъ

вдосталь, а потомъ, если хочешь, поговоримъ въ серьезную.

Ничего не отвѣтивъ, Ѳивовъ сѣлъ на свое мѣсто и, покачавъ головою, молча взглянулъ на Анну Семеновну: она была блѣдна какъ смерть и только слегка кивнула ему головою.

Недостойная сцена эта, которую, согласно условію, Телепневъ и Ѳивовъ начали разыгрывать такъ мастерски, имѣла свое продолженіе. Кончилось крупною перебранкою между обоими друзьями: Ѳивовъ мужественно стоялъ за отца Анны Семеновны и вызвался проводить ее домой.

Еслибы бѣдная дѣвушка была хотя сколько-нибудь опытна въ распознаваніи тѣхъ махинацій, одна изъ которыхъ происходила передъ нею и въ которой она была намѣченною жертвою, она, можетъ быть, и замѣтила-бы нѣкоторыя несообразности. Такъ, напримѣръ, она не могла-бы не замѣтить, что оба соперника, обмѣниваясь выраженіями, вслѣдъ за которыми не могло быть мѣста ничему иному, какъ дуэли,—отлично уничтожали тѣ гастрономическія тонкости, которыя передъ ними стояли на столѣ, и не сбились ни въ порядкѣ слѣдованія яствъ, ни въ выборѣ подходящаго къ нимъ вина. Такъ, могла-бы она уловить нѣкоторые взгляды спорщиковъ, не всегда соотвѣтствовавшіе горячности ихъ выраженій.

На ужинахъ, подобныхъ тому, который имѣлъ мѣсто, обыкновенно никакой прислуги не полагается; она появляется до прибытія дамъ, для того, чтобы накрыть столъ и уставить его всѣмъ необходимымъ, а затѣмъ, послѣ окончанія ужина,—для того, чтобы убрать оставшееся, поставить на мѣста иногда опрокинутые стулья, подобрать съ полу салфетки и проч.

Такъ было это и теперь: въ первомъ часу ночи удалился Телепневъ.

— Спасибо вамъ, дорогой мой Петръ Петровичъ, за себя и за моего бѣднаго отца, сказала Ѳивову гувернантка.

— Но вы должны простить моего друга, возразилъ, низко кланяясь, глядя на женщину исподлобья и по-кошачьи улыбаясь, Ѳивовъ.

— Простить!?

— Да, забыть!

— Забыть?!

— Да.

Ничего не отвѣтила ему Анна Семеновна и, сопровождаемая имъ, вышла на улицу. Кликнули извощика и направились къ тому дому, въ которомъ служила гувернанткой Анна Семеновна.

Ея позднія отлучки очень не нравились, и на утро предстояла сцена. Сцена за ужиномъ была разыграна мастерски, но до виртуозности Ричарда III-го—Ѳивовъ все-таки не дошелъ.

Если не дошолъ Ѳивовъ полностью до Ричарда III-го, то слѣдуетъ замѣтить, что не весь сполна Телепневъ присутствовалъ на ужинѣ: нѣкоторая доля его личности какъ-бы отсутствовала, осталась въ театрѣ. Какъ было упомянуто, исполненіе имъ роли Сусанина было выше всякой похвалы. Слушатели находились подъ полнымъ его обаяніемъ.

Въ четвертомъ дѣйствіи «Жизни за Царя» — Сусанинъ, какъ извѣстно, болѣе не появляется. Зрители находятся, однако-же, въ созерцаніи его невидимаго облика, сквозящаго полностью и въ пѣснѣ Вани, и въ плачѣ новобрачныхъ, и въ блескѣ царскаго шествія, и въ колокольномъ

перезвонѣ Москвы. Обликъ отсутствующаго присущъ, дѣйствуетъ, видимъ, ощущаемъ.

Пѣвца не имѣлось уже въ театрѣ, но обликъ его продолжалъ свое дѣло: онъ будто сорвался съ человѣка, отдѣлился, сталъ самостоятельнымъ, независимымъ отъ бреннаго тѣла, его произведшаго, и хозяйничалъ въ театрѣ внѣ и послѣ него.

Когда Телепневъ былъ еще въ театрѣ—рукоплесканія, бисированія и вызовы сыпались обильно, и торжествовавшій, готовившійся идти ужинать съ гувернанткою художникъ принималъ ихъ какъ нѣчто ему должное и вполнѣ привычное. И онъ былъ правъ, этотъ художникъ; исполняя роль, онъ, дѣйствительно, будилъ въ людяхъ хорошія чувства, онъ отрезвлялъ ихъ; онъ, невѣдомо какъ, безсознательно для себя самого и для каждаго изъ зрителей, преображалъ театральный залъ въ какую-то психическую лабораторію, гдѣ, въ горнилѣ художественнаго творчества, сердца людей очищались, обновлялись, пріобрѣтали нѣкоторую невсегда привычную имъ чистоту и какъ-бы блескъ и становились лучше. Это происходило въ каждомъ изъ зрителей разными путями, словно разными химическими соединеніями; работали въ сердцахъ людскихъ: воспоминанія и мечты, въ каждомъ по своему, упреки совѣсти, чувства благодарности и самопожертвованія, никому и никогда не повѣданныя надежды и совершенно неспособные воплотиться въ правду порывы къ любви и добру...

И все это вызывалъ къ жизни счастливецъ-художникъ, и вотъ почему обликъ его даже послѣ ухода самого художника, вполнѣ по праву, являлся властителемъ думъ и сердецъ слушателей и зрителей и какъ-бы въ качествѣ какого-то химическаго начала вызывалъ броженіе въ мысляхъ и чувствахъ людскихъ.

Дѣло науки, будущаго разъяснить эти незримые и непостижимые для современнаго человѣка процессы броженія душевнаго, въ которыхъ вполнѣ невещественный, если хотите—духовный элементъ, какъ обликъ человѣка, который, все-таки ничто иное, какъ созданіе фантазіи людей, видѣвшихъ оригиналъ, обусловливаетъ явленія вполнѣ ощутимыя, вѣсомыя, матеріальныя. Въ данномъ случаѣ—пѣвецъ, въ полной совокупности его внѣшности, его голоса, игры, при участіи и значеніи сюжета оперы и музыки, при видоизмѣненіяхъ декорацій и свѣтовыхъ эффектовъ, увлекалъ всѣхъ и каждаго, въ большей или меньшей степени, къ чему-то болѣе свѣтлому, доброму, лучшему. Въ зрителяхъ происходило нѣчто подобное очищенію воздуха грозою, съ тою, однако, существенною разницею, что гроза дѣйствуетъ быстро, мгновенно, а тутъ очищалась и успокоивалась душа людская во времени, не вдругъ, не вся сразу, а какъ-бы провѣтриваніемъ между crescendo и pianissimo музыки, между регистрами баса, сопрано, тенора и альта.

А самъ Телепневъ, тотъ, чей обликъ, оставшись въ театрѣ, такъ благотворно хозяйничалъ въ сердцахъ людскихъ, самъ онъ что́ дѣлалъ въ это время?

К. Случевскій.

Выжатые лимоны.

На дворѣ зима лихая...
Солнце красное взошло
И, то щурясь, то мигая,
Смотритъ въ мерзлое стекло.
Въ ночь цвѣты полярной флоры
Разрослись на томъ стеклѣ;
Рдѣютъ бѣлые узоры,
Уловляя въ сѣрой мглѣ
Пурпуръ солнца, блескъ лучистый,
Розовато-золотистый...

Въ томъ-же розовомъ огнѣ,
Въ полосѣ луча и пыли
Золотились на окнѣ
Два лимона: ихъ забыли —
И не выкинули ихъ...
Два лимона — какъ два брата —
Оба выжаты, — и смята
Ихъ краса была, и въ нихъ
Говорило горе... Мнилось,
Кто-то молча слушалъ ихъ...
Близко чье-то сердце билось.

Съ дѣтства мыслящій старикъ,
Тоже смятый, онъ недаромъ
Оглянулся — и поникъ
У стола, за самоваромъ.
Самоваръ его потухъ,
Но еще таилась сила —
Паръ таился въ немъ, — и вдругъ
Мѣдь его заголосила,
Тихо стала пѣть и ныть...
Вслѣдъ за ней и два лимона
Тоже стали голосить:

«Въ вертоградахъ Лиссабона,
Дѣти марта и весны,
Были мы не для Мамона,
А для солнца рождены.
Помнишь, какъ благоухали
Наши бѣлые цвѣты,
Въ тѣ часы, какъ намъ мигали
Божьи звѣзды съ высоты?..
И какіе сны намъ снились
Въ дни, когда мы золотились
На припекѣ, — въ дни, когда
Все вкругъ насъ какъ-бы дремало
Или млѣло — лишь журчала
Гдѣ-то въ жолобѣ вода!..
Что-же сдѣлали вы съ нами,
Люди злые, безъ души! —
Насъ нечистыми руками
Обобрали торгаши.
И теперь въ какой трущобѣ
Очутились мы! Куда
Насъ умчала въ дикой злобѣ
Намъ враждебная среда!
Выжимаютъ сокъ нашъ — нашу
Кровь — въ дымящуюся чашу...

Ахъ, какъ грустно самоваръ,
Потухая, напѣваетъ!..
Ужь не онъ-ли превращаетъ
Простывающій свой паръ,
Осѣдающій на окна, —
Въ серебристыя волокна,
Въ видѣ листьевъ и цвѣтовъ,
Въ видѣ блѣдныхъ привидѣній
Намъ невѣдомыхъ растеній,
Отъ которыхъ жутко намъ,
Свѣтлой родины сынамъ.
Кто вернетъ намъ сѣнь душистыхъ
Лавровъ, или зной лучистыхъ
Нашихъ дней? Ужели нѣтъ —
Въ цѣломъ мірѣ нѣтъ — закона,
Чтобъ два выжатыхъ лимона
Воротить на вольный свѣтъ?»

Солнце, то же,—что и лѣтомъ, —
То-же солнце, чье тепло
Миртъ и лавры вознесло, —
Ни привѣтомъ, ни отвѣтомъ
Не могло служить имъ; — нѣтъ,
Солнца пурпурный разсвѣтъ
Въ этотъ мигъ холоднымъ свѣтомъ
Озарялъ немало бѣдъ.
И цвѣты полярной флоры —
Эти бѣлые узоры,
Тѣ, что имъ озарены
Такъ роскошно, такъ привѣтно, —
Будутъ имъ-же незамѣтно
Навсегда унесены...

— Вотъ что нужно пустозвонамъ!
Молвилъ мой старикъ. — Пора
Мнѣ и выжатымъ лимонамъ

Въ смерти ждать себѣ добра,
Или ластиться къ внучатамъ...
Духъ ни выжатымъ, ни смятымъ
Быть не можетъ... Такъ луча
Солнца, что сродни съ эфиромъ,
Ураганъ, надъ дольнимъ міромъ
Тучи, прахъ и волны мча,
Пошатнуть никакъ не можетъ, —
Такъ и вѣры не встревожитъ
Суета...
И мой старикъ
Головой опять поникъ:
Онъ считалъ себя измятымъ
Жизнью, — значитъ, виноватымъ...
И затѣмъ, какъ-бы сквозь сонъ,
Бормоталъ онъ: «Боже правый!
Денегъ жаждетъ міръ лукавый,
Глупый гонится за славой,
Ропщетъ выжатый лимонъ!»

Я. П. Полонскій.

НА ЛАДОГѢ.

(Изъ путевыхъ впечатлѣній).

1. Съ юга на сѣверъ.

Есть какое-то особенное наслажденіе въ путешествіи—по желѣзной-ли дорогѣ, на пароходѣ-ли, или на тройкѣ,—съ одного конца необъятной земли родной на другой ея конецъ. Не двигаешься, не напрягаешься, а сидишь себѣ съ безмятежнымъ спокойствіемъ на своемъ мѣстѣ и созерцаешь незамѣтно мѣняющіяся черты лица земного. Это постепенное, неспѣшное чередованіе картинъ природы всегда вызываетъ въ моей душѣ тихое очарованіе, когда приходится ѣхать безъ остановки въ одномъ направленіи нѣсколько дней сряду. Какія это картины природы—для меня все равно. Природа вездѣ обаятельна, вездѣ прекрасна. Однообразіе ея такъ-же по своему выразительно, какъ и самое яркое разнообразіе, такъ-же заставляетъ голову задумываться, такъ-же трогаетъ сердце и наполняетъ душу инстинктивнымъ сознаніемъ себя нераздѣльною частицею общей жизни міра...

Такія ощущенія испытывалъ я и въ мою недавнюю поѣздку, не знаю уже которую по счету, черезъ необъятныя равнины родной Руси съ юга на сѣверъ, изъ степей Малороссіи на туманные финскіе и ладожскіе берега...

Московская губернія кажется уже совсѣмъ особымъ краемъ для глазъ южанина, привыкшаго къ безбрежному горизонту черноземныхъ степей безъ лѣсовъ и рѣкъ, къ соломеннымъ крышамъ и бѣлымъ хохлацкимъ мазанкамъ, осыпаннымъ кругомъ, будто гнѣздами огромныхъ грибовъ, скирдами хлѣба... Вмѣсто лѣниво-движущагося вола, лѣниво-движущагося хохла, вмѣсто тихой жизни одинокаго хутора,—тутъ вездѣ веселятъ глазъ зеленые лѣса, стѣнами, островами задвигая горизонтъ, полки бѣлыхъ березъ, арміи темныхъ елей и сосенъ. То и дѣло могучія полноводныя рѣки прорѣзаютъ своими вьющимися голубыми кольцами ярко-зеленые луга и блѣдножелтые пески... Все тутъ сочно, влажно, зелено; гдѣ ни копни, вездѣ вода подъ ногою: это чувствуется по легкому знобу утреннихъ и вечернихъ часовъ, даже и въ теплый лѣтній день,—чего совсѣмъ не знаетъ наша горячая степная сушь. Гуменъ ужь совсѣмъ не видно, но зато всѣ луга уставлены какъ шашечница шашками — безчисленными стогами снѣга, сложенными и укрытыми не по нашему, потому-что тутъ поневолѣ выучишься какъ защищаться отъ дождей и сырости. И вездѣ на берегахъ этихъ веселыхъ рѣкъ—деревни, церкви, фабрики, монастыри Они то-и-дѣло живописно выглядываютъ своими бѣлыми башнями и золотыми крестами изъ лѣсовъ и рощъ.

Въ деревняхъ—все высокія тесовыя крыши, все хорошіе рубленные дома, подчасъ съ мезонинами, съ балконами, даже въ два яруса. Большіе пятиглавые соборы этихъ деревень—хоть прямо переноси въ любой губернскій городъ. А ихъ сразу видишь здѣсь цѣлый десятокъ. И такъ-же часты заводы, фабрики, помѣщичьи усадьбы съ зелеными и красными крышами, съ колоссальными трубами, съ цѣлымъ городкомъ корпусовъ, флигелей, сараевъ, капитально устроенныхъ, отлично содержимыхъ. Такой веселый, яркій и людный видъ! И народъ тутъ такой-же: толстыя и бѣлыя московскія шеи съ подстриж-

кой, хоть ободь гни на нихъ; широкія какъ мѣсяцъ, круглыя, румяныя лица съ смѣлымъ, самоувѣреннымъ взглядомъ смышленыхъ глазъ, въ красивыхъ русыхъ бородахъ, окладистыхъ и лопатою, все больше брюханы въ жилетахъ и картузахъ, въ высокихъ щегольскихъ сапогахъ, даже и не нюхавшіе никогда лаптя, — чаепійцы, балагуры, расторопные торгаши и промышленники... У нихъ тутъ вездѣ по деревнямъ трактиры и чайныя, лавки и ткацкіе станки, токарни и слесарни. Хлѣбное поле смотритъ тутъ жалкимъ, забитымъ пришлецомъ счужи; узкія полосы низенькаго овсишки да запоздавшей ржицы, сѣрорыжая глинка, чуть вспаханная легкою сошкою, чтобы не вывернуть снизу вездѣ залегающей дикой глины, клочки кудрявыхъ коноплянниковъ по луговинамъ,—и нигдѣ мужицкой косы: вездѣ бабій серпъ, успѣвающій собрать горсточкою весь скудный урожай. Копенъ хлѣба тоже не видно; вмѣсто нашихъ неоглядныхъ сплошныхъ батарей, разбросаны по узкимъ полоскамъ поля маленькія кучки снопиковъ, вмѣсто нашихъ скирдовъ, величиною въ домъ,—торчатъ кое-гдѣ рѣдкіе шалашики хлѣба, укрытые хворостомъ и даже досками. Сейчасъ видно, что хлѣбъ тутъ далеко не главный промыселъ, а побочное и второстепенное занятіе; что кормятся тутъ не землею, а своими руками... Народъ здѣшній даже и за сохою поворачивается какъ-то развязно и ловко, совсѣмъ не по нашему. Сейчасъ виденъ проворный и смѣтливый москаль, съумѣвшій въ свое время сѣсть на шею всѣмъ русскимъ областямъ. Вотъ сюда, въ Московскую, Ярославскую, Владимірскую губернію, нужно везти иностранца, если онъ хочетъ изучить настоящій чистокровный типъ русскаго человѣка, создавшаго въ исторіи русское царство, съ его православіемъ и самодержавіемъ.

Потѣшенъ видъ этихъ московскихъ полей. Издали они кажутся разноцвѣтными полосатыми коврами, особенно когда стелются по скатамъ холмовъ. Это такъ-называемое «*шестовое*» землевладѣніе, обычное въ сѣвер-

ной Россіи. Участки отмѣриваются шестами: одинъ, два три шеста въ ширину, и въ длину хоть по нѣсколько верстъ! Каждому хозяину хочется получить хоть-бы самую узенькую полосочку, но только во всякомъ полевомъ участкѣ, чтобы не быть въ обидѣ противъ сосѣда. Вотъ и перекраивается земля безконечно длинными и до невозможности узенькими лентами, словно разлинованный карандашомъ листъ бумаги. Соха не можетъ повернуться на большинствѣ этихъ участковъ, а размахнувшаяся коса непремѣнно задѣнетъ ниву сосѣда; какъ ни узки борозды, отдѣляющія ихъ другъ отъ друга, все-таки очень много земли теряется понапрасну въ этомъ странномъ обычаѣ крошить поля на какія-то дорожки ржи и овса.

За Москвою уже все сплошь зеленое: зеленые лѣса, зеленые луга, зеленыя болота; поля почти совсѣмъ не видно. Оно попадается только маленькими желтыми оазисами, неправильныхъ очертаній, потому-что тутъ внимательно нужно выбирать клочки, годные для зерна. Уже конецъ августа, а овесъ еще стоитъ несжатымъ и недозрѣлымъ. На дальнемъ югѣ тоже зелень вездѣ, но только зелень сухихъ травяныхъ степей,—а здѣсь зелень топей, торфянниковъ, лядинъ изъ-подъ лѣсу. Въ деревняхъ непролазная грязь улицъ, въ поляхъ непролазная грязь проселочныхъ дорогъ. Поневолѣ вспоминаешь татаръ, которые въ древней Руси не отваживались двигаться на нашъ лѣсистый и болотистый сѣверъ, пока льды и морозы не оковывали его топей и его непроѣздныхъ дорогъ.

Сѣверный пейзажъ развертывается все характернѣе по мѣрѣ приближенія къ Твери. Недавно срубленные лѣса по болотистымъ лугамъ, безъ всякихъ перспективъ и живописныхъ ландшафтовъ, ряды водяныхъ канавокъ изъ-подъ торфа, торфяные зарои жирными пластами, нарѣзанными какъ яблочная пастила, и вездѣ кругомъ

длинные черные гробы сложенныхъ торфяныхъ кирпичей, кое-гдѣ даже прикрытые настоящими тесовыми гробовыми крышами. Чѣмъ-то прозаически-смиреннымъ смотритъ этотъ сырой и туманный сѣверный пейзажъ, но въ жаркій лѣтній день, когда голубое небо съ серебряными блюдами облаковъ тихо сіяетъ сквозь свѣжую зелень лѣсовъ,—и онъ отраденъ для глаза, и среди него дышетъ миромъ и счастьемъ грудь человѣка.

Ель постепенно заполоняетъ здѣсь почву, все сплошнѣе и сплошнѣе поднимаются кругомъ ея полчища. Желѣзная дорога обсажена съ обѣихъ сторонъ молодыми елками на всемъ протяженіи своихъ боковыхъ насыпей. Какъ жадно ни пожираютъ лѣсъ пышащіе дымомъ паровозы, то-и-дѣло несущіеся взадъ и впередъ по своимъ рельсамъ, и колоссальныя трубы заводовъ, на каждомъ шагу поднимающіяся изъ этихъ самыхъ лѣсовъ, — а неистощимая земля все-таки успѣваетъ напоить своими соками всѣ эти несчетныя полчища деревьевъ, и недавно вырубленные лѣса опять напираютъ съ обѣихъ сторонъ на желѣзную артерію, опять уже высокіе и густые.

А въ другихъ мѣстахъ совсѣмъ иная картина. На многія версты кругомъ, куда глазъ ни кинешь, все одна равнина мелкаго кудряваго кустарника,—раздолья для зайца и тетерева,—и потомъ около вокзаловъ, на расчищенныхъ полянахъ, сплошные костры и стѣны нарубленнаго дерева, бѣлой березы, сосны и ели,—точно въ груду сваленныя побѣлѣвшія кости всей этой безчисленной рати посѣченныхъ великановъ...

На Волгѣ, на Тверцѣ у Твери—этими костями лѣсовъ завалены всѣ берега и просторныя изгороди многочисленныхъ дровяныхъ складовъ. Сами рѣки тоже покрыты плотами бревенъ, барками дровъ и досокъ.

Только здѣсь поймешь, когда увидишь своими глазами, какое неисчерпаемое богатство лѣсовъ хранитъ въ себѣ нашъ сѣверъ, и насколько эти лѣсныя сокровища его важны въ торговыхъ оборотахъ Россіи съ Европой.

Поймешь, съ другой стороны, и то, какую незамѣнимую пользу принесла намъ желѣзная дорога, прорѣзавъ эту густую область лѣсовъ своею животворящею артеріею, поселившею безопасность и цивилизацію въ дикихъ дебряхъ, гдѣ еще несовсѣмъ давно разбойники спокойно грабили проѣзжихъ торговцевъ.

Черносѣрые дома деревень съ высокими тесовыми крышами говорятъ вамъ тоже, что вы въ странѣ лѣсовъ. Дворовъ и заборовъ тутъ нѣтъ. Вмѣсто нихъ рубленные сараи, рубленныя конюшни и амбары, отдѣльно стоящіе, и такъ-же какъ дома, крытые тесомъ. Даже по лугамъ разбросаны такіе-же рубленные и тесовые сараи безъ оконъ для зимняго сѣна, нѣсколько напоминающіе «Schnenhütte», разбросанныя по альпійскимъ пастбищамъ Швейцаріи. Этотъ видъ черныхъ тесовыхъ деревушекъ безъ трубъ и дворовъ, повидимому, былъ такимъ-же точно во времена Герберштейна, оставившаго намъ въ альбомѣ своего путешествія очень похожіе портреты тогдашнихъ селеній сѣверной Россіи. Мнѣ они кажутся какими-то безпріютными, словно на время построенными, послѣ привычнаго мнѣ домозитаго вида селеній черноземной Россіи.

Но зато самые маленькіе городки здѣсь пахнутъ истинною Русью, не говоря уже о большихъ городахъ, какъ Коломна, Тверь и т. п. Вездѣ въ нихъ сверкаютъ золотыми крестами, бѣлыми башнями большіе многочисленные храмы стариннаго стиля, то шатрами, то пятиглавые; вездѣ видно, что это давно обжитые центры русской торговой и промышленной жизни, получившіе свой городской титулъ далеко не со временъ Екатерины Второй или Александра Перваго, когда деревни перекрещивались въ города не ради ихъ дѣйствительнаго значенія, а по какимъ-нибудь теоретическимъ административнымъ соображеніямъ.

2. По Невѣ.

Странное дѣло: Петербургъ я знаю какъ свою собственную деревню, а на рѣкѣ Невѣ, на настоящей Невѣ, не той, что течетъ между двумя набережными, обставленными дворцами, подъ арками колоссальныхъ мостовъ, а той, что отражаетъ въ своихъ быстрыхъ волнахъ безмолвные лѣса и скромныя деревенскія хижины, — мнѣ еще никогда не приходилось бывать. А между тѣмъ эта прогулка *по всей* Невѣ, отъ ея устья до истока,—очень своеобразная и интересная прогулка для жителя столицы, круглый годъ двигающагося по своимъ безконечнымъ каменнымъ корридорамъ, надъ которыми блѣдно свѣтится только жалкая узенькая полосочка неба.

Мнѣ хотѣлось съѣздить на Валаамъ и въ Коневецъ. и я сѣлъ на финскій пароходъ «Валамо» у глухой пристани подъ тѣнью сада Смольнаго института. Въ каютъ-компаніи было всего-навсего два пассажира: отставной петербургскій священникъ со своимъ юношей-сыномъ, оказавшійся потомъ авторомъ разныхъ духовныхъ книгъ и статей. Я ихъ засталъ за домашнимъ завтракомъ и узналъ по этому поводу отъ финляндца-капитана, нѣсколько понимавшаго по-русски, довольно грустную новость, что пароходъ отправляется въ Ладожское озеро на сей разъ безъ буфета, такъ-какъ онъ назначенъ въ передѣлку и это его послѣдній рейсъ. Хотя я и не совсѣмъ ясно понялъ, какая собственно тѣсная связь существуетъ между обязательнымъ голоданьемъ путешественниковъ среди безпріютныхъ пучинъ Ладоги и предстоящею починкою парохода, но времени запастись чѣмъ-нибудь уже не было, и приходилось волею-неволею предать себя на волю рока. Знакомые еще дома стращали меня, что въ концѣ августа и началѣ сентября, во время осенняго равноденствія, на Ладогу ѣздить опасно и попасть на Валаамъ

бываетъ не всегда легко. Но ожидая всякихъ бѣдъ со стороны коварнаго озера, я всетаки никакъ не разсчитывалъ на возможность погибнуть среди него голодною смертью, и потому довольно храбро отнесся къ обезкураживающему сообщенію молчаливаго капитана.

Вотъ наконецъ всѣ мѣшки съ мукою, всѣ ящики и бочонки, какіе нужно было нагрузить на нашъ пароходъ, благополучно втащены и размѣщены, — и «Валамо» съ отчаянными сигнальными воплями своей черной трубы заработалъ колесами...

Я взобрался вверхъ на рубку, гдѣ уже толпилась немногочисленная и довольно сѣрая публика, взявшая себѣ мѣста на палубѣ. Для меня это всегда самые интересные собесѣдники, и я понемножку началъ заводить разговоры то съ однимъ, то съ другимъ, разсчитывая непремѣнно натолкнуться на какого-нибудь настоящаго поклонника, хорошо знакомаго съ Валаамомъ и Коневцемъ и проникнутаго духомъ ихъ благочестивыхъ легендъ. Но я забылъ, что это не Кіевъ, а Санктъ-Петербургъ, и что здѣсь даже въ сѣрой толпѣ уже не сыщешь наивныхъ, не мудрствующихъ лукаво людей. Столичная уличная цивилизація прохватываетъ собою насквозь всякаго дворника, всякаго извощика и мастерового; всѣ они уже говорятъ тутъ съ вами языкомъ дешевой газетки и посвоему посвящены во всякаго рода политику.

Но если разговаривать было не съ кѣмъ, то зато глазѣть было на что! Хотя это еще, строго говоря, Петербургъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ совсѣмъ особый міръ,—міръ кипучей и громоздкой торговой суеты, міръ пристаней, конторъ, заводовъ и фабрикъ. Это, такъ-сказать, закулисы громадной столицы, ея дѣловой задній дворъ, прикрытый отъ глазъ досужей публики изящными фасадами пятиэтажныхъ домовъ, видимый и знаемый только тѣми, кто живетъ въ немъ, кому въ немъ дѣйствительная нужда и интересъ. Тутъ нѣтъ ничего

для развлеченія, для наслажденія, для показа. Тутъ одно только трудовое, прозаичное, суровое, подъ-часъ даже грязное и тяжелое. Но зато тутъ, какъ въ гигантскомъ желудкѣ огромнаго города, скопляются и перевариваются всѣ грубые, сырые матеріалы, которыми питается организмъ города и изъ которыхъ вырабатываютъ тамъ, въ сверкающихъ магазинами щегольскихъ улицахъ его, все изящество, комфортъ и роскошь столичной жизни...

Безконечными фалангами, тѣсно сплотившись другъ съ другомъ, жмутся къ обоимъ берегамъ рѣки, а особенно къ дальнему лѣвому берегу ея, громадныя широкія барки, со всѣхъ сторонъ зашитыя досками, прикрытыя тесовыми крышами будто ковчегъ Ноевъ, грузныя и неповоротливыя какъ этотъ ковчегъ. Вся эта безчисленная громадная посудина, заполонившая рѣку на многія версты вверхъ и внизъ,—все это извергло изъ своихъ помѣстительныхъ утробъ, или извергнетъ сегодня-завтра,—горы зерна, муки, дровъ, угля, сѣна, пожираемыхъ Петербургомъ. На подкрѣпленье этимъ армадамъ своего рода проворные буксирные пароходы, будто рысаки, запряженные въ экипажъ,—тащатъ снизу и сверху на всѣхъ рысяхъ новыя и новыя суда все съ тѣмъже хлѣбомъ, съ тѣми-же дровами... Калашниковская пристань и есть собственно брюхо Питера. Глазомъ не окинешь здѣсь хлѣбныхъ барокъ, что длинными монистами нанизаны другъ на друга, иныя — раскрашенныя зеленою краскою, иныя—совсѣмъ новенькія, еще свѣтящіяся свѣжею древесиною своей обшивки, смахивающія издали на громадные лубочные короба. А на берегу такія-же сотни огромныхъ каменныхъ ящиковъ, всѣ одинъ въ одинъ,—длинные красные корпуса съ рядами арокъ и запертыхъ на замки дверей,—амбары для ссыпки хлѣба, способные, кажется, вмѣстить въ своихъ безчисленныхъ закромахъ урожай десятка губерній. Это ужь какъ-разъ подъ Александро-Невскою лав-

рою,—которой чуть-ли и не принадлежатъ всѣ они,—и которая торжественно сверкаетъ золотыми крестами и блѣднорозовыми башнями своихъ храмовъ изъ-за чащи монастырскаго сада, живописно вырѣзаясь на голубомъ небѣ.

На куполѣ большого собора и на крышѣ колокольни, еще выше поднятой надъ нимъ, копошатся какія-то темныя фигурки: это кровельщики что-то тамъ чинятъ и подкрашиваютъ наверху, ради приближенія престольнаго праздника лавры. Они лазаютъ себѣ по этому громадному своду изъ бѣлаго желѣза, надъ окружающею ихъ со всѣхъ сторонъ бездною, съ цѣпкостью и хладнокровіемъ пауковъ. Одинъ изъ нихъ, даже не привязавъ себя веревкою, стоитъ на самомъ карнизѣ колокольни, старательно размазывая его длинною кистью, весь погруженный въ свою работу и не подозрѣвая за собою никакого геройства. Александро-Невская лавра по богатству своему—одинъ изъ первыхъ монастырей Россіи. Благоустройство и наружный порядокъ ея безупречны. Но своими сплошными однообразными корпусами, напоминающими военныя казармы, своими правильно распланированными аллеями, своими симметрически разставленными по всѣмъ четыремъ угламъ храмами чуждаго намъ стиля, даже самымъ центральнымъ соборомъ своимъ, съ рядами колоннъ внутри какъ въ готическомъ храмѣ, съ итальянскою живописью на стѣнахъ, — она смотритъ чѣмъ-то несовсѣмъ русскимъ, чѣмъ-то незнакомымъ Москвѣ и Кіеву. Монастыри среди суеты и роскоши многолюдныхъ столицъ вообще представляются мнѣ чѣмъ-то несовсѣмъ умѣстнымъ и почти невозможнымъ, монастырями только по одному названію. Обитель иноковъ невольно рисуется воображенію въ какомъ-нибудь темномъ бору, на берегу пустынной рѣки, а ужь никакъ не на Калашниковской пристани и Невскомъ проспектѣ.

Когда мы оставили довольно далеко Калашни-

ковскую пристань, я оглянулся на Петербургъ и увидѣлъ его съ точки зрѣнія, съ которой еще никогда не видалъ его. Борисоглѣбскій соборъ со своими маковками, высокоприподнятыя главы Смольнаго, сверкающая на солнцѣ колоссальная митра Александро-Невской лавры, вмѣстѣ съ рядами огромныхъ домовъ, тѣсняшихся къ набережной, самыхъ разнообразныхъ красокъ, очень живописно вырѣзались на туманно-лиловомъ небѣ утра. Потянулась слѣва Большая и Малая Охта, потянулись по берегу скромные домики подгороднаго люда, лѣски, дачки, а Нева все попрежнему или еще гуще прежняго запружена стоячими и плывущими караванами тѣхъ-же нескончаемыхъ барокъ, лѣсныхъ плотовъ, лѣсныхъ пристаней. Воистину, Нева — это рѣка лѣсовъ! Она несетъ, кажется, бревенъ больше, чѣмъ волнъ. Дрова сложены на ея пристаняхъ уже не саженями, а цѣлыми колоссальными сооруженіями, лабиринтами своего рода. Бревна тоже накатываются съ плотовъ въ очень своеобразные ярусы, въ видѣ огромныхъ лѣстницъ, подымающихся постепенно отъ воды и выростающихъ на берегу въ настоящія крѣпости. И съ каждымъ движеніемъ парохода впередъ, все чаще и сплошнѣе поднимаются высокія трубы заводовъ и фабрикъ, свистятъ ихъ паровыя машины, разстилаются побѣдоносными флагами длинные хвосты ихъ дымовъ.

Любознательный и положительный туземецъ изъ петербургскихъ разночинцевъ, знавшій по имени каждую фабрику, мимо которой мы проѣзжали, сообщилъ мнѣ не безъ гордости за изобрѣтательность человѣческаго ума, что скоро дыма этого ужь больше не будетъ видно...

— Шабашъ теперь! Градоначальникъ только до новаго года сроку далъ, а то чтобъ на всѣхъ фабрикахъ приборъ новый завели... Что на пароходахъ, что въ заводахъ—больше чтобъ дыму не было!.. Потому устройство теперь такое выдумали, что дымъ самъ опять въ

рощи съ поэтическими аллеями, мостиками, бесѣдками и зелеными лужайками, изъ-за которыхъ привѣтливо бѣлѣетъ своими балконами, рѣшотками и колоннами изящный барскій домъ... Но этихъ воспоминаній безпечнаго прошлаго попадается теперь на берегахъ Невы сравнительно немного, и суровое царство красныхъ трубъ и черныхъ дымовъ вытѣсняетъ ихъ все больше и больше.

Встрѣтился на правомъ берегу и монастырекъ, уже новѣйшаго происхожденія,—женская Спасская Киновія, красиво вырѣзающаяся своими хорошенькими новыми постройками на фонѣ лѣса. Но за нею сейчасъ же Невская писчебумажная фабрика, и опять со всѣхъ сторонъ дымы и трубы! Петербурга, конечно, давно уже нѣтъ: это все идутъ разныя подгородныя села, слившіяся съ его предмѣстьями въ одинъ безконечный, тянущійся вдоль рѣки поселокъ. Подальше отъ Петербурга, дачи и помѣщичьи имѣнія попадаются чаще, хотя красныя трубы съ своими черными летучими флагами не перестаютъ властительно выглядывать изъ-за каждой рощи на каждомъ удобномъ уголкѣ берега. Счастливые обитатели этихъ лѣсныхъ уголковъ мирно посиживаютъ на балкончикахъ и крылечкахъ своихъ хорошенькихъ домиковъ, среди веселыхъ цвѣтничковъ, на разукрашенныхъ пристаняхъ, глазѣя на пробѣгающіе мимо пароходы. Шлиссельбургскіе пассажирскіе пароходы то-и-дѣло носятся мимо, то вверхъ, то внизъ по рѣкѣ, развозя свою пеструю публику по прибрежнымъ мѣстечкамъ, фабрикамъ и дачамъ, заходя по нѣскольку разъ въ день въ каждую крошечную пристань; такъ-что въ этомъ отношеніи дачникъ невскаго берега живетъ словно на одной изъ отдаленныхъ улицъ Петербурга и можетъ сообщаться съ нимъ когда ему угодно...

Но вся эта шумная цивилизованная жизнь лѣпится почти исключительно къ лѣвому петербургскому берегу рѣки, по сосѣдству съ шоссе и телеграфной проволокой. Правый берегъ гораздо пустыннѣе и диче. Тамъ уже съ самой

Охты идутъ почти сплошные лѣса, перебиваемые скромными деревушками рыбаковъ, дровосѣковъ и камнетесовъ; мѣстами пробивается до самыхъ обрывовъ берега и желтая нива, уставленная запоздавшими «суслонами» и «бабками» сжатаго овса. Утлые длинные лавы на жердяхъ идутъ тамъ и сямъ отъ незаселеннаго берега, замѣняя собою пристани для барокъ, наваливающихъ лѣсъ и камень.

Неву напрасно называютъ рѣкою. Это не рѣка, а скорѣе проливъ. У нея—ни вершины, ни истока, ни камышей, ни отмелей, ни обычныхъ частыхъ извилинъ. Она выноситъ свои обильныя воды изъ одного, землей окруженнаго моря, которое называется Ладожскимъ озеромъ, въ Финскій заливъ, и бѣжитъ все время отъ начала до конца своего тѣмъ-же широкимъ, ровнымъ и могучимъ столбомъ, рѣзко ломаясь только въ немногихъ мѣстахъ, какъ у Тосны. Это своего рода Босфоръ, соединяющій Черное море съ Мраморнымъ, недалеко ушедшимъ, конечно, отъ Ладожскаго озера. Такія-же, кстати, частыя и разнообразныя поселенія по ея берегамъ, обращающія ее въ каналъ многолюднаго города, и такая-же своеобразная, хотя, конечно, наша скромная сѣверная, а не роскошная южная красота.

Петръ Первый тоже называлъ Неву «Невскимъ протокомъ», а Несторъ-лѣтописецъ даже не включалъ ее въ число рѣкъ, считая ее просто истокомъ озера въ море.

3. Орѣшекъ.

Вотъ, наконецъ, и Шлиссельбургъ, «Ключъ-городъ»,—русскій старинный Орѣшекъ. Я не видалъ его изрядно давно, съ 1845 г., когда десятилѣтнимъ ребенкомъ въ первый разъ ѣхалъ вмѣстѣ съ такимъ-же мальчуганомъ покойнымъ братомъ своимъ учиться въ Питеръ, не по желѣзной дорогѣ, конечно, а въ своемъ экипажѣ, на почтовыхъ лошадяхъ, изъ Щигровскаго уѣзда, Курской

губерніи. Мы ѣхали зимою, въ декабрѣ, и кто не помнитъ того стараго времени, до желѣзныхъ дорогъ, съ трудомъ представитъ себѣ, какъ нужно было кутаться тогда злосчастному проѣзжему, чтобы не застынуть въ двадцати-градусные морозы гдѣ-нибудь на безконечномъ пути черезъ цѣлое россійское государство. Помню, что насъ съ братомъ, поверхъ всякихъ шубокъ, валенокъ, варешекъ, теплыхъ шапокъ съ ушками, засадили еще въ крытыя сукномъ бараньи мѣшки, передняя полость которыхъ закрывала намъ грудь, и на которыхъ были еще устроены сверху какія-то подобія муфтъ для рукъ. Да не то что насъ, дѣтей, а и отецъ, и дядя, которые насъ везли, люди взрослые и здоровые, одѣтые въ огромныя медвѣжьи шубы, все-таки сидѣли въ такихъ-же точно мѣшкахъ, только подбитыхъ медвѣдемъ, а не овчинами. Возокъ нашъ тоже былъ обитъ разными теплыми вещами и запирался наглухо; а все-таки, помнится, наши дѣтскія ножонки, привыкшія къ постоянной бѣготнѣ, нерѣдко застывали отъ долгаго неподвижнаго сидѣнія отъ станціи до станціи. Я вспомнилъ эту давнюю поѣздку потому, что мнѣ и покойному брату досталось тогда сильно на орѣхи за нашу несвоевременную историческую любознательность насчетъ именно древняго «Орѣшка». Мы съ братомъ уже тогда зачитывались исторіею Карамзина, тайкомъ потаскивая ея томы изъ библіотеки отца, и хорошо запомнили послѣднюю фразу, которою оборвалась эта восторгавшая нашъ патріотизмъ исторія: «Орѣшекъ не сдавался...»

Подвиги Скопина-Шуйскаго, удалая борьба новгородцевъ наполняли насъ самихъ чувствомъ русской удали, и когда мы вдругъ увидѣли издали въ первый разъ въ жизни среди льдовъ Ладожскаго озера настоящую крѣпость, съ зубцами, башнями, пушками, часовыми,—то ужь мы безсильны были справиться съ своею фантазіею. Не осмотрѣть хорошенько вблизи, не ощупать своими руками этакой удивительной рѣдкости, эта-

кой исторической знаменитости, до которой мы ѣхали такъ мучительно долго, — было выше нашего терпѣнія. А тутъ еще, какъ нарочно, случилась какая-то задержка въ лошадяхъ на станціи, стали ставить самоваръ, вытаскивать погребцы и закуски изъ возка... Мы съ братомъ рѣшили, что сбѣгать до крѣпости всего пять минутъ, что никто и не хватится насъ, пока мы туда слетаемъ. И слетали дѣйствительно, обѣжали кругомъ по льду всю крѣпость, хотѣли даже въ ворота пройти, да часовой не пустилъ; налюбовались до-сыта на башни, на амбразуры, на пушки... Только, къ несчастью нашему, это интересное путешествіе наше незамѣтно для насъ самихъ заняло не 5 минутъ, а болѣе часа; никто не зналъ, куда мы дѣлись, и поднялась нешуточная тревога; ямщики были разосланы въ разные концы города отыскивать насъ, лошади стояли давно запряжонныя, чай давно ждалъ насъ. Старинная педагогія была на этотъ счетъ проста, и намъ пришлось вытерпѣть за свою импровизированную экскурсію хорошую встряску, которую, вотъ оказывается, я и до сихъ поръ не забылъ.

Орѣшекъ очень мѣтко перекрещенъ Петромъ Великимъ изъ Нотебурга въ «Ключъ-городъ». Островокъ Шлиссельбурга какъ-разъ загораживаетъ выходъ изъ озера въ Неву или, пожалуй, входъ съ Невы въ озеро, запираетъ въ нѣкоторомъ смыслѣ на ключъ и рѣку, и озеро. Немудрено, что изъ-за такого мѣста велась постоянная борьба между сосѣдями, изъ которыхъ каждому хотѣлось быть хозяиномъ на ладожскихъ и невскихъ водахъ. Петръ Первый отворилъ для Россіи этимъ ключомъ сначала Неву, а за нею Финскій заливъ и Балтійское море. Онъ радовался взятію Орѣшка какъ необычайной побѣдѣ, хотя гарнизонъ этой крошечной крѣпостцы состоялъ всего-то изъ 450, правда, очень храбрыхъ и опытныхъ шведскихъ солдатъ, а осаждающихъ—надо признаться, плохо выученныхъ и плохо вооруженныхъ,—

собралось тысячъ до десяти. Впрочемъ, въ крѣпост было зато полтораста пушекъ, что было гораздо страшнѣе всякаго войска.

Подходъ къ Шлиссельбургу съ Невы очень эффектный. Лѣсистые берега рѣзко разступаются здѣсь широко, словно передъ вами вдругъ распахнулись настежь какія-то колоссальныя ворота, и сквозь нихъ вы видите уходящую вдаль безбрежную гладь Ладожскаго озера, а среди него на первомъ планѣ—живописный замокъ со стѣнами и башнями, поднимающійся словно прямо изъ воды...

Направо, нѣсколько ближе крѣпости, чистенькій, маленькій городокъ, гораздо болѣе похожій на шведскій, чѣмъ на русскій,—Шлиссельбургъ, а не Орѣшекъ,—захватываетъ собою уголокъ невысокаго берега. Даже православный соборъ его смотритъ лютеранскою киркою. При въѣздѣ въ городъ—чья-то громадная ситцевая фабрика. Мы проходимъ такъ близко около города что видимъ съ высоты своей рубки всѣ его улицы и переулочки, видимъ и старый Ладожскій каналъ, стоившій въ свое время столькихъ усилій, денегъ и человѣческихъ жизней, съ его гранитными шлюзами, съ втиснутыми въ его узкое ложе нагружонными барками. Теперь устроенъ новый каналъ безъ всякихъ шлюзовъ на одномъ уровнѣ съ озеромъ. Его мы видѣли немного послѣ. Онъ огибаетъ узкою лентою весь городъ, отдѣляясь отъ озера только гребнемъ длиннѣйшей плотины.

Порта тутъ не видно, но пароходъ почему-то застопориваетъ свою машину, яликъ съ сильно работающими гребцами отдѣляется отъ берега и бросается сломя голову наперерѣзъ намъ. Всматриваюсь,—знакомая сцена! Фуражка съ зеленымъ околышемъ и чиновничьей кокардой торчитъ посрединѣ лодки. Конечно, какой-нибудь осмотръ, какое-нибудь требованіе видовъ. Россійскому человѣку даже по рѣкѣ нельзя проѣхаться безъ прописки своего паспорта: такая ужь онъ подозрѣнія до-

стойная каналья! Къ счастью, осмотръ ограничился какимъ-то таинственнымъ посѣщеніемъ конторскихъ книгъ парохода, и таможенное начальство съ столь-же большою любезностью, какъ и быстротою, покинуло нашъ пароходъ, къ вящему удовольствію его публики. Мы опять тронулись, и правляясь какъ-разъ къ крѣпости, такъ-что разглядѣли ее отлично и съ разныхъ сторонъ.

Она стоитъ тутъ, на своемъ «Орѣховомъ островкѣ». уже больше 500 лѣтъ, съ 1323 г., когда новгородцы срубили здѣсь въ первый разъ бревенчатый городокъ для защиты Ладожскаго озера и родного своего Волхова отъ нападеній шведовъ... Но теперь она уже, конечно, не бревенчатая, какъ во дни новгородскихъ посадниковъ, а словно вылита изъ одного куска гранита. Стѣны прорѣзаны узкими амбразурами для ружей, а въ круглыя отверстія башенъ въ краснорѣчивомъ молчаніи выглядываютъ черныя жерла пушекъ. Наверху ходятъ часовые, ружье на плечѣ; кругомъ стѣнъ зеленые земляные банкеты для стрѣлковъ.

Высокій шпиль церкви,—маленькое подобіе Петропавловскаго собора, и черныя трубы какого-то завода,—опять-же, пожалуй, маленькое подобіе монетнаго двора Петропавловской крѣпости,—выглядываютъ изъ-за стѣнъ... Теперь это собственно не крѣпость, ибо какой-бы былъ смыслъ защищать Ладожское озеро отъ петербургскихъ туристовъ, — а государственная тюрьма, переведенная сюда, между прочимъ, изъ равелиновъ Петропавловской крѣпости.

Чѣмъ-то безнадежнымъ и мрачнымъ смотритъ эта неприступная тюрьма, замуравленная въ свои глухія гранитныя стѣны на голой гранитной скалѣ, кругомъ охваченной водною пучиною. Нетолько сидѣть въ ея душныхъ казематахъ, но даже караулить ихъ, должно быть, смертная тоска. Жалко, что ни одинъ крупный писатель-художникъ нашъ, ни одинъ изъ нашихъ знаменитыхъ поэтовъ не вдохновился трагико-поэтической

исторіей царя-ребенка, который нашолъ въ этой пустынной темницѣ среди озера свою раннюю и кровавую могилу. Въ романѣ Григорія Данилевскаго дѣйствуетъ только Мировичъ, а глубоко интересная для художника психологія молодого заточеннаго страдальца оставлена въ сторонѣ.

Не успѣли мы проѣхать мимо этого гранитнаго Орѣшка, какъ отъ берега отчалила и понеслась въ догонку за нашимъ пароходомъ довольно большая лодка. Тамъ сидѣло человѣкъ восемь, и всѣ отчаянно гребли, отваливаясь чуть не на спины, далеко забрасывая веслами. Пароходъ, кажется, сдержалъ свои пары, потому-что лодка скоро нагнала его, и ей безъ всякихъ переговоровъ сбросили съ кормы конецъ каната, который былъ живо привязанъ къ лодкѣ. Оказалось, что эти гребцы гнались за нами съ очень благоразумною цѣлью, чтобы пароходъ взялъ ихъ на буксиръ и дотащилъ до ихъ корабля, стоявшаго на нашемъ пути дальше въ озерѣ. Лодка была финская, пароходъ тоже финскій, и земляки изъ любезности услужили землякамъ, повидимому, уже нѣсколько знакомымъ.

Финны, такъ ловко прицѣпившіеся къ нашему пароходу, были все народъ молодой и, повидимому, матросы. Очутившись на-привязи, они побросали свои весла и, несмотря на страшнѣйшую качку отъ волнъ, выбѣгавшихъ изъ-подъ колесъ парохода, заставлявшую ихъ лодку все время плясать въ какой-то отчаянной пляскѣ,—спокойно достали себѣ бутылку водки и стаканчикъ, закурили свои коротенькія трубочки и съ хохотомъ и прибаутками отдались безпечному кейфу. А кормчій ихъ еще вытащилъ откуда-то гармонику и принялся нажаривать на ней какой-то плясовой мотивъ, искренно веселившій компанію.

«*Кошкинъ маякъ*» — трехъярусная башня очень прозаической, но зато вполнѣ прочной формы—построенъ

на подводныхъ камняхъ у финляндскаго берега и окрашенъ вперемежку чернымъ и бѣлымъ, чтобы его можно было легче разглядѣть издали, въ туманы и въ ночную темноту. Тоже, признаюсь, мѣстечко не изъ особенно соблазнительныхъ. Сзади необозримая равнина прибрежнаго мелколѣсья, а кругомъ—пустыня водъ, и никакого селенія около. Созерцай и размышляй съ утра до вечера, сколько душѣ угодно. И однако люди ищутъ наперерывъ другъ предъ другомъ мѣста какого-нибудь сторожа на этомъ маякѣ и считаютъ себя счастливыми, когда эта благодать выпадетъ на долю ихъ, а не другого.

Противъ Кошкина маяка, на совершенно открытомъ рейдѣ его, стояло на якорѣ нѣсколько большихъ морскихъ галіотовъ, перегружавшихъ свои дрова въ просторныя рѣчныя барки, вѣроятно, предназначенныя на какія-нибудь петербургскія фабрики. Грузильщиками, къ удивленію моему, оказались бабы и дѣвки, которыхъ разноцвѣтныя вереницы тянулись живыми цѣпями съ барокъ на палубы кораблей, очень ловко и быстро перекидывая прямо въ руки другъ-другу березовыя и сосновыя полѣнья.

Конечно, и корабли, и барки,—все финскіе, бабы и дѣвки—тоже финки. Финляндія недаромъ примыкаетъ къ Ладожскому озеру — всѣмъ его западнымъ и сѣвернымъ берегомъ.

4. Чортова Лахта.

Вотъ мы наконецъ въ настоящемъ открытомъ морѣ. Ни направо, ни впереди, ни сзади—ничего кромѣ волнъ.. Только слѣва провожаетъ насъ низенькій, однообразно покрытый сплошнымъ лѣсомъ берегъ Финляндіи, и то единственно потому, что курсъ нашъ требуетъ держаться лѣваго берега. Но пойди пароходъ одною, двумя милями правѣе,—и мы нигдѣ не увидѣли-бы клочка земли.

Нѣкоторое время отъ Кошкина маяка линіи бакановъ

обозначаютъ фарватеръ, бѣлые—справа, красные—слѣва. Вѣтеръ тутъ гуляетъ тоже по морскому, не такъ, какъ на Невѣ. Парусники съ туго-надутыми парусами плавно проносятся навстрѣчу намъ. Но встрѣчи вообще не часты въ этомъ пустынномъ озерѣ-морѣ. Я стою все время высоко на рубкѣ и впиваю въ себя жадною грудью этотъ вольный вѣтеръ, отъ котораго дышется какъ-то бодрѣе и радостнѣе. Къ вечеру вѣтеръ сдѣлался сердитѣе. На озерѣ развело сильную зыбь. Волны, хотя и не очень крупныя, яростно несутся навстрѣчу. Немногіе пароходы, которые видны намъ, всѣ теперь опарусились и превратились издали въ какихъ-то мохнатыхъ бѣлыхъ птицъ. У насъ на мачтахъ тоже шумно треплются и гудятъ снасти и распущенные паруса.

Пароходъ «Петръ Первый», вышедшій часомъ позднѣе нашего съ Калашниковской пристани, взялъ немного другой курсъ, правѣе насъ, и силится повидимому перегнать насъ или по крайней мѣрѣ догнать, далеко распустивъ по вѣтру, будто хвостъ кометы, свой черный дымъ. Я думаю, это не особенно трудно будетъ сдѣлать ему, потому-что «Валамо» очень старый пароходъ, уже назначенный, какъ я говорилъ, въ передѣлку. Это невольно заставило меня подумать, глядя на разыгравшуюся погоду,—да вернемся-ли мы, пожалуй, и сами назадъ съ такого ненадежнаго парохода? Одинъ болтливый морякъ изъ православныхъ финновъ, ѣхавшій съ нами въ качествѣ пассажира, но служащій въ томъ-же пароходномъ обществѣ и отлично знающій всѣ закулисныя пароходныя тайны, будучи все время рейса подъ хроническимъ хмѣлькомъ, сообщилъ намъ по секрету и болѣе тревожныя свѣдѣнія о плачевномъ состояніи паровой машины и о разныхъ другихъ внутреннихъ недугахъ парохода, такъ-что благоразумнымъ людямъ слѣдовало серьезно подумать о возможныхъ послѣдствіяхъ своего путешествія въ такой плохой посудинѣ.

Непріятная новость была еще вдвое непріятнѣе оттого,

что, по случаю послѣдняго рейса, пароходъ не взялъ съ собою и буфета. Значитъ, мы можемъ погибнуть на этомъ злосчастномъ финскомъ пароходѣ нетолько отъ морской бури, но еще и отъ голодной смерти. Къ благополучію нашему, на пароходѣ нашлась старушка-кухарка, тоже православная финка, ни слова, конечно, не понимавшая по православному-русскому, но зато согласившаяся поить насъ чаемъ и доставлять намъ черный хлѣбъ съ весьма неважнымъ «чухонскимъ» масломъ. Съ хлѣбомъ да чаемъ— все-таки не погибнешь, хотя и вытерпишь истинно монастырскую діэту, приличную впрочемъ паломникамъ.

Спутники мои, петербургскій священникъ съ сыномъ, оказались однако предусмотрительнѣе меня и запаслись на дорогу разными закусками, которыя въ союзѣ съ чаемъ и поддерживали время отъ времени ихъ бренное существованіе.

А погода между тѣмъ все разыгрывается. Капитанъ обѣщалъ, что когда будемъ на озерѣ, то пойдемъ уже не по 12-ти верстъ въ часъ, какъ мы шли по Невѣ, а по 17-ти; но на дѣлѣ оказывается, что идемъ едва 12, несмотря на прибавленные паруса. Уже становится темно. На какомъ-то еле видимомъ намъ пароходѣ, высоко на мачтахъ сверкнули, будто взошедшія звѣзды, яркіе огни фонарей. Вдоль лѣсистаго берега тоже ныряетъ и выныриваетъ мигающій огонекъ, конечно, съ рыбацкой лодки, которую немилосердно качаетъ волна. Къ ночи дѣлается особенно жутко за этихъ отчаянныхъ смѣльчаковъ, когда видишь, какъ крошечныя скорлупки ихъ упрямо пробираются на своихъ безсильныхъ веслышкахъ противъ заливающихъ ихъ хлябей, далеко въ открытое море, и исчезаютъ, наконецъ, изъ виду, охваченные тьмою ночи и волнующеюся неоглядною пучиною озера-моря. Это все рыбаки, отправляющіеся съ финскаго берега спять къ ночи разставленныя ими въ открытомъ морѣ рыболовныя снасти и привезти домой добычу.

Капитанъ нашъ, кажется, взялъ подрядъ смущать насъ скверными новостями: явился вдругъ объявить, что прежде чѣмъ пристать къ острову Коневцу, пароходу необходимо заѣхать въ какую-то «Чортову Лахту», на финляндскомъ берегу, гдѣ всѣхъ насъ подвергнутъ медицинскому осмотру,—не веземъ-ли мы съ собою холерную заразу изъ зловредной русской столицы въ благополучно-процвѣтающую финскую землю. Оказалось, къ немалому моему удивленію, что Коневецкій монастырь, такъ-же, какъ монастыри и скиты Валаамской обители,—принадлежитъ къ Финляндіи! Собственно духовное управленіе ихъ выдѣлено изъ вѣдѣнія Финляндіи, но относительно общихъ таможенныхъ, санитарныхъ и др. мѣръ—на нихъ всецѣло распространяются законы Финляндскаго княжества.

Невольно становишься втупикъ. Древнѣйшія русскія народныя святыни, вводившія христіанство среди дикой корелы и ями еще въ первые дни вольной общины Новгородской, историческіе столпы нашего православія, наравнѣ съ Соловками и Сергіево-Троицкою лаврою, — за которыя вели кровавыя войны еще предки Ивана Грознаго и самъ Грозный, — вдругъ остаются въ зависимости отъ лютеранскаго княжества, послѣ того какъ силою русскаго оружія сама Финляндія вся цѣликомъ присоединяется къ русскимъ владѣніямъ!

И добро-бы они были дѣйствительно въ составѣ ея вѣковѣчныхъ земель, гдѣ-нибудь посрединѣ ея провинцій, а то сама природа отдѣлила ихъ отъ береговъ Финляндіи водною пучиною Ладожскаго озера, древняго новгородскаго Нево, которое всегда было гораздо болѣе русскимъ, чѣмъ финляндскимъ, и котораго даже такъ-называемые финляндскіе берега заселены вовсе не финнами и не шведами, а корелами, изстари подданными русскихъ царей. Только полунѣмецкій Санктпетербургъ могъ выказать такъ мало вниманія и участія къ судьбамъ русской народной святыни.

Тѣмъ не менѣе, хорошо-ли, худо-ли, а капитанъ везетъ насъ во мракѣ черной ночи среди хлещущихъ волнъ, вмѣсто русскаго Коневца, въ монастырѣ котораго мы расчитывали покойно переночевать и простоять завтра утреню, къ финляндскому берегу, въ никому изъ насъ ненужную Чортову Лахту. Финляндскіе законы шутить не любятъ: Петербургъ объявленъ у нихъ неблагополучнымъ по холерѣ, и каждый матросъ финскаго парохода, если онъ осмѣлится выйти въ Петербургѣ на берегъ, заплатитъ 100 рублей (а можетъ-быть и марокъ) штрафа. Капитанъ разсказалъ намъ по этому поводу, что капитанъ какого-то другого ихняго парохода — нѣсколько времени тому назадъ—сходилъ на берегъ въ Петербургѣ, а потомъ заболѣлъ на пути холерою и умеръ въ Сердоболѣ. Съ тѣхъ поръ и запрещено высаживаться финляндцамъ въ Петербургѣ.

Вѣроятно, въ предвидѣніи предстоявшаго санитарнаго осмотра, помощникъ капитана переписалъ еще у Шлиссельбурга всѣ наши фамиліи.

Мы и безъ того сильно опоздали за вѣтромъ и волненіемъ, а теперь ужь и надежды нѣтъ попасть въ монастырь. Пріѣдемъ настолько поздно, что совѣстно будетъ тревожить мирныхъ иноковъ и придется заночевать на пароходѣ, хотя-бы и въ пристани Коневца.

Ночь хоть глазъ выколи, пароходъ пресерьезно покачиваетъ, и все чаще накрапываетъ дождь; но у насъ въ каютъ-компаніи 1-го класса просторно, свѣтло и удобно. Петербургскій священникъ Б—й оказывается человѣкомъ очень общительнымъ и бывалымъ. За бесѣдою своею мы не замѣтили, что пароходъ уже нѣкоторое время какъ остановился на якорѣ, и что на него уже успѣла прибыть съ берега финляндская медицинская власть. Входитъ къ намъ одинъ изъ капитанскихъ помощниковъ, не знающій, какъ водится, ни слова по-русски, и махая руками, передаетъ намъ что-то по фински. Я не счелъ своимъ долгомъ понимать

чухонскую рѣчь и оставался мирно на своемъ мѣстѣ, хотя въ растворенную настежь дверь каютъ-компаніи видѣлъ, что на тѣсной палубѣ, среди смоляныхъ канатовъ, боченковъ, ящиковъ и кулей, сбита вся пароходная публика остальныхъ классовъ, и какой-то индивидуумъ, усѣвшись на бочкѣ, среди ночной темноты, дождя и вѣтра, при тускломъ свѣтѣ одинокаго фонаря, перекликаетъ по какому-то листику фамиліи толпившихся кругомъ него пассажировъ.

Не трудно было понять, что чухонецъ въ форменной фуражкѣ приглашалъ, хотя и на непонятномъ намъ языкѣ, и насъ въ эту пріятную компанію. Смущенный нашимъ безмолвнымъ невниманіемъ къ его лопотанію, помощникъ удалился и прислалъ за себя самого капитана, который уже по-русски объяснилъ намъ, что пріѣхалъ докторъ для санитар аго осмотра, и что намъ нужно явиться къ нему на палубу.

— Я, капитанъ, не имѣю никакой надобности въ докторѣ, отвѣтилъ я ему,—а если доктору что-нибудь нужно отъ меня, то вы знаете, что я помѣщаюсь здѣсь, въ каютахъ 1-го класса, а не на палубѣ, и онъ можетъ пожаловать сюда.

Капитанъ тоже сконфузился и тоже ушолъ, но скоро вернулся и уже очень настоятельно сталъ увѣрять меня, что докторъ требуетъ меня именно туда, на палубу, и что мнѣ необходимо идти туда, гдѣ производится осмотръ всѣхъ.

— Скажите вашему доктору, капитанъ, что я не признаю за нимъ никакого права требовать меня куда-бы то ни было, и если онъ явился удостовѣриться въ томъ, нѣтъ-ли на пароходѣ холерныхъ случаевъ, то пусть и осматриваетъ пассажировъ тамъ, гдѣ они помѣщаются. Я не привыкъ дѣлать никакихъ дѣлъ на улицѣ подъ дождемъ, да еще въ темную ночь, а палуба ваша та-же улица.

Капитанъ, поспоривъ немного ломанымъ русскимъ

языкомъ, снова удалился. Но черезъ минуту цѣлое финское нашествіе нагрянуло въ нашу мирную каютъ-компанію. Впереди всѣхъ шолъ, съ видомъ разгнѣваннаго главнокомандующаго, довольно непредставительный моложавый субъектъ, — санитарный врачъ изъ Гельсингфорса, демонстративно держа въ рукахъ какую-то книжку; за нимъ капитанъ со всѣми помощниками своими, финляндскій акцизный чиновникъ въ фуражкѣ съ кокардой и тотъ православный финнъ, о которомъ я говорилъ выше и который одинъ только владѣлъ свободно русскимъ языкомъ, такъ-что могъ служить намъ переводчикомъ. На плечахъ этихъ господъ ввалилась въ каюту и изрядная-таки компанія русскихъ пассажировъ.

Юный гельсингфорсскій лекарь, ворвавшійся къ намъ во главѣ своего воинственнаго отряда, накинулся на меня, хотя по-фински, но такимъ властнымъ и требовательнымъ тономъ, что я счелъ нужнымъ сразу осадить его.

— Кто вы такой? И какъ вы смѣете обращаться ко мнѣ такимъ тономъ? крикнулъ я на него гораздо громче, чѣмъ кричалъ онъ.

Лекарь мой немного оторопѣлъ и сталъ что-то горячо говорить по-фински, показывая рукою на книгу, но однако далеко уже не прежнимъ тономъ.

— Я не понимаю и не желаю понимать того языка, на которомъ вы говорите. Извольте говорить со мною по-русски! оборвалъ его я.

— Können Sie deutsch sprechen? еще ниже тономъ спустилъ лекарь.

Мы начали объясняться съ нимъ по-нѣмецки. Онъ мнѣ доказывалъ, что законъ предоставляетъ ему право требовать публику для осмотра куда онъ желаетъ, что онъ составитъ протоколъ о моемъ неподчиненіи его требованію и задержитъ пароходъ на пристани, пока я не исполню его требованія. Я-же увѣрялъ его, что такого закона, о которомъ онъ говоритъ, нигдѣ нѣтъ и быть

не можетъ, что финской книжки его я читать не могу и не хочу, а пусть онъ покажетъ мнѣ по-русски писанный законъ, если ужь онъ есть...

— Вы—докторъ, значитъ, были въ университетѣ и должны были получить образованіе, стыдилъ я его. — Какъ-же вамъ не стыдно поднимать скандалъ изъ-за такой нелѣпой вещи! Нельзя заставлять людей выходить въ темноту на вѣтеръ и дождь, выслушивать вашу ни къ чему не ведущую перекличку; гораздо было-бы удобнѣе и вамъ, и пассажирамъ, которыхъ вы должны осматривать, еслибы вы пригласили ихъ, какъ требуетъ того приличіе и условія самаго дѣла, сюда, въ просторный и свѣтлый залъ, гдѣ есть и столы, и стулья, и чернила, и гдѣ вы дѣйствительно могли-бы что-нибудь осмотрѣть и узнать... Знаете, если-бы даже законъ и давалъ вамъ то право, на которое вы претендуете и котораго у васъ нѣтъ, то всякій благовоспитанный человѣкъ всетаки поступилъ-бы на вашемъ мѣстѣ такъ, какъ я говорю... Подумайте только, что пассажирами могутъ быть дамы и дѣти очень нѣжнаго здоровья и деликатныхъ привычекъ... А вы грубо требуете всѣхъ къ себѣ на палубу, даже не зная, съ кѣмъ имѣете дѣло!

Раскраснѣвшійся отъ смущенія и волненія финляндецъ не хотѣлъ однако уступать и, будучи очень плохъ въ нѣмецкомъ языкѣ, сейчасъ-же опять соскочилъ на шведскій и на финскій. Капитанъ и другіе финны горячо держали его сторону, переводя какъ попало то его, то мои рѣчи.

— Позвольте вашъ адресъ! Мнѣ нужно знать вашъ чинъ, имя, фамилію и мѣстожительство! обратился наконецъ ко мнѣ, въ видѣ послѣдняго устрашенія, разгорячившійся финляндецъ.

— Имени своего и адреса я не скрываю, спокойно отвѣтилъ я ему, вынимая свою карточку. — Вотъ моя карточка, но я передамъ ее вамъ только съ условіемъ, чтобы и вы дали мнѣ сейчасъ свое имя и свой адресъ,

такъ-какъ подобные поступки нельзя оставлять безъ послѣдствій...

Гельсингфорсцу почему-то не понравилось это предложеніе мое, такъ-что наши карточки остались въ нашихъ карманахъ.

Споръ и крики наши продолжались добрыхъ полтора часа. Петербургскій священникъ, разсерженный тѣмъ, что ему пришлось-таки выйти на глупую перекличку къ этому финскому молокососу, горячился гораздо болѣе меня и своимъ звучнымъ голосомъ покрывалъ споривше голоса финновъ, съ большою откровенностью разъясняя имъ въ глаза всю ихъ несправедливость. Онъ добился-таки того, что православный финнъ, знавшій русскій языкъ, перевелъ по-русски отъ строки до строки тѣ статьи финляндскаго законоположенія, на которыя такъ храбро ссылался заносчивый докторъ. Даже капитанъ и его помощники, усердно защищавшіе своего земляка и самоувѣренно доказывавшіе намъ, что ихъ докторъ вполнѣ правъ, убѣдились теперь несомнѣнно, что правъ былъ я, а не ихъ докторъ, и что нелѣпаго закона о выгонѣ пассажировъ подъ дождь для медицинскаго осмотра — никогда и нигдѣ не существовало.

Посрамленный докторъ долженъ былъ, наконецъ, ретироваться откуда пришолъ, какъ говорится, несолоно хлебавши. Русская публика, присутствовавшая при нашемъ громогласномъ и шумномъ диспутѣ и уже раньше насъ возмущенная нахальнымъ начальническимъ тономъ доктора, выражала теперь намъ свое сочувствіе такъ энергически, что капитанъ, боясь за непредвидѣнныя послѣдствія для финскаго врача отъ этого «народнаго» одушевленія, почти силою очистилъ отъ постороннихъ залъ I класса. Пассажиры не хотѣли было уходить, ссылаясь на то, что это дѣло касается всѣхъ и что насъ здѣсь только двое, а финновъ цѣлая толпа. Капитанъ уже далъ свистокъ, чтобы собрать свою

команду и выдворить непокорныхъ, но священникъ посовѣтовалъ землякамъ исполнить доброю волею законное требованіе капитана, — и дѣло обошлось безъ насилія.

Зато нѣкоторые добровольцы изъ русскихъ пассажировъ сочли своимъ священнымъ долгомъ послѣдовать за потерпѣвшимъ пораженіе докторомъ на пароходъ «Петръ Первый», пріѣхавшій въ Лахту позднѣе насъ и ставшій на якорь рядомъ съ нами. Они возвратились къ намъ сіяющіе отъ удовольствія и со смѣхомъ разсказывали, какъ проученный у насъ докторъ на «Петрѣ Первомъ» уже не пытался больше требовать классную публику къ себѣ на палубу, а благоразумно спускался къ ней въ каюты.

Мнѣ давно хотѣлось спать, а послѣ этой неожиданной схватки и невольнаго нервнаго волненія захотѣлось еще пуще. Притомъ капитанъ объявилъ, что погода разыгралась гораздо сильнѣе, и что думать нельзя сняться теперь съ якорей, такъ-что мы должны были заночевать въ Чортовой Лахтѣ. Я забрался на мягкіе диваны совершенно пустого и темнаго дамскаго отдѣленія, а священникъ съ сыномъ растянулись на длиннѣйшихъ диванахъ каютъ-компаніи, за столомъ которой капитанъ со своими помощниками учредили себѣ скромную вечернюю трапезу, обильно зато поливаемую изъ бутылокъ разнаго цвѣта и фасона.

Евгеній Марковъ.

До слѣд. кн.

ИЗЪ ЮНОШЕСКИХЪ СТИХОТВОРЕНІЙ

С. Я. НАДСОНА.

На свѣжей могилѣ.

(Памяти Н. М. Д.).

Во блаженномъ успеніи—вѣчный покой...

1.

Спи спокойно, моя дорогая:
Только въ смерти—желанный покой,
Только въ смерти—рѣсница густая
Не блеснетъ безнадежной слезой;
Только тамъ не коснется сомнѣнье
Милой, русой головки твоей;
Только тамъ—ни тревогъ ни волненья,
Ни раздумья безсонныхъ ночей!..

2.

Бѣлый гробъ твой закиданъ землею,
Бѣлый крестъ водруженъ надъ тобой...
Освященъ онъ сердечной мольбою,
Окропленъ задушевной слезой!
Я давно такъ не плакалъ... Казалось,
Что въ груди, утомленной тоской,
Все святое опять просыпалось,
Чтобъ безумно рыдать надъ тобой!..

3.

Вотъ вернется весна,—и съ весною
Дальній гость—соловей прилетитъ,
И въ безмолвную ночь надъ тобою
Серебристая пѣснь зазвенитъ,
И зеленая липа, внимая
Чуднымъ звукамъ,—замретъ надъ тобой...
Спи-жь спокойно, моя дорогая:
Только въ смерти желанный покой.

Ф. Ф. Стаалю.

Оконченъ скучный путь. Отъ мудрости различной
Освободились мы, хоть не на долгій срокъ.
Вдали отъ скучныхъ стѣнъ гимназіи столичной
Покой нашъ не смутитъ докучливый звонокъ.

Мы разбредемся всѣ—до новаго свиданья;
Надежды свѣтлыя кипятъ у насъ въ груди,
Мы полны юныхъ силъ и грезъ, и упованья,
И призракъ счастія манитъ насъ впереди.

Мы въ будущность глядимъ безъ грусти и тревоги,
Въ нѣмую даль идемъ увѣренной стопой,
И будемъ все идти, пока шипы дороги
Насъ не измучаютъ сомнѣньемъ и тоской.

Когда-жь въ груди у насъ заговорятъ проклятья
На жизнь, разбитую безжалостной судьбой,
Мы вспомнимъ, можетъ быть, что всѣ мы были братья,
Что всѣ мы выросли подъ кровлею одной,

Что въ мірѣ есть еще для насъ душа родная,
Что связываютъ насъ преданія однѣ...
И вспыхнетъ на очахъ у насъ слеза святая,
Какъ дань минувшимъ снамъ и свѣтлой старинѣ.

По слѣдамъ Діогена.

(Посвящается В. Слобошевичу).

Я зажогъ свой фонарь. Огонькомъ золотымъ
Онъ во мглѣ загорѣлся глубокой.
И по свѣту бродить я отправился съ нимъ
То тропой, то дорогой широкой.
Я вездѣ побывалъ—у подножья божковъ
И любимцевъ прогресса и вѣка,
И подъ кровлей забытыхъ презрѣнныхъ рабовъ,—
Я повсюду искалъ *человѣка*.

Безпредѣльная, грозная мгла надъ землей
Простирала могильныя сѣни,
И во мглѣ окровавленной, страшной толпой
Шевелились и двигались тѣни:
Исхудалыя, блѣдныя, въ тяжкихъ цѣпяхъ
Шли онѣ трудовою дорогой
И тельцовъ золотыхъ на усталыхъ рукахъ
Проносили съ тоской и тревогой.

Если двое столкнутся—безжалостный бой
Начинаютъ безумные братья...
Льется кровь, разливаясь широкой волной,
И гремятъ надъ толпою проклятья;
И напрасно безумцевъ разнять я хотѣлъ,
оворя имъ о правдѣ и Богѣ:

Этотъ бой безпощадный повсюду кипѣлъ
На тернистой житейской дорогѣ!
И съ улыбкой, исполненной злобы глухой,
Съ высоты своего пьедестала
Безпредѣльно царилъ надъ развратной толпой
Гордый призракъ слѣпого Ваала.

Гдѣ-же люди? Тоскующій взоръ не встрѣчалъ
Ни любви безкорыстной, ни ласки;
Только стонъ надъ землей утомленной стоялъ,
Да съ безумнымъ весельемъ повсюду звучалъ
Дикій грохотъ вакхической пляски.
Гдѣ же жизнь? Неужели мы жизнью зовемъ
Этотъ мракъ безъ лучей идеала?..
И ушолъ я поспѣшно съ моимъ фонаремъ
Изъ мятежнаго царства Ваала.

Я хотѣлъ отдохнуть на просторѣ полей
Отъ безплодныхъ и долгихъ исканій,
Отъ разврата и злобы погибшихъ людей,
Отъ жестокой борьбы и рыданій.
Предо мной разстилалась туманная даль...
Ночь повсюду безмолвно дремала,
И подруга раздумья — нѣмая печаль
На душѣ словно камень лежала.

Грустно, грустно кругомъ. Никого — кто-бы могъ
Облегчить накипѣвшую муку,
Кто-бъ въ неравной борьбѣ мнѣ участьемъ помогъ,
Протянулъ-бы по-дружески руку...
Люди-братья! Когда-же окончится бой
У подножья престола Ваала,
И блеснетъ въ небесахъ надъ усталой землей
Золотая заря идеала!

СЧАСТЬЕ.

Повѣсть.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

... Тебя ласкать
И цѣловать,
И тихо млѣть,
И умереть..."

(Фаустъ, 1-я часть).

I.

Въ классѣ тишина. Урокъ близится къ концу. Слышно только, какъ скрипятъ перья да жужжитъ гдѣ-то запоздавшая муха. Классная дама работаетъ за своимъ столикомъ у окна. Сѣдой французъ-учитель удобно усѣлся, положивъ нога на ногу, и постукивая по столу пальцами, равнодушно смотритъ на ряды свѣжихъ дѣвичьихъ головокъ, склоненныхъ надъ черными пюпитрами. Маруся Незванцева давно окончила свой «письменный» и теперь сидитъ, сложа руки на колѣняхъ. Читать во время урока нельзя... поэтому она думаетъ. Ее слегка охватываетъ лихорадочное волненіе; впрочемъ, оно понятно: сейчасъ будетъ урокъ словесности, и она знаетъ, что ее вызовутъ. Да такъ и всегда съ ней бываетъ передъ

уроками Торскаго. Она знаетъ, что она его любимица; въ классѣ, по крайней мѣрѣ, всѣ это говорятъ. И правда: онъ ее отмѣчаетъ. Часто спрашиваетъ ее, и страннымъ какимъ-то тономъ, не то что другихъ ученицъ:

— Г-жа такая-то, пожалуйте!

А прямо:

— Ну-съ, что вы намъ сегодня скажете?

Онъ постоянно заставляетъ ее разсказывать ему изъ прошлыхъ уроковъ и такъ, очевидно, вѣритъ въ то, что она ихъ знаетъ—что она не можетъ ихъ не знать! Поэтому она всегда немножко лихорадочно перебираетъ въ своей памяти все, что можетъ, и страстно ей хочется не обмануть его довѣрія. Когда послѣ урока она иногда подходитъ къ нему со словами:

— Александръ Сергѣевичъ, что мнѣ читать?

Онъ непремѣнно остановится въ корридорѣ и долго бесѣдуетъ съ ней, такъ разумно, такъ серьезно, какъ съ равной. Другія ученицы подходятъ къ нимъ изъ любопытства, обнявъ одна другую, или группами; однѣ сейчасъ-же отойдутъ, перешоптываясь и посмѣиваясь; другія остановятся, протянутъ головки и прислушиваются. А она жестоко краснѣетъ подъ ихъ взглядами... но не уходитъ до звонка. Нельзя-же уйти, когда онъ еще разговариваетъ. Слушать его любятъ всѣ, и говоритъ онъ такъ красиво, такъ пылко; сядетъ, небрежно облокотившись, любимымъ жестомъ откинетъ темные волосы съ высокаго лба—и польется увлекательная рѣчь; онъ еще молодъ, и часто самъ до того увлечется своимъ разсказомъ, что говоритъ съ ними какъ съ товарищами-мальчиками, способными понять его; такъ-что иногда вырываются такія смѣлыя, красивыя выраженія, что классная дама (изъ институтокъ) даже головой

покачаетъ. И всѣ ждутъ его урока, всѣ шепчутся, волнуются, — хочется передъ нимъ отличиться.

Въ классѣ мало-по-малу проходитъ тишина, начинается шопотъ; сообщаютъ другъ другу результаты «письменнаго». Кто лѣниво потягивается, кто съ облегченіемъ вздыхаетъ. То-и-дѣло вскакиваетъ кто-нибудь и подаетъ учителю тетрадку. Возвращаясь на мѣсто, каждая по дорогѣ что-нибудь шепнетъ товаркамъ. Слышенъ заглушаемый смѣхъ, шелестъ листовъ—это вытаскиваютъ учебники литературы. Классная дама не старается дѣлать никакихъ замѣчаній: не стоитъ! Минуты 3 до звонка осталось. Въ классѣ царитъ какое-то электрическое напряженіе, всегда предшествующее звонку—и, наконецъ, онъ раздается, оглушительный, и сразу все громадное зданіе гимназіи наполняется шумомъ, гамомъ дѣтскихъ и дѣвичьихъ голосовъ и топотомъ молодыхъ ногъ. Словно рой жужжащихъ пчолокъ высыпаютъ изъ всѣхъ дверей ученицы. Маленькія стремглавъ летятъ по лѣстницѣ, торопясь эти 10 минутъ поиграть въ колдуны, расправить уставшіе отъ долгой неподвижности члены. Изъ старшихъ классовъ выходятъ гурьбой за учителями, всѣ сразу что-то допрашивая и перебивая другъ друга.

Быстро пролетаетъ перемѣнка.

Кто усѣлся на подоконникѣ и, болтая ногами, повторяетъ урокъ. Кто ходитъ, обнявшись съ подругой, и Богъ знаетъ, о какихъ наивныхъ тайнахъ, о какихъ дѣвичьихъ секретахъ шепчутъ свѣжія уста. Тутъ цѣлая группа: одна взмостилась на столъ и что-то объясняетъ, остальныя столпились вокругъ нея и оживленно слушаютъ.

Милое зрѣлище представляютъ эти головки, далеко не всѣ красивыя, но всѣ почти миловид-

ныя—миловидностью шестнадцати лѣтъ, первыхъ проблесковъ мысли и какого-то внутренняго оживленія. Маруся усердно читаетъ свою исторію. Она достала ту книгу, о которой мелькомъ говорилъ Торскій, и теперь мысленно обѣщаетъ себѣ маленькій праздникъ—отвѣтить ему гораздо подробнѣе, чѣмъ у нихъ въ учебникѣ. Она ясно представляетъ, какъ онъ начнетъ ее слушать, съ какимъ вниманіемъ его темные, умные глаза остановятся на ея слегка краснѣющемъ лицѣ; какъ, при дальнѣйшемъ ея разсказѣ, она увидитъ удивленіе и удовольствіе въ этихъ глазахъ и добрую улыбку на лицѣ; и это ее вполнѣ вознаградитъ за ночь, проведенную безъ сна за книгой. Опять звонокъ – и съ тѣмъ-же шумомъ все устремляется въ классы. Съ шумомъ размѣщаются, добрыя пять минутъ идетъ суетня и возня: усаживаются, крестятся и т. д. Недостаточно набѣгались молодыя ноги, и всѣмъ, словно по инерціи, трудно придти въ спокойное состояніе.

Маруся давно на мѣстѣ. Книга лежитъ передъ ней, закрытая. Щеки ея пылаютъ. Сердце слегка замираетъ, и порывисто дышетъ молодая грудь подъ тѣснымъ, темно-коричневымъ лифомъ. То-и-дѣло Маруся посматриваетъ на дверь. Вотъ-вотъ она отворится, и появится его высокая фигура. Онъ раскланяется и, какъ всегда, слегка смутится, увидѣвъ, какъ весь рядъ этихъ молодыхъ дѣвушекъ почтительно поднимется ему навстрѣчу:

— Садитесь! Садитесь, пожалуйста!..

Потомъ сядетъ, раскроетъ журналъ, всмотрится въ нихъ и вызоветъ... ее. И опять сердце у нея стучитъ.

Но что-жь это значитъ? Онъ обыкновенно такъ пунктуаленъ. Она вынимаетъ маленькіе часики: 10 минутъ прошло. Въ классѣ стоитъ смутный

гулъ. Солнце ярко освѣщаетъ комнату и играетъ радужными зайчиками на черной доскѣ, и золотитъ коричневыя платьица.

Маруся все поглядываетъ на дверь.

Наконецъ, дверь отворяется. Классъ быстро поднимается. Но что-же это? Вмѣсто стройной фигуры Торскаго, появляется ярко-синее платье и входитъ классная дама.

— Урока сегодня не будетъ! говоритъ она.— Можете дѣлать что хотите.

Поднимается шумъ, и обитательницы заднихъ скамеекъ визжатъ отъ восторга. Маруся въ негодованіи кричитъ имъ.

— Молчите вы!

И спрашиваетъ классную даму:

— Анна Власьевна, отчего?..

— Торскій прислалъ записку—онъ очень боленъ.

И Маруся чувствуетъ, что она блѣднѣетъ.

II.

Ужь три года какъ Маруся была ученицей Торскаго, но оцѣнила она его только въ послѣдній годъ, какъ и вообще гимназію. Прежде она училась довольно равнодушно; часто ей даже надоѣдали уроки, и она съ радостнымъ лукавствомъ изобрѣтала головную боль (папа всегда спрашивалъ: «что, опять геометріей заболѣла?») и оставалась дома, дѣлая себѣ экспромтомъ праздникъ. Но кончилась милая, чудная жизнь дома! Дорогая мама умерла, вскорѣ отецъ женился на другой, уѣхалъ надолго заграницу,—и Маруся должна была поселиться у бабушки. Никогда, никогда не забудетъ она этого дня, когда она, сама пугаясь своего траурнаго платья, каждую минуту напоми-

навшаго ей о потерѣ ея родной, любимой мамы,— ходила по пустѣющей квартирѣ, прощаясь со всѣмъ, съ каждымъ уголкомъ старой квартиры. Здѣсь она провела свое дѣтство! Здѣсь мало-по-малу она изъ кудрявой крошки вытянулась въ тоненькую, высокую дѣвочку. Вотъ, стѣна въ столовой еще хранитъ зарубки, которыми мама отмѣчала ея ростъ. Вотъ старый диванъ-самосонъ, на которомъ въ сумеркахъ послѣ обѣда онѣ любили бесѣдовать съ матерью обо всемъ, что только могло занимать ея головку. Вотъ и милая мамина спальня, огромная, свѣтлая, съ мягкой мебелью и большимъ зеркальнымъ шкафомъ, на который съ дѣтства привыкла она смотрѣть съ почтительнымъ интересомъ. Чего-чего только въ немъ не было! Сколько разъ, перебирая вынутыя изъ него разныя вещи:—дѣдушкины медали, старые портреты, крошечныя рубашечки,— мама разсказывала ей, съ задумчивой и грустной улыбкой, о своемъ дѣтствѣ, о своей безрадостной юности—и Маруся со слезами на глазахъ цѣловала худенькія, прозрачныя ручки мамы... Все въ этой комнатѣ, все дышетъ ею: въ комодѣ неоконченная полоса вышивки, недочитанная книга на окнѣ; и все это живетъ, существуетъ... А ея нѣтъ, нѣтъ— и никогда она не вернется!.. Прощалась Маруся и со своей веселенькой комнаткой, которую съ такой любовью отдѣлала ей мама ко дню ея рожденія, когда ей минуло четырнадцать лѣтъ. Ничего изъ этой комнаты къ бабушкѣ взять было нельзя, и вотъ пестрыя птицы и розовые цвѣты съ голубой обивки смотрѣли на нее и прощались съ нею.

— Ты никогда не увидишь насъ больше! говорили они.— Намъ было такъ славно и весело, когда ты, сама свѣжая какъ роза и веселая какъ пташка, щебетала въ этой комнатѣ, и пѣла, и смѣялась, и задумывалась надъ книжками. А теперь... Кто

знаетъ, къ кому мы попадемъ? Къ чужимъ, равнодушнымъ людямъ, которымъ не будемъ мы такъ дороги, какъ были тебѣ... потому-что для тебя выбирало насъ любящее сердце матери!..

Прощались съ ней и ея книги, и вспоминала она чудные часы, проведенные за ними, часы, когда она сама чувствовала, какъ расширяется ея юный умъ, какъ свѣтлые горизонты открываются ея сознанію. Книги, за которыми не разъ она проливала слезы, которыя были ея друзьями, совѣтниками, воспитывали ея душу, — и отъ нихъ она должна отказаться. Ихъ продадутъ въ библіотеку, выскоблятъ золотыя буквы «М. Н.» съ переплетовъ,— и истреплются, запачкаются онѣ во всевозможныхъ рукахъ. И чужіе любопытные глаза будутъ съ насмѣшкой перечитывать тѣ горячія замѣтки, которыя дѣлала она карандашомъ на поляхъ!

И цвѣты, за которыми она съ нѣжностью ухаживала, которые любили ее не меньше, чѣмъ она ихъ! Они такъ хорошо себя чувствовали въ ея солнечной комнаткѣ, что мама ей отдавала часто тѣ, которые чахли въ гостиной, на «курсъ лѣченія». Многіе она сама выхолила изъ отростковъ, и суевѣрно загадывая что-нибудь на каждый отростокъ, соединяла съ ними свои любимыя мечты и съ гордостью любовалась ихъ глянцевитыми темнозелеными листами. И все это будетъ въ чужихъ рукахъ! Ей казалось, что у нея воруютъ ея воспоминанія, ея мечты, врываются въ святыню ея души и оскорбляютъ память мамы.

Она сѣла тогда на полъ и, закрывъ лицо руками, какъ ребенокъ заплакала. Но это были ея первыя недѣтскія слезы, и онѣ сразу заставили ее вырости и стать дѣвушкой — изъ дѣвочки. Она цѣловала мамину подушечку, которая тутъ валялась, шептала какія-то несвязныя слова... и сердце ея разрывалось.

На другой день ее отвезли къ бабушкѣ.

И потянулись монотонные, однообразные дни въ старомъ домѣ у бабушки.

Когда Маруся помѣстилась тамъ, ей показалось, что ее заперли въ денежный шкафъ; и тѣсно, и душно ей было. Старый домъ стоялъ не на солнечной сторонѣ, и въ комнатахъ всегда было темно и немножко сыро. Внизу помѣщалась контора. Въ передней комнатѣ, отдѣленные деревянной рѣшеткой, сидѣли за столиками конторщики и безъ умолку скрипѣли перьями. Тамъ вѣчно звонилъ телефонъ, входили и выходили разные люди и чаще всего старые евреи, съ бородами патріарховъ и въ длиннѣйшихъ сюртукахъ. Они спорили, возвышали голосъ, жестикулировали; то-и-дѣло хлопала входная дверь, звонилъ несгораемый шкафъ, который отпиралъ кассиръ, и весь этотъ шумъ то-и-дѣло покрывался властнымъ окрикомъ бабушки, высокой, сухой старухи въ черномъ, которая медленно ходила по комнатамъ, зоркимъ окомъ наблюдая за тѣмъ, что творилось въ малѣйшихъ уголкахъ конторы, и прислушивалась къ этому шуму, изъ котораго то-и-дѣло вырывались слова: «акціи», «купоны», «облигаціи», «проценты».

Наверху, наоборотъ, царила мертвая тишина. Мебель была обтянута чехлами, точно саванами. На окнахъ отъ недостатка свѣта чахли жалкіе, запыленные цвѣты. Со стѣнъ, изъ потускнѣвшихъ рамъ глядѣли угрюмые старые портреты.

Марусѣ отвели кабинетъ покойнаго дѣда, высокую, мрачную комнату съ громаднымъ каминомъ, неуклюжей мебелью, обтянутой черной клеенкой, и рядами старыхъ, пыльныхъ томовъ на полкахъ. Маруся попробовала заглянуть въ нѣкоторые изъ нихъ: все это были старыя счетныя книги и вѣдомости, исписанныя стариннымъ, крючковатымъ по-

черкомъ; цифры, цифры и цифры! Тревожить въ этой комнатѣ ничего не позволили. Только кое-какія свои вещи могла Маруся разставить. Но и онѣ чувствовали себя не на мѣстѣ.

Золотообрѣзные томики Лермонтова словно сторонились отъ этихъ пыльныхъ, заплесневѣлыхъ томовъ...

Розовая бисквитная статуэтка танцовщицы качалась передъ самымъ портретомъ какого-то старца, и онъ съ брезгливымъ отвращеніемъ смотрѣлъ изъ своихъ высочайшихъ воротничковъ на ея воздушныя юбочки; а она съ недоумѣніемъ спрашивала себя:

— Куда я попала? Отчего здѣсь такъ темно, неуютно и холодно?..

Кокетливое туалетное зеркальце тоже привыкло видѣть солнечные лучи, яркіе цвѣты, свѣтлые цвѣта, и теперь словно съ какимъ-то ужасомъ отражало эту мрачную, эту нежилую комнату.

И съ такимъ-же ужасомъ Маруся, вся съежившись въ громадномъ креслѣ, смотрѣла въ одну точку расширенными глазами и тоже спрашивала себя:

— Господи!.. Куда-же я попала!..

Газъ зажигался на-верху ровно въ 7 часовъ, къ обѣду. До тѣхъ поръ все было погружено во мракъ. Маруся не могла ни читать, ни писать... Она съ завистью прислушивалась къ тому, какъ расходятся конторщики и, расправляя онѣмѣвшіе члены, спѣшатъ, почти бѣгутъ, каждый въ свою семью, въ жалкій, можетъ-быть, но родной уголъ .. Бабушка поднималась наверхъ, и они садились обѣдать втроемъ—у нихъ обѣдалъ кассиръ. Почему-то къ этому человѣку Маруся испытывала отвращен е, и вся ея любовь къ изящному возмущалась при видѣ этого маленькаго, нечистоплотнаго, кра-

сноглазаго человѣка, который съ какимъ-то остервенѣніемъ, словно недѣлю не ѣлъ, набрасывался на куски. Обѣдъ проходилъ въ гробовомъ молчаніи, нарушаемомъ стукомъ вилокъ и ножей и громкимъ чавканьемъ кассира. Бабушка не говорила ни слова, но ея холодный, жосткій взглядъ все время Маруся чувствовала на себѣ, хотя и сидѣла опустивъ глаза въ тарелку и торопливо проглатывая слезы вмѣстѣ съ супомъ.

Боже, какъ горько вспоминалась ей тогда ихъ свѣтлая столовая, изящная сервировка, цвѣты на столѣ, красное вино, играющее въ стеклянныхъ кувшинахъ (которые она часто проливала, и никто ее за это не бранилъ). И мама, милая, красивая, которая сама хозяйничала за столомъ, улыбаясь такой доброй улыбкой, когда передавала тарелку супа своими прелестными ручками...

Послѣ обѣда бабушка уходила къ себѣ, Маруся къ себѣ. Газъ позволялось жечь только до 10 часовъ. Какъ-то, зачитавшись, Маруся зажгла свѣчу; но бабушка вошла къ ней и безъ дальнихъ разговоровъ потушила свѣчу, прибавивъ:

— Я-бы тебѣ совѣтовала ложиться въ десять часовъ спать.

Не принять этого совѣта было нельзя, но такъ-какъ раньше двѣнадцати Маруся обыкновенно не засыпала, то у нея оставалось ровно два часа, изъ которыхъ нельзя было сдѣлать никакого употребленія, кромѣ того, чтобы думать... а значитъ, вспоминать... а значитъ, и плакать. Попробовала къ ней разъ вечеркомъ зайти сюда подруга, но встрѣчена была бабушкой до того откровенно, что совсѣмъ растерялась; а когда она прошла къ Марусѣ наверхъ, то вслѣдъ ей раздался зычный голосъ бабушки:

— Это что еще за поздніе визиты?

Такъ-что Маруся сама со слезами на глазахъ сказала подругѣ:

— Нѣтъ, ужь ты лучше не приходи. Видишь, каково здѣсь. Будемъ встрѣчаться въ гимназіи!...

И вотъ когда гимназія получила огромное значеніе для Маруси. Уходя изъ-подъ гнета домашней обстановки на нѣсколько часовъ въ гимназію, Маруся какъ-будто вырывалась на свѣжій, вольный воздухъ.

Такъ страшно много измѣнилось въ ея судьбѣ, а гимназія оставалась все та-же: тотъ-же освѣжающій трудъ, тѣ-же общіе интересы, тѣ-же веселыя подруги, и свѣжій шумъ, и звонкій смѣхъ. И гимназія дышала молодостью, какъ большой питомникъ, въ которомъ рядомъ распускаются и рѣдкіе цвѣты, и полевыя травки, жадно втягиваютъ молодые побѣги притокъ весеннихъ соковъ. Здѣсь тоже расцвѣтала и формировалась юная жизнь, бились 16-лѣтнія сердца и жадно впивали всякое доброе слово, всякую разумную мысль.

Маруся отдыхала здѣсь душой. Часто словно отблескъ потерянной материнской улыбки видѣла она въ добрыхъ, грустныхъ глазахъ ихъ любимой классной дамы. Какъ хорошихъ старыхъ знакомыхъ, встрѣчала она учителей, которые всѣ какъ-то мягче и деликатнѣй стали съ ней съ тѣхъ поръ, какъ она надѣла черное платье. И потомъ отрадно ей было сознавать себя существомъ что-нибудь значущимъ, съ такимъ-же правомъ голоса, личнаго мнѣнія, какъ и всѣ другіе въ этомъ своеобразномъ гимназическомъ міркѣ, живущемъ своей особенной жизнью, имѣющемъ свои освященные обычаемъ законы, традиціи,—безпорядки, треволненія и торжества.

Для женщинъ гимназія играетъ большую роль.

Для мужчинъ — она только переходная ступень, и самый неблагодарный возрастъ свой — отъ 12 до 18 лѣтъ — они проводятъ въ ней, соединяя съ воспоминаніемъ о ней — воспоминанія о глупыхъ шалостяхъ, о ненавистныхъ вокабулахъ латинскихъ и греческихъ учебниковъ, которые для нихъ пока мертвыя буквы, механическій трудъ, смыслъ котораго не освѣщенъ,—и «личныхъ врагахъ» учителяхъ. Они стремятся всѣми правдами и неправдами кончить эту «долбежку», получить аттестатъ—и только при окончаніи гимназіи они встряхиваются, озираются вокругъ, словно выбившись изъ дебрей болотныхъ на широкую дорогу, и говорятъ себѣ:

— Вотъ теперь надо *учиться!*

Совсѣмъ не то въ женскихъ гимназіяхъ. Для большинства дѣвушекъ гимназіей начинается и кончается путь ихъ образованія, причемъ послѣдніе три класса онѣ проходятъ взрослыми дѣвушками и кончаютъ ихъ съ вполнѣ сложившимся характеромъ, готовыя на ту или другую борьбу за существованіе или за счастье; и въ гимназіи— большей частью *только* въ гимназіи—живутъ онѣ, такъ-сказать, общественной жизнью и считаютъ себя полноправными гражданками маленькаго, но шумнаго государства изъ пятисотъ человѣкъ. Здѣсь ярко выдѣляются индивидуальности ихъ характеровъ, и каждая играетъ свою, ей присущую роль. Здѣсь онѣ пріучаются радоваться общей радости, всѣмъ классомъ подниматься на защиту одной, одинаково принимать въ подпискѣ на вѣнокъ умершему учителю 5 рублей отъ богатой и 50 коп. отъ бѣдной, и цѣнить умъ и симпатичность выше красоты, богатства и положенія въ свѣтѣ, которыя не играютъ никакой роли въ этомъ справедливомъ государствѣ. И наконецъ, здѣсь

учатся дружно отстаивать нигдѣ не написанныя, но ими-же созданныя и неотъемлемыя права.

Въ Марусиномъ классѣ ученицы, какъ и всегда, ярко раздѣлялись на 3 категоріи: никѣмъ не любимыя, типичныя «первыя ученицы», затѣмъ «толпа» и, наконецъ, избранный «кружокъ», — во главѣ котораго стали Марья Незванцева и Соня Смирнова. Кружокъ былъ оживленный, думающій, спорящій. Въ его рукахъ сосредоточивалось главное самоуправленіе класса. Идти къ начальству, выпрашивать лишніе часы, отвѣтить учителю на оскорбленіе, добыть интересную книгу, взбудоражить весь классъ на подписку, чтобъ внести за неимущую товарку, уговорить классную даму не выдавать ей кто внесъ—все это было дѣломъ ихъ кружка.

Славные это кружки въ гимназіяхъ, и изъ нихъ-то по большей части выходятъ дѣльныя гуманныя женщины, далеко не педантки и синіе чулки, потому-что и прекрасныя искусства находятъ радушный пріемъ у нихъ.

И Марусинъ кружокъ часто увлекался музыкой, читалъ вмѣстѣ поэтовъ и классиковъ; на дружескихъ вечеринкахъ то у одной, то у другой изъ подругъ нерѣдко слышался то дуэтъ скрипки съ фортепіано, то задушевный романсъ Чайковскаго, исполненный необработаннымъ, но чуднымъ, бархатнымъ контральто, то пылкія страницы Гюго, нѣжная лирика Байрона и «Когда изъ пеленъ порывалась она...» прочитанное волнующимся молодымъ голоскомъ.

Какъ и бываетъ обыкновенно, изъ старшихъ классовъ выдѣлился одинъ и сталъ выше другихъ въ стѣнахъ гимназіи; за нимъ слѣдили съ особенной любовью учителя, а начальница считалась съ нимъ и держала его въ строгости, какъ извѣстную силу, которую нужно сдерживать.

Какъ-то безъ дальнихъ словъ всѣ, и «толпа», получающая тутъ важное значеніе, признаютъ обыкновенно въ классѣ одну, много двухъ — но непремѣнно дружныхъ между собою — «героинь», голоса которыхъ въ классѣ имѣютъ рѣшающее вліяніе, которыя избираются «депутатками» и т. п. Это бываютъ всегда дѣвушки Богомъ отмѣченныя, головой выше всего класса, и непохожія другъ на друга—взаимно дополняющіяся.

Такъ это было и здѣсь.

Обѣ героини, Маруся и ея подруга Соня, были совсѣмъ различныя натуры.

Маруся была въ высокой степени женственна, нѣжна, изящна; несмотря на легкую небрежность, одѣта всегда со вкусомъ. Бѣлокурые, слегка вьющіеся волосы ложились красиво; перчатки граціозно облегали узенькую руку; ножка была съ высокимъ подъемомъ.

Вся она всегда чѣмъ-нибудь безраздѣльно увлекалась. Голова ея была полна высокими мыслями, она религіозно жаждала «принести пользу человѣчеству». Когда она говорила, то всегда увлекалась до экстаза, и въ глазахъ ея загорались вдохновенные огоньки.

Соня Смирнова, наоборотъ, была коренастая, сильная брюнеточка небольшого роста, съ слегка мужественнымъ выраженіемъ лица, некрасивая и не обращавшая никакого вниманія на свою наружность. Одѣвалась она просто до чрезвычайности. Умница была большая, массу читала, свысока относилась къ «розовой», не идейной поэзіи. На жизнь смотрѣла въ высшей степени положительно, требовала «фактовъ» и мечтала о медицинскихъ курсахъ. Но если Смирнова, такъ сказать, представляла собой *умъ* класса, то Маруся была его *душой*, вносила въ него свѣтъ и поэзію. Ма-

руся давала идею, Соня брала на себя ея осуществленіе; Маруся обращала вниманіе на цѣль, Соня — на средства; но цѣнятъ больше Уайта, открывшаго силу пара, чѣмъ машиниста, правящаго поѣздомъ, и поэтому классъ (если и уважалъ обѣихъ) любилъ больше Марусю, откликался на всякій ея горячій призывъ. Немудрено, поэтому, что оставшись такъ одиноко, Маруся еще больше полюбила свой классъ,входя въ него какъ въ родную семью; и онъ съ еще большей нѣжностью относился къ ней и какъ-то бережно-почтительно—къ ея неостывшему горю.

И потому еще хорошо ей было тамъ, что гимназія оставалась та-же, что и прежде. Могли происходить перемѣны во внѣшнемъ мірѣ, но она была непоколебима. Тѣ-же бѣлыя стѣны съ пестрыми картами, то-же платье и та-же работа у Анны Власьевны и то-же росписаніе уроковъ. Такъ-что пока Маруся была въ гимназіи, это давало ей милую иллюзію того, что и *она* осталась та-же, и не было въ ея жизни той ужасной перемѣны, и попрежнему она пойдетъ съ подругами *домой*, проводивъ по дорогѣ Соню.

Тѣмъ печальнѣе было ей возвращаться въ мрачное бабушкино жилье и тѣмъ чаще желала она, чтобъ не было праздниковъ.

Теперь она съ еще большимъ интересомъ, чѣмъ прежде, ждала уроковъ Торскаго. Да и весь классъ, изъ всѣхъ учителей, любимыхъ, антипатичныхъ и «всеравношныхъ» интересовался Торскимъ.

Кружокъ любилъ его, инстинктивно чувствуя въ немъ одинаковую съ ними молодость, пылкость убѣжденій и мысли, увлекался его преподаваніемъ, его чтеніемъ любимыхъ поэтовъ, спорилъ и бесѣдовалъ съ нимъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то невольно всѣ были относительно его настороже.

Ходили слухи о томъ, что онъ ночи напролетъ играетъ въ карты и вообще живетъ шумно, а кружокъ никакъ не могъ совмѣстить это съ понятіемъ объ «идеальности» Торскаго. Его блѣдность, его красота, безукоризненные воротнички и синій фракъ сидѣвшій какъ-то не по-казенному, ароматъ тонкихъ духовъ, распространявшійся въ классѣ когда онъ вынималъ платокъ,—все это заставляло нѣкоторыхъ предполагать въ немъ рисовку.

Но его недюжинныя знанія, его манера говорить—всегда интересно и глубоко—всѣхъ обезоруживали. Онъ такъ умѣлъ будить ихъ мысль, возбуждать соревнованіе, что передъ его приходомъ въ классѣ всегда разливался словно притокъ электричества, и румянилъ щеки и заставлялъ блестѣть глаза и работать усиленнѣе головки.

Кружокъ прозвалъ его «героемъ нашего времени» — и въ сущности говоря, какъ Маруся и Соня были героинями класса, такъ онъ былъ его героемъ. Никто этого не высказывалъ, но это было такъ. И на этой почвѣ какъ-то всегда они чувствовали себя ближе другъ къ другу, онъ и Маруся. Изъ двухъ героинь класса онъ лично положительно предпочиталъ Марусю, и когда говорилъ съ ними, то всегда глядѣлъ на Марусю, сначала просто изъ машинальнаго эстетическаго чувства, заставлявшаго его взглядъ отдыхать на изящной, милой Марусѣ, еще болѣе выдѣлявшейся рядомъ со своей некрасивой подругой, а потомъ ужь совсѣмъ привыкъ глядѣть на дѣвушку, очаровательную въ своемъ темнокоричневомъ платьѣ, полудѣтскомъ фартучкѣ и съ пышной золотой косой. И какъ-то такъ случалось, что и отвѣчала ему больше Маруся, и онъ не безъ волненія смотрѣлъ на ея свѣжее какъ цвѣты шиповника лицо, съ капризно-очерченнымъ ртомъ и вдохновеннымъ

взглядомъ мѣняющихся глазъ. Онъ ждалъ ея наивныхъ вопросовъ, ея пылкихъ возраженій — и эти бесѣды, хотя на чисто научной почвѣ, подъ смутный гулъ сотенъ дѣтскихъ и женскихъ голосовъ, въ полутемномъ корридорѣ, получали для него особенную, чистую прелесть.

Такъ-же относилась къ нимъ и она; Соня-же, бѣдная смѣшная Соня, пошла дальше. Тайно, почти не отдавая себѣ самой отчета, она увлеклась Торскимъ. И это была первая неискренняя нотка въ ихъ дружбѣ съ Марусей—она ей этого не сказала. Она даже начала мысленно упрекать Марусю за то, что въ этихъ бесѣдахъ она занимаетъ все вниманіе Торскаго. Онѣ часто говорили о немъ, и съ безсознательной хитростью Соня усердно нападала на нравственность Торскаго, старалась выставить его Марусѣ въ дурномъ свѣтѣ какъ человѣка, продолжая хвалить какъ учителя. Пылкая Маруся не хотѣла вѣрить, чтобы слово у него такъ расходилось съ дѣломъ, и въ глубинѣ ея души, она сама не понимала почему, пробуждалось смутное недовольство на Соню за эти рѣзкія нападки.

И вотъ, наконецъ, произошолъ маленькій, самъ по себѣ незначительный случай, который однако сильно измѣнилъ отношеніе Маруси къ Торскому.

Былъ солнечный осенній день. Небо ярко синѣло, словно вспоминая о недавнемъ лѣтѣ. Послѣдніе желтые листья золотымъ дождемъ кружились въ воздухѣ. Здоровый вѣтеръ освѣжалъ и бодрилъ.

Только-что шумной гурьбой высыпали сотни гимназистокъ изъ подъѣзда большого бѣлаго зданія, и цѣлуясь, смѣясь, болтая и прощаясь, направились въ разныя стороны.

Маруся на поворотѣ улицы разсталась съ Со-

ней и шла мимо сквера. Брови ея невольно сдвигались, когда она думала о возвращеніи домой. Вѣтеръ крутилъ ея траурный вуаль, путалъ ея юбку и мѣшалъ ей идти, наконецъ чуть не сорвалъ шляпу. Одной рукой она поддерживала юбочку, другой схватилась за шляпу; книги вывалились у нея изъ рукъ—ремешокъ развязался,—и она остановилась въ отчаяніи, смотря, какъ онѣ валяются на землѣ и вѣтеръ немилосердно треплетъ ихъ листы.

— Позвольте мнѣ вамъ помочь! раздался знакомый голосъ надъ ея ухомъ.

Она вздрогнула отъ неожиданности и подняла глаза: передъ нею стоялъ Торскій и улыбался. Она вся вспыхнула. Онъ быстро поднялъ книги и подалъ ей.

— А теперь позвольте съ вами поздороваться!

Она взглянула на него въ замѣшательствѣ, увидѣла, что онъ протягиваетъ ей руку, растерялась еще больше—и наконецъ подала ему свою. Онъ любовался ея густо покраснѣвшимъ личикомъ. Она овладѣла собою:

— Право, мнѣ такъ странно было подать вамъ руку!

— Благодарю васъ?!

— Нѣтъ, что вы! Мнѣ хотѣлось сдѣлать вамъ реверансъ.

И она улыбнулась.

— Это очень обидно, милая барышня, что всѣ ученицы смотрятъ на насъ какъ на какія-то машины, не существующія для нихъ внѣ учебниковъ и отмѣтокъ!

Маруся заволновалась.

— Вы знаете отлично, Александръ Сергѣевичъ, что мы на васъ такъ не смотримъ! Мы всѣ такъ васъ любимъ... то-есть, уважаемъ... и ваши уроки

для насъ настоящее наслажденіе, именно потому, что они не казенные, не мертвые!..

— Полно, полно, я пошутилъ. Я знаю, что мой классъ меня любитъ. Я это чувствую. Такъ всегда меня славно слушаютъ, и для меня удовольствіе у васъ преподавать!

Марусины глаза заблестѣли отъ радости: вотъ что она разскажетъ Сонѣ!

Разговоръ пошолъ объ урокахъ, о классѣ, простой и сразу сердечный, какъ между двумя хорошими знакомыми. Торскому хотѣлось хорошо говорить съ этой умницей, съ этой милой дѣвочкой въ траурѣ; а когда онъ хотѣлъ, онъ умѣлъ говорить. И Маруся сразу обошлась съ нимъ, какъ-то забыла, что это учитель.

— Мнѣ такъ пріятно, продолжалъ онъ начатую бесѣду,—когда я вижу, что меня разумно и внимательно слушаютъ. Я въ этомъ случаѣ очень цѣню... васъ. Вы умѣете слушать.

«Неужели-же, подумала Маруся, — онъ отличаетъ меня, когда говоритъ намъ всѣмъ?»

Точно отгадавъ ея мысль, онъ продолжалъ:

— Я то-и-дѣло гляжу на васъ, прямо для того, чтобы найти одобреніе, когда утомляюсь или когда въ классѣ начинается перешептыванье и т. п. Взгляну на васъ—и вижу, что эти умные глазки такъ и горятъ, что вся вы обратились въ слухъ, и всегда скажу себѣ: не падай духомъ, разъ у тебя есть здѣсь маленькій другъ! Правда вѣдь это?

— Правда, прошептала Маруся.

— Ну, дайте мнѣ вашу руку, и будемъ друзьями, хотите?

— Еще-бы!... совсѣмъ чуть слышно произнесла она.

— У васъ большое горе было; Анна Власьевна

сказала мнѣ, что вы совсѣмъ одна теперь на свѣтѣ. Это вѣрно?

Глаза Маруси наполнились слезами при напоминаніи о недавнемъ горѣ; но тутъ-же что-то сладко подсказало ей: «Онъ говорилъ! Онъ думалъ о ней!»

— Я совсѣмъ одна, просто отвѣтила она.

— Такъ вотъ, милая моя ученица, думайте съ этой минуты, что у васъ есть другъ. Я вамъ говорю, что когда я въ классѣ подумаю это и посмотрю на васъ, такъ мнѣ дѣлается легче. Думайте такъ и вы. Я всегда вамъ готовъ помочь, и словомъ, и дѣломъ—чѣмъ могу, милая вы дѣвушка!

Маруся смотрѣла на него вся просвѣтленная. Ей дѣйствительно стало легче. Какой-то туманъ спалъ съ ея глазъ, съ ея души, и она вдругъ увидѣла новаго Торскаго, человѣка, а не учителя, съ мягкой, ласковой рѣчью, съ почти любовнымъ взглядомъ темныхъ, красивыхъ глазъ, съ нѣжными нотками въ голосѣ, и подумала:

— Нѣтъ, я этого Сонѣ не скажу!...

Съ тѣхъ поръ и у нея была тайна отъ подруги, и вся ея жизнь получила какую-то новую, необъяснимую полноту. Какія-нибудь нѣсколько ласковыхъ словъ Торскаго—и только; но они упали на добрую почву. Слишкомъ болѣзненно-грустно была настроена Маруся, непривычно одиноко чувствовала себя — и ея сердце готово было раскрыться для перваго добраго слова, для перваго проблеска человѣческихъ отношеній. Она не называла это *любовью,* она еще не знала смысла этого слова, и милая юная гимназистка, на основаніи сужденій Сони Смирновой и нѣсколькихъ безнравственныхъ романовъ, прочитанныхъ съ отвращеніемъ, судить о любви не могла. Ей казалось, что любовь, это — паденіе, это—грѣхъ, это—страданія. Это преобладаніе животной половины человѣка надъ духовной.

Но развѣ то, что она чувствовала, хоть немного походило на эту воображаемую любовь? До того мало, что она и не думала объ этомъ. Она только чувствовала какой-то необъяснимый толчокъ внутри себя при входѣ его въ классъ; она жила воспоминаніями его добрыхъ словъ и, въ тяжелыя минуты у бабушки, уносилась мечтой въ опустѣвшій скверъ, къ тому дню, когда такъ ярко синѣло небо и желтые листья кружились по вѣтру. Она была рада остаться одна и тушить свѣчу съ десяти часовъ, чтобы думать о немъ, о разговорахъ съ нимъ, ярче представлять себѣ все это. Душа ея спѣшила привязаться къ кому-нибудь, и онъ былъ тотъ, кто первый коснулся ея туго натянутыхъ струнъ. Теперь въ немъ она видѣла свѣтлую точку своей жизни, и ей казалось, что онъ съумѣетъ ее защитить и уберечь отъ несчастья.

Въ гимназіи на его урокахъ сладкое чувство охватывало ее.

Если нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ быть съ любимымъ существомъ, говорить о взаимно-интересующихъ вещахъ, глядѣть ему въ глаза—и тутъже сознавать, что *ничего* не прочтешь въ этихъ глазахъ, кромѣ того, что ему угодно, чтобы вы знали, и чувствовать, что сидя рука съ рукой, положивъ къ нему на грудь голову,—вы въ сущности отъ него дальше чѣмъ на сто верстъ; то что можетъ сравниться съ совершенно обратнымъ ощущеніемъ: издали смотря на человѣка, къ которому въ вашей душѣ смутно пробуждается какое-то чувство,—хранить дивную иллюзію того, что онъ понимаетъ вашъ взглядъ и что вы читаете отвѣтъ въ его взорѣ.

Это испытывали и Торскій, и Маруся, глядя другъ на друга во время уроковъ, и во время ихъ разговоровъ въ корридорѣ, которыхъ она теперь

ждала, слушая его не такъ, какъ прежде, вникая безсознательно меньше въ то, что касалось дѣла, чѣмъ въ звукъ его бархатнаго голоса, въ то, что онъ съ невыразимой интонаціей говорилъ лично ей:

— Милая барышня!

Съ тѣхъ поръ, хотя они никогда не уславливались, но почему-то почти всегда выходило, что у Торскаго было какое-нибудь дѣло неподалеку отъ сквера, а Маруся замедляла шаги, заглядываясь на обнажонныя деревья, сначала черныя, потомъ бѣлыя... И они часто встрѣчались. Разговоры ихъ становились все откровеннѣе: говорили сначала о вещахъ отвлеченныхъ, потомъ перешли на себя. Онъ разсказывалъ ей о своемъ бѣдномъ дѣтствѣ, о трудовой юности, объ умершей сестренкѣ—Марусѣ тоже. Она — о своемъ недавнемъ дѣтствѣ, о мамѣ, о нянѣ, объ ужасной, гнетущей жизни у бабушки. Потомъ пошли планы о будущемъ. Онъ спрашивалъ, что она будетъ дѣлать по выходѣ изъ гимназіи; она сообщала ему свои мечты о дальнѣйшемъ образованіи, о томъ, что вѣрно бабушка ей въ этомъ откажетъ. Онъ обѣщалъ потолковать съ начальницей и убѣдить ее вступиться за Марусю.

И такъ она привыкла все больше и больше вѣрить въ него, онъ становился ей необходимъ какъ воздухъ.

И вдругъ, эти ужасныя, равнодушныя слова перевернули всю ея душу:

— Урока не будетъ—Торскій боленъ. Можете дѣлать что хотите.

«Да развѣ можно что-нибудь дѣлать, зная, что онъ боленъ, что онъ страдаетъ»?..

Нетолько она, но и весь кружокъ, и Соня Смирнова приняли къ сердцу эту вѣсть. Пошли разспросы, толки—и въ первый разъ седьмой классъ

разошолся по домамъ безъ обычнаго смѣха и оживленія.

III.

Потянулись невыносимые дни. Торскій давалъ четыре урока въ недѣлю. Ожидали его выздоровленія, и часы его ничѣмъ не замѣнили. Кто приносилъ съ собой работу, кто читалъ вслухъ, кто готовился къ слѣдующему уроку. Классъ скоро почти забылъ причину и радовался результату. Эти часы были пріятнымъ отдыхомъ для всѣхъ, кромѣ Маруси. Она каждый разъ съ болью и замираніемъ сердца ждала дня его урока и, приходя въ классъ, спѣшила къ Аннѣ Власьевнѣ и спрашивала съ жаднымъ нетерпѣніемъ:—«Ну, что Торскій?»—надѣясь услышать благопріятный отвѣтъ; но его все не было, и съ каждымъ разомъ все озабоченнѣе говорила классная дама:

— Все лежитъ, бѣдняга!

Маруся положительно изводилась, худѣла и блѣднѣла. Уроки ей не шли въ голову. Только тѣ, что задавалъ Торскій—(несмотря на крайнюю слабость, онъ помнилъ свою гимназію и каждый разъ присылалъ записочки, что выучить, чтобъ не отстать) - учила она съ какой-то страстностью, мысленно шепча его имя.

Прошла недѣля.

Наконецъ, въ часъ урока Торскаго, Анна Власьевна вошла въ классъ съ особенно торжественнымъ и растроганнымъ выраженіемъ на добродушномъ, кругломъ лицѣ.

Гамъ стоялъ въ классѣ страшный.

— Ш-ш-ш! усмирила она классъ и постучала по столу линейкой.

Воцарилась тишина.

— Дѣти! начала она. (Такъ она звала ученицъ

въ хорошія минуты).—Угомонитесь и выслушайте меня: отъ Торскаго письмо!

Опять поднялся шумъ, крики и вопросы; только поблѣднѣвшая Маруся притаила дыханіе и схватилась за грудь рукой.

— Не всѣ вдругъ, не всѣ сразу! замахала руками классная дама.—Сейчасъ я вамъ все прочту и разскажу. Вотъ въ чемъ дѣло: у Торскаго воспаленіе легкихъ.

У Маруси помутилось въ головѣ.

Классъ опять заволновался.

— Форма не изъ легкихъ, продолжала классная дама, — и врядъ-ли раньше мѣсяца онъ выйдетъ; ну, а теперь время самое горячее; такъ вотъ, начальница велѣла вамъ сказать: хотите вы другого учителя?

— Нѣтъ! Нѣтъ! Не надо!.. зашумѣлъ классъ. Даже «толпа» разволновалась

— Да погодите вы! Дѣло въ томъ, что если вы обѣщаете хорошенько готовить уроки, сами за этимъ слѣдить, дѣлать письменные, словомъ—все какъ и при немъ, то на этотъ мѣсяцъ васъ оставятъ однѣхъ. Но помните, что это самый важный годъ, и мѣсяцъ времени имѣетъ значеніе, такъ-что если вы рѣшите ничего не дѣлать, то берегитесь экзаменовъ. Подумайте, если вы оплошаете—будетъ и вамъ скверно, да и Торскому не хорошо передъ попечителемъ и совѣтомъ. Думайте! Начальница такъ добра, что предоставляетъ вамъ рѣшить это.

Въ классѣ поднялось небывалое волненіе. Кричали, старались перекричать другъ друга, однѣ *за*, другіе *противъ*.

Классная дама опять постучала по столу линейкой.

— Постойте же! Послушайте, что Торскій пишетъ!

Всѣ притихли.

— «Многоуважаемая Вѣра Степановна...» Ну, это онъ пишетъ о своей болѣзни и обо всемъ такомъ. А вотъ что—о васъ:

«Я увѣренъ, что мои милыя ученицы не обманутъ моего довѣрія. Все это уже не дѣти, а взрослыя дѣвушки, и я не хочу думать, что какой-нибудь мѣсяцъ моей болѣзни настолько ихъ измѣнилъ, что онѣ не захотятъ поработать серьезно. Послѣ трехъ лѣтъ, что я имъ преподаю съ такой любовью, мнѣ было-бы...» Какъ онъ неразборчиво пишетъ, прервала она сама себя.—Видно, что перо еле держалъ.

Въ классѣ многія уже утирали слезы.

— «Мнѣ было-бы страшно грустно не довести ихъ до выпускного экзамена, гордясь ихъ успѣхами и свѣтлыми головками. Пусть онѣ выберутъ одну изъ лучшихъ ученицъ (тутъ взгляды всѣхъ обратились на Марусю, блѣдную какъ полотно), и она возьметъ на себя трудъ иногда спрашивать остальныхъ; пусть сами честно провѣряютъ свои знанія. Тему для письменнаго я имъ пришлю. И я убѣжденъ, что онѣ исполнятъ это, зная, что я тогда легче буду переносить свои страданія».

Классная дама остановилась. Въ классѣ многія всхлипывали.

Маруся поднялась съ мѣста. Глаза ея такъ и горѣли на блѣдномъ лицѣ, и она противъ обыкновенія произнесла только одну фразу:

— Господа! Неужели мы его обманемъ?..

Но такой силой вѣяло отъ нея, что весь классъ, какъ одинъ человѣкъ,—и ничтожныя первыя ученицы, и пустая толпа — всѣ заразились этимъ страстнымъ порывомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! кричали онѣ.—Анна Власьевна,

мы будемъ учиться! Пусть остается Торскій, Торскій! Не хотимъ другого!

— Да и не надо, глупыя дѣти! произнесла классная дама, улыбаясь сама со слезами на глазахъ.

* * *

Прошли еще двѣ недѣли. Былъ написанъ «письменный» на всѣхъ захватившую тему: «Женскіе типы у Тургенева». Боже, что писала Маруся! Какія пламенныя строчки выливались изъ-подъ ея пера! Не блистали эти странички ни литературной отдѣлкой, ни изысканностью слога; но она писала ихъ съ какимъ-то вдохновеніемъ, невольно отождествляя себя съ Еленой, съ Наташей... и отчаянная, безсознательная смѣлость заставила ее поставить эпиграфомъ:

«Не я пишу... рукой моею,
Какъ встарь, владѣешь *ты*, любя...»

Классная дама, не просматривая тетрадокъ, отдала ихъ прямо, и такъ онѣ и попали въ руки Торскому. Онъ взялъ ея тетрадку первой — онъ уже зналъ ея почеркъ,—и когда онъ прочелъ эту надпись, у него на душѣ свѣтлѣй стало. Перечитывая эти искреннія дѣвичьи мечты, эти наивныя объясненія въ любви—правдѣ, добру и красотѣ,— онъ забылъ свою болѣзнь.

А она была не изъ легкихъ и страшно изнуряла его.

Каждый разъ добрѣйшая Анна Власьевна разсказывала о немъ что-нибудь дѣвушкамъ, и стосковавшаяся Маруся съ жадностью ловила каждое слово.

Сегодня Анна Власьевна растрогала ихъ всѣхъ, разсказывая, до чего Торскій ослабѣлъ. Она была дружна съ его тетушкой и часто заходила къ нимъ.

— Знаете, дѣти, говорила она ученицамъ, — поблѣднѣлъ, похудѣлъ. Остригли его — онъ совсѣмъ какъ мальчикъ теперь. Ослабѣлъ!.. Иногда совершеннымъ ребенкомъ становится: вчера ему захотѣлось винограду, а тетка не даетъ до прихода доктора; такъ онъ чуть не плачетъ и все повторяетъ такъ жалобно: «Тетя, ну дайте мнѣ винограду!» И смѣхъ, и грѣхъ!

Маруся прямо глотала слезы, и невыразимая жалость заливала ея сердце. Она представляла себѣ Торскаго, этого сильнаго, мужественнаго Торскаго,—больнымъ, похудѣвшимъ, въ постели, — и невыразимо трогательны становились ей эти слова: «Тетя, ну дайте мнѣ винограду!..»

— Милый! Бѣдный!..

Крупныя слезы падали по ея щекамъ, и она поспѣшно ихъ вытирала.

Анна Власьевна подозвала ее — она была дежурная сегодня:

— Незванцева, сходите внизъ и велите швейцару отнести эти книги и это письмо Торскому— начальница велѣла передать.

Маруся взяла пакетъ и письмо и спустилась по лѣстницѣ. Совершенно машинально глаза ея упали на адресъ: «А. С. Торскому, Владимірская, № 5».

Она отдала швейцару порученіе, поднялась на верхъ, развернула какой-то учебникъ... а въ глазахъ все время вертѣлись слова: «Владимірская, № 5».

— Что ты такая скучная сегодня? равниво спросила Соня, вглядываясь въ нее.

— Ничего, отвѣчала она, принимаясь читать, а въ ушахъ такъ и звенѣло: «Владимірская, № 5».

Она бросила читать, оперлась подбородкомъ на ладонь и повернула голову къ окну. Зимнее солнце играло брилліантами на деревьяхъ. Сороки отдыхали на телеграфныхъ столбахъ. Ѣхали сани

шли люди. А налѣво черезъ площадь разстилалась Владимірская... широкая Владимірская... «Владимірская, № 5...»

И она захлопнула книгу.

— Ну конечно! Я должна пойти къ нему!..

На другой день было воскресенье. Марусѣ еще съ вечера удалось упросить бабушку позволить ей отправиться къ Смирновой, приготовляться къ письменному по алгебрѣ. Бабушка слишкомъ хорошо видѣла всю безупречность поведенія Маруси и ея усиленныя занятія, чтобы отказать ей въ этомъ.

Маруся вся дрожала и еле спала ночь. Въ первый разъ въ жизни она проснулась съ сердцебіеніемъ. Пока она одѣвалась, руки ея дрожали, тесемки путались. То-и-дѣло охватывало минутное головокруженіе, въ глазахъ темнѣло, губы сохли; ощущеніе замиранія проходило по всему тѣлу. Утромъ онѣ по обыкновенію были съ бабушкой въ церкви, и Маруся всю обѣдню простояла на колѣняхъ, ломая руки и шепча жаркую молитву. За завтракомъ она ничего не могла взять въ ротъ, а глаза ея словно сохранили отблескъ молитвеннаго экстаза. Они смотрѣли, лучистые, «выросшіе», на бабушку и на кассира съ такимъ выраженіемъ, какъ-будто видѣли небесный огонь. Она быстро поцѣловала сухую руку бабушки, въ минуту одѣлась и была на улицѣ. Словно какія-то крылья несли ее. Она шла, не замѣчая никого, быстро, торопливо; на углу улицы пріостановилась и осмотрѣлась: 1... 3... 5...—и вотъ она у дверей маленькаго одноэтажнаго домика. Тутъ съ ней словно наступила реакція. Сила и рѣшимость покидали ее. Она схватилась за ручку двери, чтобы не упасть, закрыла глаза рукой — и такъ простояла нѣсколько минутъ. Мелькнула мысль: «Вѣдь

я обманываю... бабушку. Я допускаю ложь!..» Но все существо ея властно отвѣтило ей, что въ этомъ вся правда; что его надо увидѣть, какимъ-бы то ни было путемъ, и разъ иначе нельзя— такъ этимъ.

И она собралась съ духомъ и дернула за звонокъ.

Ей отворила опрятно одѣтая старушка съ простоватымъ, но добродушнымъ лицомъ, и съ нескрываемымъ изумленіемъ глядя на неожиданную посѣтительницу, вопросила:

— Вамъ кого угодно?

— Александръ Сергѣевичъ Торскій здѣсь живетъ? пролепетала Маруся.

Вопросъ былъ излишній: она на двери прочитала фамилію на мѣдной дощечкѣ; но она не сознавала, что говоритъ.

— Здѣсь... съ еще большимъ изумленіемъ протянула старуха.—Только вѣдь онъ боленъ...

— Я знаю, заторопилась Маруся – Я знаю... Я потому-то и пришла... узнать объ его здоровьи... Я его ученица.

— Да что жь я васъ здѣсь держу-то? опомнилась та. — Вы пожалуйте въ гостиную... Я пойду сейчасъ ему скажу.

Маруся послѣдовала за ней и очутилась въ небольшой гостиной, убранной какъ всѣ ей подобныя: круглый столъ съ альбомами, вѣнскіе стулья, картинки на стѣнахъ, цвѣты на окнахъ и канарейка въ клѣткѣ.

— Подождите здѣсь, барышня. Онъ очень радъ будетъ!

Старушка ушла, оставивъ Марусю одну. Она машинально принялась разсматривать комнату. Убрана она была весьма обыкновенно, но казалась веселенькой отъ блестящаго пола, солнечныхъ

оконъ и поразительной чистоты. Маруся смотрѣла и думала только: «Онъ здѣсь живетъ!... Онъ здѣсь живетъ!...»

Старушка показалась въ дверяхъ гостиной. Вмѣсто удивленія, лицо ея носило теперь выраженіе полной радости.

— Шурочка ужасно васъ благодаритъ, сказала она дѣвушкѣ.—Вы сдѣлайте милость, если не непріятно вамъ видѣть больного, войдите къ нему, онъ очень васъ проситъ.

— Спасибо... еще-бы... пролепетала Маруся и, вся трепещущая, пошла за ней.

Онѣ прошли еще одну комнату—нѣчто вродѣ столовой и остановились въ дверяхъ третьей. На Марусю пахнуло аптечнымъ запахомъ. Тетка прошла впередъ:

— Вотъ барышня, Шурочка!

Маруся еще не могла ничего различить среди царствующаго отъ спущенныхъ соломенныхъ шторъ полумрака, когда раздался тихій, страшно ослабѣвшій и прерывистый голосъ Торскаго:

— Милая барышня, спасибо, что навѣстили!..

Она повернулась въ ту сторону, откуда слышенъ былъ голосъ, и, наконецъ, увидѣла Торскаго. Онъ лежалъ въ постели, покрытый бѣлымъ одѣяломъ, отъ котораго руки его, безсильно лежавшія, едва отдѣлялись своимъ цвѣтомъ. Онъ дѣйствительно похудѣлъ до неузнаваемости и казался совсѣмъ юношей. Обведенные темными кругами глаза казались больше обыкновеннаго на блѣдномъ лицѣ.

— Подите сюда... дайте мнѣ вашу руку... продолжалъ онъ.

Она подошла. Отъ волненія она ничего не могла выговорить, и даже зубки ея слегка стучали.

— Тетя, вы поднимите шторы и приготовьте чайку. Вы посидите... ужь побалуйте меня... ласково сказалъ онъ.

Тетка исполнила его приказаніе и беззвучно вышла. Въ комнатѣ стало свѣтло. Маруся теперь могла разсмотрѣть всю комнату, полу-спальню, полу-кабинетъ. Кожаный диванъ, шкафы съ книгами, загроможденный письменный столъ, комодъ и умывальникъ составляли почти всю ея меблировку. Бюсты Гоголя и Пушкина смотрѣли со шкафовъ; ломберный столикъ съ нестертыми записями стоялъ въ углу; на диванѣ лежала вышитая сорочка и коробка съ гильзами.

Она бѣгло оглянула все это, и глаза ея съ невыразимой нѣжностью остановились на Торскомъ. Она ничего не говорила, но вся ея душа выливалась въ этомъ взглядѣ, — глубокомъ, лучистомъ, тепломъ, и его охватывало ощущеніе давно неиспытаннаго счастья подъ взглядомъ этихъ дѣвичьихъ глазъ. Онъ съ восхищеніемъ смотрѣлъ на нее.

Она не казалась ему такой дѣвочкой, какъ въ гимназіи. Изящное сѣрое платьице, съ бѣлымъ крепомъ у шеи, заставляло ее казаться старше и позволяло отгадывать совершенство ея линій. Розовая отъ мороза и отъ волненія, съ морозной пылью на мужской плюшевой шапочкѣ и на пушистыхъ золотыхъ волосахъ, она была очаровательна.

— Что, смотрите на кого я похожъ сталъ? улыбнулся онъ.

Она только опустила головку.

Онъ слабымъ голосомъ началъ распрашивать ее о классѣ, объ ученицахъ, говорилъ ей, какъ онъ соскучился безъ дѣла... безъ нихъ; что только одни ихъ сочиненія внесли отраду въ его болѣзнь и что *ея* сочиненія онъ никогда не забудетъ.

— Спасибо вамъ, славная, милая дѣвушка!.. Дайте вашу руку!..

Онъ взялъ ее за руку, слабо пожалъ и продолжалъ держать въ своей.

— Хорошо такъ! Не уходите! сказалъ онъ, но видимо ужь былъ утомленъ, и дыханіе его стало затрудненнѣе.

Маруся не шевелилась. Странное, сладкое чувство: и состраданіе сестренки, и ощущеніе безсознательно-просыпающейся страсти—наполняло ее, когда она смотрѣла на него. Она сама тихо пожимала его руку, и съ этимъ пожатіемъ, въ которомъ она чувствовала, какъ бьется его пульсъ, что-то невѣдомое проникало ее съ такой страшной силой, словно токъ, переливавшійся изъ его руки въ ея руку, и доходившій до сердца, и будившій каждый нервъ ея нетронутой, богатой натуры. Что-то сжало ея сердце, заволокло глаза и— сама не отдавая себѣ отчета, почему— она разрыдалась какъ ребенокъ.

— Милая, дорогая! повторялъ онъ, не выпуская ея руки. — Что съ вами? Что съ вами, мой дружочекъ?.. Вамъ жалко меня?.. Полноте, я скоро буду здоровъ...

И онъ долгимъ поцѣлуемъ приникъ къ ея рукѣ..

* * *

Съ тѣхъ поръ всѣ свободные часы, когда она раньше уходила изъ гимназіи или могла подъ какимъ-нибудь предлогомъ ускользнуть изъ дому, она посвящала Торскому. Онъ медленно выздоравливалъ, и силы постепенно возвращались къ нему. Онъ былъ счастливъ какъ мальчикъ; въ первый разъ, можетъ-быть подъ вліяніемъ болѣзни, развившей въ немъ инстинктивную жажду ухода, ласки,

баловства, онъ вполнѣ вкушалъ сладость ея чистой, горячей *дружбы*, какъ она называла свое чувство. Выросшая подъ разумнымъ присмотромъ матери, потомъ попавшая въ строгую школу къ бабушкѣ, Маруся совершенно не имѣла случая узнать любовь такъ, какъ ее узнаютъ подростки. Развивалась она правильно и въ семнадцать лѣтъ была почти ребенкомъ. Ни банальная исторія «первой любви» съ такимъ-же подросткомъ, ни испорченные взгляды какого-нибудь отцовскаго товарища, ни разсказы и нескромныя признанія какой нибудь слишкомъ нѣжной подруги—ничто не успѣло хоть отчасти открыть ея воображенію запретные горизонты, или запятнать ея свѣжія уста. Немудрено поэтому, что въ этотъ моментъ пышнаго расцвѣта ея юности, все то, что пробуждалось въ ея душѣ—сознательное желаніе ласки, а въ молодомъ организмѣ — безсознательное требованіе жизни — назвала она дружбой.

Всѣ ея силы, и нравственныя и физическія, переживали какое-то броженіе; каждый атомъ, каждый нервъ ея существа трепеталъ и говорилъ, — и не понимая этого, она свое новое чувство встрѣчала съ какимъ-то религіознымъ экстазомъ, какъ христіанки первыхъ временъ — подсказываемыя имъ ихъ-же фантазіей видѣнія. И вся она ушла въ эту дружбу, жаркую и чистую какъ молитва.

А его все извѣдавшей натурѣ доставляло утонченное наслажденіе смотрѣть, какъ Маруся съ замираніемъ и боязнью поддавалась этому чувству.

Эти чудные часы, которые они проводили вмѣстѣ, онъ — на большомъ кожаномъ диванѣ, Маруся— съ книгой на низенькомъ стулѣ рядомъ, получали для него такую затягивающую прелесть, что ему хотѣлось продлить дни своего выздоровленія. Она приходила къ нему трепещущая отъ страха и отъ

удовольствія, вся розовая, и принималась ухаживать за нимъ: поправляла подушки, приносила чай, читала вслухъ. Потомъ они бесѣдовали о прочитанномъ, потомъ разговоръ становился все тише... тише... онъ бралъ ея руку, полузакрывалъ глаза, утомленный, и воцарялось молчаніе. Книга падала на полъ... Онъ тихо любовался ея граціозными движеніями, блестками свѣта въ ея золотистыхъ волосахъ. Дыханіе сначала ровно поднимало грудь, но потомъ подъ его пристальнымъ взглядомъ оно становилось прерывистѣе, и краска заливала ея ушки и нѣжную шейку, а губки ея холодѣли. Онъ смотрѣлъ на нее, и много мыслей проходило въ его головѣ. Онъ спрашивалъ себя, имѣетъ-ли онъ право такъ поступать съ этимъ ребенкомъ? Но болѣзнь сковала его волю. Ему было такъ хорошо съ Марусей. И самая опасная волшебница, привычка, подкрадывалась и усыпляла разсудокъ и толкала его на опасный путь.

Онъ жадно цѣловалъ ея руки, а она вся приникала какъ-то подъ этими молчаливыми, съ виду чистыми поцѣлуями и уходила отъ него поблѣднѣвшая, съ тысячью вопросовъ въ головѣ, и не спала ночей.

IV.

Былъ 10-й часъ вечера. Только-что два фонарика бабушкиной коляски завернули за уголъ и пропали въ темной улицѣ. Бабушка со своей старой горничной уѣхали на два дня въ ближній монастырь на дѣдушкину могилу. Маруся стояла у окна и смотрѣла, какъ снѣжные хлопья крутились въ темномъ воздухѣ и ярко блестѣли, попадая въ полосы неровнаго свѣта, тянущіяся отъ фонарей.

Шумъ шаговъ заставилъ ее обернуться.

За ней стоялъ молоденькій конторщикъ, обыкновенно ночевавшій въ конторѣ.

— Марья Николаевна! заискивающе началъ онъ.—Нельзя-ли мнѣ отлучиться? У меня маменька захворала...

Маменька у него захворала какъ-разъ послѣ бабушкинаго отъѣзда, но Маруся этой наивной хитрости не поняла и съ состраданіемъ отвѣтила:

— Какъ-же? Я безъ бабушки не могу!..

— Будьте добры, Марья Николаевна, я рано утромъ вернусь; никто и не узнаетъ. Вы только потрудитесь запереть контору. Будьте столь великодушны! приставалъ онъ, зная мягкость Марусинаго сердца,—и не ошибся.

— Ну, хорошо! отвѣтила она ему. — Только смотрите, вó-время вернитесь.

— Будьте покойны-съ! Не знаю, какъ васъ и благодарить! обрадовался тотъ.

Маруся взяла свѣчку, спустилась по лѣстницѣ за нимъ въ первый этажъ, выпустила его и заперла входную дверь. Ключъ звякнулъ въ замкѣ и остался у нея въ рукахъ.

Она осмотрѣлась. Непривѣтно глянула на нее темная комната съ желѣзными рѣшотками у оконъ, едва освѣщенная неровнымъ свѣтомъ колыхавшейся свѣчи.

«Словно темница!» подумала она. Жутко ей стало. Она опять пошла наверхъ по холодной лѣстницѣ, уставленной цвѣтами, отъ которыхъ тянулись длинныя, ползучія тѣни. Она прошла по всѣмъ комнатамъ... Сквозь замерзшія окна едва проникалъ свѣтъ луны, и еще мрачнѣе, еще печальнѣе казались онѣ. Со стѣнъ залы сурово глядѣли портреты, и вся пугающая тишина была полна какихъ-то непонятныхъ звуковъ.

То трескались половицы, то мышь скреблась

въ уголку; поднималась подъ поломъ бѣготня. То словно гдѣ-то струна лопалась и долго звенѣла въ воздухѣ чуть слышной ноткой. И всѣ эти звуки наводили странное чувство страха.

Маруся прошла въ комнату горничной—рядомъ съ бабушкиной спальней. Сегодня туда положили кухарку: она одна оставалась во всемъ домѣ. Она уже сладко спала и похрапывала; умаявшееся за день старушечье тѣло крѣпко отдыхало.

Маруся тихо позвала ее. Ей хотѣлось услышать человѣческій голосъ. Но отвѣта не было. Опять она пошла назадъ по комнатамъ, и ея стройная фигура, блѣдно озаренная свѣчой, словно видѣніе, отражалось въ высокихъ зеркалахъ комнатъ. Все больше и больше страхъ, дѣтскій, безотчетный страхъ дрожью пробиралъ Марусю. Нервы ея были невыносимо натянуты... Она опустилась на стулъ, поставила свѣчу и хотѣла раздѣваться.

Ея комната тоже молчала какимъ-то гнетущимъ молчаніемъ. Было холодно. Отъ сырыхъ книгъ пахло затхлостью. Безумно захотѣлось говорить, слышать чью-нибудь рѣчь.

— Какъ теперь хорошо было-бы очутиться въ его уютной, теплой комнаткѣ... пріютиться у него, какъ ребенку, ища защиты отъ пугающихъ призраковъ одиночества, чувствовать легкое прикосновеніе его руки къ волосамъ...

Ея рука, начавшая разстегивать пуговицы лифа, остановилась... взглядъ упалъ на ключъ... Безумно смѣлая мысль мелькнула въ ея головѣ,—и вся загорѣвшись, не въ состояніи противиться силѣ, толкавшей ее, она вскочила, выпрямилась во весь ростъ, накинула на себя теплый платокъ и въ одну секунду спустилась внизъ. Темнота ужь не пугала ее. Она рѣшительно вложила ключъ въ

замокъ, мигъ—и она была на улицѣ. Морозный вихрь пахнулъ въ ея пылавшее лицо, она пріостановилась на минуту—вдохнула жадный глотокъ воздуха, перекрестилась, чтобъ отогнать невольный страхъ,—и исчезла во мракѣ улицъ.

— Что-бы это такое, Шурочка? Такой поздній часъ! Ужь я думаю, отпирать-ли?

— Что вы, тетушка! Мы не въ Тьмутаракани живемъ. Мало-ли что?.. Ну, телеграмма.

— Отъ кого это тебѣ телеграмма? А вонъ въ Егорьевскомъ переулкѣ надняхъ кухарку зарѣзали.

— Полно вамъ, тетя! Ну, что-же вы стоите?

— Да не пойду я сама отпирать, ужь пускай Маланью первую рѣжутъ.

Во время этихъ разговоровъ полусонная и еле одѣтая Маланья, зѣвая и почесываясь, направилась въ переднюю, отворила дверь и увидѣла знакомую барышню. У нея даже сонъ прошолъ.

— Матушки! запричитала она.—Ужь не пожаръ-ли у васъ, барышня милая?

Появилась и отважная тетушка:

— Марья Николаевна! Да на васъ лица нѣтъ!

Поднялись ахи и охи, и она потащила ее въ спальню.

Торскій, слыша весь этотъ шумъ и смутно догадываясь въ чемъ дѣло, приподнялся на локтѣ и нетерпѣливо ждалъ ихъ появленія.

— Ну, такъ и есть! вскрикнулъ онъ, увидя Марусю.—Милая, дорогая, что случилось?

Маруся подошла къ нему, не зная что сказать.

Зубъ на зубъ у нея нея не попадалъ, какъ въ лихорадкѣ, и сердце ея билось.

Онъ не выдержалъ и при теткѣ ее полуобнялъ, съ тревогой вглядываясь въ ея пылающее личико.

— Да вы больны, голубушка! Ради Бога успо-

койтесь! Тетя, скорѣе самоваръ, давайте чаю рому, всего... торопливо приказывалъ онъ.

Тетка, охая, поспѣшила въ кухню.

— Милая! Сумасшедшая!... Что-же съ вами?... Въ одномъ платкѣ, ну, можно-ли это! онъ снялъ съ нея платокъ. — Ну, что съ тобой? Говори-же не мучь меня!

Она вся вздрогнула при этомъ неожиданномъ *ты*.

— Бабушка уѣхала... на два дня... одной такъ страшно... Я не могла выдержать, захотѣлось увидать васъ... тебя... Силъ не хватило... лепетала она.

Онъ цѣловалъ ея ручки:

— Ну, чего-же ты дрожишь?.. Приди въ себя, радость моя!..

— Я боялась...

— Чего?..

— Не знаю... темноты, улицъ... всего...

— Ребенокъ ты! улыбался онъ, самъ взволнованный и обрадованный этимъ неожиданнымъ свиданіемъ.

Тетка внесла подносъ съ чаемъ, графинчикомъ рому и вареньемъ, поставила на столикъ:

— Вотъ, милушка, выпейте тепленькаго, а то, чего добраго...

— Спасибо, тетя... Вы теперь идите, ложитесь; я, если нужно будетъ, позвоню.

Тетка была недалека и въ критику поступковъ своего Шурочки не пускалась; поэтому она спокойно оставила комнату, проговоривъ:

— И то, ужь вы извините меня, барышня; я сплю совсѣмъ.

Они остались одни.

— Ну, погоди, я самъ теперь похозяйничаю'. Довольно ты за мной ухаживала!

Онъ усадилъ ее на диванъ.

— Видишь, какимъ я молодцомъ сегодня!..

Онъ дѣйствительно былъ уже въ тужуркѣ.

Онъ налилъ ей ложечку рому въ чай.

— Теперь ломтикъ лимону... Ну, все сразу, дѣтка гадкая!.. Вотъ тебѣ вареньица...

И онъ шутя кормилъ ее изъ ложки, а она смотрѣла на него счастливыми, немного смущенными глазами и приходила въ себя.

— Выпила! Ну вотъ и отлично. Теперь забирайся на диванъ съ ножками... Это что!.. ужаснулся онъ.—Въ однѣхъ ботинкахъ, по снѣгу!.. Сумасшедшая!.. Ну, я съ тобой расправлюсь по-свойски!..

И безъ дальнихъ разговоровъ онъ принялся разстегивать ея ботинки; несмотря на то, что она слабо защищалась, снялъ тонкіе, насквозь промокшіе чулки и началъ вытирать и грѣть эти бѣдныя ножки. Она откинулась на спинку дивана и полузакрыла глаза... Его прикосновеніе огнемъ пробѣгало по всему существу Маруси.

Онъ глядѣлъ на ея бѣленькія ножки съ голубыми жилками... и вдругъ отошолъ, проведя рукой по глазамъ.

Черезъ нѣсколько секундъ онъ подошолъ къ ней и сѣлъ рядомъ. Маруся положила ему на плечо головку. Она согрѣлась. Сладкая теплота разливалась по ея тѣлу, и какая-то истома овладѣвала ею. Какъ ей было съ нимъ сладко!.. Она не чувствовала больше себя одинокой; и какъ ребенокъ, она лепетала ему что-то милое и нѣжное, полумечты, полупризнанія, которыя опьяняли ему голову. У нея всѣ нервы были подняты этой ночной прогулкой по улицамъ, боязнью, таинственностью,— и она всей полнотой чувствъ сознавала, что не можетъ вырваться изъ его рукъ, да и не хочетъ,— такъ ей безумно-хорошо въ его объятіяхъ, и только куда-то манитъ, тянетъ—куда, она не знала; и ей казалось—что къ небу, прочь отъ земли.

И до того сильна была прелесть ея чистоты что передавалась и ему, и онъ боялся нарушить этотъ чудный сонъ, хотя голова его горѣла и виски бились...

Лунный свѣтъ падалъ въ комнату, освѣщая голубоватыми тѣнями лицо Маруси. Глаза ея были широко раскрыты, и своей нѣжной бѣлизной она напоминала цвѣтокъ бѣлой лиліи въ рукахъ ангела.

— Какъ хорошо... Я не уйду отъ тебя... шептала она.

— Какъ-же можно, милая!.. возражалъ онъ ей, самъ съ ужасомъ думая, что долженъ отпустить ее.

— Нѣтъ, нѣтъ... тамъ темно... Холодно... не гони меня... въ полузабытьи повторяла она. — Не гони!.. Я останусь съ тобой!.. Пока не станетъ свѣтло!.. Я боюсь!..

Онъ сжалъ ея руку, задыхаясь, силясь отогнать опасное головокруженіе:

— Ты не понимаешь, что говоришь...

Въ горлѣ у него перехватило.

— Отлично я понимаю! по-дѣтски капризно настаивала она. — И ты меня не прогонишь. Мнѣ такъ сладко!..

Глаза ея были полузакрыты; длинныя рѣсницы бросали тѣнь на полъ-щеки... губки полураскрылись въ счастливой до страданія улыбкѣ..

Онъ не выдержалъ—и поцѣловалъ въ первый разъ ея глаза:

— Милая!..

Она вся затрепетала...

А онъ словно *нашолъ* поцѣлуй и съ неиспытаннымъ восторгомъ цѣловалъ это чистое, чудное личико, которое наклонилось къ нему близко-близко и впивало его поцѣлуи какъ цвѣтокъ росу.

Слезы потекли по ея поблѣднѣвшимъ щекамъ, и это придавало удивительный оттѣнокъ чистоты

ихъ поцѣлуямъ. Маруся не понимала, что съ ней дѣлается. Новое ощущеніе переполнило ее, и она отдавалась ему съ какимъ-то пугливымъ благоговѣніемъ, широко открывъ глаза, какъ во время своихъ молитвенныхъ экстазовъ.

Онъ едва нашолъ силу оторваться отъ нея и, гладя ея лицо, ея шелковистые волосы, ея плечи, счастливый какъ ребенокъ, спрашивалъ:

— Такъ неужто любишь?.. Любишь?..

Другого слова не существовало —

— Люблю!..

И шопотъ Маруси замеръ подъ его безумнымъ поцѣлуемъ...

* * *

Маруся вернулась домой, когда уже блѣдный зимній разсвѣтъ поднимался надъ городомъ. Она отперла домъ, прошла въ свою комнату, почти упала на постель и такъ не раздѣваясь и заснула.

На утро она не могла поднять голову съ подушки.

Варвара пришла ее будить въ гимназію и испугалась, увидѣвъ пылающее лицо барышни. Она принесла ей чаю въ постель, укутала одѣяломъ и запретила вставать. Къ вечеру пріѣхала бабушка, послали за докторомъ. Тотъ нашолъ инфлюэнцу, спасительную болѣзнь, подъ именемъ которой теперь идутъ и простой насморкъ, и тифъ; прописалъ три микстуры, нѣсколько дней въ постели и уѣхалъ.

Она пролежала четыре дня въ лихорадочномъ жару, одна въ своей комнатѣ. Машинально она въ сотый разъ пересчитывала ряды книгъ на полкахъ, квадраты на обояхъ, а ея мозгъ не переставалъ ни на минуту работать.

Она не могла не понять, что она — полюбила.

И гордость охватывала ее при этой мысли, и вся жизнь приняла въ ея глазахъ другую окраску; ярче стали страницы поэтовъ, вспоминалось все слышанное и непонятое раньше... И ея нетронутое существо, такъ-же цѣльно и безвозвратно, какъ прежде отрицало — теперь поняло смыслъ этого великаго слова: любовь.

Она встала послѣ своей легкой болѣзни, подошла къ зеркалу—и удивилась, какъ мало болѣзнь измѣнила ее. Только глаза слегка впали и, окружонные легкой синевой, казались больше и блестящѣй, да розовыя пятна горѣли на щекахъ, да легкая слабость заставляла медленнѣе двигаться и придавала всѣмъ движеніямъ и позамъ прелестную, слегка утомленную небрежность, совершенно сглаживая немножко мальчишескія манеры подростка.

Она пришла въ гимназію, и странно ей было смотрѣть на подругъ. Она какъ-будто выросла за эти дни, переросла ихъ всѣхъ головой, и невольно снисхожденіе пробуждалось въ ея улыбкѣ, когда она взглядывала на этихъ шумныхъ, веселыхъ, болтливыхъ дѣвушекъ. Ея чудная тайна наполняла ее безсознательнымъ торжествомъ, и, какъ драгоцѣнное откровеніе, она бережно носила любовь въ своемъ сердцѣ.

Смирнова, увидя ее, подошла къ ней съ распросами и соболѣзнованіями; Маруся только улыбнулась. Подруга хотѣла ее поцѣловать; первое движеніе Маруси было отшатнуться: ей инстинктивно казалось, что послѣ него никто не долженъ касаться ея поцѣлуемъ; что она должна одному ему принадлежать...

И восторгъ пѣлъ въ ея душѣ. Она могла ду-

мать только о немъ, безъ него все ей казалось сномъ, сномъ, который населяли мечты о немъ; и для него горѣлъ молодой умъ, для него пышнѣе расцвѣтала юная красота.

Въ этотъ день гимназію ждалъ сюрпризъ: Анна Власьевна вошла и объявила классу:

— Торскій сегодня будетъ!

Въ классѣ поднялся обычный шумъ, а у Маруси краска отлила отъ щекъ. Соня замѣтила это и ревниво взглянула на нее.

Отворилась дверь — и появился Торскій. Онъ поклонился классу и, растроганно отвѣчая на шумныя привѣтствія, очевидно отыскивалъ глазами Марусю, перемѣнившую мѣсто. Онъ волновался тѣмъ, что она не приходила къ нему послѣ этой памятной ночи, и теперь, какъ мальчикъ, трепетно ждалъ того, какъ она на него взглянетъ.

Онъ увидѣлъ ее — Маруся сидѣла опустивъ глаза и не шевелясь.

Онъ взялся за книжку. Минутъ десять прошли въ вопросахъ и разговорахъ по поводу его болѣзни и того, что классъ успѣлъ пройти. Онъ не смѣлъ обратиться къ Марусѣ, Маруся-же не поднимала глазъ и молчала.

Наконецъ все пришло въ порядокъ. Урокъ начался.

Онъ вызвалъ какую-то ученицу и только-что хотѣлъ ее спросить, какъ-вдругъ буквально *почувствовалъ* на себѣ взглядъ Маруси — и поднялъ глаза.

Дѣйствительно, эти громадные, лучистые глаза смотрѣли на него съ такимъ выраженіемъ торжества и любви, съ такимъ глубокимъ счастьемъ — что у него помутилось въ головѣ. Мгновенно пронеслась въ его головѣ картина той дорогой ночи:

эта обожаемая дѣвушка, трепещущая въ его рукахъ, эти сумасшедшіе поцѣлуи,— и ему прямо дикимъ показалось то, что онъ не можетъ тутъ-же упасть къ ея ногамъ и цѣловать эти чудныя ножки, рыдая какъ мальчикъ.

И его глаза горѣли темнымъ огнемъ, и лучи ихъ взглядовъ встрѣчались какъ какіе-то металлическіе токи, сливались, и этотъ взглядъ, эта *духовная* ласка доставляла имъ такое безумное наслажденіе, какого не доставилъ-бы самый горячій поцѣлуй. Забытая ученица стояла въ недоумѣніи, классъ пересмѣивался, а Анна Власьевна метала отчаянные взоры то на Марусю, то на Торскаго.

* * *

Черезъ мѣсяцъ Маруся была его женой.

Татьяна Щепкина-Куперникъ

До слѣд. кн.

Изъ книги премудрости

ІИСУСА СЫНА СИРАХОВА.

Когда смыкаетъ смертный вѣжды,
Къ нему стремятся рои сновъ;
Ихъ тайны—ложныя надежды
И обольщенія глупцовъ.
Смѣшонъ, кто бѣгаетъ за тѣнью,
Смѣшнѣй, кто вѣритъ сновидѣнью;
Оно — какъ ликъ въ кристалѣ водъ:
Въ немъ то-же зло и недостатки,
Въ немъ тѣ-же муки и загадки, —
Чѣмъ сердце наяву живетъ...

К. Фофановъ.

Очерки невольнаго туриста.

(Отъ Иркутска до Качуга).

V.

Макся.

Зовутъ его Макся, а настоящее его имя Максимъ. Онъ изъ Подольской губерніи и, несмотря на болѣе чѣмъ двадцатилѣтнее пребываніе въ каторгѣ, остался такимъ-же хохломъ, какимъ попалъ туда. Его манеры, говоръ поразительно сохранили свою національную характерность. Съ нимъ идетъ цѣлое семейство собакъ— Розка, Дунька и Разбойко, и его нѣжная заботливость о своей собачьей семьѣ служитъ неисчерпаемымъ предметомъ шутокъ и остротъ арестантовъ.

— Сколько тебѣ лѣтъ, дѣдушка? спросилъ я его — что невольно прежде всего приходитъ въ голову, при видѣ его согбенной старческой фигуры.

— Да настояще самъ не знаю. За шестой десятокъ давно должно-быть перевалило, а можетъ и всѣ семьдесятъ уже есть. Видите, какъ спину въ дугу гнетъ, а вы не повѣрите, какъ я вамъ скажу, что восемь душъ загубилъ. Пусть вотъ съ этого мѣста не сойду, если я вру. Вотъ возьмите завтра у офицера статейный списокъ, прочитайте: тамъ все прописано.

И дѣйствительно, Макся не вралъ. При участіи другихъ, онъ когда-то вырѣзалъ съ цѣлью грабежа всю

семью; при задержаніи оказалъ вооружонное сопротивленіе и самъ былъ раненъ пулей въ нижнюю часть живота. Препровождаемый на каторгу, онъ бѣжалъ съ пути, вернулся въ свою Подолію и прожилъ восемь лѣтъ подъ чужимъ именемъ, занимаясь грабежами и разбоями. Выданный однимъ изъ своихъ сподвижниковъ, онъ судился вторично и приговоренъ къ безсрочной каторгѣ. Послѣднія десять лѣтъ онъ прожилъ въ вольной командѣ, то въ качествѣ сторожа при казенныхъ амбарахъ, то прислугой у тюремныхъ чиновниковъ.

— Такъ ты, Макся, большимъ разбойникомъ былъ?

— Да, говорю-же вамъ: восемь душъ убилъ. Ей-же Богу, правду говорю. Вы не смотрите, что бородой трясу,—когда-то и я человѣкомъ былъ, да и теперь, слава Богу, съ инымъ парубкомъ силой помѣряюсь. Видали вы Сеньку рябого? Молодой такой, бритый, мордастый. Онъ ко мнѣ, сучій хлопецъ, какъ-то въ зимовьѣ причепился. Я себѣ такъ человѣкъ смирный, и про меня никто худого слова не скажетъ. Спросите хоть всю партію, было-ли, чтобъ я кого понапрасну облаялъ или чужое тронулъ? Борони Боже! А онъ, нехай его маму мурдуе, привязался да и привязался: «Ты, говоритъ, старая собака, мой полушубокъ укралъ, а не ты, такъ ты видѣлъ, кто взялъ». Видѣть я, можетъ, и видѣлъ, а какое мнѣ дѣло? Всякій свое самъ береги. Пока онъ ругался, я ничего: погарчишь, думаю себѣ, погарчишь, да и спать захочешь. А онъ-же, бисова душа, видитъ, что брань меня не пронимаетъ, давай дразнить: «Хохлацкая твоя рожа, галушка», да то да се и—повѣрите—дули мнѣ подъ носъ давай тыкать. Э, тутъ ужь я не стерпѣлъ: трясь его по мордѣ, трясь по другой. Онъ меня за горло, повалилъ на землю... Ну, на его счастье, розняли насъ, а то-бъ у него ни одного ребра цѣлаго не осталось. Ей-же Богу.

— Неужели ты, Макся, и дѣтей убивалъ? Въ твоемъ статейномъ спискѣ сказано.

— А вжежь убивалъ. Отъ—такія малюсенькія, пять-шесть годковъ. Что-же будете дѣлать? Бо ежели его не убить, оно потомъ само на тебя докажетъ. Нельзя: плачешь, а убиваешь.

— Нехристь! Дѣтей не жалѣетъ, а цѣлую свору собакъ кормитъ... Вотъ ужь... прямо тово... бормоталъ Ягодкинъ, который считалъ почему-то всѣхъ хохловъ иновѣрцами.

— Да какая-же свора? Всего трое.

— Чѣмъ-же ты ихъ на поселеніи кормить будешь? Чай, и самому ѣсть-то нечего.

— Много-ли намъ четверымъ нужно? Какъ-нибудь, Богъ дастъ, прокормимся. Я человѣкъ старый, одинокій, ни роду у меня, ни племени. Какое кому до меня дѣло? А какъ видишь, что живая тварь около тебя ластится—какъ-будто веселѣй на душѣ. Умрешь,—все-же думаешь, хоть собака по тебѣ завоетъ. И, сказать вамъ правду, лучшаго товарища не найдешь, какъ вѣрная собака! Возьмите нашего брата, арестанта: развѣ ему можно довѣриться? За рваную сорочку жизни рѣшитъ. Вы повѣрите?—шолъ я по бродяжеству съ товарищемъ, такъ что-же вы думаете? Каждый изъ насъ другого боялся. Приляжешь отдохнуть подъ деревомъ—и боишься очей закрыть, чтобъ не заснуть. Заснешь, а онъ тебя ножомъ по горлу, или камнемъ по головѣ,—и свѣта не увидишь. На одного все-же на дольше сухарей хватитъ, чѣмъ на двухъ. Я—его боюсь, а онъ—меня. Такъ съ недѣлю вмѣстѣ побродяжили, измучились, одинъ другого остерегаючись, да и порѣшили разойтись въ разныя стороны.

На этапныхъ стоянкахъ Макся покупалъ хлѣбъ и первымъ дѣломъ кормилъ свою семью. Собаки съѣдали по куску и съ голодной мольбой устремляли свой взоръ на хозяина.

— Ото-жь, проклятыя, какъ жалобно глядятъ, говорилъ Макся,— ну, нате вамъ еще по кусочку, да и будетъ съ васъ.

Но собаки, проглотивъ вторую порцію и видя, что въ рукахъ у Макси остается еще полъ-хлѣба, продолжали увиваться и вертѣть хвостами.

— Нѣтъ, нѣтъ, будетъ съ васъ: а мнѣ-же что тогда останется? Совѣсти у васъ нѣтъ, пошли прочь!

Но добродушный тонъ Макси только ободрялъ надежды его питомцевъ, а когда мохнатый «Розбойко» забѣгалъ впередъ и становился на заднія лапы, старикъ чувствовалъ себя побѣжденнымъ: «Ой, какая-жь хитрая собака, чтобъ тебя! Ну, на ужь еще кусокъ, да больше не проси, ей-же Богу, не дамъ. Нате ужь и вамъ, чтобы не обижались». И Макся, поглядѣвъ на жалкій остатокъ отъ ковриги хлѣба, спѣшилъ уйти, чтобы самому не остаться ни съ чѣмъ. Пища его состояла изъ размоченныхъ въ кипяткѣ и превращенныхъ въ кашицу хлѣбныхъ крошекъ. Чаю онъ не пилъ; онъ увѣрялъ, что не охотникъ до чаю, а на самомъ дѣлѣ содержаніе «семьи» не позволяло ему доставлять себѣ эту роскошь. Онъ никогда не попрошайничалъ и даже, когда его хотѣли угостить, считалъ долгомъ приличія непремѣнно отказываться. Въ партіи его любили за его незлобивость и нѣжную привязанность къ своимъ собакамъ.

— Макся, иди, отвѣдай мясца: чай, давно не пробовалъ.

— Покорно васъ благодарю, кушайте сами на здоровье, неизмѣнно отвѣчаетъ Макся.

— Ну, ступай, чего тамъ...

— Ей-же Богу, спасибо, я уже покушалъ.

— Вотъ, чортовъ хохолъ, кобенится. Говорятъ тебѣ, ступай.

— Развѣ для собачекъ косточку дадите, какъ-бы нехотя уступаетъ настояніямъ Макся и неторопливо слѣзаетъ съ наръ.

— Взялъ меня въ услуженіе къ себѣ почтмейстеръ, разсказывалъ однажды Макся, послѣ многократныхъ церемонныхъ отказовъ напившись у меня чаю. — Да вы,

должно быть, его знаете: Понтюховскій, Лазарь Петровичъ. Два года я у него жилъ. Хорошій былъ баринъ, нечего Бога гнѣвить, злого я отъ него не видалъ. Жена его сестрой нашему пузатому, завѣдующему, приходится, нехай ему лихо. Ничего себѣ барыня, только, выбачайте, худыми дѣлами занималась; извѣстно, женщина молодая, а онъ уже въ лѣтахъ человѣкъ, сказать такъ — годовъ подъ сорокъ будетъ. Баринъ, что вечеръ, въ карты игралъ; то у него гости, то онъ въ гостяхъ. Разъ какъ-то пришла почта, а барина нѣтъ. Барыня посылаетъ меня: сбѣгай, говоритъ, старикашка (она меня всегда старикашкой звала),—сбѣгай, говоритъ, къ смотрителю тюрьмы—баринъ вѣрно тамъ за картами сидитъ. Побѣжалъ я—и правда—онъ тамъ. Офицеры, чиновники сидятъ за столомъ, въ карты играютъ. Вызвала его смотрительша, накинулъ онъ шинель и говоритъ: «Извините, господа, черезъ полчаса возвращусь». Приходимъ мы домой, онъ и говоритъ: «Ну, старикъ, распаковывай скорѣй сумки и подавай мнѣ все, что тамъ есть, на столъ». Сѣлъ онъ вотъ такъ, ко мнѣ спиною, а я раскрылъ чемоданы, вынимаю оттуда пакеты, подаю ему, а онъ въ книгу записываетъ. Попался одинъ большущій пакетъ; гляжу—денежный съ пятью печатями. Я возьми его да скорехонько хвать за пазуху, а другіе подаю ему; а онъ все въ книгу вписываетъ. «Уже, говорю, ваше благородіе, больше нѣту». Сложилъ онъ всѣ пакеты въ сундукъ, заперъ на ключъ и гайда снова къ смотрителю. Жена ему: «Ты опять уходишь?»—«Нужно, говоритъ, партію кончить, тамъ меня ждутъ». Подмелъ я въ комнатѣ, прибралъ ненужную бумагу и пошолъ себѣ, какъ-будто, выбачайте, по своему дѣлу за городьбу. Вышелъ въ кусты, присѣлъ и вынимаю изъ-за пазухи свой пакетъ. Читать я по-писанному не умѣю, а цифры разбираю; черкнулъ спичкой, гляжу—написано 3000 рублей. Ну, думаю, послалъ Богъ счастья на старости. Не убилъ, не ограбилъ—само пришло. Завернулъ пакетъ въ онучу и

спряталъ въ старой нежилой кухнѣ въ подполье; а самъ себѣ гадаю: пойду на поселеніе — будетъ на что вѣкъ свой дожить. Прошло такъ, чтобъ не соврать вамъ, недѣли двѣ. Живу я себѣ какъ жилъ. Только разъ баринъ самъ вышелъ ко мнѣ на дворъ: въ тотъ часъ я у полѣнницы дрова кололъ. «Ты, говоритъ, старикъ, куда тѣ бумаги подѣлъ, что оставались послѣ того, какъ мы съ тобой почту разбирали?»—«Извѣстно, говорю, куда: которыя въ печку бросилъ, которыя повыметалъ». «А куда ты соръ выбрасываешь?»—«Извѣстно, говорю, куда: вонъ тамъ, выбачайте, за этимъ мѣстомъ». «Пойдемъ, говоритъ, посмотримъ, не выбросилъ-ли ты часомъ одного пакета съ деньгами». «Избави Боже, говорю, чи я-жь дурной. Слава Богу, который десятокъ живу». Пошли мы. Велѣлъ онъ мнѣ въ мусорѣ порыться. Копаюсь я, — ну, какой ужь тамъ ему пакетъ! «Ты, говоритъ, старикашка, должно быть въ печку съ бумагой его швырнулъ». «Ой ты, Господи, какая напасть! Чи вжежь, говорю, Богъ разумъ у меня отнялъ? И пьяный я кажись-что не былъ». А онъ даже хоть-бы тебѣ слово ругательное сказалъ; пошолъ молча въ домъ, на крыльцѣ остановился и говоритъ: «Ты всетаки поройся еще въ сорѣ, да хорошенько по всему двору посмотри». Потомъ я узналъ, что эти 3 000 изъ Читы въ здѣшній батальонъ были присланы. Батальонный ударилъ телеграмму: почему, молъ, денегъ долго не высылаете,—а ему отвѣчаютъ, что деньги посланы еще тогда-то. Къ почтмейстеру, къ моему барину: такъ и такъ, молъ, вотъ телеграмма отъ самого губернатора. А онъ — извѣстно: не получалъ, да и только. Будьте вы сами на его мѣстѣ, чтобъ вы сказали? Не получалъ—и больше ничего. Пока тамъ пошли справки, да тое да сее, баринъ мой, вижу я, все шагаетъ по двору: голова опущена, руки вотъ такъ за спину заложилъ, и ужь по гостямъ ходить пересталъ. Разъ онъ далъ мнѣ рубль серебра и говоритъ: «Ступай, старикъ, возьми бутылку водки у татарина».

И сталъ онъ такъ каждый день за водкой меня посылать. Напьется одинъ у себя въ комнатѣ, положитъ голову на руки и сидитъ такъ за столомъ по цѣлымъ часамъ. Повѣрите—посмотрю я это на него черезъ окно, ажь жалко становится. Барыня въ кухню выйдетъ или на дворѣ ее увижу: въ лицѣ измѣнилась, глаза заплаканы. Не скажу вамъ, вѣрила она или нѣтъ, что онъ денегъ этихъ не получалъ; можетъ, у нея въ мысляхъ было, что онъ ихъ проигралъ въ карты. Взяла меня, баринъ, жалость: по ночамъ не сплю, все его передъ очами вижу съ опущенной на руки головою. Ей-же Богу, баринъ, правду вамъ говорю. И началъ я себѣ такъ раздумывать: что я съ этими деньгами буду дѣлать? Ну, пойду на поселеніе: одно то, что въ пути у меня ихъ украдутъ, — потому не утерпишь такъ жить, чтобы не замѣтили, что деньги у тебя есть, — а другое: пускай я ихъ и донесу до своей волости, — узнаютъ, что старикъ при деньгахъ, свои-же поселенцы убьютъ тебя. Не будешь знать спокою, только и всего. А баринъ все меня за водкой шлетъ, и уже не по одной ему таскаю, а по двѣ. Разъ утромъ—уже снѣжокъ порошить сталъ—вижу, онъ куда-то ушолъ. Гляжу я ему вслѣдъ, а сердце—повѣрите?—такъ и щемитъ. Хоть-бы онъ меня выругалъ, а то, говорю-же вамъ, ни однимъ словомъ худымъ не облаялъ. Ей-же Богу! И мнѣ счастья не будетъ отъ этихъ денегъ, думаю я себѣ, и его напрасно загублю. Полѣзъ я въ подполье, досталъ пакетъ, помялъ его мало-мало, запачкалъ грязью — прихожу въ домъ: «Барыня, говорю, не этотъ-ли пакетъ баринъ потерялъ? Чистилъ я дворъ да вотъ и нашолъ». Боже ты мой милосердный! Барыня какъ взвизгнетъ, хвать у меня изъ рукъ пакетъ да опрометью геть изъ дому. Такъ, въ чемъ была, съ открытой головою, и помчалась по улицѣ. Это она барина побѣжала искать. Черезъ которое-то время приходятъ они оба, и баринъ прямо ко мнѣ на шею: такъ и повисъ. Повѣрите? Цѣлуетъ меня

и въ губы, и въ очи, самъ-ажь плачетъ отъ радости. Ей-же Богу, правду говорю. И у меня на душѣ такъ стало легко, такъ хорошо, что и сказать вамъ не могу. «Ты меня, старикъ, спасъ, ты меня спасъ, я-же тебя до самой смерти кормить буду; живи у меня,—и глаза твои самъ закрою». Такъ вотъ прямо и говоритъ, да потомъ еще пять рублей подарилъ.

— Ну, что-же дальше было?

— Ничего. Повеселѣлъ мой баринъ, и все снова пошло попрежнему: какъ только вечеръ—у него гости, или онъ въ гостяхъ. Извѣстно: карты, чаи распиваютъ, закуски всякія. А я живу себѣ какъ у Бога за пазухой и никакихъ хлопотъ не знаю. Была у нихъ за кухарку баба, тоже изъ каторжныхъ. И такъ, сказать вамъ, въ добрыхъ уже лѣтахъ женщина, росту не дуже высокаго, а собою, выбачайте, такая пухлая, пшеничная—и молодому была бы впору. И жилъ я, выбачайте, съ тою женщиною какъ съ женою... Баринъ смѣется? Ей-Богу, правду вамъ говорю. Вы не глядите, что у меня зубовъ нѣтъ... Вотъ спросите Ваську Рудаго или нашего старосту, чи я брешу, чи нѣтъ. У нея деньжата водились, рублей до ста было, одежа хорошая, платокъ одинъ, сказать вамъ, какъ это ваше одѣяло, рублей десять стоилъ. И на мнѣ тоже одежа была не такая, какъ это вы сейчасъ видите: штаны плисовые, хорошіе, свитка хоть изъ казеннаго халата, а рукава и воротникъ сукномъ чернымъ обшитые; рубашку синюю барыня подарила: рубля два стоила...

— Ну, ладно. Гдѣ-же все это твое богатство?

— Извѣстно, гдѣ—въ кабакѣ. Ей-же Богу, правду вамъ говорю: еслибъ не такая у меня дурная голова,— и деньги были-бы, и одежа. И сказать-бы, что самъ пропиваю,—такъ нѣтъ-же: больше люди выманиваютъ. Еслибъ баринъ зналъ, сколько я людямъ пораздавалъ! Вотъ хоть-бы теперь: былъ у меня одинъ карбованецъ; присталъ проклятый полякъ: проше да проше, слово гонору, дай

на фартъ отыграться. И далъ, а онъ, мятежная душа, и этотъ послѣднiй рубль проигралъ.

— Какъ-же ты, Макся, сюда попалъ?

— Извѣстно, какъ: взяли въ партiю да и погнали. Баринъ мой, видите, уѣхалъ, на другое мѣсто его перевели. Три рубля мнѣ оставилъ, дай Богъ ему здоровья, цѣловался со мной на прощанье. Возьметъ меня вотъ такъ за плечи, да цмокъ въ самыя губы, цмокъ, цмокъ... Ей-же Богу. «Спасибо тебѣ, старикашка, говоритъ, я тебя вѣкъ помнить буду»...

— Но почему-же не оставили тебя въ Забайкальѣ?

— Какъ-же можно такого разбойника, какъ я, оставлять въ Забайкальѣ? Нехай баринъ прочитаетъ статейный списокъ,—тамъ вы увидите, что я за человѣкъ! Вы не глядите, что бородой трясу... Эге!

Я.

До слѣд. кн.

---

* * *

Поздно. Лампа догорѣла...
Море тьмы кругомъ...
Утомясь, насильно тѣло
Борется со сномъ.
Вѣтеръ ночи стонетъ глухо
Въ пѣснѣ, полной мукъ.
Слѣпнетъ глазъ, — но чутко ухо
Ловитъ всякій звукъ:
Мнится — шорохъ у порога...
Шепотъ голосовъ...
Множитъ тайную тревогу
Мѣрный бой часовъ ..
Дологъ ночи бѣгъ унылый ..
Міръ больной мечты
Будитъ въ сердцѣ съ новой силой
Призракъ темноты.

В. Грибовскій.

СЫНЪ.

(Разсказъ).

Крутояровы—мужъ и жена—сидѣли на балконѣ своего помѣстительнаго деревенскаго домика.

Настасья Сергѣевна разсказывала мужу о хозяйскихъ дѣлахъ: о всходахъ гречихи, о томъ, что просо сильно забито травою, что яровая пшеница въ низахъ великолѣпна и что голландская корова «Гретхенъ» выглядитъ сегодня очень скучной. Боже упаси, если къ нимъ на скотный дворъ снова заберется сибирка!

Александръ Ивановичъ молча слушалъ жену, щуря глаза отъ лучей приближающагося къ закату солнца. Садъ, съ трехъ сторонъ окружавшій балконъ и сбѣгавшій подъ изволокъ къ небольшому съ заросшими берегами озеру, не шевелился, точно притихъ, нѣжась на солнышкѣ. Нарядныя бабочки мягко летали надъ сочной травою. Косые лучи солнца, пронизывая какъ-бы застывшій воздухъ, сообщали ему необыкновенную нѣжность и мягкость. Александръ Ивановичъ, обласканный этимъ нѣжнымъ воздухомъ, слушалъ жену. Онъ сидѣлъ въ глубокомъ креслѣ, на какихъ обыкновенно возятъ паралитиковъ, одѣтый въ свѣтло-сѣрую драповую куртку и окутавъ больныя ноги клѣтча-

тымъ пледомъ. Его вѣчно зябнувшее тѣло пригрѣлось. Онъ смотрѣлъ на жену и думалъ: «Вотъ какая она у меня добрая и дѣльная. Не покидаетъ меня больного и управляетъ имѣньемъ какъ мужчина. Она вдова при живомъ мужѣ, но какъ спокойно и безропотно несетъ свой крестъ. Славная, добрая, любящая! Ея сердце нѣжно и ласково, какъ этотъ воздухъ. Она вся въ любви и заботахъ обо мнѣ и Гришѣ. Она вся самопожертвованіе!»

Александръ Ивановичъ смотрѣлъ на лицо жены, слегка озабоченное хозяйственными соображеніями. Настасья Сергѣевна сидѣла передъ нимъ молодая и свѣжая, съ печальными сѣрыми глазами, продолговатыми и влажными. Сѣрое холстинковое платье плотно облегало ея сильную фигуру съ бѣлоснѣжной кожей и синими жилками на красиво-округленной шеѣ. Ея пепельные волосы вились на вискахъ и затылкѣ. Она казалась моложе своихъ лѣтъ. Александръ Ивановичъ зашевелился въ креслѣ.

— Послушай, Настя, сказалъ онъ, поднимая на жену глаза.

Настасья Сергѣевна оглянулась, увидѣла виноватое выраженіе лица мужа и поняла, о чемъ онъ хочетъ говорить съ нею. Въ интимныхъ бесѣдахъ онъ часто касался этого сильно мучившаго его вопроса.

— Послушай, Настя, продолжалъ Александръ Ивановичъ, снова зажмуривая глаза,—мнѣ ужасно жалко тебя. Ты такая молодая и красивая, а я отвратительная развалина. Тебѣ тяжело со мною; я иногда бываю раздражителенъ и именно оттого, что ты молода и красива, а я—руина, годная только на сломъ. Я заѣдаю твою жизнь, Настя,—я это знаю. Зачѣмъ-же ты не согласилась тогда на разводъ?

Александръ Ивановичъ замолчалъ. Его желтое съ темными кругами подъ глазами лицо приняло такое виноватое выраженіе, что Настасья Сергѣевна не выдержала. Она опустилась на колѣни около больныхъ ногъ мужа.

— Ахъ, милый, зачѣмъ ты говоришь такъ? Мнѣ тяжело, заговорила она въ сильномъ волненіи.—Еслибы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело слушать тебя! Вѣдь я люблю тебя! Вѣдь ты у меня хорошій, умный! Что-же дѣлать, если ты боленъ? Помнишь,—это было вскорѣ послѣ того, какъ ты занемогъ... (Настасья Сергѣевна нѣжно коснулась рукою больныхъ ногъ мужа).—Помнишь, ты предложилъ мнѣ разводъ. Я представила себя одну безъ тебя и Гриши, и мнѣ стало темно и холодно, точно меня опустили въ могилу. А отнять у тебя Гришу (ты даже и это предлагалъ мнѣ!) и оставить тебя одного,—да развѣ я могла согласиться на это? Вѣдь это было-бы верхъ неблагодарности! Я дѣлила съ тобой твое счастье, раздѣлю и несчастье, и право, въ этомъ нѣтъ ничего тяжолаго,—понимаешь-ли, нисколечко! Напротивъ, сознаніе, что я исполняю, какъ могу, мои обязанности, наполняетъ меня такимъ счастьемъ, такимъ счастьемъ...

Настасья Сергѣевна на минуту замолчала, какъ-бы подавленная и взволнованная.

— Вы у меня одни, продолжала она, сіяя влажными глазами,—ты и Гриша. Ты—мое прошлое и настоящее, Гриша—мое будущее! Такъ развѣ я могу отказаться отъ васъ? Вы у меня одни, мой хорошій!

Александръ Ивановичъ сидѣлъ въ глубокой задумчивости и смотрѣлъ мимо лица жены на розоватыя тучки, медленно проходившія по небу.

— Такъ мы у тебя одни? внезапно спросилъ

онъ, поворачивая къ женѣ свое жолтое, опушонное русой бородой лицо. Онъ смотрѣлъ въ лицо молодой женщины, точно желая прочесть ея душу. Настасья Сергѣевна молчала; она смотрѣла на озеро, поверхность котораго сверкала какъ расплавленный металлъ.

— Такъ мы у тебя одни? повторилъ Александръ Ивановичъ шопотомъ.

— Одни!

Настасья Сергѣевна продолжала смотрѣть на озеро, потомъ она дрогнула, порывисто повернулась и, припавъ къ груди мужа, внезапно разрыдалась.

— Одни, повторила она, рыдая,—одни...

Александръ Ивановичъ заволновался.

— Настя, милая, опомнись! Голубушка, о чемъ ты? Если я обидѣлъ тебя своимъ вопросомъ, прости, ненаглядная...

— Одни вы у меня, сказала молодая женщина, приподнимая заплаканное лицо.

Александръ Ивановичъ погладилъ ея пепельные волосы.

— О чемъ ты, родная?

— Тебя жалко стало. Такой ты бо́льненькій и бѣдненькій!..

Настасья Сергѣевна всхлипнула. Мужъ продолжалъ ласкать ея волосы. Онъ щурился, чтобы не выдать стоявшихъ въ его глазахъ слезъ. Настасья Сергѣевна поднялась на ноги и заходила по балкону, отирая глаза. Она поплакала, и ей стало легче.

— Ты, кажется, куда-то собиралась? спросилъ ее Александръ Ивановичъ, уже оправившись.

Молодая женщина разглядывала смолистые листья росшаго около балкона тополя.

— Собиралась посмотрѣть всходы льна, отвѣ-

чала она, внимательно разглядывая листья тополя, и внезапно сообразила, что она должна говорить съ мужемъ глядя въ его глаза. — Собиралась посмотрѣть всходы льна, повторила она, поворачивая къ мужу лицо и глядя въ его глаза настойчиво и сурово, точно мужъ былъ въ чемъ-то виноватъ передъ нею.—Всходы льна около березовой рощи, добавила она, чувствуя жуткое замираніе сердца, какъ игрокъ, поставившій крупный кушъ.

— Ну, и иди съ Богомъ, сказалъ Александръ Ивановичъ и подумалъ: «Что это она все: всходы льна да всходы льна?»

Настасья Сергѣевна взяла нарядный зонтикъ, стоявшій въ углу балкона, раскрыла его, сошла, не глядя на мужа, по ступенямъ въ садъ и вскорѣ скрылась въ одной изъ боковыхъ аллей. Александръ Ивановичъ позвонилъ въ колокольчикъ. На зовъ явилась горничная.

— Позовите ко мнѣ Гришу, сказалъ Крутояровъ, показывая вмѣстѣ съ тѣмъ рукою на носовой платокъ, валявшійся у его ногъ. Горничная подняла платокъ, докладывая:

— Гришеньки нѣтъ, они на деревню ушли волосъ конскихъ для удочекъ доставать, а оттуда они въ березовую рощу пройти хотѣли, удилища нарѣзать.

Александръ Ивановичъ отпустилъ горничную.

— Ну, ничего, ничего.

Онъ разглядывалъ мѣтку платка, оброненнаго у его ногъ женою. «А. Т.», думалъ онъ, читая мѣтку платка. «А вѣдь это платокъ Андрея Васильевича. Онъ, должно быть, у насъ его оставилъ, а Настя вмѣсто своего захватила».

Между тѣмъ Настасья Сергѣевна прошла полемъ, перерѣзала небольшую березовую рощу и направилась къ хутору Тормазова. По дорогѣ она

припоминала свой разговоръ съ мужемъ и думала: «Господи, какъ я низко пала, какъ я изолгалась, какъ хорошо научилась притворяться! Да, я развращаюсь! Я даже начинаю находить въ самомъ обманѣ какое-то жгучее наслажденіе. Боже мой, чѣмъ все это кончится?»

Настасья Сергѣевна передернула плечами. Она показалась себѣ самой такой гадкой и отвратительной, что по ея спинѣ прошли мурашки.

«А всѣ считаютъ меня за идеальную женщину, за великолѣпную мать и жену. Сосѣди говорятъ, что мое имя нужно произносить съ благоговѣніемъ. Ахъ, отъ этого мнѣ еще больнѣе! Незаслуженное уваженіе бьетъ по лицу какъ пощечина; оно говоритъ мнѣ: «Какая ты великолѣпная лгунья и притворщица!» О, Боже мой, какъ я низко пала!»

— Нѣтъ, все это нужно покончить и порвать, пока еще не поздно! добавила Настасья Сергѣевна, глубоко вздыхая.

Она уже приблизилась къ саду Тормазова. Молодая женщина прошла около плетня, отыскала маленькую калиточку и, безпокойно озираясь, вошла въ садъ. Она знала, что Тормазовъ сидитъ тамъ у бесѣдки и ждетъ ее. И дѣйствительно, за обвитой плющемъ стѣной бесѣдки она увидѣла чью-то фигуру. Настасья Сергѣевна остановилась, переводя духъ. Внезапно ей стало страшно. «Вдругъ это не Тормазовъ, а кто нибудь изъ его сосѣдей? подумала она, пытаясь разглядѣть мелькавшую за бесѣдкой фигуру.—Что, если кто-нибудь посторонній увидитъ меня здѣсь, воровски прокравшуюся въ боковую калитку?»

Сердце Настасьи Сергѣевны сжалось, и вмѣстѣ съ тѣмъ она ощутила какое-то мучительное наслажденіе въ этомъ замираніи сердца. «Боже

мой, подумала Настасья Сергѣевна,—какъ я развратилась: я наслаждаюсь опасностью обмана, какъ охотникъ любимымъ спортомъ!»

Она передохнула и тихо позвала:

— Андрей Васильевичъ!

Изъ-за бесѣдки показалась крупная фигура Тормазова. Онъ пошолъ къ ней, стараясь легче ступать по дорожкѣ своими тяжелыми ногами.

— Фу, какъ ты подкралась, говорилъ онъ на ходу,—я даже не слышалъ твоихъ шаговъ!

Онъ улыбнулся. Все его широкое, коричневое отъ загара лицо сіяло счастьемъ. Это былъ широкій, сорокалѣтній дѣтина, одинъ изъ тѣхъ, про которыхъ говорятъ: «не ладно скроенъ, да крѣпко сшитъ».

Настасья Сергѣевна смотрѣла на него и думала: «Какъ ты подкралась!» Онъ наноситъ мнѣ оскорбленіе и воображаетъ, что говоритъ комплиментъ!» Она взглянула на Тормазова почти съ ненавистью.

— Чего мы тутъ стоимъ? Зайдемъ въ бесѣдку, сказалъ тотъ и, немного помолчавъ, добавилъ: — Я никого не велѣлъ принимать.

Настасья Сергѣевна вошла въ бесѣдку и опустилась на диванчикъ.

— И напрасно сдѣлалъ, что не велѣлъ принимать.

Тормазовъ удивленно поднялъ брови.

— Почему-же это напрасно?

— То-есть не напрасно, поправилась Настасья Сергѣевна,—а видишь-ли, я пришла сказать, что все между нами кончено. Понимаешь-ли: все! Мнѣ опротивѣла эта ложь. Я должна вѣчно лгать и лгать. Ахъ, я вся измучилась. Это гадко, нечестно, безнравственно!

Тормазовъ забралъ руки Настасьи Сергѣевны

въ свою широчайшую ладонь. Его свѣтлые глаза казались еще свѣтлѣе отъ коричневаго цвѣта лица.

— Чего-же тутъ безнравственнаго? сказалъ онъ, приподнимая брови. Вотъ ужь совсѣмъ не понимаю!

Настасья Сергѣевна потупила глаза.

— То-есть, какъ-же это «чего тутъ безнравственнаго?» Неужели ты не понимаешь?

Тормазовъ пожалъ плечами.

— Не понимаю-съ! Въ чемъ, барыня, заключается высшая нравственность? Не припомните? Такъ я вамъ скажу: возлюби ближняго своего. Не такъ-ли? Что-же это значитъ? А значитъ, не дѣлай, во-первыхъ, зла ближнему. Кому-же, спрашивается, зло-то ты дѣлаешь? Вѣдь самый твой наиближній, сирѣчь, супругъ, даже и не подозрѣваетъ объ измѣнѣ,—слѣдовательно, онъ счастливъ. Вотъ еслибы ты добивалась развода, тогда другое дѣло. Тогда-бы и мужъ, да и сынъ твой страдательными лицами явились. А теперь если кто и страдаетъ, такъ это мы съ тобой, потому-что мы любимъ другъ друга и принуждены видѣться яко тати нощные. Стало быть, мы спокойствіемъ своимъ, то-есть благомъ, пожертвовали ради ближнихъ нашихъ. Не такъ-ли, барыня?

Настасья Сергѣевна пожала плечами. Она сидѣла потупивъ глаза, блѣдная и взволнованная. Ей было стыдно сознаться, но слова Тормазова какъ будто-бы начинали убѣждать ее и убѣждали именно потому, что ей самой до боли хотѣлось найти себѣ хоть какое-нибудь оправданіе. Въ глубинѣ ея души, какъ червячокъ, шевелилась мысль: «А можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, я уже не такъ виновата, какъ мнѣ это кажется. Можетъ быть, у меня просто-на-просто шалятъ нервы, разстроен-

ные хозяйскими треволненіями!» Но Настасья Сергѣевна еще не хотѣла сдаваться. Она покачала головой.

— Нѣтъ, Андрей, сказала она, вздыхая,— ты не убѣдишь меня. Меня измучила эта ложь. Намъ надо разстаться.

Тормазовъ всталъ съ диванчика.

— Постой, постой, я еще не кончилъ. У меня есть еще доводы.

Онъ заходилъ, тяжело ступая по земляному полу бесѣдки.

— Послушай, Настя, сказалъ онъ, внезапно останавливаясь передъ молодой женщиной и понижая голосъ,—послушай, Настя, вѣдь ты ненужна Александру Ивановичу. Ему нужна добросовѣстная сидѣлка, и ею ты осталась. Ты осталась также матерью и воспитательницею сына—и, надо тебѣ отдать должное, несешь всѣ эти обязанности безукоризненно. Чего-же, скажи пожалуйста, совершила ты безнравственнаго?

Андрей Васильевичъ смотрѣлъ на молодую женщину, приподнявъ брови. Настасья Сергѣевна сидѣла блѣдная, сіяя влажными глазами.

— Ты такъ говоришь, ты такъ говоришь, прошептала она, теребя кружево холстинковой кофточки, — а почему-же я страдаю, почему болитъ мое сердце?

Тормазовъ пожалъ плечами.

— Вотъ на это я отвѣтить тебѣ не умѣю. Кто насъ, русскихъ-то, пойметъ? Наши идеалы улетѣли въ такія заоблачныя выси, что мы никакимъ счастьемъ не бываемъ довольны. Намъ вѣнецъ мученическій порою милѣе всѣхъ благъ бываетъ. Мы, добавилъ онъ, внезапно поблѣднѣвъ всѣмъ своимъ коричневымъ лицомъ,—потому, можетъ быть, и любимъ другъ друга такъ сильно, что къ любви

нашей преступленіе примѣшалось, и въ минуты мученій душевныхъ мы умиленіе кающагося разбойника постигаемъ. Умиленіе-то это, можетъ быть, дороже намъ всей любви нашей. А, впрочемъ, я ничего не знаю, прошепталъ Тормазовъ, махая рукой, — я не психологъ, я не психологъ!

Онъ опустился на диванчикъ и привлекъ къ себѣ молодую женщину. Настасья Сергѣевна нѣсколько успокоилась, и когда она вмѣстѣ съ Тормазовымъ подходила къ березовой рощѣ, направляясь къ себѣ въ усадьбу, ея глаза глядѣли ясно и спокойно.

Въ березовой рощѣ было прохладно, хотя солнце еще не сѣло и щедро заливало ее всю золотыми лучами. Высокія березы стояли свѣжія и нарядныя, какъ молодыя женщины, пришедшія на праздникъ. Легкій вѣтерокъ тянулъ съ заката и лепеталъ въ молодыхъ побѣгахъ волчьей ягоды—вѣроятно, о чемъ нибудь очень веселомъ, потому-что низкорослые кустики то-и-дѣло вздрагивали, точно смѣясь, и начинали болтать, какъ дѣти, скоро-скоро, оживленно и радостно. Гриша пришолъ въ эту рощу, чтобы вырѣзать себѣ удилище. Онъ всего нѣсколько дней тому назадъ пріѣхалъ домой въ усадьбу отца изъ губернскаго города, гдѣ онъ учился въ гимназіи, и березовая роща казалась ему особенно привлекательной.

Гриша съ улыбкой оглядывалъ знакомыя мѣста и, припрыгивая, бѣжалъ къ оврагу, гдѣ растетъ дигилястый орѣшникъ, тонкій и прямой какъ стрѣлка. Тамъ онъ можетъ вырѣзать себѣ удивительно длинное и прямое удилище и черезъ два дня примется за рыбную ловлю вмѣстѣ съ сосѣдомъ по имѣнію отца—Тормазовымъ, который бываетъ у нихъ почти ежедневно. Андрей Васильевичъ очень крупный и угрюмый на видъ мужчина, но

онъ любитъ Гришу и беретъ его съ собой на охоту, хотя Гришѣ стрѣлять еще не позволяютъ: ему 14 лѣтъ, и его родители боятся, что онъ будетъ недостаточно остороженъ съ ружьемъ. Впрочемъ, когда ему минетъ 17 лѣтъ, ему позволятъ взять въ руки ружье. Это ему обѣщала мама, а она никогда не лжетъ. «Господи, когда-же мнѣ будетъ 17 лѣтъ!» думалъ Гриша, весело сіяя глазами, и, припрыгивая отъ жизнерадостнаго настроенія, направился къ орѣховымъ кустамъ, сбѣгавшимъ по скату неглубокаго оврага. Впереди за оврагомъ роща разступалась клиномъ, и Гриша видѣлъ зеленыя крыши Тормазовской усадьбы. Усадьба Гришинаго отца находится по другую сторону рощи, въ полу-верстѣ отъ нея, и Гриша будетъ бѣгать къ Андрею Васильевичу ежедневно на вечерней зарѣ, чтобы половить на червяка рыбу. Тормазовъ удивительный мастеръ выбирать самыя рыбныя мѣстечки... Гриша уже подошолъ къ оврагу, заглянулъ въ его русло, гдѣ иногда бѣгаютъ косоглазые зайчишки, и, окинувъ взоромъ кусты орѣшника, мысленно выбралъ себѣ великолѣпное удилище. Но черезъ минуту онъ увидѣлъ удилище еще великолѣпнѣе, а черезъ двѣ—Гриша окончательно растерялся. Великолѣпныхъ удилищъ оказалось столько, что Гриша не зналъ, которое срѣзать прежде. Тогда онъ вынулъ изъ кармана ножикъ и принялся за ближайшее. Его блѣдное лицо слегка раскраснѣлось, а глаза загорѣлись воодушевленіемъ. Гриша нервенъ и впечатлителенъ, и это не мало безпокоитъ его отца и мать, которыхъ онъ такъ горячо любитъ. Отца, кромѣ того, онъ жалѣетъ. Вотъ и теперь, при одномъ воспоминаніи о немъ, воодушевленіе сразу погасло въ глазахъ Гриши, и они стали печальными и влажными. Его отецъ боленъ вотъ уже семь лѣтъ какой-то мудреной

болѣзнью, названія которой Гриша не помнитъ. Его отецъ не можетъ ходить, и его возятъ въ креслѣ на колесикахъ, въ которомъ онъ просиживаетъ по цѣлымъ днямъ гдѣ-нибудь на солнышкѣ, грустный и задумчивый, съ восковымъ лицомъ и ласковыми глазами. Когда-то, до болѣзни, онъ училъ студентовъ и теперь любитъ разсказывать Гришѣ о жизни травъ, и деревьевъ, и плѣсени на полусгнившемъ пнѣ, и мха на дикомъ камнѣ. И Гриша любитъ слушать его. Въ эти минуты отецъ рисуется сыну какимъ-то всезнающимъ волшебникомъ, ласковымъ повелителемъ травъ и цвѣтовъ. А мать Гриша положительно боготворитъ. У нея нѣжныя руки и такіе правдивые глаза, что Гриша не можетъ солгать передъ ними.

«Не лги, Гриша», говоритъ она сыну,—«лгутъ только трусы, а вѣдь ты не хочешь быть трусомъ!» Гриша не хочетъ быть трусомъ и свято блюдетъ заповѣдь матери.

Гриша срѣзалъ удилище и встрепенулся. Онъ услышалъ шаги и говоръ на дорогѣ, огибавшей оврагъ въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ орѣховыхъ кустиковъ.

Онъ повернулся туда лицомъ. Гриша долго смотрѣлъ туда на дорогу, изумленно раскрывъ глаза, поблѣднѣвъ всѣмъ лицомъ, какъ-бы не вѣря тому, что видитъ. Наконецъ, его щеки залилъ густой румянецъ; ему стало невыносимо до боли, стыдно, точно онъ сдѣлалъ самъ что-то возмутительно гадкое и позорное.

Гриша выронилъ ножъ, притаился за кустикомъ и долго лежалъ такъ, припавъ къ землѣ, красный отъ стыда, съ громко бьющимся сердцемъ, потрясенный и возмущенный до глубины души.

Потомъ онъ всталъ и тихо пошолъ окольной

дорогой домой въ усадьбу, забывъ захватить ножъ и срѣзанное удилище. Онъ шолъ, глядѣлъ себѣ подъ ноги и думалъ, пытаясь разгадать загадку, разрѣшить сомнѣнія, освѣтить тайну. Но у самыхъ воротъ усадьбы онъ остановился. Ему было стыдно идти въ домъ къ людямъ. Какъ онъ посмотритъ на мать, на отца, на Тормазова? Что онъ будетъ говорить имъ, если его о чемъ-нибудь спросятъ?

Гриша круто повернулъ назадъ и пошолъ въ поле быстро-быстро, боясь, что изъ воротъ кто-нибудь выйдетъ и позоветъ его въ домъ. Въ полѣ онъ сѣлъ на межѣ за кустикомъ бобовника и продолжалъ упорно думать. Его голова всецѣло была занята тѣмъ, что онъ увидѣлъ случайно въ березовой рощѣ на дорогѣ, когда срѣзывалъ на скатѣ оврага удилище. Тамъ онъ увидѣлъ мать и Тормазова; они шли рядомъ, очевидно возвращаясь изъ усадьбы Андрея Васильевича. Тормазовъ обнималъ талію Натальи Сергѣевны и цѣловалъ ея шею, а она говорила, сконфуженно потупивъ глаза, что имъ надо видѣться по-возможности рѣже и осторожнѣе, такъ-какъ Гриша теперь уже несовсѣмъ мальчикъ и можетъ догадаться объ ихъ отношеніяхъ.

И Гриша догадался.

Онъ понялъ, что его мать лжетъ, обманываетъ отца и робѣетъ какъ лгунья.

Гриша продолжалъ сидѣть въ полѣ. Изъ воротъ усадьбы два раза выбѣгала горничная, вертѣла во всѣ стороны головою и кричала:

— Гришенька-а у! Чай пи-ить!

Но Гриша не откликался и хоронился за кустомъ бобовника. Ему попрежнему было больно и стыдно. Онъ напрягалъ мысль. Ему казалось, что онъ долженъ что-то сдѣлать, но не зналъ,

что именно. Мысли въ безпорядкѣ метались въ его головѣ; затѣмъ онѣ приняли болѣе ясное направленіе, и Гриша горько заплакалъ. Да, конечно, ему нужно идти къ рѣчкѣ и утопиться. Мысли проходили въ его головѣ иллюстрированныя картинами яркими и трогательными. Онъ видѣлъ, какъ его вытащили изъ рѣчки мокраго, жалкаго, но не мертваго, а только умирающаго. Онъ умиралъ у себя въ постелькѣ и шопотомъ сообщалъ матери о томъ, что толкнуло его въ рѣчку. И мать рыдала, обливая его холодѣющее лицо горячими слезами. Потомъ появились отецъ и Тормазовъ; и всѣ они плакали. И все закончилось какъ-то особенно хорошо и трогательно, точно ничего нехорошаго и не случилось, точно онъ, Гриша, вотъ такъ взялъ руками да и вынулъ изъ прошлаго, какъ кирпичъ изъ развалившагося фундамента, цѣлый кусокъ, самый для него обидный и позорный. Гриша продолжалъ плакать, припавъ къ зеленой межѣ. Наконецъ онъ успокоился и пошолъ къ рѣчкѣ. Онъ долго бродилъ тамъ по берегу, задумчиво раскидывая ногою хорошенькіе камешки, которые вода выточила и отшлифовала какъ искусный токарь. Только когда солнышко уже совсѣмъ спряталось за лѣсомъ и на небѣ вышли серебряныя звѣздочки, Гриша надумалъ идти домой, поборовъ стыдъ и обиду, и то горькое чувство, которое владѣло его сердцемъ. Но у калитки въ садъ онъ снова натолкнулся на сцену, возмутившую его до глубины души. Его мать шла дорожкой, а Тормазовъ просилъ ее приказать осѣдлать ему какую нибудь лошадь, чтобъ возвратиться домой. Онъ усталъ, и идти пѣшкомъ ему не хочется.

— Повѣришь-ли, говорилъ онъ,—у меня ноги точно свинцомъ налиты.

А мать отвѣчала, что къ сожалѣнію не знаетъ, какъ помочь ему, такъ-какъ всѣ лошади въ разгонѣ.

— А Гришинъ иноходецъ? спросилъ Тормазовъ.

Гриша подумалъ: «Распоряжается какъ хозяинъ!» и насторожился, дожидаясь отвѣта матери. Вскорѣ онъ услышалъ:

— Хорошо. А я совсѣмъ о немъ и забыла.

Они исчезли за поворотомъ. Гриша долго стоялъ у калитки въ оцѣпенѣніи. Наконецъ, его осѣнила идея. Онъ отворилъ калитку и пошолъ садомъ къ дому. «Распоряжается какъ хозяинъ!» думалъ онъ, блѣднѣя и чувствуя приступъ легкаго озноба. Онъ приближался къ дому. Его отецъ сидѣлъ на балконѣ въ креслѣ и задумчиво смотрѣлъ на малиновыя тучи, затянувшія западъ. Гриша осторожно обошолъ балконъ и прошолъ къ себѣ въ комнату. Онъ надѣлъ высокіе сапоги, взялъ хлыстъ и заглянулъ въ окошко. Конюхъ уже выводилъ изъ конюшни осѣдланнаго иноходца. Гриша поблѣднѣлъ и пошолъ къ выходу. Имъ овладѣло сильное возбужденіе, какъ у солдата, готоваго вступить въ бой. Его руки слегка вздрагивали отъ озноба. Когда онъ вышелъ на крыльцо, Тормазовъ сидѣлъ уже верхомъ на его иноходцѣ и, смѣясь, разговаривалъ съ матерью, намѣреваясь двинуться въ путь. Гриша подскочилъ къ нему.

— Андрей Васильевичъ, сказалъ онъ,—я хочу самъ кататься верхомъ. Слѣзьте съ моего иноходца!

Настасья Сергѣевна увидѣла возбужденное лицо сына и, внезапно встревожившись и испугавшись сама не зная чего, тронула Гришу за рукавъ.

— Потерпи, Гриша. Завтра будешь кататься хоть весь день, а теперь Андрей Васильевичъ торопится домой.

Тормазовъ смотрѣлъ на Гришу, ничего не понимая.

— Я хочу кататься сейчасъ! сказалъ Гриша.— Андрей Васильевичъ, слѣзьте съ моего иноходца!

Онъ поймалъ рукою поводъ лошади.

Настасья Сергѣевна начинала сердиться.

— Гриша, что съ тобой? Какъ ты себя ведешь?

— Я хочу кататься. Ты знаешь, мнѣ это совѣтовалъ докторъ!

Гриша избѣгалъ смотрѣть въ глаза матери и хмурилъ брови. Его губы слегка дрожали. Настасья Сергѣевна окончательно разсердилась.

— Поѣзжайте, Андрей Васильевичъ, не слушайте Гришу, онъ у насъ сегодня глупый, сказала она, блѣднѣя.

Тормазовъ легонько толкнулъ лошадь ногами.

— Слѣзьте съ моего иноходца! кричалъ Гриша, измѣнившись въ лицѣ, и пытался остановить лошадь. — Я этого не допущу, я этого не допущу, повторялъ онъ, — чтобы вы распоряжались всѣмъ въ домѣ!

Тормазовъ внезапно разсердился и толкнулъ лошадь сильнѣе. Иноходецъ едва не сшибъ съ ногъ Гришу.

— Слѣзьте съ лошади! крикнулъ онъ.

У него запрыгалъ подбородокъ. Онъ внезапно высоко взмахнулъ хлыстомъ и ударилъ Тормазова по лицу. Андрей Васильевичъ выронилъ поводъ.

— Гриша! крикнула Настасья Сергѣевна, измѣнившись въ лицѣ.—Что ты дѣлаешь?! Я больше не буду любить тебя!

Гриша бросилъ хлыстъ, зарыдалъ, вздрагивая плечами, и побѣжалъ къ саду.

— Я знаю, говорилъ онъ, рыдая и дрожа всѣмъ тѣломъ,—я знаю, что ты гораздо больше любишь Андрея Васильевича, чѣмъ меня и папу. Я былъ въ березовой рощѣ, когда вы гуляли тамъ...

Онъ исчезъ въ калиткѣ. Настасья Сергѣевна и Тормазовъ смущенно переглянулись.

«Вотъ оно, начинается...» подумала Настасья Сергѣевна, чувствуя головокруженіе.

Изъ дому прибѣжала горничная.

— Барыня, сказала она, — васъ баринъ зоветъ, съ Гришенькой что-то нехорошо. Упали они, и головку имъ дергаетъ.

Настасья Сергѣевна прошептала: « Господи, Господи! » и побѣжала въ домъ, растерянная и взволнованная.

Ночью она долго не могла заснуть. Она сидѣла въ блузѣ у окна, смотрѣла на бѣжавшія по небу тучи, хмурыя и печальныя, и думала о событіяхъ этого вечера. Гришу послѣ обморока уложили въ постель; онъ скоро заснулъ, но слабыя конвульсіи еще долго передергивали его голову и плечи, а грудь порою прерывисто всхлипывала.

— Отчего это произошло съ нимъ? спросилъ Настасью Сергѣевну мужъ, когда они сидѣли около Гришиной постельки.

Настасьѣ Сергѣевнѣ внезапно стало стыдно: она долго молчала и наконецъ сказала, что мальчикъ просто-на-просто слишкомъ много работалъ во время экзаменовъ. Онъ самолюбивъ и хотѣлъ получить первую награду. Вотъ и подорвалъ силы. Настасья Сергѣевна вздохнула.

«Что теперь дѣлаетъ Тормазовъ? подумала она.—Спитъ или наслаждается умиленіемъ кающагося разбойника?» Настасья Сергѣевна горько

улыбнулась. Боже мой, еслибы она могла вернуть прошлое, —именно то, что произошло три года тому назадъ, когда она сошлась съ Тормазовымъ. Да, теперь она не сдѣлала-бы этого шага. И какъ могла она сомнѣваться, когда все такъ просто и ясно! Ей нужно было-бы выбирать что-нибудь изъ двухъ: любовницу или мать. Иди къ Тормазову и дѣлайся его любовницей, или оставайся матерью и не пускай Тормазова въ домъ. Нельзя служить и Богу, и мамону. Это старая истина, а она какъ-разъ забыла ее. И сынъ осудилъ ее за это. И она осуждаетъ себя также. Если солжетъ жена, она виновата; если солжетъ мать, она виновата вдвое. Лгунья и лицемѣрка можетъ-ли быть воспитательницей? Она учила сына словами быть правдивымъ, а примѣромъ проповѣдывала ложь. Какой отвратительной должна она теперь казаться сыну!

Настасья Сергѣевна остановилась у двери и прислушалась. Гриша спалъ. Еслибы онъ не спалъ, она не рѣшилась-бы переступить порогъ его комнаты. Что-бы она сказала ему? Какъ-бы посмотрѣла въ его глаза?

Она подошла къ постели Гриши робко и осторожно, съ замирающимъ сердцемъ опустилась около ногъ сына и виновато взглянула въ его поблѣднѣвшее личико. Онъ спалъ тревожно; его вѣки порою вздрагивали, а изъ груди вырывался вздохъ.

«Простишь-ли ты меня когда-нибудь?» подумала Настасья Сергѣевна, нѣжно прикасаясь рукою къ колѣнамъ сына. И въ эту минуту она вспомнила о Тормазовѣ. Она вспомнила о немъ безъ ненависти, даже безъ презрѣнія; онъ просто показался ей маленькимъ и жалкимъ въ сравненіи съ тѣмъ святымъ и могучимъ чувствомъ, которое

наполняло ее всю. Настасья Сергѣевна заплакала и тихо, боясь разбудить сына, припала къ его груди. И тогда она внезапно услышала, что и тамъ что-то задрожало, проснулось и заплакало. Гриша всхлипнулъ. «О чемъ онъ?» подумала Настасья Сергѣевна, не замѣчая, что слезы одна за другою бѣгутъ изъ ея глазъ. «О чемъ онъ? Прощаетъ-ли онъ меня, или ему горько и больно, что я осквернила въ его сердцѣ чистый и непорочный образъ матери?..»

Ал. Будищевъ.

---

* * *

Тихая ночь на землѣ...
Дремлетъ задумчиво лѣсъ,
Тонутъ въ таинственной мглѣ
Блѣдныя очи небесъ.

Спитъ непроглядная даль,
Міръ отдыхаетъ въ тѣни...
Да и тебѣ не пора-ль,
Другъ мой? — Прилягъ, отдохни!

Все, что даритъ намъ любовь,
Чѣмъ твоя дума полна, —
Пусть тебѣ грезится вновь
Въ свѣтлыхъ объятіяхъ сна.

Грезится, какъ я люблю,
Какъ отдыхаю, любя,
Какъ за тебя и себя,
Молча, я Небо молю!

П. Перцовъ.

Исканіе необычайнаго.

J. K. Huysmans. A rebours.—Là-bas.

Торжество натуралистической школы во всемірной литературѣ не замедлило отразиться на скучности и однообразіи романовъ и повѣстей. Въ самомъ дѣлѣ, одно изъ основныхъ положеній этой школы требуетъ, чтобы все описывалось такъ, какъ бываетъ въ дѣйствительности, и не больше, чѣмъ можно видѣть непосредственно. И писатели устремились описывать сначала бытъ свѣтскаго и литературнаго общества, потомъ бытъ художниковъ, банкировъ, крестьянъ, рабочихъ, рудокоповъ, священниковъ, ученыхъ, докторовъ и т. д., и т. д. Но всетаки кругъ такихъ описаній ограниченъ и даже сравнительно узокъ, и онъ скоро былъ исчерпанъ. Оставалось описывать бытъ и жизнь въ чужихъ странахъ, чѣмъ и занялся въ своихъ японскихъ и экзотическихъ романахъ Пьеръ Лоти, или говорить о такихъ сторонахъ жизни, о которыхъ не принято упоминать въ обществѣ,—на эти темы много писали Зола, Мопассанъ.

Съ другой стороны, пошлый и безсодержательный строй жизни, породившій и самый натурализмъ, заставилъ самихъ же людей скучать и тяготиться имъ. Если современный человѣкъ, особенно парижанинъ, достаточно обезпеченъ и независимъ, ему придется умирать со скуки. Политика, ставшая только средствомъ для личной на-

живы, можетъ вызывать въ немъ одно отвращеніе, такъ-какъ какая-бы партія ни восторжествовала—для родины и народа будетъ безразлично, и весь вопросъ лишь въ томъ, какія именно лица будутъ злоупотреблять властью; искусство измельчало; свѣтъ, принявъ въ свои нѣдра массу буржуазныхъ элементовъ, опошлился; чувственныя наслажденія, при праздной жизни, всего скорѣе надоѣдаютъ; наконецъ, городская жизнь, съ мелкими себялюбивыми интересами, исключаетъ всякую возможность глубокаго увлеченія какою-либо идеею. Остается или апатично скучать, или искать выхода изъ скучнаго отсутствія жизненныхъ интересовъ—въ извращенной нѣгѣ чувствъ, ума и воображенія. И въ самомъ дѣлѣ, въ нашъ вѣкъ расплодилась необыкновенная масса чудаковъ, оригиналовъ, сочетающихъ недюжинный умъ съ самыми странными привычками и наклонностями. Чудачества были развиты и въ старину, но тогда въ чудаки попадали люди поврежденные, больные разсудкомъ; теперь, напротивъ, чудачествамъ предается самый цвѣтъ интеллигенціи. Въ нихъ находитъ свое выраженіе неудовлетворенность дѣйствительностью. Современный Парижъ кишитъ такими оригиналами, продѣлывающими всевозможныя чудачества въ жизни, а французская литература изобилуетъ подобными-же чудаками, продѣлывающими свои странности въ книгахъ.

Говорить о такихъ писателяхъ-чудакахъ, занимающихся писаніемъ стиховъ, въ которыхъ языкъ умышленно исковерканъ болѣе чѣмъ позволительно, или сочиненіемъ мистическихъ романовъ, въ которыхъ грубая чувственность играетъ важную роль, было-бы слишкомъ утомительно. Ихъ очень-очень много: Метерлинкъ, Малларме, Корбьеръ, Виллье де-Лиль-Аданъ, Барбей д'Оревилли, Пеладанъ и многіе другіе. Всѣ эти писатели мало талантливы, и оригинальность ихъ не идетъ дальше оригинальничанья и смѣлаго выдаванія малограмотнаго вздора за перлы глубокомыслія; притомъ всѣ они въ существѣ

Въ комнатахъ было множество бездѣлушекъ, вродѣ позолоченныхъ череповъ съ драгоцѣнными каменьями, цвѣтъ которыхъ, искусно подобранный, долженъ былъ символизировать и вызывать извѣстныя настроенія. На окнахъ и въ углахъ комнатъ стояли цвѣты — все изъ породы Aroideae, наименѣе похожихъ на живые—и всетаки всѣ эти цвѣты были искусственные, цинковые. Для нѣги обонянія у Дезессэнта имѣлась соотвѣтственная гамма запаховъ, вдыхая которые онъ переносился мысленно къ тѣмъ или другимъ предметамъ. Наконецъ, для нѣги ума у Дезессэнта была обширная библіотека изъ римскихъ писателей временъ упадка и нѣкоторыхъ французскихъ, и въ особенности произведеній послѣднихъ декадентовъ.

Всю эту обстановку Юисмансъ описываетъ весьма подробно. Перечисленіе различныхъ видовъ Aroideae, формы и цвѣта ихъ листьевъ и описаніе впечатлѣнія, производимаго каждымъ на Дезессэнта, занимаетъ нѣсколько страницъ. При описаніи библіотеки Дезессэнта дѣлается небольшая критика каждой книги съ точки зрѣнія декадентства и вкусовъ владѣльца ея. Наконецъ, описываются грезы, сны и воспоминанія Дезессэнта по поводу каждой изъ его вещей. Воспоминанія эти грязны и безнравственны. Въ своей ненависти къ людямъ, Дезессэнтъ съ злорадствомъ динамитчика старался когда возможно сдѣлать имъ зло. Одно изъ этихъ воспоминаній касается, напримѣръ, встрѣчи Дезессэнта съ полунищимъ мальчикомъ. Герой романа «A rebours» давалъ ему деньги на развратъ, разсчитывая, когда порочныя наклонности юноши разовьются настолько, что онъ не будетъ въ состояніи обходиться безъ кутежей, прекратить денежные подарки: тогда, по мнѣнію Дезессэнта, молодой человѣкъ совершитъ преступленіе, и Дезессэнтъ будетъ имѣть злорадное удовольствіе прочесть о томъ въ газетахъ. Этого, однако, не случилось, и Дезессэнтъ, вспоминая, жалуется, что юноша обманулъ его ожиданія...

Кончается романъ «A rebours» тѣмъ, что герой заболѣваетъ нервнымъ разстройствомъ: его начинаютъ преслѣдовать несуществующіе запахи, и онъ долженъ возвратиться въ Парижъ для возобновленія своего лѣченія.

Романъ «A rebours» говоритъ объ извращенныхъ вкусахъ и образѣ жизни. «Là-bas» берутъ вопросъ общественнаго декаданса глубже: въ нихъ говорится объ извращеніяхъ нравственности, религіознаго чувства и характеризуется непонятное стремленіе къ нравственному паденію, которымъ заболѣваетъ общество въ иные періоды своей жизни.

Въ противоположность роману «A rebours», интрига романа «Là-bas» если не очень сложная, зато составная и развивается параллельно изъ цѣлыхъ трехъ интригъ. Героемъ этого романа является писатель Дюрталь, занятый историческимъ изслѣдованіемъ о маршалѣ Жилль де-Рэ, прозванномъ Синяя Борода. Этотъ маршалъ, жившій во времена Іоанны д'Аркъ, сражался подъ ея знаменами, но затѣмъ предался алхиміи и чернокнижію, вызывалъ сатану, причемъ изъ желанія совершить угодное діаволу похищалъ дѣтей, мучилъ, растлѣвалъ ихъ и затѣмъ убивалъ самымъ утонченно-жестокимъ образомъ. Подъ конецъ жизни, обвиненный духовнымъ и свѣтскимъ судомъ, маршалъ раскаялся такъ трогательно и искренно, что передъ казнью получилъ отпущеніе грѣховъ и примирился съ церковью. Исторія этого маршала тѣсно переплетена съ ходомъ романа и подробно въ немъ излагается.

Дюрталь хочетъ быть вполнѣ добросовѣстнымъ историкомъ, и чтобы дать читателю наглядное представленіе о своемъ героѣ, хочетъ пережить всѣ настроенія, испытанныя Синею Бородою. Съ этою цѣлью онъ посѣщаетъ развалины замка Жилль-де-Рэ, читаетъ всевозможныя сочиненія по алхиміи и чернокнижію, какія можетъ достать, и повозможности старается изучить мисти-

ческое настроеніе среднихъ вѣковъ по пережиткамъ его, сохранившимся до настоящаго времени. Въ этомъ отношеніи Дюрталю помогаетъ его другъ, докторъ де-Герми, который знакомитъ его съ семьею звонаря Каргэ. Каргэ живетъ въ колокольнѣ одной изъ парижскихъ церквей, относится вполнѣ артистически къ своему искусству звонаря, имѣетъ цѣлую обширную библіотеку средневѣковыхъ сочиненій о колоколахъ и самъ представляетъ собою рѣдкій обломокъ старины, сохранившійся до нашихъ дней. Онъ набоженъ, тонко понимаетъ оттѣнки колокольныхъ звуковъ и нисколько не интересуется ничѣмъ современнымъ. Описанія обѣдовъ у Каргэ въ колокольнѣ полны какой-то особой мистической поэзіи. Но Каргэ нестолько интересенъ самъ по себѣ, сколько интересно общество, собирающееся у него, т.-е. Дюрталь, де-Герми и астрологъ Жевингей. Астрологъ этотъ въ наши дни занимается гаданіемъ по звѣздамъ, птицамъ, колокольному звону и т. п. Онъ будто-бы былъ придворнымъ астрологомъ императрицы Евгеніи, а теперь не у дѣлъ, но охотно дѣлится своими познаніями съ друзьями. Эта странная компанія—Каргэ, Жевингей, Дюрталь и де-Герми—пресерьезно ведетъ разговоры о дурномъ глазѣ, объ обществахъ, поклоняющихся сатанѣ, о насыланіи порчи черезъ ларвовъ (души неродившихся людей), о спиритическомъ способѣ исцѣленія отъ такой порчи и т. п. Изъ романа мы узнаемъ, что въ наши дни существуютъ лица, серьезно преданныя средневѣковому чернокнижію, что они образуютъ особые кружки, исповѣдывающіе странную дуалистическую религію. Согласно этой религіи, въ мірѣ существуютъ двѣ безконечности. Одна положительная, свѣтлая, добрая—это Богъ; другая—мрачная, отрицательная, Сатана. Поклонники этой религіи одинаково поклоняются и Богу, и діаволу и служатъ послѣднему особыя обѣдни, извѣстныя подъ именемъ «черной мессы». Этимъ служеніемъ занимаются будто-бы многіе французскіе аббаты. Черная месса пред-

ставляетъ собою отвратительную, полную самыхъ гнусныхъ подробностей пародію на обыкновенную литургію, причемъ она оканчивается истерическими припадками присутствующихъ, нѣсколько напоминающими обряды хлыстовской секты.

Дюрталь, который необыкновенно занятъ своимъ изслѣдованіемъ о Синей Бородѣ, жаждетъ, конечно, присутствовать при такой черной мессѣ, чтобы на себѣ испытать, что̀ могло привлечь его героя къ культу діавола. Случай ему помогаетъ. У него завязывается романъ съ очень интересной, хотя очень безнравственной дамой, г-жей Шантелувъ. Романъ начинается съ простой переписки: Шантелувъ пишетъ Дюрталю очень умное анонимное письмо, какъ автору понравившагося ей романа. Дюрталь заинтересовывается письмомъ, назначаетъ ей свиданіе, причемъ, смотря на женщину съ французской точки зрѣнія, сразу идетъ къ конечной цѣли всякаго романа. Эти страницы романа «Là-bas» изобилуютъ весьма грязными и нескромными подробностями. Шантелувъ ведетъ себя какъ женщина интеллигентная, дорожитъ болѣе всего бесѣдою заинтересовавшаго ее писателя, но тѣмъ не менѣе уступаетъ настояніямъ Дюрталя и отдается ему. Обладаніе охлаждаетъ романиста, нашедшаго въ своей любовницѣ нѣкоторые физическіе недостатки; но его заинтересовываетъ связь Шантелувъ съ демонизмомъ, о которомъ онъ столько слышалъ. Такъ, она увѣряетъ Дюрталя, что знаетъ тайну инкубаціи, то-есть физической связи съ матеріализованными душами, какъ живыхъ, такъ и умершихъ людей, и проговаривается, что этому искусству научилъ ее аббатъ Докръ, извѣстный служитель черныхъ мессъ. Дюрталь пристаетъ къ Шантелувъ, чтобы она провела его на это оригинальное служеніе діаволу, и Шантелувъ изъ любви къ Дюрталю соглашается. Затѣмъ въ романѣ слѣдуетъ описаніе самой черной мессы, описаніе настолько отвратительное и неприличное, что излагать его не

представляется никакой возможности. Обрядъ этотъ производитъ подавляющее впечатлѣніе даже на Дюрталя, способнаго, казалось-бы, вынести все, чтобы лучше постигнуть своего героя. Шантелувъ дѣлается ему окончательно противна, и онъ порываетъ съ ней. Вмѣстѣ съ тѣмъ, видѣвъ воочію черную мессу, Дюрталь получилъ возможность закончить свой трудъ, и романъ «Là-bas» кончается сценой, когда друзья еще разъ собрались на колокольнѣ у Каргэ, чтобы побесѣдовать о таинственныхъ свойствахъ драгоцѣнныхъ камней, окультизмѣ и другихъ тайныхъ средневѣковыхъ наукахъ, въ то время какъ на улицахъ Парижа шумѣла чернь, чествовавшая Буланже, поглощенная послѣдними интересами дня...

Если романы Юисманса и не отличаются особыми художественными достоинствами, зато они интересны по изображаемымъ въ нихъ типамъ. Юисмансъ описалъ въ нихъ съ точки зрѣнія натуралиста лицъ, живущихъ настроеніями декадентовъ, парнасцевъ и самихъ натуралистовъ. Такъ, герой его романа «Là-bas», вопреки его собственному увѣренію, типичный натуралистъ. Для своего изслѣдованія онъ избираетъ совершенно случайный сюжетъ — біографію малоизвѣстнаго Жилль де-Рэ; но чтобы образъ его вышелъ вполнѣ художественнымъ, Дюрталь старается самъ пережить всѣ условія, въ которымъ жилъ Жилль де-Рэ, не останавливается для этой цѣли ни передъ посѣщеніемъ черной мессы, ни передъ связью съ женщиной, которая ему не нравится, но отъ которой онъ разсчитываетъ получить драгоцѣнныя ему свѣдѣнія. Эта любознательность фанатика точности въ искусствѣ напоминаетъ аналогичныя черты натуралистовъ, вродѣ Зола, посѣщающихъ непремѣнно лично всѣ описываемыя ими мѣста, или иныхъ художниковъ, совершающихъ путешествія въ Палестину, чтобъ написать картину изъ жизни Христа.

Съ другой стороны презрѣніе къ современному, окружающему, стремленіе улетѣть въ средніе вѣка, арти-

стичность во всемъ до мелочей, артистичность, создающая особое искусство изъ колокольнаго звона,—говоритъ о родствѣ героевъ романовъ Юисманса съ парнасцами, такъ презирающими современный міръ. Правда, у Гюисманса эти черты парнасцевъ доведены до абсурда, до крайнихъ предѣловъ; но не слѣдуетъ забывать, что парнасизмъ не исчерпывается однимъ Леконтъ-де-Лилемъ, что онъ явленіе общее, врядъ-ли даже исключительно литературное. Можно вѣдь говорить и о парнасизмѣ въ наукѣ, и этотъ послѣдній научный парнасизмъ въ послѣднее время дошолъ до крайнихъ предѣловъ. Существуютъ диссертаціи, посвященныя перечисленію именъ прилагательныхъ у Плавта, счету звѣздъ на небѣ, условій рѣшаемости уравненій, которыхъ не умѣютъ еще рѣшать, и т. п. Почему-же послѣ всего этого не быть и искусству колокольнаго звона?

Наконецъ, утонченность ощущеній и связь ихъ съ переживаемыми въ это время настроеніями, пристрастіе къ злымъ началамъ души, демонизмъ, отличающіе героевъ Юисманса, свидѣтельствуютъ о родствѣ ихъ съ декадентами. Связь времяпрепровожденія Дезессэнта и г-жи Шантелувъ съ стихотвореніями Боделэра несомнѣнна. Можно прямо сказать, что нѣкоторыя страницы романовъ «A rebours» и «Là-bas» — только длинныя варіаціи на Боделэровскія темы. У Боделэра много говорится о настроеніяхъ, возникающихъ при извѣстныхъ запахахъ,—Дезессэнтъ создаетъ изъ нихъ цѣлую обстановку жизни; Боделэръ мечтаетъ объ искусственномъ мірѣ изъ камней и металла, чуждомъ всякой жизни,—вся обстановка Дезессэнта устроена на этихъ началахъ; Боделэръ пишетъ гимны сатанѣ,—г-жа Шантелувъ предается посѣщеніямъ черной мессы... Словомъ, жизнь героевъ Юисманса есть практическое выполненіе жизненныхъ идеаловъ, какіе можно извлечь изъ стихотвореній Боделэра.

Но натурализмъ, парнасизмъ и декадентство явля-

ются въ романахъ Юисманса въ неприглядномъ видѣ, какъ-будто всѣ эти настроенія выродились, какъ-будто перестали удовлетворять общество. Есть еще четвертый элементъ въ этихъ романахъ—мистическое суевѣріе; но онъ является не какъ результатъ потребности души, а какъ послѣднее прибѣжище для пресыщеннаго разума, не находящаго интереса въ другихъ, уже извѣданныхъ сторанахъ жизни. Мистическое суевѣріе въ романахъ Юисманса является только средствомъ дать еще неизвѣданныя ощущенія износившимся и загрязненнымъ нервамъ, а можетъ быть, и болѣзненнымъ протестомъ этихъ загрязненныхъ нервовъ противъ циничнаго безвѣрія, смѣняющагося циничной вѣрой.

При всемъ своемъ внѣшнемъ интересѣ, романы Юисманса носятъ характеръ чего-то изобрѣтеннаго искусственно. Какъ-будто авторъ усиленно старался изобрѣсти сюжетъ новый, о которомъ не говорили еще другіе писатели, разсказать что-нибудь неслыханное, бьющее на эффектъ, противорѣчащее всему до сихъ поръ извѣстному. И это ощущеніе умышленной оригинальности, почти извращенности, налагаетъ совсѣмъ особый отпечатокъ на романы Юисманса: оно дѣлаетъ автора соучастникомъ своихъ героевъ. Несмотря на всѣ свои пріемы натуралиста и на безучастное отношеніе къ описываемому, Юисмансъ обнаруживаетъ въ себѣ ту-же болѣзнь тоски по безсодержательности натуралистической литературы, какою страдаютъ его герои, тоскующіе по безсодержательности матеріалистической жизни. И того же, чего ищутъ въ своей собственной жизни его герои, Юисмансъ ищетъ въ художественномъ творчествѣ, которое читатель невольно старается почувствовать какъ можно болѣе чуждымъ для себя, чтобы въ свою очередь не сдѣлаться соучастникомъ автора, самому ища того-же въ чтеніи.

Пл. Красновъ.

Добрый поэтъ.

Жизнь и сочиненія Адельберта Шамиссо.

Въ то время какъ нейрастеническія кривлянья декадентовъ нетолько во Франціи, но и далеко за ея предѣлами невольно привлекаютъ къ себѣ всеобщее вниманіе и назойливо гипнотизируютъ даже и здоровыхъ людей,—чувствуется потребность въ близости съ здоровыми и сильными писателями, и если мало находишь ихъ среди живыхъ, то обращаешься къ тѣмъ, прахъ которыхъ давно покоится подъ землею, но духъ которыхъ еще живъ и вѣетъ со страницъ, хранящихъ на себѣ ихъ чувства и мысли. И какъ радостно найти среди этихъ стариковъ вѣрнаго, честнаго друга, отъ котораго съ удивленіемъ слышишь новое, здравое слово, и хочется указать на этого человѣка всѣмъ тѣмъ, кто съ нимъ еще незнакомъ; а съ моимъ новымъ другомъ—писателемъ, умершимъ уже почти 60 лѣтъ тому назадъ, врядъ-ли хорошо знакомы русскіе читатели. Я говорю объ Адельбертѣ Шамиссо. Этотъ чистокровный французъ по происхожденію привязывается всѣмъ своимъ существомъ къ Германіи и дѣлается тамъ любимымъ національнымъ поэтомъ. Аристократъ, членъ древней французской фамиліи, потерявшей свое состояніе и положеніе во время первой французской революціи, онъ становится поэтомъ-демократомъ въ лучшемъ значеніи этого слова; католикъ, онъ жестоко бичуетъ іезуитовъ; пажъ

королевы Луизы, прусскій лейтенантъ, редакторъ журнала, studiosus medicinae, русскій путешественникъ, консерваторъ ботаническаго сада и наконецъ членъ академіи наукъ,—онъ все время, по его собственнымъ словамъ, является «студентомъ», т. е. человѣкомъ учащимся, безпрерывно идущимъ все къ новымъ и новымъ знаніямъ. Пѣвецъ тончайшихъ колебаній женской души, онъ въ то-же время составляетъ себѣ громкое имя какъ естествоиспытатель и лингвистъ. Явленіе рѣдкое, личность оригинальная! И надъ всѣмъ этимъ царитъ доброе, отзывчивое и чистое сердце, обладатель котораго и въ собственной жизни не ожесточался страданіемъ и не возносился въ счастьи, и сочиненія свои наполнилъ самымъ глубокимъ источникомъ душевной силы, самой высокой мудростью,—мудростью добраго и благороднаго сердца.

I.

Шамиссо происходилъ изъ древняго и знатнаго рода Франціи, отличительной чертой представителей котораго была стойкая вѣрность своимъ сюзеренамъ, сначала герцогамъ лотарингскимъ, а затѣмъ королямъ французскимъ. Будущій поэтъ Адельбертъ Шамиссо родился въ 1781 году, въ родовомъ замкѣ своихъ родителей Бонкуръ (въ провинціи Шампань), гдѣ и провелъ свое первое дѣтство. Съ раннихъ лѣтъ онъ отличался молчаливостью и замкнутостью. Онъ убѣгалъ отъ товарищей въ лѣса и поля, пытливо наблюдая явленія природы, собирая цвѣты, камни, насѣкомыхъ. «Дѣтей, живущихъ въ деревнѣ, пишетъ впослѣдствіи самъ Шамиссо своему другу де-ла-Фуа, — обыкновенно мощно привлекаетъ къ себѣ природа: цвѣты, насѣкомыя, вообще все, что цвѣтетъ, движется, все мощное; таинственныя горы, воды, явленія въ воздухѣ, все это необычайно затрагиваетъ ихъ душу. Такъ по крайней мѣрѣ было со мной».

Эти первые годы мирной дѣтской жизни были пре-

рваны раскатами вспыхнувшей революціи, удары которой коснулись и семейства Шамиссо. Замокъ Бонкуръ былъ въ буквальномъ смыслѣ стертъ съ лица земли, вся семья Шамиссо бѣжала заграницу,—сначала въ Нидерланды, а затѣмъ въ Германію, гдѣ ее гостепріимно принялъ прусскій король Вильгельмъ III.

Адельбертъ, въ то время пятнадцатилѣтній юноша, былъ назначенъ пажемъ къ прусской королевѣ Луизѣ, которая очень заинтересовалась талантливымъ юношей и дала ему возможность посѣщать французскую гимназію въ Берлинѣ. Уже въ это время его влекла къ себѣ литература. Онъ старательно изучаетъ нѣмецкій языкъ, который дается ему вначалѣ далеко не легко, но на которомъ онъ уже въ 1798 или 1799 году дѣлаетъ первый литературный опытъ: подражаніе въ прозѣ какой-го французской трагедіи, подъ названіемъ «Графъ фонъ-Коминджъ».

Изъ пажей Шамиссо попадаетъ въ военную службу въ одинъ изъ пѣхотныхъ прусскихъ полковъ и вскорѣ производится въ лейтенанты.

Ни жизнь при дворѣ въ качествѣ пажа, ни жизнь прусскаго офицера не измѣнили замкнутаго и застѣнчиваго характера Шамиссо. Никакихъ мелкихъ увлеченій, никакихъ пошлыхъ ухаживаній,—но зато настоящая, сильная юношеская любовь. Въ кругу, гдѣ приходилось бывать Шамиссо, выдѣлялась своею красотою и своимъ образованіемъ одна молодая вдова 24-хъ лѣтъ, его соотечественница Цереза Дюверну́а. За нею ухаживала масса молодыхъ людей, но настоящимъ образомъ полюбилъ ее только Шамиссо. Не колеблясь, сдѣлалъ онъ ей предложеніе, но разумѣется, модная красавица отказала юношѣ, еле перебивавшемуся на свое лейтенантское жалованье, предложивъ ему въ шуточномъ стихотвореніи вмѣсто любви дружбу.

Изъ писемъ Шамиссо къ своимъ друзьямъ видно, какъ сильно и долго онъ продолжалъ любить Дюверну́а

и какъ возвышенно понималъ онъ въ то время любовь. Въ одномъ письмѣ къ своему другу Хитцигу, только-что женившемуся и уѣхавшему съ молодой женой въ Варшаву, онъ пишетъ, что съ радостью отказался-бы отъ своего стремленія «вырваться въ широкій міръ, чтобъ все узнать, все испытать», еслибъ только на его долю выпало счастье быть любимымъ. «Вначалѣ, пишетъ онъ дальше, поэтизируя слова мистиковъ,—человѣкъ соединялъ въ себѣ оба пола; онъ былъ полное, ясное, замкнутое въ себѣ созданіе, въ своемъ неизмѣнномъ покоѣ подобное божеству, зерцаломъ котораго онъ являлся, радуясь въ одно и то-же время и ему, и себѣ самому. Тогда врагъ человѣческій пробудилъ грѣхъ, и павшее человѣчество раздѣлилось на два составлявшихъ его элемента. «Мужское» и «женское» стояли раздѣленныя другъ противъ друга, съ жаждою снова соединиться, съ темнымъ воспоминаніемъ своего первоначальнаго совершенства. Тогда родились томленіе, любовь, желаніе; тогда бурямъ возбужденныхъ, движущихся, жаждущихъ покоя силъ была поставлена несознанная ими, внѣ лежащая цѣль: мужчина и женщина должны другъ въ другѣ исчезнуть, чтобъ наступило единство первоначальнаго творенія».

«Этотъ прекрасный миѳъ, замѣчаетъ Шамиссо,—проникаетъ всю мою душу, и все-же я не могу провести его въ жизнь; но онъ дѣлаетъ мнѣ, дорогой Эдуардъ, многое яснымъ въ нашей таинственной природѣ».

Несчастный въ своей первой любви, Шамиссо былъ счастливъ въ своихъ первыхъ друзьяхъ. Онъ подружился съ нѣсколькими образованными молодыми людьми, жаждавшими, какъ и онъ, свѣта и знанія, съ Хитцигомъ, Варнгагеномъ, Фуке, Нейманомъ и др., въ союзѣ съ которыми онъ образовалъ научно-литературный кружокъ «Полярная звѣзда». Въ связи съ этимъ кружкомъ появился, подъ редакціей Шамиссо и Варнгагена, альманахъ, въ которомъ печатались юношескія произведенія членовъ кружка.

Помимо этихъ близкихъ друзей, Шамиссо стоялъ въ это время въ хорошихъ, почти дружескихъ отношеніяхъ съ нѣсколькими выдающимися умами нынѣшняго столѣтія. Это были философы Фихте и Шлейермахеръ и великій біологъ Іоганъ Миллеръ.

Связь со всѣми этими людьми помогла развиться уже жившей въ Шамиссо жаждѣ знанія и заставила его полюбить нѣмецкую науку, нѣмецкую литературу и вообще Германію. Здѣсь положено начало перерожденію француза въ нѣмца.

Съ жадностью вчитывается Шамиссо въ произведенія Клопштока, Лессинга и, въ особенности, двухъ еще жившихъ тогда великихъ веймарскихъ друзей, Шиллера и Гете. Особенно сильное впечатлѣніе производитъ на него Шиллеръ. «Къ тебѣ, говоритъ онъ въ обращенномъ къ Шиллеру стихотвореніи,—желалъ-бы я приблизиться въ объятіяхъ духа, къ этому свѣту желалъ-бы я мощно взлетѣть. О, не насмѣхайся надъ дерзостью смертнаго! Я боролся не для того, чтобъ лавръ зазеленѣлъ на моей головѣ, не для того, чтобъ вырвать обычную похвалу, но для того, чтобъ меня наградило твое сердце».

II.

Недолго Шамиссо пользовался этою сравнительно спокойною жизнью, полною духовныхъ интересовъ и «дружбы простодушной». Осенью 1805-го года онъ долженъ былъ покинуть Берлинъ вмѣстѣ со своимъ полкомъ, который переводился изъ одного маленькаго городка въ другой, чтобъ наконецъ присоединиться къ гарнизону крѣпости Хамелнъ. Съ этого времени начинается трагически-тяжелый періодъ жизни Шамиссо. Въ воздухѣ уже носилась неизбѣжность войны Пруссіи съ Франціей. Въ душѣ Шамиссо поднимается мучительный разладъ между французомъ и нѣмцемъ. Любовь къ Германіи, чувство благодарности за госте-

пріимство, оказанное прусскимъ королемъ его семейству, долгъ чести прусскаго офицера, все это заставляетъ его оставаться на службѣ; но съ другой стороны его ужасаетъ мысль, что ему придется сражаться противъ своей родины Франціи. Онъ старается заглушить разладъ души усиленными занятіями. Онъ изучаетъ въ подлинникѣ евангеліе и читаетъ греческихъ классиковъ. Въ двѣ недѣли онъ прочитываетъ всего Гомера, большую часть Ксенофонта и нѣсколько трагедій Софокла и Еврипида, т.-е. больше, чѣмъ въ нашихъ гимназіяхъ прочитываютъ въ продолженіе всего гимназическаго курса. На политическую жизнь у него развивается насмѣшливо-пессимистическій взглядъ, который рѣзко выразился въ одной изъ его эпиграммъ, относящейся къ тому времени.

«Народы и государства! восклицаетъ онъ. — Правда, я повсюду слышалъ, какъ раздаются эти слова, но я искалъ и видѣлъ только толпу и королей. Я постоянно слышалъ болтовню о благородныхъ и рыцаряхъ и видѣлъ лишь разваливающіеся замки на высотахъ. Слышалъ объ отечествѣ, о свободѣ, слышалъ о битвахъ, слышалъ о добродѣтели и мужествѣ, украшающихъ богатырей, но я видѣлъ только свору англійскихъ договъ, которые разрываютъ другъ друга на потѣху своихъ господъ».

Глупость и подлость людей, руководившихъ въ то время прусскою арміей, не могли конечно укрыться отъ критическаго взгляда Шамиссо и не могли улучшить его настроенія. Онъ рвется вонъ изъ военной службы. «Нѣтъ, говоритъ онъ въ одномъ изъ писемъ къ своимъ друзьямъ,—я слишкомъ хорошъ для своего ремесла».

Друзья его, особенно Варнгагенъ и Нейманъ, которые въ это время поступили въ число студентовъ галльскаго университета, усиленно зовутъ къ себѣ Шамиссо. Этотъ дружескій призывъ находитъ въ его сердцѣ живой откликъ, охлаждающійся однако заботой о кускѣ хлѣба. Подъ вліяніемъ этихъ надеждъ и сомнѣній, онъ пишетъ поэтическую аллегорію «Басня Адельберта»,

мысль которой заключается въ томъ, что человѣку для достиженія намѣченной цѣли необходимо сильное желаніе и упорное слѣдованіе вопреки всѣмъ внѣшнимъ препятствіямъ,—но все-же достиженіе цѣли возможно лишь при гармоніи индивидуальнаго желанія съ законами жизни, которыми управляетъ необходимость (Ἀνάγκη), олицетворенная у Шамиссо въ видѣ мощнаго старика въ широкой лазурной одеждѣ, усыпанной звѣздами.

Въ концѣ-концовъ Шамиссо рѣшился бросить «неподходящее ему ремесло» и ѣхать въ Галле. Однако «необходимость» была на этотъ разъ не на его сторонѣ: между Германіей и Франціей вспыхнула война, и офицеру гарнизона крѣпости, стоявшей на дорогѣ врагу, было рѣшительно отказано въ его просьбѣ объ отставкѣ.

Французскія войска побѣдоносно проходятъ Германію. Вслѣдъ за другими, крѣпость, въ которой находился Шамиссо, позорно сдается врагу. Эта капитуляція—одно изъ драматическихъ событій въ его жизни. Узнавъ о ней, Шамиссо страшно возмутился и въ горячей рѣчи призывалъ товарищей-офицеровъ выбрать изъ своей среды по жребію новыхъ начальниковъ и оказать врагу отчаянное сопротивленіе. Рѣчь эта была прервана ударами набата: и до солдатъ уже долетѣла вѣсть о капитуляціи, и они возмущены, но возмущеніе выразилось у нихъ иначе; заряды выпускаются въ воздухъ, пули попадаютъ въ своихъ-же, магазины разграбляются, водка льется, и на улицахъ валяются опившіеся до смерти. Наступаетъ оргія отчаянья. Съ музыкой вступаютъ въ ворота вражескія войска (состоявшія, главнымъ образомъ, изъ подчиненныхъ французамъ голландцевъ), и со злымъ смѣхомъ забираютъ толпы безоружныхъ нѣмецкихъ солдатъ.

«Я могъ прежде, пишетъ Шамиссо Варнгагену, — съ мужественнымъ самообладаніемъ выносить несчастье, котораго мнѣ немало выпадало въ жизни; но теперь я

теряю самообладаніе; я не могу о себѣ думать, у меня только одно отчаянье, только слезы, которыя заполняютъ мое сердце, и оно такъ взбухаетъ, что я не могу дышать. О, другъ мой, могутъ-же отдѣльныя личности быть такъ богаты позоромъ, что они въ состояніи излить кубокъ его на тысячи сильныхъ и здоровыхъ и затянуть ихъ въ свое ничтожество и погубить... Но я долженъ былъ пройти черезъ это тяжелое испытаніе и черезъ позоръ, въ страданіи получить прирожденную свободу, къ которой я напрасно простиралъ руки, которой я не могъ добиться самостоятельно. Такъ отомщается грѣхъ юноши на мужѣ».

Солдатъ берутъ въ плѣнъ, а офицеровъ, въ томъ числѣ и Шамиссо, отпускаютъ «на честное слово». Шамиссо уѣзжаетъ во Францію, къ роднымъ, которые при Наполеонѣ снова вернулись на родину, — но имѣетъ твердое намѣреніе вскорѣ вернуться въ Германію къ своимъ друзьямъ. «Я нѣмецъ, пишетъ онъ имъ,— но свободный нѣмецъ въ своемъ сердцѣ и останусь имъ навсегда. Служить я больше не буду».

Родина-Франція встрѣтила его печально. Отца и матери онъ не засталъ уже въ живыхъ. Деспотическій режимъ Наполеона нагонялъ на него мрачныя мысли, онъ терялъ вѣру въ будущее Франціи, чувствовалъ себя тамъ чужимъ. «Доброе дитя, пишетъ онъ Варнгагену,— ты говоришь мнѣ, что я нахожу отечество всюду, куда-бы я ни направился; нѣтъ, дѣло стоитъ иначе,—гдѣ-бы я ни былъ, всюду лишонъ я отечества, всюду я чуждъ и землѣ и людямъ и долженъ вѣчно томиться».

Во Франціи Шамиссо остается около года и затѣмъ снова возвращается въ Берлинъ къ своимъ друзьямъ, но и въ Германіи его встрѣчаютъ мрачныя впечатлѣнія. Онъ, напримѣръ, со злымъ сарказмомъ отзывается о знаменитомъ «союзѣ добродѣтели» (Tugendbund), гдѣ «молодое поколѣніе оберегали отъ опасностей, пріучали къ послушанію и прививали добродѣтель и любовь къ ко-

ролю». Даже и реформаторскою дѣятельностью Штейна онъ не совсѣмъ доволенъ. Уничтоженіе всѣхъ привилегій и всеобщая воинская повинность кажутся ему опасными при сильной власти, вродѣ власти Фридриха Великаго.

Но и въ это время внутренней усталости Шамиссо не предается разлагающей душу лѣности. Онъ серьезно изучаетъ итальянскій языкъ и внимательно слѣдитъ за міровою литературой; только муза его упорно молчитъ. Ни онъ самъ, ни его друзья не предполагали въ это время, чтобъ онъ когда-нибудь могъ сдѣлаться сколько-нибудь значительнымъ поэтомъ.

III.

Въ 1809 году судьба снова посылаетъ Шамиссо во Францію. Одинъ изъ друзей его родныхъ выхлопоталъ ему мѣсто профессора въ Наполеонвилльскомъ лицеѣ. «Bauchsorge» заставляетъ Шамиссо принять это мѣсто, въ ожиданіи окончательнаго полученія котораго Шамиссо начинаетъ изучать французскую народную поэзію, средневѣковыхъ писателей и Раблэ. Онъ заводитъ знакомство со многими знаменитостями Франціи и вступаетъ въ тѣсныя дружескія отношенія съ госпожею Сталь. Эта дружба не остается безъ вліянія на обоихъ друзей, и несомнѣнно, что Шамиссо много содѣйствовалъ развитію у Сталь сочувствія къ Германіи, нашедшаго такое прекрасное выраженіе въ ея книгѣ «De l'Allemagne». Этою-же книгою была брошена перчатка Наполеону I.

Шамиссо принимаетъ живое участіе въ борьбѣ противъ всесокрушающаго деспота неподчинившейся ему интеллектуальной силы—и скоро снова покидаетъ Францію: онъ сопровождаетъ высланную изъ Франціи Сталь въ Швейцарію. Здѣсь,—по выраженію Шамиссо, въ «лучшемъ ботаническомъ саду Европы»,—онъ начинаетъ съ

увлеченіемъ заниматься ботаникой и, увлекшись ею, ѣдетъ доучиваться ей въ Германію. Осенью 1812 года онъ уже въ Берлинѣ, студентъ-медикъ, и пишетъ отсюда своему другу Де-ла-Фуа: «Наконецъ, я въ согласіи съ самимъ собою и съ міромъ и выбрался изъ лжи. Моя цѣль—не практиковать (хотя я и буду стремиться къ докторской шапкѣ); я хочу обхватить болѣе или менѣе всѣ естественныя науки и черезъ нѣсколько лѣтъ стать передъ собою какъ законченный человѣкъ».

Отъ общества въ это время Шамиссо отстраняется. О студентахъ его отзывъ кратокъ и рѣзокъ: «Я вижу только пустыхъ дураковъ и еще не встрѣтилъ ни одного порядочнаго; насъ здѣсь считается до тысячи человѣкъ».

И на этотъ разъ недолго приходится Шамиссо «оставаться въ согласіи съ самимъ собою и съ міромъ»; судьба продолжаетъ играть съ нимъ злую игру.

IV.

Наступаетъ 1813 годъ. Наполеонъ и жалкіе остатки великой арміи бѣгутъ изъ Россіи черезъ Германію во Францію. Въ Германіи подымается мощное народное движеніе; вспыхиваетъ надежда на полное освобожденіе отъ давящей ея руки иноземца-деспота и на созданіе единой великой Германіи.

Шамиссо не захваченъ этимъ движеніемъ. Болѣе чѣмъ когда-нибудь чувствуетъ онъ себя чужимъ, въ немъ даже просыпается сочувствіе къ своимъ соотечественникамъ-французамъ и ихъ императору, звѣзда котораго начинаетъ меркнуть. Почти всѣ окружающіе Шамиссо, даже близкіе ему люди, не щадятъ его чувствъ, оскорбляютъ его, переносятъ и на него свою ненависть къ французамъ; онъ какъ-будто мозолитъ ихъ патріотическіе глаза. Оставаться въ Берлинѣ было для него тяжело, почти невозможно, и онъ съ радостью принимаетъ предложе-

ніе своего учителя и друга, профессора Лихтенштета,— скрыться на время въ уединенномъ имѣніи Кунерсдорфѣ, принадлежавшемъ близкимъ знакомымъ послѣдняго.

Свое настроеніе, всю муку своей души Шамиссо изливаетъ въ своей знаменитой сказкѣ «Петръ Шлемиль».

«Шлемиль» точно такъ-же, какъ и «Басня Адельберта» — аллегорія; но въ то время какъ послѣдняя является отвлеченнымъ, безжизненнымъ, исключительно аллегорическимъ разсказомъ, первый полонъ превосходныхъ жанровыхъ картинъ, въ немъ видны живые люди съ тѣломъ и душою, и несомнѣнно, что успѣхъ «Петра Шлемиля» объясняется нестолько лежащими въ основѣ его идеями, сколько его бытовой стороной, остроумно задуманной фабулой, прекраснымъ живымъ языкомъ. Но рѣшительно неправы тѣ, которые готовы совершенно игнорировать его идейную сторону, готовы не видѣть въ немъ никакой опредѣленной аллегоріи.

«Удивительная исторія», какъ называетъ свою сказку Шамиссо, написана въ формѣ письма отъ Петра Шлемиля * къ другу его Адельберту Шамиссо.

Шлемиль разсказываетъ свои похожденія съ тѣхъ поръ, какъ онъ уѣхалъ въ Америку искать счастья, которое онъ отожествлялъ въ то время съ деньгами. Въ Америкѣ онъ попадаетъ въ домъ милліонера Джона Томаса, гдѣ какъ разъ въ это время собралось повеселиться лучшее городское общество, «въ которомъ о серьезныхъ вещахъ говорятъ легкомысленно и о легкомысленныхъ—серьезно». Центръ общества занимаетъ самъ хозяинъ «во всемъ своемъ блескѣ разжирѣвшаго самодовольства», но истинною пружиной всего веселья, источникомъ всѣхъ удовольствій, усерднымъ исполнителемъ каждаго желанія хозяина или гостей является незамѣтный сухенькій пожилой «человѣкъ въ сѣромъ сюртукѣ»,

* «Шлемилями» у евреевъ называютъ неудачниковъ, которымъ рѣшительно ни въ чемъ не везетъ.

похожій по замѣчанію одного франта на «кончикъ нитки, висящей изъ ушка иглы портного».

Этого человѣка никто хорошенько не знаетъ, никто имъ не интересуется, а между тѣмъ онъ выдѣлываетъ удивительные фокусы: смотря по надобности, онъ вытягиваетъ изъ бокового кармана своего сѣраго сюртука то подзорную трубу, чтобы Джонъ Томасъ могъ полюбоваться морскою далью, то изящную палатку, чтобы избавить гостей отъ палящихъ лучей солнца, то, наконецъ, лошадей, чтобы сыновья хозяина могли совершить послѣобѣденную прогулку.

Никто изъ общества не изумляется этимъ штукамъ, какъ-будто все «такъ и быть надлежитъ»; но на Шлемиля онѣ наводятъ такой страхъ, что онъ бѣжитъ изъ богатаго парка Джона Томаса. Его догоняетъ «господинъ въ сѣромъ сюртукѣ» и униженно проситъ уступить ему за хорошую цѣну прекрасную Шлемилеву тѣнь. Онъ предлагаетъ взамѣнъ тѣни «фортунатовскій кошелекъ счастья», въ которомъ никогда не истощаются золотыя монеты, сколько-бы ихъ оттуда ни вынимали. Горсть за горстью выбрасываетъ незнакомецъ золото изъ кошелька; у Шлемиля кружится голова, и онъ хватается за кошелекъ счастья, уступая ненужную ему тѣнь, которая свертывается и уходитъ въ волшебный карманъ сѣраго сюртука. Но скоро Шлемилю приходится убѣдиться, что тѣнь не такая ненужная вещь, какъ онъ думалъ.

Правда, имѣя кошелекъ счастья въ карманѣ, онъ повсюду завоевываетъ одно изъ первыхъ мѣстъ, дѣлается остроумнымъ, интереснымъ, на него сыплются всякія похвалы, ему улыбаются хорошенькія личики; но все это лишь до тѣхъ поръ, пока не открывается отсутствіе тѣни. Тогда картина измѣняется. Всѣ сторонятся отъ него, мужчины съ презрѣніемъ и насмѣшкою, женщины со страхомъ и стыдомъ. Вѣчно мучимый боязнью, что отсутствіе тѣни будетъ открыто и его осмѣютъ, оскорбятъ,

Шлемиль боится солнца, луны, ищетъ темноты, дѣлается пугливымъ и запутывается во лжи, стараясь какъ-нибудь объяснить и извинить потерю тѣни. Одинъ только человѣкъ, Бендель, любящій его не за деньги, а отъ чистаго сердца, не покидаетъ Шлемиля даже и тогда, когда узнаетъ тяжолую правду, и старается, гдѣ возможно, прикрыть его своею широкою тѣнью.

Шлемиль всѣми силами старается найти «человѣка въ сѣромъ сюртукѣ», чтобы отдать ему обратно «кошелекъ счастья» и получить свою тѣнь, но это ему не удается; онъ узнаетъ только, что незнакомецъ самъ къ нему явится черезъ годъ. Шлемиль ѣздитъ съ Бенделемъ изъ города въ городъ, постоянно убѣгая отъ тѣхъ людей, которые узнали его недостатокъ, и всюду разсыпаетъ массу золота, а вмѣстѣ съ нимъ массу зла во всѣхъ его проявленіяхъ.

Въ одномъ изъ городовъ Шлемиль встрѣчаетъ милую, чистую дѣвушку Минну, въ которую онъ страстно влюбляется и которая съ своей стороны начинаетъ любить его такъ, какъ любитъ настоящая женщина, т.-е. съ самозабвеніемъ, съ готовностью пожертвовать своею жизнью для любимаго человѣка. Но эту дѣвушку пугаетъ отсутствіе тѣни, и когда отецъ ея требуетъ, чтобы она отказалась отъ человѣка безъ тѣни и вышла замужъ за отъявленнаго негодяя, вора, бывшаго слугу Шлемиля,—она, разбитая, полуживая, подчиняется отцовской волѣ.

Въ это время къ Шлемилю является снова господинъ въ сѣромъ сюртукѣ и соглашается возвратить тѣнь, но не за «кошелекъ счастья», который, по его словамъ, въ хорошихъ рукахъ, а за душу Шлемиля. Тотъ однако не идетъ на это предложеніе, несмотря на всѣ испытанія и искушенія, которыми мучитъ и соблазняетъ его дьяволъ; Шлемиль рѣшается лучше пожертвовать горячо любимой дѣвушкой, чѣмъ продать свою душу дьяволу. Одинъ, безъ Бенделя, котораго онъ покидаетъ, не

желая втягивать въ свою горестную жизнь, несчастный «человѣкъ безъ тѣни» выдерживаетъ тяжолую борьбу съ «человѣкомъ въ сѣромъ сюртукѣ». Шлемиль остается побѣдителемъ, когда рѣшается бросить въ пропасть проклятый «кошелекъ счастья». Точно тяжесть спадаетъ съ его плечъ; онъ остается «человѣкомъ безъ тѣни», но это уже больше не безпокоитъ его, и онъ безбоязненно смотритъ впередъ. Судьба посылаетъ ему «семиверстные сапоги», и въ нихъ онъ бродитъ по свѣту, одинъ, вдали отъ людей, собирая камни и растенія, вдумываясь въ тайны природы, и въ этой жизни находитъ себѣ полное удовлетвореніе.

«И тебя, мой дорогой Шамиссо», кончаетъ Шлемиль свой разсказъ, «выбралъ я хранителемъ моей необычайной исторіи, съ тѣмъ, чтобы она, если я исчезну съ лица земли, послужила полезнымъ урокомъ для нѣкоторыхъ ея обитателей».

Несомнѣнно, что эта сказка имѣетъ прежде всего автобіографическое значеніе, что въ мученіяхъ Шлемиля, лишоннаго тѣни, отразились мученія Шамиссо, лишоннаго отечества, что борьбѣ Шлемиля съ дьяволомъ соотвѣтствуетъ внутренняя борьба Шамиссо, рѣшившагося лучше уйти отъ людей, чѣмъ поступать противъ своей совѣсти. Бендель — олицетвореніе нѣкоторыхъ друзей Шамиссо, оставшихся ему вѣрными до конца. Наконецъ, въ странствованіяхъ Шлемиля видны надежды Шамиссо, мечтавшаго въ то время о дальнемъ научномъ путешествіи.

Сказка стала и въ Германіи, и въ Англіи буквально народною, она сдѣлала популярною человѣческую тѣнь, такъ-что мальчишки начали бѣгать на улицахъ за своей тѣнью, тощіе сады назывались «садами Шлемиля», на балаганахъ представлялись сценки изъ Шлемиля; о значеніи сказки написаны цѣлые томы, наконецъ, она стала издаваться стеоретипно и была переведена почти на всѣ языки. Но этой славы «Петръ Шлемиль» до-

стигъ далеко не сразу; напротивъ, вначалѣ появленіе его прошло совершенно незамѣченнымъ, и критики принялись его разбирать и расхваливать лишь тогда, когда Шамиссо сдѣлался однимъ изъ первыхъ поэтовъ Германіи. Какъ-бы то ни было, талантливая сказка сначала ничего не измѣнила въ печальномъ положеніи Шамиссо.

Гонимый жаждою знанія, онъ покидаетъ свое убѣжище и снова появляется въ берлинскомъ университетѣ, но снова тѣмъ-же несчастнымъ человѣкомъ безъ тѣни. Онъ занимается, между прочимъ, минералогіей, въ которой, какъ истинный естествоиспытатель, сразу отыскиваетъ научную душу. «Никогда не думалъ я, говоритъ онъ Хитцигу, — чтобы у камней было столько разума».

Желаніе послѣдовать примѣру Шлемиля, уйти отъ людей къ природѣ, уѣхать въ далекое странствованіе, ростетъ въ Шамиссо все сильнѣе и сильнѣе, и, наконецъ, въ 1815 году судьба посылаетъ ему «семиверстные сапоги».

V.

Какъ-то разъ, сидя въ гостяхъ у Хитцига, Шамиссо взялъ въ руки валявшійся номеръ газеты и, невнимательно пробѣгая его глазами, вдругъ остановился чѣмъ-то пораженный. Взглядъ его упалъ на краткое сообщеніе о предполагавшейся русской научной экспедиціи къ сѣверному полюсу.

— Я хочу быть съ этими русскими на сѣверномъ полюсѣ! вскричалъ Шамиссо, вскакивая съ мѣста.

— Это серьезно? спросилъ Хитцигъ.

— Да, рѣшительно отвѣтилъ Шамиссо.

— Ну, такъ приготовь рекомендацію отъ своихъ профессоровъ, а я улажу дѣло.

И дѣйствительно, дѣло было вскорѣ улажено, и Шамиссо получилъ мѣсто «естествоиспытателя» при науч-

ной экспедиціи, снаряженной на средства графа Румянцева подъ руководствомъ «русскаго» лейтенанта морской службы Отто фонъ-Коцебу. Экспедиція эта имѣла цѣлью совершить кругосвѣтное плаваніе, изслѣдовать острова Тихаго океана и разыскать удобный сѣверо-восточный проѣздъ въ Ледовитый океанъ.

Подобныя путешествія были въ то время величайшею рѣдкостью: тогда прошло еще не болѣе 35 лѣтъ со времени трагической смерти Кука, положившаго начало научнымъ кругосвѣтнымъ плаваніямъ. Въ Берлинѣ не было еще ни одного ученаго, совершившаго подобное кругосвѣтное путешествіе, и Шамиссо являлся первымъ берлинцемъ, на долю котораго выпадало это «трудное счастье».

Три съ половиной года, которые провелъ Шамиссо на русскомъ бригѣ «Рюрикъ» и на берегахъ различныхъ материковъ и острововъ, не прошли для него даромъ. Онъ сумѣлъ многое вырвать отъ природы и собрать матеріалъ нетолько для своихъ естественно-научныхъ и лингвистическихъ работъ, но и для своихъ поэтическихъ вдохновеній.

Уже въ самомъ началѣ путешествія въ Атлантическомъ океанѣ, около острова Тенерифа, ему удалось сдѣлать важное открытіе: онъ нашолъ новый, крайне важный для біологіи видъ размноженія животныхъ — чередованіе поколѣній или metagenesis. Изучая стекловидно-прозрачныхъ небольшихъ морскихъ животныхъ *сальпъ*, онъ замѣтилъ, что половыя животныя производятъ безполыхъ, сильно отличающихся по своей организаціи отъ родителей, и эти безполые индивидуумы размножаются посредствомъ дѣленія своего тѣла или образованія почекъ, производя снова половыхъ животныхъ, подобныхъ своимъ дѣдамъ.

Уже однимъ этимъ открытіемъ Шамиссо навсегда записалъ свое имя въ книгу науки. Его упоминаютъ даже обыкновенные учебники настоящаго времени, какъ напр. Клаусъ, Ландуа и др. Любопытны также его ан-

тропологическія, а въ частности этнографическія наблюденія надъ туземцами Камчатки, Аляски и въ особенности многочисленныхъ острововъ Тихаго океана. Цѣлые панегирики пишетъ онъ туземцамъ Сандвичевыхъ и другихъ острововъ, протестуя противъ причисленія ихъ къ дикимъ и ставя ихъ во многихъ отношеніяхъ выше культурныхъ европейскихъ народовъ. Его дружба съ однимъ малайцемъ, Каду, помогла Шамиссо изучить гавайскій языкъ, научная обработка котораго была однимъ изъ его послѣднихъ трудовъ и являлась дополненіемъ къ лингвистическимъ сочиненіямъ извѣстнаго языковѣда Вильгельма Гумбольдта. Наконецъ, «свободное время» Шамиссо посвящалъ изученію новыхъ языковъ: датскаго и русскаго.

Кажется — достаточно; и все-же Шамиссо остался далеко не удовлетвореннымъ результатами своего путешествія, такъ-какъ хорошо сознавалъ, что могъ-бы сдѣлать гораздо больше, еслибы былъ поставленъ на «Рюрикѣ» въ сколько-нибудь сносныя условія. Руководитель экспедиціи не терпѣлъ ни совѣтовъ, ни возраженій, не сочувствовалъ собранію коллекцій и на первыхъ-же порахъ заявилъ «естествоиспытателю экспедиціи», что тотъ является «лишь пассажиромъ на военномъ суднѣ, гдѣ таковыхъ не привыкли имѣть». Вдобавокъ, у Шамиссо не было нетолько отдѣльной каюты, какъ это было ему обѣщано, но даже и собственнаго стола и сколько-нибудь удобнаго мѣста для сбереженія коллекцій. Матросы, съ разрѣшенія капитана, употребляли папки съ растеніями для устройства себѣ спальныхъ ложъ, и часть драгоцѣнныхъ коллекцій Шамиссо пропала. Хорошо еще, что добрый и въ высшей степени уживчивый Шамиссо ни съ кѣмъ не ссорился и жилъ съ докторомъ, офицерами и командой въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, съумѣвъ оцѣнить въ нихъ многія хорошія русскія черты. Отчетъ Шамиссо о путешествіи былъ не счастливѣе его самого: этотъ отчетъ былъ изданъ въ Россіи на нѣ-

мецкомъ языкѣ вмѣстѣ съ описаніемъ путешествія г. фонъ-Коцебу, но съ такою массою ошибокъ, что смыслъ написаннаго терялся. Исправить эти ошибки въ «опечаткахъ» Шамиссо не разрѣшили.

Въ 1818 году Шамиссо снова въ Берлинѣ у своего вѣрнаго друга Хитцига, которому онъ съ увлеченіемъ разсказываетъ свои кругосвѣтныя похожденія. Среди слушателей была молоденькая дѣвушка—Антонія Піастэ, съ дѣтства жившая у Хитцига. Она съ увлеченіемъ слушала краснорѣчиваго путешественника, котораго помнила еще какъ добраго дядю, бравшаго ее—маленькую дѣвочку—къ себѣ на колѣни; она любовалась его выразительнымъ, энергичнымъ лицомъ, окаймленнымъ чудными кудрями, уже посеребренными ранней сѣдиной: ея сердце забилось любовью. И онъ съ восторженнымъ изумленіемъ бросалъ свой взглядъ на красавицу-дѣвушку, которую онъ 3—4 года тому назадъ любилъ какъ милаго ребенка.

Пришло время и для Шамиссо провести въ жизнь поэтическій миѳъ мистиковъ, который ему такъ нравился много лѣтъ тому назадъ. «Мужское» и «женское» стояли другъ противъ друга, полныя томленія и желанія соединиться въ одно гармоничное цѣлое. Время странствованій кончилось. Шлемиль получилъ обратно свою тѣнь, сохранивъ свою чистую душу. Шамиссо окончательно пустилъ крѣпкіе корни въ нѣмецкую землю, получивъ «до самозабвенія любящую нѣмецкую жену», достигнувъ почестей (онъ былъ, напримѣръ, выбранъ почетнымъ докторомъ—«Doctor honoris causa»—берлинскаго университета), и наконецъ занялъ спокойную и интересную для него должность консерватора королевскаго ботаническаго сада.

VI.

Новый періодъ, періодъ спокойной семейной жизни, начавшійся для Шамиссо съ 1819 года, ознаменовался

его плодотворной научной и въ особенности поэтической дѣятельностью. Совсѣмъ-было забытая лира снимается со стѣны и звучитъ уже не слабыми дѣтскими сонетами, но звучными, могучими пѣснями мужа-поэта. Въ нихъ плачетъ горе несчастныхъ, начиная съ нѣмецкаго нищаго, кончая русскимъ ссыльнымъ-декабристомъ; въ нихъ благословляется трудъ и воспѣвается величіе незамѣтныхъ тружениковъ; въ нихъ гремитъ голосъ пророка, громящаго насиліе и произволъ; въ нихъ, наконецъ, нѣжною мелодіею звучитъ первый проблескъ рождающейся человѣческой души, пробуждающейся человѣческой любви. Всюду прямота и цѣльность, ненависть къ обману, къ половинчатости, къ компромиссамъ. Ни одной нетолько-что неприличной, но даже и такъ-называемой пикантной черты.

Форма стихотвореній или, вѣрнѣе, пѣсенъ донельзя музыкальна. Тогдашній наслѣдный принцъ прусскій сказалъ о его стансахъ «Замокъ Бонкуръ», что ихъ хочется не читать, а пѣть, — и это приложимо къ большинству поэтическихъ произведеній Шамиссо. Недаромъ къ его пѣснямъ писалъ музыку великій Шуманъ!

VII.

Изъ поэтическихъ произведеній Шамиссо наибольшею популярностью пользуются его психологическія звуковыя картины, въ которыхъ изображается развитіе мужчины и женщины, вѣрнѣе,—развитіе началъ мужского и женскаго, и ихъ соединеніе въ одно прекрасное семейное цѣлое. Въ этихъ, какъ называетъ ихъ Шамиссо, «жизненныхъ пѣсняхъ и картинахъ» параллельно звучатъ душевныя настроенія мужчины и женщины въ ихъ постепенномъ развитіи. Это своего рода эмбріологія души.

Дѣтство. Въ душѣ мальчика носятся мечты о рыцарскихъ подвигахъ, о сраженіяхъ съ драконами и т. д. Онъ, какъ герой, руководитъ своими товарищами;

какъ герой, беретъ на одного себя всю вину за шалости и, получая удары розогъ, мечтаетъ о томъ времени, когда будетъ въ состояніи такъ-же расправиться съ злымъ учителемъ, какъ расправился только-что съ воображаемымъ дракономъ.

Иныя думы въ головѣ у дѣвочки.

«Мама, мама! зоветъ она мать,—я убаюкала свою куклу, милая мама, приди и посмотри: она лежитъ, какъ ангелочекъ. Отецъ меня прогналъ, онъ мнѣ сказалъ: «Уйди ты, глупое дитя!» Только ты, мама, можешь понять мою радость. Я хочу такъ-же заботиться о своей куклѣ, какъ ты о своихъ малюткахъ. Пусть она спитъ въ колыбели рядомъ съ моей кроваткой; спитъ она,—я буду видѣть ее во снѣ; закричитъ она,—я тотчасъ-же проснусь».

Юность. Юноша видитъ войска, идущія на защиту родины; онъ горитъ желаніемъ вступить въ ихъ ряды, бороться вмѣстѣ съ ними, а между тѣмъ, онъ принужденъ сидѣть и учиться.

«Ея» душа развивается совсѣмъ въ другомъ направленіи. «Она» радуется на ласточекъ, свившихъ себѣ гнѣздо подъ крышею ихъ дома, она радуется радостью ласточекъ-родителей, выведшихъ своихъ птенцовъ. «Посмотри-ка, зоветъ она мать,—старики приносятъ малюткамъ пищу! Есть-ли на землѣ что-нибудь прекраснѣе такихъ двухъ ласточекъ!»

Развитіе двигается дальше. «Онъ»—среди друзей. Онъ держитъ горячую рѣчь. Онъ объявляетъ войну лжи и всему злому, онъ прославляетъ смерть за свободу... «Она»-же—среди цвѣтовъ. Она задумывается надъ вопросомъ, о чемъ мечтаетъ роза среди ночной тишины.

Въ «его» душѣ бушуетъ буря, но сквозь нее пробиваются звуки перваго любовнаго томленія, звуки еще неопредѣлившейся любви.

Въ «ней» тоже просыпается томленіе и любовь, но

вмѣстѣ съ ними и какой-то невольный страхъ... Она радуется встрѣчамъ съ «нимъ» и въ то-же время втайнѣ упрекаетъ его за то, что онъ лишилъ ее покоя души, что онъ толкнулъ ее въ таинственный міръ, который начинаетъ охватывать все ея существо.

«Онъ» горитъ любовью, онъ смѣло подходитъ къ ней, онъ поетъ ей чудную пѣснь любви. Невольный страхъ все сильнѣе и сильнѣе охватываетъ «ея» существо, но «онъ» несетъ съ собою что-то неотразимо сладкое, что неудержимо привлекаетъ къ себѣ.

Въ «его» душѣ затихла буря: одинъ взглядъ въ «ея» свѣтлыя очи,—и душу охватываетъ миръ. Онъ надѣваетъ ей на палецъ золотое кольцо, цѣлуетъ ее первымъ поцѣлуемъ,—и въ душѣ ея водворяется миръ. Ихъ чувства слились; воспрянуло прекрасное «цѣлое», слышится восторженный дуэтъ любви. «Ея» ужь больше нѣтъ: она вся исчезла въ «немъ».

Но вотъ она мать. На груди ея покоится ребенокъ—сынъ; въ этомъ новомъ существѣ она видитъ часть «его» и снова переживаетъ всю радость первыхъ дней любви.

«О, любимецъ моего сердца! шепчетъ она малюткѣ,—мое благословеніе надъ тобою! Будь только подобенъ твоему отцу,—остальное все явится само-собой». Вотъ и второй ребенокъ—дочь. Онъ видитъ въ ней часть своей жены, и любовь вспыхиваетъ въ немъ новымъ пламенемъ.

Да, они оба любятъ другъ друга, но «ей» кажется, что они любятъ разно. У «ней» нѣтъ ничего, кромѣ любви: ея жизнь и любовь слились въ одно нераздѣльное цѣлое; «онъ»-же отдаетъ любви только часть своей жизни, часть своего существа: другая часть принадлежитъ міру; кромѣ звуковъ любви, въ его душѣ гремятъ звуки борьбы за родину и свободу.

И онъ соглашается съ «нею», что въ любви пальма первенства принадлежитъ ей. «Любовь захватываетъ

жизнь женщины вполнѣ; она ея темница и царство небесное». «Она» и служитъ, и властвуетъ въ одно и то-же время. Стремленіе мужчины направлено во внѣшній міръ, и его созидательная дѣятельность стремится въ будущее.

Часъ ударилъ, долгъ отрываетъ его отъ семьи, зоветъ его на поле битвы.

Жена слабѣетъ. Обливаясь слезами, прощается она съ нимъ, чувствуя, что сіяніе ея звѣзды потухаетъ.

Онъ серьезенъ, но спокоенъ.

«Будь сильна, говоритъ онъ,—мы боремся за право и порядокъ! Я буду стоять тамъ, гдѣ я долженъ и могу, и разъ это нужно, я паду тамъ, гдѣ умираютъ благородные».

И онъ палъ «тамъ, гдѣ умираютъ благородные».

Она ведетъ дѣтей къ его гробу и велитъ сыну идти по стопамъ отца и умереть, разъ это будетъ нужно, безъ страха и ропота. «Закрылся ты, глазъ моей радости! восклицаетъ она,—И васъ, сладкія уста, ужь не разомкнетъ моя страстная любовь! Плачь, дочь моя, плачь. У меня нѣтъ слезъ».

Очень сходно съ этими «жизненными картинами» другое знаменитое произведеніе Шамиссо—«Любовь женщины» въ ея постепенномъ развитіи: любовь невѣсты, жены, матери и бабушки. На него написана прекрасная музыка Шумана.

Любовь между «нимъ» и «ею» несомнѣнно отражаетъ въ себѣ отношенія, существовавшія между самимъ поэтомъ и его женою. Онъ былъ счастливъ въ этой любви, но извѣстная неудовлетворенность все-же существовала, какъ это видно изъ нѣкоторыхъ его писемъ. Этой неудовлетворенности, вѣроятно, не было-бы, еслибы между нимъ и Антоніей Піастэ, помимо страстной любви, могла быть и серьезная дружба, подобная той, которая соединяла Шамиссо съ г-жею Сталь. Но, впрочемъ, достижимъ-ли этотъ идеалъ? Возможно-ли, чтобы въ одномъ лицѣ слились Антонія Піастэ и госпожа Сталь?

Во всякомъ случаѣ консервативная любовь Шамиссо здоровѣе и привлекательнѣе «свободной любви» декадентовъ.

VIII.

Лирическія произведенія Шамиссо, посвященныя любви, семьѣ, какъ мы уже сказали, наиболѣе популярны: на ихъ сюжеты написаны картины, они положены на музыку, ихъ заучиваютъ въ школахъ. Но намъ больше нравятся его эпическія стихотворенія и «повѣствовательныя терцины», въ которыхъ онъ смѣло и ярко выдѣляетъ величественное и трагическое жизни изъ повседневныхъ мелочей, изъ житейскаго сора.

Герои этихъ произведеній, по большей части, простые, несчастные и гонимые люди. Вотъ 76-ти-лѣтняя прачка. Всю жизнь въ потѣ лица зарабатывала она свой жесткій хлѣбъ и теперь съ спокойствіемъ въ душѣ сама приготовляетъ въ немногіе часы досуга себѣ рубашку на похороны, въ которой собирается явиться на судъ Божій. Вотъ нищій. Онъ собирается повѣсить свою вѣрную собаку, не имѣя возможности заплатить за нее требуемый налогъ; но онъ видитъ ея нѣжную ласку, видитъ, какъ она лижетъ руку своего невольнаго палача,—и со слезами на глазахъ срываетъ съ нея веревку и накидываетъ петлю на свою шею. Вотъ «дикіе индѣйцы», съ ихъ мощнымъ протестомъ противъ жестокихъ преслѣдованій со стороны культурныхъ европейцевъ.

И наряду съ этою горечью и слезами сколько примиряющихъ словъ, сколько искреннихъ и теплыхъ благословеній труду, свободной мысли и искусству! Замѣчательны въ этомъ отношеніи стансы «Замокъ Бонкуръ». Поэтъ, уже убѣленный сѣдинами, ѣдетъ во Францію и посѣщаетъ то мѣсто, гдѣ стоялъ родовой замокъ Шамиссо, Бонкуръ. Замка нѣтъ и слѣда; земля, гдѣ онъ когда-то стоялъ, вспахана, и по ней проходитъ съ плугомъ земледѣлецъ. Но память съ необычайною ясностью

сохранила въ сѣдой головѣ картины ранняго дѣтства, и поэтъ видитъ духовными очами и замокъ, и все пережитое въ немъ.

«Такъ стоишь ты, о замокъ моихъ отцовъ, вѣрно и твердо въ моей памяти, — но ты исчезъ съ лица земли. Будь плодоносна, о дорогая почва! Растроганный, я нѣжно благословляю тебя, и дважды я благословляю того, кто проходитъ по тебѣ съ плугомъ».

Глубокое уваженіе къ земледѣльческому и вообще физическому труду, какъ основѣ, на которой покоится всеобщее благосостояніе, видно и въ другихъ его стихотвореніяхъ,—напр. въ легендѣ объ «игрушкѣ великановъ», въ которой старикъ-великанъ разъясняетъ своей дочери, что «крестьянинъ не игрушка», что безъ крестьянина и у великановъ не было-бы хлѣба и что, наконецъ, «великаны выросли изъ мужицкой кости».

IX.

По своимъ политическимъ убѣжденіямъ Шамиссо и въ этотъ періодъ жизни остается, какъ онъ самъ выражался, честнымъ «вигомъ». Онъ стоитъ за прогрессъ, за свободу мысли и совѣсти, но онъ не революціонеръ и ждетъ повышенія общественнаго благополучія не отъ революціи, а отъ эволюціи. «Терпѣніе»—этотъ любимый девизъ своей личной жизни—онъ переноситъ и въ область политическую. Нельзя вырвать прогресса силою, нельзя добиться реформъ раньше времени, но горе и тѣмъ, которые думаютъ остановить «колесо времени» или даже повернуть его назадъ. Эти безумныя попытки, по мнѣнію Шамиссо, дѣлались послѣ 1815 года во всей Европѣ, за исключеніемъ Англіи. И этотъ взглядъ онъ прямо и рѣзко выражаетъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Его не подкупали милости и похвалы, которыя на него сыпались. «Германія признала меня своимъ поэтомъ, писалъ онъ де-ла Фуа,—и я обязанъ говорить ей правду въ лицо».

Только изрѣдка колебалась въ Шамиссо эта вѣра въ непрерывное движеніе впередъ, въ несокрушимую силу прогресса; такъ напримѣръ, въ 20-хъ годахъ, въ разгаръ европейской реакціи, онъ въ одномъ изъ писемъ къ де-ла-Фуа высказываетъ предположеніе, что «старая развратница Европа» идетъ къ гибели, но зато поднимается солнце Америки.

Активнаго участія въ политической жизни Шамиссо въ послѣдній періодъ своей жизни не принималъ, но политическія событія глубоко волновали его. Особенно сильно взволновала его іюльская революція, неизбѣжность которой онъ предсказывалъ и которую считалъ началомъ новой эры для Франціи и для Европы.

3-го августа 1830 года, когда въ Берлинъ залетѣло извѣстіе о бѣгствѣ Карла X, Шамиссо въ халатѣ и туфляхъ, безъ шапки, выбѣжалъ на улицу, прибѣжалъ къ Хитцигу и съ торжествующимъ крикомъ: «Здѣсь!» сунулъ тому газету.

Свое настроеніе и отношеніе къ этой революціи онъ передалъ въ рядѣ прекрасныхъ стихотвореній.

X.

Кромѣ оригинальныхъ произведеній, Шамиссо оставилъ рядъ переводовъ, которые показываютъ, между прочимъ, его громадныя лингвистическія знанія. Онъ переводилъ съ латинскаго, русскаго, датскаго, англійскаго, испанскаго, средненѣмецкаго, малайскаго, тонгайскаго (языкъ жителей острововъ Дружбы) и, наконецъ, съ своего родного французскаго. Съ французскаго онъ переводилъ, главнымъ образомъ, Беранже, своего любимаго поэта.

Какъ научныя, такъ и поэтическія произведенія Шамиссо къ концу его жизни нашли себѣ полное признаніе. Doctor honoris causa, членъ ученыхъ обществъ, членъ академіи наукъ, онъ въ то-же время является

любимымъ національнымъ поэтомъ. Принцы, ученые, писатели и простые смертные спѣшатъ выразить восторгъ передъ его поэтическимъ талантомъ.

Эти почести радовали его, но не испортили его скромной, простой натуры; до конца жизни, по словамъ хорошо знавшихъ его, онъ оставался милымъ, чистымъ ребенкомъ.

Его личная жизнь втеченіе 10—11 лѣтъ (съ 1820-го до 1831-го года) шла ровно и счастливо. Хорошо чувствовалъ онъ себя и дома съ женой и дѣтьми, и на службѣ среди цвѣтовъ и «сѣна», какъ онъ называлъ свои гербаріи. Дѣтьми, которыхъ у него было 7 человѣкъ, онъ очень интересовался и посвящалъ имъ довольно много времени, хотя и нашолъ нужнымъ съ раннихъ лѣтъ отдать сыновей въ гимназію. Онъ потомъ въ этомъ раскаивался.« Теперешнее поколѣніе учится только тому, что нужно для экзамена, пишетъ онъ де-ла-Фуа,—и затѣмъ выученное вѣшается на гвоздь».

Съ 1831-го года для Шамиссо начался снова тяжолый періодъ жизни: къ нему въ домъ вошла злая гостья-болѣзнь—и не оставляла его, пока не унесла въ могилу сначала жену Шамиссо, а затѣмъ и самого поэта.

Въ 1831 году, передъ началомъ холерной эпидеміи, въ Германіи появилась сильная инфлюэнца, которая захватила и Шамиссо. До этихъ поръ онъ пользовался богатырскимъ здоровьемъ, никогда не болѣлъ, но теперь послѣ инфлуенцы онъ до самой смерти, втеченіе 7 лѣтъ, ни одного дня не былъ здоровъ. У него развилась легочная болѣзнь съ мучительными припадками кашля. Въ то-же время началась болѣзнь и его жены. Послѣ долгихъ тяжкихъ страданій, она скончалась 21-го мая 1837 года.

Съ спокойствіемъ переносилъ Шамиссо свою болѣзнь, съ твердостью встрѣтилъ онъ жестокій ударъ судьбы, отнявшій у него любимую жену. «Вы уже, конечно, узнали, что̀ я потерялъ, писалъ Шамиссо Густаву Шва-

бу въ іюнѣ 1837 года;—я самъ съ терпѣніемъ ожидаю своего времени и съ терпѣніемъ несу свой крестъ, который мнѣ въ концѣ концовъ кажется и сноснымъ, и справедливымъ, и молюсь: Господи, да будетъ воля Твоя! Я достаточно пользовался счастьемъ, больше, чѣмъ многіе другіе, я признаю это съ благодарностью».

Его спасала отъ отчаянья усиленная умственная работа, которой онъ предавался въ самыя тяжелыя минуты жизни и которую не оставлялъ до послѣднихъ дней своей жизни. Его «гавайская грамматика» и переводъ пѣсенъ Беранже появились незадолго до его смерти.

Всего 15 мѣсяцевъ прожилъ онъ послѣ смерти жены. Онъ скончался утромъ 21 августа 1838 года. Онъ лежалъ въ гробу, и «на благородномъ лицѣ его, по словамъ Хитцига,—видна была печать небеснаго спокойствія; на пышныхъ серебряныхъ локонахъ покоился лавровый вѣнокъ, сплетенный рукою одной изъ почитательницъ его генія». Похороны, согласно завѣщанію покойнаго, были донельзя просты: только нѣсколько самыхъ близкихъ друзей шли раннимъ утромъ за гробомъ поэта.

Его похоронили на берлинскомъ кладбищѣ рядомъ съ женою. Обѣ могилы, согласно завѣщанію Шамиссо покрываетъ одна простая гранитная доска, на которой высѣчены лишь имена и дни рожденія и смерти обоихъ супруговъ. Никакихъ титуловъ, никакихъ изреченій. Эта простота какъ нельзя лучше идетъ памяти Шамиссо, который, по словамъ его друзей, «прошолъ всю жизнь ребенкомъ и ребенкомъ вышелъ изъ нея».

Владиміръ Поссе.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ ИСПАНІИ.

Обыкновенный средній русскій читатель изъ всей испанской литературы знаетъ одного «Донъ-Кихота», и эта книга съ давнихъ поръ стала у всѣхъ въ Россіи настольной книгой и національнымъ богатствомъ также, какъ и во всѣхъ вообще сколько-нибудь развитыхъ литературахъ.

Испанцы, въ свою очередь до недавняго времени нашихъ писателей не переводили и нами почти не интересовались. Вѣрили на слово молвѣ, что Россія—страна варварская, что въ ней вѣчные снѣга, по улицамъ ходятъ медвѣди, и т. п.

Но за послѣдніе годы, совсѣмъ-таки послѣдніе, русская литература стала завоевывать вниманіе себѣ даже въ Испаніи. Какъ и въ другихъ странахъ, такъ и здѣсь, во главѣ русскихъ писателей, прокладывающихъ пути для русской литературы къ иностранцамъ,—стоятъ Толстой и Тургеневъ, эти два замѣчательнѣйшіе русскіе мирные завоеватели.

Приведемъ нѣсколько свѣдѣній о распространеніи русской литературы въ Испаніи.

Въ Мадритѣ съ 1873 года издается ежемѣсячно обозрѣніе всѣхъ выходящихъ въ Испаніи книгъ подъ заглавіемъ: «Boletin de la libreria, obras antiguas y modernas»,—это изданіе вполнѣ сходное съ французской «Bibliografie de la France» или русскимъ Межовскимъ каталогомъ книжнаго магазина Глазунова,—съ тѣмъ различіемъ только, что Межовскій каталогъ издается не правильно ежемѣсячно, а когда издателю вздумается.

Просмотрѣвши этотъ «Boletin» за всѣ годы начиная съ 1873 г., вы только подъ августомъ 1877 года увидите первую книгу, переведенную съ русскаго. Это сборникъ разсказовъ Пушкина—A. Pouschkine «Un tirc. El constructor de atandes. La nevada». (Выстрѣлъ, Гробовщикъ, Мятель). Въ маѣ 1879 года отмѣченъ другой переводъ съ русскаго, и тоже изъ сочиненій Пушкина: «La hija del capiton. Novela rusa de Alejandro Pouschkine Traducida por V. S. C.» («Капитанская дочка»). Слѣдующій по времени переводъ съ русскаго появился лишь въ 1886 году.

Испанская литература, какъ извѣстно, не изъ богатыхъ. Главная ея сила—политическая литература, разработывающая вопросы текущей общественной жизни. Въ области беллетристики испанцы мало даютъ такого, чѣмъ-бы интересовались за предѣлами Испаніи.

Нельзя сказать, чтобы и переводный отдѣлъ иностранныхъ сочиненій въ испанской литературѣ стоялъ хорошо. Иностранныхъ писателей въ Испаніи переводятъ обыкновенно съ значительнымъ «опозданіемъ». Если по отношенію къ русской литературѣ это «опозданіе» испанцевъ измѣряется 20, 30 и болѣе годами,—то и по отношенію къ другимъ литературамъ испанцы мало спѣшатъ. Полныхъ собраній, наиболѣе знаменитыхъ иностранныхъ авторовъ, тщательно изданныхъ,—какія можно найти въ русской литературѣ,—въ Испаніи почти не существуетъ. Отдѣльныя-же переводныя сочиненія, главнымъ образомъ съ французскаго языка, появляются какъ-бы случайно. Лишь такіе авторы, какъ Золя, Доде, пользуются въ Испаніи большимъ успѣхомъ, — за ихъ литературной дѣятельностью слѣдятъ и все новое сейчасъ-же переводится.

Около 1886 года въ настроеніи испанской читающей и пишущей публики произошолъ значительный переломъ по отношенію къ русской литературѣ. Русской литературой стали замѣтно интересоваться Объ ней стали появляться сочувственныя статьи, стали чаще и переводы съ русскаго. Очевидно, въ испанской литературѣ, находящейся подъ постояннымъ вліяніемъ французской, усиленный интересъ ко всему русскому былъ отраженіемъ того настроенія, которое незадолго передъ тѣмъ охватило Францію.

Въ февралѣ и мартѣ 1886 года появилась въ Мадритѣ

въ двухъ томахъ съ иллюстраціями «Анна Каренина» Л. Толстого (Ana Karénisse, novela rusa por el conde Leòn Tolstoï, traduccion de Enrique L. de Verneuil). Въ іюнѣ 1889 года 36-й выпускъ: «Biblioteca selecta» (избранная библіотека) заключалъ въ себѣ произведенія Толстого «Paginos rusas por el conde Leon Tolstoï (La muerte de un magistado.—Consecuencias.—La Envidia.—Un juez habil). Въ апрѣлѣ 1890 года появился романъ Толстого: «Война и миръ» (La guerra y la paz).

Съ начала 1890 года въ Мадритѣ стала издаваться любопытная серія лучшихъ переводныхъ сочиненій съ иностранныхъ языковъ «Coleccion de libros escogidos à tres pesetas tomo» Въ настоящее время появилось уже болѣе 130 выпусковъ этой библіотеки.

Любопытенъ ея составъ. Изъ 126 книжекъ, заглавія которыхъ имѣются въ каталогѣ, *двадцать-четыре* принадлежатъ перу Л. Н. Толстого, *восемь* — Тургеневу, *два*—Достоевскому, *одно*—князю Кропоткину, *двѣнадцать* — Золя, *семь*—Додэ, *тринадцать*—Тэну, *пять*—Бальзаку, *пять*—Гонкуру, *три*—Ренану, *три*—Ибсену, *три* — Ломброзо; далѣе идутъ имена Гейне, Милля, С.-Бева, Коппе, Каро и пр. Итакъ произведеніямъ русской литературы посвящена почти треть всѣхъ выпусковъ.

«Крейцерова соната» появилась на испанскомъ языкѣ въ нѣсколькихъ переводахъ и притомъ раньше, чѣмъ ее прочитали русскіе читатели.

Многіе изъ выпусковъ этой библіотеки (напримѣръ, «Записки изъ Мертваго дома» Достоевскаго или «Дымъ» Тургенева) снабжены критико-біографическими примѣчаніями Эмиліи Пардо-Басанъ.

Но этимъ и переводами, которые появляются въ испанской литературѣ отдѣльными изданіями, дѣло не ограничивается. Несравненно большее количество русскихъ переводныхъ произведеній появляется въ газетахъ и журналахъ.

Укажу на одинъ журналъ, усердно занятый ознакомленіемъ испанскихъ читателей съ русской литературой. Въ Мадридѣ съ 1889 года началъ появляться ежемѣсячный журналъ «La Espana Moderna», подъ редакціей S.-Lazaro. Этотъ журналъ одинъ изъ наиболѣе распространенныхъ въ Испаніи. На страницахъ этого журнала знаменитый испанскій республиканскій дѣятель Emilio Castelar пишетъ свои ежемѣсячныя обозрѣнія иностран-

ныхъ событій. Съ его статьями считаются не въ одной Испаніи, а далеко за ея предѣлами, и вообще это журналъ нетолько особенно распространенный, но и особенно *читаемый*.

Любопытно перечисленіе въ редакціонномъ заявленіи сотрудниковъ, участвующихъ въ журналѣ. Послѣ списка разныхъ испанскихъ знаменитостей, слѣдуютъ иностранцы: Бурже, Канту, Коппэ, Шербюлье, Додэ, Достоевскій, Гладстонъ, Гонкуръ, Ришпенъ, Толстой, Тургеневъ и Золя.

Въ самомъ журналѣ «La Espana Moderna» отведено такое-же почетное мѣсто русскимъ писателямъ, какъ и въ приведенномъ его редакціонномъ заявленіи.

Возьмемъ, напримѣръ, «La Espana Moderna» за 1893 г. Въ январьской книжкѣ мы встрѣчаемъ статью Mateo Arnold «El conde Leon Tolstoy» («Графъ Левъ Толстой»), разсказы: Тургенева «Annuchka» и Толстого «El conto del cisne», въ февральской — «Historia de un caballo» («Холстомѣръ»), Толстого, въ апрѣльской — его-же «De donde vienne el mal», въ майской — тургеневская «Primer amor» («Первая любовь»), въ іюльской — «Aguas primaverales» Тургенева («Вешнія воды»), въ сентябрьской — «Demetro Rudin» Тургенева, въ ноябрьской — Толстого «Recuerdos de mi infancia» («Дѣтство»), въ декабрьской — окончаніе толстовскаго «Дѣтства» и «Los generales y el Mugik» («О томъ, какъ мужикъ накормилъ генераловъ»), por Chchedrine (Щедрина).

По количеству мѣста, отводимому журналомъ «La Espana Moderna» русской литературѣ съ ней можетъ соперничать лишь французская, вліяніе которой началось въ Испаніи не вчера, какъ вліяніе русской литературы, а имѣетъ глубокіе корни въ прошломъ.

Это завоеваніе русской литературой сдѣлано почти исключительно за послѣднее десятилѣтіе, и этимъ мы обязаны главнымъ образомъ Тургеневу и Толстому. Тѣмъ не менѣе знакомство съ русской литературой и въ настоящее время нигдѣ такъ мало не развито, какъ въ Испаніи.

У насъ до сихъ поръ не существуетъ нетолько общаго обзора всего, что было переведено съ русскаго на иностранные языки и что написано на иностранныхъ языкахъ объ Россіи, но и по отдѣльнымъ литературамъ сдѣлано въ этомъ отношеніи очень немногое,—мнѣ из-

вѣстны только нѣкоторые обзоры подобнаго рода въ англійской литературѣ.

Въ 1873 году публичной петербургской библіотекой былъ выпущенъ толстый томъ обзора всѣхъ переводовъ съ русскаго и сочиненій объ Россіи на иностранныхъ языкахъ (Rossica), но эта книга въ настоящее время страшно устарѣла, да и въ свое время была очень неполной. За время послѣ 1873 года накопилось новыхъ матеріаловъ для «Rossica» очень много и съ каждымъ годомъ матеріалы увеличиваются и увеличиваются. Если кѣмъ-нибудь было-бы предпринято теперь новое изданіе полнаго указателя для Rossica, — то это вышелъ-бы огромный и любопытный трудъ.

Если прежде можно было скептически относиться къ достоинству переводовъ съ русскаго, то теперь слѣдуетъ замѣтить, большинство ихъ дѣлаются тщательно, съ основательнымъ знаніемъ русскаго языка и русской литературы, сообщая знаніе русской литературы и русской жизни читателю, совершенно незнакомому съ русскимъ языкомъ и очень далекому отъ Россіи и всего русскаго.

ИЗЪ РУССКИХЪ ИЗДАНІЙ.

Статья Л. Н. Толстого о религіи и нравственности. — Три типа религіи и морали. — Статья Вл. С. Соловьева о національности и космополитизмѣ. — Какъ помирить патріотизмъ съ нравственностью. — Романъ г. Мережковскаго изъ эпохи IV вѣка — Философъ о божествѣ и природѣ. — Встрѣча русскаго ученаго со Спенсеромъ и Марксомъ. — Интеллигентные колонисты.

Одно изъ заграничныхъ обществъ, интересующихся нравственными вопросами, предложило Л. Н. Толстому отвѣтить: что онъ понимаетъ подъ словомъ религія и считаетъ-ли возможной нравственность безъ религіи. Въ отвѣтъ на эти вопросы Л. Н. написалъ статью, которая долго ходила по рукамъ и наконецъ появилась въ январьской книжкѣ «Сѣвернаго Вѣстника».

Въ началѣ статьи Толстой опровергаетъ ходячее мнѣ-

ніе просвѣщенныхъ людей, будто религія есть продуктъ суевѣрнаго страха предъ непонятными явленіями природы. Этотъ взглядъ особенно утвердился благодаря «легкомысленному и поверхностному ученію Огюста Конта», установившаго, что человѣчество послѣдовательно переживаетъ три фазы развитія: религіозную, метафизическую и научную. По Толстому, религіозное чувство всегда вызывается не внѣшними страшными явленіями, а «внутреннимъ сознаніемъ своего ничтожества, одиночества и своей грѣховности». Поэтому религія не можетъ уничтожиться никакимъ развитіемъ просвѣщенія. «Всякій человѣкъ, проснувшись къ разумному сознанію, не можетъ не замѣтить того, что все вокругъ него живетъ, возобновляясь, не умирая (?) и неуклонно подчиняясь одному опредѣленному, вѣчному закону, а что онъ только одинъ (?), сознавая себя отдѣльнымъ отъ всего міра существомъ, приговоренъ къ смерти... и къ мучительному сознанію отвѣтственности въ своихъ поступкахъ». Сущность всякой религіи—въ отвѣтѣ на вопросъ: зачѣмъ я живу и какое мое отношеніе къ безконечному міру. Отношеній къ міру, по Толстому, только три: 1) первобытное личное, когда цѣль жизни полагается въ личномъ благѣ, 2) языческое общественное, въ которомъ личность живетъ для блага общества (семьи, рода, государства) и 3) христіанское или божеское, состоящее «въ служеніи Пославшему человѣка въ міръ». Всѣ религіи подходятъ подъ одно изъ этихъ опредѣленій. Л. Н. Толстой думаетъ, что человѣчество вступаетъ теперь въ послѣдній, истинно-христіанскій періодъ, въ которомъ смыслъ жизни считается служеніемъ волѣ Бога. Зачатки этой религіи онъ видитъ у пиѳагорейцевъ, есеевъ, египтянъ, персовъ, у браминовъ и буддистовъ. Каждый человѣкъ несомнѣнно исповѣдуетъ одну изъ трехъ названныхъ религій; «человѣкъ безъ религіи невозможенъ, какъ человѣкъ безъ сердца». Далѣе Толстой говоритъ, что не наука опредѣляетъ отношеніе человѣка къ міру, а религія, и что сама наука требуетъ религіознаго пониманія жизни, какъ отправной точки для своей работы. «Философія пессимизма, хотѣвшая освободиться

отъ еврейскаго религіознаго міросозерцанія, невольно подпала религіознымъ основамъ буддизма. Каждая религія отбираетъ кругъ предметовъ, подлежащихъ изученію, и потому наука каждой эпохи носитъ на себѣ характеръ современной ей религіи. Такъ теперешняя наука (по Толстому—языческая, возстановленная во времена Возрожденія и теперь процвѣтающая) занимается условіями наибольшаго личнаго блага. Браминская и буддійская наука всегда занималась избавленіемъ человѣка отъ страданій. Еврейская (талмудъ) занималась условіями соблюденія договора израильскаго народа съ Богомъ. Истинно-христіанская наука изслѣдуетъ условія познаванія высшей воли и приложенія ихъ къ жизни. Здѣсь самое темное мѣсто статьи Л. Н. Толстого. Съ одной стороны утверждается, что высшая воля неизвѣстна, что ее нужно «познать всѣми силами», а съ другой, что для религіознаго пониманія не нужно подготовленія и изученія: «оно дано всякому, хотя-бы самому ограниченному и невѣжественному человѣку». Обиліе знанія, загромождая сознаніе, даже препятствуетъ истинному пониманію смысла жизни, для котораго нужны «только хотя временное отреченіе отъ суеты міра, сознаніе своего матеріальнаго ничтожества и правдивость». Сущность этого ненаучнаго и нефилософскаго способа познанія есть *откровеніе*, т.-е. воспринятіе «проявленія безконечнаго разума, постепенно открывающаго себя людямъ». Условія, благопріятствующія познанію «восходящей истины» — «не какія-либо активныя качества ума, а напротивъ, рѣдко совпадающія съ большимъ и любопытнымъ умомъ пассивныя свойства сердца: отреченіе отъ суеты міра, сознаніе своего матеріальнаго ничтожества, правдивость, какъ это мы и видимъ на всѣхъ основателяхъ религіи, никогда не отличавшихся ни философскими, ни научными знаніями». Не христіанство отстало отъ науки, а современная наука на 1800 лѣтъ отстала отъ христіанства. Итакъ, религія есть извѣстное отношеніе человѣка къ Богу (или къ міру: по Толстому эти понятія однозначущи,—Богъ есть начало, первопричина вѣчнаго и безконечнаго міра); нравствен-

ность-же есть указаніе и разъясненіе той дѣятельности человѣка, которая сама собой вытекаетъ изъ его отношенія къ міру. Такъ-какъ отношеній къ міру три, то и формъ нравственности три: двѣ языческія и одна христіанская. Въ религіяхъ, гдѣ смыслъ жизни—личное благо человѣка (ходячее эпикурейство, магометанство, утилитаризмъ), нравственность эгоистична; такова-же она и въ тѣхъ религіяхъ, гдѣ цѣль жизни—благо общества. Только въ ученіяхъ, гдѣ смысломъ жизни ставится служеніе Богу, нравственность достигаетъ высшаго развитія,—таковы ученія пиѳагорейское, стоическое, буддійское, браминское, отчасти таосійское и истинно-христіанское. Эта нравственность требуетъ отреченія отъ личной воли и отъ блага нетолько личнаго, но семейнаго и общественнаго во имя исполненія открытой намъ въ нашемъ сознаніи воли Того, Кто послалъ насъ въ жизнь. Воля-же эта въ томъ, чтобы человѣкъ отдавалъ жизнь для служенія людямъ. Въ чемъ должно состоять «служеніе людямъ» — Л. Н. въ настоящей статьѣ не указываетъ. Далѣе онъ упоминаетъ объ ученіи Ницше и полемизируетъ со статьею Гексли объ эволюціи и этикѣ. Гексли отстаиваетъ космическій законъ борьбы за существованіе, какъ источникъ эволюціи и переживанія способнѣйшихъ. Только благодаря этому закону человѣкъ сдѣлался тѣмъ, что онъ есть. Но въ современномъ обществѣ есть другой прогрессъ — соціальный, который стремится задержать космическій и подставить подъ него другой процессъ — этическій, цѣль котораго есть уже переживаніе не *способнѣйшаго*, а лучшаго въ нравственномъ смыслѣ. Толстой не согласенъ съ этимъ и доказываетъ, что ни самоотверженіе, ни любовь не могутъ вытекать изъ соціальнаго прогресса, а вытекаютъ изъ религіи, которую люди всегда имѣли и имѣютъ. «Попытки основать нравственность помимо религіи подобны тому, что дѣлаютъ дѣти, которыя, желая пересадить нравящееся имъ растеніе, отрываютъ отъ него ненравящійся имъ и кажущійся имъ лишнимъ корень и безъ корня втыкаютъ въ землю».

Одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ нравственности затронутъ въ статьѣ Вл. С. Соловьева: «Народность съ нравственной точки зрѣнія», въ «Вѣстникѣ Европы». Существуютъ два направленія: націоналистическое и космополитическое. Первое обязываетъ любить только свой народъ, а съ чужими—въ случаѣ столкновенія—бороться. Космополиты не признаютъ обязанностей человѣка къ данному народу, а только къ отдѣльнымъ людямъ. Г. Соловьевъ пытается стать на третью точку зрѣнія и совмѣстить любовь и обязанности къ своему народу съ нравственнымъ отношеніемъ къ сосѣдямъ. Патріотизмъ хорошее чувство,—но пока онъ не требуетъ отъ человѣка безнравственныхъ поступковъ, подобно тому какъ любовь къ отдѣльному человѣку не даетъ права служить ему безнравственными путями. Изъ этой мысли слѣдуетъ выводъ, что войны и мирное хищничество однихъ народовъ въ отношеніи другихъ — безнравственны. Но истинная національность, т.-е. обособленіе себя среди другихъ народовъ, возможна внѣ войнъ и политической борьбы: это—самобытное развитіе въ области духовной культуры. Г. Соловьевъ, для доказательства этой мысли, дѣлаетъ рядъ историческихъ справокъ, впрочемъ, не всегда убѣдительныхъ. Политическое обособленіе, говоритъ онъ, не есть фактъ всеобщій; неговоря о дикаряхъ и варварахъ, не собирающихся въ націи, даже въ древнемъ культурномъ мірѣ мы не встрѣчаемъ національнаго обособленія, — таковы города Финикіи, Греціи, Италіи: древнія монархіи — группы болѣе обширныя, нежели націи — это «грубыя предваренія всечеловѣческаго союза». Греки только на одинъ моментъ—при персидскомъ нашествіи—почувствовали себя одною націей, но этотъ моментъ быстро прошолъ. Греческая народность не успѣла сложиться въ политическое цѣлое, но подпавъ чужой власти, сдѣлалась объединительницей тогдашняго міра. Отъ узкаго, мѣстнаго патріотизма греки прямо перешли къ универсально-культурному самосознанію. Вся римская исторія—непрерывный переходъ отъ политики города къ политикѣ всемірной монархіи—ab urbe ad orbem, безъ всякой

остановки на моментѣ чисто національномъ. Въ то время какъ Александры и Цезари уничтожали шаткія національныя границы, космополитизмъ вырабатывался какъ философскій принципъ — циниками и стоиками. Они проповѣдывали верховенство разума единой сущности всего существующаго и ничтожность всѣхъ искусственныхъ и историческихъ границъ. Эту идею будто-бы поддержала и римская юриспруденція. Только у евреевъ было крѣпкое національное сознаніе, но уже у пророковъ народный идеалъ освободился отъ всего узко-національнаго: Мессія долженъ былъ собрать вокругъ себя всѣ народы. «Было-бы, однако, явною ошибкой, прибавляетъ г. Соловьевъ, связывать съ христіанствомъ принципъ космополитизма. Проповѣдывать безнародность апостоламъ не было никакого повода: политическая борьба между народами была уничтожена римскимъ завоеваніемъ («pax Romana»). Отъ *общечеловѣка* философовъ и юристовъ христіанское сознаніе приводитъ къ *всечеловѣку*, упраздняя международную вражду и не отрицая народности. Какъ въ организмѣ различіе органовъ нетолько не требуетъ вражды между ними, но служитъ условіемъ ихъ единенія и сотрудничества, такъ въ общечеловѣческой семьѣ различіе національностей должно вести къ общему всѣхъ ихъ союзу и благу. Въ словахъ Христа: «Идите прежде къ овцамъ потеряннымъ дома Израилева» и «Шедше научите всѣ народы» видны какъ привязанность къ своему народу, такъ и нравственныя обязанности въ отношеніи другихъ племенъ. Прежде чѣмъ осуществить въ себѣ идеалъ всечеловѣчества, націи должны были сами сложиться и опредѣлиться въ своей самобытности. Этотъ процессъ идетъ и мѣстами закончился. Италія временъ Возрожденія, лишонная политическаго единства, проявила высокую самобытность въ сферѣ искусствъ и науки и съумѣла стать во главѣ прогресса. Творцы истиннаго величія Италіи были настоящими патріотами, но умѣли осуществлять достоинство своей страны нравственными средствами: ихъ творенія хороши не тѣмъ, что прославляли Италію, а тѣмъ прославили ее, что были хороши *для всѣхъ*. Тѣми-же

заслугами *общимъ* интересамъ человѣчества (борьба съ мусульманствомъ и открытіе Новаго свѣта) опредѣлилась и испанская національность, и англійская, и французская, и германская въ ихъ заслугахъ цивилизаціи. Такимъ образомъ истинный патріотизмъ бываетъ тогда, когда данный народъ свое благо видитъ въ благѣ всеобщемъ.

Прекрасная основная мысль В. С. Соловьева, къ сожалѣнію, обставлена спорными доказательствами.

Въ «Сѣв. Вѣстникѣ» напечатано начало историческаго романа Д. С. Мережковскаго: «Отверженный», центральнымъ лицомъ котораго является Юліанъ Отступникъ. Молодой поэтъ-символистъ очень удачно дебютируетъ въ прозѣ: романъ обѣщаетъ быть выдающимся по интересу. Г. Мережковскій потратилъ нѣсколько лѣтъ на изученіе исторіи эпохи и путешествіе по Востоку, прежде чѣмъ взяться за этотъ трудъ. Романъ изобилуетъ картинами римской жизни IV вѣка; передъ вами развертывается художественная картина того времени, когда язычество перерождалось въ христіанство и обѣ религіи боролись одинаковымъ оружіемъ. Въ началѣ романа описывается юность Юліана и вліянія, опредѣлившія его судьбу. Искавшій эллинской мудрости, девятнадцатилѣтній Юліанъ отправился, между прочимъ, къ знаменитому теургу и софисту Ямвлику изъ Халкиды, ученику Порфирія неоплатоника. «У Ямвлика были странные, зеленые глаза, которые еще болѣе рѣзко выдѣлялись на потемнѣвшей, сморщенной кожѣ лица. Такого зеленоватаго цвѣта бываетъ иногда вечернее небо между темными тучами, передъ грозой. Юліану казалось, что въ этихъ глазахъ, какъ-будто нечеловѣческихъ, но еще менѣе божественныхъ, сверкаетъ та сокровенная, высшая, змѣиная мудрость, о которой Ямвликъ ни слова не говорилъ ученикамъ. Но вдругъ усталымъ тихимъ голосомъ божественный спрашивалъ, почему не готова ячменная каша или припарки, жаловался на подагру,—и обаяніе исчезало. Однажды онъ гулялъ съ Юліаномъ

за городомъ на берегу моря. Былъ нѣжный и грустный вечеръ... Заходящее солнце скрылось въ облака и позлащало ихъ громаду. — Знаю, говорилъ Ямвликъ,—отчего тебѣ грустно. Ты ищешь и не находишь. Ты не имѣешь силы сказать: «Онъ есть» и ты не смѣешь сказать: «Его нѣтъ». — Какъ ты угадалъ, учитель? — «Бѣдный мальчикъ! Вотъ уже пятьдесятъ лѣтъ какъ я страдаю тойже болѣзнью. И буду страдать до смерти. Развѣ я больше зналъ Его, чѣмъ ты? Развѣ я нашолъ? Это — вѣчныя муки дѣторожденія. Передъ ними всѣ остальныя муки—ничто. Люди думаютъ, что страдаютъ отъ голода, отъ жажды, отъ боли, отъ бѣдности: на самомъ дѣлѣ они страдаютъ только отъ мысли, что, можетъ быть, Его нѣтъ. Это—единственная скорбь міра. Кто дерзнетъ сказать: «Его нѣтъ», и какую надо имѣть нечеловѣческую силу, чтобы сказать: «Онъ есть». — Учитель! Сжалься! молилъ Юліанъ:—Открой все... Зачѣмъ жизнь? Зачѣмъ эта вѣчная смѣна рожденія и смерти? Зачѣмъ страданіе? Зачѣмъ зло? Зачѣмъ тѣло? Зачѣмъ сомнѣнія? Зачѣмъ тоска по невозможному?..

На это Ямвликъ отвѣтилъ: — Вотъ гдѣ тайна, сынъ мой. Зла нѣтъ, тѣла нѣтъ, міра нѣтъ, если есть Онъ. Или Онъ, или міръ. Намъ кажется, что есть зло, что есть тѣло, что есть міръ. Это—призракъ, обманъ жизни. Помни: у всѣхъ — одна душа, у всѣхъ людей и даже безсловесныхъ тварей... Природа—нѣмая. Спитъ и старается вспомнить Бога во снѣ, сквозь сонъ, но не можетъ, отягощенная матеріей. Она созерцаетъ Его смутно и дремотно. Всѣ міры, всѣ звѣзды, и море, и земля, и животныя, и растенія, и люди—все это сны природы о Богѣ. То, что она созерцаетъ, — рождается и умираетъ. Она создаетъ однимъ созерцаніемъ, какъ бываетъ во снѣ; вотъ почему такъ прекрасны и вольны ея созданія, такъ безцѣльны и божественны. Игра сновидѣній природы подобна игрѣ облаковъ. Безъ начала, безъ конца. Кромѣ созерцанія, въ мірѣ нѣтъ ничего. Чѣмъ оно глубже, тѣмъ оно тише. Воля, борьба, дѣйствіе—только ослабленное, недоконченное или помраченное созерцаніе Бога. Душа человѣческая — это природа, открывшая сонныя вѣжды,

проснувшаяся и готовая увидѣть Бога—уже не во снѣ, а въ явѣ, лицомъ къ лицу...

Чему уподоблю міръ, всѣ эти солнца и звѣзды? Я уподоблю ихъ сѣти, закинутой рыбаками въ море. Богъ объемлетъ вселенную, какъ вода объемлетъ сѣть. Сѣть движется, но не можетъ остановить воду. И міръ хочетъ и не можетъ уловить Бога. Сѣть движется, но Богъ спокоенъ, какъ безпредѣльный океанъ, въ который закинута сѣть. Еслибы міръ не двигался, Богъ не создавалъ-бы ничего, не вышелъ-бы изъ покоя, ибо зачѣмъ и куда ему стремиться?.. Тамъ, въ царствѣ вѣчныхъ Матерей, въ лонѣ Міровой Души, таятся сѣмена, Идеи—Формы всего, что есть и было и будетъ, таится Логосъ, зародышъ и кузнечика, и былинки, и рядомъ олимпійскаго Бога. О Богѣ ничего нельзя утверждать, ничего,—ни бытія, ни сущности, ни жизни, потому-что Онъ—выше всякаго бытія, выше всякой сущности, выше всякой жизни. Вотъ почему я сказалъ, что Онъ—отрицаніе міра, отрицаніе твоей мысли. Отрекись отъ сущаго, отъ всего, что есть, и тамъ, въ безднѣ безднъ, въ глубинѣ несказаннаго мрака, подобнаго свѣту, ты найдешь Его. Отдай Ему и друзей, и родныхъ, и небо, и землю, и себя самого, и свой разумъ. Тогда ты уже не увидишь свѣта, ты самъ будешь—свѣтъ. Ты не скажешь: Онъ и Я; ты почувствуешь, что Онъ и Ты — одно, и душа твоя посмѣется надъ собственнымъ тѣломъ, какъ надъ призракомъ. Тогда—молчаніе, тогда не будетъ больше словъ. И если міръ въ это мгновеніе рушится, ты будешь радъ, потому-что зачѣмъ тебѣ міръ, когда ты останешься съ Нимъ? Душа твоя не будетъ желать, потому-что Онъ не желаетъ, она не будетъ жить, потому-что Онъ—выше жизни, она не будетъ мыслить, потому-что Онъ—выше мысли. Мысль есть исканіе свѣта, а Онъ не ищетъ свѣта, потому что самъ Онъ — Свѣтъ. Онъ проникаетъ всю душу и претворяетъ ее въ Себя. И тогда, безстрастная и одинокая, она покоится выше разума, выше добродѣтели, выше царства идей, выше красоты, въ безднѣ, въ лонѣ Отца Свѣтовъ. Душа становится Богомъ, или, лучше сказать, только вспоминаетъ, что во вѣки

вѣковъ она была и есть и будетъ Богомъ... Такова, сынъ мой, жизнь олимпійцевъ, такова и жизнь людей богоподобныхъ и мудрыхъ»...

Г. Мережковскій, какъ видно, внимательно изучилъ нетолько бытовую сторону четвертаго вѣка, но и философское настроеніе того времени.

Со временъ Кантемира выдающіеся представители русской литературы и науки, заѣхавъ заграницу, считаютъ долгомъ посѣтить иностранныя знаменитости. Обычай этотъ поддерживается и теперь. Въ «Русск. Мысли» г. Максимъ Ковалевскій разсказываетъ о своихъ встрѣчахъ съ разными европейскими учеными, между прочимъ, со Спенсеромъ. «Съ послѣднимъ, говоритъ г. Ковалевскій, мнѣ пришлось познакомиться по слѣдующему случаю: Гаррисонъ предложилъ меня во временные члены Атенея, извѣстнаго литературнаго клуба въ Лондонѣ. Предложеніе было поддержано Спенсеромъ, однимъ изъ старшинъ этого клуба, и мнѣ пришлось благодарить за эту поддержку. Изъ нашего перваго и чуть ли не единственнаго разговора остались мнѣ памятны два заявленія моего собесѣдника. На мой вопросъ, что заставило его пойти въ старшины, онъ отвѣтилъ съ полною серьезностью: желаніе познакомиться съ правительствомъ на практикѣ. Гаррисонъ, которому я передалъ этотъ отвѣтъ, шутя сказалъ мнѣ, что въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, такъ-какъ Спенсеръ рѣшается даже жить въ пансіонѣ (Boarding-house) изъ желанія узнать на опытѣ выгоды и невыгоды общественности. Столь-же категорично Спенсеръ объявилъ мнѣ, что война немыслима между цивилизованными націями, и переходя къ націямъ нецивилизованнымъ, выразилъ удивленіе по поводу своей популярности въ Россіи. Я помню, что въ эту минуту его заявленіе задѣло во мнѣ національное самолюбіе, но, хладнокровно взвѣшивая теперь сказанное имъ, я думаю, что онъ былъ правъ. Мысль его сводилась къ тому, что въ обществѣ, въ которомъ слишкомъ много элементовъ для развитія критической мысли, метафизика должна быть всесильна; трудно ожи-

дать отъ него ровнаго, объективнаго отношенія къ фактамъ дѣйствительности. Современный поворотъ русской молодежи въ сторону нетолько метафизическихъ, но даже богословскихъ системъ вполнѣ оправдалъ сказанное мнѣ Спенсеромъ. Будемъ надѣяться, что въ равной мѣрѣ сбудется и другое, болѣе утѣшительное его пророчество».

Иностранныя знаменитости страдаютъ часто крайнею исключительностью. Они не признаютъ и не хотятъ знать тѣхъ, чьи сочиненія и труды имъ принципіально не нравятся. Напримѣръ, Спенсеръ, разсказываетъ г. Ковалевскій, получивши отъ знаменитаго Карла Маркса первый томъ его «Капитала», счелъ нужнымъ передать черезъ общихъ знакомыхъ, что незнаніе нѣмецкаго языка ставитъ его въ невозможность прочесть книгу,—хотя онъ и могъ прочесть «Капиталъ» по-французски, еслибы хотѣлъ.

Авторъ «Капитала», по словамъ г. Ковалевскаго, производилъ вначалѣ непріятное впечатлѣніе. «Онъ принялъ меня, описываетъ г. Ковалевскій, въ своемъ извѣстномъ салонѣ, украшенномъ бюстомъ Зевса олимпійскаго. Его нахмуренныя брови и, какъ показалось мнѣ съ перваго разу, суровый взглядъ невольно вызывали въ умѣ сравненіе съ этимъ бюстомъ, особенно въ виду чрезмѣрнаго развитія лба и падавшихъ назадъ обильныхъ вьющихся и уже сѣдыхъ волосъ. Кажется, въ этотъ-же день онъ объявилъ мнѣ, что проживающіе заграницей русскіе, за немногими исключеніями, всѣ агенты панславизма, что такимъ-же панславистическимъ агентомъ былъ и Герценъ, знакомства съ которымъ онъ поэтому избѣгалъ, что Бакунинъ, котораго онъ, можно сказать, ввелъ въ кругъ соціалистической агитаціи, отплатилъ ему черною неблагодарностью, устроивши такъ-называемую «Alliance», что и было первымъ толчкомъ къ распаденію «Интернаціонала». Вышелъ я, помню, отъ Маркса какъ ошпаренный, съ рѣшимостью никогда не возвращаться къ нему болѣе. Но вскорѣ мнѣ суждено было встрѣтиться съ нимъ на водахъ въ Карлсбадѣ. Здѣсь, за неимѣніемъ другого общества, онъ тѣсно сбли-

зился со мною. Мы дѣлали совмѣстно наши утреннія и вечернія прогулки и совмѣстно нарушали діэту за бутылкой рюдесгейма, къ которому онъ чувствовалъ особую нѣжность. Внѣ своего обычнаго антуража, этотъ великій человѣкъ становился простымъ и даже благодушнымъ собесѣдникомъ, неистощимымъ въ разсказахъ, полнымъ юмора, готовымъ подшутить надъ самимъ собою. Помню я его разсказъ о томъ, какъ, оставшись однажды безъ денегъ, онъ понесъ въ парижскій ломбардъ серебряную посуду своей жены. Жена его, урожденная фонъ-Вестфаль, со стороны матери была въ родствѣ съ герцогами Аргайль. На посудѣ имѣлся поэтому дворянскій гербъ. Это сопоставленіе дворянскихъ претензій съ рѣзко выраженными чертами еврейскаго типа повело къ тому, что Марксъ былъ задержанъ, и женѣ пришлось доказывать принадлежность ей посуды и добиваться освобожденія мужа. Марксъ, между прочимъ, научился русскому языку и внимательно слѣдилъ за нашею экономическою литературою. Онъ собирался дать въ ближайшихъ своихъ томахъ особенное развитіе русскому и американскому матеріалу, но это не мѣшало ему читать и много посторонняго своей темѣ, снабжая всегда прочитанное своими замѣтками. Вотъ почему послѣ его смерти Энгельсъ показывалъ мнѣ тетради, наполненныя выдержками, между прочимъ, изъ нѣсколькихъ трудовъ русскихъ ученыхъ».

С. Ѳ. Шараповъ, небезъизвѣстный публицистъ, сдѣлалъ любопытное путешествіе по Черноморскому побережью, одному изъ лучшихъ уголковъ Россіи, до сихъ поръ заброшенному и пустынному. Колонизація—въ особенности русская—тамъ еще въ зародышѣ. Между прочимъ, г. Шараповъ посѣтилъ извѣстную «интеллигентную колонію», основанную г. Еропкинымъ. Она расположена невдалекѣ отъ станціи Береговой, въ 80-ти верстахъ отъ Новороссійска, въ живописной мѣстности. Такъ-какъ г. Шараповъ ѣхалъ въ обществѣ начальствующихъ лицъ (министръ земледѣлія А. С. Ермоловъ и др.), то интеллигентные колонисты встрѣтили посѣти-

телей тріумфальной аркой. «Мужчины—въ однообразныхъ сѣрыхъ суконныхъ сюртукахъ, высокихъ сапогахъ и войлочныхъ шляпахъ, дамы—въ яркихъ малороссійскихъ костюмахъ съ лентами. Тутъ-же толкалось человѣкъ 20 дѣтей, чисто-одѣтыхъ, и поденные рабочіе колоніи. Одинъ г. Еропкинъ былъ въ черномъ сюртукѣ и бѣломъ галстухѣ. Виноградникъ расположенъ на самомъ высокомъ южномъ склонѣ съ роскошнымъ видомъ на море. Плантажъ сдѣланъ на пяти десятинахъ камня-трескуна. Лозы имѣютъ отличный видъ. Сорта винограда — преимущественно рислингъ, с.-эмильонъ, каберне, лафитъ и бургундскіе изъ Крыма. У колоніи есть уже свое вино. Двухлѣтній сотернъ превосходенъ. Погребъ не великъ, но оканчивается новый: внизу подвалъ, наверху винодѣльня. Виноградникомъ завѣдуетъ молодой человѣкъ съ огромной бородой, г. Калитаевъ, избранный распорядителемъ. Онъ давалъ толковыя объясненія. Онъ, по слухамъ, считается формальнымъ наслѣдникомъ Еропкина, которому принадлежатъ всѣ юридическія права. Ниже виноградника хлѣбныя и кукурузныя поля. Сѣютъ и клеверъ, но настоящаго сѣвооборота еще не выработалось. Ближе къ усадьбѣ разбитъ фруктовый и шелковичный садъ. Послѣдній несовсѣмъ удачно; тутовыя деревца страдаютъ отъ жары.

«Усадьба представляетъ разбросанные чистенькіе и красивые домики, гдѣ живутъ отдѣльныя семьи. Кромѣ того имѣются общія помѣщенія: столовая, нѣчто въ родѣ гостиной и школа.

«Наличный составъ колоніи въ эту минуту слѣдующій: женатыхъ семь семей съ 9 дѣтьми; холостыхъ четыре человѣка; постороннихъ дѣтей, сиротъ и пр., взятыхъ на воспитаніе—20 человѣкъ. Составъ наемныхъ рабочихъ мѣняется. Колонія пользуется ими или въ страдное время, или когда своихъ рукъ не хватаетъ, или для особенно-тяжелыхъ работъ. Въ столовой насъ ожидалъ чай и угощеніе медомъ, фруктами, виноградомъ. Миловидныя молоденькія дамы держались скромно въ сторонѣ. Рядомъ въ гостиной можно было замѣтить рояль и довольно много книгъ.

«Скажу откровенно, говоритъ г. Шараповъ,—несмотря на то, что я отнюдь не поклонникъ подобныхъ колоній, впечатлѣніе было недурное. Эти молодыя лица такъ добродушны и симпатичны, эта культурная работа такъ велика и плодотворна. По общимъ отзывамъ, колонія пользуется большой любовью. Никакого писаннаго устава у колоніи нѣтъ, и взаимною связью служитъ одно чистое довѣріе. Владѣльцемъ хутора считается В. В. Еропкинъ. Онъ далъ свои деньги, предоставилъ купленный хуторъ обществу молодыхъ людей, вокругъ него сгруппировавшемуся, и скромно сталъ въ ряды съ другими, предоставивъ имъ самимъ выбрать распорядителя. Самъ Викторъ Васильевичъ въ работахъ не участвуетъ, ибо, по его словамъ, «состоитъ въ отхожемъ промыслѣ», директорствуя въ какой-то акціонерной компаніи, чтобы добывать деньги на расширеніе хозяйства колоніи.

«Колонія существуетъ уже около восьми лѣтъ. Бывали недоразумѣнія, многіе уходили, но кадры вѣрующихъ въ свое дѣло идеалистовъ остались и работаютъ. Ни о какой «политикѣ» здѣсь нѣтъ и рѣчи. Колонія, правда, въ виду своего исключительнаго положенія, находится подъ бдительнымъ надзоромъ. Но этотъ надзоръ до сихъ поръ не обнаружилъ ровно ничего. Заѣзжали сюда разные господа, которые потомъ компрометировали колонію своимъ знакомствомъ и вызывали дознанія. Но, во-первыхъ, здѣшніе жители не могутъ отвѣчать за мысли и воззрѣнія пріѣзжихъ гостей, и во-вторыхъ, въ виду бывшихъ непріятностей, В. В. Еропкинъ и колонисты начали сами относиться внимательно и съ разборомъ ко множеству посѣтителей, интересующихся ихъ бытомъ и трудами.

«Быть принятымъ въ члены колоніи теперь довольно трудно, и можно попасть лишь по знакомству и съ поручительствомъ кого-либо изъ ея членовъ.

«Чистота нравовъ колоніи, по общимъ отзывамъ, выше всякихъ похвалъ. Семьи исключительно законныя, тишина и спокойствіе образцовыя, соблазна для окружающаго населенія ни малѣйшаго, а культурное вліяніе большое. Отсюда, изъ Крипицы, пошли разныя ремесла и новыя культуры, что сразу же бросалось въ глаза въ Береговой.

«Ихъ вѣрованія... но какое право имѣемъ мы, читатель, заглядывать полицейскимъ окомъ въ глубину этихъ добрыхъ душъ? Кто говоритъ,—толстовцы, кто говоритъ—пашковцы, а между тѣмъ по всему побережью нѣтъ ни одной такой благоустроенной сельской церкви и такого славнаго хора. Отецъ Николай Долинскій желанный гость въ колоніи, хотя это и вызываетъ косые взгляды со стороны его начальства».

ИЗЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИЗДАНІЙ.

Султанъ Абдулъ-Гамидъ.—Лондонскій земскій совѣтъ.—Къ вопросу о переселеніи.—Явленія на Марсѣ.—Отчего въ Англіи мало читаютъ.—Возрожденіе олимпійскихъ игръ.

Новѣйшія событія въ Арменіи снова заставили Европу обратить вниманіе на турецкіе порядки и на правителя, призваннаго быть блюстителемъ этихъ порядковъ. Съ тѣмъ и другимъ знакомитъ живой очеркъ въ январьской книжкѣ «Contemporary Review», присланный изъ Константинополя и подписанный «жителемъ востока». Лично султанъ Абдулъ-Гамидъ давно пользуется сочувствіемъ Европы, и тѣ изъ европейцевъ, которые имѣли случай ближе узнать его, говорятъ, что онъ во всемъ, исключая религіи, гораздо болѣе европеецъ, чѣмъ азіатъ. Онъ не щадя силъ отдается своему дѣлу, хотя живетъ въ постоянномъ страхѣ быть убитымъ, никому не довѣряетъ и отлично понимаетъ шаткость своей имперіи. Но при всемъ своемъ европеизмѣ, Абдулъ-Гамидъ—убѣжденный магометанинъ, и политика его, съ національной точки зрѣнія, не можетъ быть другою. Однако, во многихъ отношеніяхъ, наиболѣе просвѣщенные магометане осуждаютъ ее такъ-же, какъ и христіане, напр., въ его стремленіи сосредоточить всю административную власть въ своихъ рукахъ. У Турціи есть совѣтъ министровъ и государственный совѣтъ, и предполагается,

что вся администрація подчинена имъ. Но въ Ильдизъ-Кіоскѣ засѣдаетъ другое, болѣе властное правительство, состоящее изъ камергеровъ, евнуховъ, астрологовъ и т. под. лицъ и опирающееся на тайную полицію.

Въ этомъ совѣтѣ обсуждаются и рѣшаются самыя важныя дѣла, нерѣдко даже безъ вѣдома Порты. Естественно, что при такихъ порядкахъ Порта и дворъ находятся между собою на ножахъ и, гдѣ только можно, подставляютъ другъ другу ногу. Султанъ, разумѣется, считаетъ себя независимымъ отъ обоихъ, забывая, что никакой правитель не можетъ быть независимымъ отъ тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ онъ черпаетъ свои свѣдѣнія. При настоящей системѣ Абдулъ-Гамидъ является отвѣтственнымъ за всѣ ошибки и несправедливости, которыя творятся въ его имперіи. Предполагается, что иностранными дѣлами Турціи завѣдуетъ министръ иностранныхъ дѣлъ или великій визирь; но въ дѣйствительности они имѣютъ очень мало вліянія на эти дѣла. Султанъ рѣдко бываетъ доступенъ иначе, какъ черезъ протекцію кого-нибудь изъ его приближенныхъ, а протекція получается только за деньги. Иные изъ фаворитовъ находятся прямо на откупу у иностранныхъ державъ, а такая система, естественно, роняетъ Турцію въ глазахъ Европы.

Съ другой стороны, просвѣщенные турки винятъ султана въ томъ, что онъ запустилъ армію и флотъ. Турція перестала быть морской державой; старые броненосцы ея, съ самой войны 1877—78 годахъ, стоятъ на якорѣ въ Золотомъ Рогѣ. Не лучше флота и армія, хотя и говорятъ, что, при деньгахъ, Турція можетъ въ короткое время выставить 400-тысячную армію. Но офицеры назначаются по протекціи фаворитовъ; большихъ маневровъ не было уже много лѣтъ, и солдаты не обучаются владѣть оружіемъ новѣйшей системы, хотя оно и закуплено правительствомъ.

Къ неудовольствію подданныхъ, личная свобода съ каждымъ годомъ ограничивается все болѣе и болѣе. При вступленіи на престолъ, Абдулъ-Гамидъ даровалъ странѣ конституцію и созвалъ парламентъ. Исламъ—

демократическая религія, и при немъ легко могъ-бы привиться демократическій режимъ. Но случайно введенная реформа не обладала ни малѣйшей внутренней прочностью, несмотря на всѣ формальныя гарантіи. Очень скоро, отмѣнивъ конституцію, султанъ началъ систематически искоренять свободу слова и мысли. Онъ достигъ этого съ помощью вездѣсущей тайной полиціи и цензуры, доходящей до невообразимыхъ нелѣпостей. Тайная полиція вскрываетъ письма на почтѣ, отмѣчаетъ каждое неосторожное слово, всюду подсылаетъ своихъ шпіоновъ, и люди ссылаются, заключаются въ тюрьмы или исчезаютъ безъ суда. Всякая книга, затрогивающая хотя-бы только косвенно магометанскую вѣру или турецкое правительство, безусловно запрещается. Ни одна печатная строка не можетъ появиться въ свѣтъ безъ разрѣшенія цензуры, и случается даже, что задерживаются газеты или книги, прошедшія сквозь цензуру. Запрещено употребленіе въ печати множества словъ, напримѣръ: динамитъ, анархія, всѣ астрономическіе термины, которые могли-бы быть примѣнены иносказательно къ Ильдизъ-Кіоску (ильдизъ значитъ—звѣзда). Не говоримъ уже о притѣсненіяхъ, которымъ подвергаются христіанскіе подданные султана. Довольно сказать, что разрѣшеніе на постройку христіанскихъ церквей или на заведеніе христіанской школы добывается съ величайшимъ трудомъ.

Но, показавъ дурныя стороны политики Абдулъ Гамида, авторъ отдаетъ справедливость и хорошимъ сторонамъ его правленія. Когда онъ вступилъ на престолъ, оттоманская имперія была банкротомъ. Онъ возстановилъ ея кредитъ и поправилъ ея финансы, благоразумно согласившись на учрежденіе иностраннаго контроля надъ частью государственныхъ доходовъ. Онъ расширилъ пути сообщеній и сдѣлалъ очень много для земледѣлія и торговли страны. Стѣсняя распространеніе христіанскихъ школъ, онъ въ то-же время всячески поощрялъ образованіе и просвѣщеніе магометанскаго народа и завелъ правильную систему школъ по всей импе-

ріи. Въ этомъ отношеніи онъ сдѣлалъ для Турціи болѣе, чѣмъ всѣ его предшественники. «Еслибы, заключаетъ авторъ,—Абдулъ-Гамидъ прислушался къ желаніямъ своего народа, распустилъ свою тайную полицію и оказалъ хотя простую справедливость своимъ христіанскимъ подданнымъ,—его всѣ признали-бы лучшимъ изъ султановъ. Но, къ сожалѣнію, онъ уже не въ состояніи высвободиться изъ опутавшихъ его дурныхъ вліяній, и исторія скажетъ о немъ только, что онъ могъ-бы спасти свою имперію, но не спасъ».

Въ виду приближающихся трехлѣтнихъ выборовъ въ лондонскій земскій совѣтъ (country council), одинъ изъ членовъ его, Сидней Веббъ, помѣстилъ въ «Contemporary Review» любопытный очеркъ его административной дѣятельности за послѣднее шестилѣтіе. Собственно администрація лондонскаго округа находится въ рукахъ различныхъ комитетовъ, предложенія которыхъ проходятъ въ общихъ собраніяхъ совѣта почти безъ преній, и въ противоположность другимъ общественнымъ собраніямъ, дѣла въ лондонскомъ земскомъ совѣтѣ никогда не залеживаются. Объясняется это тѣмъ, что совѣтъ первый началъ широко пользоваться содѣйствіемъ печати. Въ печатныхъ отчетахъ его президентами комитетовъ излагаются соображенія и причины, приведшія къ тому или другому заключенію, и такимъ образомъ каждый членъ можетъ слѣдить за дѣятельностью всѣхъ комитетовъ. Послѣдніе собираются каждый день съ 10-ти утра до 6 вечера, и Веббъ беретъ для примѣра одну недѣлю, въ которую совѣту было представлено ими не менѣе 128 резолюцій. Перечисляя сферы ихъ дѣятельности, авторъ начинаетъ съ комитета призрѣнія нищихъ, бѣгло очерчиваетъ дѣятельность комитета, вѣдающаго реформу ремесленныхъ школъ, и переходитъ къ строительному комитету, отчетъ котораго за 1894 г. показываетъ замѣчательные результаты. На комитетѣ санитарнаго надзора за домами лежитъ колоссальная задача перемѣщенія лондонскихъ бѣдняковъ. Комитетъ по устройству парковъ расширилъ

въ шесть лѣтъ площадь лондонскихъ скверовъ на 1 069 акровъ и болѣе чѣмъ удвоилъ число открытыхъ публикѣ парковъ, находящихся подъ его контролемъ. Пожарная бригада усилена на 20% слишкомъ, вслѣдствіе чего число серьезныхъ пожаровъ уменьшилось съ 72 до 60 на тысячу ихъ общаго числа. По водоснабженію, по надзору за рѣчнымъ судоходствомъ, за мостами, за дренажемъ, за распредѣленіемъ налоговъ, за установленіемъ рабочей платы и пр.—по всѣмъ этимъ отдѣламъ сдѣланы существенныя улучшенія. Въ санитарныхъ условіяхъ Лондона достигнутъ положительный прогрессъ. Такъ, качество воды въ Темзѣ настолько улучшилось, что въ ней снова показалась уклейка, тогда-какъ раньше не было ничего, кромѣ грязи изъ сточныхъ трубъ, плававшей на поверхности. Открытъ обширный пріютъ для бездомныхъ бѣдняковъ; доканчивается перестройка нѣсколькихъ тысячъ домовъ для людей бѣдныхъ классовъ, и всѣ трущобные домовладѣльцы кряхтятъ отъ расходовъ, въ которые они введены обязательными улучшеніями и ремонтомъ въ своихъ домахъ. Царство подрядчиковъ миновало, и во всѣхъ отрасляхъ труда, подвѣдомственныхъ лондонскому совѣту, установлена плата по соглашенію съ рабочими союзами, съ опредѣленіемъ минимальной нормы, ниже которой она не должна падать. Не забыты и средства сообщеній, составляющія такую насущную потребность для разростающагося города. Новый тоннель подъ Темзой, прокладка котораго начата въ 1890 г., довершенъ болѣе чѣмъ на половину. Такіе-же отрадные результаты достигнуты и въ отдѣлѣ народнаго образованія. Въ улучшенныя ремесленныя школы помѣщено за послѣдніе полтора года около 800 дѣтей обоего пола, и многія тысячи ихъ старшихъ братьевъ и сестеръ начали посѣщать вечерніе классы. И за все это налогоплательщики были обложены дополнительнымъ налогомъ всего въ $1^1/_2$ пенса съ фунта стерлинговъ сверхъ того, что они платили въ 1889 г. Если правда, какъ увѣряетъ лордъ Сольсбери, что лондонскій земскій совѣтъ отличается особенной «краснотой», то нельзя не признать, что такая «краснота» по меньшей

мѣрѣ безобидна и даетъ результаты, какими охотно удовлетворялся-бы любой консерваторъ.

Въ виду важнаго значенія дѣятельности лондонскаго земскаго совѣта, автора естественно удивляетъ недостатокъ интереса къ ней со стороны англійскихъ правящихъ сферъ. Въ шесть лѣтъ почти никто изъ англійскихъ государственныхъ людей или экономистовъ не заглянулъ на засѣданія этого совѣта, тогда-какъ рѣдкое засѣданіе обходится безъ того, чтобы на немъ не присутствовалъ кто-нибудь изъ иностранныхъ политическихъ людей, администраторовъ или экономистовъ.

Роковой вопросъ о перенаселеніи не сходитъ съ очереди съ самыхъ тѣхъ поръ, какъ, сто лѣтъ тому назадъ, шотландскій пасторъ Томасъ Мальтусъ, въ своемъ «Essay on the Principle of Population», провозгласилъ, что единственнымъ спасеніемъ общества можетъ быть только брачное воздержаніе. Джонъ Стюартъ Милль возвелъ это ученіе въ принципъ политической экономіи, проведя во всѣхъ своихъ положеніяхъ ту мысль, что люди, не воздерживающіеся отъ рожденія дѣтей, виноваты въ бѣдствіяхъ человѣчества. Ученіе это, конечно, осталось, по отношенію къ массамъ, гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, и противъ избытка населенія обращаются къ другимъ средствамъ: къ эмиграціи, къ колонизаціи новопокоренныхъ странъ. Хотя и говорятъ, что во Франціи числится теперь 20 000 мальтузіанцевъ, но ими руководитъ вовсе не любовь къ человѣчеству, воодушевлявшая Мальтуса, а себялюбіе, забота о личномъ комфортѣ и объ огражденіи себя отъ лишняго труда, котораго потребовало-бы содержаніе большой семьи. Противъ всѣхъ этихъ теорій выступилъ нѣмецкій философъ Раденгаузенъ въ главномъ изъ своихъ сочиненій, «Isis». Онъ начинаетъ съ того, что разбиваетъ аргументы Мальтуса, доказывая, что то, что тотъ принималъ за факты, вовсе не факты, и что мнѣніе о чрезмѣрномъ ростѣ народонаселенія крайне преувеличивается. «Населеніе Европы, говоритъ онъ,—увеличивается ежегодно не болѣе какъ на одну сотую, и судя по старымъ статистическимъ дан-

нымъ, оно всегда росло только въ этой пропорціи или даже менѣе, такъ-какъ, увеличиваясь даже и въ этой пропорціи, оно удвоилось-бы въ 70 лѣтъ, а если взять обратное отношеніе, то, считая съ нынѣшняго (1871) года назадъ, пришлось-бы заключить, что двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ въ Европѣ жило всего два человѣка, между тѣмъ какъ намъ извѣстно, что ее и тогда уже населяли многочисленныя племена». Противъ предполагаемаго закона уменьшенія плодородія почвы Раденгаузенъ также имѣетъ многое возразить. «Достигнутый человѣчествомъ прогрессъ и несомнѣнное увеличеніе общаго благосостоянія ясно говорятъ, что количество пищевыхъ продуктовъ ростетъ гораздо быстрѣе, нежели число людей, и по всѣмъ вѣроятіямъ это благопріятное отношеніе останется и на будущее время. Въ 19-мъ вѣкѣ населеніе нѣкоторыхъ европейскихъ странъ удвоилось, а условія жизни каждаго лица улучшились, и каждый выигралъ въ значеніи, личномъ достоинствѣ и безопасности. Какъ ни низка еще степень развитія массъ, но она гораздо выше, чѣмъ была 60 лѣтъ назадъ. Въ подтвержденіе своихъ доводовъ нѣмецкій ученый ссылается на востокъ, гдѣ въ странахъ съ рѣдѣющимъ населеніемъ падала цивилизація, уменьшалось количество пищевыхъ продуктовъ и бѣднѣли жители. Между тѣмъ, еслибы боязнь перенаселенія была основательна, каждый въ этихъ странахъ долженъ былъ-бы богатѣть. Обширная и плодоносная долина Евфрата мало заселена, и жители ея нищіе, вмѣсто того чтобы быть богачами. То-же самое и въ Египтѣ. Американецъ Кэри также нашолъ, что человѣкъ тѣмъ легче добываетъ себѣ средства пропитанія, чѣмъ плотнѣе становится населеніе при развивающейся культурѣ. Слово «перенаселеніе» означаетъ собственно крупное несоотвѣтствіе наличнаго количества пищевыхъ продуктовъ съ числомъ жителей. Но такое несоотвѣтствіе можетъ возникать только внезапно, вслѣдствіе пожара или наводненія, и не можетъ долго продолжаться: люди умираютъ или расходятся. Гдѣ нечѣмъ питаться, тамъ перенаселеніе немыслимо Страна прогрессируетъ, пока населеніе ростетъ, и общій

уровень благосостоянія жителей поднимается. Уменьшеніе населенія служитъ признакомъ упадка; это симптомъ усталости: мужчины боятся заботъ о дѣтяхъ, женщины боятся страданій дѣторожденія, воспроизводительная сила народа падаетъ, энергія его слабѣетъ все болѣе и болѣе, потому-что людямъ недостаетъ могучаго стимула, какимъ служитъ любовь къ дѣтямъ. Населеніе такой страны рѣдѣетъ, и національность ея можетъ современемъ совсѣмъ исчезнуть, потерявшись въ массѣ другихъ національностей, наводнившихъ страну. Принято думать, что по мѣрѣ того какъ населеніе данной страны рѣдѣетъ, общій уровень благосостоянія ея поднимается. Но приэтомъ забывается непреложный экономическій законъ, въ силу котораго въ страну съ рѣдкимъ населеніемъ наплываетъ избытокъ населенія изъ другихъ странъ, и богатство, которое предполагалось увеличить воздержаніемъ отъ дѣторожденій, приходится дѣлить съ чужеземцами.

Многихъ интересуютъ съ нѣкоторыхъ поръ наблюденія астрономовъ надъ какими-то странными явленіями на планетѣ Марсъ. Люди съ пылкой фантазіей готовы даже видѣть въ нихъ попытки обитателей Марса вступить въ сношенія съ жителями Земли. Уже въ 1892 г. съ ликской обсерваторіи въ Калифорніи, обладающей самымъ большимъ телескопомъ на землѣ, были замѣчены какіе-то свѣтлые эффекты на этой планетѣ. Въ газетѣ «Фигаро» приведены недавно свѣдѣнія, полученныя насчетъ этихъ явленій ея интервьюеромъ отъ директора ницской обсерваторіи, Перротена. Итальянскій астрономъ Скіапарелли первый открылъ, что на Марсѣ имѣются прямые каналы, служащіе, повидимому, связью между морями и озерами. Природные-ли они, или проведены искусственно, этого Перротенъ не берется рѣшить; но въ виду ихъ ширины онъ склоняется къ тому мнѣнію, что это морскіе рукава, и что въ нихъ течетъ вода или подобное ей жидкое вещество. Не берется онъ также рѣшить вопроса, населена-ли планета Марсъ живыми существами; но если населена, то цивилизація ихъ должна

быть несравненно выше нашей, такъ-какъ Марсъ на много милліоновъ лѣтъ древнѣе Земли. Отъ времени поверхность его стала гладкой, какъ билліардный шаръ, къ чему идетъ и земля. Атмосфера Марса также заключаетъ въ себѣ водяные пары, но она легче, рѣже и спокойнѣе земной, что также служитъ доказательствомъ старости. Марсъ меньше Земли и поэтому долженъ былъ остыть скорѣе ея. Заключеніе, что на немъ имѣются моря, рѣки и ледники, основано на наблюдаемыхъ пятнахъ, находящихся въ постоянномъ колебаніи. Повидимому, моря занимаютъ около половины планеты Марсъ, но они не глубоки; часть ихъ воды, или другой замѣняющей ее жидкости, уже поглощена почвой, что совершится современемъ и на землѣ. Моря на Марсѣ чрезвычайно подвижны, что, вѣроятно, объясняется гладкою поверхностью планеты и низкими берегами, стертыми продолжительнымъ дѣйствіемъ дождей и бурь. Судя по вычисленіямъ и наблюденіямъ, времена года распредѣляются на Марсѣ какъ и у насъ, и въ общихъ чертахъ наша Земля должна казаться жителямъ Марса почти такою-же, какою кажется намъ ихъ планета.

Странныя явленія на Марсѣ, обратившія на себя въ послѣдніе года вниманіе нашихъ астрономовъ, имѣютъ форму громадныхъ и продолжительныхъ пожаровъ, блескъ и лучистость которыхъ напоминаютъ сѣверное сіяніе. Въ прошломъ году такія явленія замѣчались трижды на западномъ краю диска планеты: 10-го іюня, и 2-го и 3-го іюля; и всякій разъ легкая выпуклость этого края какъ-будто увеличивалась. Всѣ эти явленія наблюдались какъ въ Калифорніи, такъ и въ Ниццѣ, съ такою ясностью, что никакимъ образомъ не могли быть приняты за обманъ глазъ. Но человѣческій умъ теряется, при объясненіи этихъ огней, лучи которыхъ поднимались свыше 60 верстъ надъ поверхностью диска, и какъ мы уже упомянули, люди съ пылкимъ воображеніемъ склонны видѣть въ нихъ сигналы, подаваемые намъ жителями Марса. Въ Америкѣ уже сдѣлана попытка отвѣтить на нихъ, и попытка будто-бы не безуспѣшная, побудившая одну француженку завѣщать 100 000 франковъ тому,

кто сдѣлаетъ новый шагъ впередъ въ этомъ направленіи. Американцы, разсчитывая на силу марсистскихъ телескоповъ, возвели въ своихъ степяхъ, на протяженіи нѣсколькихъ десятковъ верстъ, земляныя насыпи и стали зажигать на нихъ по ночамъ огни. Холмы были расположены такимъ образомъ, чтобы предложить наблюдательнымъ марсистамъ первую геометрическую задачу: квадратъ гипотенузы. Ликскіе астрономы уставились глазами въ телескопъ и, по увѣренію ихъ, ночи черезъ двѣ, они ясно различили на Марсѣ разрѣшеніе предложенной задачи. Стало-быть, марсисты поняли и изъявили готовность къ геометрическимъ переговорамъ съ нами. Однако, опыты эти пока еще не повторялись, такъ-какъ они требуютъ слишкомъ большихъ денежныхъ затратъ.

Въ декабрьской книжкѣ нью-іоркскаго журнала «Forum» помѣщена интересная статья американскаго писателя Прайсъ Коллера, довольно долго жившаго въ Англіи въ качествѣ библіотекаря и имѣвшаго случай хорошо изучить литературные вкусы англичанъ. По его словамъ, большинство англичанъ не читаетъ буквально ничего; изъ остальныхъ, провинціалы—если имъ случается читать — отдаютъ предпочтеніе романамъ, біографіямъ, путешествіямъ, исторіи и въ значительной степени богослозскимъ сочиненіямъ, разбавленнымъ водой. Средній классъ вообще читаетъ только газеты и журналы и во всемъ руководствуется мнѣніями своей газеты. Сравнивая въ этомъ отношеніи англичанъ съ американцами, авторъ находитъ, что въ Америкѣ читаютъ гораздо больше, но зато тамъ меньше людей высокообразованныхъ, развившихъ свой умъ серьознымъ чтеніемъ и путешествіями. И тѣмъ не менѣе англійская нація въ ея цѣломъ — эта нація въ 28 милліоновъ человѣкъ, правящая со своего острова народами, въ десять слишкомъ разъ превосходящими ее численностью,—никакъ не можетъ быть названа начитанной. Разсматривая причины этой разницы между двумя отраслями одной и той-же расы, Коллеръ видитъ объясненіе ея отчасти въ національномъ характерѣ, но главнымъ образомъ въ умѣренномъ климатѣ, позволяю-

щемъ во всякое время года оставаться на улицѣ вмѣсто того, чтобы сидѣть съ книгой у своего очага. Ни въ какой другой странѣ нѣтъ такого непрерывнаго круга всякаго рода спорта, интересующаго огромную часть населенія. Въ Англіи круглый годъ доступна ѣзда на велосипедахъ, поразительно распространившаяся, съ октября по апрѣль — охота; съ ранней весны до конца августа—скачки; круглый годъ—новая игра гольфъ, перешедшая уже въ настоящую манію; съ мая по сентябрь—крикетъ и теннисъ; съ сентября по май—игра въ мячъ, привлекающая до 20 000 зрителей, хотя участвуютъ въ ней только профессіональные игроки. Къ этому надо еще прибавить рѣчныя гонки, стрѣльбу въ цѣль и другіе виды спорта. Когда-же тутъ читать? Страсть къ спорту не ограничивается одними богатыми и праздными классами, ни даже одними зажиточными. Современная Англія, говоритъ авторъ, самая демократическая страна въ мірѣ; поэтому, говоря объ общихъ чертахъ ея характера, нельзя подразумѣвать только ея высшіе классы. Трудно найти въ настоящее время здороваго англичанина, живущаго не на счетъ общественной благотворительности, который не увлекался-бы какимъ-нибудь видомъ спорта, или, по крайней мѣрѣ, не интересовался имъ. Не мудрено поэтому, что изъ 673 журналовъ, выходящихъ въ этой странѣ, шестая часть посвящена различнымъ видамъ спорта или упражненій на вольномъ воздухѣ

Впрочемъ, не въ одной Англіи люди страстно предаются спорту. Въ настоящее время, по словамъ «American Review of Reviews», ведется агитація въ пользу возрожденія, послѣ двухъ тысячъ лѣтъ, олимпійскихъ игръ, центръ которой находится въ Парижѣ. Во главѣ этого движенія стоитъ молодой французъ, баронъ Кубертенъ, искусившійся во всѣхъ видахъ спорта и служащій генеральнымъ секретаремъ французскаго союза атлетическихъ клубовъ. Онъ подалъ мысль такой международной организаціи, которой было-бы предоставлено право, такъ-сказать, верховнаго нравственнаго суда надъ спортомъ всего міра. Онъ составилъ комитетъ для вы-

работки плана, и въ іюнѣ прошлаго года въ Парижѣ состоялась по этому поводу конференція, имѣвшая блестящій успѣхъ. Короли бельгійскій и греческій, принцъ Уэльсскій и нѣкоторыя другія царственныя особы удостоили принять званіе почетныхъ членовъ генеральнаго комитета олимпійскихъ игръ. Для участниковъ выработаны правила, основанныя на строгихъ нравственныхъ началахъ; денежные призы совсѣмъ исключены. Рѣшено, что первый конгрессъ этого союза спортсменовъ и первыя олимпійскія игры состоятся въ Аѳинахъ, въ 1896 г., а слѣдующія—въ Парижѣ, во время всемірной выставки 1900 г. Ожидаютъ, что въ 1904 г. игры произойдутъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Президентомъ союза будетъ, впродолженіе 4-лѣтняго періода, лицо той національности, въ чьей странѣ предстоитъ слѣдующее собраніе конгресса, поэтому до 1896 года избранъ грекъ, г. Бикеласъ. Въ комитетъ вошли представители Греціи, Франціи, Россіи, Чехіи, Швеціи, Новой Зеландіи, Соединенныхъ Штатовъ, Уругвая, Англіи, Венгріи, Италіи и Бельгіи. Генеральнымъ секретаремъ его избранъ баронъ Кубертенъ.

ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНАГО МІРА.

Рѣчь А. Ф. Кони и „юридическія поминки".—Три чествованія памяти Грибоѣдова.—Литературная физіономія Бьернстерна-Бьернсона.—Японская журналистика.

Въ одномъ изъ недавнихъ засѣданій юридическаго общества А. Ф. Кони посвятилъ сочувственную рѣчь памяти умершихъ въ послѣдніе полтора года членовъ общества, принадлежавшихъ къ числу видныхъ общественныхъ дѣятелей, притомъ такихъ, которые, по прекрасному замѣчанію оратора, «становятся особенно дороги, когда усталая жизнь клонится къ закату и когда въ лицѣ ихъ одинъ за другимъ, уходятъ соучастники свѣтлыхъ надеждъ, трудовъ и любви къ тому, съ чѣмъ связаны были

лучшіе годы жизни». Нѣкоторые изъ нихъ составили себѣ имя и въ литературѣ, а потому «юридическія поминки», какъ озаглавилъ А. Ф. Кони свою рѣчь, или, точнѣе, вступительную часть своего сообщенія «О новыхъ теченіяхъ въ уголовномъ процессѣ Италіи и Германіи» (напечатаннаго въ послѣдней книжкѣ «Журнала Министерства Юстиціи»), являются и литературными поминками.

Прежде всего, А. Ф. Кони говорилъ объ Арцимовичѣ и Унковскомъ. Оба они «всѣми силами сердца и разумѣнія послужили великому дѣлу освобожденія крестьянъ и отдали затѣмъ свой опытъ и душевную высоту на службу судебной реформѣ, связанной ближайшими и кровными узами съ крестьянской. Унковскій явился глашатаемъ новаго судебнаго строя и провозвѣстникомъ его основныхъ началъ въ рядѣ ученыхъ трудовъ, изданныхъ подъ его руководствомъ; его почтенное имя какъ издателя или редактора стояло подъ книгами, безъ которыхъ не могъ обойтись въ то время ни одинъ сознающій свои обязанности юристъ... Занявъ затѣмъ мѣсто въ рядахъ адвокатуры, А. М. Унковскій былъ примѣромъ той нравственной высоты, на которой можетъ и долженъ стоять присяжный повѣренный, и всею совокупностью своей жизни далъ право, обращаясь къ его памяти, перефразировать извѣстный стихъ великаго поэта — «чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ» — словами: «чистѣйшей честности чистѣйшій образецъ».

Сдѣлавъ далѣе краткія характеристики извѣстнаго своими блестящими защитительными рѣчами (и отчасти прикосновеннаго къ общей литературѣ) П. А. Александрова, много работавшаго въ юридической журналистикѣ П. Я. Левинсона и сенатора А. В. Бѣлостоцкаго, — А. Ф. Кони болѣе подробно остановился на покойныхъ Е. И. Утинѣ и А. А. Марковѣ. Говоря о дѣятельности Е. И. Утина, ораторъ высказалъ, между прочимъ, слѣдующія чрезвычайно интересныя замѣчанія: «Утинъ былъ образецъ образованнаго юриста, т.-е. именно такого человѣка, въ которомъ общее образованіе идетъ впереди спеціальнаго, окрашивая и расширяя послѣднее. Сухія научныя изслѣдованія или отчетливое знаніе статей закона и кассаціонныхъ

рѣшеній не создаютъ еще юриста въ настоящемъ и желательномъ смыслѣ слова. Въ первомъ случаѣ онъ становится глухъ къ требованіямъ жизни, неумѣщающейся въ теоретическія схемы,—во второмъ онъ становится тѣмъ, что высшій сановникъ судебнаго вѣдомства въ семидесятыхъ годахъ остроумно назвалъ «статистомъ», производя это слово отъ «статьи», но вмѣстѣ съ тѣмъ характеризуя ту роль, которую такіе люди играютъ въ отправленіи правосудія. Широкое и глубокое образованіе, знакомство съ исторіею искусства и литературою необходимы для человѣка, посвятившаго себя служенію правосудію».

Крайне интересна въ изображеніи А. Ф. Кони личность А. А. Маркова, этого «постояннаго труженика юридической мысли и тонкаго знатока искусства», въ которомъ скрывалась драма отреченія отъ завѣтныхъ влеченій къ литературѣ, поэзіи, красотѣ—ради настойчиваго и самоотверженнаго служенія избранному дѣлу. Между прочимъ, ему «пришлось играть весьма важную роль въ знаменитомъ процессѣ о поджогѣ паровой мельницы Овсянникова. Это дѣло, вызвавшее особенное и страстное вниманіе общества, вмѣстѣ съ дѣломъ игуменьи Митрофаніи, было нагляднымъ доказательствомъ стойкаго исполненія чинами судебнаго вѣдомства высокаго завѣта «творить судъ равный для всѣхъ».

Въ половинѣ 70-хъ годовъ, несмотря на близившееся десятилѣтіе судебной реформы, для многихъ это послѣднее свойство суда еще представлялось чѣмъ-то нетолько ненормальнымъ, но и прямо необычайнымъ и вызывало обидное и насмѣшливое презрѣніе заграницей... «Изъ Петербурга пишутъ, иронически восклицалъ «Кладдерадачъ», что *двѣнадцатикратный* (zwoelffache) милліонеръ Овсянниковъ арестованъ. Непостижимо! Или у него вовсе нѣтъ 12 милліоновъ, или-же мы надняхъ услышимъ, что *одиннадцатикратный* милліонъ Овсянникова освобожденъ отъ преслѣдованія...» Горечь этой оскорбительной ироніи какъ-будто усиливалась тѣмъ, что въ прошломъ за Овсянниковымъ было свыше десяти судимостей низшими судами стараго устройства, изъ которыхъ онъ выходилъ съ самоувѣреннымъ торжествомъ, несмотря на то, что

между этими дѣлами находились и дѣла о побояхъ, нанесенныхъ должностнымъ лицамъ»... Когда произошолъ поджогъ, «озаривъ громаднымъ заревомъ петербургское небо, то въ вызванномъ имъ пожарѣ было усмотрѣно полиціею лишь простое «происшествіе», подлежавшее, согласно ея сообщенію слѣдователю, погребенію подъ покровомъ 309 ст. уг. судопр. Тогдашній прокуроръ, задумавшись надъ причинами громаднаго пожара, поручилъ Маркову (бывшему тогда товарищемъ прокурора) произвести на мѣстѣ личное дознаніе. Марковъ отдался ему всецѣло, и результатомъ его добросовѣстнѣйшаго и кропотливѣйшаго труда было возбужденіе уголовнаго преслѣдованія противъ Овсянникова», который и былъ осужденъ новымъ судомъ.

«Но смерть его (Маркова) раскрыла такія стороны въ его духовномъ существѣ, которыя показали, что онъ любилъ всѣмъ сердцемъ нѣчто большее, чѣмъ ежедневный служебный трудъ и что нерѣдкія грустныя ноты въ его наружной веселости были вызваны тѣмъ, что эту свою любовь онъ принесъ въ жертву дѣлу, на службу которому онъ пошолъ какъ безкорыстный, простой и непритязательный, но вѣрный своему долгу воинъ. Марковъ, въ немногія минуты свободнаго распоряженія временемъ, занимался, такъ-сказать, урывками, живописью; но послѣ его смерти изъ его разбросанныхъ и недоконченныхъ произведеній и этюдовъ составилась цѣлая выставка, открытая для публики и вызвавшая со стороны знатоковъ признаніе въ покойномъ несомнѣннаго таланта и большихъ способностей къ живописи, недошедшихъ до своего высшаго развитія лишь по недостатку времени для систематическихъ занятій». Мало того, по смерти Маркова, «въ портфелѣ его оказалось свыше 300 стихотвореній, въ изящной формѣ которыхъ звучатъ меланхолическія ноты истинной поэзіи, такъ-что все его художественное наслѣдіе рисуетъ его въ широкомъ и трогательномъ свѣтѣ. Онъ является типическимъ образцомъ тѣхъ людей, которые во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ безповоротно и не боясь внутреннихъ жертвъ пошли на службу новому судебному дѣлу, въ

которомъ они видѣли залогъ развитія дорогой имъ родины и удовлетвореніе душевной потребности въ справедливости».

4-го января минуло ровно сто лѣтъ со дня рожденія Грибоѣдова. Творецъ «Горя отъ ума» стяжалъ послѣ смерти своей довольно счастливую участь, какъ-бы въ награду за «милліонъ терзаній», преслѣдовавшихъ его при жизни. Правда, ему нѣтъ до сихъ поръ памятника ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ (послѣдней особенно пристало позаботиться объ этомъ, такъ-какъ здѣсь поэтъ родился и провелъ свою юность и московской-же жизни посвящена и его безсмертная комедія); но въ формѣ юбилейныхъ торжествъ—Грибоѣдова и его произведеніе вспоминали за послѣдніе годы нѣсколько разъ.

Развернувши газету на другой день послѣ какого-либо чествованія и читая описаніе его, вы всегда наткнетесь на жалобы о томъ, что мы нетолько не умѣемъ цѣнить и помнить своихъ великихъ людей, но даже не въ состояніи устроить имъ хотя по виду приличныя поминки. Дѣйствительно, тѣ помпезныя процессіи, тѣ яркія феерическія зрѣлища, на какія мастера даже нѣмцы, у насъ немыслимы. Наше торжество устраивается непремѣнно какимъ-либо «комитетомъ», причемъ этотъ комитетъ одинъ только и дѣйствуетъ, онъ одинъ только и «торжествуетъ», а остальная публика устало моргаетъ глазами, чувствуя себя освобожденною входной платой отъ прочаго безпокойства. Устроить такое торжество, въ которомъ приняли-бы участіе всѣ—и писатели, и представители театра, и городъ, и учащаяся молодежь—и притомъ такъ, чтобы участіе это не ограничивалось двумя-тремя рублями «отъ щедротъ», или ролью безличнаго статиста, но чтобы каждый занималъ свое опредѣленное мѣсто,—устройство такого торжества, повидимому, намъ совершенно не подъ-силу.

Юбилей Грибоѣдова былъ справленъ разомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Во-первыхъ, оффиціальное торжество происходило въ «Александринкѣ», причемъ не было удостоено вечерняго спектакля и удовольствовалось утреннимъ, которые обыкновенно идутъ съ пониженными цѣ-

нами. Былъ поставленъ на сценѣ прологъ П. И. Вейнберга «Милліонъ терзаній», причемъ актеры выходили загримированными Пушкинымъ, Грибоѣдовымъ, Хмѣльницкимъ, Бестужевымъ и пр. Затѣмъ послѣдовалъ апоѳеозъ. Посреди сцены — бюстъ Грибоѣдова, направо—артисты, налѣво—артистки. Возложили вѣнки, поклонились бюсту, пропѣли «Славу» и разошлись. Нѣсколько удачнѣе былъ отпразднованъ юбилей въ «народномъ» Василеостровскомъ театрѣ. Сначала была сыграна сцена въ стихахъ г. Н. Юрьина «Грибоѣдовъ у Бѣгичева», потомъ четвертый актъ изъ «Горя отъ ума» и комедія Грибоѣдова «Своя семья». Затѣмъ былъ поставленъ рядъ живыхъ картинъ, подъ общимъ заглавіемъ «Сонъ Грибоѣдова», въ которыхъ прошли предъ зрителями главные моменты изъ «Горя отъ ума». Послѣдняя картина представляла «Смерть Грибоѣдова въ Тегеранѣ». Наконецъ, былъ исполненъ сочиненный Грибоѣдовымъ вальсъ и его романсъ: «Ахъ, точно-ль никогда ей въ персяхъ бѣлоснѣжныхъ»... 21 января собрались чествовать Грибоѣдова и литераторы. Это былъ вечеръ литературнаго фонда. Старый престижъ этихъ вечеровъ, участіе въ которыхъ всегда считалось большою честью, какъ-будто грозитъ померкнуть; въ этихъ вечерахъ уже начинаютъ принимать участіе какіе-то невѣдомые любители декламаторскаго искусства, ничего общаго съ литературою не имѣющіе. Запоздавшее литературное чествованіе мало чѣмъ отличалось отъ казеннаго. Помимо чтенія отрывковъ изъ произведеній Грибоѣдова, П. Д. Боборыкинымъ была произнесена рѣчь, охарактеризовавшая заслуги драматурга, затѣмъ было прочитано стихотвореніе Я. П. Полонскаго «Нина Александровна Грибоѣдова» и стих. П. И. Вейнберга—«Смѣхъ». «Увѣнчаніе» Грибоѣдова совершилось такимъ-же способомъ, какъ и въ Александринскомъ театрѣ, съ тою лишь разницею, что актеры были уставлены въ два ряда «по ранжиру», а нѣсколько подобранныхъ случаемъ литераторовъ окружили бюстъ Грибоѣдова. Приэтомъ артисты молчали, а г. Мережковскій выступилъ съ высокопарнымъ словомъ, которымъ казнилъ свое поколѣніе, какъ «погибающее во мракѣ, холодѣ и оскорбительномъ уродствѣ жизни»...

Въ одной изъ декабрьскихъ книжекъ берлинскаго журнала «Zukunft» приведенъ очеркъ литературной физіономіи Бьёрнстьерна-Бьернсона, написанный знаменитымъ датскимъ критикомъ Георгомъ Брандесомъ.

Бьёрнсонъ, по мнѣнію автора очерка, занимаетъ совершенно исключительное мѣсто въ литературныхъ лѣтописяхъ. Онъ болѣе, чѣмъ великій поэтъ и романистъ: онъ лучшій выразитель духа норвежскаго народа. Бьернсонъ пишетъ не для забавы и развлеченія читателей, а для просвѣщенія и наставленія ихъ. Онъ самъ считаетъ себя нѣкоторымъ образомъ педагогомъ, воспитателемъ своего народа, и напрягаетъ свои силы въ этомъ направленіи. Это и кладетъ особенный отпечатокъ на его литературныя произведенія. Онъ не вдается ни въ описаніе нравовъ, какъ Доде и Зола, ни въ психологическій анализъ, какъ Бурже: онъ поучаетъ, старается возвысить душу своихъ читателей, пробудить въ нихъ нравственные идеалы. Онъ смотритъ на себя въ нѣкоторомъ родѣ какъ на исповѣдника своихъ соотечественниковъ. Чтобы лучше выяснить его писательскую физіономію, Брандесъ напоминаетъ, что въ области литературы и искусствъ преобладаютъ три типа творцовъ: лучшій и наиболѣе рѣдкій типъ—это тотъ, который всецѣло развивается изъ собственной души, полагаетъ высшую цѣль въ эволюціи своего *я*, въ самоусовершенствованіи (Винчи, Микель-Анджелло, Гете). Второй типъ стремится прежде всего къ тому, чтобы увѣковѣчить свое имя какимъ-нибудь геніальнымъ произведеніемъ (Сервантесъ, Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ). Третій типъ заботится прежде всего о томъ, чтобы произведеніе его оказывало вліяніе на читателей (Вольтеръ). Брандесъ полагаетъ, что если-бы Бьернсону предложили на выборъ создать идеальное произведеніе, которое сдѣлалось-бы классическимъ, или только такое, которое подняло-бы вдвое умственный и нравственный уровень его современниковъ,—онъ предпочелъ-бы послѣднее. Для писателей третьей категоріи искусство есть только средство влiять на народный умъ; они рѣдко бываютъ надѣлены способностью извлекать наивозможно большую пользу изъ

своей умственной изощренности. Не стремятся они также и къ соединенію своихъ произведеній въ одно великое цѣлое. Учить и совершенствовать народъ—вотъ вся ихъ цѣль. И Бьернсонъ, по мнѣнію Брандеса, принадлежитъ именно къ этой категоріи.

Критикъ проводитъ параллель между нимъ и Додэ, съ которымъ, изъ французскихъ писателей, у Бьернсона наиболѣе сходства, хотя въ то-же время ихъ раздѣляетъ цѣлая бездна. Въ первыхъ сочиненіяхъ Додэ проходитъ нота глубокаго сочувствія къ слабымъ женскимъ существамъ, вродѣ, напримѣръ, маленькой Делобель; но сочувствіе это никогда не принимаетъ размѣровъ того энтузіазма, съ какимъ относится Бьернсонъ къ своей Раньи. Еслибы французскій романистъ вдался въ такую сентиментальность, критика осудила-бы его, и всѣ тѣ изъ французскихъ писателей, которые проявляютъ вначалѣ это свойство, постепенно освобождаются отъ него. Но на сѣверѣ дѣло другое. Здѣсь публика осуждаетъ недостатокъ чувствительности въ авторѣ. Брандесъ не отрицаетъ, что педагогическій оттѣнокъ произведеній Бьернсона не всегда дается ему безъ вреда для ихъ художественнаго достоинства. Они невсегда производятъ на читателя впечатлѣніе живой дѣйствительности, и лучшими страницами ихъ являются тѣ, въ которыхъ авторъ забываетъ о своей цѣли поучать и совершенствовать. И это понятно: для романа вся суть въ жизненности, въ правдѣ. Читая Додэ, невольно вѣришь всему, что онъ говоритъ; читатель чувствуетъ, что и самъ онъ, будучи поставленъ въ такія обстоятельства, въ какія поставлены его герои, поступилъ-бы какъ они. У автора-же, стремящагося морализировать, поучать, это чувство правды не ощущается, и вотъ именно это вредитъ большимъ романамъ Бьернсона. Брандесъ признаетъ, однако, что это не умаляетъ его славы какъ романиста, поэта и обновителя родного языка, и что онъ есть и останется звѣздой первой величины въ норвежской литературѣ.

Японія въ модѣ. Вся Европа интересуется обычаями, нравами и законами этой страны, еще недавно считавшейся варварскою. Заимствовавъ у Европы всѣ плоды ея цивилизаціи, Японія не могла не заимствовать такого важнаго плода ея, какъ журналистика. Въ «Revue des Revues» приведенъ очеркъ одного изъ лучшихъ японскихъ поэтовъ, Мотоіози, знакомящій съ происхожденіемъ и развитіемъ японской журналистики. Лѣтъ тридцать тому назадъ въ этой странѣ едва-ли кто имѣлъ понятіе даже о томъ, что означаетъ слово «газета», теперь-же въ одномъ Токіо выходитъ болѣе 400 ежедневныхъ газетъ и 300 журналовъ. Отцомъ японской журналистики былъ аптекарь Кишида-Гинкау. Изъ солдатъ онъ сдѣлался аптекаремъ и продавалъ лѣкарственныя снадобья, которыя выписывалъ изъ Европы. Въ ту пору японскіе купцы уже понимали значеніе рекламы для торговли и нанимали уличныхъ мальчишекъ для разноски по домамъ маленькихъ квадратныхъ листковъ, на которыхъ печатались деревяннымъ шрифтомъ объявленія объ открытіи какого-нибудь магазина или о полученіи изъ Европы партіи товаровъ. Разнощики обязаны были выкрикивать содержаніе этихъ листковъ. Кишида первый придумалъ соединять эти объявленія на одномъ листѣ и выпускать ихъ раза два-три въ мѣсяцъ, присоединяя къ нимъ для большей привлекательности повѣсти и сказки. Таково было происхожденіе японской журналистики. Эта первая газета называлась «Мошивогусса», что означаетъ смѣсь различныхъ травъ. Свобода печати была еще въ ту пору очень ограничена, и въ газетѣ не печаталось никакихъ политическихъ извѣстій. Первые шаги ея были трудны; издатель извѣдалъ всѣ терніи журнальной профессіи. Листокъ не имѣлъ ни подписчиковъ, ни утвержденнаго редактора и выходилъ когда случится, смотря по накопленію матеріала, а въ особенности по состоянію издательскаго кошелька. Аптека служила въ то-же время и редакціей. Дѣло поправилось только тогда, когда аптекарь вступилъ въ компанію съ другими купцами, понявшими, какую выгоду они могутъ извлечь изъ такого предпріятія. Листокъ сталъ появ-

ляться аккуратно три раза въ мѣсяцъ и началъ расходиться по всему государству. Успѣхъ, разумѣется, вызвалъ конкурренцію, но полное развитіе свое японская журналистика получила только со введеніемъ въ странѣ усовершенствованныхъ типографскихъ машинъ. Починъ былъ сдѣланъ правительствомъ, выписавшимъ ихъ для печатанія ассигнацій и государственныхъ бумагъ. Первая ежедневная газета была основана въ Японіи въ 1872 г. японскимъ ученымъ Туджитой. Она имѣла успѣхъ благодаря обрушившемуся на нее преслѣдованію. Будучи органомъ оппозиціи, она вызвала своими нападками на правительство суровый законъ противъ печати, и на другой-же день по изданіи этого закона, разнесла его въ своей передовой статьѣ. Редакторъ попалъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ тюрьму, но успѣхъ газеты былъ обезпеченъ. Въ числѣ журналовъ, выходящихъ въ настоящее время въ Японіи, есть органъ протестантскихъ миссіонеровъ, ведущій энергичную борьбу съ ученіемъ Конфуція и съ буддизмомъ. Кромѣ журналовъ и газетъ, въ Японіи выходитъ еще множество листковъ съ легкой беллетристикой, нерѣдко украшенныхъ очень рискованными иллюстраціями. Газетныя статьи не подписываются авторами и отвѣчаетъ за нихъ редакторъ, которымъ въ большинствѣ случаевъ бываетъ просто подставное лицо, получающее жалованье соотвѣтственно количеству дней, высиженныхъ имъ въ тюрьмѣ. Въ журналахъ статьи подписываются обыкновенно псевдонимами, заимствованными изъ царства флоры или изъ географіи, такъ-какъ многіе изъ авторовъ принадлежатъ къ высшему классу или къ бюрократіи и скрываютъ свои имена.

Редакторъ-издатель В. П. ГАЙДЕБУРОВЪ.

КНИЖКИ НЕДѢЛИ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

МАРТЪ

SLOVANSKÁ KNIHOVNA
BOHOSLOVCŮ
V OLOMOUCI.

1895

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Меркушева, Невскій просп., № 8.

КНИЖКИ НЕДѢЛИ. Мартъ 1895 г.

I. ЖАЛОСТЬ И АЛЬТРУИЗМЪ. (Изъ нравственной философіи). **Вл. С. Соловьева** 5

II. ИНГУШЪ И КАНУКО. (Изъ казказскаго альбома). **П. П. Гнѣдича** 27

III. ЗИМНІЯ КАРТИНКИ. Четыре стихотворенія **В. Л. Величко**. 38

IV. ОЧЕРКИ НЕВОЛЬНАГО ТУРИСТА. (Отъ Иркутска до Качуга). Почтмейстеръ.—Лягушечья косточка.—Казн. —Разговоръ на сонъ грядущій. **Я.** 42

V. ИЗЪ ПѢСЕНЪ ЛЮБВИ. Три стихотворенія **В. П. Лебедева** 58

VI. БАТИЩЕВСКОЕ ДѢЛО. I. **Н. А. Энгельгардта** . . 60

VII. СЧАСТЬЕ. Повѣсть. Часть II. **Т. Л. Щепкиной-Куперникъ**. 73

VIII. «Я НЕ ЛЮБЛЮ ТОЛПЫ». Стих. **А. В. Круглова**. . . 102

IX. НА ЛАДОГѢ. Конь-Камень. — Обитель преподобнаго Арсенія. **Е. Л. Маркова**. 103

X. «СУРОВЫЕ ГОДЫ». Стихотвореніе **К. М. Фофанова**. 126

XI. ПАНИКА. Очеркъ **Б. Плакса** 127

XII. ВЪ СТЕПЯХЪ. Два стихотворенія **А. Н. Будищева** . 134

XIII. НЕ СДАЛАСЬ. Романъ **Ж. Рони**. . . . . 81—128

XIV. КЪ СЛАВѢ. Романъ **Маартена Маартенса** . . 353—384

XV. РАДОСТНАЯ ЛИТЕРАТУРА. **П. Н. Краснова** . . . 136

XVI. ВЪ ТЕПЛИЦѢ. («Семья Поланецкихъ», романъ Генриха Сенкевича). **Л. Е. Оболенскаго** 146

XVII. ОСКОРБЛЕННЫЙ ГЕНІЙ. (По поводу 100-лѣтія со дня рожденія А. С. Грибоѣдова). **М. О. Меньшикова**. 174

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

XVIII. ХОЗЯИНЪ И РАБОТНИКЪ. Графа Л. Н. Толстого. . 206
XIX. ИЗЪ РУССКИХЪ ИЗДАНІЙ. Повѣсть и романъ г. Боборыкина.—Современный Чацкій. — «Три года» г. Чехова.—Физическая нравственность по г. Вл. Соловьеву.—Личность «русскаго Евклида».—Благотворительное общество сороковыхъ годовъ.—Горячность Толстого.—Неприкосновенность писемъ въ Россіи . 252
XX. ИЗЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИЗДАНІЙ. Новыя вѣянія въ англійскихъ деревняхъ. — Какъ поступаютъ американцы съ индѣйцами.—Медицина и медики въ Соединенныхъ Штатахъ. — Призывъ къ просвѣщенію народа. — Драма Прудона. — Японскія сказки.— Взглядъ Ломброзо на медіумизмъ.—Характеристика Ломброзо, сдѣланная его дочерью 266
XXI. ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНАГО МІРА. Новыя вѣянія въ русскомъ литературномъ мірѣ.—«Литературный домъ».— Заботы о чистотѣ языка.—Передвижныя библіотеки въ Нью-Іоркѣ. — Упадокъ книжной торговли въ Англіи. 279

ЖАЛОСТЬ И АЛЬТРУИЗМЪ.

(Изъ нравственной философіи).

I.

Человѣкъ можетъ относиться нравственно (или безнравственно) къ тому, что ниже (матеріальная жизнь), къ тому, что равно съ нимъ (другія ограниченныя существа) и къ тому, что выше его (совершенный идеалъ или божество). Этому соотвѣтствуютъ въ человѣческой природѣ три основныя нравственныя чувства: *стыдъ, жалость* и *благоговѣніе* (или религіозное чувство) *,—а въ элементарномъ нравственномъ ученіи три основныя начала: *аскетизма, альтруизма* и *піэтизма* **.

Долгое время думали, а многіе опять начинаютъ думать, что высшая добродѣтель или святость состоитъ именно въ аскетизмѣ, въ «умерщвленіи плоти», въ подавленіи естественныхъ влеченій и привязанностей, въ воздержаніи и безстрастіи. Хотя въ этомъ идеалѣ несомнѣнно есть истина, такъ-какъ ясно, что высшая или духовная сторона въ человѣкѣ должна преобладать надъ низшею или матеріальною, и усилія воли въ этомъ направленіи суть первое условіе всякой нравственности,—

* См. развитіе этого положенія въ статьѣ „Первичныя данныя нравственности" (Вопр. филос. и психол., сент. 1894).

** Объ аскетизмѣ см. ст. «Аскетическое начало въ нравственности» (Вопр. фил. и псих., январь, 1895).—Піэтизмъ берется здѣсь не въ историческомъ, а въ общемъ значеніи слова (отъ pietas—благочестіе).

нельзя однако первое условіе превращать въ послѣднюю цѣль. Человѣкъ долженъ укрѣплять духъ и подчинять ему плоть не потому, чтобы въ этомъ была цѣль его жизни, а потому, что только освободившись отъ рабства слѣпымъ и злымъ матеріальнымъ влеченіямъ, можетъ человѣкъ служить какъ слѣдуетъ правдѣ и добру и достигнуть своего положительнаго совершенства.

Правила воздержанія укрѣпляютъ въ исполняющемъ ихъ человѣкѣ силы духа, но для того, чтобы этотъ сильный духъ имѣлъ нравственное значеніе, т.-е. былъ не злымъ, а добрымъ, нужно, чтобы власть надъ собственною плотью соединялась въ немъ съ положительнымъ, благожелательнымъ отношеніемъ къ другимъ существамъ. Безъ этого условія, господство аскетическаго начала, даже на почвѣ истинной религіи, приводитъ къ ужасающимъ послѣдствіямъ, какъ показала исторія. Служители средневѣковой церкви, мучившіе и сжигавшіе еретиковъ, евреевъ, колдуновъ и вѣдьмъ, были по бо́льшей части люди въ аскетическомъ смыслѣ безупречные, но односторонняя сила духа, при отсутствіи жалости, дѣлала ихъ воплощенными дьяволами. Эти горькіе плоды средневѣковаго аскетизма достаточно оправдываютъ реакцію противъ него, которая въ области философской этики привела къ господству *альтруистическаго* начала нравственности.

Это начало имѣетъ свой глубокій корень въ нашей природѣ, именно въ видѣ чувства жалости, общаго человѣку съ другими живыми существами. Если чувство стыда выдѣляетъ человѣка изъ прочей природы и противопоставляетъ его другимъ животнымъ, то чувство жалости, напротивъ, связываетъ его со всѣмъ живущимъ и притомъ въ двоякомъ смыслѣ: во-первыхъ, потому, что оно принадлежитъ человѣку *вмѣстѣ* со всѣми другими живыми существами, а во-вторыхъ, потому, что всѣ живыя существа могутъ и должны стать предметами этого чувства для человѣка.

II.

Что естественный корень нашего нравственнаго отношенія къ другимъ заключается не въ участіи, или чувствѣ солидарности вообще, а именно въ жалости, или состраданіи,—это есть истина вовсе не связанная съ какою-нибудь метафизическою системой (напр., съ буддійскимъ вѣроученіемъ или съ философіей воли Шопенгауера) и нисколько не зависящая отъ пессимистическаго взгляда на міръ и жизнь. Какъ извѣстно, Шопенгауеръ утверждаетъ, что сущность міра есть воля, а воля по существу есть состояніе неудовлетворенное (такъ-какъ при удовлетвореніи нечего хотѣть); поэтому неудовольствіе или страданіе есть основное и положительное опредѣленіе всякаго бытія (внутри его самого), а, слѣдовательно, внутренняя нравственная связь (или солидарность) существъ между собою есть состраданіе. Но оставляя въ сторонѣ эту сомнительную метафизику (и столь-же сомнительныя вычисленія Гартмана, старающагося доказать, что количество страданій въ человѣчествѣ неизмѣримо больше количества удовольствій), мы по существу дѣла находимъ, что основаніемъ нравственнаго отношенія къ другимъ существамъ можетъ быть принципіально только жалость, или состраданіе, а никакъ не со-радованіе или со-наслажденіе.

Человѣческія наслажденія, удовольствія и радости могутъ имѣть и весьма часто имѣютъ безнравственный характеръ. Злой и мстительный человѣкъ находитъ удовольствіе въ оскорбленіи и мученіи своихъ ближнихъ, онъ наслаждается ихъ униженіемъ, радуется причиненному имъ вреду; сладострастный человѣкъ полагаетъ главную радость жизни въ развратѣ и растлѣніи, жестокій—въ умерщвленіи если не людей, то животныхъ; пьяница счастливъ, когда приводитъ себя въ одурѣніе и т. д. Во всѣхъ этихъ случаяхъ чувство удо-

вольствія нельзя отдѣлить отъ другихъ дѣйствій, его вызывающихъ, а иногда это удовольствіе сообщаетъ безнравственный характеръ такимъ дѣйствіямъ, которыя сами по себѣ были-бы безразличны. Такъ, когда солдатъ на войнѣ по командѣ убиваетъ непріятеля, побуждаемый только «долгомъ службы», то какъ-бы мы въ принципѣ ни относились къ войнѣ вообще, мы, конечно, не станемъ обвинять этого солдата въ безнравственной жестокости; другое дѣло, если онъ находитъ удовольствіе въ убійствѣ и съ наслажденіемъ прокалываетъ человѣка штыкомъ. Въ болѣе простыхъ случаяхъ это еще яснѣе: такъ, несомнѣнно, что безнравственный характеръ пьянства состоитъ вовсе не во внѣшнемъ фактѣ глотанія извѣстныхъ напитковъ, а только во внутреннемъ удовольствіи, которое находитъ человѣкъ въ томъ, чтобы искусственно одурять себя.

Но если извѣстное удовольствіе само по себѣ безнравственно, то и сочувствіе ему со стороны другого лица (со-радованіе, со-наслажденіе) получаетъ такой-же безнравственный характеръ. Дѣло въ томъ, что положительное сочувствіе какому-нибудь удовольствію заключаетъ въ себѣ *одобреніе* этого удовольствія: такъ, сорадуясь пьяницѣ въ его любимомъ наслажденіи, я тѣмъ самымъ одобряю пьянство; раздѣляя съ кѣмъ-нибудь удовольствіе удачнаго мщенія, я тѣмъ самымъ одобряю мстительность; — а такъ-какъ удовольствіе это есть нѣчто дурное, то сочувствующій ему одобряетъ дурное, и, слѣдовательно, впадаетъ самъ въ безнравственность. Какъ соучастіе въ преступленіи само признается преступленіемъ, такъ сочувствіе въ порочномъ наслажденіи или радости—само должно быть признано порочнымъ. Значитъ, участіе въ чужомъ удовольствіи или радости бываетъ хорошо или дурно, смотря по предмету, и, слѣдовательно, оно само по себѣ никакъ не есть основаніе нравственныхъ отношеній, такъ-какъ можетъ быть и безнравственнымъ.

Нельзя сказать того-же о страданіи и состраданіи. По самому понятію страданіе есть такое состояніе, въ которомъ воля страдающаго не принимаетъ прямого и положительнаго участія. * Поэтому страданіе, даже и заслуженное, не можетъ быть безнравственнымъ. Причинами страданія могутъ быть дурные поступки, но само страданіе отдѣляется отъ своей причины и не заключаетъ въ себѣ нравственной вины, а напротивъ, признается ея обличеніемъ и искупленіемъ. Если пьянство есть грѣхъ, то никакой ригористъ не усмотритъ грѣха въ головной боли отъ похмѣлья. А потому и участіе въ чужомъ страданіи (хотя-бы заслуженномъ)—состраданіе, или жалость—не можетъ представлять ничего безнравственнаго. Сочувствуя страждущему, я вовсе не одобряю дурную причину его страданія. Сожалѣніе о страданіяхъ преступника, конечно, не есть одобреніе или оправданіе преступленій. Напротивъ, чѣмъ большую жалость возбуждаютъ во мнѣ прискорбныя послѣдствія чьихъ-нибудь грѣховъ, тѣмъ сильнѣе мое *осужденіе* этихъ грѣховъ.

Участіе въ чужомъ удовольствіи всегда можетъ быть своекорыстно; даже, напримѣръ, въ случаѣ старика, раздѣляющаго веселость ребенка, альтруистическій характеръ такого чувства остается сомнительнымъ; этому старику во всякомъ случаѣ пріятно оживлять память собственнаго беззаботнаго дѣтства.

Напротивъ, всякое серьезное чувство сожалѣнія о чужомъ страданіи, нравственномъ или физическомъ, тяжело для испытывающаго это чувство и слѣдовательно противно его эгоизму,—что видно уже изъ того, что искрен-

* Когда говорится о «вольномъ страданіи», то разумѣется, что предметъ воли не есть самое страданіе, а то что дѣлаетъ его необходимымъ, или то благо, которое достигается посредствомъ страданія. Мученикъ соглашается на мученія не ради ихъ самихъ, а какъ на необходимое при данныхъ условіяхъ слѣдствіе своей вѣры и какъ на путь, ведущій къ высшей славѣ и царству небесному.

няя скорбь о другихъ смущаетъ нашу личную радость, омрачаетъ наше веселіе, т. е. оказывается несовмѣстимою съ состояніемъ эгоистической удовлетворенности. Итакъ дѣйствительное *состраданіе*, или жалость, не можетъ имѣть своекорыстныхъ мотивовъ и есть чувство *чисто*-альтруистическое, въ противоположность *сорадованію*, или со-наслажденію, которое есть чувство смѣшаннаго и неопредѣленнаго (въ нравственномъ смыслѣ) характера.

III.

Есть еще другая причина, по которой участіе въ чужихъ радостяхъ или удовольствіяхъ не можетъ само по себѣ имѣть того основного значенія для этики, какое принадлежитъ чувству жалости, или состраданію. Въ основу нравственности можно полагать только такія чувства, которыя каждый разъ содержатъ въ себѣ побужденія къ опредѣленному дѣйствію, изъ обобщенія которыхъ образуется затѣмъ опредѣленное нравственное правило или принципъ. Но удовольствіе или радость есть конецъ дѣйствія, въ немъ достигнута цѣль дѣятельности, и участіе въ чужомъ удовольствіи, какъ и ощущеніе своего собственнаго, не заключаетъ въ себѣ никакого побужденія и основанія къ дальнѣйшему дѣйствію. Напротивъ, жалость прямо побуждаетъ насъ къ дѣйствію съ цѣлью избавить другое существо отъ страданія, или помочь ему. Такое дѣйствіе можетъ быть чисто-внутреннимъ, напримѣръ, когда жалость къ врагу удерживаетъ меня отъ нанесенія ему обиды или вреда, но и это во всякомъ случаѣ есть дѣйствіе, а не пассивное состояніе, какъ радость или удовольствіе. Разумѣется, я могу находить внутреннее удовлетвореніе въ томъ, что не обидѣлъ ближняго, но лишь послѣ того, какъ актъ воли совершился. Точно также, когда дѣло идетъ о положительной помощи страдающему или нуждающемуся ближнему, удовольствіе или радость (достав-

ляемая этимъ какъ ему, такъ и самому помогающему) есть лишь окончательное слѣдствіе и завершеніе альтруистическаго поступка, а не основаніе, изъ котораго онъ вытекаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, если я вижу страдающее существо, нуждающееся въ моей помощи, или узнаю о немъ, то одно изъ двухъ: или это чужое страданіе отзывается во мнѣ также болѣе или менѣе сильнымъ страданіемъ, я испытываю жалость, и въ такомъ случаѣ это чувство есть прямое и достаточное основаніе, побуждающее меня къ дѣятельной помощи; или-же въ противномъ случаѣ, если чужое страданіе *не* вызываетъ во мнѣ жалости, или вызываетъ въ степени недостаточной для побужденія къ дѣйствію, тѣмъ болѣе будетъ недостаточно представленіе объ удовольствіи, которое произошло-бы изъ моего дѣйствія. Ясно, что отвлеченная и условная мысль о будущемъ душевномъ состояніи никакъ не можетъ дѣйствовать сильнѣе непосредственнаго созерцанія или конкретнаго представленія настоящихъ физическихъ и душевныхъ состояній, требующихъ прямого воздѣйствія. Слѣдовательно во всякомъ альтруистическомъ поступкѣ дѣйствительное его основаніе или производящая причина (causa efficiens) есть ощущеніе или представленіе чужого страданія, существующаго въ настоящемъ, а не мысль о томъ удовольствіи, которое могло-бы произойти въ будущемъ, вслѣдствіе оказаннаго благодѣянія. Конечно, когда кто-нибудь въ силу жалости рѣшился помочь страдающему существу, то онъ можетъ (буде есть на то время) представить себѣ и ту радость, которую онъ этимъ доставитъ какъ тому существу, такъ и самому себѣ, но принимать эту сопровождающую или привходящую мысль за дѣйствительное основаніе самого рѣшенія—было-бы противно и логикѣ, и психологическому опыту.

Итакъ если съ одной стороны участіе въ настоящихъ удовольствіяхъ и радостяхъ другихъ существъ, какъ въ состояніяхъ достигнутаго удовлетворенія, по самому по-

нятію не можетъ заключать въ себѣ основанія и правила дѣйствій, а съ другой стороны условное представленіе будущихъ удовольствій, какъ предполагаемыхъ слѣдствій устраненнаго страданія, можетъ быть только косвеннымъ и второстепеннымъ дополненіемъ дѣйствительнаго чувства состраданія или жалости, побуждающаго къ дѣятельному добру, то слѣдовательно за однимъ этимъ чувствомъ и остается значеніе настоящаго основанія альтруистическихъ поступковъ.

Кто жалѣетъ о чужихъ страданіяхъ, тотъ конечно принимаетъ участіе и въ чужихъ радостяхъ и удовольствіяхъ,—когда они невинны и безвредны. Но это естественное слѣдствіе нравственнаго отношенія къ другимъ нельзя принимать за основаніе нравственности. Истинно добрымъ можно признать только то, что само по себѣ хорошо и потому *во всѣхъ случаяхъ* сохраняетъ свой добрый характеръ, никогда не становясь зломъ; поэтому подлиннымъ основаніемъ нравственности (какъ добра) можетъ быть только такое данное, изъ котораго выводится *общее и безусловное* правило. Такова именно жалость, ибо жалѣть всѣ страждущія существа есть свойство одобрительное безусловно и во всѣхъ случаяхъ, такъ-что оно можетъ быть возведено въ правило, не требующее никакихъ ограниченій,—тогда-какъ участіе въ чужихъ радостяхъ и удовольствіяхъ можетъ быть одобряемо лишь условно и съ ограниченіями, да и въ тѣхъ случаяхъ, когда одобряется, не заключаетъ въ себѣ, какъ мы видѣли, никакого правила дѣйствія.

IV.

Тотъ фактъ, что отдѣльное существо можетъ чувствовать какъ-бы за предѣлами своей индивидуальности, болѣзненно отзываясь на чужое страданіе, т.-е. ощущая его какъ свое собственное,—этотъ несомнѣнный и столь распространенный фактъ представляется на иной взглядъ

чѣмъ-то загадочнымъ и таинственнымъ. Именно такимъ признаетъ его тотъ философъ, который въ состраданіи полагаетъ единственную основу всей нравственности.

«Какъ возможно, спрашиваетъ онъ,—чтобы страданіе, которое не есть мое, поражаетъ не меня, — сдѣлалось однако, столь-же непосредственно, какъ въ другихъ случаяхъ только мое собственное, мотивомъ для меня и побуждало-бы меня къ дѣйствію?»—«Это предполагаетъ, говоритъ онъ далѣе, что я съ другимъ въ нѣкоторой мѣрѣ отождествился и что слѣдовательно граница между *я* и *не-я* на этотъ разъ снята: только тогда положеніе другого, его потребность, его нужда, его страданіе непосредственно (?) становятся моими; тогда я уже болѣе не вижу его такимъ, какимъ онъ всетаки дается мнѣ въ эмпирическомъ представленіи,—какъ нѣчто мнѣ чуждое, для меня безразличное (?), совершенно (?) отъ меня отдѣльное; но здѣсь напротивъ (т.-е. при состраданіи) въ немъ (этомъ чужомъ существѣ) страдаю и я, несмотря на то, что его кожа не покрываетъ моихъ нервовъ. Только чрезъ такое отождествленіе можетъ *его* страданіе, *его* нужда стать мотивомъ *для меня*, каковымъ помимо этого можетъ быть только мое собственное страданіе. Это явленіе въ высшей степени таинственно, — это настоящее таинство этики, ибо это есть нѣчто такое, о чемъ разумъ не можетъ дать прямого отчета (?!), и основанія этого явленія не могутъ быть найдены путемъ опыта. И между тѣмъ это есть нѣчто вседневное. Каждый испыталъ это на себѣ и видѣлъ въ другихъ. Это таинство совершается каждый день на нашихъ глазахъ въ частныхъ случаяхъ, — каждый разъ, когда по непосредственному влеченію, безъ дальнихъ разсужденій, человѣкъ помогаетъ другому и защищаетъ его, подвергая иногда очевидной опасности свою жизнь ради человѣка, котораго онъ видѣлъ въ первый разъ, и не думая при этомъ ничего, кромѣ того именно, что онъ видитъ великую нужду и опасность другого; обнару-

живается это таинство и въ широкихъ размѣрахъ, когда цѣлый народъ жертвуетъ своимъ достояніемъ и кровью для защиты или освобожденія другого угнетеннаго народа. И всегда необходимымъ условіемъ для того, чтобы подобныя дѣйствія заслуживали безусловнаго нравственнаго одобренія, является именно присутствіе этого таинственнаго акта состраданія или внутренняго отождествленія себя съ другимъ безо всякихъ иныхъ мотивовъ». *

Все это разсужденіе о таинственномъ характерѣ состраданія отличается болѣе литературнымъ краснорѣчіемъ, нежели философской правдивостью. Таинственность здѣсь не заключается въ самомъ фактѣ, а происходитъ изъ невѣрнаго его описанія, въ которомъ крайніе термины выставляются съ непомѣрно преувеличенною яркостью и рѣзкостью, а дѣйствительные переходы и отношенія между ними совершенно скрадываются, какъ будто-бы ихъ вовсе не было. Въ своей области Шопенгауеръ такъ-же злоупотребляетъ риторическимъ пріемомъ контраста или антитезы, какъ Викторъ Гюго—въ своей. Дѣло представляется такъ, будто данное существо, *безусловно отдѣльное* отъ другого, вдругъ *непосредственно* съ нимъ *отождествляется* въ чувствѣ состраданія. Это было-бы, конечно, таинственно въ высшей степени. Но въ дѣйствительности ни той совершенной отдѣльности, ни того непосредственнаго отождествленія, о которыхъ говоритъ Шопенгауеръ, вовсе не существуетъ. Чтобы понять какое-нибудь отношеніе, нужно взять его сначала въ простѣйшемъ и первичномъ его проявленіи. Таковъ материнскій инстинктъ у животныхъ. Когда собака защищаетъ своихъ щенятъ или страдаетъ при ихъ гибели,— гдѣ тутъ вся эта таинственность, о которой говоритъ Шопенгауеръ? Представляютъ-ли эти дѣтеныши для ихъ

* Schopenhauer, „Die beiden Grundprobleme der Ethik", 2 изд. Лейпцигъ, 1860, стр. 230.

родительницы «нѣчто чуждое, безразличное, совершенно отдѣльное»? Вѣдь между ею и ими существовала изначала прямая реальная связь, физическая и органическая, независимо отъ всякой метафизики ясная и несомнѣнная для самаго простого эмпирическаго взгляда. Эти существа были въ продолженіе извѣстнаго времени только реальною частью ея собственнаго тѣла, ея и ихъ нервы дѣйствительно покрывала одна общая кожа, и самое начало ихъ существованія было лишь измѣненіе въ ея собственномъ организмѣ, болѣзненно отразившееся и въ ея ощущеніи *. Эта реальная органическая связь при рожденіи ослабляется, такъ сказать растягивается, однако не разрывается совсѣмъ и не замѣняется «совершенною отдѣльностью». Поэтому участіе матери въ страданіяхъ своихъ дѣтенышей въ сущности есть такой-же естественный фактъ, какъ и то, что я болѣзненно ощущаю свой порѣзанный палецъ, или вывихнутую ногу,—въ извѣстномъ смыслѣ и это, конечно, таинственно, но не въ томъ, который имѣетъ въ виду философъ состраданія. Между тѣмъ и всѣ прочія, болѣе сложныя проявленія этого чувства имѣютъ такое-же основаніе. Все существующее вообще, а въ особенности всѣ живыя существа связаны между собою совмѣстностью бытія и единствомъ происхожденія, всѣ суть части и порожденія одной общей матери—природы,—нигдѣ и ни въ чемъ нѣтъ той «совершенной отдѣльности», о которой говоритъ философъ. Естественная, органическая связь всѣхъ существъ, какъ частей одного цѣлаго—есть фактъ опыта, а не умозрительная идея только, а потому и психологическое выраженіе этой связи—внутреннее участіе одного существа въ страданіи другихъ, состраданіе или жалость — есть нѣчто понятное и съ эмпирической точки зрѣнія. Это участіе существъ другъ въ другѣ соотвѣтствуетъ явному смыслу вселенной, вполнѣ согласно съ разумомъ или

* Кромѣ человѣческихъ матерей, и у нѣкоторыхъ животныхъ наблюдается *nausea a concepti*.

совершенно раціонально. Безсмысленно или ирраціонально, напротивъ, взаимное отчужденіе существъ, ихъ субъективная отдѣльность, противорѣчащая объективной нераздѣльности. Этотъ фактъ внутренняго эгоизма, а никакъ не взаимное участіе между частями единой природы, есть дѣйствительно нѣчто таинственное и загадочное въ высшей степени,—нѣчто такое, о чемъ разумъ не можетъ дать прямого отчета, и основанія *этого* явленія не могутъ быть найдены путемъ опыта.

Но если между существами нѣтъ и не можетъ быть совершенной отдѣльности (которая лишь утверждается, но не осуществляется эгоизмомъ), то съ другой стороны взаимная ихъ связь, психологически выражающаяся въ состраданіи или жалости, вовсе не есть то «непосредственное отождествленіе», о которомъ говоритъ философъ «воли и представленія». Когда я жалѣю моего друга, у котораго болитъ голова, то обыкновенно это чувство состраданія не переходитъ въ головную боль; нетолько я самъ не отождествляюсь непосредственно съ нимъ, но и состоянія наши остаются *не* тождественными, и я отчетливо различаю свою здоровую голову отъ его больной. Точно также, насколько мнѣ извѣстно, никогда еще не бывало такого случая, чтобы сострадательный человѣкъ, бросающійся въ воду для спасенія утопающаго, принималъ при этомъ его за себя, или себя за него. Даже курица—существо несомнѣнно болѣе чадолюбивое, нежели разсудительное,—все-таки ясно понимаетъ различіе между собою и своими цыплятами, а потому и соблюдаетъ относительно ихъ опредѣленный образъ дѣйствія, что было-бы невозможно, еслибы въ ея материнскомъ состраданіи были «сняты границы между *я* и *не-я*». На самомъ дѣлѣ ни въ этомъ, ни въ другихъ случаяхъ эти границы не снимаются, а только оказываются не такими безусловными и непроницаемыми, какими ихъ воображаетъ отвлеченная рефлексія школьныхъ философовъ.

Снятіе границъ между *я* и *не-я*, или непосредственное отождествленіе—это только риторическая фигура, а не выраженіе дѣйствительнаго факта. Какъ одинакая вибрація созвучныхъ струнъ, такъ и сочувственная связь живыхъ существъ есть не простое тождество, а согласіе однороднаго. И съ этой стороны основной нравственный фактъ состраданія или жалости совершенно соотвѣтствуетъ дѣйствительной природѣ вещей или смыслу міра, котораго неразрывная связь не есть единство пустоты, а обнимаетъ полноту опредѣленныхъ различій.

V.

Чувство жалости, какъ и слѣдуетъ для нравственной основы, не имѣетъ внѣшнихъ границъ своего примѣненія. Отъ тѣснаго круга материнской любви, столь сильной уже у высшихъ животныхъ, оно можетъ (у человѣка) все болѣе и болѣе расширяясь, отъ семьи переходить на родъ и племя, на гражданскую общину, на цѣлый народъ, на все человѣчество, наконецъ охватывать собою объемъ всего живущаго во вселенной. Что въ отдѣльныхъ случаяхъ, при видѣ конкретнаго страданія или нужды, мы можемъ дѣятельно жалѣть нетолько *всякаго* человѣка,—будь онъ иноплеменникъ или иновѣрецъ,—но и всякое животное,—это несомнѣнно, и есть дѣло обыкновенное. Менѣе обычна, но всетаки встрѣчается такая широта сострадательнаго сердца, которая безъ всякаго видимаго повода заразъ обнимаетъ напряженнымъ чувствомъ жалости все множество живыхъ существъ цѣлаго міра. Трудно заподозрить въ искусственной реторикѣ или напускномъ паѳосѣ слѣдующее наивное описаніе *универсальной жалости, какъ дѣйствительнаго состоянія*,—очень мало похожее на такъ-называемую «міровую скорбь» (Weltschmerz): «И былъ спрошенъ: что такое сердце милующее? И отвѣчалъ: возгорѣніе сердца у человѣка о всемъ твореніи, о человѣкахъ,

о птицахъ, о животныхъ, *о демонахъ* и о всякой твари. При воспоминаніи о нихъ и при воззрѣніи на нихъ, очи у человѣка источаютъ слезы. Отъ великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и отъ великаго страданія сжимается сердце его, и не можетъ оно вынести, или слышать, или видѣть какого-либо вреда или малой печали, претерпѣваемыхъ тварью. А посему и о безсловесныхъ, и *о врагахъ истины*, и о дѣлающихъ ему вредъ ежечасно со слезами приноситъ молитву, чтобы сохранились они и были помилованы, а также и о естествѣ пресмыкающихся молится съ великою жалостью, какая безъ мѣры возбуждается въ сердцѣ его до уподобленія въ семъ Богу». *

Въ этомъ описаніи основного альтруистическаго побужденія на его высшей степени нѣтъ ни «непосредственнаго отождествленія», ни «снятія границъ между *я* и *не-я*»; оно отличается отъ разсужденій Шопенгауэра какъ живая правда отъ литературнаго краснорѣчія. Эти слова христіанскаго писателя показываютъ также, что намъ нѣтъ надобности, какъ ошибочно думалъ Шопенгауэръ, обращаться къ буддизму или къ индійскимъ драмамъ, чтобы научиться молитвѣ: «Да будутъ всѣ живыя существа свободны отъ страданія».

VI.

Общее сознаніе въ человѣчествѣ рѣшительно признаетъ, что *жалость есть добро*; человѣкъ, проявляющій это чувство, называется *добрымъ*; чѣмъ глубже онъ его испытываетъ и чѣмъ шире примѣняетъ, тѣмъ онъ признается добрѣе; человѣкъ безжалостный, напротивъ, называется *злымъ* по преимуществу. Изъ этого однако не слѣдуетъ, чтобы сущность всей нравственности—или все добро—со-

* «Иже во святыхъ отца нашего аввы Исаака Сиріянина, подвижника и отшельника, бывшаго епископомъ христолюбиваго града Ниневіи, *Слова Подвижническія*». Москва 1858, стр. 299.

стояло только въ состраданіи или «симпатическихъ чувствахъ», какъ это часто принимаютъ съ различныхъ точекъ зрѣнія.

«Безграничное состраданіе ко всѣмъ живущимъ существамъ, замѣчаетъ Шопенгауэръ,—есть самое твердое и вѣрное ручательство за нравственный образъ дѣйствій и не нуждается ни въ какой казуистикѣ. Тотъ, кто исполненъ этимъ чувствомъ, уже навѣрно никого не обидитъ, никому не причинитъ страданія, но всѣ его дѣйствія неизбѣжно будутъ носить печать правды и милости. Пусть попробуютъ, напротивъ, сказать: «этотъ человѣкъ добродѣтеленъ, но онъ не вѣдаетъ состраданія», или: «это неправедный и злой человѣкъ, однако онъ очень сострадателенъ»,—и противорѣчіе будетъ сразу чувствительно». * Эти слова справедливы только при значительномъ ограниченіи. Несомнѣнно, что жалость или состраданіе есть дѣйствительная основа нравственности, но явная ошибка Шопенгауэра состоитъ въ томъ, что онъ признаетъ это чувство *единственною* основой *всей* нравственности. ** На самомъ дѣлѣ оно есть лишь одна изъ трехъ основъ нравственности, имѣющая опредѣленную область примѣненія, именно опредѣляющая наше должное отношеніе къ другимъ существамъ нашего міра. Жалость есть единственная настоящая основа *альтруизма*, но альтруизмъ и нравственность не одно и то-же: онъ есть только часть нравственности. Правда, что «безграничное состраданіе ко всѣмъ живущимъ существамъ есть самое твердое и вѣрное ручательство»—но только *не* за нравственный образъ дѣйствія *вообще*, какъ ошибочно утверждаетъ нашъ философъ, а лишь за нравственный образъ дѣйствія по отношенію къ другимъ существамъ, составляющимъ предметъ состраданія; а этимъ отношеніемъ при

* Die beid. Grundprobl. der Ethik, 2 изд. стр. 236.

** Я тѣмъ болѣе долженъ указать на эту важную ошибку моднаго философа, что самъ раздѣлялъ ее въ прежнее время, когда писалъ свою диссертацію «Критика отвлеченныхъ началъ».

всей его важности цѣлая нравственность все-таки не исчерпывается. Кромѣ отношенія къ другимъ себѣ подобнымъ существамъ, у человѣка есть еще отношеніе къ его собственной матерьяльной природѣ, а также къ высшимъ началамъ всякаго бытія,—и эти отношенія также требуютъ нравственнаго опредѣленія для различенія въ нихъ добра и зла. Тотъ кто исполненъ чувствомъ жалости, конечно, никого не обидитъ, никому не причинитъ страданія,— т. е. не обидитъ *никого другого*, но себя онъ очень можетъ обидѣть, предаваясь плотскимъ страстямъ, унижающимъ въ немъ человѣческое достоинство; потому-что при самомъ сострадательномъ сердцѣ можно имѣть склонность къ разврату и другимъ низменнымъ порокамъ, которые, вовсе не противорѣча состраданію, противорѣчатъ однако нравственности, изъ чего явствуетъ, что эти два понятія не покрываютъ другъ друга. Правъ Шопенгауэръ, что нельзя сказать: «это несправедливый и злой человѣкъ, однако онъ очень сострадателенъ»,—но страннымъ образомъ этотъ писатель забылъ, что можно сказать и часто приходится говорить: «это чувственный и безпутный человѣкъ—развратникъ, обжора, пьяница,—однако онъ очень сострадателенъ». Ясно, что сильное развитіе симпатическихъ чувствъ—жалости, милосердія — исключаетъ возможность поступковъ *злыхъ* въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. жестокихъ, вредныхъ для другихъ, но оно нисколько не мѣшаетъ дѣяніямъ *постыднымъ*, которыя нельзя однако считать безразличными въ нравственномъ отношеніи. И если жалость имъ не препятствуетъ, то должна быть для внутренняго противодѣйствія имъ другая основа въ нашей нравственной природѣ, какую мы и находимъ въ чувствѣ стыда, изъ котораго развиваются правила аскетизма,*

* Любопытно, что самъ Шопенгауэръ признавалъ и даже крайне преувеличивалъ значеніе всякаго аскетизма, но почему-то совершенно выдѣлялъ его изъ нравственнаго ученія. Это одинъ изъ многихъ примѣровъ безсвязности мышленія знаменитаго писателя.

подобно тому, какъ изъ жалости вытекаютъ правила альтруизма.

VII.

Истинная сущность жалости или состраданія вовсе не есть непосредственное отождествленіе себя съ другимъ, а признаніе за другимъ собственнаго (ему принадлежащаго) значенія,—права на существованіе и возможное благополучіе. Когда я жалѣю другого человѣка или животное, я вовсе не смѣшиваю себя съ нимъ, не принимаю его за себя и себя за него, а только вижу въ немъ сродное или однородное со мною, подобное мнѣ существо, одушевленное какъ и я, желающее, какъ и я, жить и наслаждаться благами бытія. Признавая за самимъ собою право на исполненіе такого желанія, я признаю его и за другимъ; болѣзненно отзываясь на всякое нарушеніе этого права относительно меня, на всякую обиду мнѣ наносимую, я подобнымъ-же образомъ отзываюсь и на нарушеніе чужого права, на чужую обиду,—жалѣя себя, жалѣю и другого.

Такимъ образомъ, мыслимое содержаніе (идея) жалости или состраданія есть правда и справедливость. Правда, что другія существа подобны мнѣ, и справедливо, чтобы я относился къ нимъ такъ-же, какъ къ себѣ. Это положеніе, ясное само по себѣ, становится еще яснѣе при отрицательной провѣркѣ. Когда я отношусь безжалостно или равнодушно къ другимъ существамъ, считаю позволительнымъ ихъ обижать и не обязательнымъ—помогать имъ, когда я смотрю на нихъ только какъ на средства для своихъ цѣлей, то они являются для меня не тѣмъ, что́ они суть въ дѣйствительности. Существо является здѣсь лишь вещью, живое—мертвымъ, одушевленное—бездушнымъ, сродное мнѣ — чужимъ, подобное мнѣ — безусловно различнымъ. Такое отношеніе, въ которомъ извѣстный предметъ берется не за то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, есть прямое отрицаніе правды, выте-

кающіе отсюда поступки будутъ несправедливы, а слѣдовательно противоположное отношеніе, которое субъективно проявляется во внутреннемъ чувствѣ участія, жалости или состраданія, объективно говоря *выражаетъ правду*, и дѣйствія изъ него происходящія будутъ *справедливы*. Мѣрить различною мѣрою всѣми признается какъ элементарное выраженіе несправедливости, но когда я безжалостенъ къ другимъ, т. е. обращаюсь съ ними какъ съ бездушными и безправными вещами, а себя, напротивъ, утверждаю какъ одушевленное и полноправное лице, то я очевидно мѣряю различными мѣрами и грубо противорѣчу правдѣ и справедливости, и наоборотъ—когда я жалѣю другихъ, какъ и себя, я мѣряю одною мѣрой и слѣдовательно поступаю согласно правдѣ и справедливости.

Какъ постоянное свойство и практическій принципъ, безжалостность называется *эгоизмомъ*. Между своимъ *Я* и другими существами утверждается здѣсь безусловная противоположность, непроходимая бездна. Я — все для себя и долженъ быть всѣмъ для другихъ, но другіе сами по себѣ ничто и дѣлаются чѣмъ-нибудь лишь какъ средство для меня; моя жизнь и благополучіе есть абсолютная цѣль, жизнь и благополучіе другихъ допускаются только какъ орудіе для осуществленія моей цѣли, какъ необходимая среда для моего самоутвержденія; я— единое средоточіе, а весь міръ только окружность. Хотя такая точка зрѣнія рѣдко высказывается во всей своей чистотѣ, несомнѣнно однако, что она съ тѣми или другими ограниченіями лежитъ въ основѣ нашей природной жизни. Безусловныхъ эгоистовъ мало: большинство людей кого-нибудь да жалѣетъ, въ комъ-нибудь да видитъ себѣ подобнаго; но ограниченный въ извѣстной сферѣ (обыкновенно весьма узкой) эгоизмъ со всею силою проявляется въ другихъ, болѣе широкихъ. Тотъ, кто не держится этой точки зрѣнія по отношенію къ своимъ домашнимъ, т. е. включаетъ въ свое *Я* и семью свою,

тѣмъ съ большею безпощадностью противуполагаетъ это расширенное *Я* всему чужому; кто распространяетъ (обыкновенно весьма поверхностно) свое *Я* на цѣлый народъ свой, тотъ съ тѣмъ большимъ ожесточеніемъ и за себя и за этотъ народъ становится на точку зрѣнія эгоизма по отношенію къ инородцамъ и чужеземцамъ и т. д. Всѣ эти ограниченія и видоизмѣненія имѣютъ, конечно, большую матерьяльную важность, но они не касаются самаго принципа, который состоитъ въ безусловномъ внутреннемъ противуположеніи себя и своего—чужому, въ утвержденіи бездны между ними. Этотъ принципъ ложенъ по существу, ибо никакой такой безусловной противуположности, никакой такой бездны въ дѣйствительности нѣтъ и быть не можетъ. Тутъ ясно, что эгоизмъ и безжалостность есть въ сущности то-же, что неправда. Эгоизмъ прежде всего *не реаленъ*, фантастиченъ, онъ утверждаетъ несуществующее и невозможное. Считать себя (въ узкомъ или въ широкомъ смыслѣ) исключительнымъ средоточіемъ вселенной въ сущности такъ-же нелѣпо, какъ считать себя стеклянною скамейкою, или созвѣздіемъ Большой Медвѣдицы. *

Если такимъ образомъ эгоизмъ осуждается разумомъ, какъ безсмысленное утвержденіе несуществующаго и невозможнаго, то противуположный принципъ альтруизма, психологически основанный на чувствѣ жалости, вполнѣ оправдывается разумомъ, какъ и совѣстью. Здѣсь я признаю, что и другія существа суть такіе-же относи-

---

* Окончательное рѣшеніе вопроса о дѣйствительности внѣшняго міра и собственной одушевленности существъ принадлежитъ метафизикѣ. Здѣсь я имѣю въ виду лишь то свидѣтельство общаго сознанія которое принимаетъ и эгоистъ вопреки своей точкѣ зрѣнія. Когда нужно для эгоистическихъ цѣлей склонить другихъ на свою сторону, самый крайній эгоистъ относится къ нимъ какъ къ дѣйствительнымъ существамъ и самостоятельнымъ и полноправнымъ лицамъ,—убѣждаетъ ихъ, принимая во вниманіе ихъ собственные интересы. Такимъ образомъ принципъ эгоизма противорѣчитъ самому себѣ и есть ложь во всякомъ случаѣ.

тельные центры бытія и живыхъ силъ, какъ и я самъ. Я утверждаю здѣсь правду, признаю то, что есть. Изъ этой правды, о которой внутренно, въ душѣ моей свидѣтельствуетъ чувство жалости, возбуждаемое другими существами, какъ сродными и подобными мнѣ, мой разумъ выводитъ принципъ или правило отношенія моего къ этимъ другимъ существамъ: *поступай съ другими такъ, какъ хочешь, чтобы они поступали съ тобою самимъ.*

VIII.

Общее правило или принципъ альтруизма * естественно расчленяется на два частные. Начало этого расчлененія можно видѣть уже въ основномъ альтруистическомъ чувствѣ жалости. Когда я кого-нибудь дѣйствительно жалѣю, то я во-первыхъ не стану самъ причинять ему страданіе или вредъ, не буду *обижать* его, и во-вторыхъ, когда онъ независимо отъ меня подвергается страданію или обидѣ, я буду помогать ему. Отсюда два правила альтруизма,—отрицательное и положительное: 1) *Не дѣлай другому ничего такого, чего себѣ не хочешь отъ другихъ*, и 2) *Дѣлай другому все то, чего самъ хотѣлъ-бы отъ другихъ.* Короче и проще эти два правила, соединяемыя обыкновенно вмѣстѣ, выражаются такъ: *никого не обижай и всѣмъ, насколько можешь, помогай* (neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva).

Первое, отрицательное, правило называется въ част-

* Этотъ терминъ, введенный въ употребленіе основателемъ позитивизма, Огюстомъ Контомъ, есть точное выраженіе логической антитезы эгоизму и потому отвѣчаетъ дѣйствительной потребности философскаго языка (альтруизмъ—отъ *alter*, *другой*, какъ эгоизмъ—отъ *ego*, *я*). Наши ярые противники иностранныхъ словъ должны-бы быть послѣдовательны и, возставая противъ альтруизма, изгнать также изъ своей рѣчи и эгоизмъ. Вмѣсто этихъ словъ они могутъ говорить *дружачество* и *ячество*. Этотъ послѣдній терминъ, кажется, уже кѣмъ-то употреблялся.

ности правиломъ *справедливости*, второе—*милосердія*. Но такое различеніе несовсѣмъ точно. И въ основѣ второго правила лежитъ также справедливость: если я желаю, чтобы другіе помогали мнѣ въ нуждѣ, то справедливо, чтобы и я имъ помогалъ. Съ другой стороны, если я не хочу никого обижать, то вѣдь это потому, что я въ другихъ признаю такія-же живущія и страдающія существа, какъ я самъ; но въ такомъ случаѣ я конечно буду стараться по возможности избавлять эти существа отъ страданія: я ихъ не обижаю, потому-что ихъ жалѣю, но если я ихъ жалѣю, то я буду и помогать имъ. Милосердіе предполагаетъ справедливость, а справедливость требуетъ милосердія,—это только различныя стороны, различные способы проявленія одного и того-же.

Между этими двумя сторонами или степенями альтруизма есть дѣйствительное различіе, но нѣтъ и не можетъ быть противуположности и противорѣчія. Не помогать другимъ значитъ уже обижать ихъ; человѣкъ послѣдовательно справедливый непремѣнно будетъ исполнять и обязанности милосердія, а человѣкъ истинно-милосердный не можетъ быть въ то-же время несправедливымъ. Эта *нераздѣльность* двухъ альтруистическихъ правилъ (при всемъ ихъ различіи) очень важна какъ основаніе для внутренней связи права и нравственности, политики и духовной жизни общества.

Общее правило альтруизма: поступай съ другими такъ, какъ хочешь, чтобы они поступали съ тобою—вовсе не предполагаетъ матерьяльнаго или качественнаго равенства всѣхъ субъектовъ. Такого равенства не существуетъ въ природѣ, и требовать его было-бы безсмысленно. Дѣло идетъ не о равенствѣ, а лишь о равномъ правѣ на существованіе и развитіе своихъ положительныхъ силъ. Дикій папуасъ имѣетъ такое-же право существовать и совершенствоваться въ своей сферѣ, какое имѣлъ Францискъ Ассизскій, или Гете—въ своей. Ува-

жать *это* право мы должны одинаково во всѣхъ случаяхъ—убійство дикаря есть такой-же грѣхъ, какъ убійство генія, или святого; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы они были равны въ другихъ отношеніяхъ и чтобы мы должны были относиться къ нимъ одинаково внѣ предѣловъ этого общечеловѣческаго права. Матерьяльнаго равенства нѣтъ нетолько между различными существами, но оно не сохраняется и въ одномъ и томъ-же существѣ при перемѣнѣ возрастовъ и состояній: въ дѣтствѣ онъ не тотъ, что въ зрѣломъ возрастѣ, въ тяжкой болѣзни не тотъ, что въ здоровомъ состояніи; однако, его человѣческія права, нравственная самоцѣнность его какъ лица остается неизмѣнною,—точно также не упраздняется она и безконечнымъ разнообразіемъ и неравенствомъ отдѣльныхъ лицъ, племенъ и степеней культуры.

Логическія требованія альтруизма всеобъемлющи, разумъ не знаетъ пристрастій и перегородокъ; и въ этомъ онъ совпадаетъ съ тѣмъ чувствомъ, на которомъ психологически опирается альтруизмъ. Жалость, какъ мы видѣли, также универсальна и безпристрастна; и въ ней человѣкъ доходитъ до «уподобленія Богу», потому-что обнимаетъ одинаковымъ участіемъ всѣхъ безъ различія, и добрыхъ и «враговъ истины», и людей и демоновъ, и даже «естество пресмыкающихся».

Владиміръ Соловьевъ.

ИНГУШЪ И КАНУКО.

(Изъ кавказскаго альбома).

I.

Мнѣ надо было изъ Батума подняться на сѣверъ до Новороссійска. Пароходъ отходилъ послѣ полуночи. Іюльская безлунная ночь сверкала огромными звѣздами, берегъ курился опьяняющими ароматами юга. Что за воздухъ на этомъ побережьѣ — между Поти и Батумомъ! Дыханіе травъ и деревьевъ смѣшано съ влажной солью теплаго моря, и грудь дышетъ ёмко и полно, точно жизнь вливается въ нее полными чашами.

Несмотря на полночь, на пароходѣ кипѣло оживленіе. Прибывали пассажиры, лязгали цѣпи, шипѣли въ цилиндрахъ пары. Берегъ,— еще недавно турецкій,— теперь застроенный европейскими гостинницами и засаженный ботаническими садами, чернѣлъ своими церквами и минаретами и сіялъ гирляндами позднихъ огней. Вокругъ сновали челноки и слышался турецкій говоръ откуда-то снизу, изъ водной пучины.

Я рѣшилъ не ложиться спать, а дождаться на палубѣ солнечнаго восхода,— пароходъ долженъ былъ проходить мимо устьевъ Ріона—той древней Колхиды, куда нѣкогда принесли треугольныя вѣт-

рила семью аргонавтовъ. Да и вообще жалко было-бы пропустить случай полюбоваться разсвѣтомъ надъ спокойнымъ зеркаломъ моря съ такого чудеснаго пункта, откуда видны одновременно и Эльборусъ и Араратъ—двѣ священныя горныя вершины Кавказа. Вдобавокъ мнѣ попался «Михаилъ»—типъ стараго морского колеснаго парохода; его обыкновенно обѣгаютъ, увѣряя, что это судно «отсталое отъ вѣка», но мнѣ почему-то всегда кажется, что въ колесномъ пароходѣ больше поэзіи, чѣмъ въ винтовомъ чудовищѣ, напоминающемъ скорѣй какой-то черный футляръ, чѣмъ пассажирское судно. Я велѣлъ отнести мои вещи въ каюту, а самъ расположился поудобнѣе на самой кормѣ, въ ожиданіи отплытія.

И вотъ, послѣ третьяго гулкаго свистка, «Михаилъ», медленно вспѣнивая воду, началъ отходить отъ пристани. Огни на берегу стали перемѣщаться. Суда, недвижно стоявшія на якоряхъ, забились отъ набѣжавшей на нихъ волны, и мы, сдѣлавъ плавный полукругъ, двинулись впередъ, держа курсъ нѣсколько западнѣе Полярной звѣзды.

II.

Первыя сѣроватыя волны разсвѣта заставили потускнѣть фосфорическія созвѣздія. Бѣловато-сизый туманъ поползъ по вершинамъ горъ. Ихъ снѣжныя вершины казались сѣдыми головами мертвецовъ, окутанныхъ въ саваны. Но вотъ кое-гдѣ показались розовыя пятна. Заиграли на небѣ обрывки золотистыхъ облаковъ. Снѣгъ вспыхнулъ, какъ-будто подъ нимъ потекла раскаленная лава, и острой ледяной струйкой набѣжалъ утренній вѣтерокъ.

Я переходилъ съ мѣста на мѣсто, разсматри-

вая въ трубу далекія горы. Палуба была почти пуста,— на лавкахъ спали неприхотливые пассажиры, забравшіеся сюда изъ третьяго класса. У самаго борта, опершись на него локтями, стоялъ горецъ въ высокой буркѣ и низенькой шапкѣ кабардинскаго образца. Онъ смотрѣлъ на воду, застывши въ одномъ положеніи, погружонный въ глубокую думу.

Когда я въ третій разъ проходилъ мимо него, онъ повернулъ ко мнѣ свое лицо, блѣдное, несмотря на загаръ, съ острымъ носомъ и кудрявой бородою.

— Кануко! Вы? воскликнулъ я.

— Здравствуйте! отвѣтилъ онъ, показывая изъ-подъ черныхъ усовъ сверкающіе зубы и протягивая мнѣ грубую, волосатую руку.

Онъ, какъ всегда при привѣтствіи, вѣжливо улыбался, но въ улыбкѣ было что-то болѣзненное. Особенно бросился мнѣ въ глаза его землистый цвѣтъ щекъ,—или, быть можетъ, сѣровато-зеленый отсвѣтъ неба такъ игралъ на его кожѣ?

— Вы нездоровы, Кануко? спросилъ я.

— Я здоровъ! Чтó мнѣ! Я совсѣмъ здоровъ...

Онъ не договорилъ и круто оборвалъ рѣчь.

Я понялъ, что съ нимъ случилось что-то неладное, но продолжать распросы было неловко,— надо было ждать, пока онъ самъ захочетъ говорить.

— Одинъ сталъ, теперь совсѣмъ одинъ сталъ! заговорилъ онъ покачивая головой. Въ глазахъ его даже какъ-будто засверкали слезы.

Мнѣ вспомнилась его жена, Нешху,—красивая, молодая женщина, на которой онъ всего три года былъ женатъ. Неужели-же она?

— Когда-же это, давно? осторожно спросилъ я.

— Двѣ недѣли назадъ. Ногу сломалъ... И шолъ

шагомъ. Вдругъ перекувырнулся—и въ оврагъ. Гляжу, нога сломана. Самъ пристрѣлилъ. Двѣнадцати лѣтъ не было.

Теперь я понялъ, о комъ онъ говоритъ. Онъ былъ владѣлецъ Ингуша, — лучшей лошади во всемъ округѣ, которая обобрала всѣ призы за послѣднія шесть лѣтъ. Конь, дѣйствительно, былъ красавецъ.

— Двѣнадцати лѣтъ не было, сокрушенно повторилъ онъ.—Одно мнѣ остается: тоже умирать.

III.

— А Нешху здорова? спросилъ я.

Онъ махнулъ рукой.

— Что ей дѣлается!

— Куда-же вы ѣздили?

— Въ Сочи былъ, въ Кутаисѣ былъ. Лошадей мнѣ рекомендовали. Какія это лошади! Телята. Ничего не купилъ, одинъ ѣду. Совсѣмъ не могу лошади видѣть, сѣдла видѣть не могу,— все внутри рвется. Думалъ по военно-грузинской дорогѣ ѣхать,—потомъ рѣшилъ: давай, пароходомъ поѣду, легче будетъ. Только совсѣмъ не легче.

Онъ присѣлъ на скамью и понурился.

Я невольно вспомнилъ Казбича съ Карагезомъ. Только разница здѣсь была та, что у Кануко не было шумной печали абрека, а внутри его сидѣла тяжелая, непреоборимая, грызущая тоска.

— А ноги надъ бабками какія у него были! вдругъ заговорилъ онъ, обуреваемый воспоминаніями.—Жена могла двумя пальцами обхватить. Стоитъ, подъ сѣдломъ, не шевельнется, пока на него не вскочишь, только глазомъ поводитъ да бѣлокъ кровью наливаетъ. Я такъ любилъ его, что самъ на немъ рѣдко ѣздилъ: Пшемахо, табун-

щикъ на немъ скакалъ,—онъ вѣсомъ на пудъ меня меньше. Ахъ, какъ Ингушъ скакалъ! Ингушъ, Ингушъ мой! Ахъ, что ты съ собой и со мной сдѣлалъ!

Кануко оперся локтями въ колѣни и закрылъ ладонями лицо.

Такъ онъ просидѣлъ довольно долго. Когда онъ поднялъ голову, лицо было мокро отъ слезъ.

— Не я одинъ плакалъ, сказалъ онъ:—и Нешху плакала, и братъ ея плакалъ, и конюхъ мой плакалъ. Услыхалъ про его смерть Пшемахо, прискакалъ изъ табуна какъ сумасшедшій, подбородокъ трясется, говорить не можетъ, упалъ на Ингуша, голову его держитъ, обнялъ...

Кануко точно подавился слезами, всталъ, подошолъ къ борту и опять началъ смотрѣть на бѣжавшую мимо воду.

IV.

Солнце вырѣзалось огромнымъ шаромъ на востокѣ. Море стало голубымъ, только слѣдъ отъ «Михаила» былъ ярко-зеленый, и по немъ расплывались на нѣсколько верстъ въ длину правильными фестонами розовые узоры пѣны.

— Ужь вотъ цѣлую недѣлю, началъ снова Кануко,—я ничего не ѣлъ. Смотрѣть на ѣду не могу. Только воду пью,—холодной все хочется, со льдомъ. Жжетъ все внутри, точно костеръ горитъ. И въ головѣ такъ все точно возится и стучится. Совсѣмъ силы никакой нѣтъ...

— Вамъ лѣчиться надо, Кануко, сказалъ я.— Я видѣлъ здѣсь на пароходѣ военнаго доктора. Какъ онъ встанетъ, обратитесь къ нему.

— Ваши доктора только рѣжутъ хорошо, а больше ничего не умѣютъ. У насъ лучше лѣчатъ.

Въ прошломъ годѣ пастуха моего убить хотѣли. Совсѣмъ черепъ на-двое разбили. Доктору показали. Онъ говоритъ—до завтра умретъ. Свезли его въ аулъ,—тутъ есть у насъ одинъ такой человѣкъ—тоже какъ вашъ докторъ. «Зачѣмъ, говоритъ, ему умирать. Не надо умирать». Теперь у меня онъ барановъ пасетъ,—совсѣмъ хорошій пастухъ. Только всю свою жизнь забылъ. Что теперь—все помнитъ, а что прежде, до раны было,—все это забылъ. Ничего не знаетъ. Только дороги въ горахъ помнитъ, а то ничего не помнитъ. И это такъ всегда бываетъ послѣ нашего лѣченья. Нѣтъ, я у вашего доктора лѣчиться не буду. Домой вернусь, въ аулъ пойду.

Онъ хотѣлъ отойти отъ борта и пошатнулся.

— Совсѣмъ какъ ребенка качаетъ, сказалъ онъ.—Пойду, лягу подъ бурку, можетъ, лучше будетъ.

Я протянулъ ему руку, взглянулъ въ послѣдній разъ на горы, залитыя огненнымъ заревомъ утра, и спустился въ мою каюту.

V.

Утомленный безсонною ночью, я скоро заснулъ—и проснулся передъ самымъ пароходнымъ завтракомъ отъ громкаго звонка буфетчика. Въ первый разъ при дневномъ свѣтѣ увидали пассажиры другъ друга,—встрѣтились старые знакомые, завязались новыя знакомства. Мое кресло пришлось какъ-разъ рядомъ съ докторомъ, котораго я замѣтилъ еще вчера. Я спросилъ у него, не обращался-ли къ нему утромъ за совѣтомъ горецъ. Онъ сказалъ, что нѣтъ, но вызвался съ охотой его посмотрѣть. Докторъ былъ толстый, добродушный, уже лѣтъ десять служившій на Кавказѣ,

въ сѣренькомъ кителѣ, сплошь закапанномъ соусами и супами. Я разсказалъ ему, въ чемъ дѣло. Онъ посвистѣлъ.

— Ну, батенька,—ежели горецъ заберетъ что въ голову, никакимъ рожномъ оттуда ничего не выбьешь. Посмотрѣть—посмотримъ, а за успѣхъ не поручусь.

Мы пошли искать Кануко. Онъ лежалъ на нарахъ, неподалеку отъ пароходнаго котла, накаленнаго топкой, весь до подбородка закрытый буркой. Вокругъ него на разномъ тряпьѣ сидѣли женщины, похожія на цыганокъ, кормившія смуглыми грудями черномазыхъ, совсѣмъ голыхъ ребятишекъ. Кануко было совсѣмъ плохо; но все-жь онъ улыбнулся, протянулъ мнѣ руку.

— Вотъ я доктора вамъ привелъ, сказалъ я.

Онъ посмотрѣлъ на доктора и ничего не отвѣтилъ.

Докторъ пощупалъ ему лобъ и пульсъ, посмотрѣлъ языкъ.

— Льду-бы вамъ на темя, что-ли, сказалъ онъ.

Кануко отрицательно покачалъ головой.

— Я-бы вамъ, почтеннѣйшій, продолжалъ докторъ,—посовѣтовалъ при первой же остановкѣ сойти съ парохода. Лучше всего—въ Новомъ Аѳонѣ. Монахи тамъ по христіанскому человѣколюбію въ больницу васъ положатъ.

Кануко опять потрясъ головой.

— Я лучше въ воду прыгну, сказалъ онъ.

На это докторъ не нашолся даже возразить.

VI.

Я присѣлъ на лавку возлѣ Кануко.

— Ахъ, Ингушъ, Ингушъ, что ты со мной сдѣлалъ! проговорилъ онъ.—Еще-бы ты года четыре могъ скакать и всѣхъ обскакивать...

— А какъ ваша годовая дочка, Кануко? спросилъ я, чтобы отвлечь разговоръ въ другую сторону.—Вѣдь ее тоже, кажется, зовутъ Нешху?

— Три года назадъ, продолжалъ онъ свое,— была проба лошадей на девяносто верстъ по горамъ. Девяносто верстъ безъ передышки. Начали Ингуша сѣдлать. Онъ чувствуетъ, все понимаетъ, дрожитъ, мокрый весь. Вывели лошадь, судья не вѣритъ: «Ингушъ былъ гнѣдой, а это вороной сталъ», потъ такъ и каплетъ. Пшемахо сѣлъ на него. Пошолъ съ мѣста ходой. Чѣмъ дальше бѣжитъ, тѣмъ больше сохнетъ. На двѣнадцатой верстѣ совсѣмъ сухой бѣжитъ, только фыркаетъ да хвостомъ виляетъ. Сдѣлалъ безъ отдыха девяносто верстъ, пришолъ въ другой аулъ за девяносто верстъ. Судья ахнулъ: «Что такое! Сухая лошадь,— хоть сейчасъ назадъ поѣзжай». Ахъ, Ингушъ, Ингушъ,—что ты такое сдѣлалъ!

Кануко откинулся головой назадъ и помолчалъ.

— А что было пять лѣтъ назадъ! снова началъ онъ.—На праздникъ Байрамъ собрались всѣ, джигитовать начали. Съ земли подымаютъ бутылку, стрѣляютъ, на головѣ ѣздятъ, ноги торчатъ кверху. Мнѣ говорятъ: «Отчего, Кануко, не хочешь показать Ингуша? Покажи Ингуша». Сѣлъ я на него. Бревно лежитъ на площади: пять вершковъ шириной все бревно. Подъѣхалъ я къ нему. Посмотрѣлъ Ингушъ, понюхалъ, сталъ тихонько на него однимъ копытомъ, другимъ,—заднія ноги поднялъ, сталъ на бревно и пошолъ по немъ. Я сижу, шапкой махаю, ногу черезъ шею перекинулъ, бокомъ какъ курсовая дама ѣду, а старики охаютъ: «Ахъ, скажи, пожалуйста,—что такое!» За сто лѣтъ такой лошади не запомнятъ...

VII.

Въ Новомъ Аѳонѣ докторъ снова предложилъ Кануко выйти, — но онъ лежалъ, смотря передъ собой мутными глазами, и все повторялъ:

— Ахъ, Ингушъ, Ингушъ!

Пароходъ долго стоялъ и покачивался передъ Ново-Аѳонской бухтой. Кутаисскій помѣщикъ съ длиннымъ носомъ началъ увѣрять, что Новый Аѳонъ—это турецкая колонія, что въ Ново-Аѳонской школѣ учатъ только по-турецки и по-гречески, и что русскаго языка здѣсь почти не понимаютъ. Онъ преехидно указывалъ на какія-то каменныя стѣны, воздвигаемыя надъ монастыремъ, и увѣрялъ, что это турецкія укрѣпленія, и что въ случаѣ войны, Новый Аѳонъ окажется чудеснымъ пунктомъ для стоянки турецкихъ судовъ. Онъ увѣрялъ, что ни исправникъ, ни жандармы, ни даже русскій архіерей не допускаются въ стѣны монастыря для слѣдствія, въ случаѣ какихъ-нибудь недоразумѣній, а что недоразумѣнія здѣсь ежегодно бываютъ десятками. Пассажировъ это волновало, и они даже обращались съ запросами по этому поводу къ капитану. Но капитанъ равнодушно заявлялъ, что все это давно всѣмъ черноморцамъ извѣстно...

Монахи на лодкахъ ѣздили вокругъ парохода, но на самое судно не поднимались. Монастырь бѣлѣлъ на круглыхъ холмахъ, въ глубинѣ полукруглаго залива. Вокругъ амфитеатромъ подымались лѣсистые холмы, и въ самомъ дѣлѣ, въ общемъ было что-то похожее на настоящій Аѳонъ.

— И отчего онъ сойти здѣсь не хочетъ! сѣтовалъ докторъ.

— Да что у него такое? полюбопытствовалъ я.

— А кто его знаетъ! Нето тифъ, нето тифоидъ какой-то. Только все это очень скверно. Да и аптеки вѣдь нѣтъ подъ рукой: чѣмъ его лѣчить.

Когда якорная цѣпь поднялась со звономъ кверху, я опять пошолъ къ Кануко. Онъ лежалъ спокойно навзничъ, сложивъ руки сверхъ бурки, но губы его шевелились и шептали:

— Ингушъ, Ингушъ, Ингушъ!

VIII.

Пароходъ все шолъ къ сѣверу; стало вечерѣть. Опять надвинулись сумерки, и опять зажглись на пароходѣ огни. Я распорядился, чтобы изъ буфета носили ледъ и прикладывали къ головѣ Кануко. Его это облегчало. Я заходилъ къ нему черезъ каждый часъ — посмотрѣть, не нужно-ли ему чего. Цыганка съ голой дѣвочкой передвинулась отъ него подальше,—и долго говорила мнѣ что-то про него, показывая въ его сторону пальцемъ. Должно быть, она хотѣла сказать, что онъ бредитъ и пугаетъ ее. А онъ въ самомъ дѣлѣ бредилъ. То онъ говорилъ на своемъ горномъ нарѣчіи, то по-русски, — и все про Ингуша.

— Не обтирай сразу спину: поводи въ потникѣ, говорилъ онъ,—заболѣетъ, —голову сниму...

Иногда онъ какъ-будто приходилъ въ себя, слегка поворачивался, смотрѣлъ на меня и говорилъ:

— Еще, пожалуйста, льду.

Разъ онъ поднялся на локоть.

— Теперь хорошо въ горахъ лежать на снѣгу, сказалъ онъ.—Холодно такъ чтобъ было...

Потомъ онъ замолкъ и сталъ дышать тихо и ровно. Докторъ опять навѣдался и пожалъ плечами.

— Какъ высадитесь завтра въ Новороссійскѣ, шепнулъ онъ мнѣ,—позаботьтесь о немъ, чтобы сейчасъ-же свезли въ пріемный покой. Впрочемъ, самъ все сдѣлаю,—пароходъ часовъ пять простоитъ. А я ночью пока присмотрю за нимъ.

* * *

Проснулся я чѣмъ свѣтъ и отправился прямо къ нарамъ. Меня поразилъ запахъ карболки, обильно политой въ проходѣ между машиной и нарами.

— А у насъ покойникъ, сказалъ старшій офицеръ.

Кануко лежалъ на своей буркѣ и былъ прикрытъ другою свободной полою. Я хотѣлъ отогнуть полу и посмотрѣть его, но матросъ, дежурившій у тѣла, не позволилъ.

— Не велѣно. Въ Новороссійскѣ полиція осмотритъ.

Въ Новороссійскѣ полиція его осмотрѣла. Нашли въ кошелькѣ нѣсколько сотенъ рублей, составили актъ. Потомъ тѣло вынесли и повезли на ручной платформѣ по рельсамъ съ пристани въ городъ. Его бурка чорнымъ длиннымъ мѣшкомъ долго виднѣлась межъ пестрѣющихъ рабочихъ,— потомъ они ее заслонили своими разноцвѣтными спинами, тѣло исчезло,— и осталась живая кипучая толпа, насквозь пронизанная жгучими лучами полуденнаго южнаго солнца.

П. Гнѣдичъ.

ЗИМНІЯ КАРТИНКИ.

I.

Гой ты, красавица—зимушка снѣжная,
Русскихъ дружинъ вѣковая союзница,
Силушки нашей морозная кузница,
Удали нашей подруга мятежная!

Рдѣютъ-ли утра огни самоцвѣтные,
Иней-ли дымкой туманною стелется,
Пляски-ль и пѣсни затѣетъ метелица, —
Пѣсни родныя польются отвѣтныя!

Мчатся, какъ тученьки, вѣтромъ гонимыя,
Рѣзвые кони, залетные птенчики!
Вторятъ серебрянымъ звономъ бубенчики
Пѣсни широкой про степи родимыя!

Слава минувшаго звуками свѣтится!
Все на крылахъ подымаютъ созвучія:
Дѣвицы-ль красной лобзанія жгучія,
Вѣдьму-ль—бѣду, что въ дороженькѣ встрѣтится!

Близко-ль, далёко-ль до мрака могильнаго,—
Кровь-то не вымерзла, сердце-то молодо!
Пѣсня горячая—доченька холода,
Думушка племени, правдою сильнаго!

2.

Мгла, морозъ и вѣтеръ дикій,
Дикій вѣтеръ—сумасбродъ...
Дрогнетъ малый и великій,
Дрогнутъ баре и народъ.

Бородатыя фигуры
Грѣютъ руки у костровъ.
Люди, улицы понуры,
И скрипятъ обозы дровъ.

Мозгъ болитъ и гаснутъ очи
Отъ невольныхъ, глупыхъ слезъ;
Стынетъ кровь, дышать нѣтъ мочи,
Грудь тисками сжалъ морозъ.

Хоть и знаешь, что въ природѣ
Данъ всему чередъ простой,—
Мысль о радостной погодѣ
Вздорной кажется мечтой.

А весны расцвѣтъ великій,
Знать, во-вѣки не придетъ!..
Мгла... Морозъ и вѣтеръ дикій,
Дикій вѣтеръ—сумасбродъ!..

3.

Недвижимъ сугробовъ длинный рядъ,
Снѣжной бури смолкло завыванье;
Переливы луннаго сіянья
На домахъ и куполахъ дрожатъ.

Ярко блещетъ иней; ночь морозна,
Но полна привѣта и красы.
Вдалекѣ безсонные часы
Держатъ рѣчь таинственно и грозно.

Въ лунномъ свѣтѣ меркнутъ фонари...
Сани вдругъ шмыгнутъ, какъ тѣнь, безшумно...
Городъ спитъ... Тиха и многодумна,
Ночь плыветъ и свѣтлой ждетъ зари...

Для того-ль метель угомонилась
И такъ чистъ луны лазурный путь,
Чтобы могъ бездомный отдохнуть,
Чтобъ любовь счастливому приснилась?!.

4.

Какъ хорошо порою зимней
Изъ суетливыхъ городовъ
Бѣжать въ деревню! Мирный кровъ
Тогда еще гостепріимнѣй!
Тепла безшумная волна
Спокойной жизни; дышетъ лаской,
Смѣнивъ тревогу тихой сказкой,
Семьи святая старина!..
Живутъ поблекшіе портреты,
Живутъ—и съ сердцемъ говорятъ;
Огни погасшіе горятъ,
И пѣсни тѣ звучатъ, что спѣты!..
Зима! Безмолвный міръ чудесъ!
И снѣгъ съ оттѣнкомъ синеватымъ,
И разрумяненный закатомъ
Объиндевѣлый старый лѣсъ,
Гдѣ скрылся заяцъ быстроногій,
Гдѣ щеголяютъ снигири

Багрянымъ отблескомъ зари.
И спитъ медвѣдь въ своей берлогѣ;
Гдѣ ель въ зеленой епанчѣ
Дала пріютъ клестамъ проворнымъ...
А дальше—степь! Какъ шолкомъ черным
Тамъ по серебряной парчѣ
Узоръ селеній дальнихъ вышитъ!
И чуть-замѣтный сизый дымъ
Несется къ сводамъ голубымъ...
Природа спитъ, но жизнью дышитъ —
И сердце видитъ, сердце слышитъ
Въ святой красѣ ея одеждъ,
Таящихъ озими дыханье,
Въ ея загадочномъ молчаньѣ —
Неуловимое сліянье
Воспоминаній и надеждъ!..

Василій Величко.

———

Очерки невольнаго туриста.

(Отъ Иркутска до Качуга).

VI.

Почтмейстеръ.—Лягушачья косточка.

Въ числѣ немногихъ «привилегированныхъ» въ нашей партіи есть одна личность съ странной фамиліей Пятьсотъ-Яблочковъ. Онъ служилъ секретаремъ полицейскаго управленія, а затѣмъ въ должности почтмейстера въ одномъ изъ приамурскихъ городовъ. Въ партіи оказались арестанты, имѣвшіе съ нимъ дѣло какъ съ полицейскимъ чиновникомъ. По ихъ разсказамъ, это былъ отчаянный взяточникъ, но весьма удобный въ томъ отношеніи, что съ нимъ легко было сладиться насчетъ мзды. Онъ не гонялся за крупными кушами и всегда мудро слѣдовалъ правилу, формулированному изреченіями и пословицами вродѣ: «всякое даяніе благо», «синица въ рукахъ, а журавль въ небесахъ», «съ міру по ниткѣ» и т. п. Будучи почтмейстеромъ, Пятьсотъ-Яблочковъ нисколько не стѣснялся пользоваться ввѣряемыми ему суммами. Деньги извлекались изъ конвертовъ и употреблялись какъ дополненіе къ крайне скудному, по его словамъ, содержанію при чрезмѣрной дороговизнѣ продуктовъ въ краѣ. Растративши въ короткое время нѣсколько сотъ рублей, онъ разсудилъ, что долго вести

такимъ образомъ дѣло нельзя, что не сегодня — завтра его похищенія должны открыться. На семейномъ совѣтѣ изъ матери, жены и его самого было рѣшено, что такъ-какъ растрата казенныхъ денегъ влечетъ за собою одинаковыя послѣдствія, невзирая на размѣры самой растраты, то нѣтъ никакихъ разумныхъ причинъ останавливаться на похищенной уже суммѣ; напротивъ, въ виду неизбѣжности слѣдствія, а затѣмъ суда, необходимо обезпечить себя какъ можно основательнѣй. Случай не замедлилъ представиться: изъ областного города для мѣстнаго батальона были получены 30,000. Пятьсотъ-Яблочковъ завладѣлъ этой суммой, отправилъ ее въ иркутскій банкъ на имя жены и матери, а самъ извѣстилъ телеграммой губернатора о произведенной имъ «растратѣ», прося назначенія слѣдствія. Но разсчеты его несовсѣмъ оправдались: слѣдствіе признало не растрату, а похищеніе, и вотъ онъ идетъ на житье въ Якутскую область безъ права выѣзда изъ оной втеченіе трехъ лѣтъ. Пятьсотъ-Яблочковъ чрезвычайно доволенъ своей аферой. Капиталъ его въ цѣлости, слѣдователю не удалось узнать, куда онъ его скрылъ; въ ссылкѣ онъ надѣется получить мѣсто при окружной полиціи, выпишетъ жену съ матерью—и заживутъ они припѣваючи! Но мужъ предполагаетъ, а жена располагаетъ. Почтмейстеръ болѣе года просидѣлъ въ иркутскомъ тюремномъ замкѣ, и его супруга, не будучи въ силахъ выносить столь продолжительной разлуки со своей половиной, принуждена была сойтись съ какимъ-то чиновникомъ, съ которымъ, какъ утверждаютъ всевѣдущіе арестанты, ни въ какомъ случаѣ не намѣрена разставаться. Достаточно взглянуть на бѣднаго почтмейстера, чтобы подобное утвержденіе показалось болѣе чѣмъ вѣроятнымъ. Это маленькій, невзрачный человѣчекъ, глухой, скупой и глуповатый. Впрочемъ, онъ увѣряетъ, что глухоту пріобрѣлъ въ тюрьмѣ, такъ-же какъ и скупость—не природное его качество, а развившееся въ послѣднее время, какъ результатъ со-

вершоннаго имъ хищенія. Однажды матушка прислала ему въ Иркутскъ 50 р., но денегъ этихъ ему не выдали, а конфисковали на пополненіе украденныхъ имъ 30,000. Послѣ этого онъ просилъ не присылать ему болѣе ни копѣйки, изъ опасенія нетолько дальнѣйшихъ конфискацій, но и возможности навести на слѣдъ храненія своего капитала. Приходилось жить на однѣ кормовыя, правда—дворянскія, но все-же недостаточныя для его потребности. Возможность скорой отправки въ ссылку заставляла его, кромѣ того, быть бережливымъ и копить на дорогу изъ тѣхъ-же кормовыхъ. Въ пути онъ также чрезвычайно разсчетливъ. Сначала онъ состоялъ въ компаніи съ тремя евреями, съ которыми обѣдалъ и чаевалъ, но скоро разругался съ ними, обвиняя ихъ въ томъ, что они его обсчитываютъ. Присталъ потомъ къ двумъ изъ болѣе или менѣе привилегированныхъ арестантовъ, и черезъ нѣсколько дней они со скандаломъ вытурили его изъ своей компаніи. Послѣ этихъ неудачъ онъ питается больше чаемъ и молокомъ, и то всегда норовитъ подсѣсть къ сидящимъ за чаемъ, въ разсчетѣ на угощеніе.

Располагаемся мы съ Ягодкинымъ пить чай,—почтмейстеръ тутъ-какъ-тутъ.

— Пріятнаго аппетита.

— Благодарю васъ. Только-что встали?

— Пожалуй, выпью стаканчикъ, отвѣчаетъ онъ, притворяясь или дѣйствительно не разслышавъ моего вопроса.

За стаканчикомъ слѣдуетъ другой и третій.

— Тетеря чортова, ворчитъ Ягодкинъ:—и что ты съ нимъ тово? Полуторныя получатъ, сквалыжникъ..

— Пожалуйста, немножко громче, проситъ Пятьсотъ-Яблочковъ съ заискивающей улыбочкой.

— По шеямъ тебя—вотъ что! Громче захотѣлъ! Я тебѣ дамъ громче...

— Чувствительно васъ благодарю, говоритъ бывшій почтмейстеръ и переворачиваетъ стаканъ, замѣтивъ,

какъ Ягодкинъ сердито хватаетъ чайникъ и уноситъ прочь.

Вся его посуда—чашка и маленькій чайникъ, съ которымъ онъ вѣчно шатается, высматривая, гдѣ-бы позаимствоваться готовымъ кипяткомъ. Ни варить, ни жарить ему самому не въ чемъ; онъ не разъ выражалъ желаніе вступить со мной въ потребительное товарищество, но я отклонялъ эту честь и въ концѣ концовъ долженъ былъ даже обойтись съ нимъ довольно грубо.

— Пріятнаго аппетита, раскланивается онъ, потирая руки:—знаете, я-бы съ удовольствіемъ присоединился къ вашей компаніи. Мнѣ это было-бы очень удобно. Что придется на мою долю, я конечно...

— У насъ уже былъ объ этомъ разговоръ. Вы развѣ забыли? Ничего изъ этого не выйдетъ.

— Чувствительно вамъ благодаренъ, а то съ этими жидами имѣть дѣло—хуже ничего быть не можетъ.

Онъ протягиваетъ мнѣ руку, но я вскакиваю и кричу ему надъ самымъ ухомъ: «Нѣтъ, нѣтъ, я не согласенъ. Бросьте вы это дѣло»!

Ободренный моимъ рѣшительнымъ отказомъ, Ягодкинъ напускается на него, не стѣсняясь въ выраженіяхъ.

— Извините, я не навязываюсь, дѣло ваше... А ты какъ смѣешь ругаться, негодяй! Я тебѣ не какая-нибудь шпонка. Я къ офицеру...

— Уходите къ Богу! кричу я въ предупредительно подставленное имъ ухо.—Къ Богу, къ Богу. Понимаете?

Но почтмейстеръ не отличается злопамятствомъ. Онъ продолжаетъ обращаться ко мнѣ, какъ ни въ чемъ не бывало; и когда пьемъ чай или обѣдаемъ, онъ попрежнему желаетъ намъ пріятнаго аппетита, но безуспѣшно.

Благодаря почтмейстеру, я имѣлъ случай узнать о существованіи одного характернаго суевѣрія, которое, повидимому, настолько распространено, что находятся спеціалисты, сдѣлавшіе его предметомъ не безвыгодной эксплоатаціи.

— Чья это молоденькая жидовочка съ подстриженными волосами въ голубой блузѣ? спрашиваетъ почтмейстеръ миніатюрнаго еврейчика Зелека.

— Развѣ ви не знаете? Янкельсона ви не знаете, который за золото идетъ? Это-же его дочка.

— Чья, говоришь?

— Янкельсона! Янкельсона! оралъ Зелекъ.

— Красивая, шельма, замѣчаетъ почтмейстеръ.

— Барину нравится? Пусть только баринъ скажетъ— все можно сдѣлать.

— Что ты мелешь, дуракъ! Она вѣдь не одна идетъ,— съ отцомъ.

— Пускай я буду дуракъ. Что-жь такое! Мало развѣ дураковъ на свѣтѣ? Только когда я вамъ говорю «можно», значитъ—можно.

— Устроишь? ухмыляется слащаво почтмейстеръ.

— Баринъ желаетъ? Пусть только баринъ захочетъ все будетъ сдѣлано. Я вамъ еще больше скажу: можно сдѣлать такъ, что она сама къ вамъ придетъ. Не вѣрите? Я вамъ *еще* больше скажу: будетъ чахнуть, чахнуть и даже помретъ.

— Ты, я вижу, насмѣхаться надо мной вздумалъ. Я, братъ, тебѣ не какой-нибудь...

— Что вы! Избави Боже! Зачѣмъ-бы я сталъ надъ хорошимъ человѣкомъ смѣяться? Только я вамъ говорю то, что говорю. Не вѣрите—дѣло ваше; мнѣ изъ этого никакого убытку нѣтъ.

Зелекъ отошолъ медленно, имѣя видъ человѣка, увѣреннаго, что его сейчасъ должны позвать назадъ. И дѣйствительно, почтмейстеръ его окликнулъ. Они пошли по-подъ-заборомъ, и Зелекъ что-то оживленно толковалъ ему, наклоняясь къ его уху, размахивая руками, забѣгалъ впередъ и чуть не задѣвалъ его по носу своими пальцами. Но вотъ онъ побѣжалъ отъ него къ баракамъ и черезъ нѣкоторое время показался съ татариномъ Алимкой, направляясь съ нимъ къ продолжавшему шагать подъ заборомъ почт-

мейстеру. Я наблюдалъ за ними издали. Послѣ непродолжительной бесѣды ихъ втроемъ, Алимка вытащилъ изъ-за пазухи какую-то вещицу. Затѣмъ вижу, какъ почтмейстеръ вынимаетъ свой кошелекъ и послѣ мучительныхъ колебаній, то опуская, то подымая руку, даетъ, наконецъ, Алимкѣ деньги. Послѣ этого Алимка высоко засучилъ рукавъ почтмейстера и что-то продѣлалъ надъ его обнаженной рукой. Мнѣ показалось сначала, что онъ какъ-будто ланцетомъ пустилъ ему кровь. Но рукавъ былъ спущенъ, и всѣ трое вышли изъ своего убѣжища. Почтмейстеръ поправилъ на головѣ картузъ, подкрутилъ вверхъ кончики рыжихъ усовъ и направился къ семейному отдѣленію. Алимка и Зелекъ остановились и стали дѣлить полученныя деньги. Послѣдній вынулъ изъ кармана нѣсколько мѣдяковъ. «Сколько»? спросилъ онъ. «Какъ былъ уговоръ», отвѣчалъ Алимка: «половина мой, половина твой». — «Пусть будетъ такъ; только мнѣ-бы слѣдовало еще пять копѣекъ. Развѣ не я тебѣ далъ заработать? Ну, ужь пускай будетъ такъ». И они ушли въ бараки.

Вся эта сцена сильно заинтриговала меня, и я рѣшилъ пригласить Зелека къ чаю, чтобы узнать отъ него, что такое у нихъ тамъ происходило. А происходило слѣдующее: Зелекъ убѣдилъ почтмейстера, что есть средство заставить молодую евреечку въ него влюбиться. Онъ увѣрялъ, что средство это испытанное, что его практикуютъ бурятскіе ламы и что въ партіи есть человѣкъ, которому оно извѣстно. Ссылка на бурятскихъ ламъ, извѣстныхъ въ Сибири за великихъ знахарей, подѣйствовала на почтмейстера. Было заключено условіе: часть платы (Зелекъ не хотѣлъ сказать — какой) при примѣненіи этого средства, другая часть — послѣ того какъ обнаружатся его послѣдствія. Обладатель таинственнаго средства — татаринъ Алимка, а самое средство заключается въ царапинахъ, производимыхъ на тѣлѣ косточкой отъ лягушки. Достаточно этой ничтожной операціи, чтобы

интересующая васъ особа женскаго пола восчувствовала къ вамъ непреодолимое влеченіе. Алимка показывалъ мнѣ чудесную косточку, которую бережно носилъ завернутою въ тряпкѣ на ниткѣ подъ рубахой. Добывается она очень просто: ловятъ лягушку, убиваютъ ее и предоставляютъ на съѣденіе тараканамъ. Тараканы тщательно объѣдаютъ все мясо, оставляя чистыя бѣлыя косточки. Однако, не всякая, а только одна какая-то косточка лягушачьяго скелета обладаетъ свойствомъ «присушивать дѣвохъ» *), какая именно — Алимка не знаетъ. Но онъ вѣритъ этому, и ему достовѣрно извѣстно, что ламы и шаманы присушиваютъ дѣвохъ этимъ способомъ. Что-же касается его собственной косточки, то онъ сознался, что она не настоящая, а мышиная, а потому не всегда, даже можетъ быть совсѣмъ не вызываетъ желаемаго дѣйствія. Это суевѣріе очень распространено по Сибири, и Алимка имѣлъ значительную практику. Изъ нашего конвоя онъ почти всѣхъ солдатъ перецарапалъ. Обладая поддѣльной, а не настоящей косточкой, онъ самъ въ своихъ собственныхъ глазахъ является ничѣмъ инымъ какъ шарлатаномъ, но относится къ этому довольно легкомысленно: «Кони кралъ — въ тюрьму попалъ, надо какъ иначе дэнэгъ промышлять: исть-пить тоже надо. Какъ думаешь?»

Зелекъ не вѣритъ ни въ лягушачьи, ни въ мышиныя косточки; онъ вѣритъ только въ человѣческую глупость и находитъ, что она для того и создана, чтобы ее эксплоатировать.

— Значитъ, ты просто надулъ почтмейстера? замѣтилъ я.

— Зачѣмъ ви такъ говорите? Развѣ можно глупаго человѣка надуть? Глупый человѣкъ самъ себя надуваетъ. Скажите мнѣ, пожалуйста, умный себя надуваетъ? Нѣтъ. Значитъ, и другой его не можетъ надуть.

---

*) Дѣвоха по-сибирски—и дѣвушка и молодая женщина.

Я не понялъ его логики и поинтересовался узнать, сколько онъ получилъ за факторство.

— Сколько? Зачѣмъ считать чужія деньги! Можетъ быть, я ничего не получилъ. Знаете пословицу: сколько по улицѣ ни ходи, она всегда будетъ на одномъ мѣстѣ стоять.

Такой пословицы я не слыхалъ, и мысль, которую хотѣлъ выразить ею Зелекъ, осталась для меня непонятной.

VII.

Казій

Сегодня у насъ чуть не произошло убійство; виновницей инцидента была старая черкешенка. Это несчастное существо звали Кази, Киза, Коза—кто какъ хотѣлъ. Настоящее ея имя, длинное и мудреное, трудно поддавалось произношенію. Она совсѣмъ старуха, сѣдая, маленькая, вся въ тонкихъ морщинкахъ; замѣчательно сохранившіеся бѣлые зубы, большіе черные глаза, кроткіе и глубокіе, когда она въ спокойномъ состояніи, свидѣтельствовали о былой красотѣ. На ней намотана цѣлая куча грязнаго и рваного тряпья. Она вѣчно сидитъ на одномъ мѣстѣ, кутаясь въ арестантскую шубу даже въ довольно теплые солнечные дни; и только подъ вечеръ, когда прекращается суетня стряпни, она усаживается у костра и протягиваетъ свои маленькія худыя руки къ самому пламени. Огонь оживляетъ ее, у огня она совершенно преображается. Нужно видѣть ее здѣсь, разсказывающею о своей родинѣ татаркамъ, близкимъ ей по языку и религіи. Обыкновенно молчаливая и неподвижная, она тутъ говоритъ съ одушевленіемъ; движенія головы, рукъ, вся фигура пріобрѣтаютъ сценическую граціозность. Она часто вскакиваетъ, бѣгаетъ вокругъ костра, самая рѣчь ея получаетъ какъ-бы ритмичность, и глядя на нее со стороны, можно подумать,

что она танцуетъ подъ музыку своихъ словъ. За что ее «гнали» въ Сибирь, я такъ и не узналъ; а куда она идетъ, въ какую волость, она сама не знала. Кто-то изъ татаръ посовѣтовалъ ей подать прошеніе генералъ-губернатору о переводѣ ея въ Минусинскій округъ въ виду ея старости и невыносливости къ холодамъ сѣверной Сибири. Направили ее ко мнѣ. Я написалъ, и съ тѣхъ поръ Кази прониклась ко мнѣ большимъ расположеніемъ Едва-ли это прошеніе принесетъ ей какую-нибудь пользу, но она, кажется, не сомнѣвалась, что одинъ фактъ его подачи обезпечиваетъ уже успѣшный исходъ ея дѣла. Всякій разъ, когда случается проходить мимо нея, она, сидя на своемъ мѣстѣ съ поджатыми подъ себя ногами, дѣлаетъ мнѣ низкій поклонъ и, простирая руки къ небу, произноситъ: «Аллахъ, Аллахъ!»

— Она говоритъ: ты хорошъ человэкъ, утро и вечеръ за тебэ Богу молится, перевелъ мнѣ однажды татаринъ обращенныя ко мнѣ ея слова.

Разъ какъ-то вечеромъ, бродя по двору, я услыхалъ странный заунывный напѣвъ, скорѣе напоминавшій плачъ и причитанія нашихъ бабъ по покойникамъ, чѣмъ пѣсню. Сначала низкія, тихія ноты становились все выше и громче, наконецъ переходили въ вопль, похожій на истеричныя сдержанныя рыданія. Иду по направленію раздававшихся звуковъ и у одного изъ костровъ вижу Кази: она сидитъ одна, поджавши ноги, склонивъ голову на руку, и, мѣрно покачиваясь съ боку на бокъ, нето плачетъ, нето поетъ. Трудно было не почувствовать глубокой жалости къ бѣдной черкешенкѣ, глядя на нее въ эту минуту. Я позвалъ какого-то татарина: «Спроси ее, чего она плачетъ, не обидѣлъ-ли ее кто-нибудь?» Но татаринъ объяснилъ мнѣ, что она вовсе не плачетъ: старуха предавалась воспоминаніямъ о томъ, что она оставила дорогого въ далекой родной сторонѣ. Она вспоминала про свою семью, пѣла о томъ, какой у нея бравый и сильный сынъ, какая красавица дочь,

какое у нихъ тамъ теплое солнце, сколько буйволовъ, козъ и какой сладкій медъ и сочный виноградъ. Я долго смотрѣлъ на нее, всей душой сочувствуя ея безъисходному горю, пока не подошолъ часовой и не согналъ ее зачѣмъ-то съ мѣста.

На другой день на томъ-же этапѣ она подошла ко мнѣ, по обыкновенію низко поклонилась и сунула мнѣ въ руку что-то завернутое въ бумагу; затѣмъ жестомъ пригласила меня слѣдовать за собой. Мы вышли во дворъ, и здѣсь, оглянувшись кругомъ и убѣдившись, что около насъ никого нѣтъ, она взяла свертокъ обратно и, развернувъ его, вынула десять рублевыхъ бумажекъ. Тутъ она начала мнѣ что-то толковать, поводя рукою по шеѣ, закатывая глаза и прибѣгая къ мимикѣ и движеніямъ, настолько выразительнымъ, что я легко понялъ, что ей собственно было нужно. Она боялась, что у нея украдутъ эти деньги, и выражала опасеніе, что могутъ даже задушить ее изъ-за нихъ, поэтому просила меня хранить ихъ у себя до тѣхъ поръ, пока мы не разстанемся. Я охотно согласился и, желая удостовѣрить ее, что просьба ея понята мною какъ слѣдуетъ, вынулъ портмоне и показалъ, что кладу ея деньги не вмѣстѣ съ своими, а особо, въ отдѣльное помѣщеніе. Съ этихъ поръ я сдѣлался ея кассиромъ: всякій разъ по полученіи отъ старосты кормовыхъ она приносила ихъ мнѣ, оставляя у себя половину и даже менѣе. Питалась она невѣроятно скудно: я никогда не видалъ, чтобы она ѣла молоко или мясо. То и другое, покупаемое у невѣрныхъ, запрещаетъ вкушать религіозный законъ, который Кази, въ противоположность татарамъ, соблюдала со всей возможной въ ея положеніи строгостью.

Несмотря на то, что она, кромѣ «нѣтъ», не знала по-русски ни единаго слова, такъ-же, какъ и я по-черкесски,—мы не разъ съ нею бесѣдовали. При помощи разныхъ предметовъ, которыми она старалась наглядно выразить свою мысль, рѣчь ея, поясняемая къ тому-же

выразительной жестикуляціей, становилась достаточно понятной. Я знаю такимъ образомъ, что ея сынъ—смѣлый наѣздникъ и прекрасный стрѣлокъ, а дочь, у которой роскошные черные волосы, съумѣетъ вышить такіе-же хитрые узоры, какіе на моемъ полотенцѣ. Знаю, что у Кази есть виноградникъ, о чемъ она картинно дала мнѣ понять, закинувъ назадъ голову, раскрывъ ротъ и поднося къ губамъ двумя пальцами воображаемую кисть винограда. Есть у Кази пчелиные ульи, что несомнѣнно слѣдовало изъ отчетливо воспроизводимаго ею жужжанья пчелы и той гримасы, какую она дѣлала, прильнувъ губами къ рукѣ, какъ-бы ужаленной пчелою. Въ домѣ у нея есть стѣнные часы съ кукушкой, что, впрочемъ, я узналъ при посредствѣ переводчика, потому-что никакъ не могъ понять этого, когда Кази, указывая на стѣну и отсчитывая палецъ за пальцемъ, произносила: «ку-ку». И всегда эти ея разсказы заканчивались внезапной смѣной оживленной физіономіи безконечной грустью и глубокимъ вздохомъ съ обычнымъ возгласомъ: «Аллахъ!»

Арестанты часто безпокоятъ Кази своими грубыми шутками. Ихъ забавляетъ, когда она сердится, выходитъ изъ себя. Сидитъ она на нарахъ, закутавшись въ свой полушубокъ, по обыкновенію склонивъ голову на руку, съ тоскливой печалью въ черныхъ задумчивыхъ глазахъ. Вдругъ какой-нибудь «Иванъ» подойдетъ и сорветъ съ ея головы грязный холщевый платокъ. Она взвизгнетъ, вскочитъ и прежде всего спѣшитъ накрыть чѣмъ-нибудь разметавшіеся сѣдые волосы. Но другой «Иванъ» подкравшись сзади, стягиваетъ съ нея и это покрывало. Кази подымаетъ неистовый крикъ, глаза ея сверкаютъ дикимъ блескомъ, въ бѣшенствѣ швыряетъ она въ нахаловъ чѣмъ попало. Тотчасъ-же сбѣгается толпа, и потѣха становится всеобщей. Разъ она схватила отъ сосѣдей котелъ съ кипяткомъ и обдала имъ гоготавшія физіономіи. Послѣ этого съ ней были осторожнѣе, и если задѣ-

вали, то по крайней мѣрѣ не такъ нагло и больше издали. Но вотъ сегодня присталъ къ ней какой-то пьяница, затѣмъ другіе... Оскорбленная и выведенная изъ себя, Кази схватила чей-то подъ бокомъ лежавшій ножъ, пырнула имъ одного, ранила другого, и досталось-бы еще многимъ, еслибы ее не сбили съ ногъ и не обезоружили. Рана у болѣе пострадавшаго оказалась довольно серьезной, а второй отдѣлался незначительной царапиной. Зато теперь Кази едва-ли кто посмѣетъ тронуть. Арестанты хвалятъ ее за рѣшительный отпоръ нахаламъ, а послѣдніе осыпаются насмѣшками. Бѣдная Кази долго послѣ этого рыдала, ломая руки и выкрикивая какія-то, все одни и тѣ-же слова. Я не могъ слушать этихъ ужасныхъ завываній, подошолъ къ ней и старался всячески ее утѣшить; потомъ принесъ ей чаю и сахару. Она взяла, улыбнулась сквозь слезы и, призвавъ на меня благословеніе Аллаха, принялась пить чай.

VIII.

Разговоръ на сонъ грядущій.

Наступилъ вечеръ. Старшій прокричалъ: «На повѣрку!» Чей-то густой басъ подхватилъ этотъ кличъ, за нимъ повторилъ его кто-то тоненькимъ дискантомъ, и подъ грянувшій концертъ, въ которомъ голоса на разные лады тянули «на повѣ-ѣ-ѣрку!»—арестанты двинулись во дворъ. Староста вошолъ въ опустѣвшій баракъ, заглянулъ подъ нары, вытащилъ за ноги одного спавшаго, поднялся наверхъ, нашелъ тамъ нѣсколькихъ увлекшихся игрой, накричалъ на нихъ, потомъ обошолъ кругомъ двора, выгналъ еще двухъ запоздавшихъ, и наконецъ всѣ были налицо. Арестанты построились длиннымъ полукругомъ въ два ряда, человѣкъ къ человѣку, и солдаты принялись считать. Одинъ считалъ съ конца одного ряда, другой съ противоположнаго конца другого. Нужно, чтобы числа обоихъ счетчиковъ сошлись.

— У тебя, паря, сколь?

— Никакъ, паря, 260.

— Шибко дивно, паря, насчиталъ: у меня 245.

Начинаютъ считать заново: одинъ тыкаетъ пальцемъ въ грудь, другой въ спину каждому арестанту. Въ рядахъ раздаются насмѣшки:

— Въ ихнемъ ниверстетѣ по ошибкѣ, вмѣсто арикметики, астрономіи обучали, остритъ кто-то изъ грамотѣевъ.

— Однако, паря, болѣ выходитъ, чѣмъ слѣдоваетъ быть, говоритъ солдатъ.

— Лишь бы не менѣе, а что болѣ—это ничего, отвѣчаетъ старшій.—Ну, ступай, ребята, все одно завтра еще придется считать.

Повѣрка кончилась. Черезъ часъ шумная суетня прекратилась, костры догорѣли, и за оградой послышались оклики стражниковъ-обывателей. Улегся и я. Ягодкинъ, закутавъ меня шубой такъ, что я очутился какъ-бы въ мѣшкѣ, немедленно-же захрапѣлъ, издавая носомъ разнообразныя рулады. Плачъ ребятъ въ семейномъ отдѣленіи и перебранки игравшихъ въ карты мало-по-малу стихли. На полу, у самыхъ ногъ моихъ расположились два арестанта; ихъ бесѣда вполголоса развлекала меня и не давала уснуть; я невольно сталъ вслушиваться. Одинъ разсказывалъ, а другой сонным голосомъ время отъ времени вставлялъ свои замѣчанія.

— Пора бросить эту жисть, доносился до меня хриплый сдержанный голосъ: — надо забастовать. Счастья мнѣ нѣтъ—вотъ въ чемъ главное дѣло. Вотъ поди-же! И смекалка въ головѣ есть, и силой Богъ не обидѣлъ, хоть отбавляй, а не дается счастье въ руки да и только. Ничего ужь, братъ, тутъ не попишешь. Такая ужь, значитъ, твоя линія—вотъ и все. Пятнадцать лѣтъ, братецъ ты мой, промышляю, а что у меня есть? Каковъ я человѣкъ? Ничтожность, шпонка—и больше ничего. Сорвешь бывало сотенную, другую—и то еще слава Богу—

ну и что-жь? Направо, налѣво, здѣсь десятку, тамъ десятку, на утро хвать—въ карманѣ пусто.

— Знамо дѣло, денежки залеживаться не любятъ, замѣтилъ сонный товарищъ.

— А бывало такъ, что подъ пули себя подводишь, самъ двухъ, трехъ пришьешь—и хоть-бы тебѣ четвертная! Найдешь серебра рубля на три да съ горсть мѣдяковъ—и вся твоя коммерція. Разъ близь Ачинска какую шутку лѣшій со мной сыгралъ. Намѣтили мы одну семью. Развѣдали, разнюхали, что за люди, чѣмъ занимаются: безпремѣнно должонъ быть капиталъ. Хозяинъ—старикъ, сынъ всѣми дѣлами орудуетъ. Старуха, невѣстка, двое ребятъ. Въ городѣ наша братія давно ужь на нихъ зубы потачиваетъ, и такой промежь нихъ разговоръ, что можно надѣяться тысяченокъ на пять, никакъ не менѣе. Ну, мы, конечно, поторопились, чтобы въ другія руки не упустить.

— Зачѣмъ упускать: и самимъ тоже любопытно.

— Уложили это стариковъ, молодуху, пришибли ребятъ — остались въ дому полными господами. Все вверхъ дномъ перевернули: всѣ штуки холста разметали, съ иконъ ризы посрывали, клубки нитокъ поразрѣзали; въ казенкѣ, въ погребѣ все перерыли, даже крынки съ молокомъ опростали — ничего! Какъ нашли въ комодѣ 53 рубля, такъ на томъ и пошабашили. Возились до разсвѣта, взяли кое-что изъ вещей, да и давай Богъ ноги. И что-же ты думаешь? Когда полиція нагрянула, нашла вѣдь деньги! Восемь тысячъ, братецъ ты мой!

— Что ты?!

— Будь я... И гдѣ? Самому чорту не пришло-бы въ голову тамъ искать. Ни болѣе, ни менѣе, а просто сказать—въ корзинѣ съ яйцами.

— Съ яйцами! Ишь, язвіе!

— Меня самого словно что-то толкало къ этой корзинѣ. Два раза я къ ней подходилъ; подойдешь, видишь, что яйца,—ну какое-же можетъ быть подозрѣніе? А между

тѣмъ деньги подъ яйцами на днѣ въ газетной бумагѣ завернуты. Полиція тутъ ихъ и нашла. Вотъ досада была! Ай, ай, ай! Просто волосы на себѣ рвали.

— Какъ не рвать, волосы-то, сколько угодно!

— Да-а, братъ! Нѣту мнѣ фарту, нѣту... Разъ только случай выпалъ, вродѣ какъ мало-мало мазнуло по губамъ. Ѣхалъ я верхомъ. Одѣтъ порядочно: картузъ суконный, штаны плисовые, сапоги... одно слово, съ полнымъ приличіемъ. Только этакъ свернулъ на мостикъ; вижу — мужичонко на двухколескѣ подъѣхалъ къ ручью, коня поитъ.

— Коня поитъ! Ахъ, бѣсъ его дери!

— Ничего у меня въ мысляхъ про него не было, никакого даже предчувствія. Мало-ли этого челданья встрѣчаешь по пути? «Здравствуй!» — «Здравствуй!» — «Куда Богъ несетъ?» — «Въ Минусинскъ.» — «Чей будешь?» — Не здѣшній, сказываетъ. Откуда, какъ, что? Разговорились. Оказывается, братецъ ты мой, мужичокъ-то россейскій, пріѣхалъ ходокомъ отъ общества искать для переселенія мѣстовъ. Ну, думаю себѣ, коли такъ, при тебѣ, голубчикъ, деньжонки должны быть. За такимъ дѣломъ съ пустыми руками не отправляютъ.

— Какъ отправишь! За такимъ-то дѣломъ! Не удобно.

— Ѣду я на своемъ мохнаткѣ рядышкомъ съ нимъ,— разговариваемъ. Оглянулся кругомъ — нигдѣ никого не видать; отсталъ я этакъ маленько и, не говоря худого слова, трахъ его въ башку изъ револьвера. Самъ, конечно, въ двухколеску, мохнатку привязалъ сзади— и гайда въ сторону, въ падь. Остановился, давай его разоблачать. Обшарилъ всю одежду, распоролъ шапку, осмотрѣлъ сапоги—нигдѣ ничего. А деньги-то, язви его, въ кожаномъ поясѣ были зашиты! Разрѣзалъ я поясъ, вытаскиваю пачку, другую, третью, четвертую... Даже такъ всего лихорадкой и затрясло. Вотъ-то, думаю, фартануло нежданно-нечаянно. Тысячи двѣ, три, полагаю себѣ въ мысляхъ, однако, налетѣло. Разворачи-

ваю пачки... разтакъ-же тебя въ печонку! Рублевки, трешки, пятерки, рублевки, трешки, пятерки... Ажъ, братецъ ты мой, за сердце взяло. Выругался съ досады, а деньги все-таки пересчиталъ: 755 цѣлковыхъ.

— И это капиталъ, на улицѣ не валяется.

— И больше этой суммы, братецъ ты мой, мнѣ никогда не приваживало. Нѣту фарту, незадача моей судьбѣ—вотъ и все. А ежели позналъ, что фарту тебѣ не положено,—брось, не стоитъ того дѣло. Низачто пропадешь.

— Пропаде-е-шь! Чего не пропасть. Сколько угодно.

— Ишь вѣдь какую-отъ штуку выдумали: военнымъ судомъ стали судить. Въ Иркутскѣ въ прошломъ году двоихъ-отъ вздернули. И никакихъ! Да-а-а, времена нынче крутыя. Эти новые прокуроры наѣхали все изъ молодыхъ, со взяткой не подступай. Бѣды! Давеча преступникъ сказывалъ, цивилизацію еще введутъ, тогда ужъ нашему брату ни взадъ, ни впередъ—ложись да помирай.

— Сколько угодно! пробормоталъ засыпающій собесѣдникъ.

— Эхъ, далъ-бы Богъ сорвать тысяченокъ три, четыре, и тогда—шабашъ! Перемѣняю родъ жизни, возьмусь за торговлю и почну честнымъ манеромъ промышлять. Великое дѣло деньги, братецъ ты мой, ве-е-еликое! Охъ, Господи Владыко, прости насъ грѣшныхъ!

Я.

Изъ пѣсенъ любви.

I.

Мы съ тобой... Но потуплены взоры,
Но дрожатъ и блѣднѣютъ уста,
И несвязно идутъ разговоры...
Я не тотъ, ты — не та!
Мы охвачены чуждою властью,
Мы вдвоемъ — но тревожно глядимъ...
Иль не вѣримъ мы близкому счастью,
Оробѣвъ передъ нимъ?..
Наши взоры несмѣлы, туманны,
И пылаетъ въ огнѣ голова.
Въ тишинѣ — и пугливы, и странны —
Замираютъ слова...
Этотъ мигъ — онъ и чуденъ, и жутокъ!
Давитъ душу незримая власть...
Сердце шепчетъ: «Ни смѣха! Ни шутокъ! —
Зарождается страсть!..»

II.

Ея глаза — глаза русалокъ:
То сердце жгутъ, то леденятъ;
Въ нихъ — и безстрастіе весталокъ,
И сладострастіе менадъ!

Но что-то блещетъ въ этомъ взглядѣ,
За что я все-бы въ мірѣ снесъ,
Когда ласкаю эта пряди
Полуразвившихся волосъ,

Когда, предтечей поцѣлую,
Ея глаза смѣются мнѣ
И я теряюсь и тоскую
Въ ихъ непонятной глубинѣ!..

III.

Пусть дрожу отъ тайной боли —
Я люблю, но я не рабъ!
Я опять теперь на волѣ,
Не униженъ и не слабъ...

Душу долго мнѣ терзали,
Сердце жгли какъ на огнѣ —
Этотъ холодъ въ людномъ залѣ,
Эта страсть наединѣ...

Гордость — новый мой союзникъ;
И — бѣглецъ изъ этой мглы —
Я съ проклятьемъ, словно узникъ,
Прочь швыряю кандалы!..

В. Лебедевъ.

БАТИЩЕВСКОЕ ДѢЛО.

Одно изъ оригинальнѣйшихъ явленій русской жизни— интеллигентныя земледѣльческія колоніи, какъ и нѣкоторые другіе виды интеллигентнаго «сидѣнія на землѣ»,— теперь часто называются «толстовствомъ». Несомнѣнно, что между этимъ явленіемъ и дѣятельностью нашего «великаго старца» есть много общаго; но тѣмъ не менѣе такое названіе весьма неточно. Движеніе въ сторону преобразованія экономическаго и нравственнаго склада современныхъ общественныхъ отношеній на основѣ близости къ землѣ обязано своимъ существованіемъ цѣлому ряду замѣчательныхъ дѣятелей, созданныхъ эпохой 60-хъ годовъ, и причина его заключается непосредственно въ освобожденіи крестьянъ, съ послѣдовавшимъ за нимъ крахомъ прежней системы землепользованія и съ вытекавшей изъ него идеей личнаго труда.

Въ исторіи этого движенія совершенно исключительное мѣсто занимаетъ извѣстное *батищевское дѣло*,—агрономическая и общественно-реформаторская дѣятельность Александра Николаевича Энгельгардта (скончавшагося 21 января 1893 г.), сосредоточенная имъ въ его смоленскомъ имѣніи Батищевѣ, теперь пріобрѣтенномъ казною и обращенномъ въ образцовую сельскохозяйственную ферму. Дѣло это извѣстно главнымъ образомъ по «Письмамъ изъ деревни» А. Н. Энгельгардта, печатавшимся въ «Отечественныхъ Запискахъ»,—хотя эти письма далеко не

исчерпывали всѣхъ любопытныхъ сторонъ этого явленія. Теперь, когда оно отошло уже въ исторію, можно понемногу начинать разсказывать болѣе интимныя подробности объ этомъ дѣлѣ, — объ этомъ любопытнѣйшемъ обращикѣ русскихъ общественно-реформаторскихъ попытокъ, — и о неотдѣлимой отъ него личности его создателя, Александра Николаевича Энгельгардта.

Въ данномъ случаѣ мы пользуемся съ этою цѣлью (кромѣ нѣкоторыхъ личныхъ воспоминаній) тѣми матеріалами, которые представляютъ рукописи, оставшіяся послѣ А. Н., письма, дневники его, замѣтки на клочкахъ бумаги, наконецъ его печатные труды,—статьи, разбросанныя въ спеціальныхъ журналахъ, газетные фельетоны, вся масса написаннаго и напечатаннаго покойнымъ, что никогда не было собрано въ одну книгу, забыто и является теперь какъ-бы въ первый разъ.

I.

Батищевской дѣятельности А. Н. предшествовалъ, такъ сказать, петербургскій періодъ его жизни, періодъ кабинетной, лабораторной, теоретической работы. Въ это время основныя научныя идеи, за которыя стоялъ всю жизнь А. Н., вполнѣ въ немъ сложились и даже вылились въ забытыхъ нынѣ статьяхъ.

Теперь, возстановляя по оставшимся документамъ это время его жизни, можно удивляться, какъ повидимому чисто-случайныя обстоятельства только способствовали тому, чтобы этотъ, едва-ли не первый оригинальный русскій агрономъ нашолъ наконецъ истинное свое назначеніе. Судьба какъ-бы вела и подготовляла его къ дѣлу созданія новой системы хозяйства и новыхъ принциповъ земледѣльческой жизни. Два раза разбивалась его карьера, сперва военная, потомъ научная, и всякій разъ А. Н. какъ фениксъ возставалъ изъ пепла погибшихъ надеждъ и мечтаній. Извѣстный сперва лишь узкому военному

кругу артиллеристовъ, онъ губитъ свое служебное будущее,—и вмѣстѣ съ тѣмъ, ставъ профессоромъ, своею научною дѣятельностью создаетъ себѣ имя уже среди широкаго круга ученыхъ и интеллигенціи нашихъ столицъ. И вновь карьера разбита, онъ заброшенъ въ пустынную усадьбу, за тысячу верстъ отъ Петербурга, отрѣзанъ отъ науки, товарищей, цивилизованнаго общества. Но тутъ-то слава его и достигаетъ кульминаціоннаго пункта. Его «Письма», интеллигентные рабочіе, фосфоритъ создаютъ ему извѣстность и популярность едва-ли не на всю Россію.

Александръ Николаевичъ Энгельгардтъ родился 21 іюля 1832 г. и дѣтство провелъ въ имѣніи Климовѣ, Духовщинскаго уѣзда, Смоленской губ. Отецъ его, Николай Федоровичъ, былъ отличный по своему времени хозяинъ и даже заводилъ у себя искусственное орошеніе луговъ. Будучи совершенно убѣжденъ, что рано или поздно крѣпостное право падетъ и крестьяне будутъ освобождены, онъ еще до освобожденія отмежевалъ надѣлы своимъ крестьянамъ. Среди деревенскихъ интересовъ протекло дѣтство А. Н. Первоначальное воспитаніе онъ получилъ дома. Къ нему былъ приставленъ французъ-гувернеръ, но особенно сильное и благодѣтельное вліяніе имѣлъ на него учитель, нѣкто Личковъ, о которомъ А. Н. всегда вспоминалъ съ уваженіемъ. Онъ развилъ въ немъ любовь къ природѣ, заложилъ гуманные взгляды на жизнь и людей. Затѣмъ А. Н. воспитывался въ Петербургѣ, въ Михайловскомъ артиллерійскомъ училищѣ и академіи, которыя тогда по составу преподавателей и духу стояли весьма высоко. Окончивъ академію въ 1853 году, Энгельгардтъ былъ назначенъ въ гвардейскую конную артиллерію и въ ноябрѣ прикомандированъ къ петербургскому арсеналу, гдѣ и оставался до 1866 года главнымъ литейщикомъ. На этой службѣ онъ оказалъ большія услуги артиллерійскому дѣлу въ Россіи, внеся въ узкую спеціальность характеризующіе всю его дѣятельность огонь

и энергію, способность быстрыхъ, блестящихъ обобщеній.

Въ то-же время, несмотря на многочисленныя служебныя обязанности, онъ не оставлялъ занятій естествознаніемъ, преимущественно минералогіей и химіей. Въ 1853—55 годахъ онъ совершилъ поѣздку на Уралъ, на магнитную гору Кочканаръ, въ Финляндію и Олонецкую губернію, съ спеціальными геологическими цѣлями. Вмѣстѣ съ извѣстнымъ химикомъ Соколовымъ, ученикомъ Либиха, Жерара, Коппе и Реньо, онъ открылъ въ Петербургѣ первую частную химическую лабораторію, а въ 1859 г. при лабораторіи началъ выходить первый русскій «Химическій журналъ Н. Соколова и А. Энгельгардта». Характеренъ девизъ, избранный журналомъ и въ видѣ эпиграфа печатавшійся на обложкѣ книжекъ: «Il y a au monde quelque chose qui vaut mieux que les jouissences materielles, mieux que les fortune, mieux que la santé elle-même,—c'est le dévouement à la science. Augustin Thierry». * Въ этомъ эпиграфѣ къ сухому, спеціальному журналу вылилось горячее чувство, просившееся наружу, молодой энтузіазмъ, охватывающій иногда юныхъ дѣятелей русской науки.

Книжки журнала наполнялись статьями Н. Соколова и Ал. Ник., а также Н. Бекетова, Менделѣева, Бутлерова. Нѣкоторые номера сплошь были составлены Энгельгардтомъ.

Въ 1861 г. журналъ уже не выходитъ по независѣвшимъ отъ редакціи обстоятельствамъ, а въ 1866-мъ А. Н., согласно прошенію, уволенъ отъ службы при арсеналѣ, для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ. Военная карьера его была разбита. Но Энгельгардта это мало печалило. Мундиръ душилъ его энергичную натуру. Онъ радъ

* „Есть въ мірѣ нѣчто, стоющее больше матеріальныхъ удовольствій, больше счастья, больше самаго здоровья,—это преданность наукѣ. Августинъ Тьерри".

былъ возможности всецѣло отдаться научной дѣятельности. Совѣтъ харьковскаго университета возвелъ его въ степень доктора химіи honoris causa, помимо прочихъ ученыхъ степеней, и въ томъ-же 1866 году, 30-го декабря, Энгельгардтъ былъ назначенъ профессоромъ въ земледѣльческій институтъ въ Петербургѣ.

То было особенное время. Наука праздновала недавнюю побѣду. Казалось, ея могуществу не было предѣловъ. Упоенная торжествомъ, полная еще воспоминаній о борьбѣ со старыми воззрѣніями, она вѣрила, что еще нѣсколько усилій,—и природа будетъ ей покорна. Матеріализмъ царилъ — наивный, вѣрующій, идеализованный матеріализмъ.

Этимъ энтузіазмомъ проникнуты многочисленныя статьи Ал. Ник. по естествознанію, печатавшіяся въ «Артиллерійскомъ журналѣ», въ «Разсвѣтѣ» (журналѣ для дѣвицъ), «Учителѣ», въ газетахъ. Нѣкоторыя изъ нихъ вышли въ 1867 году отдѣльнымъ изданіемъ («Сборникъ общепонятныхъ статей по естествознанію», остановившійся на первомъ выпускѣ).

Тогда наступалъ періодъ небывалаго у насъ процвѣтанія школъ. Особенно оригинально, съ широкими программами и превосходной постановкой практическихъ живыхъ занятій задуманы были два высшія сельскохозяйственныя заведенія: Петровская академія въ Москвѣ и земледѣльческій институтъ, гдѣ началъ свою новую дѣятельность Алекс. Ник. По его плану и подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ была отстроена лабораторія, сразу сдѣлавшаяся гордостью института. Обаятельная личность Энгельгардта и его живое талантливое слово привлекали къ нему на лекціи и въ лабораторію множество молодежи. Изъ среды ея выдѣлились ученики, которые скоро могли принять участіе въ работахъ своихъ учителей. Благодаря этому лабораторія проявила замѣчательную научную продуктивность.

Работы по чистой химіи появлялись постоянно на

страницахъ «Zeitschrift für Chemie», а съ основаніемъ химическаго общества—въ его журналѣ.

Энгельгардтъ и его помощникъ Лачиновъ съ учениками много потрудились надъ изученіемъ функцій феноловъ и ароматическихъ кислотъ. За изслѣдованіе «о крезолахъ и нитросоединеніяхъ» имъ была присуждена академіей наукъ Ломоносовская премія въ 1 000 руб. Ими описанъ цѣлый рядъ изомерныхъ формъ, приготовлено множество хлоро-и нитро-продуктовъ и т. д.

Химики составляли тѣсный кружокъ, собиравшійся обыкновенно послѣ засѣданій химическаго общества на дружескія бесѣды въ какомъ-нибудь скромномъ ресторанѣ. Тамъ за полночь лились рѣкой рѣчи, царила простота и непринужденность, устанавливался свободный обмѣнъ мыслей, плановъ, предположеній.

Но поглощенный научными занятіями, въ суетѣ городской жизни, А. Н. не забываетъ и деревни съ ея нуждами. Уже и тогда устанавливаются у него совершенно опредѣленные взгляды на помѣщичье и крестьянское хозяйство, на роль интеллигента въ деревнѣ.

Лѣто 1863-го г. А. Н. провелъ у родныхъ въ Бѣльскомъ уѣздѣ. Деревенскія впечатлѣнія вылились въ «Письмахъ въ редакцію С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», подъ общимъ заглавіемъ: «*Изъ деревни*», подписанныхъ псевдонимомъ *Буплима*. *

«Я не ожидалъ, говоритъ онъ, — чтобы такъ быстро, въ какіе-нибудь два года (послѣ Положенія 19-го февраля 1861 года) *все такъ радикально измѣнилось къ лучшему*».

«Въ деревняхъ у крестьянъ всюду идетъ постройка—точно послѣ пожара. Оказались вдругъ богачи-мужики. Теперь они не боятся выказывать деньги, а прежде

* Письма эти не вошли въ общее собраніе „Писемъ изъ деревни", выдержавшихъ два изданія, такъ-же какъ и 18-е письмо, помѣщенное въ маѣ 1887 г. въ „Вѣстникѣ Европы".

прятали и притворялись бѣдняками, ходили въ лаптяхъ, ѣли пушной хлѣбъ. На крестьянскихъ надѣлахъ кипитъ работа: мелколѣсье, кусты, ампоры, болота, все разрабатывается—точно пришли новые переселенцы». Совершенно иной видъ имѣютъ помѣщичьи земли. «Все запускается, брошено безъ присмотра, безъ ремонта, сады почти повсемѣстно повымерзли, сухія деревья какъ остовы шумятъ голыми вѣтвями, придавая усадьбамъ безобразный и унылый видъ. Экипажи, хорошія лошади—все распродается. У ямщиковъ въ тарантасахъ появились желѣзныя оси и хорошія колеса, все отъ господскихъ колясокъ и каретъ. Не видно по дорогамъ колясокъ и каретъ шестериками, незамѣтно псаренъ, охотъ съ доѣзжачими, гончими, борзыми. Скотъ распродается, такъ-что одно время говядина вдругъ значительно подешевѣла. Помѣщичьи поля почти вездѣ запускаются наполовину или болѣе. Хозяйничать по-прежнему теперь рѣшительно невозможно».

Таковы впечатлѣнія, вынесенныя А. Н. изъ деревни. Ему бросился въ глаза процессъ помѣщичьяго разоренія, только-что тогда начинавшагося. *По-прежнему хозяйничать невозможно*, убѣждается Энгельгардтъ. А между тѣмъ помѣщикъ не хочетъ, не можетъ и не умѣетъ хозяйничать по новому.

«Меня поразило, говоритъ А. Н.,—отсутствіе въ помѣщикахъ даже самыхъ элементарныхъ познаній въ сельскомъ хозяйствѣ. Большинство помѣщиковъ даже хуже понимаетъ хозяйство, чѣмъ крестьяне». Однако Энгельгардтъ еще не теряетъ вѣры въ помѣщичье хозяйство. Радуясь признакамъ возростающаго благосостоянія крестьянина, онъ прибавляетъ: «Конечно, еще болѣе будешь радоваться, когда вмѣсто запущенныхъ полей увидишь богатыя фермы, управляемыя людьми, свѣдущими въ наукѣ хозяйства». «Для самихъ крестьянъ будетъ выгодно, чтобы явились предпріимчивые и честные люди съ деньгами и, главное, научными свѣдѣніями, люди, ко-

торые-бы разработывали запущенныя теперь земли и на опытѣ показали крестьянамъ, какими средствами можно увеличить производительность земли и облегчить трудъ разработки ея. И такіе люди непремѣнно явятся; откуда—не знаю».

Если практическая сторона деревенскаго дѣла была ясна уже и тогда для Энгельгардта, то и теоретическія воззрѣнія его на сельское хозяйство, позднѣе выраженныя имъ систематически и всесторонне въ книгѣ «Химическія основы земледѣлія» (Смоленскъ, 1878 г.), тогда-же совершенно сложились.

«Научныя истины, составляющія общее достояніе всего человѣчества, для всѣхъ странъ равно неизмѣнны; дѣло раціональнаго русскаго хозяйства приложить эти научныя истины къ условіямъ земледѣлія своей страны. Чтобы развилось наше земледѣліе, мы должны не *копировать* земледѣліе англичанъ и нѣмцевъ, а приложить общія научныя истины къ нашему дѣлу; *не рецептовъ* для увеличенія плодородія должны мы искать, а изучать научныя истины и искусство прилагать ихъ. Своимъ собственнымъ умомъ должны мы переработать ихъ согласно съ нашими условіями». Эти воззрѣнія, высказанныя Энгельгардтомъ еще въ 1863 году («Либихъ въ русскомъ переводѣ», «Спб. Вѣдомости» № 272), остаются неизмѣнными и потомъ повторяются и развиваются во многихъ мѣстахъ его дальнѣйшихъ сочиненій. «Rien ne se crée ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature». * Приложеніе этого принципа Лавуазье къ сельскому хозяйству создало новую агрономію.

«Изъ сѣмячка, посаженнаго въ землю, выростаетъ дерево, которое вѣситъ въ тысячу, въ милліонъ разъ болѣе, чѣмъ посаженное сѣмячко. Теленокъ, вѣсящій при рожденіи немного болѣе пуда, ростетъ, и чрезъ нѣсколько лѣтъ—это быкъ, вѣсящій двадцать пудовъ. Откуда-же

* Ничто не создается ни искусствомъ, ни природой.

берется это, прибывающее во время роста животнаго или растенія вещество?

«Ни растенія, ни животныя не обладаютъ способностью творить вещество изъ ничего. Все прибывшее во время роста растенія и животнаго взято изъ окружающей среды. Но брать нельзя до безконечности. Природа не неразмѣнный рубль. Кто беретъ и не возвращаетъ, тотъ истощаетъ, и наступитъ минута, когда, истощивъ грудь матери-земли, онъ найдетъ ея сосцы пустыми».

«Почвѣ должно быть возвращено *все*, что берется изъ нея растеніями», — этотъ великій принципъ Либиха Энгельгардтъ прилагаетъ къ русскому земледѣлію. Въ статьѣ 1863 года «Либихъ въ русскомъ переводѣ», онъ излагаетъ въ нѣсколькихъ словахъ новую *теорію* хозяйства, долженствовавшую затѣмъ на практикѣ создать *систему* хозяйства средне-сѣверной полосы Россіи.

«Растенія питаются неорганическими веществами, которыя превращаютъ въ своемъ организмѣ въ сложныя органическія соединенія, служащія на пищу животнымъ. Часть своей пищи растенія берутъ изъ *воздуха*, часть изъ *почвы*. То, что растеніе беретъ изъ воздуха,—воздушныя частицы—я могу продать, вывезти съ поля, потому-что въ воздухѣ растеніе всегда найдетъ достаточно пищи; * то, что растеніе беретъ изъ почвы,—почвенныя частицы—*я долженъ возвращать почвѣ вполнѣ*. Вотъ главное условіе для того, чтобы почва не истощалась и оставалась постоянно плодородною; каждый

---

* На измѣненія условій питанія растеній *изъ воздуха* перемѣною изъ благопріятныхъ въ неблагопріятныя вліяетъ хищническое лѣсное хозяйство, отнимающее влагу, отражающееся и на питаніи растенія *изъ почвы*, хотя-бы механическими заносами пескомъ плодородныхъ почвъ, благодаря обезлѣсенію. Но вопросъ этотъ мало занималъ А. Ник. по обилію лѣсовъ и зарослей въ Смоленской губерніи. Здѣсь приходится бороться съ наступающимъ на культурныя земли лѣсомъ, а не покровительствовать ему.

хозяинъ долженъ поэтому стремиться *возвратить почвѣ все взятое изъ нея, если не хочетъ обѣднѣть.*

«Продавая постоянно, изъ года въ годъ, рожь съ моего поля, я *истощаю мою почву* до такой степени, что она, наконецъ, не родитъ болѣе. Чтобы мое поле могло опять производить рожь, я долженъ унаваживать его. Для произведенія навоза я употребляю солому, взятую съ того-же поля, но ея мало, ею я не могу восполнить все взятое отъ моего поля. Недостающее я пополняю массою сѣна. Такимъ образомъ, я переношу съ луговъ необходимыя для питанія растеній вещества, мною проданныя, на поле и *истощаю луга.* Наконецъ, если только это не заливные луга, на которые весною вода приноситъ ежегодно *съ чужихъ полей* питательныя вещества, пополняющія взятое съ сѣномъ (и хозяйство такимъ образомъ ведется *на чужой счетъ,* что составляетъ лишь частный случай и, какъ всякое паразитное существованіе, не можетъ быть принято въ разсчетъ въ общей экономіи страны), если это простые луга, какъ вообще бываетъ, то они, наконецъ, перестаютъ давать траву. Продавъ такимъ образомъ все, что было возможно выбрать изъ моихъ полей и луговъ при посредствѣ механической обработки, и перенося съ одной части моего участка земли на другую, я приступаю къ воздѣлыванію на полѣ кормовыхъ травъ и корнеплодныхъ. Посредствомъ этихъ растеній, съ сильно развѣтвляющимися и глубоко распространяющимися корнями, я извлекаю питательныя вещества изъ подпочвы; скопившіяся въ стебляхъ и листьяхъ питательныя вещества я, скормивъ растенія скоту, получаю въ видѣ навоза, который кладу на полѣ, вслѣдствіе чего опять получаю рожь, которую продаю. Такимъ образомъ, я продаю уже питательныя вещества изъ своей *подпочвы,* которую *истощаю* мало-по-малу. То, что было съ полемъ, что было съ лугомъ, дѣлается съ подпочвою: она истощается, наконецъ, и мой участокъ земли *превращается въ пустырь.*

«Хищническое хозяйство можетъ обратить цѣлыя плодороднѣйшія области въ пустыню, гдѣ ничего не растетъ кромѣ «терна и волчца». Такъ истощилась почва Испаніи, Греціи, Ирландіи, Италіи. Такъ истощается почва Россіи. Крестьянинъ, обрабатывающій землю помѣщика съ половины, увозя на свою землю ежегодно сѣно, солому, зерно, истощаетъ почву помѣщика. Помѣщикъ, продавая рожь, солому, сѣно, только торопитъ роковую минуту. Городъ съѣдаетъ деревню, поглощая продукты, перерабатывая сырье на фабрикахъ, спуская отбросы въ рѣки и не возвращая взятаго изъ почвы назадъ въ деревню. Продавая свои продукты заграницу, мы, въ буквальномъ смыслѣ слова, продаемъ ту землю, на которой живемъ, продаемъ Россію.

«Недаромъ говорятъ, что въ старые годы жить было привольнѣе, и хлѣба родились лучше, и трава была сильнѣе, и скотъ и люди были рослѣе. «Все идетъ хуже и хуже, скажетъ вамъ каждый деревенскій старикъ.—Бывало, амбары ломились отъ хлѣба, а теперь, что ни годъ, то неурожай; бывало, на такой-то пустоши накашивали шесть звенъ сѣна, а теперь и двухъ не положишь, да и трава-то еще какая — бѣлоусъ да куманица. Бывало, идетъ стадо—не сочтешь, да и скотъ какой: крупный, рослый; а теперь что? Сила-то какая въ людяхъ была!»

«Все это совершенно вѣрно. Каждому, кто вникнетъ въ сущность дѣла, будетъ понятно, что въ странѣ, гдѣ изъ почвы постоянно извлекаются минеральныя вещества и ничѣмъ не возмѣщаются, годъ отъ году все должно идти хуже. Чаще должны повторяться неурожаи, травы должны вырождаться, скотъ и люди—мельчать». «Съ каждой былинкой льна, которую мы увозимъ съ нашего луга, увозится нѣкоторое количество минеральныхъ веществъ—почвенныхъ частицъ, и эти частицы сами собою возвратиться не могутъ на наши почвы. Съ пшеницей, которую мы отправляемъ въ Англію, вывозятся частицы нашей почвы и тамъ въ Англіи

остаются. Съ сѣномъ, съ дровами, отправляемыми въ Петербургъ, тоже вывозятся частицы почвы и тамъ остаются».

Что-же дѣлать?—Возвращать полямъ, то, что взято у нихъ. Удобрять ихъ. Раціонально пользоваться остающимися въ имѣніи сѣномъ, соломой въ видѣ навоза. Беречь и утилизировать отбросы. Не спускать золото изъ городовъ въ стоки. Утилизировать все, что остается при производствѣ спирта, сахара и т. под., создавать заводы и фабрички мелкіе, непосредственно въ самихъ хозяйствахъ, прекратить хищничество городовъ и крупныхъ фабрикъ, зря ежегодно уничтожающихъ драгоцѣнныя частицы нашихъ почвъ, и наконецъ пользоваться минеральными удобреніями, залежами фосфорита, неистощимыми, богатѣйшими, которыми обладаетъ Россія.

Въ 1866 году департаментъ земледѣлія и сельской промышленности командировалъ Энгельгардта для изслѣдованія нашихъ залежей фосфорита. Со своимъ ученикомъ А. С. Ермоловымъ, слушавшимъ лекціи въ институтѣ, А. Н. изслѣдовалъ залежи фосфорита на пространствѣ между рѣкою Десною и Волгою, въ губерніяхъ: Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской. Изслѣдованія Энгельгардта показали, что залежи фосфорита встрѣчаются въ Россіи на громадномъ пространствѣ между Десною и Волгою и тянутся широкою полосою отъ г. Рославля, Смоленской губерніи, вплоть до Волги. Наши залежи фосфорита (или, какъ тогда звали, «самородa», терминъ, употребляемый А. Н. въ брошюрѣ «О фосфоритахъ Россіи» 1868 года) занимаютъ пространство болѣе 20 000 квадратныхъ верстъ, и на всемъ этомъ огромномъ пространствѣ фосфоритъ встрѣчается двумя пластами въ общей сложности въ 8 вершковъ толщины. Этотъ драгоцѣнный матеріалъ употреблялся, какъ простой булыжникъ, для мощенія шоссе и улицъ. Брянское и курское шоссе, улицы Курска вымостили фосфоритомъ.

Работая въ лабораторіи надъ фосфоритомъ, Энгельгардтъ не упускаетъ изъ виду и другихъ искусственныхъ удобреній, напримѣръ костей, обработку которыхъ усовершенствовалъ профессоръ Петровской академіи, основатель этого учебнаго заведенія, талантливый химикъ Ильенковъ.

Мы видимъ, что наканунѣ 1870 года, когда надъ Энгельгардтомъ разразилась гроза, забросившая его въ глушь Смоленской губерніи, всѣ вопросы, надъ которыми онъ работалъ потомъ всю жизнь, теоретически были поставлены и разрѣшены, кончена была научная теоретическая подготовка къ преобразованію средне-сѣвернаго русскаго хозяйства,—оставалось только приложить теорію къ практикѣ. Случай, заставившій А. Н. поселиться въ началѣ 1871 года въ деревнѣ и заняться хозяйствомъ въ его имѣніи с. Батищевѣ, Дорогобужскаго уѣзда, Смоленской губерніи,—случай этотъ поставилъ Энгельгардта именно въ тѣ условія, гдѣ это приложеніе теоріи къ практикѣ требовалось самыми насущными потребностями.

Случай губитъ только ничтожныхъ людей. Для людей съ сильной волей и идеей случай является преданнымъ слугою.

Николай Энгельгардтъ.

До слѣд. кн.

СЧАСТЬЕ.

Повѣсть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

„Дитя мое! Сама того не зная,
Ты любишь въ немъ лишь первую любовь!“

I.

Маруся замужемъ. Давно прошли первыя двѣ недѣли, когда она привыкала подписываться «М. Торская», вмѣсто «М. Незванцева», и считать себя взрослой, замужней женщиной. И то и другое съ трудомъ удавалось ей. Она невольно вспоминала, какъ бывало послѣ новаго года рука все хотѣла писать старое число на тетрадкахъ, и долго такъ— около мѣсяца. Потому она думала, что это тоже пройдетъ и она освоится съ перемѣной въ ея жизни. Но прошло больше четырехъ мѣсяцевъ, а это все не проходило.

Первое время вся она была охвачена чувствомъ одного только радостнаго сознанія, что онъ *совсѣмъ* принадлежитъ ей. Это было дѣйствительно такъ.

Они обвѣнчались послѣ экзаменовъ и почти все лѣто провели вдвоемъ,—лѣто, полное блаженнаго отдыха и прелести. Они уѣхали на югъ Рос-

сіи, къ морю, и пролетѣли однимъ мгновеніемъ мѣсяцы вакацій.

Лѣто, впрочемъ, Маруся всегда привыкла считать отдыхомъ и ничего не дѣлать, прежде — на ихъ подгородной дачѣ, потомъ въ имѣніи у бабушки. Такъ-что эти мѣсяцы она приняла какъ должное и только была глубоко счастлива проводить ихъ съ любимымъ человѣкомъ, отдаваясь пока вся только поэзіи своихъ семнадцати лѣтъ, первому полному расцвѣту страсти и вмѣстѣ неизъяснимой прелести быть не одинокой. Она до того устала душой жить *одна*, ея довѣрчивая, нѣжная натура такъ страдала отъ недостатка привязанности, что теперь она вся грѣлась какъ котенокъ на солнышкѣ въ лучахъ этой новой, желанной любви, и ей не хотѣлось ничего больше.

Торскій любилъ жену. Кромѣ того, ему доставляло утонченное удовольствіе слѣдить, какъ подъ его умѣлымъ вліяніемъ въ этой дѣвочкѣ все больше просыпается женщина; онъ восторгался ея наивными вопросами, ея почти благоговѣйнымъ преклоненіемъ передъ нимъ, ея дѣтскимъ незнаніемъ жизни и любви, ея стыдливостью. Ему было пріятно имѣть прелестное молодое существо, которое онъ наизаконнѣйшимъ образомъ могъ немножко развращать. Но онъ дѣлалъ ошибку, видя въ ней гораздо больше *женщину*, чѣмъ человѣка. Маруся была еще очень юна; всѣ его смѣлые уроки только потому принимала она съ восторгомъ, что въ немъ теперь сосредоточилась вся жизнь ея сердца, ея ума,—вся ея любовь; и что-бы онъ отъ нея ни потребовалъ — она пошла-бы на все, и ей показалось-бы мало.

Несмотря на всю его любовь, впрочемъ, Торскаго немножко утомляла эта замкнутая жизнь вдвоемъ; онъ былъ человѣкъ общительный; за

время холостой жизни у него образовались свои привычки, своя партія въ винтъ въ клубѣ, иногда вечера азартнаго «макао», и жить безъ этого ему было скучновато. Но пока онъ рѣшилъ оставить женѣ хорошее воспоминаніе о медовыхъ мѣсяцахъ,—и снисходительно смотрѣлъ съ ней на море въ лунныя ночи, и поддавался очарованію ея робкой ласки, и возвращалъ ее сторицей.

Но лѣто прошло. Акаціи отцвѣли. Море стало грязно-зеленымъ и грозно шумѣло цѣлый день. Дѣла звали Торскаго, и пора было уѣзжать.

Пошла укладка, упаковка; вся эта неизбѣжная сутолока немного вырвала Марусю изъ того «голубого царства грезъ» (съ розовымъ оттѣнкомъ впрочемъ), гдѣ эти мѣсяцы витала ея душа. И они уѣхали къ себѣ, на прежнюю квартиру Торскаго, гдѣ ихъ ждала тетушка.

Переѣздъ, осенняя слякоть, послѣдніе желтые листья на деревьяхъ, — все это живо напомнило Марусѣ прежніе переѣзды въ городъ, конецъ вакацій, и иллюзія была такова, что она иногда ловила себя на мысли: «вотъ, когда я пойду въ гимназію...»

Но въ гимназію ходить было незачѣмъ. Получивъ извѣщеніе о молебнѣ, Маруся даже засмѣялась, что не можетъ туда идти, а пошолъ Торскій, вставъ рано утромъ.

Маруся, по старой привычкѣ, вскочила еще раньше и, надѣвъ свой капотикъ, приготовляла ему чай.

Когда онъ вошолъ въ столовую въ своемъ синемъ фракѣ, она поднялась съ мѣста и едва сдержала слезы какого-то страннаго волненія: такъ больно ей стало, что навсегда исчезли для нея ихъ славныя бесѣды въ гимназическомъ корридорѣ; и въ эту минуту она все-бы отдала, чтобы имѣть возможность пойти въ гимназію.

Она прижалась щекой къ отвороту его фрака, а онъ ласково обнялъ ее и спросилъ:

— Что вы, «наша супруга»? Вамъ грустно, что я уже не имѣю права поставить вамъ пятерку? Ну, не плакать!...

И вынувъ платокъ, шутливо вытеръ ей глаза; а отъ платка пахнуло его духами, и этотъ тонкій запахъ вызвалъ передъ Марусей всю картину: большой классъ, черные пюпитры, десятки молодыхъ головокъ, склонившихся надъ ними; и вся ея любимая гимназія встала передъ ней...

Онъ ушолъ—и съ тѣхъ поръ уходилъ каждый день, не возвращаясь раньше трехъ часовъ. Уроковъ у него было много. Вотъ когда Марусѣ стало казаться удивительно страннымъ, что, вскакивая утромъ, ей не надо бѣжать въ гимназію, вечеромъ—учить уроки, а весь день думать, мечтать объ одномъ: какъ-бы урвать минуточку и повидаться съ Торскимъ.

Онъ былъ все время тутъ, возлѣ нея; она знала, что онъ принадлежитъ ей; и незамѣтно ей не хватало этого... и казалось, что въ сущности онъ *теперь* меньше принадлежитъ ей, чѣмъ *прежде*.

Да, прежде и его день былъ заполненъ только мыслями о ней, объ ихъ свиданіи; они видѣлись тайкомъ, мало, но время проходило быстро, рисуя ему ея образъ.

Теперь они постоянно видѣлись—и у него это вошло въ привычку.

Привычка можетъ замѣнить счастье, пусть такъ; но бѣда, если счастье становится привычкой.

Онъ не думалъ о ней, когда она была съ нимъ, какъ не думаешь о воздухѣ, которымъ дышешь. И понятно, исчезла прежняя напряженная, фиксированная мысль о ней, о ней одной: цѣль была достигнута—стремленіе исчезло, и Маруся, не от-

давая себѣ отчета въ томъ, что это значитъ, все-таки сознавала это.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, она не могла не видѣть, что онъ ее несомнѣнно любитъ, заботится о ней. Чего-же не хватало? Чего? Она сама не знала. У нея прежнее чувство къ нему не прошло; какъ это и всегда бываетъ, онъ успокоился на лаврахъ, она-же въ сущности никого и ничего не побѣдила. Онъ являлся для нея еще большей загадкой, чѣмъ прежде, потому-что она видѣла теперь, что онъ совсѣмъ не тотъ, какимъ рисовался ей прежде его образъ. Любовь ея сохраняла прежнюю свою тревожность и силу.

Но что-же это было?... Мечта ея, ея свѣтлый геній—теперь сидѣлъ дома въ халатѣ, любилъ вареники за обѣдомъ, ворчалъ на тетушку и вздыхалъ о картахъ; и бѣлыя крылья ея любви были чѣмъ-то прикованы къ землѣ.

День Маруси проходилъ довольно безцвѣтно. Она провожала мужа въ гимназію, заказывала обѣдъ (хозяйство вообще по старому вела тетушка); садилась читать или шла гулять; заходила къ бабушкѣ и проводила тамъ натянутыхъ полчаса съ молчаливой старухой, ставшей еще суше съ ней.

Потомъ въ три часа она была дома; являлся Торскій, принося гимназическія новости, отъ которыхъ, при всей ихъ незначительности, у Маруси глаза зажигались: Кто новенькія? Кто теперь въ восьмомъ? Что классныя дамы? Какъ тѣ, что остались на второй годъ?... и т. д., и т. д. Послѣ обѣда Торскій ложился на диванъ въ тужуркѣ, игралъ съ глупымъ псомъ Буянкой и засыпалъ. Потомъ кто-нибудь приходилъ къ нимъ, или они куда-нибудь шли, но это рѣдко; всего чаще онъ, сначала извиняющимся тономъ, а потомъ ужь со-

всѣмъ естественно заявлялъ, что обѣщалъ зайти въ клубъ съиграть робберъ-другой; а Маруся коротала вечеръ съ тетушкой.

Читать она читала много, но когда теперь спросила у мужа какъ-то, памятуя дни былые:— Саша, что мнѣ почитать?—то онъ отвѣтилъ:

— Вотъ, не хочешь-ли? Сейчасъ принесли приложеніе къ «Нивѣ».

Она спросила его:

— А я хотѣла что-нибудь... посерьезнѣе...

— Ну, помилосердствуй, мать моя! засмѣялся онъ.— Ужь не хочешь-ли ты стать синимъ чулкомъ?

На эту тему они немножко поспорили.

— Неужели ты забылъ твои уроки въ гимназіи?...

— Да долженъ-же я былъ васъ чему-нибудь учить?

— А наши милыя бесѣды?... Ты самъ хотѣлъ, чтобы я училась потомъ и...

— Да, но тогда ты была гимназисткой, и не могъ-же я тебѣ говорить что-нибудь другое и набивать твои уши вздоромъ. Я всегда былъ человѣкъ порядочный...

— А теперь?...

— А теперь ты моя жена, и я отъ тебя требую совсѣмъ другой науки!..

И онъ ее расцѣловалъ.

Такъ и кончился ихъ разговоръ, и она уже больше къ нему съ этимъ не обращалась.

Знакомыхъ у нихъ было мало. Съ учительскими дамами Маруся мало сходилась.

Жена географа была, несмотря на замужество, совсѣмъ старая дѣва; жена математика не выходила изъ спальни и дѣтской и не снимала капота; обольстительная сирена, жена зоолога, возненавидѣла

Марусю сразу за ея 17 лѣтъ и за ея прелесть; и такъ далѣе, все въ томъ-же родѣ.

Съ бывшими у нихъ учителями Марусѣ было прямо неловко; ей такъ и хотѣлось отвѣтить имъ почтительнымъ реверансомъ, когда они обращались къ ней. По сердцу ей былъ только старый учитель исторіи Мелиховъ, хроменькій, разсѣянный мечтатель, всегда немножко грустно глядѣвшій на нее.

Дамы на нее смотрѣли какъ на дѣвочку, немножко завидуя этой юности и красотѣ и скрывая все это подъ снисходительной усмѣшкой. Искали надъ чѣмъ-бы посмѣяться и потому удивлялись ея манерѣ одѣваться; Маруся дома донашивала свои дѣвичьи платья и ходила съ распущенной косой, такъ-что иногда кто-нибудь, придя по дѣлу къ Торскому и не заставъ его, просилъ Марусю что-нибудь передать «ея отцу».

Чаще другихъ бывала у нея Соня Смирнова. Окончивъ гимназію, она поступила на фельдшерскіе курсы. Она стала какъ-то еще небрежнѣе относиться къ своей наружности и имѣла далеко непривлекательный видъ. Юбки у нея всегда были на бокъ, корсетъ она перестала носить въ виду «вреда, приносимаго корсетомъ организму», всѣ ея необыкновенныхъ цвѣтовъ лифы сидѣли косо. Всетаки она подвивала волосы и носила пуховку въ носовомъ платкѣ. Она приходила къ Марусѣ на правахъ старой подруги, но разговаривала съ ней очень мало. Если Торскаго дома не было, то обыкновенно Соня брала первую попавшуюся книгу, усаживалась съ ногами на диванъ, и если обращала какое-нибудь вниманіе на хозяйку дома, то только затѣмъ, чтобы спросить у нея:

— Нѣтъ-ли у тебя чего-нибудь перекусить до обѣда? Голодна какъ собака.

Получивъ желаемое, она опять принималась за книгу, жуя какой-нибудь бутербродъ; и это продолжалось до прихода Торскаго. Тогда она бросала книгу, и они оживленно разговаривали. У нихъ были всегда темы для разговоровъ; онъ, слегка презрительно впрочемъ, болталъ съ ней, а когда Маруся выходила изъ комнаты, то онъ отпускалъ Сонѣ какую-нибудь вольную глупость, и возвращаясь, Маруся находила у нея странные огоньки въ глазахъ и улыбку, которую она напрасно старалась сдержать. Ихъ разговоры мало интересовали Марусю, и часто она уходила въ свой кабинетикъ съ книжкой; Соня и не замѣчала ея отсутствія, а Маруся съ легкимъ чувствомъ зависти прислушивалась къ небрежнымъ шуткамъ мужа, тихимъ, оживленнымъ отвѣтамъ Сони и взрывамъ хохота. Съ Соней онъ не церемонился, пилъ при ней пиво, угощалъ ее и хвалилъ молодцомъ Марусѣ за то, что она смѣло выпивала стакана два, тогда-какъ та не притрогивалась къ пиву.

Потомъ онъ шолъ спать, а Соня, какъ-то стараясь потушить свои быстрые глазки, шла къ Марусѣ въ комнату. При свѣтѣ лампы молодая женщина читала или работала тамъ; она поднимала глаза на Соню и старалась съ ней разговориться. Но какая-то стѣна стала между ними, и когда онѣ обѣ умолкали послѣ неудачныхъ попытокъ разговора, Маруся, наклонившаяся надъ работой, вдругъ начинала чувствовать на себѣ какую-то безпокоющую ее тяжесть. Она взглядывала невольно на Соню—и встрѣчала на себѣ такой пристальный, враждебный взглядъ небольшихъ, но яркихъ глазъ Сони, что ей становилось почти жутко, и она наивно спрашивала себя: «Зачѣмъ-же она ко мнѣ ходитъ?..»

Кромѣ Сони, изъ женщинъ мало кто у нея бы-

валъ, и она очень рѣдко посѣщала своихъ знакомыхъ дамъ.

Понятно, эта подруга не могла наполнить ея одиночество, а оно чувствовалось все чаще и чаще.

Торскій, женясь на Марусѣ, зналъ, что дастъ себѣ маленькій праздникъ, своего рода вакаціи, и когда онѣ окончились,—совершенно спокойно перешолъ къ своимъ занятіямъ и обыденнымъ дѣламъ. Маруся-же, наоборотъ, взяла этотъ праздникъ отъ жизни съ такой безумной благодарностью, съ такимъ восторгомъ, что, когда это кончилось,—она сразу почувствовала, какъ вся жизнь ея потемнѣла. И она даже испугалась сама той пустоты, которую оставляло въ душѣ ея отсутствіе мужа. Она стала выдумывать себѣ занятія; хотѣла переводить, но жаль ей было отнимать работу у тѣхъ, кто, можетъ быть, болѣе нуждался въ ней; начала безконечное вышиванье и, конечно, бросила; читать и только читать—утомляло и мозгъ, и зрѣніе. Она и то проводила почти все время окружонная книгами, и безъ системы читала все, что могла найти: и Тейхмюллера, и Мишле, и Фурнье, и Вундта; все это перемѣшивалось въ ея молодой головкѣ, слова прыгали и заставляли задумываться надъ многимъ, непонятнымъ, интереснымъ; но до всего приходилось додумываться самой, и она доходила до головной боли.

Что можетъ быть хуже этого состоянія, когда *нечего дѣлать,* и женщина ходитъ по комнатамъ въ безцѣльной тоскѣ? Все начинаетъ тогда принимать скучный видъ; скучно висятъ занавѣси на окнахъ, скучно бьютъ часы и скучно постукиваютъ каблуки туфель, лѣниво спадающихъ съ маленькихъ ножекъ. Она смахнетъ пыль съ цвѣтовъ, откроетъ рояль, подойдетъ къ

окну и долго смотритъ на сѣрое небо, на мокрые дома и блестящія отъ дождя крыши. Потомъ заломитъ руки такъ, что пальцы хрустнутъ и, закрывъ глаза, опустится въ кресло. И такъ и стучитъ какъ молоточекъ въ вискѣ: нечего дѣлать! нечего дѣлать!

Вотъ такъ иногда изъ-за *нечего дѣлать* сбѣгаетъ изъ дома всѣми уважаемая супруга почтеннаго сановника, или молоденькая дѣвушка идетъ топиться...

Маруся не сдѣлала ни того, ни другого. Отчасти ей помогъ самъ Александръ Сергѣевичъ. Онъ какъ-то ей объяснилъ, довольно смущенный, что такъ-какъ расходы теперь стали значительно больше, то онъ-бы хотѣлъ опять поступить какъ прежде — взять двухъ гимназистовъ-пансіонеровъ, да боится, что это ее стѣснитъ; а мальчики оба издалека, и за нихъ будутъ отлично платить... Онъ ждалъ съ легкимъ безпокойствомъ, что она скажетъ, и у него на ея отрицательный отвѣтъ было уже готово возраженіе: что не виноватъ-же, молъ, онъ, что бабушка не выдаетъ Марусѣ ничего. Но къ его удивленію, Маруся даже обрадовалась и сказала, что она готова ему помогать и репетировать съ мальчиками вмѣсто него.

Большую угловую комнату освободили отъ шкафовъ и старыхъ картонокъ, внесли туда двѣ желѣзныя кровати — и черезъ недѣлю два пятиклассника поселились у Торскихъ.

Въ столовой тихо. Большая висячая лампа освѣщаетъ неубранный столъ съ недопитыми стаканами чаю и почти пустой сахарницей. На столѣ разложенъ недоконченный пасьянсъ. Съ одной стороны скатерть откинута, и на клеенкѣ лежатъ учебники и тетради, надъ которыми наклонились три

головы. Молочный свѣтъ лампы ярко освѣщаетъ темную вихрастую шевелюру одного изъ мальчиковъ, русую щетинку другого и бѣлокурую косу Маруси.

Ея пушистые волосы растрепались, и выбившіеся завиточки блестятъ вокругъ головы совсѣмъ золотыми паутинками.

Молчаніе нарушается только тиканьемъ часовъ да усерднымъ скрипомъ перьевъ.

Время-отъ-времени Костя зажимаетъ себѣ уши и чтобъ лучше запомнить, учитъ вслухъ:

— Азорскіе, Канарскіе, Зеленаго Мыса, св. Елены и Мадагаскаръ, Ма-да-га-скаръ!...

Вдругъ онъ срывается со своего мѣста, бросается какъ безумный къ двери, повисаетъ на ней; потомъ передъ испуганной Марусей въ воздухѣ мелькаютъ длинныя мальчишескія ноги на томъ мѣстѣ, гдѣ, собственно говоря, слѣдовало-бы быть головѣ; это онъ перебрасывается съ двери на буфетъ, и черезъ минуту съ вышины дубоваго буфета на Марусю смотритъ смѣющаяся пятнадцатилѣтняя физіономія.

— Господи! Костя! Что это вы? ужасается та.

— Да, братецъ, замадагаскарился совсѣмъ! отвѣчаетъ мальчикъ.

Маруся пробуетъ прочесть ему нотацію:

— Костя! Костя! Вы знаете, что Александръ Сергѣевичъ очень-бы разсердился, еслибы услыхалъ, что вы меня называете братцемъ.

— Виноватъ, Марья Николаевна! оправдывается тотъ.—Ей-Богу, никакъ не повѣришь, что вы барыня!..

И онъ самымъ невѣжливымъ образомъ хохочетъ такъ, что въ буфетѣ начинаютъ трястись стаканы на полкахъ.

Дѣйствительно, на барыню Маруся совсѣмъ ужь не похожа. Она одѣта въ узенькое коричневое платьице и на время занятій приколола черный передникъ; золотая коса свободно спускается ниже таліи, а сама она съ такимъ вниманіемъ рѣшаетъ лежащую передъ ней задачу, что можно повѣрить, что завтра ей тоже идти въ гимназію.

Тима Новосельцевъ поднимаетъ близорукіе глаза отъ тетрадки и, слегка заикаясь, говоритъ:

— Н-никакъ не выходитъ, Марья Николаевна!

Маруся, смущенная, смотритъ на него:

— Вотъ бѣда-то! И у меня не выходитъ!

— Эхъ, вы! презрительно заявляетъ съ высоты своего величія Костя.—Комуха вы этакая! Такой ерунды и рѣшить не могутъ!

Онъ спрыгиваетъ съ буфета и съ побѣдительнымъ видомъ подходитъ къ нимъ. Маруся опять хочетъ ему выговорить, но отвлекается тѣмъ, что онъ ей сообщаетъ:

— Кажется, дѣло просто: иксъ равняется р, дѣленное на два плюсъ корень квадратный а минусъ ку, дѣленное на 4... и т. д.

Она внимательно слушаетъ.

— Ну, поняли, что-ли? кончаетъ свою лекцію юный профессоръ.

— Поняла, обрадованно говоритъ Маруся и по-дѣтски прибавляетъ:—Я ужасно рада, а то пришлось-бы спрашивать Сашу.

— Обойдемся и безъ него! торжествуетъ Костя.

— Костя! укоризненно говоритъ Маруся.

— Понятное дѣло! Вѣдь опять онъ можетъ вернуться въ пять часовъ утра, а тогда что-бы мы запѣли?..

Маруся краснѣетъ чуть не до слезъ, а Тима

деликатно старается перевести разговоръ и ни къ селу ни къ городу спрашиваетъ:

— З-завтра пойдете на катокъ?

Маруся съ благодарностью хватается за эту тему и мало-по-малу увлекается, слушая болтовню гимназистовъ о происшествіяхъ во время сегодняшняго катанья (она была у бабушки и пойти не могла). 15-лѣтніе мальчики и 17-лѣтняя женщина хохочутъ по-дѣтски надъ разсказомъ о томъ, какъ шлепнулся долговязый Донъ-Кихотъ, и на время забыты и алгебра, и Мадагаскаръ, и Александръ Сергѣевичъ.

Тетушка входитъ, шлепая своими туфлями. Очки у нея сдвинуты на лобъ.

— Кончили свои уроки-то? спрашиваетъ она.

— Кончили! отвѣчаютъ всѣ трое.

Маруся искренно считаетъ эти уроки своими.

— То-то, я слышу, хохочете...

И тетушка присаживается кончать свой пасьянсъ.

— Говорила я, что Сашѣ на сорочку мало 6 аршинъ; теперь полъаршина прикупать придется, а можетъ, ужь больше такого шолку не найдешь, говоритъ она. — Вотъ такъ-то и всегда. Никогда меня не послушаютъ. Намедни просила керосину купить, не купили; теперь вздорожалъ чего-то на полкопѣйки. Къ чему-бы это, что все вздорожало? Я думаю, что непремѣнно скоро...

Но ее, дѣйствительно, не слушаютъ; впрочемъ, ей этого совершенно не надо, и она долго что-то приговариваетъ себѣ подъ-носъ.

Маруся съ мальчиками ушла въ залу и сѣла за рояль. Тима вытащилъ свою віолончель — его единственную страсть, — а Костя усѣлся въ качалку и отъ нечего дѣлать слушалъ.

Маруся и Тима сначала разбирали, твердили

по нѣскольку разъ одну и ту-же фразу. Это было однимъ изъ удовольствій Маруси—играть съ нимъ по вечерамъ.

Тима, робкій, застѣнчивый, особенно благодаря своему заиканью, оживлялся за музыкой. Игралъ онъ технически не важно, но въ его неумѣлыхъ рукахъ иногда віолончель пѣла и плакала какъ живая.

Наконецъ они перестали учить.

— Давайте нашъ «Romance», Тима, мы его ужь знаемъ! сказала Маруся, и послѣ нѣсколькихъ аккордовъ раздались плавные звуки давыдовскаго романса.

Углы комнаты тонули во мракѣ; тѣни ползли отъ цвѣтовъ на окнахъ; черезъ промерзлыя стекла отъ фонарей въ комнату пробирались полосы невѣрнаго свѣта. Въ этомъ полумракѣ яркимъ пятномъ только выдѣлялся освѣщенный двумя свѣчами рояль, стройная фигурка Маруси и поблѣднѣвшее лицо Тимы, съ какой-то любовью водившаго смычкомъ по струнамъ.

Костя раскачивался въ качалкѣ и притихъ подъ вліяніемъ музыки.

Александръ Сергѣевичъ сидѣлъ въ клубѣ и ставилъ третій ремизъ.

II.

M-me Новосельцева была очень интересна, какъ про нее говорили всѣ ея знакомые. Невысокая, тонкая, съ тонкими чертами не особенно красиваго лица и аристократическими руками и ногами, блѣдная; глаза красивые, хотя немного злые; а все это, вмѣстѣ съ умѣньемъ одѣваться, причесываться, душиться, заставляло не одного сорокалѣтняго побѣдителя разоряться для нея на ложи,

цвѣты, конфекты, а иногда и на болѣе цѣнныя вещи. Мужъ ея, «человѣкъ съ головой» и большой карьеристъ, былъ очень доволенъ такой женой, и они составляли примѣрную пару. У нихъ былъ прекрасный домъ, хорошій поваръ, рысакъ на конюшнѣ; для «intimes» имѣлись волшебные пеньюары отъ Дусэ, которые въ маленькомъ будуарѣ Louis XV производили магическое вліяніе. У m-me Новосельцевой было трое дѣтей, всѣ мальчики — старшему 13 лѣтъ, затѣмъ 10 и 9; воспитывались они очень хорошо. У нихъ была большая классная и англичанинъ-гувернеръ. Каждый день они приходили здороваться къ матери, высокіе, съ длинными локонами, въ черныхъ чулкахъ на стройныхъ ножкахъ, и она цѣловала ихъ въ лобики тонкими губами, а иногда брала съ собой кататься въ landeau и, какъ женщина умная, даже немножко кокетничала тѣмъ, что у *нея*—такія большія дѣти!.. Но она была ими неудовлетворена. Въ глубинѣ сердца ей страстно хотѣлось имѣть дѣвочку: живую куколку, обворожительную, которая сразу наполнила-бы ея существованіе массой пріятныхъ заботъ о платьицахъ, шляпкахъ и т. д., которую можно было-бы одѣвать въ разныхъ стиляхъ, кокетничать ею передъ подругами и сдѣлать изъ нея такую-же очаровательную женщину, une vraie petite femme, какъ и сама. Почти десять лѣтъ прошло со времени рожденія послѣдняго сына, Бори, и m-me Новосельцева начала уже думать: не взять-ли ей на воспитаніе дочку одной бѣдной родственницы—какъ вдругъ она почувствовала, что будетъ опять матерью. Она сдѣлала большіе глаза и пришла въ восторгъ: само Провидѣніе услышало ея мечту и посылаетъ ей дочку!... Привыкшая къ всеобщему баловству, она принимала за странную несообразность то, что ея желаніе не исполнялось.

И вотъ теперь она вся просіяла. Она даже сдѣлалась какъ-то мягче, она нѣжнѣе смотрѣла на мужа и рѣже принимала своихъ «intimes» въ сиреневомъ будуарѣ. Вся она была поглощена тѣмъ, какъ назвать, какъ принять ожидаемую «инфанту». Была за нѣсколько мѣсяцевъ отдѣлана дѣтская; даже игрушки заранѣе покупались: куклы, сервизы, разныя вышиванья и т. д. Все это занимало ее страшно. Выписали кормилицу; шили роскошную layette, и все, даже колыбельку отдѣлывали розовымъ — для дѣвочки. Заказывали серебряныя дѣтскія чашечки, ложечки и т. д. Наконецъ — имя было выбрано: ее назовутъ *Тамарой*,—у этой необыкновенной дѣвочки и имя должно быть красиво. Роскошное готическое «Т» встало всюду: на серебряной посудѣ, на крошечныхъ пеленкахъ, наволочкахъ, рубашечкахъ; даже на спинкѣ колыбельки появилась эта красивая буква; и при одномъ взглядѣ на нее ходившая изъ комнаты въ комнату въ капотѣ съ длиннымъ шлейфомъ Зинаида Львовна гордо улыбалась и представляла себѣ эту маленькую жемчужину, которую она такъ будетъ воспитывать и приготовлять, которой она передастъ всѣ тайны женской власти, всю прелесть тонкаго кокетства и сознанія своихъ силъ.

— Тамара!... шептала она.—Это прелестно!... Тамара...

И маленькую гостью ждалъ съ нетерпѣніемъ отецъ, предвидя въ ней новый источникъ благосостоянія, и ждала бабушка, и tante Lise, и cousine Hélène, и маленькіе мужчины — которымъ обѣщали новую сестричку; и всѣ повторяли:

— Это для Тамары...

— Когда появится Тамара?...

— Гдѣ-же она?... Дайте мнѣ ее?... Я хочу ее поцѣловать!... томнымъ голосомъ произнела мать, едва очнувшись послѣ страданій.

Улыбающаяся акушерка поднесла ей крошечное существо и сказала съ удовольствіемъ:

— Это мальчикъ, Зинаида Львовна, и какой славный!...

Больная приподнялась на постели. Глаза ея сверкнули гнѣвомъ.

— Вы шутите, сказала она.—Это должна быть дѣвочка.

— Увѣряю васъ!... удивилась акушерка.

Показался мужъ—онъ почему-то имѣлъ сконфуженный видъ.

— Да, Зиночка, мальчикъ... подтвердилъ онъ.

Зинаида Львовна взглянула на него съ презрѣніемъ и отвернулась къ стѣнѣ... Она такъ и не поцѣловала мальчика.

Прошло нѣсколько дней. Ребенокъ лежалъ въ розовой колыбелькѣ съ буквой Т., и кормилица глядѣла на него съ жалостью. Зашолъ разговоръ о крестинахъ.

— Какъ-же ты хочешь его назвать, Зина? спросила tante Lise.—Надо-же объ этомъ подумать.

— Ахъ, все равно!... съ отвращеніемъ произнесла Зинаида Львовна.

Она не могла простить мальчику своего разочарованія. Потомъ взглядъ ея упалъ на забытую въ ея комнатѣ пеленку, и она проговорила:

— Ну, конечно, на Т. Нельзя-же все выбрасывать.

— На Т? На Т? Не помню на Т, задумалась tante Lise.—Постой, я возьму въ кабинетѣ календарь, и мы прочтемъ всѣ имена на Т.

Она принесла книгу и сѣла у кровати:

— А... Б... В... Л... М.... вотъ Т.

— Ну?..

Зинаида Львовна немножко заинтересовалась.

— Тарасій, Тарахъ, Татіокъ...

— О-о!... вырвалось у Зинаиды Львовны.

— Тавріонъ, Терентій, Тертій... Peut-être, Тертій?

— Voyons, tu es folle!...

— Тибуртій, Тигрій, Тимолай, Тимоѳей, Тимонъ, Титъ, Транквилліанъ...

— Exasperant!... простонала мать.

— Тривиллій, Трифуллій, Троадій, Трофимъ, Трифонъ, Турвонъ, Тихикъ, Тихонъ... Зина, всѣ!.. безпомощно сказала tante Lise.

— Всѣ?...

— Больше нѣтъ.

Зинаида Львовна почувствовала, что она близка къ истерикѣ.

— Это удивительно!... дрожащимъ голосомъ заговорила она.— Все противъ меня. Это невозможно.

Она помолчала, стараясь сдержать себя. Потомъ спросила:

— Какъ ты сказала? Тимонъ?...

— Тимонъ... Это что-то есть у Шекспира, кажется. Да, да...

— Это самое сносное... Назвать его Тимонъ и будемъ звать Тимъ. Это даже мило.

— Конечно, а оригинальность имени можно объяснить твоей любовью къ Шекспиру...

— Да можетъ быть, этотъ твой Тимонъ былъ какой-нибудь...

— Ахъ, нѣтъ, душечка, напротивъ, честный человѣкъ, и его за это откуда-то выгнали.

— Ты знаешь навѣрно?...

— Да погоди, я возьму въ кабинетѣ Шекспира.

Черезъ минуту рядомъ съ календаремъ водво-

рился Шекспиръ, а черезъ пять минутъ рѣшили назвать мальчика Тимономъ.

Торжества никакого не устроили; вѣдь неловко—все было приготовлено для дѣвочки, все розовое... заказывать новое было некогда. Крестили tante Lise и помощникъ Новосельцева. Когда послѣ крестинъ, по обычаю, принесли мальчика къ матери, она взглянула на tante Lise сердитыми глазами и сказала:

— Мы обѣ были глупы!

— Почему? испугалась старая дѣвица.

— Мы могли его назвать Федоромъ и сказать, что мѣтки французскія... Theodore... вотъ и все.

— Ахъ, Боже мой!... Это было такъ просто!.. заахала та.

— Вы всегда такъ... проговорила Зинаида Львовна и закрыла глаза.

Это, кажется, было ея послѣдней мыслью насчетъ маленькаго Тима. Его сдали въ дѣтскую, и тамъ онъ росъ подъ присмотромъ кормилки. Развивался онъ нормально, не болѣлъ, не особенно мучился зубками. Пока у него было всего вдоволь, и рѣдко приходилось о немъ разговаривать съ родителями даже кормилкѣ, блюдущей его интересы. Но его не окружала та особенная атмосфера, которая всегда является въ домѣ съ рожденіемъ маленькаго существа—та счастливая пора, когда весь домъ, отъ отца и до послѣдней горничной, съ восхищеніемъ и умиленіемъ слѣдитъ за всегда прекрасной тайной развитія этого крошечнаго созданія, какъ мало-по-малу загорается огонекъ сознанія въ его глазкахъ, какъ сжатые кулачки тянутся къ матери или кормилицѣ и какъ, наконецъ, на влажныхъ губенкахъ появляется первая улыбка; когда его еще не называютъ по имени—Саша, Митя, Аля—а говорятъ

почтительно и понижая голосъ: *онъ*. *Онъ* кушать хочетъ; *онъ* заснулъ; *онъ* сегодня смѣялся. И всѣ ходятъ на-цыпочкахъ и, урываясь отъ дѣлъ, заглядываютъ къ нему, и бережно его ласкаютъ; и этотъ маленькій *онъ* дѣлается властелиномъ всего дома, видитъ надъ собой только улыбающіяся лица, заставляетъ плясать старую бабушку и срываетъ заслуженныя звѣзды съ грознаго дѣдушки.

Эта чудная атмосфера никогда не ласкала маленькаго Тима, и весь его мірокъ сосредоточился въ дѣтской и въ кормилкѣ. Когда ему минулъ годъ, его отняли отъ груди, но кормилка сама попросилась остаться у него няней, и онъ принадлежалъ ей вполнѣ.

Разочарованная Зинаида Львовна стала вести жизнь еще разсѣяннѣе чѣмъ прежде, и ей некогда было заглядывать въ дѣтскую. Тимъ уже сталъ ходить, и его первые шаги радостно привѣтствовали только няня да старая экономка, забредшая въ дѣтскую. Его одѣвали дѣвочкой, потому-что всѣ платьица были приготовлены для Тамары,—и игралъ онъ все куклами, чашечками и т. п. Братья его рѣдко видѣли; самый младшій изъ нихъ былъ уже въ гимназіи,—имъ было не до двухлѣтняго крошки. Такъ онъ росъ тихо, и въ немъ развивалась мечтательность. Онъ былъ очень робокъ — онъ боялся матери и отца, которыхъ видѣлъ очень рѣдко, боялся сухой tante Lise; къ тому-же онъ немножко заикался. Онъ былъ не особенно красивъ,—худенькій, блѣдный, съ рѣдкими бѣлокурыми волосиками,—но глазки у него были славные. Однимъ изъ лучшихъ воспоминаній его дѣтства осталось у него такое: онъ сидитъ у няни на колѣняхъ; трещитъ лампадка; онъ смотритъ на темный дворъ, гдѣ бѣгаютъ тѣни и свѣтъ, и въ сотый разъ слушаетъ одну и ту-же сказку про «Мальчика-

Кувшинчика». А потомъ няня примолкнетъ, вздохнетъ, глядя на него: «горькій ты мой, горькій!..» и заплачетъ. Тогда онъ прижимается щечкой къ ея мокрой отъ слезъ щекѣ и, самъ не зная почему, тихо заплачетъ, и гладитъ ее своими дѣтскими ручками. А потомъ няня засмѣется и скажетъ: «Ну полно, батюшка мой, давай-ко пить молочко, да и спать ложиться».

И онъ засыпалъ, держа няню за палецъ, обхвативъ его всей рученкой. Когда ему минуло 7 лѣтъ, няня ушла: нашли, что ему вредно оставаться подъ женскимъ присмотромъ. Это было прямо трагедіей его дѣтства. Онъ поступилъ подъ надзоръ англичанина и каждый день дрожалъ отъ холода, когда тотъ его заставлялъ обливаться ледяной водой, и этотъ холодъ проникалъ въ его маленькую душу. Онъ сталъ рости, вытягиваться, хирѣть; оставался все такимъ-же тихимъ и мечтательнымъ. Братья— уже кончавшіе гимназію—звали его дѣвчонкой. Онъ заболѣлъ, и докторъ посовѣтовалъ отправить его поюжнѣе. Тогда Новосельцевъ вспомнилъ о N-скѣ, гдѣ у него дальній родственникъ былъ директоромъ мужской гимназіи, и самъ его отвезъ туда и сдѣлалъ всѣ распоряженія. Тимъ жилъ пансіонеромъ у учителя нѣмецкаго языка и съ благодарностью вспоминалъ объ этомъ времени, потому-что старикъ любилъ играть на віолончели и передалъ ему эту любовь. Тимъ словно прозрѣлъ и нашолъ то, чего ему не хватало: душа его отдалась музыкѣ, это была его первая любовь. Теперь для него не существовали никакія горести, потому-что онъ шолъ прямо къ своей віолончели, и когда, играя что-нибудь дорогое, онъ плакалъ тихими слезами,— онъ вспоминалъ тѣ вечера, когда плакалъ у няни на колѣняхъ. Старикъ нѣмецъ ушолъ въ отставку, и тогда-то онъ и попросилъ Торскаго взять къ себѣ

его двухъ пансіонеровъ; такимъ образомъ Тимъ попалъ къ Торскимъ.

Костя Невѣровъ, его товарищъ, былъ субъектъ совершенно другого рода. Онъ былъ родомъ сибирякъ, крѣпкій, способный, веселый; жилъ здѣсь все время порываясь въ свою тайгу, на свою заимку, и одушевлялся разсказывая про богатства и красоты Сибири. Учился онъ очень недурно, мечталъ сдѣлаться инженеромъ и тогда уѣхать на родину къ дядѣ (кромѣ дяди у него родныхъ не было) и горько сожалѣлъ, что въ этомъ городишкѣ даже и нельмы-то нѣтъ.

Оба мальчика первое время приглядывались къ Марусѣ, какъ и она къ нимъ. Тима она взяла тѣмъ, что играла на фортепіано и, обрадовавшись его віолончели, готова была съ нимъ разучивать партіи цѣлые вечера; Костя умилился тому, какъ она сидитъ надъ ихъ задачами, когда онѣ имъ не даются, и рѣшилъ, что она «славный малый». Съ тѣхъ поръ у нихъ установились дружескія отношенія, съ маленькимъ оттѣнкомъ, впрочемъ: Костя относился къ ней, по привычкѣ его обращаться съ «дѣвчонками», довольно фамильярно, низачто не хотѣлъ признавать въ ней «настоящую барыню» и часто называлъ братцемъ; Тимъ-же питалъ къ ней нѣжное уваженіе и спрашивалъ себя иногда последнее время: кого онъ больше любилъ—прежде няню, потомъ віолончель или теперь Марью Николаевну, и оставался въ недоумѣніи; во всякомъ случаѣ, больше это чувство походило на его любовь къ віолончели; ему даже разъ приснилось, что въ его віолончели живетъ душа, и эта душа—двѣ капли воды Марья Николаевна; только маленькая-маленькая и въ бѣломъ платьицѣ, какъ она была на Рождествѣ.

Мальчики немного наполнили жизнь Маруси.

Она не такъ часто бывала одна, каталась съ ними на каткѣ, иногда они ходили гулять черезъ весь городъ и возвращались громко разговаривая, съ розовыми щеками, смѣясь. Иногда возрастъ Маруси давалъ себя знать; она не выдерживала передъ соблазномъ поиграть въ снѣжки, и къ ужасу тетушки они удирали на дворъ, и всѣ трое, два гимназиста и взрослая «барыня», какъ хохоталъ Костя, устраивали настоящее сраженіе. Послѣ этого они обѣдали съ такимъ аппетитомъ, что даже частое отсутствіе Александра Сергѣевича не такъ было замѣтно Марусѣ.

Онъ былъ очень радъ, что жена нашла занятіе, и говорилъ Сонѣ:

— Въ сущности всѣмъ вамъ, бабамъ, только-бы было съ чѣмъ возиться, будь это мужъ, дѣти, собаки или тенора—все равно.

Бывалъ онъ дома все рѣже и рѣже; его прежній кругъ затягивалъ его, и онъ даже по ночамъ бредилъ тузомъ пикъ.

III.

Вчера учитель исторіи Мелиховъ пріѣхалъ съ визитомъ къ Торскимъ и привезъ съ собою свою племянницу, молодую вдову, Людмилу Павловну, познакомиться. Она пріѣхала къ нему погостить на мѣсяцъ. Торскаго не было дома; думая, что это онъ, Маруся сама выбѣжала на звонокъ; она смутилась своихъ распущенныхъ косъ, при видѣ старика и незнакомой дамы, но отступать было уже поздно.

Послѣ первыхъ привѣтствій и представленій, Мелиховъ сказалъ:

— Милая Марья Николаевна, привезъ къ вамъ Милочку; убѣжденъ, что вы сойдетесь.

Людмила засмѣялась.

— По правдѣ говоря, дядя просто сказалъ мнѣ: со всѣми нашими типами тебѣ и знакомиться не стоитъ, а есть тутъ одна «голубка въ стаѣ вороновъ»,—я тебя къ ней и свезу.

Маруся вспыхивала и улыбалась, ей было пріятно смотрѣть на Людмилу Павловну, и сразу потянула къ ней какая-то симпатія.

Людмила Павловна была очаровательная маленькая женщина, съ огромными насмѣшливыми глазами и ртомъ, который такъ и хотѣлось поцѣловать. Ротикъ у нея былъ удивительный, немножко чувственный, очень нервный и неотразимо привлекательный.

Она чувствовала, что Маруся ею любуется, и ей это было пріятно. Она, какъ цвѣтокъ на солнцѣ, еще болѣе хорошѣла, когда сознавала, что ею любуются.

Онѣ быстро разговорились. Тетушка распорядилась чаемъ. Гимназистовъ еще не было.

Въ столовую солнце бросало яркій свѣтъ. Вышитыя портьеры, цвѣты въ высокихъ вазонахъ у стекляной двери, ведущей на занесенный теперь снѣгомъ балкончикъ придавали комнатѣ уютность. Тетушка разливала чай, усѣвшись за серебрянымъ самоваромъ, и занимала Мелихова разсказомъ о томъ, какъ въ 72-мъ году она ѣздила въ Святогорскій монастырь; тотъ разсѣянно и добродушно слушалъ ее.

Молодыя женщины весело разговаривали.

— Вы навѣрно теряетесь среди этихъ «старухъ зловѣщихъ, стариковъ», говорила Людмила.—Мы съ вами должны часто видѣться этотъ мѣсяцъ. Дядя говоритъ, что вы—ужасная домосѣдка, нигдѣ не бываете, но меня это не удивляетъ: здѣсь—и нигдѣ, и не у кого бывать, въ этой богоспасаемой провинціи.

— Да, развлеченій здѣсь мало.

— И дѣла никакого! Ну, что вы тутъ дѣлаете по цѣлымъ днямъ?

— Я?.. Вышиваю... Занимаюсь съ мальчиками... Читаю... много читаю... Играю...

— Ну да, отъ этого можно скоро почувствовать желаніе...—Она не договорила, какое, и прервала самое себя:—Вы играете? Я очень рада, а я ужь начала бунтовать у дяди, что некому будетъ аккомпанировать.

— Вы поете? обрадовалась Маруся.

— Да, и очень усердно.

— Я страшно люблю пѣніе.

— Вотъ и прекрасно; значитъ, вы мнѣ поможете.

Она говорила съ Марусей какъ-будто десять лѣтъ съ ней была знакома, и ея красивые глаза такъ открыто и жизнерадостно смотрѣли на Марусю, что той дѣлалось веселѣе на душѣ.

Просидѣвъ около часа, онѣ стали прощаться.

— Я скоро васъ увижу у себя? Пожалуйста, безъ визитовъ—прямо вечеркомъ пораньше, часовъ въ семь. И посидимъ, и попоемъ... Да нѣтъ, постойте, я отъ васъ не уйду, пока вы не назначите мнѣ день, когда придете. Ну, когда-же?—И держа Марусю за руки, Людмила Павловна, улыбаясь заглянула ей въ лицо.—Когда-же?.. Когда вы свободны?

— Я?.. Всегда! печально отвѣтила Маруся.

— Ну, послѣ-завтра, хотите?.. Что у насъ, суббота?

— Съ удовольствіемъ...

— И съ мужемъ, неправда-ли?.. Дядя ему еще въ гимназіи скажетъ. Ну, такъ до субботы. Непремѣнно?

— Непремѣнно.

Людмила Павловна закуталась въ какой-то бѣ-

лый мѣхъ; изъ воротника едва выглядывалъ вздернутый носикъ и оживленные глаза.

— До свиданья-же, прелесть моя.—Она взяла ее за руки.—Можно? И звонко засмѣявшись, она ее крѣпко расцѣловала.

Дверь за ними захлопнулась. Маруся медленно пошла въ залу и смотрѣла въ окно на улицу.

«Вонъ гимназисты идутъ... Значитъ, скоро мальчики вернутся».

Въ ея ушахъ звучалъ смѣхъ Людмилы, удивительно своеобразный: когда она смѣялась, казалось, что она входитъ въ холодную воду и немножко задыхается и хохочетъ.

Эта маленькая женщина сразу понравилась ей. Она внесла какую-то свѣжую струю, и легкій запахъ модныхъ духовъ, и звонкій смѣхъ. Давно Маруся не слышала такого смѣха, давно и сама не смѣялась имъ—развѣ съ мальчиками, когда она старалась себя увѣрить, что она хорошо себя чувствуетъ, что она не одинока.

Опять позвонили. Пришла Соня. Она была въ баскѣ гороховаго цвѣта съ вылѣзавшей изъ-подъ нея коричневой юбкой. На шеѣ была надѣта красная ленточка. Черные, жесткіе волосы растрепанно торчали изъ-подъ мужской вязаной шапочки. Она съ слегка иронической улыбочкой, которая неизмѣнно появлялась на ея лицѣ при видѣ Маруси, сунула той бокомъ руку и спросила:

— А Торскій гдѣ?

— Еще не приходилъ, отвѣтила Маруся.—Какъ ты поживаешь?

— Что мнѣ дѣлается! Работаю, не тунеядничаю, сказала она, покосившись на Марусю, и помолчала.—Обѣдать дашь? Голодна какъ чортъ.

— Я жду мужа...

— Ага! Ладно, я подожду. Пожалуйста, не стѣсняйся—я тебѣ не помѣшаю.

Она прошла въ кабинетъ, вытащила съ полки книжку «Вѣстника Европы» за прошлый годъ и усѣлась на диванъ съ ногами. Черезъ нѣсколько времени послышался ея голосъ:

— Папироски нѣту?..

Маруся пришла и подала ей ящикъ съ папиросами. Она кивнула головой и уткнулась въ книгу.

Въ передней послышался шумъ, заглушонный смѣхъ, возня съ калошами: пришли мальчики.

Маруся вышла къ нимъ. Они пожали ей руку.

— Что, здѣсь эта?.. Эмансипація-то Ивановна? спросилъ Костя, кивая на мужскую шапочку. Онъ открыто не переносилъ Соню, говоря съ рѣзкостью 15-ти-лѣтняго гимназиста:

— Работа—работой, а у нея все одна вывѣска.

Тима хотя не высказывалъ этого, но тоже чувствовалъ къ Смирновой смутную антипатію. Не любила ее и тетушка, но Соня этимъ нимало не смущалась. Она на всѣхъ ихъ глядѣла съ насмѣшкой и сознавала, что она становится необходима Торскому. Она ловко втиралась къ нему въ душу, льстила ему довольно грубо, выносила все—и его рѣзкіе окрики, и сальные разсказцы. А онъ какъ-то сказалъ подъ откровенную руку своему пріятелю, учителю географіи:

— Моя жена—это сама чистота, а Сонька мнѣ нужна какъ плевальница.

Онъ скоро явился, немножко запоздавъ; къ тремъ часамъ собирались всѣ. Онъ довольно сердито потребовалъ:

— Обѣдать!

— Готово, сказала Маруся, подходя къ нему съ робкой лаской.—Мы ждали тебя.

Онъ, не обращая на нее вниманія, прошолъ въ кабинетъ.

— Тутъ какъ тутъ!.. не здороваясь сказалъ онъ Сонѣ.—Идемте ѣсть.

За столомъ онъ былъ неразговорчивъ и выпилъ двѣ бутылки пива. Маруся раздавала жаркое и посмотрѣла на Соню; та сидѣла на томъ мѣстѣ, гдѣ часъ тому назадъ сидѣла Людмила Павловна. Она неопрятно ѣла курицу руками и причмокивала.

— У насъ былъ сегодня Мелиховъ, Саша, сказала Маруся.

— У... гм? отозвался онъ.

— Съ племянницей. Удивительно милая женщина. Они звали насъ въ субботу.

Маленькое молчаніе.

Слышался только стукъ ножей и вилокъ да Сонино причмокиваніе.

— Я обѣщала за тебя. Ты пойдешь?

— Что мы, сіамскіе близнецы, что-ли? почему-то страшно вспылилъ Торскій.—Можешь идти и одна! Потомъ прибавилъ мягче:—У меня въ субботу дѣла.

Костя кинулъ на него, потомъ на Соню сверкающій взглядъ и сжалъ вилку въ кулакѣ. Тима испуганно смотрѣлъ на Марусю, которая низко наклонилась надъ тарелкой и глотала слезы съ каждымъ кускомъ. На лицѣ у Сони, какъ всегда, играла ея ядовитая улыбка. Торскій мрачно ѣлъ, стуча ножомъ. Одна тетушка была невозмутима и продолжала разсказывать Сонѣ, которая ее не слушала:

— У меня сегодня все утро спину словно кто булавками кололъ, и дымъ низко стелется; вотъ увидите, опять навалитъ снѣгу, отъ кухни не отгребешь; намедни почтальонъ чуть не увязъ...

Обѣдъ кончился въ молчаніи.

Мальчики съ удовольствіемъ повскакали со своихъ мѣстъ и убѣжали къ себѣ въ комнату.

Торскій ушолъ въ кабинетъ, Соня за нимъ. Туда же имъ подали пиво.

Онъ развалился на диванѣ и сказалъ ей:

— Можете сидѣть здѣсь, только не несите всякой чепухи и не мѣшайте мнѣ сосредоточиться.

Маруся стояла въ своей комнатѣ у окна и смотрѣла на звѣзды.

Татьяна Щепкина-Куперникъ.

До слѣд. кн.

---

* * *

Я не люблю толпы, и праздной, и шумливой,
Я не люблю пустыхъ, неискреннихъ рѣчей,
И этой юности—не въ мѣру горделивой,
И этой старости—не вѣрящей въ людей.

Съ усталостью въ душѣ и съ горькою досадой
Вернуться я спѣшу въ мой тихій уголокъ,
Гдѣ все мнѣ дорого, гдѣ вѣетъ все отрадой,
И—дружбы и любви мнѣ свѣтитъ огонекъ;

Гдѣ я на чтеніе обычный трудъ мѣняю,
Съ пріятелемъ порой вступаю въ жаркій споръ,
Иль мирно отъ заботъ тревожныхъ отдыхаю,
Ведя съ подругою сердечный разговоръ.

А. Кругловъ.

НА ЛАДОГѢ.

(Изъ путевыхъ впечатлѣній).

---

5. Конь-Камень.

Мнѣ не хотѣлось проспать подхода къ Коневецкому монастырю, и въ пять часовъ я уже былъ на ногахъ. Ночь только едва начинала сѣрѣть, медленно уступая свое мѣсто приближавшемуся утру. Наверху рубки было непріютно до жуткости. Всѣ еще спали, и рѣзкій предразсвѣтный вѣтеръ жестоко дулъ съ озера. Деревянные диваны и полъ палубы, ящики, кули, брезенты—все было смочено дождемъ, и отовсюду тянуло пронзительною сыростью. Двѣ-три продрогшія фигуры матросовъ въ смоченныхъ дождемъ курткахъ и картузахъ, торчавшія въ разныхъ мѣстахъ, казались такими-же сѣрыми и сырыми, какъ все это сѣрое и сырое финское утро. Капитанъ, завернутый въ длинный гуттаперчевый плащъ, вырѣзался на высотѣ своего мостика какою-то темною и огромною ночною птицею, а слова его команды, непонятныя русскому уху, раздавались среди порывовъ вѣтра и плеска волнъ словно зловѣщіе крики этой птицы... Нѣсколько пассажировъ изъ простонародья, не нашедшіе себѣ мѣста въ пустыхъ каютахъ 2-го класса, куда капитанъ великодушно пустилъ ночевать болѣе чистую палубную публику,—лежали, свернувшись кала-

чикомъ, подъ намокшими армяками и одѣялами, прямо на полу палубы, оставаясь всю ночь подъ дождемъ и вѣтромъ. Пароходъ уже двинулся, и всѣ его мокрыя веревочныя снасти и паруса отчаянно трепались теперь по вѣтру, вливая въ душу мою какое-то безнадежное чувство... Оглянулся на берегъ. Тамъ тоже уныло и однообразно: сплошной лѣсъ хмурился по низкому берегу, исчезая въ туманахъ ночи и сырости, а на небольшой расчищенной полянкѣ берега раскинуты 3—4 домика, составляющіе все это жалкое мѣстечко... Такой-же скромный и мрачный маякъ ушолъ нѣсколько дальше въ озеро на самый конецъ каменистой косы... И вездѣ плескъ волнъ, вой вѣтра, сырость и сѣрость... Настоящая «Чортова Лахта»! Лучшаго имени и придумать ей нельзя.

Островъ Коневецъ всего въ 5—6 верстахъ отъ финляндскаго берега; когда мы стали подходить къ нему, утро уже настолько побѣлѣло, что все отлично было видно.

Островъ открывается съ этой стороны всею своею длиною. Онъ довольно высокъ и покрытъ густымъ лѣсомъ. Пятиглавый соборъ монастыря съ своей колокольнею да каменный корпусъ его гостинницы живописно вырѣзаются издали изъ окружающей массы лѣса. Правѣе, версты полторы или двѣ отъ монастыря бѣлѣется на темномъ фонѣ лѣса еще небольшая церковь на берегу—скитъ у Владычной Лахты.

Монастырская пристань отдѣлена отъ озера длинною и узкою каменною насыпью, на концѣ которой часовенка съ иконою и маленькій маякъ. Это позволило пароходу подойти вплотную къ пристани. Оказалось, что и спавшіе въ каютахъ успѣли уже собраться къ этому времени, и всѣ дружно высыпали на берегъ, торопясь захватить службу въ церквахъ.

У подъема въ гору, къ монастырю, стоялъ извощикъ-монахъ съ дрожками, предлагая желающимъ прокатиться по острову и осмотрѣть все любопытное на немъ.

Мы съ священникомъ Б—мъ рѣшились взять этого извощика, разсчитывая сначала объѣздить дальнія окрестности монастыря, а уже потомъ отслужить молебенъ у раки св. угодника. Прежде всего я приказалъ ѣхать къ Коню-камню, который меня особенно интересовалъ. Недаромъ онъ съ глубокой древности далъ свое имя всему острову и самому монастырю. Мы проѣхали на очень бойкой и сытой лошаденкѣ мимо воротъ монастыря и сейчасъ-же очутились въ зеленой пустынѣ лѣса. Безмолвіе и безлюдіе сразу охватило насъ. Сначала шолъ не очень старый сосновый и еловый лѣсъ, выгорѣвшій лѣтъ 70 тому назадъ. Ровная дорожка неслышно сбѣгала въ мирныя лощинки и извивалась по скатамъ лѣсныхъ холмовъ. На перекресткахъ большіе деревянные кресты выразительно напоминаютъ вамъ, что вы въ лѣсахъ обители. Подъ однимъ изъ такихъ крестовъ похороненъ ревностный почитатель Коневскаго монастыря князь Манвеловъ, возлюбившій эту лѣсную пустыньку и пожелавшій избрать для вѣчнаго покоя своего то самое мѣсто, на которомъ, по преданію, любилъ отдыхать во время своихъ отшельническихъ трудовъ древній основатель обители преподобный Арсеній... Проѣхали мы и мимо монастырской «Смолёнки», задымленной бревенчатой избы, спрятавшейся въ лощинкѣ, гдѣ коневскіе иноки «сидятъ смолу» изъ ничего другого не приносящей имъ сосны. Потомъ пошолъ совсѣмъ древній и глубокій боръ. Лохматые сѣдые лишайники висятъ длинными клочьями, будто неопрятные волоса одряхлѣвшаго старца. Кое-гдѣ между ними бѣлѣютъ трупы полусгнившихъ уже отъ старости березъ. И на каждомъ шагу между стволами, подъ стволами, кучи гранитныхъ камней, тоже сплошь обросшихъ голубыми, зеленоватыми, желтыми и сѣдыми мхами и лишаями. Это своеобразный, но неизмѣнный элементъ финскаго пейзажа, придающій ему особую характерную живописность.

Довольно крутые обрывы, обросшіе тѣми-же лохма-

тыми деревьями, заваленные тѣми-же убранными въ мохъ камнями, заканчиваютъ собою спускъ съ Святой горы, по которой мы до сихъ поръ ѣхали. Дрожки наши тутъ останавливаются, и мы должны пѣшкомъ сходить внизъ. Скромная деревянная лѣсенка съ перилами, безъ всякихъ затѣй и украшеній, какъ подобаетъ монастырю, спускается нѣсколькими крутыми поворотами въ глубину лога. На площадкахъ ея поставлены простыя скамейки для отдыха, а внизу, саженяхъ въ пятнадцати отъ нея, возвышается, окруженная довольно густымъ лѣсомъ, темная гранитная глыба, увѣнчанная часовнею. Это и есть «Конь-камень», — своего рода родоначальникъ острова и монастыря.

Конь-камень—цѣлая скала, повидим му, занесенная на островъ во время какого-нибудь ледниковаго періода въ числѣ несчетнаго множества валуновъ, наполняющихъ собою лѣса Коневца, также какъ всѣ вообще лѣса Ладожскихъ береговъ и острововъ. Длина этой бродячей скалы—13 сажень, толщина—9, а вышина—6; но она не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ фигурою коня. Правда, къ одной сторонѣ она поднимается выше, а другая ея сторона нѣсколько спускается и округляется какъ крупъ животнаго, но во всякомъ случаѣ нѣтъ никакихъ данныхъ предполагать, чтобы на ея возвышенной части существовало въ древнія времена какое-нибудь подобіе лошадиной шеи и головы.

Скала—сѣраго гранита, и тоже, конечно, вся разукрашена разноцвѣтными звѣздами, бляхами и цѣлыми сплошными покровами зеленовато-желтыхъ и голубовато-сѣдыхъ лишаевъ. На сторонѣ скалы, обращенной къ озеру, врѣзана металлическая доска, и на ней надпись о томъ, что великій князь Константинъ Николаевичъ, бывшій тутъ еще юношею въ 1844 году, срисовывалъ съ этого мѣста видъ Коня-камня и часовни его. Часовня эта занимаетъ собою все темя скалы; въ нее поднимаются съ болѣе низкаго конца глыбы, по кру-

той деревянной лѣсенкѣ. Часовня деревянная, очень простенькая, но чистенькая, выкрашенная въ синюю краску; внутри на стѣнахъ иконы чудотворной Коневской Божіей Матери и преподобнаго Арсенія, съ подробнымъ описаніемъ чуда, совершеннаго угодникомъ на Конь-камнѣ; по стѣнамъ—простой столъ и скамьи для отдыха богомольцевъ. Ничто не заперто, но не пропадаетъ ничего,—ни подсвѣчники, ни лампадки, ни образа, хотя кругомъ души живой нѣтъ, а до монастыря добрая верста...

— Еще первотрудникомъ здѣшнимъ, преподобнымъ угодникомъ Божіимъ Арсеніемъ часовня тутъ была построена, съ умильнымъ вздохомъ сообщилъ намъ монахъ-возница. — Вѣдь Арсеній-то дичь еще страшную тутъ нашолъ, людского жительства никакого на островѣ нашемъ тогда не было, не то что теперь... Звѣрье одно да гады разные жили, змѣи, ужи...

— Съ чего-же камень этотъ Конемъ прозвали? спросилъ я нарочно, чтобы вызвать на бесѣду монаха.

— А вы книжку развѣ не читали про нашъ монастырь? Тамъ все преотлично описано. Вы вотъ купите, какъ въ монастырь вернемся, всего 50 копѣекъ стоитъ. Народы дикіе камню этому поклонялись, которые по близости жили; коня передъ нимъ, сказываютъ, рѣзали въ жертву, чтобы скотъ ихъ берегъ, потому въ немъ-же бѣсъ сидѣлъ, ну вотъ онъ и искушалъ ихъ... Вродѣ, какъ-бы сказать, идола ихняго былъ. Язычники-жь тогда кругомъ жили, поганые народы, а христіанъ православныхъ вовсе и помину не было... Съ того и прозвали Конь-камень... Ну, а преподобный всѣ эти требы идольскія воспретилъ... Пришолъ сюда къ камню съ иконою чудотворною, что теперь въ монастырѣ у насъ, сталъ молебенъ Богородицѣ служить да водою святою окроплять,—извѣстно, бѣсовская сила развѣ противъ креста освященнаго можетъ устоять?.. Поднялись всѣ тучею, будто-бы воронья чорные, и загудѣли туда черезъ озеро,

на финляндскій берегъ, да тамъ въ лѣсу и засѣли... Оно и видать съ монастыря нашего мѣсто это самое. Такъ и прозвалось съ той поры Чортова Лахта... Бухта, то-есть, чортова, по-русски сказать... Это Арсеній угодникъ туда ихъ сплавилъ, а то-бъ гдѣ-жь тутъ монастырю быть въ нечисти такой? Съ тѣхъ поръ, благодарить Бога, ни звѣря какого вреднаго у насъ на островѣ, ни гадины ни одной... Всѣ на тотъ берегъ перебрались. Другіе вотъ острова и близко, кажется, отъ нашего, а отъ змѣй на нихъ прохода нѣтъ. А на нашемъ—чисто какъ въ алтарѣ Божьемъ... Конечно, все по молитвѣ угодника...

Никакого нѣтъ сомнѣнія, что христіанскій подвижникъ, положившій въ давніе годы основаніе Коневецкому монастырю, наткнулся въ этомъ островѣ на одну изъ очень важныхъ языческихъ святынь, существовавшихъ здѣсь съ незапамятной древности. Мнѣ уже не разъ случалось убѣждаться при своихъ многочисленныхъ путешествіяхъ, что почти всѣ наши старинные монастыри возникли на развалинахъ какой-нибудь несравненно болѣе древней языческой святыни, постепенно замѣнивъ ее собою въ привычкахъ и потребностяхъ народа. Дивногорскій монастырь на Дону освятилъ собою прежнее языческое поклоненіе большимъ и малымъ «Дивамъ», обращеннымъ впослѣдствіи въ христіанскія церкви и пещеры отшельниковъ. На священныхъ идольскихъ дубахъ, сокрушенныхъ въ Мингреліи Андреемъ Первозваннымъ, появился «монастырь дуба» (Дчконъ-диди). На прахѣ языческихъ требищъ и капищъ Перуна и Волоса увѣнчали кіевскіе холмы золотоглавые храмы Владиміра и Ярослава.

Древній Коневецкій монастырь съ своею несомнѣнно историческою легендою о Конь-камнѣ, еще разъ подтверждаетъ это заключеніе.

Поклоненіе камнямъ, скаламъ, горамъ — одинъ изъ самыхъ древнихъ религіозныхъ культовъ человѣка. Въ

исторіи каждаго народа можно найти примѣры этого поклоненія, этотъ культъ «высотъ», какъ называетъ его библія. Славянскіе идолы Кіева недаромъ стояли на холмахъ, какъ до сихъ поръ продолжаютъ торчать на курганахъ старой южнорусской степи уцѣлѣвшіе каменные идолы древности, прозываемые въ народѣ «бабами». Недаромъ и священныя нѣкогда горы, гдѣ совершались языческія требища и религіозныя игрища, какъ наша кіевская «Лысая гора» или нѣмецкій Брокенъ, превратились потомъ въ воображеніи народа, ставшаго христіанскимъ, въ сборное мѣсто бѣсовъ и вѣдьмъ. Большія и малыя «Дивы» донского берега, представляющія собою каменныя скалы самаго поразительнаго и страннаго вида, могутъ служить особенно характернымъ памятникомъ былого обожанія камней древними обитателями нашего отечества. Такая-же «Дивья гора» сохранилась и въ Пермской губерніи, точно также полная мистическихъ легендъ въ языческомъ вкусѣ. Славяне-язычники, какъ извѣстно изъ сочиненій Гельмольда, Адама Бременскаго и др. старинныхъ писателей, описывавшихъ бытъ балтійскихъ славянъ, клялись священными камнями. Близь Руэны, у мыса Горенскаго, до сихъ поръ стоитъ огромный утесъ, называемый изстари «божьимъ камнемъ» (Бужь-камъ); подлѣ Деммена есть другой священный камень балтійскихъ славянъ, а близь Будишина двѣ горы называются со старины Бѣлбогъ и Чернобогъ. По словамъ Козьмы Пражскаго, древніе чехи,—другое славянское племя, — тоже поклонялись горамъ и холмамъ. Въ Сербіи есть и теперь гора, называемая Перуна-дубрава, своего рода славянскій языческій Олимпъ. Въ одномъ изъ списковъ новгородской лѣтописи свидѣтельствуется тоже и про русскихъ славянъ: «Куда-же древле погани *жряху бѣсомъ на горахъ*, туда-же нынѣ церкви стоятъ». А Несторъ говоритъ про св. Владиміра: «И постави церковь Василія на холмѣ, идѣже былъ Перунъ... идѣже творяху потребы князь и люди».

Горы и камни въ воображеніи дикаря-язычника были одарены таинственною жизнью, скрывали въ нѣдрахъ своихъ великановъ, демоновъ и чудищъ всякаго рода, могли разверзаться и вновь закрываться, двигались и имѣли свой голосъ:

Стоятъ тутъ горы толкучія;
Ты-жь какъ горы врозь растолкутся,
Врозь растолкутся, вмѣстѣ столкнутся,—
Тутъ тебѣ Дюку не проѣхати,—

говорится въ одной изъ самыхъ старыхъ нашихъ былинъ о Дюкѣ Степановичѣ.

Все заставляетъ думать, что и Конь-камень Коневецкаго острова былъ нѣкогда предметомъ поклоненія и священнымъ жертвенникомъ никакого другаго народа, какъ именно — ладожскихъ и ильменскихъ славянъ, основавшихъ Новгородъ и имѣвшихъ уже свой городъ Ладогу на берегу озера еще въ дни пришествія Рюрика съ братьями.

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи,—стало-быть, въ старинной славянской землѣ,—на берегу рѣки Красивой Мечи, впадающей въ Донъ, близь села Козьяго, тоже есть огромный гранитный камень, въ видѣ утеса, совершенно напоминающій Конь-камень Ладожскаго озера и хорошо извѣстный стариннымъ русскимъ людямъ. Митрополитъ Пименъ упоминаетъ о немъ въ своемъ путешествіи по Дону, совершенномъ имъ въ 1389 году, а книга Большого Чертежа заноситъ его въ число замѣчательныхъ мѣстностей рѣки Дона. Утесъ этотъ тоже изстари называется «*Конь-камнемъ*» и тоже почитается мѣстными жителями какъ нѣчто таинственное и священное; во время скотскихъ падежей окрестные крестьяне недавно еще опахивали, да навѣрное и теперь продолжаютъ тайкомъ опахивать этотъ Конь-камень, чтобы умилостивить его и прекратить этимъ падежъ своей скотины. По разсказамъ тамошнихъ крестьянъ, передаваемымъ въ извѣстной книгѣ Афанасьева «Поэтическія воззрѣнія

:лавянъ на природу», «Конь-камень» ихъ—ничто иное :акъ окаменѣвшій конь древняго витязя-великана, когда-го утонувшаго въ рѣкѣ на этомъ мѣстѣ; по ночамъ онъ оживаетъ, принимаетъ образъ коня, скачетъ по окрест-нымъ полямъ и громко ржетъ..

Нѣсколько ниже по теченію Дона, уже не въ Туль-ской, а въ Воронежской губерніи, слѣдовательно, въ гакой-же несомнѣнно славянской землѣ, есть другой то-же гранитный огромный утесъ, выдающійся мысомъ въ рѣку на самой стремнинѣ ея, тоже издревле извѣстный,—но называется уже не Конь, а Буилъ, т.-е. Буйволъ-камень, быкъ-камень, безъ всякаго сомнѣнія, служившій нѣкогда мѣстомъ поклоненія и жертвъ языческимъ бо-гамъ, всего вѣроятнѣе—Буилу или Ярилу-богу, въ ко-торомъ олицетворялась славянами плодотворящая сила весенняго солнца.

Поклоненіе коню вообще входило какъ необходимый обрядъ въ славянскій культъ солнцу. Подробности о языческой религіи собственно русскихъ славянъ мало дошли до насъ; но зато религіозныя вѣрованія и обряды славянъ балтійскихъ,—такъ-сказать, родныхъ братьевъ нашихъ новгородскихъ и кіевскихъ славянъ,—описаны съ большою точностью нѣмецкими современниками ихъ, Гельмольдомъ, Адамомъ Бременскимъ, Дитмаромъ, Саксо-номъ Граматикомъ, жизнеописателемъ Оттона Бамберг-скаго и др.

Эти балтійскіе славяне,—поморяне, лютичи, бодричи, вагры, руэны, извѣстные подъ общимъ именемъ вендовъ, обитатели балтійскихъ береговъ, отъ устья Эльбы до устья Нѣмана, были, повидимому, тѣми варягами, къ ко-торымъ, какъ къ ближайшимъ сродникамъ и собратьямъ своимъ, ѣздили «за море» просить «княжить и володѣти» землею русскою новгородскіе славяне, ихъ недальніе со-сѣди; тѣ варяги, отъ которыхъ пришли къ намъ нѣкогда трое ихъ князей, — «Синій Усъ» (Синеусъ) въ числѣ ихъ,—но которыхъ позднѣйшіе нѣмецкіе историки, от-

части по недоразумѣнію, отчасти изъ національнаго самолюбія, окрестили въ скандинавовъ германскаго племени и черезъ это наполнили непроходимою путаницею и противорѣчіями первыя страницы русской исторіи.

Вотъ у этихъ-то славянъ, на морскомъ островѣ Ранѣ (теперешнемъ Рюгенѣ), точно также какъ у ладожскихъ славянъ, на островѣ Коневцѣ, происходило всенародное богопоклоненіе коню. Въ стольномъ городѣ ихъ Арконѣ былъ построенъ обширный и великолѣпный храмъ богу солнца Святовиту,—тому-же Перуну кіевскихъ и новгородскихъ славянъ; статуя бога была изображена въ видѣ огромнаго человѣка въ одеждѣ воина съ четырьмя головами на четырехъ шеяхъ, съ обритыми бородами, съ остриженными волосами—по обычаю тѣхъ славянъ, смотрѣвшими, какъ смотритъ солнце, на всѣ четыре страны свѣта. Богъ держалъ въ рукѣ рогъ, всегда наполненный виномъ, а около него лежали узда, сѣдло, мечъ и всѣ принадлежности наѣздника-воина. А въ особой, богато украшенной конюшнѣ при храмѣ содержался въ необыкновенной холѣ священный конь Святовита, всегда бѣлой масти, съ длинною гривою и хвостомъ, которые никогда не стриглись. Только одинъ главный жрецъ Святовита дерзалъ приблизиться къ этому бѣлому коню, наглядно изображавшему движущееся свѣтлое солнце; одинъ онъ кормилъ его и садился на него верхомъ. Содержался при храмѣ этотъ священный конь для того, чтобы верховный богъ и покровитель славянъ въ опасныя минуты могъ сѣсть на своего коня и, вооружившись всесильнымъ мечомъ своимъ и своимъ священнымъ стягомъ или «станицею», незримо полетѣть на помощь поклонникамъ своимъ, отчаянно бьющимся противъ враговъ.

Мнѣ кажется, что всѣ эти факты достаточно убѣдительно подтверждаютъ предположеніе, что Конь-камень Ладожскаго озера есть уцѣлѣвшій памятникъ языческаго культа солнца издревле проживавшихъ здѣсь

славянъ новгородской вѣтви, которымъ поэтому и принадлежалъ во всѣ историческія эпохи священный для нихъ и по языческимъ воспоминаніямъ, и по позднѣйшимъ христіанскимъ святынямъ островъ Коневецъ...

Я чувствовалъ себя въ настоящемъ священномъ лѣсу язычества, въ одномъ изъ тѣхъ, гдѣ вѣка тому назадъ возносили молитвы своимъ богамъ друиды кельтовъ, гдѣ обагряли камни кровью жертвъ волхвы и кудесники славянъ. Адамъ Бременскій, повѣствуя о земляхъ вагровъ, храбрѣйшихъ изъ балтійскихъ славянъ, не безъ наивнаго ужаса описываетъ такой дремучій лѣсъ, «глубочайшій лѣсъ язычниковъ» («in profundissimo saltu paganorum»), какъ выражается онъ.

6. Обитель преподобнаго Арсенія.

Теперь, однако, на вершинѣ языческаго алтаря, «стоящаго въ дубравѣ, въ сторонѣ отъ дороги», уже не жгутъ и не жрутъ жертвы ни Перунамъ, ни Святовитамъ, ни Волосамъ. Недаромъ уже цѣлыхъ пять вѣковъ увѣнчиваетъ эту жертвенную скалу мирная христіанская часовня.

Борьба христіанства съ язычествомъ на островахъ и берегахъ древняго Нево началась раньше, чѣмъ взошла надъ нашею Русью первая заря ея исторіи.

На Валаамѣ было тогда, по преданію, главное мѣсто поклоненія славянъ Волосу, или Велесу, богу солнца и скота, тому-же Ваалу вавилонянъ и ассирійцевъ. Волъ до сихъ поръ часто называется у насъ «валомъ», и богъ стадъ Волосъ получилъ, конечно, имя свое отъ того-же слова «волъ». Островъ «Валамо», какъ называютъ его до сихъ поръ туземцы-финны, тоже долженъ былъ заимствовать свое названіе отъ культа Ваалу, или Волосу. По-фински «Вал-а-мо» значитъ—«земля Вала»; мнѣ случалось видѣть въ мѣстной печати и другое произношеніе этого

имени: «Веламо», что еще ближе указываетъ на «Велеса, скотья бога».

Преданіе повѣствуетъ, что Первозванный апостолъ Христовъ, разрушивъ на Валаамѣ капища Волоса и Перуна, водрузилъ, какъ онъ вездѣ это дѣлалъ, каменный крестъ на горахъ языческаго острова и обратилъ къ Христу нетолько жителей, но и самихъ жрецовъ ихъ.

Многое указываетъ, что жители, которыхъ просвѣщалъ Христовъ апостолъ на Ладожскомъ озерѣ, были именно новгородскіе славяне, а не финны и не корелы. Что и островъ Коневецъ долженъ былъ необходимо входить тогда въ область новонасажденнаго на Ладогѣ христіанства,—разумѣется само собою.

Въ 960-мъ году, то-есть за 28 лѣтъ ранѣе крещенія Руси св. Владиміромъ, на островахъ Ладожскаго озера христіанство уже процвѣтало, и на Валаамѣ, напр., существовала иноческая обитель св. Троицы съ игуменомъ во главѣ, какъ это видно изъ рукописнаго житія св. Авраамія Ростовскаго, хранящагося въ библіотекѣ Валаамскаго монастыря.

При Ярославѣ Мудромъ, въ первой половинѣ XI-го столѣтія, уже приносятъ «съ Валаама въ Новгородъ» св. мощи преподобныхъ Сергія и Германа, давно прославленныхъ тамъ чудотворцевъ...

Но, несмотря на иноческія обители и на подвиги христіанскихъ просвѣтителей, старое язычество ладожскихъ острововъ не подавалось безъ борьбы мирной проповѣди Христа. Жертвы и идолы продолжали существовать повсемѣстно въ ладожскихъ дебряхъ рядомъ съ малочисленными христіанскими храмами. Даже въ XVI столѣтіи на Ладогѣ и въ Ижорской землѣ постарому чествовались еще «сѣверныя мольбища идольскія», полудикій народъ поклонялся деревьямъ и камнямъ и приносилъ кровавыя жертвы своимъ языческимъ богамъ.

На островѣ Коневцѣ всякіе слѣды христіанства, занесенные сюда апостоломъ Андреемъ и его учениками,

повидимому, исчезли къ концу XIV-го вѣка, когда въ глухихъ дебряхъ его появился первый просвѣтитель его, преподобный Арсеній.

Кто былъ онъ, — лѣтописцы не знаютъ. «Времени лѣтъ рожденія его и званія мірского именованія обрѣсти не возмогохомъ, прехожденія ради многихъ лѣтъ», откровенно признается его жизнеописатель. Извѣстно только, что онъ былъ изъ Новгородской области, ремесломъ ковачъ мѣди, «зѣло тѣломъ крѣпокъ», и покинулъ цвѣтущую Аѳонскую гору, воспылавъ рев-
ру Христову въ родныхъ ему сѣ-
лаамскія обители не удовлетворили
я него слишкомъ многолюдно; его
безмолвную и безлюдную пустыню,
скать ее по дебрямъ ладожскихъ
. Буря занесла его къ острову Ко-
въ этомъ перстъ Божій и посе-
глуши коневецкихъ лѣсовъ, гдѣ
иносили жертвы своимъ темнымъ
ихъ требищъ незамѣтно возникъ
китъ, потомъ и цѣлая иноческая
азомъ трудами этого перваго насав
въ Коневцѣ исполнилось изреченіе
-воздадутъ Господу славу, и хвалу
возвѣстятъ!»

Арсенія возникла не тамъ, гдѣ тепе-
ча юго-западномъ берегу острова, у
та», гдѣ теперь построенъ каменный
5 лѣтъ разливы озера, затоплявшіе
или преподобнаго перенести свой пустынный монастырь въ глухой лѣсъ на такъ-называемую Святую Гору, гдѣ онъ стоитъ донынѣ. Еще при первомъ поселеніи своемъ Арсеній принесъ на Коневецъ чудотворную «Святогорскую икону» Божіей Матери, которою благословилъ его на Аѳонѣ на будущіе подвиги бывшій игуменъ его. Икона эта и мощи преподобнаго

составляютъ теперь главныя святыни Коневецкаго монастыря. Они пережили всевозможныя историческія бѣдствія, постигавшія монастырь втеченіе его пятисотъ-лѣтней жизни и удивительнымъ образомъ уцѣлѣли, несмотря на то, что островъ Коневецъ нѣсколько разъ переходилъ во власть шведовъ, и монахи вынуждены были то удаляться на многіе годы изъ разореннаго монастыря въ дальнія новгородскія обители, то опять возвращаться какъ пчелы въ свой разоренный улей и обстраивать его заново. Мощи преподобнаго оставались все время на мѣстѣ, среди развалинъ древней обители, какъ-бы невидимою охраною православной святыни, а чудотворная икона сопутствовала братіи въ ея невольныхъ скитаніяхъ, служа инокамъ непрерывною связью съ ихъ разореннымъ монастыремъ и постоянною памятью о немъ.

Только полтавская побѣда Петра окончательно возвратила Россіи Корельское побережье и вмѣстѣ съ нимъ островъ Коневецъ. Бывшая коневская братія, пріютившаяся тогда въ Деревяницкомъ монастырѣ Новгородской области, сейчасъ-же обратилась къ царю съ просьбою «оный Коневскій островъ отдать попрежнему во владѣніе намъ, богомольцамъ твоимъ, и съ рыбными ловли, и съ другими принадлежащими къ оному острову угодьи, а мы нижеименованные будемъ на томъ Коневскомъ острову созидать святую обитель и съ прочимъ населеніемъ».

Эта-то обитель петровскаго времени и существуетъ до сихъ поръ на Коневцѣ, хотя теперешнія каменныя постройки ея возведены были взамѣнъ деревянныхъ петровскихъ только въ первыхъ годахъ нашего столѣтія, при Александрѣ I.

Мы скоро объѣхали Коневецъ и осмотрѣли все, что въ немъ есть любопытнаго. Внутренность этого лѣсистаго островка почти вся занята двумя горами — Святою, на которой построенъ самъ монастырь и

ближайшій скитъ Николая-угодника, — и Змѣиною горою. Хотя монахи объясняютъ теперь названіе Змѣиной горы извилистою формою ея, но я думаю, что это объясненіе не имѣетъ серьезнаго основанія. Змѣиныя и Змѣевы горы, Змѣевы городища очень распространены у насъ и почти всегда указываютъ на древній языческій культъ. Въ Коневцѣ, очевидно, бывшемъ въ древности однимъ изъ важныхъ мѣстъ поклоненія солнцу и олицетворявшимъ его божествамъ Волосу, Перуну и другимъ, такъ естественно было укорениться и поклоненію Змію, изображавшему собою въ языческой миѳологіи въ сущности ту-же силу небеснаго огня и грома, какую изображали—и Перунъ, и Ярило, и Святовитъ; только Змій олицетворялъ особую сторону могучаго небеснаго божества — змѣящуюся сквозь тучи молнію, разящую людей и скотъ. Въ Новгородѣ, какъ разсказываетъ Афанасьевъ («Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу»), даже сохранилось преданіе, что тамъ гдѣ стоитъ теперь Перюньскій (или Перынскій) скитъ— жилъ нѣкогда «звѣрь *зміяка* Перюнъ (Перунъ)», что прямо указываетъ на тѣсное родство въ народной фантазіи змія, олицетворявшаго молнію, съ Перуномъ-громовержцемъ.

Въ «Стихѣ о голубиной книгѣ», «Индра-звѣрь— всѣмъ звѣрямъ отецъ» описывается именно какъ змій, который «куда хочетъ—идетъ по подземелью, онъ проходитъ всѣ горы бѣлокаменныя, прочищаетъ ручьи и проточины, пропущаетъ рѣки, кладязи студеные».

А Индра между-тѣмъ есть богъ грома и молній древнихъ индусовъ, родоначальниковъ славянъ и другихъ европейскихъ народовъ. И всѣ змѣи миѳическихъ народныхъ легендъ тѣсно связываются съ горами, всѣ они сыны горъ, «Змѣи-Горынычи» своего рода, и всѣ вмѣстѣ съ тѣмъ «огненные зміи»: пасти всѣхъ ихъ дышутъ пламенемъ. По украинскому повѣрью, когда Кирилла-Кожемяка выступилъ противъ змѣя, тотъ «разго-

рѣлся огнемъ; изо рта, ушей и глазъ его запрыгали искры, закурился дымъ и полилось синее пламя, точно изъ горнила». И въ былинѣ о Добрынѣ, летящій по поднебесью «Змѣище-Горынчища о 12-ти хоботахъ сыплетъ сверху искры и хочетъ Добрыню огнемъ спалить».

Все это несомнѣнно доказываетъ, что подъ именемъ чудовищнаго огненнаго змія древніе славяне почитали молнію; поэтому вполнѣ умѣстно предположить, что и на Змѣиной горѣ острова Коневца происходило нѣкогда это языческое поклоненіе небесному огню.

На Святой горѣ мы прежде всего посѣтили деревянную часовню, которая отчасти дала имя этой горѣ. Внутри, въ глубинѣ часовни, стоитъ громадный, вытесанный изъ бревна и грубо раскрашенный крестъ, изгрызанный снизу до того, что, кажется, сейчасъ переломится по серединѣ. Онъ запертъ теперь на ключъ въ стеклянномъ футлярѣ. Монахъ разсказалъ намъ, что это изгрызли его богомольцы, лѣчившіе этимъ весьма страннымъ, хотя, можетъ быть, и благочестивымъ способомъ свои больные зубы. Чтобы сохранить остатки историческаго креста, игуменъ приказалъ наконецъ задѣлать его въ футляръ и спасти такимъ образомъ отъ слишкомъ усерднаго почитанія вѣрующихъ. Крестъ этотъ дѣйствительно историческій. Онъ поставленъ на этомъ мѣстѣ еще св. Арсеніемъ въ воспоминаніе чуда, нѣкогда спасшаго братію тогда еще совсѣмъ бѣднаго монастыря отъ голодной смерти.

Недалеко отъ часовни, на той-же Святой горѣ—небольшой каменный скитъ. Внутри его такая тишина и безмолвіе, словно все вымерло въ немъ. Маленькая церковь Казанской Божьей Матери съ такою-же маленькою колокольнею стоитъ посрединѣ пустыннаго дворика, со всѣхъ сторонъ обнесеннаго низкими строеніями. Мы тихо вошли въ церковь. Блѣдный, хотя еще моложавый монахъ съ потухшимъ взглядомъ, читалъ одинъ-одинеше-

некъ вполголоса псалтырь, весь погруженный въ свое чтеніе.

— Что это вы читаете, батюшка? спросилъ я его.

— А какже-жь! У насъ вѣдь день и ночь псалтирь читается по жертвователямъ нашимъ, усопшимъ. И въ проскомидіи каждый день поминаемъ ихъ, отвѣчалъ, съ доброю улыбкою, монахъ.—По очереди всѣ и читаемъ... Часу одного у насъ не пропускается...

Скитъ этотъ и храмикъ его выросли втеченіе времени на томъ мѣстѣ, гдѣ когда-то стояла окруженная дремучимъ боромъ пустынная келейка преподобнаго Арсенія. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ скита и отъ часовни старца Іоакима Святая гора обрывается довольно крутымъ спускомъ, и внизу, у подошвы ея, зеленѣетъ разведенный монахами большой плодовый садъ съ яблонями и грушами, а еще дальше къ берегу — огороды, густо усѣянные кочнами капусты и разною овощью. Яблоки тутъ не всегда выспѣваютъ, а огородина родится очень хорошо. Монахи тутъ не лежебоки и не баловни, а настоящіе труженики, работаютъ сами въ потѣ лица, по заповѣди Божіей. При спускѣ съ Святой горы въ садъ вы невольно остановитесь, чтобы полюбоваться старою лохматою сосною съ капризно изогнутыми сучьями, съ корнями, выпяченными стуломъ изъ земли, единственнымъ уцѣлѣвшимъ ветераномъ былыхъ вѣковъ. Мѣстное преданіе повѣствуетъ, что сосну эту посадилъ еще преподобный Арсеній, чуть не 600 лѣтъ тому назадъ. Деревянная лѣсенка сводитъ васъ къ дуплистому стволу этого маститаго лѣсного старца.

Самъ монастырь тоже глядитъ довольно скромно— пустыннымъ скитомъ своего рода. Низенькіе домики келій крыты деревянною черепичкою и старательно раскрашены простенькими наивными колерами; они окружаютъ вмѣстѣ съ нѣсколькими каменными корпусами четырехъугольникомъ просторный монастырскій дворъ, среди котораго высится пятиглавый соборъ монастыря. По угламъ

стѣнъ двухъ-ярусныя старинныя башенки тоже очень наивной формы, напоминающія своимъ стилемъ башни новгородскаго кремля; всѣ они теперь мирно увѣнчаны крестами, потерявъ свой былой боевой видъ. Все здѣсь не богато, но чистоплотно, уютно и симпатично, какъ слѣдуетъ иноческой обители.

Мы еще захватили позднюю обѣдню въ верхней церкви собора. Архимандритъ Пименъ самъ не служилъ обѣдни, а слушалъ ее въ алтарѣ. Когда служба окончилась, спутникъ мой, священникъ Б., сталъ дожидаться выхода архимандрита, съ которымъ онъ былъ раньше знакомъ. Маленькій, худенькій монахъ съ рѣденькою сѣдѣющею бородкою и съ чрезвычайно живымъ симпатичнымъ лицомъ вышелъ изъ боковыхъ дверей алтаря и быстрыми шажками направился къ выходу. Все вдругъ разомъ бросилось тогда къ нему,—молодые послушники, пѣвшіе на клиросѣ, богомольцы, богомолки. Увидѣвъ священника Б., монахъ разомъ остановился на мѣстѣ и, просіявъ ласковою улыбкою, широко раскрылъ свои объятія. Священникъ поспѣшилъ къ нему, и добрый монахъ, прижавъ его крѣпко къ своей груди, долго не выпускалъ его, братски цѣлуясь съ нимъ.

— Откуда къ намъ пожаловали? Вѣрно, опять на Валаамъ? привѣтливо спросилъ онъ.

— На Валаамъ, отецъ архимандритъ, сынишку туда везу отдать на исправленіе, отвѣчалъ Б. — Справиться съ малымъ не могу, балуется очень...

— Ну что-жь, благословенное дѣло! Пускай монашескій трудъ нашъ поближе узнаетъ... добродушно продолжалъ архимандритъ.—Многихъ вѣдь юношей святое мѣсто спасаетъ... Изъ блудниковъ трудники выходятъ...

Потомъ онъ такъ-же ласково обнялъ и поцѣловалъ меня. Оказалось, что нынче былъ день св. Пимена, и архимандритъ былъ именинникъ. Молодые служки радостно поздравляли его, а онъ, весь сіяя какимъ-то внутреннимъ свѣтомъ, обнималъ ихъ по нѣскольку разъ

въ одномъ горячемъ объятіи, нѣжно прижималъ къ груди своей, цѣловалъ и крестилъ ихъ припавшія къ нему молодыя головы. Видно было, что его здѣсь всѣ любятъ искренно и горячо, и что онъ самъ еще горячѣе и искреннѣе любитъ здѣсь всѣхъ. Послѣ служекъ онъ такъ-же прижималъ къ своему сердцу, цѣловалъ и благословлялъ подходившихъ къ нему богомольцевъ, съ тою-же сіяющею счастьемъ, безконечно-доброю улыбкою... Въ сердцѣ его, должно быть, хватало всѣмъ мѣста. Но особенно трогательно ласкалъ онъ подходившихъ дѣтей. Казалось, ему хотѣлось всѣхъ ихъ прикрыть по-матерински своею черною мантіею и унести на своихъ добрыхъ хилыхъ рукахъ. Одному онъ вынулъ изъ кармана просвирочку, двухъ другихъ взялъ нѣжно за руки и повелъ съ собою какъ самыхъ дорогихъ друзей. Женщина, блѣдная, печальная, остановила его у порога.

— Отецъ архимандритъ, кормилецъ нашъ, прикажите дѣткамъ молочка отпустить... умильно просила женщина.—Пятый день хлѣбъ одинъ сухой ѣдятъ, ужо всѣ скулы черствою коркою протерли...

— Молочка? озабоченно переспросилъ архимандритъ. —У насъ-то его тоже мало, а расходъ большой. Ну, да какъ быть? Дѣткамъ нужно дать, прикажу... Только, смотри, дѣткамъ однимъ... На большихъ намъ взять негдѣ...

Бабенка хотѣла-было упасть въ ноги, но добрый старецъ притянулъ ее къ себѣ, прижалъ къ своей груди ея голову и нѣсколько разъ перекрестилъ ее.

— Ну, ну, Господь съ тобою, Господь поможетъ... Его благодари.

Когда мы спускались съ лѣстницы въ нижній храмъ, архимандритъ сказалъ, обращаясь къ Б.:

— Да, вотъ молочка они у насъ просятъ.... просятъ многіе... каждый день просятъ... А намъ взять его негдѣ... Коровъ мало, и сѣна нонче плохія... Хоть-бы ужь дѣткамъ да больнымъ хватало!...

Внизу лѣстницы отца Пимена обступили нищіе и разный простой народъ. Всѣ хотѣли поцѣловаться и обняться съ нимъ, поздравить его съ именинами и получить его благословеніе. И онъ всѣхъ ихъ съ изумительнымъ терпѣніемъ и кротостью одинаково любовно прижималъ къ своей груди и братски цѣловалъ въ ихъ всклокоченныя, немытыя головы, выслушивая ихъ просьбы, распрашивая про ихъ нужды...

Я слѣдилъ, глубоко растроганный, за этимъ старичкомъ, горѣвшимъ такою теплою любовью къ своимъ братьямъ-людямъ... Эта непритворная любовь свѣтилась въ его добромъ лицѣ, въ каждомъ дружелюбномъ движеніи его старческихъ рукъ, въ каждомъ лучѣ его ласковыхъ, тихимъ счастіемъ сіявшихъ глазъ, и выливалась изъ него какою-то благоуханною волною какъ драгоцѣнный елей изъ переполненнаго доверха сосуда.

Мнѣ никогда еще не случалось встрѣчать инока такихъ высокихъ христіанскихъ чувствъ, и теперь казалось, что я вижу ожившаго старца Зосиму изъ романа Достоевскаго.

Въ своемъ описаніи Валаама («Крестьянское царство») нашъ талантливый беллетристъ-путешественникъ г. Немировичъ-Данченко много разъ упоминаетъ о іеромонахѣ Пименѣ, литературно-образованномъ и ученомъ инокѣ-подвижникѣ, окончившемъ въ свое время курсъ университета, главнымъ образомъ сообщавшемъ автору историческія свѣдѣнія о монастырѣ и знакомившемъ его съ разными любопытными сторонами внутренней жизни иноковъ. Священникъ Б. передавалъ мнѣ, что архимандритъ Пименъ тоже окончилъ курсъ университета, а изъ его описанія Коневецкаго монастыря, которое я купилъ въ монастырской лавкѣ, несомнѣнно видно, что это человѣкъ литературный и близко знакомый съ исторіей; нужно думать поэтому, что описанный такъ сочувственно г. Немировичемъ-Данченко валаамскій іеромо-

нахъ Пименъ никто иной, какъ именно теперешній симпатичный архимандритъ Коневскаго монастыря.

— Любите вы своего настоятеля? спрашивалъ священникъ Б. монаха-возницу, когда мы еще ѣздили съ нимъ по монастырскимъ лѣсамъ.

— Да какъ-же его не любить? Онъ у насъ такой милый! Всѣ его любятъ! отвѣчалъ съ трогательною искренностью монахъ, казавшійся намъ по своему наружному виду далеко не нѣжнымъ и не сантиментальнымъ.

Коневскій монастырь посѣщается большею частью мимоходомъ, по дорогѣ въ Валаамъ или на обратномъ пути изъ Валаама, хотя онъ вполнѣ заслуживаетъ того, чтобы ему самому посвятить гораздо болѣе времени.

12-го іюня, въ день престольнаго праздника въ память преподобнаго Арсенія коневскаго, собирается сюда народа тысячъ до пяти, такъ-что большая каменная монастырская гостинница и другая деревянная не могутъ вмѣстить въ себя всѣхъ поклонниковъ. Это главный источникъ дохода монастыря. Ему впрочемъ принадлежитъ, кромѣ лѣсовъ, сѣнокосовъ и рыбныхъ ловлей острова, еще участокъ земли на финляндскомъ берегу, противъ острова Коневца, пожалованный Императоромъ Николаемъ I-мъ, и доходная часовня Коневской Божьей Матери въ Петербургѣ, на Загородномъ проспектѣ.

Меня всегда удивляло, что наше образованное общество обращаетъ такъ мало вниманія на наши старинные монастыри и такъ мало цѣнитъ ихъ серьезное историческое значеніе. Между тѣмъ, даже и для людей не религіозныхъ, еслибы они дали себѣ трудъ безпристрастно вникнуть въ ту важную роль, которую играли въ судьбахъ нашей родины въ продолженіе долгихъ вѣковъ наши древнія иноческія обители,—ихъ крупныя заслуги передъ отечествомъ сдѣлались-бы несомнѣнными въ глазахъ всякаго.

Но обычный уровень нашего образованія, къ сожа-

лѣнію, такъ мелокъ, и самый характеръ его такъ шаблоненъ, неискрененъ и одностороненъ, что интеллигентная толпа привыкла считать чуть не за измѣну принципамъ просвѣщенія всякій интересъ къ такимъ отсталымъ явленіямъ, какъ монастыри, къ такимъ невѣжественнымъ фанатикамъ, какъ былые подвижники иночества...

Какое однако глубокое и жалкое заблужденіе. Наши христіанскіе подвижники были, напротивъ того, самыми передовыми борцами просвѣщенія, цивилизаціи, гуманности. Это были люди не словъ, а дѣла, люди великаго труда, великаго мужества, великаго самоотверженія. Они вносили теплыя братскія чувства любви и единенія въ грубо-себялюбивую жизнь дикарей, они вселяли въ хищниковъ и насильниковъ уваженіе къ правамъ ближняго, къ закону, порядку и правдѣ, обращали въ мирныхъ полезныхъ тружениковъ двуногихъ звѣрей, жаждавшихъ только добычи и крови; они замѣняли озлобленный боевой кличъ тихою проповѣдью добра и создавали такимъ образомъ изъ опасныхъ звѣриныхъ вертеповъ, скрытыхъ въ горахъ и лѣсахъ какъ враждебная всѣмъ засада, сіявшія благостью и миромъ тихія пристанища, для всѣхъ дружелюбно растворявшія двери свои, обнимавшія іудея и эллина въ одномъ братскомъ объятіи любви...

И этого достигали они мученическимъ изнуреніемъ своего духа и тѣла, и даже прямо костьми своими должны были удобрять почву непочатой дикости, съ которой приходилось имъ снимать свою первую скудную жатву. Страдальческіе останки этихъ самоотверженныхъ борцовъ человѣчности, — поистинѣ *святые* останки, исполненные сверхчеловѣческой *мощи*, и имъ долженъ поклониться съ благоговѣйной любовью нетолько истинный христіанинъ, но и всякій другъ человѣчества, всякій человѣкъ ума и сердца.

Святые подвижники былыхъ лѣтъ удивительно просто и полно разрѣшили трудноразрѣшимую задачу, надъ ко-

торою такъ безпокойно и безуспѣшно бьются люди, мечтающіе о равенствѣ и братствѣ. Въ Коневецкихъ, Валаамскихъ и Соловецкихъ скитахъ—вчерашній рыбакъ и пахарь, какъ во времена Христа, дѣлался руководителемъ и наставникомъ вчерашняго вельможи; одинаковая грубая ряса покрывала богатаго вотчинника и поденщика его; смердъ могъ сдѣлаться архипастыремъ, передъ которымъ склонялись вѣнценосные князья. Общій трудъ, общая трапеза, общая вѣра и молитва,—уравнивали здѣсь всѣхъ, обращали въ родныхъ братьевъ людей разныхъ сословій, разныхъ странъ, разныхъ языковъ...

Но наши иноки-подвижники далекихъ окраинъ, подобные св. Арсенію Коневскому или Герману Валаамскому, были нетолько великими насадителями гуманности и просвѣщенія среди дикихъ племенъ,—они еще были смѣлыми піонерами русской народности и энергическими дѣятелями отечественной исторіи. Задолго до того какъ проникли въ финскія и корельскія дебри первые зачатки русской государственности, русскіе законы, русская власть, русскій языкъ, русская монета, — иноческіе скиты, пустыньки одинокихъ отшельниковъ свивали въ глуши лѣсовъ, въ темнотѣ пещеръ, первыя гнѣзда русской силы, поднимали православный крестъ надъ былыми языческими капищами и евангельскою проповѣдью впервые разносили родную намъ рѣчь среди иноязычныхъ и иновѣрныхъ народовъ. Надвигавшаяся потомъ могучая волна русской государственности уже находила среди чужеземныхъ областей окраинъ своихъ готовые себѣ оплоты въ этихъ повсюду разсѣянныхъ, хотя и непримѣтныхъ издали оазисахъ православія и славянства...

Евгеній Марковъ.

До слѣд. кн.

---

* * *

Суровые годы,
Борьба и лишенья,
Надежды на счастье,
Раскаянья муки, —
Безсмертной природы
Живое стремленье —
Тоска и участье
И горе разлуки —
Все было и будетъ,
Цвѣло и сіяло, —
И смерть уносила
Великихъ въ забвенье!
Но жизнь вновь разбудитъ,
Что жизнью дышало:
Безсмертная сила
Въ безсмертномъ рожденьи!..

К. Фофановъ.

ПАНИКА.

Мы наступали.

Палящее солнце накаляло воздухъ и немилосердно жгло потрескавшуюся сухую землю, покрытую маленькой, пожелтѣвшей отъ зноя травой; подъ его жгучими лучами высокая дозрѣвающая кукуруза печально опустила начинавшіе вянуть листья и стояла сплошной, чуть желтѣющей стѣной, печальная и неподвижная.

Рота бросилась сюда и залегла между толстыми, узловатыми, совершенно желтыми и сухими стволами. Нѣсколько минутъ шевелились и вздрагивали желтыя кисти верхушекъ, шептались потревоженные въ своемъ безмятежномъ покоѣ листья —и все стихло.

Люди бросились сюда безъ команды, безъ порядка, словно стадо испуганныхъ животныхъ, охваченныхъ однимъ чувствомъ самосохраненія, однимъ могучимъ инстинктомъ—жаждой жизни.

И они лежали теперь по-одиночкѣ или цѣлыми группами, молчаливые и угрюмые, задыхаясь отъ ѣдкой, удушливой пыли, поднятой съ пересохшей земли, еле переводя дыханіе послѣ быстраго бѣга,

прислушиваясь къ окружающему ихъ шуму, сконфуженные этой, такъ внезапно охватившей ихъ минуту назадъ паникой.

Впереди, казалось, сейчасъ-же за этой зеленой стѣной, отдѣлявшей ихъ отъ противника, часто и сухо трещали ружейные выстрѣлы. Словно на туго натянутую громадную кожу сыпали съ высоты горохъ. Его зерна, казалось, падали, отскакивали, опять падали, каждый разъ вызывая все тотъ-же рѣзкій, сухой звукъ.

Иногда звукъ этотъ ослабѣвалъ на нѣсколько секундъ, чтобы сейчасъ-же возобновиться съ новою силой; на его фонѣ глухо отдавались орудійные выстрѣлы, то съ правильными промежутками слѣдовавшіе одинъ за другимъ, то сливавшіеся въ одинъ сплошной гулъ, отъ котораго дрожала и вздрагивала потрескавшаяся отъ жара земля.

Какъ только люди легли—пули стали щелкать и здѣсь, пробивая стволы, сбивая верхушки листьевъ и жалобно завывая въ неподвижномъ раскаленномъ воздухѣ.

Люди все лежали, такіе-же угрюмые, такіе-же неподвижные, крѣпко сжимая въ рукахъ ружья, стараясь не глядѣть одинъ на другого — стыдясь другъ друга. Прошла минута — цѣлая вѣчность тамъ, гдѣ царятъ разрушеніе и смерть.

Къ зеленой стѣнѣ кукурузы, только-что поглотившей сотню людей, подбѣжалъ офицеръ. Онъ былъ безъ сабли, потерянной во время этого бѣшенаго бѣга, въ грязномъ разорванномъ кителѣ, на которомъ сзади недоставало нѣсколькихъ пуговицъ, взволнованный, нервный.

Онъ командовалъ этими людьми, жилъ съ ними, любилъ ихъ. Онъ зналъ каждаго изъ нихъ, его жизнь, характеръ,—теперь онъ повелъ ихъ на смерть, которая неслась къ нимъ навстрѣчу изъ-за чер-

нѣвшихъ на горизонтѣ окоповъ, со стономъ и свистомъ разрывая воздухъ, бороздя сухую землю и выхватывая изъ ихъ рядовъ то одного, то другого. И они бросили его. Не выдержали.

Какъ онъ ненавидѣлъ ихъ въ эту минуту! До слезъ, до бѣшенства.

Онъ метался передъ плотной молчаливой стѣной зеленой заросли, не имѣя силъ крикнуть, съ горломъ перехваченнымъ нервной судорогой, полный стыда и отчаянія.

Они были всѣ тутъ—онъ это чувствовалъ, они лежали тутъ, въ двухъ шагахъ отъ него, охваченные животнымъ страхомъ, и у него не было силъ вызвать ихъ оттуда, воодушевить ихъ.

Старый, загорѣлый офицеръ, такой суровый и строгій на видъ, вдругъ зарыдалъ и безсильно опустился на горячую землю, не обращая вниманія на щелкавшія кругомъ пули, почти желая, чтобы какая-нибудь изъ нихъ ударила въ него.

Стоитъ-ли жить послѣ такого позора? Вѣдь цѣлая рота... и гдѣ она? Трусы, подлые трусы...

Высокіе стебли тихонько раздвинулись, въ ихъ желтовато-зеленой рамкѣ показалось старое, смущенное лицо фельдфебеля.

Тогда офицеръ вдругъ вскочилъ и бросился къ нему.

— А!.. И ты... и ты...

Онъ задыхался отъ охватившаго его гнѣва и никакъ не могъ подыскать нужнаго ему выраженія.

Фельдфебель стоялъ, чуть отвернувъ голову, чтобы не встрѣчаться съ блестящимъ взглядомъ своего командира, блѣдный и растерянный.

— Ваше благородіе... какъ Богъ святъ... ваше благородіе... вотъ крестъ—самъ не знаю, какъ это сдѣлалось...

— А... Не знаешь?

И офицеръ ударилъ его по старому лицу съ потрескавшейся отъ холода кожей, такому худому и блѣдному.

— Не знаешь?!

Фельдфебель стоялъ вытянувшись въ струнку, не спуская глазъ съ начальника, не чувствуя боли только-что полученнаго удара, весь охваченный стыдомъ и раскаяніемъ.

«Такъ и надо... такъ и надо... Ахъ, грѣхъ какой...» вихремъ неслось въ старой, уже сѣдой головѣ. А вдали, за зеленой стѣной, все сыпали горохъ попрежнему, то чаще, то чуть рѣже. Пули свистѣли мимо, рикошетировали по землѣ и съ визгомъ неслись дальше, а они стояли другъ противъ друга, забывъ объ опасности, объ этой смерти, разлитой въ воздухѣ, одинъ—весь дрожа отъ негодованія, другой—подавленный колоссальностью своей вины.

— Роту-бы собрать, ваше благородіе...

— Собрать! Какъ собрать ихъ? Зайцы трусливые, подлые!..

— А вы—по фамиліямъ, ваше благородіе...

Да, это была идея.

Офицеръ стоялъ передъ зарослью и спокойно, громко, словно въ ротѣ на перекличкѣ, вызывалъ фамиліи одну за другой.

— Убитъ! Раненъ! Раненъ! Сзади остался! докладывалъ фельдфебель, а остальные одинъ за другимъ показывались изъ пожелтѣвшей зелени, хмурые, почти злые на себя, на все окружающее за эту одну минуту охватившей ихъ позорной слабости.

Они выходили, не говоря ни слова, брали «на плечо» и молча выстраивались за своимъ начальникомъ. Иногда раздавался звукъ удара, сочный и мягкій, и вслѣдъ за нимъ несся стонъ—мучитель-

ный, хватавшій прямо за сердце, но никто не обращалъ на это вниманія; ряды смыкались, словно не видя раненаго, корчившагося сзади съ помутившимися отъ боли глазами, съ розоватой пѣной, бившей между пересохшихъ, растрескавшихся губъ.

А онъ стоялъ передъ ними, словно не замѣчая падавшихъ, грозный и мрачный. Это уже былъ не начальникъ, а судья, и судья жестокій и строгій.

— Что вы сдѣлали?

Сѣрыя нахмуренныя лица хмурятся еще больше; гробовое молчаніе,—только кричатъ и воютъ раненые отъ нестерпимой боли—ползая и извиваясь.

— Что вы сдѣлали? Присягу забыли, осрамили мундиръ свой... Трусы, подлые трусы!..

Кругомъ метала и рвала смерть, а эта кучка людей стояла, не замѣчая ея, вся ушедшая въ свой собственный нравственный міръ, забывъ объ опасности, отъ которой только-что бѣжала.

— Царя забыли... присягу!

Откуда-то съ фланга донесся голосъ глухой и мрачный:

— Не терзай ты насъ, Христа ради...

И другіе — такіе-же сдавленные и взволнованные:

— Виноваты... Что-жь... казни...

Они донеслись до офицера и обрадовали его. Его не удивило это «ты» — онъ даже не замѣтилъ его. Его глаза лихорадочно блестѣли, грудь дышала тяжело и прерывисто.

— Ну, ребята, и меня казнить нужно, что допустилъ васъ до этого. Идемъ помирать!

Онъ снялъ старое заношенное кепи и перекрестился.

— Простите, братцы!

— Прости и ты...

И они пошли.

Бросившіяся на шумъ наши войска были отбиты и отступали. Около черныхъ, вспыхивавшихъ бѣлыми дымками ружейныхъ залповъ окоповъ закраснѣли фески. Непріятель переходилъ въ наступленіе.

Тогда изъ-за сплошной стѣны желтоватой кукурузы показалась небольшая кучка людей. Они шли молча, строемъ, почти въ ногу, не обращая вниманія на раненыхъ, смыкаясь на ходу, спотыкаясь о трупы убитыхъ, величественные и грозные. Впереди шолъ офицеръ въ грязномъ кителѣ съ недостающими пуговицами и размахивалъ руками, а за ними ползли тѣ изъ раненыхъ, у кого еще были силы. Они ползли еще тоже туда, куда шла эта маленькая, молчаливая кучка людей, приговорившихъ себя къ смерти. Сзади рѣзко и отчетливо завизжала труба, заглушая звуки выстрѣловъ, стоны и крики. Тамъ подавали сигналъ отступленія. Но они шли, и шли все тѣмъ-же ровнымъ шагомъ, не обращая никакого вниманія на сигналъ; а сзади опять: «слушайте всѣ» и «отступленіе».

Когда красныя фески показались совсѣмъ близко, они взяли ружья «на руку» и бросились впередъ. Жиденькое ура вспыхнуло, потомъ потонуло въ дикихъ крикахъ непріятеля и вдругъ отозвалось сзади сильнымъ, могучимъ эхомъ. Это наши резервы и цѣпи бѣжали на выручку своимъ, подавленнымъ громаднымъ превосходствомъ силъ противника.

Къ вечеру, когда солнце, раскаленное и красное, опускавшееся за дальнія горы, окрасило небо въ такой-же кровавый цвѣтъ, которымъ была обрызгана земля, — маленькія, черныя канавки, стоившія столькихъ человѣческихъ жизней, были уже нашими.

А утромъ въ приказѣ по отряду было объя-

влено о подвигѣ роты, которая одна пошла на тысячи наступавшаго непріятеля и, потерявъ почти всѣхъ людей, дала возможность занять маленькія черныя бороздки, которыя тамъ, впрочемъ, были названы по военному: ложементами и окопами.

Б Плакса.

ВЪ СТЕПЯХЪ.

I.

Снова вижу васъ, степи родныя!
Бѣлый паръ серебрится вдали,
Въ небесахъ облака золотыя,
На курганахъ кричатъ журавли.

Я люблю отъ селеній далеко
Поутру безъ дороги бродить,
Затеряться, мечтать одиноко,
Съ сердцемъ старое горе дѣлить...

Слухъ ни звука вдали не проронитъ,
И побѣдно мнѣ утро поетъ:
«Сердце прошлое горе хоронитъ,
Сердце къ новому счастью зоветъ!..»

II.

Темнѣетъ. Закатъ въ позолотѣ.
Туманъ надъ равниною всталъ.
Давно ужь на топкомъ болотѣ
Послѣдній куликъ замолчалъ.

Давно уже мѣсяцъ двурогій
Съ лазурнаго поля небесъ
Взираетъ на берегъ отлогій,
На сонную рѣчку и лѣсъ
Почуявши ночи примѣты,
Выходитъ къ селенію волкъ...
Послѣднія пѣсни допѣты,
И голосъ послѣдній замолкъ.
И рѣчки дослушавъ журчанье,
Застылъ неподвижно камышъ...
И чутко въ дремотномъ молчаньи
Дрожитъ многозвучная тишь.

Ал. Будищевъ.

Радостная литература.

Gyp. — Autour du mariage. — Autour du divorce. — Oh, ces bons docteurs!.. — Mariage civil, etc. — *Ludovic Halévy.* — Madame et monsieur Cardinal.—Les petites Cardinal.—L'abbé Constantin, etc.

Жизнь большинства людей вовсе не представляетъ изъ себя сплошного ряда подвиговъ: въ ней есть и сѣрые трудовые будни, и пошловато буржуазные праздники, а иногда бываютъ минуты истиннаго, чистаго поэтическаго наслажденія... Литература вправѣ охватывать и эти стороны жизни. Кромѣ того, какъ всякое искусство, она должна сама служить источникомъ наслажденія или даже освѣжающаго развлеченія, которое одно способно скрасить сѣрую жизнь. Тутъ литература предлагаетъ чистую безтѣлесную радость, основанную на игрѣ воображенія, взамѣнъ грубой тѣлесной, принижающей человѣка до животныхъ. Тутъ, стало быть, опять побѣда духа надъ тѣломъ и притомъ въ такой области, какъ наслажденіе, — области, обыкновенно отдаваемой на жертву чувственности.

Вотъ именно благодаря обилію пріятнаго и *радостнаго* чтенія, французская литература такъ у насъ популярна. Къ ней прибѣгаютъ какъ къ развлеченію. Пріятность, радостность нѣкоторые писатели возвели какъ-бы въ культъ, и если всѣ французскіе писатели считаютъ эти свойства необходимыми въ числѣ *средствъ* литературы, то нѣкоторые обратили ихъ въ *цѣль*, для которой

все остальное—содержаніе, стиль, образы, идеи, красота, даже самая чувственность — служитъ только средствомъ; въ этомъ направленіи они достигли высокаго совершенства, истиннаго мастерства. Между писателями подобнаго рода особенно выдѣляются Жипъ и Галеви.

Жипъ.

Жипъ (псевдонимъ одной французской писательницы) на цѣломудреннаго читателя производитъ сначала непріятное впечатлѣніе нескромностью и даже нѣкоторымъ цинизмомъ своихъ разсказовъ. Но ея порнографія особаго рода. Она не даетъ неприличныхъ, откровенныхъ картинъ, какими развлекаетъ своихъ читателей, напримѣръ, Мопассанъ. Она только водитъ читателя около рискованныхъ темъ, заставляя угадывать, подозрѣвать, намекая на разныя интимныя обстоятельства, но никогда не показывая ихъ открыто. Она только дразнитъ, щекочетъ воображеніе, и любители такого рода забавы обожаютъ разсказы Жипа. Но такая легкомысленная и непохвальная сущность ея разсказовъ вознаграждается въ глазахъ серьезнаго читателя другими достоинствами автора.

Прежде всего Жипъ — необыкновенный виртуозъ формы. Ея разсказы, по большей части, написаны въ формѣ писемъ свѣтскихъ барышенъ, а еще чаще въ формѣ живыхъ діалоговъ, въ которыхъ разговаривающіе обмѣниваются короткими фразами. Обстановка, наружность оговариваются въ немногихъ словахъ вначалѣ діалоговъ. И уже одно описаніе наружности, и въ особенности туалетовъ обличаетъ въ Жипѣ недюжиннаго художника. Вѣдь часто манера одѣваться много говоритъ о внутреннихъ качествахъ человѣка, и это соотвѣтствіе костюма и личности въ людяхъ Жипъ, какъ парижанка, отлично подмѣчаетъ. Затѣмъ формою діалога Жипъ пользуется такъ умѣло, что вся

обстановка дѣйствія тотчасъ возстаетъ въ воображеніи читателя, и онъ видитъ происходящимъ все, о чемъ говорятъ дѣйствующія лица. Оттого-то подчасъ разсказы Жипа и бываютъ просто невозможно нескромны и неприличны, хотя на бумагѣ стоятъ самыя невинныя слова. Хотя это —искусство, несомнѣнно обращенное во зло, однако во всякомъ случаѣ тонкое искусство.

Перу Жипа принадлежитъ много книгъ—и о всѣхъ нихъ говорить не стоитъ, тѣмъ болѣе, что нескромность всегда если не основной мотивъ всѣхъ ея сочиненій. то все-таки необходимый элементъ каждаго разсказа,— а въ большомъ количествѣ этотъ родъ просто невыносимъ. Изъ всѣхъ ея книгъ особенною популярностью пользуются книги «Autour du mariage» и «Autour du divorce», выдержавшія каждая по много изданій.

Русскій читатель, склонный относиться къ литературѣ серьезно и привыкшій къ обличительной наклонности отечественныхъ писателей, увидѣлъ-бы въ этихъ легкихъ, скабрезныхъ очеркахъ злѣйшую сатиру на французское общество. «Autour du mariage» и «Autour du divorce» — связная серія разсказовъ-діалоговъ. Это исторія молодой барышни Полетты, выходящей замужъ за еще молодого, но уже потертаго жизнью господина д'Алали. Полетта взбалмошна, весела, жаждетъ свѣтскихъ развлеченій, успѣха, поклонниковъ, хотя въ общемъ у нея недурная и честная натура. Д'Алали все уже надоѣло, и женясь, онъ хочетъ жить покойной семейной жизнью, сократить расходы, не выѣзжать — словомъ «остепениться». Сверхъ того, самъ обманывавшій мужей съ чужими женами, онъ боится быть обманутымъ въ свою очередь. Впрочемъ, д'Алали человѣкъ вполнѣ порядочный. На бракъ и на будущую совмѣстную жизнь Полетта и д'Алали смотрятъ съ совершенно различныхъ точекъ зрѣнія, и каждый высказываетъ это—одна своимъ подругамъ, другой — друзьямъ. Параллель между ихъ воззрѣніями полна глубокаго комизма. Свадьба, на-

конецъ, состоялась, что, конечно, дало поводъ писательницѣ набросать цѣлый ворохъ скабрезныхъ сценокъ, намековъ и т. п. Начинается брачная жизнь, полная столкновеній между мужемъ и женой, столкновеній, происходящихъ отъ того, что жена хочетъ веселиться, кокетничать, а мужъ ревнивъ и подозрителенъ и самъ своей подозрительностью наталкиваетъ жену на разныя грѣховныя размышленія. Дальше размышленій Полетта, впрочемъ, не идетъ, потому-что, хотя безсознательно, все-же она любитъ и уважаетъ мужа. Столкновенія эти, однако, начинаютъ тяготить Полетту, и она подумываетъ о разводѣ. Сначала ей разводъ не удается, потому-что единственный человѣкъ, съ которымъ она могла-бы посовѣтоваться о такомъ серьезномъ дѣлѣ, зная, что ея интересы будутъ соблюдены,—по ея-же мнѣнію—ея мужъ, а съ нимъ совѣтоваться, очевидно, неудобно; но затѣмъ, когда въ дѣло вмѣшивается теща, Полетта получаетъ разводъ.

Разведясь съ мужемъ, Полетта вскорѣ начинаетъ тяготиться своимъ положеніемъ въ обществѣ. Она замѣчаетъ, что потеряла въ уваженіи окружающихъ, что ея положеніе двусмысленно, и хочетъ снова выйти замужъ. Но никто ей не нравится. Тутъ въ обществѣ она случайно снова встрѣчается со своимъ прежнимъ мужемъ. Они начинаютъ другъ за другомъ ухаживать, но уже не оффиціально, какъ до свадьбы, а поэтически, не безъ романтизма и интереса. Кончается тѣмъ, что Полетта принимаетъ своего мужа сперва въ качествѣ любовника, а затѣмъ снова становится его женой. Такимъ образомъ, несмотря на легкомысленную форму, эти сцены Жипа имѣютъ въ сущности нравственную подкладку. Въ концѣ концовъ авторъ заставляетъ восторжествовать семейный принципъ, но требуетъ и на долю женщины тѣхъ-же романическихъ приключеній, той-же поэзіи ухаживанія, какія мужчина испытываетъ до брака съ другими женщинами. Эта идея «Autour

du divorce» заставляетъ простить Жипу всѣ скабрезныя сценки ея разсказа.

Сборникъ разсказовъ «Oh! ces bons docteurs» далеко не отличается глубиною мысли, но онъ еще остроумнѣе и живѣе. Наблюдательность Жипа, ея умѣнье подмѣчать смѣшныя и пошлыя стороны у людей — дѣлаютъ этотъ сборникъ галлереей злѣйшихъ каррикатуръ на докторовъ, на ихъ невѣжество, неделикатность, нескромность, съ какою они осматриваютъ и допрашиваютъ паціентокъ, особенно если послѣднія хороши собой и умственно ограничены. Женщина, которой приходилось имѣть много дѣла съ докторами, перечитывая разсказы Жипа, почувствуетъ себя отомщенной и проститъ автору даже его цинизмъ.

Но главная прелесть разсказовъ Жипа не въ случайной сатирѣ и не въ предъявленіи правъ женщины на поэтическое ухаживаніе и обожаніе ея будущаго мужа. Все, что можетъ нравиться намъ въ свѣтской болтовнѣ, какъ-бы пуста она ни была, чѣмъ могутъ быть привлекательны свѣтскія дамы,—ихъ наивная грація, легкій умъ, наряды, остроумный разговоръ, флиртъ— все это нашло полное отраженіе въ разсказахъ Жипа, съ тою разницею, что въ дѣйствительной жизни говорится много лишняго, безцвѣтнаго—между тѣмъ какъ въ разсказахъ Жипа мы встрѣчаемся съ эссенціей свѣтскаго остроумія. Въ нихъ какъ-бы сконцентрирована та милая женская болтовня, въ которой даже глупость и злость порой должны нравиться. И потому-то Жипа бываетъ пріятно прочесть въ минуты отдыха—пріятнѣе даже, чѣмъ посѣтить самое свѣтское общество, потому-что у Жипа отражается одна его духовная сущность а въ дѣйствительной жизни пришлось-бы сталкиваться и съ иными менѣе пріятными элементами.

Галеви.

Скабрезность сюжетовъ Жипа не была-бы такимъ крупнымъ недостаткомъ, еслибы она просто лежала въ самой природѣ автора. Непріятно въ ней то, что она является подлаживаніемъ подъ вкусъ публики. Тутъ авторъ не возвышается надъ обществомъ, но нисходитъ до него, чтобы заговорить съ нимъ на его языкѣ. Мы видимъ автора «съ божественной печатью на челѣ» среди недостойныхъ буржуа, угождающимъ ихъ грубымъ вкусамъ и веселящимся съ ними. Такое-же впечатлѣніе производятъ разсказы и другого виртуоза этого рода—Галеви.

Впрочемъ, по выбору сюжетовъ Галеви рѣзко отличается отъ Жипа тѣмъ, что у Галеви почти нѣтъ скабрезныхъ сценъ, и порнографіей онъ никогда на занимается. Это, однако, не мѣшаетъ ему тратить свой крупный талантъ на увеселеніе буржуа. Извѣстно, что любимые коньки разговоровъ этихъ почтенныхъ господъ троякаго рода. Довольные существующимъ порядкомъ всего охотнѣе говорятъ на скабрезныя темы; недовольные любятъ сплетни политическаго характера, невинную фронду противъ правительства, религіи и другихъ почтенныхъ предметовъ. Наконецъ, всякіе буржуа безъ разбора, и довольные, и недовольные, любятъ говорить о деньгахъ. Исторіи съ богатыми невѣстами, сообщенія о томъ, кто сколько получаетъ и тратитъ, когда и на чемъ дѣлать экономію — это самыя любезныя темы для буржуазныхъ разговоровъ.

Подобно тому какъ разсказы Жипа удовлетворяютъ буржуазной потребности перваго рода, разсказы Галеви служатъ потребностямъ двухъ остальныхъ родовъ. Эти разсказы по содержанію — рядъ прелестнѣйшихъ и остроумнѣйшихъ анекдотовъ съ политической, вольнодумной и денежной подкладкой. Галеви то преостро-

умно разскажетъ исторію о томъ, какъ достигалъ повышеній по службѣ одинъ префектъ во времена Имперіи—разливъ въ бутылки воду изъ ванны, которую взялъ Наполеонъ III, и разославъ ее во всѣ префектуры въ память этого событія («La petite caille plucheuse»); то сообщитъ о продѣлкѣ тайной полиціи, агенты которой такъ хорошо притворялись, что вводили въ заблужденіе другъ друга («La boule noire»)... У него есть цѣлый рядъ разсказовъ изъ эпохи франко-прусской войны, въ которыхъ изображено пошлое настроеніе буржуа во время войны. Галеви разсказываетъ о томъ, какъ война научила экономіи вслѣдствіе того, что во время военныхъ дѣйствій нельзя было дѣлать пріемовъ, причемъ авторъ приводитъ и самый финансовый разсчетъ («Un budget parisien»)... Политическія волненія и уличные безпорядки въ Парижѣ тоже нашли свое отраженіе въ разсказахъ Галеви. Онъ разсказываетъ, между прочимъ, какъ онъ смотрѣлъ изъ окна театра вмѣстѣ съ знакомыми ему балетными хористками на безпорядки въ Парижѣ. Когда, послѣ окончанія оперы, Галеви выразилъ свое сожалѣніе директору театра, что безпорядки, вѣроятно, мѣшаютъ успѣху театра, директоръ возразилъ, что у него полный сборъ («Pendant l'émente»).

Такъ же не глубоки и его вольнодумныя выходки противъ религіи. Въ одномъ разсказѣ Галеви отъ имени француза, попавшаго въ чистилище, жалуется на недобросовѣстность французскихъ священниковъ, не служащихъ заказываемыхъ имъ заупокойныхъ мессъ. Благодаря этой недобросовѣстности, бѣднякъ никакъ не можетъ выбраться изъ чистилища («Quand on attend ses messes»). Въ другомъ разсказѣ, по поводу фразы одного священника, вѣнчавшаго вдову и сказавшаго, что Богъ соединяетъ супруговъ нетолько для земной, преходящей жизни, но и на вѣчную жизнь на томъ свѣтѣ, Галеви видитъ сонъ, будто онъ въ раю встрѣтилъ новобрачную

и двухъ ея мужей. Оба ея мужа оспариваютъ свое право на жену. Длинныя, весьма остроумно написанныя пререканія ихъ кончаются тѣмъ, что, такъ-какъ женщина попала въ рай для вѣчнаго блаженства, то ей разрѣшаютъ самой выбрать, съ кѣмъ она хочетъ жить въ раю. И она выбираетъ друга дома обоихъ супруговъ. («Le rêve»).

Не мало разсказовъ, посвященныхъ исторіямъ съ богатыми невѣстами. Въ «L'abbé Constantin» молодой человѣкъ, совершенно безкорыстный и идеальный, влюбляется въ богатую американку. Но такъ какъ онъ бѣденъ, онъ бѣжитъ предмета своей любви, чтобы его не заподозрѣли въ желаніи пріобрѣсти ея богатства подъ предлогомъ пріобрѣтенія ея сердца. Однако, и богатая американка любитъ молодого человѣка, и когда окончательно убѣждается въ его безкорыстіи, предлагаетъ ему сама свою руку. Тема эта для психологическаго романа была-бы недурна; но Галеви нисколько не занимается въ своемъ разсказѣ психологіей. У него это просто анекдотъ, дающій возможность буржуазному читателю поласкать свое воображеніе картинами парижской роскоши. Галеви какъ-будто самъ видитъ высшее блаженство въ деньгахъ и находитъ необходимымъ наградить ими своего героя,— такого достойнаго юношу, благороднаго, любящаго и... безкорыстнаго.

Содержаніе иныхъ разсказовъ Галеви не поддается краткому изложенію. Сами по себѣ они очень кратки и сжаты и часто написаны не на опредѣленную тему, а только по поводу ея. Тутъ Галеви блещетъ чисто парижскимъ остроуміемъ, легкимъ, игривымъ, бойкимъ. Остроты, веселые парадоксы, насмѣшки, юмористическія характеристики, замѣчанія, эпиграммы такъ и сыплются съ его языка. Но этотъ блестящій и игривый писатель не имѣетъ серьезнаго содержанія. Галеви вольнодумствуетъ; но правительству нѣтъ никакихъ основаній его бояться: когда вспыхнетъ революція, онъ пойдетъ въ

оперу и будетъ смотрѣть на нее изъ окна театра. Галеви смѣется надъ академиками, надъ ихъ педантствомъ, бездарностью, невѣжествомъ; но такъ легко и незлобно, что его самого съ большой охотой выбрали въ «безсмертные». Галеви потѣшается надъ ученіемъ католической церкви о чистилищѣ и вліяніи заупокойныхъ мессъ на блаженство въ будущей жизни; но несомнѣнно, что католическая церковь считаетъ его въ числѣ самыхъ надежныхъ своихъ членовъ.

Восхищая буржуазныхъ читателей темами, близкими ихъ сердцу, Галеви заслуживаетъ вниманія и серьезныхъ читателей. Вѣдь въ его разсказахъ—самые живые, художественно написанные портреты этихъ самыхъ буржуа; его слогъ—необыкновенно умѣлое воспроизведеніе манеры говорить этихъ господъ; его мысли—глубокое проникновеніе въ сущность буржуазныхъ взглядовъ, какому позавидовалъ-бы и гораздо болѣе крупный писатель. И при всемъ томъ въ изображеніяхъ Галеви только смѣшная, легкая сторона этихъ буржуа, и не остается ничего изъ того противнаго, пошлаго, отталкивающаго, что заставляетъ бѣжать отъ оригиналовъ его портретовъ въ дѣйствительной жизни.

Разсказы Галеви несомнѣнно написаны для легкаго чтенія. Темы ихъ не глубоки и разсматриваются не серьезно. Но именно это легкомысленное и насмѣшливое отношеніе производитъ хорошее, успокоивающее впечатлѣніе. Разсказы Галеви какъ нельзя болѣе содѣйствуютъ добродушному, снисходительному отношенію къ людямъ, примиренному взгляду на жизнь и житейскую пошлость, какъ на что-то хотя и неизбѣжное, но ничтожное,—скорѣе смѣшное, чѣмъ вредное.

Радостная литература французовъ, поскольку она выражается писателями вродѣ Жипа и Галеви, не отличается особою возвышенностію: могутъ быть радости болѣе чистыя и свѣтлыя—и писателямъ слѣдовало-бы

содѣйствовать тому, чтобы общество умѣло цѣнить радости именно этого высшаго свойства. Но хорошо уже и то, что Жипъ и Галеви весело настраиваютъ читателя: веселье всегда придаетъ бодрости, а бодрость—особенно цѣнное качество въ нашъ нервный, вялый вѣкъ. Нелишнее помнить объ этомъ русскимъ писателямъ. Отличаясь, сравнительно съ французскими, болѣе возвышеннымъ пониманіемъ вещей, они гонятъ зато всякую радость изъ жизни: требуютъ отъ героя подвижничества и добродѣтельную жизнь рисуютъ такой сѣрой и скучной, что никому не захочется вести ее. Сочетаніе русскаго аскетическаго жизнепониманія съ французской жизнерадостностью могло-бы дать такія произведенія, на которыхъ душа, отдыхая отъ скуки жизни, въ то-же время укрѣплялась-бы въ добродѣтели.

Пл. Красновъ.

ВЪ ТЕПЛИЦѢ.

(«Семья Поланецкихъ», романъ Генриха Сенкевича).

I.

Въ нашу эпоху выдающіеся художники-беллетристы все чаще и чаще избираютъ предметами своихъ произведеній не отдѣльные типы или событія индивидуальной жизни, а болѣе широкій кругъ явленій, охватывающій цѣлую группу людей, цѣлое сословіе или общество. Таковы, напримѣръ, послѣдніе романы Э. Зола, нѣкоторые романы Альфонса Додэ («Безсмертный»); таковъ-же и новый романъ Генриха Сенкевича «Семья Поланецкихъ». Прежде такія сложныя произведенія, рисующія цѣлое общество или эпоху, являлись преимущественно въ формѣ историческихъ романовъ (напр. «Война и миръ» гр. Толстого); теперь авторы берутъ для тѣхъ-же цѣлей и современную намъ жизнь. Объясняется это явленіе тѣмъ измѣненіемъ, которое произошло въ наше время въ самыхъ взглядахъ на человѣческую жизнь, благодаря возникновенію новой науки объ обществѣ, называемой «соціологіей». Эта наука старается отыскать «законы», по которымъ совершается жизнь *цѣлыхъ* обществъ или общественныхъ группъ, законы развитія или паденія этихъ человѣческихъ муравейниковъ. При этомъ, отдѣльные муравьи-люди — отходятъ на задній планъ, а высту-

паетъ впередъ ихъ собирательное цѣлое, муравейникъ, и его *общая* судьба.

Но искусство не есть наука: оно не можетъ совершенно устранить личность, такъ-какъ въ дѣйствительной жизни живетъ, т.-е. чувствуетъ, страдаетъ и радуется не группа, а живутъ лица, составляющія ее. Между тѣмъ искусство имѣетъ дѣло съ чувствованіями, страданіями, радостями. Поэтому-то, даже въ новѣйшемъ, такъ сказать, «коллективномъ» романѣ, авторамъ приходится брать героями отдѣльныя лица, семьи, а для того, чтобы уловить въ нихъ процессы, происходящіе въ цѣломъ обществѣ, берутъ нѣсколько этихъ лицъ и семей. Избираются, конечно, наиболѣе типичныя и притомъ обрисовывающія данное состояніе общества или группы съ разныхъ сторонъ. Если въ такихъ романахъ и есть центральная фигура, т.-е. главный герой или героиня,— то значеніе ея далеко не то, какое было въ прежнихъ романахъ. Авторовъ интересуютъ нестолько личныя особенности этого героя, сколько тотъ общій законъ жизни, который въ немъ проявляется такъ-же, какъ и въ другихъ лицахъ, выведенныхъ параллельно. Выдвигается-же впередъ одно лицо ради чисто-художественныхъ цѣлей, а именно—органической связности произведенія, которая невозможна безъ центра. Безъ этой органической связности, художественное произведеніе не имѣло-бы того живого, увлекающаго интереса, который люди чувствуютъ главнымъ образомъ къ жизни и судьбѣ отдѣльныхъ лицъ, хотя-бы такимъ лицомъ былъ какой-нибудь Чичиковъ, связующій воедино всевозможные типы, слагающіеся вмѣстѣ въ «Мертвыя души».

Вотъ этой-то «коллективностью», основной идеи новаго романа г. Сенкевича объясняется нетолько изобиліе въ немъ лицъ и параллельныхъ исторій нѣсколькихъ семействъ, но и тотъ фактъ, что всѣмъ имъ авторъ удѣляетъ почти одинаковое вниманіе. Мало этого: есть лица, которымъ въ началѣ романа посвящено все вни-

маніе автора, а затѣмъ они, послѣ первыхъ-же главъ, умираютъ или сходятъ со сцены. Таковы, напримѣръ, Литка, ея мать панна Эмилія, Букацкій и т. д., о которыхъ читатель задается невольнымъ вопросомъ: для чего-же они были нужны?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ, какъ и отвѣтъ на другой вопросъ: для чего были нужны параллельныя исторіи нѣсколькихъ семей, кромѣ семьи Поланецкаго (Основскихъ, Машко, Завиловскаго), получается только тогда, когда внимательно разобравъ все содержаніе романа, мы открываемъ его общую идею. Тогда намъ становится яснымъ значеніе каждой семьи и каждаго лица для общаго вывода въ цѣлой картинѣ.

II.

Поланецкій — молодой, образованный и очень интеллигентный человѣкъ изъ великосвѣтскаго общества. Предки его, «скушавшіе» большое состояніе, вынудили Поланецкаго заняться коммерческими и денежными дѣлами.

Обыкновенно, когда потомки стараго дворянства берутся за такую профессію, она рѣдко удается имъ: у нихъ нѣтъ для этого выдержки, способности къ труду, экономіи. Наконецъ, ихъ удерживаютъ отъ употребленія нѣкоторыхъ пріемовъ, легко практикуемыхъ истыми коммерсантами, извѣстныя традиціи,—вродѣ noblesse oblige (дворянство обязываетъ).

Не таковъ Поланецкій. Это — типъ новый; онъ заранѣе понялъ и взвѣсилъ тѣ свойства, которыя необходимы для успѣха избранной профессіи и, не поступаясь основными принципами морали, свойственной его кругу,— выработалъ себѣ извѣстную програму, извѣстные принципы, которыхъ твердо держится. Въ натурѣ его много гордости и самоуваженія, и отступать отъ принциповъ или программы, сознательно намѣченной себѣ, онъ счи-

таетъ малодушіемъ, безхарактерностью, почти нарушеніемъ «долга» передъ самимъ собою. Онъ презиралъ-бы себя за подобныя отступленія. Свою програму онъ выработалъ не для одной коммерціи, но и для устройства всей своей жизни: онъ хочетъ разумно, сознательно устроить свое счастье,—какъ онъ его понимаетъ.

Въ началѣ романа, герой ѣдетъ въ имѣніе своего должника и дальняго родственника Плавицкаго—получить съ него деньги по закладной. Плавицкій—старый, прожившійся жуиръ. Не имѣя возможности заплатить долгъ, онъ пускается на всякіе подходы и уловки, чтобы отсрочить платежъ: тутъ и родственныя объятія, и воспоминанія, и мелодраматическія сцены на тему сословныхъ традицій и родственной любви, даже слезы и проклятія... все пущено въ ходъ. Но онъ не понимаетъ своего молодого родственника, не замѣчаетъ, что тотъ относится ко всему этому нетолько насмѣшливо, но и съ глубокимъ презрѣніемъ, почти негодованіемъ: Поланецкій не выноситъ лжи и униженія стараго сластолюбца. Этому помогаетъ и «принципъ» коммерческій: «въ денежныхъ дѣлахъ не должно быть мѣста сантиментамъ и родственнымъ или сословнымъ чувствамъ. Иначе и дѣла вести нельзя».

И Поланецкій по своему правъ: «назвался груздемъ, полѣзай въ кузовъ».

Но тутъ является новое усложненіе: у Плавицкаго есть дочь, прекрасная и «идеальная» Мариня. Она сразу очаровала Поланецкаго, а онъ очаровалъ ее. Это—совершенная противоположность отцу: тотъ—расточитель и жуиръ, потерявшій всякую гордость; она—идеалъ скромности, невинности, трудолюбія, экономіи и женственной традиціонной гордости. Она взяла въ руки все хозяйство отца, заперлась въ деревнѣ и всю свою молодую душу вложила въ то, чтобы спасти отъ гибели свое любимое имѣніе, Кшемень. У нея есть надежда понемногу поправить дѣла отца, выплатить его долгъ и т. п.

А такъ-какъ кредиторомъ является родственникъ, не кулакъ какой-нибудь, а человѣкъ интеллигентный, представитель благороднаго сословія, то ея надежды имѣютъ подъ собою почву.

Надо замѣтить, что въ программу жизни, созданную Поланецкимъ, входитъ нетолько завоеваніе себѣ матеріальнаго положенія, но и женитьба. Не о богатой невѣстѣ мечтаетъ онъ. Нѣтъ, богатство онъ долженъ нажить самъ. Женитьба должна дать ему *счастье*, «увѣнчать зданіе», а для этого она должна внести въ его жизнь красоту и покойную, *увѣренную*, безоблачную любовь. Мариня кажется ему именно такой дѣвушкой, которая во всѣхъ отношеніяхъ можетъ осуществить такой идеалъ. Поэтому онъ *позволяетъ себѣ* нетолько отдаться своему непосредственному влеченію къ ея красотѣ, но и намекнуть ей о возможности болѣе прочной связи между ними.

Но каковы-же были удивленіе, разочарованіе и гнѣвъ Марини, когда Поланецкій, по отъѣздѣ изъ Кшеменя, тѣмъ не менѣе, представилъ закладную, и Кшемень, ея любимый Кшемень, цѣль всей ея жизни, былъ у нея отнятъ... Владѣльцемъ его дѣлается нѣкій адвокатъ Машко, являющійся центромъ другого романа, о чемъ скажу послѣ. Она глубоко потрясена и страдаетъ невыразимо, страдаетъ вдвойнѣ, потому-что успѣла серьезно полюбить Поланецкаго, ставила его высоко, позволяла себѣ мечтать о счастьѣ съ нимъ.. И все это онъ растопталъ ради какихъ-то денегъ!

А между тѣмъ Поланецкій, взыскавъ свои деньги «по принципу», самъ чуть не сходитъ съ ума отъ любви къ Маринѣ. Эта любовь разростается въ немъ съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе. Онъ отрѣзалъ себѣ путь къ Маринѣ вдвойнѣ: онъ нажилъ себѣ врага въ ея отцѣ и заронилъ непримиримое негодованіе противъ себя въ душу самой дѣвушки.

Утѣшителемъ его является одна «идеальная» жен-

щина-другъ, нѣкая Эмилія; она дружна и съ Мариней и употребляетъ всѣ усилія, чтобы примирить ее съ Поланецкимъ. Она—молодая вдова, но живетъ только любовью къ своей маленькой дочери Литкѣ. И мать, и дочь пользуются безпредѣльной любовью всѣхъ своихъ близкихъ знакомыхъ и особенно Марини и Поланецкаго. Несмотря на это, Мариня не сдается на убѣжденія Эмиліи: ея гнѣвъ и разочарованіе такъ сильны, что заглушаютъ въ ея сознаніи любовь къ Поланецкому, котораго она, однако, продолжаетъ любить. Подъ вліяніемъ жажды мести, она, повидимому, охотно принимаетъ ухаживанія адвоката Машко и подаетъ ему надежды, а Поланецкій рветъ и мечетъ,—и чѣмъ-бы кончилось все это—неизвѣстно, еслибы въ дѣло не вмѣшалась, какъ deus ex machina, маленькая дочь Эмиліи, Литка.

III.

Литка и ея мать, представляющія идеалы самого Сенкевича и той среды, въ которую онъ вводитъ насъ, занимаютъ въ началѣ романа огромное мѣсто. Почти всѣ первыя главы посвящены имъ. Подробнѣйшимъ образомъ описывается изящная, идеальная, вся сотканная изъ любви къ дочери и къ своимъ близкимъ мать Литки, Эмилія.

Надо замѣтить, для пониманія этой среды и самого автора, что всѣ идеальные герои и героини г. Сенкевича не идутъ въ своихъ подвигахъ любви и самопожертвованія дальше тѣснаго кружка своихъ-же близкихъ знакомыхъ. Остальной міръ для нихъ буквально не существуетъ. Ихъ любовь къ своимъ близкимъ друзьямъ выражается въ заботахъ объ устройствѣ ихъ браковъ, ихъ семейнаго счастья, въ просиживаніи дней и ночей у постели больныхъ друзей. А заболѣваютъ эти друзья главнымъ образомъ отъ любовныхъ-же огорченій. Поэтому, слова «идеальный герой» или

«идеальная героиня» здѣсь надо понимать совсѣмъ особенно.

Авторъ старается нарисовать Литку «ангеломъ во плоти», слетѣвшимъ съ неба, хотя—говоря откровенно,—эти усилія не вполнѣ достигаютъ цѣли. По крайней мѣрѣ, ихъ недостаточно на взглядъ людей другой среды, требующихъ иного рода *положительныхъ* достоинствъ, чтобы причислить человѣческое существо къ лику святыхъ и ангеловъ.

На Литку и ея мать почти молятся всѣ окружающіе. Это доходитъ до того, что когда Литка умерла, нѣкоторые,—въ томъ числѣ Поланецкій, — ходятъ на ея могилу, чтобы черпать въ воспоминаніяхъ о ней свои самыя завѣтныя рѣшенія, а именно: «жениться или не жениться на такой-то?» А судя по роману Сенкевича, вопросъ о томъ, на комъ жениться,—здѣсь самый важный и роковой вопросъ: съ нимъ носятся цѣлые мѣсяцы, даже годы. Самъ авторъ отводитъ ему девять десятыхъ своего романа.

За что-же всѣ окружающіе такъ обожаютъ Литку? Почему авторъ отводитъ такъ много мѣста описанію нетолько ея, но и ея матери? До мельчайшихъ подробностей онъ сообщаетъ намъ о болѣзни Литки, о припадкахъ ея; цитируются всѣ ея рѣчи, взгляды, движенія, а ея наружность, напоминающую ангела, авторъ принимается рисовать не одинъ разъ—и при жизни, и даже, на ея портретахъ, послѣ смерти.

Между тѣмъ, всѣ ея достоинства сводятся къ тому, что она любитъ друзей своей матери и особенно Поланецкаго, котораго очень мило называетъ «Стахомъ». Это прекрасно, но это свойство всѣхъ не злыхъ дѣвочекъ—любить друзей своей семьи и давать имъ ласковыя, уменьшительныя имена. Въ чувствѣ двѣнадцатилѣтней Литки къ Поланецкому есть даже что-то несовсѣмъ привлекательное: она его ревнуетъ къ Маринѣ и очень сильно, когда узнаетъ, что Мариня можетъ выйти за него замужъ.

Такое легкое возведеніе въ святыя характеризуетъ высоту идеаловъ или требованій данной среды.

Какъ-же этой Литкѣ удалось примирить Мариню съ Поланецкимъ?

Прежде всего, ихъ немного сблизило уже то, что обоимъ пришлось ухаживать за больной Литкой и сидѣть у ея постели по ночамъ. А главное, умирая, она потребовала, чтобы Мариня вышла замужъ за Поланецкаго. Оба они это слышали, и съ этого мгновенья между ними начинаетъ устанавливаться болѣе прочное сближеніе.

Но замѣтьте, какой огромный и сложный механизмъ понадобился Сенкевичу только для того, чтобы какъ-нибудь женить Поланецкаго на Маринѣ! Вы сейчасъ убѣдитесь, что собственно идея романа начинается съ момента ихъ женитьбы. Все, что мы разсказали до сихъ поръ, было только огромнымъ подъѣздомъ къ небольшому сравнительно зданію самаго романа. Для чего-же такая странная архитектура романа?

Что-нибудь изъ двухъ: или Литка и Эмилія нужны были для какой-то особой цѣли, кромѣ той, которая видна ясно въ романѣ, но едва-ли вѣроятна; или-же, это довольно печальный для крупнаго художника пріемъ: подольше протомить чувствительныхъ читательницъ вопросомъ: «женятся они или не женятся?» А затѣмъ, проморивъ ихъ такъ нѣсколько мѣсяцевъ, — осушить ихъ слезы при помощи совершенно необычайнаго средства—т.-е. изреченія умирающей дѣвочки!

Трудно допустить у г. Сенкевича такія цѣли; остается предположить одно: и Литка, и Эмилія выведены для того, чтобы въ самомъ началѣ романа дать намъ «идеалы».

IV.

Я уже упомянулъ, что, по идеѣ романа, онъ начинается только съ момента женитьбы Поланецкаго на Мариѣ.

Едва получивъ ее въ свое полное обладаніе, герой начинаетъ чувствовать, что, хотя и очень любитъ ее, и хотя ему съ ней очень хорошо, уютно, покойно,—однако, въ этомъ чувствѣ нѣтъ чего-то захватывающаго, яркаго. Замѣтимъ здѣсь, что своей дѣловой жизнью онъ не дѣлится съ ней. Онъ думаетъ, что достаточно для ея души—окружить ее самой изысканной обстановкой да заботами и ласками въ свободное для него время. А вѣдь она — живой человѣкъ. Вспомните, какъ она работала въ деревнѣ и какъ любила работу! Уже въ первый мѣсяцъ брака Поланецкій чуть не увлекается нѣкоей красавицей Основской, но это проходитъ скоро и безъ послѣдствій.

Семейная драма Поланецкихъ развивается медленно. Вотъ какъ самъ авторъ характеризуетъ первые ростки этой драмы: «Она (Мариня) отдавала ему все существо свое, всю душу», а онъ, зная, что она «идеальная женщина и жена», думалъ: «Ну, чтожь тутъ удивительнаго: вѣдь, это — Мариня! Это — такъ естественно! Она и поступить иначе не можетъ!» И онъ небрежно махалъ рукой. «Еслибы ея любовь не была такъ горяча, еслибы она доставалась ему съ большимъ трудомъ, еслибы, признавая себя сокровищемъ, она отдавалась ему какъ сокровище, еслибы, признавая себя божествомъ, она требовала-бы, чтобы передъ нею преклоняли голову и чтили ее,— Поланецкій принялъ-бы ее со склоненной головой и чтилъ-бы ее. Таково вообще человѣческое сердце, и только избранныя натуры, сотканныя изъ божественнаго огня (??), умѣютъ возноситься надъ общимъ уровнемъ» (гл. XVI). Чувствуя, что Мариня стала его

собственностью, Поланецкій перестаетъ благоговѣть передъ нею; поэзія, идеализація — исчезаютъ. Онъ держится съ нею нѣсколько свысока, какъ съ ребенкомъ. Мариня это сознаетъ и глубоко страдаетъ сначала, но затѣмъ, въ качествѣ доброй христіанки, рѣшаетъ, что это ея «крестъ», посланный свыше, а порѣшивъ и «смирившись», она даже чувствуетъ себя счастливой,— конечно, «высшимъ» счастьемъ сознательной жертвы. Только кому-же она приноситъ эту жертву? По ея мнѣнію (да и по мнѣнію ея друзей), эта жертва приносится Богу, религіи и потому облекаетъ Марину ореоломъ святости... Сколько ореоловъ! Между тѣмъ, мужъ до такой степени привыкаетъ къ пріятнымъ для него плодамъ ея самопожертвованія, что ему съ женой становится ужь даже нѣсколько скучно. Маленькое увлеченіе грѣшницей Основской, какъ мы видѣли, прошло для него благополучно. Но случайное tête-à-tête съ другой грѣшницей, женой адвоката Машко, кончается тѣмъ, что вопреки своимъ «принципамъ», Поланецкій соблазняетъ ее втеченіе нѣсколькихъ часовъ, а затѣмъ бросаетъ и начинаетъ мучиться раскаяніемъ.

Это раскаяніе играетъ въ романѣ важную роль. Въ немъ, какъ мнѣ кажется, центральная точка всего этого огромнаго произведенія. Дѣло въ томъ, что Поланецкій, въ сущности, горячо любитъ жену, но ея достоинства онъ оцѣниваетъ только послѣ того, какъ «согрѣшилъ передъ нею». Только съ этого момента его гордость и самоуваженіе потрясены въ корнѣ: онъ созналъ, что самъ такой-же слабый и грѣшный человѣкъ, какъ и другіе, которыхъ онъ до тѣхъ поръ презиралъ и третировалъ свысока съ точки зрѣнія своего идеала семьи и брачной корректности. Понятно, что на этомъ фонѣ его паденія,— къ которому присоединяется цѣлый рядъ женскихъ паденій почти во всѣхъ знакомыхъ ему семьяхъ (съ этой цѣлью онѣ, какъ увидимъ, и выведены въ романѣ), Мариня начинаетъ блистать своей добродѣ-

телью какъ звѣзда. Онъ считаетъ себя недостойнымъ прикасаться къ ней, онъ худѣетъ, не ѣстъ. А въ это время Мариня находится въ послѣднихъ моментахъ «интереснаго положенія» и, быть можетъ, встревоженная странностями мужа, начинаетъ хворать; у нея развиваются какіе-то странные припадки. Поланецкій, подъ вліяніемъ все возростающей любви и страха, готовъ видѣть въ этомъ кару «закона жизни», незримо постигающую всякій проступокъ. Онъ, вѣроятно, помѣшался-бы отъ отчаянія, еслибы сама Мариня,—ничего не подозрѣвающая,— не высказала однажды совершенно случайно слѣдующей истины: «Кара постигаетъ лишь тѣхъ, кто не раскаялся. А тѣ, которые каются, уже въ этомъ страданіи совѣсти несутъ наказаніе и отъ дальнѣйшаго могутъ быть освобождены».

Это проливаетъ въ душу Поланецкаго надежду, что съ Мариней ничего ужаснаго не случится за его грѣхъ.

V.

Адвокатъ Машко подобенъ Поланецкому только тѣмъ, что идеалъ жизни у нихъ одинаковъ: создать себѣ вполнѣ обезпеченное благосостояніе и видное положеніе въ обществѣ. Но Машко пробивается въ «люди» изъ низшихъ слоевъ общества, поэтому его усилія болѣе страстны и порывисты. Принципіальностью онъ не богатъ и средствами неособенно стѣсняется: такъ, онъ создалъ и пустилъ легенду о своемъ богатствѣ и аристократическомъ происхожденіи. Поддержаніе этой легенды въ обществѣ стоитъ ему немало хлопотъ и безпокойства. При такихъ условіяхъ не приходится быть холоднымъ, расчетливымъ дѣльцомъ, какъ Поланецкій. Раздерганность нервовъ не даетъ возможности быть уравновѣшеннымъ, и Машко носитъ только маску спокойствія, а подъ этой свѣтской оболочкой постоянно трепещетъ страхомъ и надеждами, и опять страхомъ.

Это—трепетъ азартнаго игрока, ставящаго жизнь на карту и борющагося и когтями и зубами за свое «дутое» положеніе и за свой идеалъ «счастья».

Въ планы Машко входитъ, конечно, и женитьба, которая дала-бы ему и богатство, и родственныя связи съ аристократіей. Но и тутъ онъ отличается отъ Поланецкаго: у того при выборѣ жены стоитъ впереди идеалъ семейной жизни; у Машко—непосредственное увлеченіе, соединяющее въ себѣ и планы практическіе, и способность очаровываться намѣченной невѣстой изъ «аристократіи». Такъ, намѣтивъ себѣ Мариню, онъ страстно въ нее влюбляется; получивъ отказъ, онъ быстро переходитъ къ другой, такъ-какъ ждать ему некогда; и въ эту онъ влюбляется такъ-же скоро, влюбляется до того, что ужь теряетъ и разсчетъ: милліоны невѣсты оказываются мнимыми, связи ея въ обществѣ сомнительными, а сама она—какимъ-то воплощеннымъ моральнымъ безразличіемъ. Тѣмъ не менѣе, Машко женится на ней и не унываетъ отъ того, что остался, въ сущности, такимъ-же бѣднякомъ, какъ и былъ; онъ любитъ жену и надѣется побѣдить судьбу. Но все кончается для него печально: жена почти на второй мѣсяцъ брака отдается Поланецкому, а самъ Машко банкротится и бѣжитъ заграницу.

Есть въ романѣ еще исторія семьи Основскихъ. Она почти повторяетъ исторію Машко и Поланецкаго, съ тою лишь разницей, что Основскій (богачъ и аристократъ) безумно влюбленъ въ свою жену, считаетъ ее идеаломъ всякихъ совершенствъ, ума, морали, вкуса и пр. И она, дѣйствительно, играетъ роль какой-то «избранницы Божіей», покровительницы искусствъ, центра кружка «талантовъ» etc., etc. На самомъ дѣлѣ эта женщина «съ китайскими глазами» — какъ ее характеризуетъ авторъ,—на каждомъ шагу обманываетъ «образцоваго», но ослѣпленнаго мужа. Сперва она пробуетъ съ замѣчательной смѣлостью и натискомъ овладѣть Поланецкимъ.

Когда это не удается, она дѣлаетъ своимъ любовникомъ свѣтскаго красавца и совершеннаго идіота Коповскаго.

Но кара постигаетъ и ее. Основская держитъ около себя въ качествѣ ширмы молодую, красивую, но небогатую дѣвушку, Кастелли. Однако, эта «ширма» себѣ на умѣ: играя роль «геніальной натуры», она сперва увлекаетъ молодого, талантливаго поэта Завиловскаго, сразу создавшаго себѣ широкую извѣстность своими мечтательными поэтическими произведеніями. Но не его литературная слава служитъ приманкой для Кастелли, а разсчетъ, что бѣднякъ Завиловскій получитъ большое наслѣдство отъ своего стараго родственника-милліонера. Въ то-же время, она незамѣтно ведетъ, на всякій случай, игру съ любовникомъ Основской, богачомъ и идіотомъ Коповскимъ. Милліонеръ умираетъ, не оставивъ поэту наслѣдства, и «геніальная» Кастелли немедленно перемѣняетъ тактику: она бросается въ объятія Коповскаго и уѣзжаетъ съ нимъ заграницу, какъ невѣста; пани Основская впадаетъ въ нервные припадки, а поэтъ Завиловскій пускаетъ себѣ пулю въ лобъ, но остается живъ. Его спасаютъ отъ смерти двѣ «святыя» дѣвушки, ухаживающія за нимъ день и ночь.

Но я позволю себѣ здѣсь остановиться. Въ романѣ Сенкевича столько лицъ, и «святыхъ», и не святыхъ, что, еслибы говорить обо всѣхъ,—я никогда-бы не кончилъ. Скажу только, чтобы закончить «моралью» исторію семьи Основскихъ: эта «женщина съ китайскими глазами»—тоже понесла кару, понесла ее и Кастелли.

Мужъ Основской застигъ свою супругу съ Коповскимъ на мѣстѣ преступленія. Коповскому онъ переломалъ ребра, а жену прогналъ. Послѣ этого, Кастелли тоже должна была отказать Коповскому, а въ это время поэтъ Завиловскій получилъ огромное состояніе отъ дочери того старика-милліонера, который успѣлъ только на словахъ выразить дочери это желаніе. Вотъ какъ

жестоко еще и въ наше время наказуется порокъ и ярко торжествуетъ добродѣтель! Мы ужь и забыли о такихъ «мораляхъ» художественныхъ произведеній чуть-ли не съ 30-хъ годовъ нашего столѣтія, а вотъ онѣ еще живы, только въ новомъ видѣ...

«Однако, вѣдь, не въ этой прописной морали—суть всего романа?»—спроситъ читатель.

Полагаю, что нѣтъ и что подъ этими «частными» моральными выводами изъ исторій различныхъ семействъ должна лежать какая-нибудь болѣе общая идея, охватывающая ихъ всѣ. Иначе не нужно-бы было выводить одновременно нѣсколькихъ параллельныхъ романовъ, въ которыхъ однообразно повторяется одно и то-же,—только въ однихъ грѣшатъ дамы, а въ другихъ—кавалеры.

Очевидно, авторъ хотѣлъ дать намъ общую широкую картину семейной жизни вообще въ извѣстной сферѣ общества, называемой «свѣтомъ». Авторъ видимо глубоко скорбитъ о ея разложеніи. Гдѣ-же причины?

V.

Вотъ общій выводъ, который высказываетъ объ этомъ авторъ устами Поланецкаго: «Иронія жизни, иронія жизни! Чѣмъ-же, если не кровавой ироніей можно назвать то, что встрѣтило Завиловскаго? Что такое эта панна Кастелли со своею фигурой лебедя, съ инстинктами горничной, эта «избранница Божія», какъ еще вчера говорилъ Васковскій? Что такое Основскій со своей вѣрой въ жену, и нервные припадки этой жены, которые (по убѣжденію мужа) были вызваны столкновеніемъ *такой чистой* души со зломъ? Что такое негодованіе пани Машко противъ панны Кастелли (за ея измѣну Завиловскому)? Только смѣшная человѣческая комедія, въ которой одни обманываютъ другихъ, другіе обманываютъ самихъ себя,—только обманутые и обманывающіе, только ошибки, ослѣпленіе, жизненная ложь.

жертвы ошибокъ, жертвы обмана, жертвы заблужденій, путаница безъ конца, смѣшная и вмѣстѣ съ тѣмъ отчаянная иронія, покрывающая человѣческія чувства, страсти, надежды, какъ снѣгъ покрываетъ зимою поля, и это—*жизнь!*»

Такимъ образомъ Поланецкій доходитъ до обвиненія *всей жизни*, благодаря тому пессимизму, который развился въ немъ съ той минуты, какъ самъ онъ измѣнилъ Маринѣ съ г-жей Машко и разочаровался въ собственной твердости, порядочности и корректности. Это сваливаніе вины съ своихъ плечъ на «жизнь вообще» есть результатъ потребности каждаго человѣка оправдать себя передъ своей совѣстью, а для этого свалить свою вину—или на среду, или на законы природы и физіологіи, или на ту «жизнь», которую Поланецкій притягиваетъ въ соучастники своего проступка. Психологическій процессъ тутъ ясенъ: Поланецкій очень любилъ поэта Завиловскаго, погубившаго себя и свой талантъ изъ-за ничтожной куклы, и вотъ, говоритъ авторъ,—«онъ (Поланецкій) изъ всей мочи хотѣлъ-бы разгромить эту m-lle Кастелли и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понималъ, что ужъ ему-то невозможно осуждать ее».

Въ другомъ мѣстѣ онъ думаетъ: «Вотъ ужъ теперь у меня отнимается право суда, право распоряженія совѣстью! Человѣка высшаго типа промѣняли на дурака, попрали его, ввергли въ отчаяніе, въ трагедію, которая можетъ изломать его; все это сдѣлано самымъ подлымъ и пошлымъ образомъ, а я даже и въ душѣ не могу заклеймить эту панну Кастелли!» И никогда до сихъ поръ,—добавляетъ авторъ отъ себя,—передъ Поланецкимъ такъ удивительно явственно не представала та *правда, что—какъ за извѣстные проступки можно лишиться права принимать участіе въ общественной жизни, такъ онъ лишонъ права принимать участіе въ жизни моральной*».

Поланецкій идетъ даже дальше: «его охватывала глу-

хая тревога, похожая на предчувствіе, что, *въ силу какой-то высшей, таинственной логики, и въ его судьбѣ произойдетъ что-то страшное.* Кто носитъ въ себѣ зародышъ смертельной болѣзни, для того смерть—только вопросъ времени».

Все это вѣрно, все это прекрасно, но гдѣ-же зародышъ этой смертельной болѣзни?

Въ одномъ мѣстѣ романа, авторъ, въ силу мимолетнаго вдохновенія, обмолвился истиной, въ сущности довольно старой: всѣ эти люди придаютъ черезъ-чуръ огромное значеніе своему чувству и его малѣйшимъ оттѣнкамъ (именно чувству половой любви). Но почему-же?..

Эта идея, мелькнувшая въ романѣ мгновенно, осталась не развитой. Авторъ не задумался надъ ней и ничего не сдѣлалъ, чтобы она выступила рельефно изъ самаго содержанія романа. А между тѣмъ, еслибы онъ попробовалъ развить ее логически до ея послѣдствій, онъ, быть можетъ, открылъ-бы и тотъ *законъ*, котораго такъ боится Поланецкій, не сознавая—гдѣ онъ и въ чемъ.

VI.

Поланецкій видитъ свой грѣхъ только въ измѣнѣ женѣ. А еслибы онъ могъ всмотрѣться глубже, онъ увидѣлъ-бы, что и эта измѣна есть плодъ (или кара) другого грѣха, содѣяннаго гораздо раньше.

Грѣхъ Поланецкаго и всѣхъ его знакомыхъ тотъ, что *ни у кого изъ этихъ людей нѣтъ высшаго содержанія въ жизни, нѣтъ никакой высшей цѣли, идеала, стремленія, которыя могли-бы дать это высшее содержаніе.*

Къ чему стремятся всѣ эти люди, всѣ эти семьи, эти единицы данной среды? Къ однимъ только наслажденіямъ и, по преимуществу, чувственнымъ, хотя и одухотвореннымъ идеализаціей.

Наиболѣе высокое изъ этихъ наслажденій—искусство. Но искусство *само по себѣ* еще не есть высшій

типъ наслажденія. Въ немъ главное и существенное,—его высокое содержаніе. Вѣдь можетъ и искусство имѣть такое содержаніе, которое понижаетъ, а не повышаетъ духовную или моральную жизнь. Мы сейчасъ увидимъ, какое искусство особенно цѣнится и даже зарождается въ этой средѣ, предъявляющей спросъ, соотвѣтствующій содержанію, т.-е. цѣлямъ, идеаламъ и интересамъ данной жизни. Это — искусство нѣжащее, ласкающее, возбуждающее фантазію и чувственность. Оно дополняетъ тѣ-же низменныя потребности, которыми живетъ эта среда. Оно выростаетъ на почвѣ тѣхъ-же мелкихъ идеаловъ и аппетитовъ. Предъявляя спросъ, соотвѣтственный уровню общаго содержанія жизни, эта среда растлѣваетъ самихъ художниковъ: вѣдь они—люди, имъ нужно ѣсть, и они знаютъ, что умрутъ съ голода, если займутся такими созданіями, которыя будутъ «не по шерсти» гладить эту среду, а хлестать ее бичами сатиры, обнажая передъ нею язвы и бѣдствія жизни. Такого искусства не пустятъ въ эти залы и салоны. Какъ можно! Вѣдь искусство должно давать только чистую, безпечальную, развлекающую красоту!»

Ну, оно и даетъ!

Я говорю это не голословно. Въ романѣ есть одно дѣйствующее (или, точнѣе,—«говорящее») лицо, нѣкто Букацкій, достигшій, такъ-сказать, вершины, крайняго предѣла, до котораго можно добраться, идя по этому пути узкихъ, исключительно личныхъ и, въ наибольшемъ случаѣ, семейныхъ и кастовыхъ интересовъ. Каждое одностороннее упражненіе какого-либо органа ведетъ сперва къ его разростанію («гипертрофіи»), затѣмъ—къ переутомленію и надрыву. То-же происходитъ и съ Букацкимъ,—человѣкомъ очень богатымъ и вполнѣ независимымъ: онъ устаетъ сочувствовать даже любовнымъ и семейнымъ горестямъ своихъ друзей! Послѣ похоронъ Литки, которую любилъ и онъ, Букацкій, уѣзжая

въ Италію, говоритъ Поланецкому: «Смерть этого ребенка затронуда меня больше, чѣмъ я разсчитывалъ... Видишь, у насъ всегда такъ случается: будь ты буддистомъ или чѣмъ тебѣ угодно, а, въ сущности, ты вѣришь немного, немного уповаешь на... какое-то милосердіе... и живешь этимъ... А что-же оказывается? Оказывается, что дѣйствительность каждый день бьетъ насъ по физіономіи и вводитъ насъ въ духовную распрю съ самимъ собою, въ печаль, въ моральное уныніе. Здѣсь вѣчно что-нибудь или кого-нибудь любишь, вѣчно скорбишь чужою скорбью, а я этого не хочу. Это меня *мучитъ*».

Но «дѣйствительность», «скорбь за другихъ» и муки, о которыхъ говоритъ Букацкій,—это крохотная дѣйствительность и крохотныя семейныя муки замкнутаго свѣтскаго кружка. Мы знаемъ, что есть дѣйствительность болѣе широкая, и любовь болѣе всеобъемлющая, и муки болѣе благородныя. Быть можетъ, теоретически знаетъ это и Букацкій: онъ—философъ и знаетъ многое. Но всѣ условія его воспитанія, его обезпеченной, «безпечальной» жизни сдѣлали то, что онъ не выноситъ даже лепестка розы на своей простынѣ, не выноситъ даже тѣхъ впечатлѣній, которыя изрѣдка даетъ ему кое-какая привязанность въ своемъ узенькомъ кружкѣ. Гдѣ-жь ему думать о болѣе широкихъ и глубокихъ чувствахъ, потрясеніяхъ, борьбѣ! «Въ Италіи,—говоритъ онъ,—есть солнце, котораго нѣтъ здѣсь, тамъ *искусство*, котораго здѣсь нѣтъ и къ которому я питаю слабость (теперь читателю понятно,—*какое* искусство могутъ любить Букацкіе и почему), и въ концѣ-концовъ тамъ *люди*, которые *меня ни капли не интересуютъ* и которые *могутъ умирать цѣлыми сотнями, не доставляя мнѣ ни малѣйшаго огорченія*. Я буду смотрѣть на картины, покупать, что мнѣ нравится, ухаживать за своимъ ревматизмомъ, за своею головною болью и буду себѣ болѣе или менѣе приличнымъ, болѣе или менѣе сытымъ, болѣе

или менѣе здоровымъ скотомъ,—и это, повѣрь мнѣ, *пока самый желанный строй жизни*».

Вы скажете, что это—человѣкъ исключительный, больной, разочарованный, который не щадитъ даже и себя. Вы ошибаетесь: молодой, здоровый Поланецкій, выслушавъ эту рѣчь, восклицаетъ:

— Ты правъ, Букацкій. Видишь, вотъ и мы сидимъ за счетами для того, чтобы окретинизироваться и не думать ни о чемъ другомъ. Какъ сколотимъ себѣ столько, сколько у тебя, то... *я пойду по твоимъ слѣдамъ*».

Одинъ съ самимъ собою, Поланецкій еще яснѣе выражаетъ это стремленіе къ «безпечальному покою»:

«Онъ правъ,—повторяетъ герой,—насколько я-бы, напримѣръ, былъ счастливѣе, *еслибы не привязался* къ этому ребенку (Литкѣ) и пани Эмиліи. Съ этой точки зрѣнія мы неизлѣчимы и сознательно портимъ себѣ жизнь. *Здѣсь всегда кого-нибудь да любишь*. То болѣзнь ребенка, то... Вѣчный романтизмъ, вѣчный сантиментализмъ и вѣчные уколы въ сердце...»

Еще одинъ шагъ, и это—настоящій восточный буддизмъ, т. е. стремленіе жить безъ чувствованій, безъ желаній, и, конечно, только для того, чтобы не испытывать *даже* того призрака горести, какой испытали сейчасъ эти люди, присутствуя при похоронахъ чужого ребенка. Это—геркулесовы столбы эгоизма, изнѣженности, ослабленія душевной и сердечной энергіи, паралича воли. Дальше идти некуда. Разница между Букацкимъ и Поланецкимъ только та, что первый обезпеченъ и ему ужь нечего добиваться. А Поланецкій еще долженъ «сидѣть за счетами», чтобы добиться того положенія, въ какомъ его видитъ Букацкій! Создать себѣ возможность иной жизни, иной идеалъ, который-бы встряхнулъ ихъ мозги и нервы, парализованные покоемъ, бездѣльной и тепличной изнѣженностью,—у этихъ людей нѣтъ силы. Они боятся жизни и ея впечатлѣній. Я не вхожу здѣсь въ разсмотрѣніе особыхъ, спеціаль-

ныхъ причинъ, которыя могли породить подобное состояніе у героевъ Сенкевича, какъ представителей извѣстной расы или общества. Эти спеціальныя особенности положенія играютъ второстепенную роль. Душевное состояніе, которое рисуетъ намъ Сенкевичъ, свойственно людямъ всѣхъ національностей, т. е. извѣстнымъ группамъ всѣхъ народовъ, именно тѣмъ группамъ, которыя оторвались отъ задачъ и интересовъ «цѣлаго» общества. Теперешняя европейская буржуазія стремится къ тому-же состоянію Букацкихъ; она, какъ Поланецкій, сидитъ за счетами, пока не создастъ себѣ благосостоянія, а когда цѣль достигнута, ее охватываетъ пресыщенность или усталость (taedium vitae), буддійская жажда нирваны.

Букацкій сознаетъ, что «даромъ растратилъ свою жизнь», только тогда, когда, разбитый параличомъ, онъ чувствуетъ приближеніе смерти. Только въ это мгновеніе, предполагая сперва, что совсѣмъ *одинокъ* въ мірѣ (такъ-какъ никогда и никому ничего не сдѣлалъ), онъ вдругъ сознаетъ значеніе человѣческой привязанности, когда его знакомые начинаютъ заботиться о немъ, ухаживать за нимъ, посѣщать его и жалѣть.

«Растратилъ я самого себя, говоритъ онъ Поланецкому.—И тяжело мнѣ. Не знаю, ждутъ-ли меня (въ загробной жизни) какіе-нибудь «счеты», или нѣтъ. Чистосердечно говорю тебѣ: не знаю, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, испытываю какое-то странное безпокойство, какъ-будто я боялся-бы чего-нибудь... И я скажу тебѣ—чего: того, что я *тамъ для своихъ ничего не сдѣлалъ*! А могъ-бы, могъ! Передъ этою-то мыслью меня и беретъ страхъ, даю тебѣ слово. Не хорошее это дѣло. Ничего я не сдѣлалъ: ѣлъ задаромъ хлѣбъ, и теперь... смерть». Дальше онъ сравниваетъ себя съ пчелой, которая ограбила свой улей,— и проситъ Поланецкаго взять его богатства, чтобы тамъ, на родинѣ, сдѣлать что-либо *полезное*.

Но Поланецкій не понимаетъ этого урока. Онъ послѣ

смерти Букацкаго пускается въ разсужденія о томъ, что Букацкій никогда не могъ придти къ согласію съ своимъ умомъ, что ему не хватало житейскаго смысла... «А вотъ я,—добавляетъ Поланецкій,—менѣе смотрю на вещи и, кромѣ того, былъ гораздо искреннѣе съ самимъ собою. Будь что будетъ, но я уже *почти привелъ въ порядокъ свои отношенія къ Богу и къ жизни*».

Вотъ какъ! Конечно, это говорилось еще до «паденія» съ женою Машко. Но вотъ интересный вопросъ, — сознаетъ-ли самъ г. Сенкевичъ, въ чемъ именно ошибается Поланецкій? Изъ слѣдующей тирады автора ясно, что онъ этого не сознаетъ. «Въ этихъ словахъ Поланецкаго,—говоритъ онъ,—была и правда, и заблужденіе. *Поланецкій не привелъ въ порядокъ свои отношенія къ женѣ*».

Стало быть, свои «отношенія къ Богу и другимъ людямъ» онъ привелъ въ порядокъ? Святой человѣкъ!

Просто поражаешься,—какимъ образомъ столь талантливый писатель самъ не уясняетъ себя смысла тѣхъ образовъ, которые даетъ. Только за минуту передъ тѣмъ, устами умирающаго Букацкаго, онъ изрекъ приговоръ этой жизни во всемъ ея цѣломъ. И этотъ приговоръ говоритъ ясно, что главная, даже единственная вина этой жизни въ томъ, что она «тамъ, для своихъ (т.-е. для ближнихъ) *ничего не дала*». И вотъ, черезъ минуту, когда дѣло коснулось Поланецкаго, оказывается, что тотъ «привелъ въ порядокъ свои отношенія къ Богу и людямъ», исключая жены...

Умъ автора соскочилъ по привычкѣ на проторенную дорожку узенькой морали своей среды, вопреки его-же собственному вдохновенію, подсказывавшему другое.

Въ чемъ-же, однако,—въ этотъ періодъ развитія романа,—г. Сенкевичъ видитъ вину Поланецкаго передъ женой? А въ томъ, о чемъ я уже говорилъ: Поланецкій недостаточно цѣнилъ это сокровище: «Мариня отдавала Поланецкому свою любовь какъ право,—онъ и принималъ ее какъ право. Она его любовь считала счастьемъ,—онъ

и давалъ свою любовь какъ счастье, а самъ считалъ себя божкомъ на алтарѣ...» и т. д., и т. д. Однимъ словомъ, все та-же старая пѣсня! Но въ этомъ-ли его вина *даже передъ ней?*—Подняться выше, взглянуть и на эту Мариню теплѣе, человѣчнѣе, сердечнѣе, хотя и болѣе сверху, спросить себя: да что-же она совершила такое, въ чемъ ея подвиги? — г. Сенкевичъ не въ силахъ. Для этого нужно носить въ себѣ высшую мѣрку, высшій идеалъ. А требованія самого г. Сенкевича отъ идеала женщины нисколько не выше его среды. Она должна быть красива, изящна, любить мужа и не измѣнять ему; ну, еще должна быть добра къ близкимъ. И этого вполнѣ достаточно, чтобы считаться идеаломъ святости! Но самый католицизмъ могъ-бы подсказать автору, что святость еще далеко, далеко лежитъ отъ этихъ качествъ, несомнѣнно прекрасныхъ, но имѣющихъ важное значеніе только для *одного* человѣка, для мужа и, пожалуй, для круга близкихъ знакомыхъ. А вѣдь «святость» требуетъ служить не «близкимъ», а «ближнимъ», т.-е. *людямъ въ широкомъ смыслѣ этого слова.* Еслибы Сенкевичъ сознавалъ это, онъ понялъ-бы и другихъ героинь своего романа: понялъ-бы и Основскую, и Кастелли, измѣняющихъ одна мужу, другая жениху. Онъ понялъ-бы, что быть иначе почти не можетъ, если у женщинъ—какъ и у мужчинъ—извѣстнаго круга нѣтъ никакихъ иныхъ идей и цѣлей въ жизни, нѣтъ никакого иного дѣла, кромѣ безпечальныхъ наслажденій или служенія имъ для другихъ. У мужчинъ,—по крайней мѣрѣ не богатыхъ, — есть еще необходимость труда для достиженія этого безпечальнаго житья. У женщинъ и этого нѣтъ: пустота, пресыщенность, однообразіе узкой сферы наслажденій, убаюкивающее искусство, полное отсутствіе физическаго труда. Къ чему-же иному можетъ это вести въ концѣ концовъ? Обыкновенно боятся, что женщина, отдавшаяся наукѣ, идеѣ или общественной дѣятельности, теряетъ «женственность». Но что-же такое прежде всего эта

«женственность», какъ не чистота душевная и тѣлесная? Ну, а развѣ такія дамы, какъ Основская (а имя имъ—легіонъ), сохраняютъ эту чистоту? Вѣдь ихъ мораль и поведеніе, въ смыслѣ разнузданности,—совсѣмъ мужскія!

У Букацкаго, въ той его тирадѣ, которую я привелъ сперва, встрѣчается удивительное заблужденіе: оправдывая свою эгоистическую жизнь, онъ добавляетъ: «*пока* жить иначе нельзя».

Что значитъ это «пока»?

Очевидно, Букацкій вѣритъ, что когда-то, современемъ наступитъ иная жизнь, и тогда можно будетъ жить иначе! Но интересно узнать, какъ-же можетъ наступить лучшая жизнь, если не нашими-же человѣческими усиліями? А въ этихъ усиліяхъ людей, женщинѣ принадлежало въ исторіи одно изъ первыхъ мѣстъ. Женщина, прежде всего, создаетъ людей такими, каковы они *есть* — т.-е. или жалкими Букацкими, или людьми, служащими всей своей жизнью и душой идеѣ, благу ближняго, благу общества, народа, родины... Пока сохранится тотъ идеалъ женщины, который такъ ярко отразился въ романѣ Сенкевича,—извѣстный слой общества не дастъ, конечно, идеала женщины выше Маринь, счастье которыхъ въ одномъ—чтобы ихъ любили Поланецкіе!

VII.

И для этой среды нѣтъ спасенія даже въ отрезвляющемъ искусствѣ. Мы видѣли, какое искусство цѣнитъ эта среда. Да и самые художники, зарождающіеся въ ней,—эти Свирскіе и Завиловскіе,—они люди той-же среды; ихъ картины, стихи, романы, ихъ мечты, идеалы и цѣли жизни замкнуты въ томъ-же заколдованномъ кругу.

Авторъ заставляетъ своего Свирскаго нѣсколько разъ изрекать глубокомысленныя сужденія, но посмотрите, о чемъ всѣ они? О женщинахъ, о женской красотѣ и

ея различныхъ формахъ и видахъ,—о любви, ея оттѣнкахъ и ея психологическомъ анализѣ. И поэтъ Завиловскій мечтаетъ и пишетъ только о любви, лунѣ и красотѣ, быстро создавая себѣ этимъ титулъ генія въ своей средѣ.

Все и всѣ служатъ въ этой средѣ только одному: органамъ чувствъ и потребности воспроизведенія себѣ подобныхъ, потребности, облеченной въ романтическую, идеализированную форму...

Можетъ-ли человѣкъ жить *только одной* функціей или стороной своего организма и быть цѣльнымъ, быть счастливымъ, быть не развращеннымъ? Что такое «развращенность», какъ не преобладаніе и усиленное развитіе одной какой-нибудь стороны организма въ ущербъ другимъ, высшимъ сторонамъ и дѣятельностямъ?

Этимъ характеризуется нетолько развращенность, но и помѣшательство, когда одна идея или потребность занимаетъ въ сознаніи почти все мѣсто и поэтому, какъ въ гипнозѣ, охватываетъ, подчиняетъ себѣ и наполняетъ всю волю. Съ нею уже становится невозможной борьба, потому-что ей нѣтъ противовѣса, нѣтъ антагониста въ другихъ потребностяхъ и функціяхъ. И вотъ почему самъ Поланецкій,—считавшій себя человѣкомъ твердымъ выработаннымъ, живущимъ по плану,—не устоялъ противъ мимолетнаго соблазна, т.-е. чувственнаго влеченія къ женѣ Машко. Въ психіатріи это называется «импульсивностью», и мы видимъ, что вся эта среда,—не исключая ни мужчинъ, ни женщинъ, ни дѣльцовъ, ни бездѣльниковъ,—живутъ на «границахъ помѣшательства», т.-е. въ состояніи импульсивности. И вотъ гдѣ первая кара, а все остальное—послѣдствія.

Эти положенія подтверждаются самимъ романомъ г. Сенкевича, представляющимъ художественный плодъ той-же среды.

VIII.

Больше всего поражаетъ въ романѣ талантливаго художника слѣдующая особенность, которую вы, однако, замѣчаете только тогда, когда прочли почти весь романъ и начинаете думать о немъ.

Въ романѣ нѣтъ среды, окружающей ту сферу жизни, которую живописуетъ авторъ. Трудно повѣрить, что вы не видите даже прислуги, неговоря уже объ «улицѣ» съ ея толпой, не видите даже газетъ, книгъ, не слышите рѣчи о чемъ-бы то ни было, кромѣ любви и опять любви, и снова любви, съ ея утонченнѣйшими радостями и страданіями!

Талантъ автора обманываетъ все время ваше сознаніе: вамъ кажется, что онъ рисуетъ во всѣхъ подробностяхъ и мелочахъ настоящую, реальную жизнь. Только вдумавшись, вы замѣчаете, что онъ точно воздушнымъ насосомъ выкачалъ изъ реальной жизни исключительно одни наслажденія, драмы и комедіи любви да, мимоходомъ, тѣ, такъ-называемыя, «дѣловыя занятія», которыя необходимы для фундамента сытости, безпечальности и даже пресыщенности... На этомъ-то фундаментѣ и выростаютъ всѣ упомянутыя выше душевныя ненормальности, гипертрофіи и атрофіи. Какъ могло случиться, что романистъ съ огромнымъ талантомъ, описавъ малѣйшій вздохъ, каждое мимолетное слово, каждый волосокъ всѣхъ этихъ Основскихъ, Эмилій, Литокъ, Кастелли et tutti quanti,—забылъ главное, забылъ ту почву, тотъ реальный фундаментъ, на которомъ построена эта жизнь и безъ котораго она не могла-бы существовать ни минуты?

Я говорю о тѣхъ «труждающихся и обремененныхъ», не забывать которыхъ повелѣваетъ сама религія,—этотъ вѣчный законъ, воплощающій въ себѣ, дѣйствительно, *законъ самой жизни*. Я говорю о тѣхъ, чьимъ трудомъ

существуетъ жизнь—и какимъ трудомъ! Совершаемымъ въ опасной тьмѣ невѣжества, бѣдности, дикости и иного упрощеннаго разврата и разложенія. И вотъ, на такой-то почвѣ живутъ всѣ эти люди, ушедшіе исключительно въ красоту, въ половую идеализированную функцію и въ родственныя ей утонченныя чувственныя наслажденія... И они нетолько не думаютъ помочь этой средѣ, они совсѣмъ забыли о ней, даже въ лицѣ своего талантливѣйшаго романиста! Только однимъ можно объяснить себѣ такой странный «пробѣлъ» въ его памяти: такъ оно и есть въ дѣйствительности, въ той средѣ, въ которой онъ живетъ. За ея стѣны, увѣшанныя дорогими обоями, за ея тяжелыя портьеры и оконные занавѣсы не проникаетъ ничто шокирующее взглядъ или слухъ, никакіе вопросы настоящей, народной дѣйствительности. Жизнь этой «кучки», дѣйствительно, выкачана воздушнымъ насосомъ изъ океана остальной жизни и помѣщена подъ драгоцѣнный хрустальный колпакъ, подъ которымъ и создаетъ свои особые интересы, вкусы, идеалы, вѣрованія, мораль,— чуждыя остальной жизни— съ ея почвенными, реальными, насущными потребностями и нуждами.

Посмотрите, кто въ этой средѣ считается лучшимъ и моральнымъ человѣкомъ? Кто здѣсь кажется идеаломъ? Это—не герои труда или общественнаго совершенствованія, это—не просвѣтители, не пророки, однимъ словомъ, не тѣ люди, которыхъ мы считаемъ если не идеалами, то людьми наиболѣе нравственными. Здѣсь подъ моралью и идеаломъ понимается совсѣмъ иное, то, что служитъ лучше всего опять-таки тѣмъ-же потребностямъ—любви. Идеалъ этотъ—прежде всего двѣнадцатилѣтняя дѣвочка Литка, затѣмъ ея мать, наконецъ, Мариня. Почему? Онѣ умѣютъ любить и любить изящно, красиво. Кромѣ того, онѣ сами красивы, изящны, и больше всего въ нихъ красиво выраженіе «чистоты и святости», которую здѣсь понимаютъ почти исключительно

въ смыслѣ «чистоты и святости» половой или матримоніальной. Дальше этого мораль и ея идеалы здѣсь не идутъ. И понятно отчего: иные идеалы могли-бы быть занесены сюда только иной жизнью, иными потребностями и нуждами, а этой иной жизни не впустятъ въ эту теплицу даже въ формѣ искусства.

Тутъ есть и очень добрые, очень чувствительные люди, даже утонченно чувствительные и чуткіе. Но эта чуткость и утонченность опять-таки—чисто-спеціальныя: чуткость къ оттѣнкамъ наслажденія и къ тому роду искусства, который рисуетъ и анализируетъ эти наслажденія.

Какъ волнуется Мариня, когда догадывается, что панна Основская измѣняетъ мужу съ Коповскимъ, какъ всѣ сочувствуютъ матери Литки, когда дѣвочка заболѣваетъ и умираетъ! Какъ всѣ жалѣютъ поэта Завиловскаго, когда его бросаетъ невѣста! Да, у этихъ людей есть сердца и очень нѣжныя, очень преданныя въ своемъ «кругу»,—но для нихъ закрыто пониманіе чего-либо иного, кромѣ узкой сферы чувствъ извѣстнаго сорта, чувствъ любовныхъ и семейныхъ.

Можно думать, что эти люди, по своему моральному развитію, остановились на стадіи семейнаго и родового быта, что для нихъ еще не существуетъ понятія *общества* во всемъ его *цѣломъ*,—что самое большее, до чего можетъ здѣсь достигать мораль, это сфера «касты», сфера своего «общественнаго круга».

И вотъ откуда идетъ «кара».

Сознавалъ-ли это г. Сенкевичъ, когда писалъ свой романъ?

Я думаю, что нѣтъ. Иначе онъ, хотя-бы ради перспективы, ради оттѣненія тепличности и нереальности всѣхъ этихъ матримоніальныхъ крайностей,—указалъ-бы намъ уголки иного міра и жизни. Эти уголки своею реальной скорбью и борьбой оттѣнили-бы безъ словъ сущность того закона и той кары, о которой говорю я.

Нѣтъ, г. Сенкевичъ самъ считаетъ эту жизнь квинтъэссенціей развитія. Онъ самъ полонъ только ея идеалами, потребностями и скорбями. Скорбитъ онъ за нее не оттого, что она оторвана отъ почвы: этого нигдѣ не проглядываетъ въ его огромномъ романѣ. Скорбитъ онъ о томъ, что жизнь обращаетъ въ «иронію» идеалы, мечты и надежды на счастье въ этой средѣ. Но отъ чего это зависитъ? Въ этомъ онъ готовъ обвинить кого угодно: природу, ея законы, даже Того, Кто создалъ эту жизнь, но ужь никакъ не истинную причину печальнаго явленія, т.-е. не разрывъ съ почвой, съ живымъ народнымъ, общественнымъ организмомъ.

Безъ связи съ организмомъ не можетъ жить ни одинъ органъ тѣла. Отрубите его—и онъ умретъ, сгніетъ, разложится. Это-то «трупное разложеніе» мы видимъ и здѣсь, и даже въ искусствѣ этой среды.

Жить полной жизнью организма, къ которому принадлежишь,—это значитъ жить его общими нуждами, радостями, печалями, потребностями, служить ему, помогать ему...

Органъ атрофированный или парализованный мало-по-малу постигаетъ та-же судьба, какъ и органъ отрубленный. Только процессъ медленнѣе и незамѣтнѣе: органъ какъ-будто продолжаетъ жить; но эта жизнь есть постоянное умираніе, вырожденіе, постепенно ростущая гангрена.

Л. Обопенскій.

Оскорбленный геній.

(По поводу 100-лѣтія со дня рожденія А. С. Грибоѣдова).

«... Геній и злодѣйство
Двѣ вещи несовмѣстныя".
(*Пушкинъ*).

I.

Далеко отъ родины, за Кавказскимъ хребтомъ, похороненъ прахъ великаго русскаго человѣка, *перваго* имѣвшаго мужество стать совѣстью русскаго общества и громко сказать ему горькую правду. На скромной могилѣ его, обвѣянной пылью Грузіи, до сихъ поръ видны трогательныя слова жены его:

«Для чего пережила тебя любовь моя?»

Для чего переживаетъ великаго человѣка любовь къ нему потомства? Для того, я думаю, чтобы въ этой любви, стерегущей мысль писателя, его страдальческая душа наконецъ успокоилась, нашла ту радость признанія, которой была лишена при жизни.

Помянемъ-же первое столѣтіе имени Грибоѣдова, погибшаго такъ рано, размышленіемъ надъ его высокой мыслью, сочувствіемъ ея печали...

Судьба «Горя отъ ума» необычайна, почти чудесна: писанная втеченіе многихъ лѣтъ, запрещенная къ печати, эта пьеса «наперекоръ стихіямъ» ворвалась въ русское общество, облетѣла всю Россію, разсыпалась на тысячу пословицъ и внѣдрилась въ умы; она *заставила* признать себя, побѣдоносно вошла на сцену, и съ тѣхъ поръ болѣе полувѣка господствуетъ на ней какъ лучшая, *классическая* наша драма. Тощая брошюра, которую прочесть можно въ часъ, дала автору мѣсто рядомъ съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ — развѣ это не чудо? Очевидно, въ двухъ печатныхъ листахъ Грибоѣдовъ далъ нѣчто *особенно* нужное и важное для русскаго общества. Какъ въ небольшомъ алмазѣ, въ этой маленькой вещи сосредоточено драгоцѣнное и рѣдкое сіяніе. И въ самомъ дѣлѣ, «Горе отъ ума» имѣетъ всѣ признаки *великаго* произведенія. Эта комедія не дряхлѣетъ: отъ нея вѣетъ жизнью и молодостью, какъ и при нашихъ отцахъ и дѣдахъ. Устарѣли, конечно, декораціи, костюмы, рѣчи, но самые характеры и даже нравы остались тѣ-же, и основная мысль пьесы намъ близка и понятна. Не умретъ и языкъ комедіи — естественный, живой языкъ, въ вѣкахъ отчеканенный народной мыслью и геніемъ увѣковѣченный. Умираютъ вычурные, придуманные, механическіе стили Тредьяковскихъ и Сумароковыхъ, языкъ-же Пушкина и Грибоѣдова есть языкъ народа; онъ безсмертенъ какъ все естественное, принявшее органическія свойства.

Но не только художественная правда типовъ, и не красота и правда языка составляютъ основную цѣнность «Горя отъ ума». Самое дорогое въ ней—*благородный* замыселъ, и въ этомъ отношеніи она несравненна. Я не знаю другой пьесы, гдѣ былъ-бы выдвинутъ болѣе важный, *центральный* вопросъ русской жизни и гдѣ-бы онъ проведенъ былъ съ такою возвышенностью, въ созвучіи съ общечеловѣческими, вѣчными задачами. Неговоря о пошлыхъ пьесахъ Сумарокова, Кукольника и т. п., неговоря о

неудавшихся пьесахъ Фонвизина (которому недоставало только мужества, чтобы быть геніемъ), задача русской національной драмы не удалась даже Пушкину, Лермонтову и Гоголю, какъ не удалась она позже и Островскому. У названныхъ писателей были великія силы, достаточныя для этой работы, но не было достаточно *нравственнаго сознанія*. «Борисъ Годуновъ» (отдѣльныя сцены)—чудо искусства, но чудо ненужное, неспособное цѣлительно войти въ нашу жизнь. «Маскарадъ» Лермонтова—незначительная и фальшивая вещь. «Ревизоръ»—великое обличеніе небольшого зла. Только въ «Горѣ отъ ума» лучъ художественнаго откровенія направленъ на самое большое зло жизни, и только въ этой пьесѣ совершается искренняя, нелицемѣрная, до конца договоренная исповѣдь общества. Великая вещь—та, которая служитъ выраженіемъ великой мысли; самая великая мысль въ каждое время изслѣдуетъ самый великій грѣхъ времени и самый высокій идеалъ его. Изъ всѣхъ историческихъ грѣховъ русскаго народа самый тяжкій—это упадокъ человѣческаго достоинства, пренебреженіе къ нравственному идеалу, въ которомъ вся сила личности, а черезъ нее—и вся сила общества. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Гоголь, ни Островскій, ни даже Л. Н. Толстой (во «Власти тьмы») не ставятъ этого великаго вопроса такъ прямо и ясно, какъ это удалось Грибоѣдову. Ни у кого изъ нихъ не отмѣчено такъ ярко появленіе благороднаго духа въ низкой средѣ и вся драма начинающейся отсюда скорби.

II.

Комедія «Горе отъ ума».. Мнѣ кажется, это вовсе не комедія, и горе ея героя вовсе не отъ ума. Въ самомъ дѣлѣ, почему «Горе отъ ума»—комедія? Вѣдь суть ея—не какое-нибудь пошлое разочарованіе, не игра мелкихъ страстишекъ, смѣшныхъ какъ пародія на большія страсти.

Въ основѣ пьесы лежитъ *горе*, непритворное, жгучее горе, и души не мелкой, а героической. И темная сила, причиняющая эти мученія,—не призракъ, а дѣйствительная и могучая стихія. Страданія такого порядка составляютъ драму, а не комедію, и не безъ основанія самъ Грибоѣдовъ уклонился назвать свою пьесу комедіей (онъ назвалъ ее поэмой, что, впрочемъ, такъ-же странно, какъ и названіе поэмой «Мертвыхъ Душъ»). Ниже мы увидимъ, что предметъ мученій Чацкаго высокъ и важенъ, что его горе достигаетъ истинно трагической безвыходности. Что, спрашивается, забавнаго въ этой изящной и строгой пьесѣ? Ни въ самомъ Чацкомъ, ни въ томъ, что его разславили сумасшедшимъ, нѣтъ ни на іоту смѣшного. Въ отрицательныхъ типахъ, какъ они ни ярки, комизма вложено нетолько не больше, но скорѣе меньше, чѣмъ встрѣчается въ самой жизни: всѣ эти Фамусовы, Скалозубы, Репетиловы, Молчалины другимъ талантомъ (напримѣръ, Гоголемъ) могли-бы быть представлены несравненно смѣшнѣе, чѣмъ позволилъ себѣ Грибоѣдовъ. Цѣль послѣдняго была вызвать въ зрителѣ не смѣхъ, не низменную радость увидать на сценѣ нѣчто ничтожнѣе насъ самихъ,—а вызвать вниманіе къ горю благороднаго сердца и сочувствіе ему. Грибоѣдовъ, поэтому, и не хотѣлъ заслонять этой серьезной цѣли комическими преувеличеніями и подчеркиваньями, какъ это сдѣлано Гоголемъ въ его комедіяхъ. «Каррикатуръ ненавижу, въ моей картинѣ ни одной не найдешь», пишетъ Грибоѣдовъ Катенину. Эта воздержность въ пользованіи каррикатурой нетолько не лишаетъ «Горе отъ ума» жизненности, но способствуетъ ей: въ своихъ естественныхъ пропорціяхъ, безъ рѣзкихъ изломовъ, типы Грибоѣдова болѣе живые люди, нежели герои, напримѣръ, «Ревизора», гдѣ комизмъ сгущенъ часто до шаржа. Въ лучшихъ французскихъ комедіяхъ, гдѣ соблюдена строгая мѣра комизма въ лицахъ, смѣхъ публики поддерживается крайнею забавностью интриги, но интрига «Горя отъ ума» вовсе не забавна. Она остроумна и искусна,

но совершенно серьезна, какъ и подобаетъ драмѣ. Если въ нѣкоторыхъ отрицательныхъ типахъ Грибоѣдова вложена тонкая доза комизма, то это естественный комизмъ, неотдѣлимый отъ характеровъ; нужно вспомнить, что и трагедіи Шекспира изобилуютъ подобными комическими лицами. Они необходимы для трагическаго эффекта.

Единственный поводъ считать «Горе отъ ума» комедіей— тотъ, что въ немъ нѣтъ обычной для драмы кровавой развязки. Но мнѣ кажется, пора-бы уже бросить этотъ признакъ драмы какъ совершенно устарѣвшій. Въ старыя времена, при жестокихъ нравахъ, когда кинжалъ былъ, такъ сказать, простымъ продолженіемъ руки, кровавая расправа естественно заканчивала столкновенія; но въ наше время этотъ исходъ уже необыченъ и если еще не вывелся, то принялъ совсѣмъ исключительный, патологическій характеръ. Въ кровавой развязкѣ теперь видишь чаще всего не исходъ, а неожиданный *обрывъ* драмы, случайное вмѣшательство безумія, путающаго логику страстей. Убійства, самоубійства теперь понимаются какъ психозъ, какъ эпилептическій припадокъ души. Исчезаетъ *вмѣняемость* кровавыхъ актовъ, а вмѣстѣ съ нею и самый источникъ драмы. Ревнивый Чацкій въ древности непремѣнно убилъ-бы соперника, и древній зритель увидѣлъ-бы въ этомъ естественную, хотя и страшную необходимость,—современный-же зритель отнесется иначе: какъ ни тяжелы страданія ревности, мы чувствуемъ необходимость щадить жизнь человѣка, и это нравственное сознаніе настолько сильно въ большинствѣ людей, что и при крайнемъ озлобленіи другъ на друга, мысль объ убійствѣ противна. Подавляющее число ревнивцевъ уже не убиваютъ ни соперника, ни предмета ревности, ни самихъ себя, а какъ Чацкій—*отходятъ* въ сторону и страдаютъ душой, пока боль затихнетъ. Это такъ естественно, что убійцу мы во всѣхъ случаяхъ склонны считать безумнымъ; намъ жаль жертву, но не больше, какъ если-бы на нее обрушилась стѣна. Смерть въ этомъ случаѣ является еще не самымъ

трагическимъ исходомъ: оставшихся жалѣешь больше. Тихое безвыходное страданіе живыхъ людей дѣйствуетъ на тонко-чувствующаго современнаго зрителя сильнѣе, чѣмъ нагроможденіе труповъ въ концѣ пятаго акта старыхъ трагедій. Нынѣшній человѣкъ такъ далекъ отъ убійства, что даже не въ состояніи прочувствовать психологіи подобной бойни, и то, отъ чего древній зритель восторгался, въ теперешнемъ вызываетъ отвращеніе. Вспомните, съ какимъ интересомъ описываетъ Гомеръ битвы и поединки своихъ героевъ, не упуская подробностей, какъ выползли кишки изъ разсѣченнаго брюха, какъ вытекъ мозгъ изъ разбитаго черепа и т. п. Чувствуешь, что кровавый паръ опьянялъ тогдашнюю публику, изъ которой каждый, быть можетъ, убивалъ человѣка неоднократно при тогдашнихъ безпрестанныхъ войнахъ. Всѣ отъ юности тогда готовились къ битвамъ, и убійство входило въ мораль: не убить человѣка въ извѣстныхъ случаяхъ считалось позорнымъ; нравственное чувство требовало крови такъ-же безповоротно, какъ современное нравственное чувство отвергаетъ кровь. Истинно художественное произведеніе во всѣ времена создается на основѣ согласной съ нравственнымъ чувствомъ, и то, что уродливо съ этической точки зрѣнія, не можетъ быть прекраснымъ съ эстетической. Поэтому, съ перерожденіемъ нравственнаго сознанія въ человѣчествѣ, перестраиваются и эстетическія основы. Уже Шекспиръ, повидимому, догадывался о томъ, что времена кровавыхъ трагедій отходятъ. Что такое мученія Гамлета, какъ не протестъ вновь народившагося нравственнаго чувства противъ прежней морали, требовавшей убійства? Гамлетъ стоитъ какъ-бы на рубежѣ варварства и цивилизаціи; тѣнь отца еще шепчетъ ему о долгѣ мести, но внутреннее чувство останавливаетъ его, и онъ невольно восклицаетъ: «Время вышло изъ колеи своей. Горе мнѣ, рожденному для того, чтобы снова заставить его идти прежнею колеей!» Груда тѣлъ въ послѣднемъ дѣйствіи «Гамлета»—самое неожиданное и

слабое мѣсто великой трагедіи, и для современнаго зрителя не усиливаетъ, а разрушаетъ нароставшій ужасъ драмы. Вообще кровавыя трагедіи даже великихъ авторовъ кажутся теперь странными и невѣроятными, и если еще даются иногда, то ради нѣсколькихъ прекрасныхъ монологовъ и мирныхъ сценъ. Кровавую-же часть ихъ, если она исполняется даже такими артистами, какъ Росси, смотрѣть тяжело и противно, какъ на бойню скота: какъ бы ни были величественны жесты и фразы, гнусность самаго факта подавляетъ художественное наслажденіе. Въ будущемъ, когда окончательно исчезнутъ войны, казни и дуэли, эти остатки зоологическаго періода въ исторіи,—человѣкъ дотого отвыкнетъ отъ кровавой расправы, что она будетъ ему казаться невозможною гадостью, и тогда великія трагедіи будутъ совершенно сняты со сцены, какъ сняты кулачные и гладіаторскіе бои. Потоки крови — эффектъ чрезмѣрно грубый для современной драмы и разрушаетъ самую ткань художественной картины. Болѣе тонкое и глубокое впечатлѣніе производитъ болѣе намъ знакомое страданіе—психическое, особенно нравственное страданіе. Когда Чацкій убѣгаетъ «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ», художественный образъ его скорби не нарушенъ: вы не разочаровываетесь въ его благородствѣ; сознаніе, что его муки не кончились и никогда не кончатся, углубляетъ трепетъ вашъ предъ его судьбой. Такимъ образомъ отсутствіе труповъ въ «Горѣ отъ ума» не препятствуетъ этой пьесѣ быть истинною драмой.

III.

Въ чемъ заключается сущность этой драмы? Что такое Чацкій? Несмотря на несмолкаемый восторгъ, которымъ сопровождалась комедія на пространствѣ семидесяти лѣтъ,—основной ея смыслъ до сихъ поръ не выясненъ: лицо Чацкаго загадочно и спорно. Грибоѣдовъ, называя комедію «Горемъ *отъ ума*», хотѣлъ дать картину

мученій умнаго человѣка въ обществѣ глупыхъ. Но большинство критиковъ—въ томъ числѣ такіе авторитетные голоса, какъ Пушкинъ, кн. Вяземскій, Бѣлинскій, отрицаютъ въ Чацкомъ умъ, какъ характерную черту.

Чтобы разобраться въ этомъ, припомнимъ судьбу Чацкаго по ходу пьесы. Въ основной мотивъ драмы — борьбу выдающагося человѣка съ его обществомъ — вплетена красною нитью интрига личнаго чувства — любви Чацкаго къ Софьѣ, кровной представительницѣ своего общества. Эта личная драма чрезвычайно трогательно оттѣняетъ общественную и даетъ ей горячую жизненность. Чацкій и Софья—дѣти почти одной семьи; они выросли въ старинныхъ барскихъ хоромахъ, среди крѣпостной дворни, среди сценъ крайняго униженія слабыхъ передъ сильными, среди грубыхъ и жестокихъ нравовъ. Не забудьте, что еще отецъ Фамусова могъ родиться въ до-петровской Москвѣ, въ эпоху высокихъ шапокъ и охабней, и всего какое-нибудь одно-два поколѣнія отдѣляли грибоѣдовскую Москву отъ стариннаго варварства. Вотъ въ этакой-то средѣ довелось родиться Чацкому и довелось быть воспитаннымъ въ идеяхъ гуманнаго европейскаго образованія. Общественная драма началась для Чацкаго еще въ дѣтствѣ:

«Онъ съѣхалъ; ужь у насъ ему казалось скучно»,

говоритъ Софья,—скучно, несмотря на то, что они вмѣстѣ съ Чацкимъ были воспитаны, росли, и что «привычка вмѣстѣ быть день каждый неразлучно связала дѣтскою ихъ дружбой». Чацкому скучно стало въ домѣ Фамусова раньше, чѣмъ онъ влюбился въ Софью,—«охота странствовать напала на него», и на водахъ лечился онъ «не отъ болѣзни, чай, — отъ скуки». Даже любовь — первая юношеская любовь!—не помѣшала ему вырваться изъ Москвы, дотого онъ задыхался въ ней,—и три года мученій влюбленнаго едва были достаточны, чтобы привлечь его въ Москву. Онъ ѣхалъ исключительно для нея («Что новаго покажетъ

мнѣ Москва?»); онъ разстался съ нею, когда она была еще почти дѣвочкой, въ тотъ періодъ дѣвичьей жизни, когда невинность тѣла и души дѣлаютъ женщину похожей на ангела. Плѣнительная, родная—онъ помнилъ ее въ слезахъ разлуки съ клятвами вѣчной вѣрности. «Чувствительный» Александръ Сергѣевичъ носилъ дорогой образъ въ сердцѣ среди скитаній; разочарованный и оскорбленный родной Москвой, онъ переносилъ всю нѣжность родственныхъ чувствъ на Софью. Послѣднія сотни верстъ до Москвы волновали его воображенье, онъ летѣлъ «не вспомнясь, безъ души»... И вотъ награда: его встрѣчаютъ холодно, какъ чужого, какъ постороннее лицо, съ которымъ видались еще вчера. Можетъ быть, онъ готовилъ страстныя изліянія—его принимаютъ какъ простого визитёра. Чацкій ошеломленъ: онъ тотчасъ-же замѣчаетъ, что у Софьи «ни на волосъ любви» къ нему. Но сердце хочетъ любви, Чацкій вспоминаетъ поэзію дѣтскихъ лѣтъ, проведенныхъ съ Софьей, вспоминаетъ Москву, какъ враждебный станъ, и, можетъ быть, смутно чувствуетъ, что его сокровище уже плѣнено Москвой, отнято у него безвозвратно. Пылкій Чацкій дѣлаетъ вызовъ Москвѣ и предъ глазами Софьи набрасываетъ рядъ ѣдкихъ каррикатуръ на ея родныхъ и знакомыхъ. Онъ и прежде презиралъ Москву; за три года путешествій онъ укрѣпилъ въ себѣ это презрѣніе своимъ развитіемъ, образованностью, знакомствомъ съ лучшими краями. Отсюда тонъ злорѣчія, въ который впадаетъ Чацкій съ самаго начала встрѣчи и который такъ невыгоденъ для него. Зритель еще не знакомъ съ Чацкимъ, не знаетъ его правъ на отрицаніе этой среды, его превосходства надъ нею. За Чацкимъ пока никакихъ заслугъ и преимуществъ, умъ его предварительно не доказанъ; это просто свѣтскій юноша, начитавшійся иностранныхъ книгъ, отставной кавалеристъ, подававшій какіе-то проекты министрамъ, но безъ успѣха, и въ разочарованіи съѣздившій въ Европу. Но таковъ именно и былъ типъ тогдашняго отрицателя: вѣдь и за Онѣгинымъ, Печори-

нымъ и Рудинымъ не было никакихъ заслугъ, кромѣ единственной: простого отрицанія тогдашней жизни, нравственнаго возмущенія, на которое немногіе были способны. Невыгодное для Чацкаго впечатлѣніе злоязычнаго критикана пропадаетъ по мѣрѣ хода пьесы, когда вы убѣждаетесь въ горячей искренности и благородствѣ Чацкаго и въ томъ, что Москва вполнѣ заслужила его гнѣвные сарказмы. По природѣ своей Чацкій добръ, но онъ не кротокъ: онъ вѣдь тоже сынъ своего грубаго вѣка и не умѣетъ прощать врагамъ; онъ преслѣдуетъ ихъ столь-же ожесточенно, какъ они его — только безъ ихъ коварства.

IV.

Лучшій человѣкъ того времени, герой, возставшій противъ толпы, не лишенъ былъ замашекъ фатовства, дендизма, отъ котораго не были свободны (по духовному наслѣдству отъ французскихъ аристократовъ) ни Байронъ, ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни самъ Грибоѣдовъ. Въ европейской семьѣ до сихъ поръ борются два главныхъ типа: ироническій и мечтательный; первому дала роскошное развитіе французская культура, галльскій темпераментъ и революціонный духъ,—второму—нѣмецкая культура съ ея благочестіемъ и философіей. Въ русскомъ обществѣ эпохи Грибоѣдова попадались люди и второй породы (московскіе масоны, впослѣдствіи—«люди сороковыхъ годовъ»), но преобладалъ ироническій типъ, люди насмѣшливаго отрицанія. Къ этому именно типу принадлежалъ Чацкій и главные герои послѣдующаго времени: Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, хотя уже въ Рудинѣ начинаетъ сказываться мечтательный, германскій духъ, начало творческое въ противовѣсъ разрушительному настроенію скептиковъ. Чацкій еще не дожилъ до разочарованности Печорина: реакція, разбившая въ прахъ всѣ надежды Чацкихъ, была еще впереди, русское самосознаніе переживало еще

зарю туманной юности и было одушевлено пылкой вѣрой. Хотя Чацкій уже скучаетъ, но въ немъ еще нельзя подмѣтить родоначальника нашихъ Чайльдъ-Гарольдовъ до Обломова включительно; столь выродившееся подъ суровымъ гнетомъ потомство еще не просвѣчиваетъ въ Чацкомъ: онъ еще могучъ и гордъ. Со второго дѣйствія «Горя отъ ума» начинается рядъ его жестокихъ битвъ съ родною, московскою культурой, въ которой не было, конечно, ни скептицизма, ни мечтательности. То и другое—продуктъ свободы духа, московское-же общество вышло изъ почти-бухарскаго порабощенія. Самый крупный, монументальный представитель старой Москвы—Фамусовъ—является философомъ ея культуры. Онъ уменъ и искрененъ не менѣе Чацкаго и не менѣе его краснорѣчивъ, и эта искренность (высшее выраженіе культуры) дѣлаетъ его почти симпатичнымъ; онъ высказываетъ страшныя низости, но такъ простодушно и съ такою вѣрой въ свои слова, что ему прощаешь его нравственное безобразіе. Столь-же искренни и всѣ остальные представители Москвы, чѣмъ и устраняется отталкивающее впечатлѣніе, которое могло-бы повредить картинѣ. Великій художникъ придалъ пороку ту теплоту и сочность жизни, какія бываютъ на самомъ дѣлѣ и какими онъ только и держится. Фамусовъ, Молчалинъ, старуха Хлестова, Тугоуховскіе, Хрюмины,—они въ своемъ родѣ великолѣпны, на нихъ любуешься какъ на породистые экземпляры гориллъ или кенгуру. Они, волею художника, живые, а все живое интересно.

Въ первомъ-же столкновеніи Фамусова съ Чацкимъ послѣдній убѣждается, что Софью за него не отдадутъ:

«... не блажи,
Имѣньемъ, братъ, не управляй оплошно,
А *главное*—поди-ка послужи».

Это требованіе: «послужи!» дѣйствуетъ на Чацкаго какъ ударъ бича:

«Служить-бы радъ—прислуживаться тошно!»

Въ этой гордой фразѣ сказался весь Чацкій, все его поколѣніе, весь новый вѣкъ—правда, скоро задавленный могучимъ отпоромъ стараго вѣка. Чацкій—проснувшійся европеецъ въ русской кожѣ: онъ радъ быть *слугою* общества, но не *прислугою*; ему надоѣло чисто-азіатское холопство въ службѣ, и онъ ставитъ выше всѣхъ выгодъ свое человѣческое достоинство. Черта арійская, черта благородной расы, которая рано или поздно должна была сказаться въ русскомъ. Но въ Фамусовѣ сидитъ еще искренній азіатъ: въ превосходномъ монологѣ онъ рисуетъ идеалъ *достойнаго* человѣка, Максима Петровича:

. . . . Онъ не то на серебрѣ,
На волотѣ ѣдалъ, сто человѣкъ къ услугамъ;
Весь въ орденахъ, ѣзжалъ-то вѣчно цугомъ;
Вѣкъ при дворѣ, да при какомъ дворѣ!...

Возвышенъ идеалъ, и святы для Фамусова средства его осуществленья:

Когда-же надо подслужиться,
И онъ сгибался въ перегибъ.
На куртагѣ ему случилось оступиться—
Упалъ, да такъ, что чуть затылка не прошибъ.
Старикъ заохалъ, голосъ хрипкой...
Былъ высочайшею пожалованъ улыбкой—
Изволили смѣяться. Какъ-же онъ?
Привсталъ, оправился, хотѣлъ отдать поклонъ—
Упалъ въ другой разъ—ужь нарочно!
А хохотъ пуще. Онъ и въ третій также точно.
А? Какъ по вашему?... По нашему, смышленъ:
Упалъ онъ больно—всталъ здорово.
Зато, бывало, въ вистъ кто чаще приглашенъ?
Кто слышитъ при дворѣ привѣтливое слово?
Максимъ Петровичъ! Кто предъ всѣми зналъ почетъ?
Максимъ Петровичъ! Шутка!
Въ чины выводитъ кто и пенсію даетъ?
Максимъ Петровичъ. Да. Вы, нынѣшніе, шутка!

Этотъ безсмертный монологъ достоинъ быть эпиграфомъ къ цѣлому историческому періоду. Это не рѣчь, это гимнъ, патетическое выраженіе культа строгаго и

законченнаго. Горячъ и пылокъ Чацкій, но какъ гранитный утесъ неподвиженъ Фамусовъ въ своемъ міросозерцаніи. Совершенно напрасно Чацкій обрушивается на «вѣкъ минувшій», на его подлую лесть и низость, напрасно дополняетъ и безъ того яркую картину Фамусова:

«А сверстничекъ, а старичекъ
Иной, глядя на тотъ скачекъ
И разрушаясь въ ветхой кожѣ,
Чай, приговаривалъ: ахъ, если-бы мнѣ тоже!»

Фамусовъ органически не въ состояніи понять: что-же тутъ недостойнаго въ этой зависти старичка?

Знаменательна фраза Чацкаго, что «нынче смѣхъ страшитъ и держитъ стыдъ въ уздѣ». Значитъ, въ обществѣ начала уже просвѣчивать совѣсть,—если еще и не въ видѣ *любви* къ идеалу, то хоть въ видѣ *страха* передъ нимъ; явился уже *стыдъ*, изъ котораго когда-нибудь разовьется чувство *долга*. Смѣхъ — зачаточное и еще насыщенное зломъ нравственное сознаніе, но онъ уже — отрицаніе зла и жестокій бичъ его. *Смѣхъ* Чацкаго—не пустое злословіе, не bons-mots французскихъ петиметровъ, а горькій смѣхъ возмущенной и оскорбленной совѣсти. Противъ чего возстаетъ Чацкій въ своемъ поединкѣ съ Фамусовымъ? Не противъ глупости и невѣжества «минувшаго вѣка», а противъ подлости его. На этомъ развивается вся идея драмы.

V.

Рядъ слѣдующихъ дѣйствій развертываетъ весь лагерь старой Москвы, необоримую силу, которая должна остаться побѣдителемъ. Выдвигается колоссальная статуя Скалозуба, этого Атласа, поддерживающаго на своихъ могучихъ плечахъ весь міръ фамусовщины:

«Я князь-Григорію и вамъ
Фельдфебеля въ Вольтеры дамъ:
Онъ въ три шеренги васъ построитъ,
А пикнете, такъ мигомъ успокоитъ».

Немудрено, что къ такой силѣ льнетъ философія и вѣра Фамусова: самое дорогое, что у него есть,—дочь свою—онъ мечтаетъ выдать за него замужъ и ухаживаетъ передъ нимъ какъ передъ идоломъ. Скалозуба почему-то играютъ чаще всего въ видѣ стараго бурбона,—но на самомъ дѣлѣ онъ не старъ:

«Я съ восемьсотъ-девятаго служу»,

говоритъ онъ, такъ-что въ началѣ двадцатыхъ годовъ ему могло быть немногимъ болѣе тридцати лѣтъ. Пусть онъ «хрипунъ, удавленникъ, фаготъ», какъ очерчиваетъ его Чацкій,—но онъ представитель скорѣе молодого поколѣнія тогдашней Москвы, какъ и Молчалинъ. «Они подростутъ», дойдутъ до степеней извѣстныхъ и вложатъ свою силу въ исторію дальнѣйшихъ десятилѣтій. Острый терній впивается въ сердце Чацкаго; онъ видитъ, кому предназначается Софья. Онъ присутствуетъ при великолѣпномъ обмѣнѣ идей между Фамусовымъ и Скалозубомъ, гдѣ рѣчь идетъ о томъ, что мило ихъ сердцу, о чинахъ и наградахъ, о томъ, какъ «Господь вознесъ» полковника, далъ ему «счастливое товарищество»:

То старшихъ выключатъ иныхъ,
Другіе, смотришь, перебиты.

Ни малѣйшей розни во взглядахъ Фамусова и Скалозуба:

«Да, чтобъ чины достать есть многіе каналы,
Объ нихъ какъ истинный философъ я сужу—
Мнѣ только-бы досталось въ генералы»,

говоритъ Скалозубъ. Фамусовъ восхищенъ этой философіей: «И славно судите, дай Богъ здоровья вамъ и генеральскій чинъ...»

Захлебываясь отъ умиленія, Фамусовъ чуть не прямо навязываетъ Скалозубу свою Софью—тутъ-же, на глазахъ Чацкаго, да еще дѣлаетъ вызовъ послѣднему: «Другой хоть прытче будь, надутый всякимъ чванствомъ, пускай себѣ разумникомъ слыви, а въ семью не включатъ.

на насъ не подивя». Мало того, знакомя Чацкаго со Скалозубомъ, онъ въ пренебрежительномъ тонѣ начинаетъ сѣтовать о первомъ, какъ о пропащемъ человѣкѣ. «Не служитъ, то-есть, въ томъ онъ пользы не находитъ», и пр. Тутъ наболѣвшая душа Чацкаго не выдерживаетъ. Онъ разражается пламеннымъ монологомъ, напоминающимъ по гнѣвной силѣ лермонтовское «На смерть Пушкина»:

«А судьи кто? За древностію лѣтъ
Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима...» и пр.

Монологъ этотъ прекрасенъ какъ весенній громъ; онъ дышетъ вдохновеньемъ, но вдохновеньемъ не ума только, а оскорбленной совѣсти.

«Гдѣ, укажите намъ, отечества отцы,
Которыхъ мы должны принять за образцы?
Не эти-ли, грабительствомъ богаты,
Защиту отъ суда въ друзьяхъ нашли, въ родствѣ,
Великолѣпныя соорудя палаты,
Гдѣ разливаются въ пирахъ и мотовствѣ...»

Не глупость и не невѣжество бичуетъ Чацкій, а «прошедшаго житья подлѣйшія черты». Какъ идеалъ человѣка, образецъ «отца отечества», Чацкій припоминаетъ одного вельможу, «Нестора негодяевъ знатныхъ», который толпу вѣрныхъ слугъ, спасавшихъ не разъ жизнь и честь его «въ часы вина и драки», промѣнялъ на борзыя три собаки, — того вельможу, что «для затѣй на крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей», которыя потомъ всѣ были за долги распроданы по-одиночкѣ...

«Вотъ наши строгіе цѣнители и судьи!»

Тутъ Чацкій коснулся самой гнойной язвы тогдашняго быта — крѣпостного рабства, которымъ жило дворянство. Нападеніе на эту «основу русскаго строя», какъ тогда выражались, считалось чуть не государственнымъ преступленіемъ. Фамусовъ до того ошеломленъ бѣше-

нымъ натискомъ Чацкаго, что безъ словъ уходитъ «отъ бѣды».

VI.

Но бой не конченъ: онъ только-что начался. Чацкому показанъ во весь ростъ его гласный соперникъ на сердце Софьи. Ея рѣшеніе неизвѣстно, но отецъ, распорядитель ея судьбы, съ восторгомъ отдаетъ ее Скалозубу. Вотъ кому предпочтенъ бѣдный Александръ Сергѣевичъ, чувствительный, просвѣщенный, блестящій! Со всѣмъ умственнымъ превосходствомъ онъ — ничто въ сравненіи съ тупымъ фронтовикомъ, шагающимъ въ генералы. Это обида, но главное униженіе еще впереди. Выдвигается фигура настоящаго соперника, избранника самой Софьи. На кого-же палъ ея выборъ? Скалозубъ невѣжествененъ, ограниченъ, но все-же онъ родовитъ и заслуженъ, а главное—не подлъ; на немъ нѣтъ клейма хамства, и хоть въ нѣкоторой мѣрѣ онъ возможенъ, какъ соперникъ Чацкаго. Но Молчалинъ!.. Пронырливое, безсловесное животное—соперникъ Чацкаго! Да, нашему герою пришлось испить эту чашу. Въ рядѣ живыхъ сценъ и встрѣчъ (паденіе Молчалина съ лошади, обморокъ Софьи и пр.) Чацкій прозрѣваетъ, кого любитъ Софья; въ немъ загорается слѣпая ревность, желаніе разубѣдить себя, стремленіе оставить хоть лучъ надежды—пока Софья, ведущая съ нимъ глухую борьбу, не сражаетъ его язвительной остротой (въ концѣ IX явленія). Онъ полонъ страсти къ ней,—она предлагаетъ ему въ подруги жизни старую кокетку, княгиню Ласову, сломавшую ребро и «для поддержки» ищущую мужа. Ударъ тонкій и острый—бѣдный Чацкій сраженъ; растерянный, смятенный, онъ уходитъ бормоча какія-то ненужныя, первыя попавшіяся слова. Въ глазахъ зрителя драма углубляется тѣмъ, что Софья дѣйствительно любитъ Молчалина, и Молчалинъ дѣйствительно презрѣненъ. Сряду послѣ обморока Софьи

и тѣхъ нѣжностей, которыми она осыпаетъ Молчалина (явленіе XI), послѣ ея признанія, что ей нѣтъ дѣла до всей вселенной, кромѣ него,—онъ старается соблазнить горничную, признается, что барышню любитъ только «по должности».

Но Чацкій все еще не сдается и является вечеромъ на балъ, чтобы окончательно убѣдиться въ своемъ пораженіи. Онъ допытывается у Софьи, кто ей милъ, и она почти признается, что любитъ Молчалина. Семнадцатилѣтняя барышня очень умно и тонко обличаетъ Чацкаго и описываетъ Молчалина съ нѣжнымъ сочувствіемъ. Суть ея драмы въ томъ, что Софья обоихъ не знаетъ, въ обоихъ ошибается и человѣка низкаго предпочитаетъ благородному. Она не знаетъ Чацкаго, хоть и росла съ нимъ: завѣты души его для нея скрыты; она видитъ только то, что дѣйствительно непріятно въ Чацкомъ: его нескромную веселость, страсть «шутить и вѣкъ шутить», т. е. злословить, его «грозный взглядъ и рѣзкій тонъ» и пр. и пр. Софья права. Вся эта напускная, довольно наглая бравада, хлесткость рѣчи и манеръ, ломанье изъ себя какого-то Чайльдъ-Гарольда или демона, духа изгнанья,—все это была въ то время модная манера держать себя. Она вѣроятно страшно нравилась заурядным барышнямъ, но дѣвушки умныя и мечтательныя, вродѣ Софьи, не выносили ея. Что эта манера была несносна — стоитъ вспомнить ломанья самаго изящнаго изъ тогдашнихъ героевъ — Печорина, стоитъ вспомнить, наконецъ, личный характеръ Грибоѣдова или Лермонтова. То былъ вѣкъ возстанія духа; Фаустъ былъ во власти Мефистофеля и все сатанинское казалось прекраснымъ. Но Софья — дѣвушка съ нѣжною душой, родная сестра Татьяны Пушкина: ей болѣе по душѣ мечтательный герой, нежели ироническій. Она выступаетъ горячей защитницей Молчалина: «Я не старалась. Богъ насъ свелъ», говоритъ она—и описываетъ, какъ тотъ пріобрѣлъ дружбу

всѣхъ въ домѣ, какъ онъ безмолвіемъ обезоруживаетъ гнѣвъ отца, —

«Чудеснѣйшаго свойства
Онъ наконецъ: уступчивъ, скроменъ, тихъ,
Въ лицѣ ни тѣни безпокойства,
И на душѣ проступковъ никакихъ:
Чужихъ и вкривь и вкось не рубитъ—
Вотъ я за что его люблю»,

чистосердечно говоритъ Софья,—и еслибъ именно *таковъ* былъ Молчалинъ, то онъ былъ-бы почти совершенство: вѣдь это портретъ настоящаго праведника. О подломъ существѣ подъ кроткою личиной этого праведника Софья, ослѣпленная любовью, не догадывалась. Какъ же отнесся Чацкій къ портрету Молчалина, нарисованному Софьей? «Чудеснѣйшія свойства», уступчивость, скромность, невозмутимость Молчалина показались Чацкому такою низостью, что онъ откинулъ мысль, будто Софья могла полюбить такое чудовище. «Она его не уважаетъ!.. Шалитъ, она его не любитъ!» Въ этой странной ошибкѣ сказался фанатикъ Чацкій, человѣкъ борьбы, человѣкъ той эпохи, когда уступчивость считается преступленіемъ, а скромность — подлостью. Въ такія эпохи нравственность перестраивается, мирныя, высокія добродѣтели цѣнятся какъ трусость, а ожесточенная злоба— какъ героизмъ. Чацкій искренно презираетъ Молчалина за его *добродѣтели* еще ранѣе, чѣмъ узнаетъ подлую подкладку ихъ. На очной ставкѣ, Чацкій и Молчалинъ, два героя времени, скрещиваютъ свои идеалы: Молчалинъ—«умѣренность и аккуратность», Чацкій—независимость и достоинство. «Умѣренность и аккуратность»—эта фраза сдѣлалась со временъ Грибоѣдова какъ-бы формулой низости, но исходи эти качества изъ глубины великой, обуздавшей себя души, изъ философскаго основанія, они были-бы высокими достоинствами; въ качествѣ орудія для подлой цѣли они отвратительны. Можетъ быть это самая трагическая черта въ жизни, что добро, по-

рабощаясь злу, дѣлается могучимъ пособникомъ для него. Молчалинъ торгуетъ своей незлобивостью, какъ католическіе монахи благочестіемъ. Чацкій хорошо это видитъ и не скрываетъ своего презрѣнія, — онъ грубъ и даже дерзокъ съ нимъ. На возгласъ Молчалина—

«Въ мои лѣта не должно смѣть
Свое сужденіе имѣть, —

Чацкій пламенно негодуетъ:

«Помилуйте, мы съ вами не ребяты:
Зачѣмъ-же мнѣнія чужія только святы?»

На это Молчалинъ удивленно замѣчаетъ: «Вѣдь надобно-жъ зависѣть отъ другихъ».—Зачѣмъ-же надобно? восклицаетъ пораженный Чацкій.—«Въ чинахъ мы небольшихъ», смиренно объясняетъ Молчалинъ.

Трудно короче и ярче, чѣмъ въ этомъ живомъ діалогѣ, оттѣнить два разные покроя мысли, враждебные, несогласимые. Чацкій, окрыленный гордымъ духомъ свободы, сознаніемъ священныхъ правъ личности, всматривается еще разъ въ душу своего соперника и еще разъ, поразившись низостью ея, не вѣритъ, что этотъ соперникъ опасенъ. Но вотъ близка послѣдняя, рѣшительная битва: у Фамусовыхъ балъ, вся Москва соберется кругомъ Чацкаго, и прозвучитъ vox populi, приговоръ родного общества своему герою.

VII.

Платонъ Михайловичъ, Наталья Дмитріевна, князь Петръ Ильичъ, княгиня съ цѣлымъ выводкомъ княженъ, графини Хрюмины, бабушка и внучка, Загорѣцкій... Ихъ достаточно назвать, чтобы передъ читателемъ они встали какъ живые. Этотъ кругъ лицъ всѣмъ знакомъ и замкнутъ, «какъ колода картъ», по мѣткому выраженію Гончарова; Фамусовъ, Молчалинъ, Скалозубъ, старуха Хлестова, Репетиловъ «врѣзались въ память такъ-же твердо

какъ короли, валеты и дамы въ картахъ». На пространствѣ нѣсколькихъ страницъ, нѣсколькими фразами очерчиваются съ геніальной жизненностью основные зоологическіе представители русской общественной фауны: отъ Грибоѣдовскихъ типовъ пойдутъ Гоголевскіе, Тургеневскіе, Гончаровскіе. Развѣ Фамусовъ въ миніатюрѣ не повторенъ въ образѣ Сквозника-Дмухановскаго? Молчалинъ развѣ не представляетъ Чичикова «приготовительнаго класса»? Скалозубъ, конечно, превратится въ Собакевича, а Репетиловъ въ Хлестакова, правда, все въ большомъ, столичномъ масштабѣ. Благородный Чацкій повторится въ нѣкоторой мѣрѣ въ Евгеніи Онѣгинѣ, Печоринѣ и особенно въ Тургеневскомъ Рудинѣ, а Платонъ Михайловичъ въ Тентетниковѣ или Ильѣ Ильичѣ Обломовѣ. Крайне яркое лицо Хлестовой, умной и властной барыни, будетъ повторено почти всѣми романистами. Эти нѣсколько страничекъ Грибоѣдовской пьесы—драгоцѣнный историческій документъ, отъ котораго начинается генеалогія русскихъ литературныхъ типовъ, особенно если прибавить тѣхъ, что остались на дальнемъ фонѣ и о которыхъ говоритъ Репетиловъ. «Секретнѣйшій союзъ», «сокъ умной молодежи», «горячихъ дюжина головъ», которые обсуждаютъ (при Репетиловѣ!) «государственное дѣло». Тутъ сатира Грибоѣдова отъ паѳоса негодованія переходитъ въ паѳосъ презрѣнія: болѣе ѣдкой насмѣшки, чѣмъ посвященная тогдашнимъ либераламъ, нѣтъ во всей драмѣ. Во главѣ союза стоитъ князь Григорій — «вѣкъ съ англичанами, вся англійская складка», Воркуловъ Евдокимъ, Иванъ и Боренька, «чудесные ребята». Геніемъ партіи является Удушьевъ, Ипполитъ Маркелычъ, авторъ «Взгляда и Нѣчто».

«Но голова у насъ, какой въ Россіи нѣту,
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойникъ, дуэлистъ,
Въ Камчатку сосланъ былъ, вернулся алеутомъ,

И крѣпко на руку нечистъ.
Да умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ!
Когда-жъ о честности высокой говоритъ,
Какимъ-то демономъ внушаемъ,
Глаза въ крови, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ.
Вотъ люди, есть-ли имъ подобные? Наврядъ.

Этотъ приговоръ тогдашнимъ тайнымъ обществамъ, изъ которыхъ вышли декабристы, повидимому слишкомъ жестокъ: какъ теперь достаточно извѣстно, въ союзахъ «Спасенія» и «Благоденствія» участвовали русскіе люди, представлявшіе такой подборъ высокихъ характеровъ, какой никогда не повторился. Попадались, конечно, и Удушьевы, и «ночные разбойники», но не они характеризовали тогдашнее молодое общество. Но хотя картинки Репетилова жестоки, ихъ нельзя назвать клеветой: несомнѣнно, и въ либеральныхъ кружкахъ тогда, какъ и въ послѣдующія времена, было много репетиловщины, которая и губила ихъ замыслы. Вѣдь Репетиловъ, съ пьяныхъ глазъ, тащилъ за полы даже Скалозуба въ свой «секретнѣйшій союзъ», трезвонилъ на подъѣздахъ и лѣстницахъ объ этомъ союзѣ!..

На балу, въ стихіи московскаго общества, Чацкій держитъ себя попрежнему презрительно, почти дерзко: подсмѣивается надъ нѣжностями Натальи Дмитріевны, оплакиваетъ участь ожирѣвшаго Платона Михайловича, отвѣчаетъ эпиграммой графинѣ-внучкѣ, смѣется надъ замѣчаніями Хлестовой и еще разъ жалитъ сердце Софьи сарказмомъ надъ Молчалинымъ. Чацкій дѣлается ей совсѣмъ ненавистнымъ:

«Ахъ, этотъ человѣкъ всегда
Причиной мнѣ ужаснаго разстройства!
Унизить радъ, кольнуть,—завистливъ, гордъ и золъ.

Случайный разговоръ о Чацкомъ, случайная фраза «онъ не въ своемъ умѣ» наталкиваетъ Софью на планъ

мести; она бросаетъ въ общество мысль, что Чацкій сумасшедшій.

А, Чацкій! Любите вы всѣхъ въ шуты рядить,
Угодно-ль на себѣ примѣрить?

VIII.

Искра сплетни тотчасъ разносится пожаромъ: въ испорченномъ обществѣ клевета и униженіе другъ друга—вся поэзія жизни,—а у Фамусова къ тому-же всѣ вооружены противъ Чацкаго. Фамусовъ первый громогласно подтверждаетъ вѣсть:

О чемъ, о Чацкомъ, что-ли?
Чего сомнительно? Я первый, я открылъ!
Давно дивлюсь я, какъ никто его не свяжетъ!

И приводитъ яркое доказательство сумасшествія Чацкаго:

Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцомъ,
Хоть предъ какимъ ни есть лицомъ,
Такъ назоветъ онъ подлецомъ!

Никто, конечно, не вѣритъ, и всѣ охотно соглашаются. Ищутъ причины безумія Чацкаго и тотчасъ-же, всѣ безъ перекоровъ, находятъ ее:

«Ученье—вотъ чума, ученость—вотъ причина»...

Старуха Хлестова, княгиня, Скалозубъ, Загорѣцкій общимъ хоромъ присоединяются къ этой мысли. Книга—вотъ зараза, которой трепеталъ тогдашній русскій міръ,—но какая книга? Не учебникъ, конечно, артиллеріи и фортификаціи, не руководство къ куроводству, а книга XVIII вѣка, великая книга философовъ, будившая человѣческое достоинство—вотъ что казалось страшнѣй чумы.

. . . . Ужь коли зло пресѣчь,
Забрать всѣ книги-бы да сжечь!

— искренно говоритъФамусовъ. Тотчасъ послѣ этого приговора является Чацкій,—человѣкъ близкій къ книгамъ,

и отъ него всѣ пятятся, какъ отъ зачумленнаго. И въ самомъ дѣлѣ, онъ разстроенъ: онъ измученъ пытками ревности втеченіе дня, горячими столкновеньями, толпою несносныхъ лицъ и всею пошлою суетою московской жизни, охватившей его тотчасъ-же по пріѣздѣ. «Милліонъ терзаній! Мочи нѣтъ!» восклицаетъ онъ и снова, какъ цвѣтокъ къ солнцу, тянется къ Софьѣ. Одно ея слово—и онъ радъ излиться передъ ней въ мольбахъ, онъ гремитъ на весь залъ, онъ обличаетъ, пока—глядь... онъ оказывается одинъ, съ пламенною рѣчью среди общества, которое кружится въ вальсѣ.

Послѣдній монологъ Чацкаго страненъ по содержанію; нападки его на подражанія западу здѣсь неожиданны и неумѣстны, но какой-то монологъ тутъ нуженъ, чтобы оттѣнить безвыходное одиночество нашего героя.

До сихъ поръ драма невидимо ростетъ и зрѣетъ; Чацкій измученъ, но вся горечь яда еще впереди. Вѣдь онъ еще не увѣренъ, *кому* предпочла его Софья, онъ еще не знаетъ ни ея коварства, ни подлости Молчалина. Высшій моментъ всякой драмы—когда она раскрывается сознанію дѣйствующихъ лицъ. До этого она матеріальна, въ этотъ-же моментъ одухотворяется и переходитъ въ идею страданія. До послѣднихъ минутъ Чацкій и Софья не сознаютъ, въ чемъ смыслъ ихъ завязавшагося любовнаго раздора. Чацкій еще не знаетъ приговора общества и *кѣмъ* онъ подсказанъ, онъ еще не увѣренъ, что Молчалинъ ея избранникъ. Все это обрушивается на него сразу, какъ подтаявшая глыба снѣга. Изъ швейцарской онъ слышитъ, какъ разъѣзжающіеся гости общимъ хоромъ считаютъ его сумасшедшимъ; онъ пораженъ и взбѣшенъ, — первая мысль— знаетъ-ли объ этой клеветѣ Софья. Онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что ей это все равно: ему кажется, что она никѣмъ не дорожитъ и никого не любитъ. Но въ то-же мгновеніе онъ видитъ Софью, вышедшую къ Молчалину на свиданіе... Онъ видитъ ея идола, выбѣжавшаго къ

горничной, и оба — и Софья, и Чацкій наблюдаютъ наконецъ во-очію измѣну Молчалина и всю низость его души. Даже Лиза поражена этою низостью: «И вамъ не совѣстно?» спрашиваетъ она. На это Молчалинъ высказываетъ символъ свой вѣры:

„Мнѣ завѣщалъ отецъ:
Во-первыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятья,
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Начальнику, съ кѣмъ буду я служить,
Слугѣ его, который чиститъ платье,
Швейцару, дворнику, для избѣжанья зла,
Собакѣ дворника, чтобъ ласкова была...
. . . . . .
И вотъ любовника я принимаю видъ
Въ угодность дочери такого человѣка...“

«Который, подхватываетъ Лиза, — кормитъ и поитъ, а иногда и чиномъ наградитъ?»

Чацкій имѣетъ злое утѣшеніе, видя, какъ жестоко наказана Софья, но въ довершеніе драмы ему остается узнать, что это она именно разславила его сумасшедшимъ и вооружила общество на него. Страданье ревности и обиды углубляется жгучей болью оскорбленнаго самолюбія:

„Вотъ я пожертвованъ кому!“

Пылкая любовь, свѣтлый умъ, честныя убѣжденія, благородство души — отвергнуты, а счастье достается хаму, готовому пресмыкаться предъ собакой дворника. Несправедливость судьбы уже слишкомъ безжалостна — и Чацкій изнемогаетъ. Только-что вернувшійся на родину—онъ опять спасается отъ нея, бѣжитъ «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ».

Такова художественная ткань драмы: основной узоръ ея состоитъ изъ терній общественной несправедливости, перевитыхъ розами и шипами отвергнутой любви.

IX.

Въ чемъ-же идея «Горя отъ ума»? Что такое Чацкій? Въ названіи пьесы авторъ подсказалъ ея общій

смыслъ: это горе умнаго человѣка среди глупыхъ. Въ письмѣ къ Катенину онъ говоритъ, что въ его комедіи «25 глупцовъ на одного здравомыслящаго человѣка». Суть пьесы въ томъ, что «дѣвушка сама не глупая предпочитаетъ дурака умному человѣку, и этотъ человѣкъ разумѣется, въ противорѣчіи съ обществомъ, его окружающимъ» и пр. Итакъ, основная черта Чацкаго *ума*. Но уже самые ранніе критики были смущены двумя обстоятельствами: тѣмъ, что въ поведеніи Чацкаго много безразсудства, и что въ дѣйствіяхъ остальныхъ лицъ не видно особенной глупости. Характеренъ отзывъ Пушкина: «Вопросъ: въ «Комедіи «Горе отъ ума» кто умное дѣйствующее лицо? Отвѣтъ — Грибоѣдовъ. Чацкій — пылкій, благородный и добрый малый, проведшій нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ (именно Грибоѣдовымъ) и напитавшійся его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями. Все, что говоритъ онъ, очень умно. Почему онъ говоритъ все это Фамусову? Скалозубу? На балѣ московскимъ бабушкамъ? Молчалину? Это непростительно. Первый признакъ умнаго человѣка—съ перваго взгляда знать, съ кѣмъ имѣешь дѣло, и не метать бисера передъ Репетиловыми». Въ томъ-же духѣ говорятъ М. Дмитріевъ, князь Вяземскій и др., но особенно рѣзко отнесся къ Чацкому Бѣлинскій. «Что за глубокій человѣкъ этотъ Чацкій? Это просто крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говоритъ. Неужели войти въ общество и начать всѣхъ ругать дураками и скотами — значитъ быть глубокимъ человѣкомъ?... Это Донъ-Кихотъ, мальчикъ на палочкѣ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на лошади» и пр. Гоголь тоже былъ недоволенъ и комедіей, и Чацкимъ: онъ находилъ, что въ лицахъ пьесы нѣтъ «прямо-русскаго типа, не слышно русскаго гражданина», и что «Чацкій показываетъ только стремленіе чѣмъ-то сдѣлаться». Го-

рячо защищаютъ Чацкаго Аполлонъ Григорьевъ, * Гончаровъ и г. Суворинъ, доказывающіе умъ Чацкаго и полную цѣлесообразность его поведенія. Григорьевъ считаетъ Чацкаго «единственнымъ истинно-героическимъ лицомъ нашей литературы», доказываетъ, что онъ вовсе и не былъ свѣтскимъ человѣкомъ, какимъ его разсматривалъ Пушкинъ и пр. Гончаровъ въ превосходной своей статьѣ «Милліонъ терзаній» утверждаетъ, что «Чацкій нетолько умнѣе всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно уменъ. Рѣчь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ» и пр. Г. Суворинъ подвергаетъ тщательному разбору отзывы критиковъ, отказывавшихъ Чацкому въ умѣ, и указываетъ ихъ шаткость. Въ итогѣ этихъ многочисленныхъ разнорѣчій получается, однако, какое-то недоумѣніе. «Всѣ лица комедіи, говоритъ Гончаровъ, врѣзались въ память такъ-же твердо, какъ короли, валеты и дамы въ картахъ, и у всѣхъ сложилось болѣе или менѣе согласное понятіе о всѣхъ лицахъ, кромѣ одного— Чацкаго. Только о Чацкомъ многіе недоумѣваютъ: что онъ такое? Онъ какъ-будто пятьдесятъ-третья какая-то загадочная карта въ колодѣ». И Гончаровъ предсказываетъ, что разнорѣчія о Чацкомъ не кончатся еще долго.

Мнѣ кажется однако, кромѣ двухъ точекъ зрѣнія— уменъ Чацкій или не уменъ—возможна третья точка, съ которой всѣ разнорѣчія примиряются. Нельзя отрицать въ Чацкомъ живого ума, пылкости, вдохновенія, благородства, но нельзя также отвергать его неразсудительности, безтактности и крайней рѣзкости. Онъ уменъ и безразсуденъ; въ полетѣ мысли онъ прекрасенъ, въ системѣ дѣйствій страненъ. Что-же это за натура?

---

* Прекрасныя страницы котораго о «Горѣ отъ ума» (см. «Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина») почему-то не были замѣчены г. А. Суворинымъ, авторомъ весьма обстоятельнаго очерка «Горе отъ ума и его критики».

X.

Я назвалъ-бы натуру Чацкаго *геніальною*: такъ характерны ея достоинства и недостатки. Только геніальный человѣкъ могъ вести себя въ житейской драмѣ такъ неразсчетливо, въ явный вредъ себѣ, отстаивая въ каждое мгновеніе только мысль свою. Вспомните, что Чацкій, какъ и всѣ лица «Горя отъ ума», представляетъ *портретъ* живого человѣка (какъ Грибоѣдовъ самъ заявлялъ въ письмѣ къ Катенину). И вспомните, съ *кого* списанъ Чацкій. По отзыву большинства современниковъ Грибоѣдова и между прочимъ А. С. Пушкина, Чацкій — портретъ Чаадаева, а Чаадаевъ былъ несомнѣнно натурою геніальной. Онъ не оставилъ вещей достойныхъ своего генія, однако, то, что осталось, свидѣтельствуетъ объ огромномъ и оригинальномъ умѣ и замѣчательномъ благородствѣ. Пушкинъ зналъ толкъ въ людяхъ, и именно о Чаадаевѣ писалъ:

«Онъ въ Римѣ былъ-бы Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесъ,
У насъ онъ — офицеръ гусарскій».

Нѣкоторые критики (г. Веселовскій) утверждаютъ, что Чацкій—точнѣйшій портретъ самого Грибоѣдова, который писалъ съ самого себя. Если и такъ, то это портретъ геніальнаго человѣка. Но если-бы и не было этихъ важныхъ свидѣтельствъ, достаточно было-бы только вглядѣться въ Чацкаго, чтобы признать въ немъ крайне-характерный психологическій типъ *геніальной* натуры. Этотъ типъ рѣзко отличается отъ типа просто *умнаго* человѣка, и главное отличіе въ томъ, что геній часто безразсуденъ. Припомните въ исторіи умнаго человѣка и сравните его съ геніальнымъ—напр. Ивана III съ Петромъ Великимъ. Всегда сдержанный, ясный, трезвый, расчетливый, холодный, Иванъ не былъ способенъ на вдохновеніе Петра, на его творчество, но и не былъ способенъ на многочисленныя сумасбродства геніальнаго царя. Иванъ III не завоевалъ

устьевъ Невы, не открылъ окна въ Европу, но онъ низачто не попался-бы въ ловушку вродѣ Прутскаго похода, не скомпрометировалъ-бы себя дерзкимъ нарушеніемъ обычаевъ и личною крайнею невоздержностью. Геніальные люди сродни помѣшаннымъ: это наблюденіе древнее, лишь возобновленное въ послѣднее время. Вспомните нашихъ геніальныхъ людей—Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова, Достоевскаго и др. Всѣ они были безразсудны въ жизни, какъ Чацкій, всѣ увлекались какими-то завиральными (на взглядъ толпы) идеями, не умѣли «устроиться» и ужь если попадали въ трагическое положеніе, то и гибли, ни на минуту, какъ и Чацкій, не желая поступиться своимъ убѣжденіемъ. Умный человѣкъ хитеръ, геній простодушенъ: онъ хитеръ и остороженъ только у себя, въ области творческой,—въ житейскомъ дѣлѣ онъ безпеченъ. Будь Чацкій только уменъ, онъ, замѣтивъ охлажденіе Софьи, повелъ-бы искусную интригу, подружился-бы съ Молчалинымъ, Фамусовымъ, привлекъ-бы къ себѣ довѣріе Софьи, умненько оклеветалъ-бы или разоблачилъ Молчалина, — словомъ, разыгралъ-бы планъ борьбы и непремѣнно остался-бы побѣдителемъ. Былъ-бы «московскій житель и женатъ», пользовался-бы всѣми выгодами своего положенія, какъ его другъ, несомнѣнно умный Платонъ Михайловичъ Горичевъ, или Фамусовъ, или старуха Хлестова. Всѣ эти «глупцы» по своему очень умны. У нихъ другое міросозерцаніе, другая вѣра; они невѣжественны, но разсудокъ сквозитъ у нихъ изъ каждаго слова. Отъ ума, я думаю, горя не бываетъ, умъ покладливъ и по самой сущности своей есть приспособленіе. У насъ въ народѣ самые умные люди—кулаки, и бываютъ времена, когда «умный человѣкъ не можетъ быть не плутъ». Не то геній, неспособный по сущности своей на уступки. Умъ есть пассивное сознаніе, геній—активное. Идея въ обыкновенномъ умѣ—холодное отвлеченіе, въ геніальномъ—это страстное чувство, требующее исхода. Казалось-бы,

«не велика услуга» со стороны Чацкаго помолчать при Скалозубѣ, но геніальному человѣку нестерпимо таить въ себѣ мысль: она въ немъ рвется и трепещетъ какъ птица въ клѣткѣ. Геній—внѣ мысли — существо часто жалкое; «изъ дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ». Иногда геній «озаряетъ голову безумца, гуляки празднаго» — вспомните пушкинскаго Моцарта. Вотъ психологическій портретъ великаго человѣка, удивительно схваченный. Посмотрите, какъ Моцартъ простодушенъ, довѣрчивъ, безпеченъ, какъ онъ странно ведетъ себя (на взглядъ умнаго Сальери). Его посѣтило вдохновеніе, чудная мысль,—но онъ идетъ около трактира и видитъ слѣпого скрипача. Онъ останавливается, хохочетъ, ведетъ скрипача къ Сальери. Умный другъ возмущается: «Ты, Моцартъ, недостоинъ самъ себя!» Совершенно такъ-же простодушенъ и страненъ Чацкій: «Кто такъ *чувствителенъ*, и веселъ и остеръ», какъ онъ? Но бываютъ времена, что онъ «Молчалина глупѣе». Онъ вовсе не золъ: «ужель слова мои всѣ колки и клонятся къ чьему-нибудь вреду?» удивляется онъ: «я въ чудакахъ иному чуду разъ посмѣюсь, потомъ забуду; велите-жь мнѣ въ огонь—пойду какъ на обѣдъ». Правда, Чацкій—«франтъ», «отъявленъ мотомъ, сорванцомъ», онъ увлекался когда-то военнымъ мундиромъ — все это черты характера Лермонтовскаго, Пушкинскаго, Грибоѣдовскаго,—Байроновскаго говоря вообще. Но Чацкій возмущается, когда его считаютъ только свѣтскимъ острякомъ:

„Ахъ, Боже мой! Неужли я изъ тѣхъ,
Которымъ цѣль всей жизни смѣхъ?
Мнѣ весело, когда смѣшныхъ встрѣчаю,
А чаще съ ними я скучаю»

говоритъ онъ Софьѣ, а скрытую суть души своей высказываетъ въ знаменитой схваткѣ съ Фамусовымъ:

Пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,

Не требуя ни мѣстъ, ни повышенья въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ *умъ, алчущій познаній*,
Или въ душѣ его самъ Богъ возбудитъ *жаръ*
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ,
Они тотчасъ: разбой! пожаръ!
И прослывешь у нихъ мечтателемъ опаснымъ.

Таковъ Чацкій: основная его природа нетолько умъ, но умъ страстный, алчущій, и жаръ къ искусствамъ творческимъ — черты генія. Свойства генія — искренность, пылкость, благородство, и ими щедро одѣленъ Чацкій. «Есть-ли въ немъ, говоритъ онъ о Молчалинѣ,—та страсть, то чувство, пылкость та, чтобъ кромѣ васъ ему міръ цѣлый казался прахъ и суета?» *Нравственное благородство* — существеннѣйшій признакъ геніальнаго темперамента: «Геній и злодѣйство двѣ вещи несовмѣстныя». Подлымъ можетъ быть умъ, но не геній. И въ этомъ отношеніи Чацкій безупреченъ: въ его благородствѣ согласны всѣ критики, и оно вѣетъ изъ каждаго его движенія. Геніальная душа *чувствуется*: если Чацкій не сыплетъ глубокими афоризмами, не говоритъ философскихъ монологовъ, это еще не значитъ, что у него обыкновенный умъ. Въ условіяхъ Чацкаго и геніальный умъ — поставьте Пушкина — ничего не сказалъ-бы умнѣе. На мелкую интригу Чацкій отвѣчаетъ блестящими и мѣткими выраженіями; монологи его изящны и оригинальны. А главное, этотъ умъ такъ пылокъ и блестящъ, что не сомнѣваешься въ его энергіи, хотя-бы онъ ее предъ вами не проявлялъ: достаточно взглянуть на атлета, чтобы повѣрить его силѣ.

XI.

Суть драмы Грибоѣдова—появленіе въ русскомъ обществѣ не просто *умной*, а *геніальной* натуры, и «милліонъ терзаній», встрѣчающій ее въ родной средѣ. Умный человѣкъ въ Россіи благоденствуетъ,—страдаетъ и гибнетъ геній. Развѣ въ Чацкомъ не предсказана печаль-

ная судьба нашихъ великихъ талантовъ—Пушкина, Лермонтова и самого Грибоѣдова? Развѣ всѣ они не были загнаны современнымъ обществомъ въ безвыходную драму и не пали въ началѣ или расцвѣтѣ жизни? Вѣдь «преждевременно» оканчивать дни свои—исключительная, такъ-сказать, національная особенность русскихъ выдающихся людей, за рѣдкими исключеніями тѣхъ, кто спасался бѣгствомъ (Тургеневъ—заграницу, Толстой—въ деревню, Гончаровъ—въ отшельничество на Моховой). Вспомните время Чацкаго и послѣдующія времена: какимъ морозомъ вѣяла жизнь на молодые всходы мысли, какъ исчезали изъ общества благороднѣйшіе мечтатели, «опасные», какъ оказалось, только для самихъ себя. Чацкій—это оскорбленный геній русскаго общества, это лицо огромное, собирательное, подъ которымъ скрывается молодая наша умственная аристократія. Въ полупросвѣщенномъ и безнравственномъ нашемъ обществѣ, со времени сближенія съ Европой, народилась разсѣянная группа людей гуманныхъ и алчущихъ правды, въ этой группѣ встрѣчаются и представители высшей знати, и скромные сельскіе «интеллигенты»; всѣ они погружены въ грубой и косной средѣ, еще хранящей «подлѣйшія черты» недавняго рабства. Вся эта группа одинокихъ мечтателей, гуманистовъ, народолюбцевъ обречена на милліонъ нравственныхъ терзаній, на вседневное «оскорбленное чувство». Чацкій бѣжалъ, но куда бѣжать благородному поколѣнію, пришедшему въ суровые историческіе дни?

Драма «Горе отъ ума»—самая великая наша драма; Чацкій—самый героическій и свѣтлый типъ въ нашей литературѣ. Одного его можно поставить на ряду съ міровыми типами Гамлета, короля Лира, маркиза Позы, Фауста. Особенно онъ близокъ къ Гамлету. Вспомните судьбу задумчиваго датскаго принца. Несчастіе его, какъ и Чацкаго,—было родиться съ возвышенной душой въ вѣкъ грубый, въ обществѣ низкомъ и растлѣнномъ. Окружен-

ный злодѣйствомъ, Гамлетъ тщетно ищетъ въ душѣ своей столь-же слѣпой злобы: онъ слишкомъ великъ, чтобы биться равнымъ оружіемъ, и его геній составляетъ его несчастіе. Такихъ людей, какъ Гамлетъ и Чацкій, объявляютъ безумными—съ ихъ вдохновеніемъ, съ ихъ глубокою и нѣжною душой! Имъ объявляютъ войну, и они изнемогаютъ въ борьбѣ съ обступившею ихъ тьмою...

М. Меньшиковъ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

Хозяинъ и работникъ.

Графа Л. Н. Толстого.

Графъ Л. Н. Толстой украсилъ русскую художественную литературу новымъ сокровищемъ,—появившимся въ мартовской книжкѣ «Сѣвернаго Вѣстника» разсказомъ «Хозяинъ и работникъ». Перепечатываемъ этотъ замѣчательный разсказъ цѣликомъ, какъ въ интересахъ распространенія произведенія Л. Н., такъ и въ интересахъ нашихъ читателей, на которыхъ разсказъ произведетъ, конечно, глубокое и благотворное впечатлѣніе.

I.

Это было въ 70-хъ годахъ, на другой день послѣ зимняго Николы. Въ приходѣ былъ праздникъ, и деревенскому дворнику, купцу 2-й гильдіи Василію Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться, надо было быть въ церкви,—онъ былъ церковный староста,—и дома надо было принять и угостить родныхъ и знакомыхъ. Но вотъ послѣдніе гости уѣхали, и Василій Андреичъ сталъ собираться тотчасъ-же уѣхать къ сосѣднему помѣщику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василій Андреичъ торопился ѣхать, чтобы городскіе купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помѣщикъ просилъ за рощу десять тысячъ только потому, что Василій Андреичъ давалъ за нее семь. Семь-же тысячъ составляли только одну треть

настоящей стоимости рощи. Василій Андреичъ, можетъ быть, выторговалъ-бы и еще, такъ-какъ лѣсъ находился въ его округѣ и между нимъ и деревенскими уѣздными купцами ужъ давно былъ установленъ порядокъ, по которому одинъ купецъ не повышалъ цѣны въ округѣ другого, но Василій Андреичъ узналъ, что губернскіе лѣсоторговцы хотѣли ѣхать торговать Горячкинскую рощу, и онъ рѣшилъ тотчасъ-же ѣхать и покончить дѣло съ помѣщикомъ. И потому, какъ только отошолъ праздникъ, онъ досталъ изъ сундука свои 700 рублей, добавилъ къ нимъ находящіеся у него церковныхъ 2,300, такъ-чтобы составилось 3,000 рублей, и, старательно перечтя ихъ и уложивъ ихъ въ бумажникъ, собрался ѣхать.

Работникъ Никита, одинъ въ этотъ день не пьяный изъ работниковъ Василія Андреича, побѣжалъ запрягать. Никита не былъ пьянъ въ этотъ день потому, что онъ былъ пьяница, и теперь, съ заговѣнъ, во время которыхъ онъ пропилъ съ себя поддевку и кожаные сапоги, онъ зарекся пить и не пилъ второй мѣсяцъ; не пилъ и теперь, несмотря на соблазнъ вездѣ распиваемаго вина въ первые два дня праздника.

Никита былъ 50-ти-лѣтній мужикъ изъ ближней деревни, не-хозяинъ, какъ про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а въ людяхъ. Вездѣ его цѣнили за его трудолюбіе, ловкость и силу въ работѣ, главное—за добрый, пріятный характеръ; но нигдѣ онъ не уживался, потому-что раза два въ годъ, а то и чаще, запивалъ и тогда, кромѣ того что пропивалъ все съ себя, становился еще буенъ и придирчивъ. Василій Андреичъ тоже нѣсколько разъ прогонялъ его, но потомъ опять бралъ, дорожа его честностью, любовью къ животнымъ и, главное, дешевизной. Василій Андреичъ платилъ Никитѣ не 80 руб., сколько стоилъ такой работникъ, а рублей 40, которые выдавалъ ему безъ разсчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цѣнѣ товаромъ изъ лавки.

Жена Никиты, Мареа, когда-то бывшая красивой, бойкая баба, хозяйничала дома съ подросткомъ малымъ и двумя дѣвками; и не звала Никиту жить домой, во-первыхъ потому, что уже лѣтъ 20 жила съ бондаремъ, мужикомъ изъ чужой деревни, который стоялъ у нихъ въ домѣ; а во-вторыхъ потому, что хотя она и помыкала

мужемъ какъ хотѣла, когда онъ былъ трезвъ, она боялась его какъ огня, когда онъ напивался. Одинъ разъ, напившись пьянъ дома, Никита, вѣроятно, чтобы вымстить женѣ за все свое трезвое смиренство, взломалъ ея сундукъ, досталъ самые драгоцѣнные ея наряды и, взявъ топоръ, на обрубкѣ изрубилъ въ мелкую окрошку всѣ ея сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалованье все отдавалось его женѣ, и Никита не противорѣчилъ этому. Такъ и теперь, за два дня до праздника, Марѳа пріѣзжала къ Василію Андреичу и забрала у него бѣлой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это какъ за особую милость, тогда-какъ, по самой дешевой цѣнѣ, за Василіемъ Андреичемъ было рублей 20.

— Мы развѣ съ тобой уговоры какіе дѣлали? говорилъ Василій Андреичъ Никитѣ.—Нужно — бери, заживешь. У меня не какъ у людей: подожди, да разсчеты, да штрафы. Мы—по чести. Ты мнѣ служишь, и я тебя не оставляю. Тебѣ нужда,—я вызволю.—И говоря все это, Василій Андреичъ былъ искренно увѣренъ, что онъ благодѣтельствуетъ Никитѣ: такъ убѣдительно онъ умѣлъ говорить, и такъ всѣ, начиная съ Никиты, поддакивали ему въ этомъ убѣжденіи.

— Да я понимаю, Василій Андреичъ, кажется служу, стараюсь какъ отцу родному, я очень хорошо понимаю, отвѣчалъ Никита, очень хорошо понимая, что Василій Андреичъ обманываетъ его, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя, что нечего и пытаться разъяснять съ нимъ свои разсчеты, а надо жить, пока нѣтъ другого мѣста, и брать что даютъ.

Теперь, получивъ приказаніе хозяина запрягать, Никита, какъ всегда, весело и охотно, бодрымъ и легкимъ шагомъ своихъ гусемъ шагающихъ ногъ, пошолъ въ сарай, снялъ тамъ съ гвоздя тяжелую, ременную съ кистью узду и, погромыхивая баранчиками удилъ, пошолъ къ затворенному хлѣву, въ которомъ отдѣльно стояла та лошадь, которую велѣлъ запрягать Василій Андреичъ.

— Что, соскучился, соскучился, дурачокъ? говорилъ Никита, отвѣчая на слабое привѣтственное ржанье, съ которымъ встрѣтилъ его средняго роста ладный, нѣсколько вислозадый, караковый, мухортый жеребецъ, стоявшій одинъ въ хлѣвушкѣ.—Но, но! Поспѣешь, дай прежде напою, дурашка, говорилъ онъ съ лошадью совершенно

такъ, какъ говорятъ съ понимающими слова существами, и обмахнувъ полой жирную съ желобкомъ посрединѣ, разъѣденную и засыпанную пылью спину, надѣлъ на красивую молодую голову жеребца узду, выпросталъ ему уши и чолку и, скинувъ оброть, повелъ поить. Осторожно выбравшись изъ высоко занавоженнаго хлѣва, Мухортый заигралъ и взбрыкнулъ, притворяясь, что хочетъ задней ногой ударить рысью бѣжавшаго съ нимъ къ колодцу Никиту.

— Балуй, балуй, шельмецъ! приговаривалъ Никита, знавшій ту осторожность, съ которой Мухортый вскидывалъ задней ногой только такъ, чтобы коснуться его полушубка, но не ударить, и особенно любившій эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь постояла, вздохнула, пошевеливая мокрыми крѣпкими губами, съ которыхъ капали съ усовъ въ корыто прозрачныя капли, и фыркнула.

— Не хочешь, не надо, такъ и знать будемъ; ужь больше не проси, сказалъ Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведеніе Мухортому; и опять побѣжалъ къ сараю, подергивая за поводъ взбрыкивающую и на весь дворъ потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работниковъ никого не было, былъ только одинъ чужой, пришедшій на праздникъ кухаркинъ мужъ.

— Поди спроси, душа милая, сказалъ Никита ему,— какія сани велитъ запрягать, пошевни, али махонькія?

Кухаркинъ мужъ пошолъ въ домъ и скоро вернулся съ извѣстіемъ, что велѣно впрягать махонькія. Никита въ это время уже надѣлъ хомутъ, подвязалъ сѣделку обитую гвоздиками и, въ одной рукѣ неся легкую крашеную дугу, другой ведя лошадь, подходилъ къ двумъ стоявшимъ подъ сараемъ санямъ.—Въ махонькія, такъ въ махонькія,—сказалъ онъ и ввелъ въ оглобли все время притворявшуюся, что она хочетъ кусать его, умную лошадь, и съ помощью кухаркина мужа сталъ запрягать.

Когда все было почти готово и оставалось только завозжать, Никита послалъ кухаркина мужа въ сарай за соломой и въ амбаръ за веретьемъ.

— Вотъ и ладно. Но, но, не топырься! говорилъ Никита, уминая въ саняхъ принесенную кухаркинымъ мужемъ свѣже-обмолоченную овсяную солому.—А теперь

вотъ давай дерюжку такъ постелимъ, а сверху веретье. Вотъ такъ-то, вотъ такъ-то и хорошо будетъ сидѣть,— говорилъ онъ, дѣлая то, что говорилъ, подтыкая веретье сверхъ соломы со всѣхъ сторонъ вокругъ сидѣнья.

— Вотъ, спасибо, душа милая, сказалъ Никита кухаркину мужу,—вдвоемъ все скорѣе.—И, разобравъ ременныя съ кольцомъ на соединенномъ концѣ вожжи, Никита присѣлъ на облучокъ и тронулъ просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора къ воротамъ.

— Дядя Микитъ, дядюшка, а дядюшка! закричалъ сзади его, хлопнувъ щеколдой, торопливо выбѣжавшій изъ сѣней на дворъ семилѣтній мальчикъ въ черномъ полушубочкѣ, новыхъ бѣлыхъ валенкахъ и теплой шапкѣ.— Меня посади! тоненькимъ голоскомъ просилъ онъ, на ходу застегивая свой полушубочекъ.

— Ну, ну, бѣги, голубокъ,—сказалъ Никита и, остановивъ, посадилъ просіявшаго отъ радости хозяйскаго мальчика и выѣхалъ на улицу.

Былъ часъ третій. Было морозно—градусовъ 10, пасмурно и вѣтрено. Но на дворѣ казалось тихо. На улицѣ-же дулъ сильный вѣтеръ: съ крыши сосѣдняго сарая мело снѣгъ, и на углу у бани крутило. Едва только Никита выѣхалъ и завернулъ лошадь къ крыльцу, какъ и Василій Андреичъ, съ папироской во рту, въ крытомъ овчинномъ тулупѣ, туго и низко подпоясанный кушакомъ, вышелъ изъ сѣней на повизгивающее подъ его валенками утоптанное снѣгомъ крыльцо и остановился, заправляя съ обѣихъ сторонъ своего румянаго, бритаго кромѣ усовъ, лица, углы воротника тулупа мѣхомъ внутрь, такъ, чтобы мѣхъ не потѣлъ отъ дыханья.

— Вишь ты, прокуратъ какой, поспѣлъ ужь, сказалъ онъ, увидавъ сынишку въ саняхъ и оскаливая свои бѣлые зубы. Василій Андреичъ былъ возбужденъ выпитымъ съ гостями виномъ, и потому еще болѣе, чѣмъ обыкновенно, доволенъ всѣмъ тѣмъ, что̀ ему принадлежало, и всѣмъ тѣмъ, что̀ онъ дѣлалъ. Закутанная по головѣ и плечамъ шерстянымъ платкомъ, такъ-что только глаза ея были видны, беременная, блѣдная и худая жена Василія Андреича, провожая его, стояла за нимъ въ сѣняхъ.

— Право, Никиту-бы взялъ, говорила она, робко выступая изъ-за двери. Василій Андреичъ ничего не отвѣчалъ и только плюнулъ.—Съ деньгами поѣдешь, про-

должала тѣмъ-же жалобнымъ голосомъ жена.—Да и погода не поднялась-бы. Право, ей-Богу.

— Что-жь я, иль дороги не знаю, что мнѣ безпремѣнно провожатаго нужно? проговорилъ Василій Андреичъ съ тѣмъ особеннымъ неестественнымъ напряженіемъ губъ, съ которымъ онъ обыкновенно говорилъ съ продавцами и покупателями, очевидно любуясь своей рѣчью.

— Ну право, взялъ-бы. Богомъ тебя прошу! повторяла жена, перекутывая платокъ на другую сторону.

— Вотъ, какъ банный листъ пристала... Ну куда я его возьму?

— Что-же, Василій Андреичъ, я готовъ, весело сказалъ Никита. — Только лошадямъ корма-бы безъ меня дали, прибавилъ онъ, обращаясь къ хозяйкѣ.

— Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, сказала хозяйка.

— Такъ что-же, ѣхать, что-ли, Василій Андреичъ? сказалъ Никита, ожидая.

— Да ужь видно, уважить старуху. Только коли ѣхать, поди одѣнь дипломатъ какой потеплѣе, выговорилъ Василій Андреичъ, опять улыбаясь и подмигивая глазомъ на прорванный подъ мышками и въ спинѣ и въ подолѣ бахрамой разорванный, засаленный и свалявшійся, всего видавшій полушубокъ Никиты.

— Эй, душа милая, выдь, подержи лошадь, крикнулъ Никита во дворъ кухаркиному мужу.

— Я самъ, я подержу! сказалъ мальчикъ, вынимая зазябшія, красныя рученки изъ кармановъ и хватаясь ими за холодныя ременныя вожжи.

— Только небольно охорашивай дипломатъ-то свой, поживѣй! крикнулъ Василій Андреичъ, зубоскаля на Никиту.

— Однимъ пыхомъ, батюшка, Василій Андреичъ, проговорилъ Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими подшитыми засалившимися валенками, побѣжалъ во дворъ и въ рабочую избу.

— Ну-ка, Аринушка, халатъ давай мой съ печи, съ хозяиномъ ѣхать! проговорилъ Никита, вбѣгая въ избу и снимая кушакъ съ гвоздя.

Работница, выспавшаяся послѣ обѣда и теперь ставившая самоваръ для мужа, весело встрѣтила Никиту и, зараженная его поспѣшностью, такъ-же какъ онъ быстро

зашевелилась и достала съ печи сушившійся тамъ, плохенькій, проношенный суконный кафтанъ и отряхивала и разминала его.

— То-то тебѣ съ хозяиномъ просторно гулять будетъ, сказалъ Никита кухаркѣ, всегда изъ добродушной учтивости что-нибудь да говорившій человѣку, когда оставался съ нимъ съ глаза на глазъ. И обведя вокругъ себя узенькій свалявшійся кушачекъ, онъ втянулъ въ себя и такъ тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

— Вотъ такъ-то, сказалъ онъ послѣ этого, обращаясь уже не къ кухаркѣ, а къ кушаку, засовывая его концы за поясъ.—Такъ не выскочишь! И приподнявъ и опустивъ плечи, чтобы была развязность въ рукахъ, онъ надѣлъ сверху халатъ, тоже напружилъ спину, чтобы рукамъ вольно было, подбилъ подъ мышками и досталъ съ полки рукавицы.—Ну. вотъ и ладно.

— Ты-бы, Степанычъ, ноги-то переобулъ, сказала кухарка,—а то сапоги худые.

Никита остановился, какъ-бы вспомнивъ.

— Надо-бы... Ну, да сойдетъ и такъ, недалече!

И онъ побѣжалъ на дворъ.

— Не холодно тебѣ будетъ, Никитушка? сказала хозяйка, когда онъ подошолъ къ санямъ.

— Чего холодно, тепло вовсе, отвѣчалъ Никита, оправляя солому въ головашкахъ саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнутъ подъ солому.

Василій Андреичъ уже сидѣлъ въ саняхъ, наполняя своей одѣтою въ двухъ шубахъ спиною почти весь гнутый задокъ саней, и тотчасъ-же, взявъ вожжи, тронулъ лошадь. Никита на-ходу примостился спереди съ лѣвой стороны и высунулъ одну ногу.

II.

Добрый жеребецъ, съ легкимъ скрипомъ полозьевъ, сдвинулъ санки и бойкой ходою тронулся по накатанной въ поселкѣ морозной дорогѣ.

— Ты куда прицѣпился? Дай сюда кнутъ, Микита, крикнулъ Василій Андреичъ, очевидно радуясь на сына, который примостился-было сзади на полозьяхъ.—Я тебя! Бѣги къ мамашѣ, сукинъ сынъ.

Мальчикъ соскочилъ. Мухортый прибавилъ иноходи и заекавъ перешолъ на рысь.

Кресты, въ которыхъ стоялъ домъ Василія Андреича, состояли изъ шести домовъ. Какъ только они выѣхали за послѣднюю кузнецову избу, они тотчасъ-же почувствовали, что вѣтеръ гораздо сильнѣе, чѣмъ они думали. Дороги уже почти не видно было. Слѣдъ полозьевъ тотчасъ-же заметало, и дорогу можно было отличать только потому, что она была выше остального мѣста. По всему полю курило, и совсѣмъ не видно было той черты, гдѣ земля сходится съ небомъ. Телятинскій лѣсъ, всегда хорошо видный, смутно чернѣлъ черезъ снѣжную пыль. Вѣтеръ дулъ съ лѣвой стороны, заворачивая упорно въ одну сторону гриву на крутой наѣденной шеѣ Мухортаго, сворачивалъ на бокъ даже его подвязанный хвостъ и прижималъ длинный воротникъ халата Никиты, сидѣвшаго со стороны вѣтра, къ его лицу и носу.

— Бѣгу ей настоящаго нѣтъ, снѣжно, сказалъ Василій Андреичъ, гордясь своей хорошей лошадью.—Я разъ въ Пашутино ѣздилъ на немъ-же, такъ онъ въ полчаса доставилъ.

— Чаго?

— Въ Пашутино, говорю, въ полчаса доѣхалъ.

— Что и говорить, лошадь добрая! сказалъ Никита.

Они помолчали. Но Василію Андреичу хотѣлось говорить.

— Что-жь, хозяйкѣ-то, я чай, наказывалъ бондаря не поить? сказалъ Василій Андреичъ, столь увѣренный въ томъ, что Никитѣ должно быть лестно поговорить съ такимъ значительнымъ и умнымъ человѣкомъ, какъ онъ, и столь довольный своей шуткой, что ему и въ голову не приходило, что разговоръ этотъ можетъ быть непріятенъ Никитѣ.

Никита опять не разслышалъ относимый вѣтромъ звукъ словъ хозяина.

Василій Андреичъ повторилъ своимъ громкимъ, отчетливымъ голосомъ свою шутку о бондарѣ.

— Богъ съ ними, Василій Андреичъ, я не вникаю въ эти дѣла. Мнѣ чтобы малаго она не обижала, а то Богъ съ ней.

— Это такъ, сказалъ Василій Андреичъ. — Ну, а что-жь, лошадь-то будешь покупать къ веснѣ? началъ онъ новый предметъ разговора.

— Да не миновать, отвѣчалъ Никита, отворотивъ воротникъ кафтана и перегнувшись къ хозяину.

Теперь ужъ разговоръ былъ интересенъ Никитѣ, и онъ желалъ все слышать.

— Малый возросъ, надо самому пахать, и то все наймали, сказалъ онъ.

— Что-же, берите безкостречнаго, дорого не положу, прокричалъ Василій Андреичъ, чувствуя себя возбужденнымъ и вслѣдствіе этого нападая на любимое, поглощавшее всѣ его силы, занятіе,—барышничество.

— А то рубликовъ пятнадцать дадите, я на конной куплю, сказалъ Никита, знавшій, что красная цѣна безкостречному, котораго хочетъ ему сбыть Василій Андреичъ, рублей семь, а что Василій Андреичъ, отдавъ ему эту лошадь, будетъ считать ее рублей въ двадцать-пять, и тогда за полгода не увидишь отъ него денегъ.

— Лошадь хорошая. Я тебѣ желаю какъ самому себѣ. По совѣсти. Брехуновъ никакого человѣка не обидитъ. Пускай мое пропадаетъ, а не то чтобы какъ другіе. По чести, прокричалъ онъ своимъ тѣмъ голосомъ, которымъ онъ заговаривалъ зубы своимъ продавцамъ и покупателямъ.—Лошадь настоящая.

— Какъ есть, сказалъ Никита, вздохнувъ, и, убѣдившись, что слушать нечего, пустилъ рукой воротникъ, который тотчасъ-же закрылъ ему ухо и лицо.

Съ полчаса они ѣхали молча. Вѣтеръ продувалъ Никитѣ бокъ и руку, гдѣ шуба была прорвана.

Онъ пожимался и дышалъ въ воротникъ, закрывавшій ему ротъ, и этотъ духъ его, ему казалось, согрѣвалъ его.

— Что, какъ думаешь, на Карамышево поѣдемъ, али прямо? спросилъ Василій Андреичъ.

На Карамышево ѣзда была по болѣе бойкой дорогѣ, установленной хорошими вѣшками въ два ряда, но—дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало ѣзжена и вѣшекъ не было, или были плохенькія, занесенныя.

Никита подумалъ немного.

— На Карамышево хоть и подальше, да ѣздовитѣе, проговорилъ онъ.

— Да вѣдь прямо только лощинку проѣхать не сбиться, а тамъ хорошо, сказалъ Василій Андреичъ, которому хотѣлось ѣхать прямо.

— Воля ваша, сказалъ Никита и опять пустилъ воротникъ.

Василій Андреичъ такъ и сдѣлалъ и, отъѣхавъ съ полверсты, у высокой, мотавшейся отъ вѣтра дубовой вѣтки, съ сухими, кой-гдѣ державшимися на ней листьями, свернулъ влѣво.

Вѣтеръ съ поворота сталъ имъ почти встрѣчный. И сверху пошолъ снѣжокъ. Василій Андреичъ правилъ, надувалъ щеки и пускалъ духъ себѣ снизу въ усы. Никита дремалъ.

Они молча проѣхали такъ минутъ десять. Вдругъ Василій Андреичъ заговорилъ что-то.

— Чего? спросилъ Никита, открывая глаза.

Василій Андреичъ не отвѣчалъ, а изгибался, оглядываясь назадъ и впередъ передъ лошадью. Лошадь, закурчавившаяся отъ пота въ пахахъ и на шеѣ, шла шагомъ.

— Чаго ты, говорю? повторилъ Никита.

— Чаго, чаго! передразнилъ его Василій Андреичъ сердито.—Вѣшекъ не видать! Должно сбились!

— Такъ стой-же, я дорогу погляжу, сказалъ Никита и, легко соскочивъ съ саней и доставъ кнутъ изъ-подъ соломы, пошолъ влѣво и съ той стороны, съ которой сидѣлъ.

Снѣгъ въ этомъ году былъ неглубокій, такъ-что вездѣ была дорога, но все-таки кое-гдѣ онъ былъ по колѣно и засыпался Никитѣ въ сапогъ. Никита ходилъ, щупалъ ногами и кнутомъ, но дороги нигдѣ не было.

— Ну что? сказалъ Василій Андреичъ, когда Никита подошолъ опять къ санямъ.

— Съ этой стороны нѣту дороги. Надо въ ту сторону пойти походить.

— Вонъ что-то впереди чернѣетъ, ты туда дойди, погляди, сказалъ Василій Андреичъ.

Никита пошолъ и туда, подошолъ къ тому, что̀ чернѣлось—это чернѣлась земля, насыпавшаяся съ оголенныхъ озимей сверхъ снѣга и окрасившая снѣгъ чернымъ. Походивъ и справа, Никита вернулся къ санямъ, обилъ съ себя снѣгъ, вытряхнулъ его изъ сапога и сѣлъ въ сани.

— Вправо ѣхать надо, сказалъ онъ рѣшительно.— Вѣтеръ мнѣ въ лѣвый бокъ былъ, а теперь прямо въ морду. Пошолъ право! рѣшительно сказалъ онъ.

Василій Андреичъ послушалъ его и взялъ вправо. Но дороги все не было. Они проѣхали такъ нѣсколько времени. Вѣтеръ не уменьшался, и пошолъ снѣжокъ.

— А мы, Василій Андреичъ, видно вовсе сбились, вдругъ сказалъ какъ-будто съ удовольствіемъ Никита.— Это что? сказалъ онъ, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую изъ-подъ снѣга.

Василій Андреичъ остановилъ уже вспотѣвшую и водившую крутыми боками лошадь.—А что? спросилъ онъ.

— А то, что мы на Захарьевскомъ полѣ. Вонъ куда заѣхали!

— Вре! откликнулся Василій Андреичъ, говорившій уже совсѣмъ другимъ чѣмъ дома, простымъ, мужицкимъ голосомъ.

— Не вру я, Василій Андреичъ, а правду говорю, сказалъ Никита.—И по санямъ слышно—по картофелищу ѣдемъ, а вонъ и кучи: ботву свозили. Захарьевское заводское поле.

— Вишь ты куда сбились! сказалъ Василій Андреичъ Какъ-же быть-то?

— А надо прямо брать, вотъ и все, куда-нибудь да выѣдемъ, сказалъ Никита.—Не въ Захаровку, такъ на барскій хуторъ выѣдемъ. Василій Андреичъ послушался и пустилъ лошадь, какъ велѣлъ Никита. Они ѣхали такъ довольно долго. Иногда они выѣзжали на оголенныя зеленя, на которыхъ межи и сугробы были сверхъ снѣга занесены земляною пылью. Иногда въѣзжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которымъ изъ-подъ снѣга виднѣлись мотавшіяся отъ вѣтра полынь и соломинки, иногда въѣзжали въ глубокій и вездѣ одинаково бѣлый ровный снѣгъ, сверхъ котораго уже ничего не было видно. Снѣгъ шолъ и сверху, и поднимался снизу. Иногда казалось, что они ѣдутъ подъ гору, иногда казалось, что на гору, иногда казалось, что они стоятъ на мѣстѣ, а что снѣжное поле бѣжитъ мимо ихъ. Оба молчали. Лошадь очевидно уморилась, вся закурчавилась и заиндивѣла отъ пота и шла шагомъ. Вдругъ она оборвалась и сѣла въ водомоину или въ канаву. Василій Андреичъ хотѣлъ остановить, но Никита закричалъ на него.

— Чего держать! Заѣхали—выѣзжать надо. Но, миленькій! Но! Но, родной! закричалъ онъ веселымъ голосомъ на лошадь, выскакивая изъ саней и самъ увязая въ канавѣ. Лошадь рванулась и тотчасъ-же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

— Гдѣ-же это мы? сказалъ Василій Андреичъ.

— А вотъ узнаемъ! отвѣчалъ Никита.—Трогай знай. Куда-нибудь выѣдемъ.

— А вѣдь это должно Горячкинскій лѣсъ? сказалъ Василій Андреичъ, указывая на что-то черное, показавшееся изъ-за снѣга впереди ихъ.

— Вотъ подъѣдемъ, увидимъ, какой-такой лѣсъ, сказалъ Никита.

Никита видѣлъ, что со стороны чернѣвшагося чего-то неслись сухіе продолговатые листья лозины, и потому зналъ, что это не лѣсъ, а жилье, но не хотѣлъ говорить. И дѣйствительно, не проѣхали они еще и десяти саженей послѣ канавы, какъ передъ ними зачернѣлись очевидно деревья и послышался какой-то новый унылый звукъ. Никита угадалъ вѣрно: это былъ не лѣсъ, а рядъ высокихъ лозинъ, съ кое-гдѣ трепавшимися еще на нихъ листьями. Лозины очевидно были обсажены по канавѣ гумна. Подъѣхавъ къ уныло-гудѣвшимъ на вѣтру лозинамъ, лошадь вдругъ поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними и перестала утопать въ снѣгу по колѣно. Это была дорога.

— Вотъ и пріѣхали, сказалъ Никита,—а не знамо куда.

Лошадь не сбиваясь пошла по занесенной дорогѣ, и не проѣхали они по ней сорока саженей, какъ зачернѣлся плетень риги, съ которой не переставая сыпался снѣгъ. Миновавъ ригу, дорога повернула по вѣтру, и они въѣхали въ сугробъ. Но впереди виднѣлся проулокъ между двумя домами, такъ что, очевидно, сугробъ надуло на дорогѣ и надо было переѣхать его. И дѣйствительно, переѣхавъ сугробъ, они въѣхали въ улицу. У крайняго двора на веревкѣ отчаянно трепалось отъ вѣтра развѣшенное, замерзшее бѣлье: рубахи, одна красная, одна бѣлая, портки, онучи и юбка. Бѣлая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

— Вишь, баба лѣнивая, а либо умираетъ, бѣлье къ празднику не собрала, сказалъ Никита, глядя на мотавшіяся рубахи.

III.

Въ началѣ улицы еще было вѣтрено и дорога была заметена, но въ серединѣ деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба,

закрывшись съ головой поддевкой, прибѣжала откуда-то и зашла въ дверь избы, остановившись на порогѣ, чтобы поглядѣть на проѣзжающихъ. Изъ середины деревни слышались пѣсни дѣвокъ. Въ деревнѣ, казалось, и вѣтра, и снѣга, и мороза было меньше.

— А вѣдь это Гришкино, сказалъ Василій Андреичъ.

— Оно и есть, отвѣчалъ Никита.

И дѣйствительно, это было Гришкино. Выходило такъ, что они сбились влѣво и проѣхали верстъ восемь не совсѣмъ въ томъ направленіи, которое имъ нужно было, но все-таки подвинулись къ мѣсту своего назначенія. До Горячкина отъ Гришкина было верстъ пять.

Въ серединѣ деревни они наткнулись на высокаго человѣка, шедшаго посерединѣ улицы.

— Кто ѣдетъ? крикнулъ этотъ человѣкъ, останавливая лошадь, и тотчасъ-же, узнавъ Василія Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошолъ до саней и сѣлъ на облучекъ.

Это былъ знакомый Василію Андреичу мужикъ Исай, извѣстный въ округѣ за перзаго конокрада.

— А, Василій Андреичъ, куда-же это васъ Богъ несетъ? сказалъ Исай, обдавая Никиту запахомъ выпитой водки.

— Да мы въ Горячкино-было.

— Вона куда заѣхали! Вамъ-бы на Малахово надо.

— Мало что надо. Да не потрафили, сказалъ Василій Андреевичъ, останавливая лошадь.

— Лошадка-то добрая, сказалъ Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычнымъ движеніемъ подъ самую рѣпицу ослабшій узелъ завязаннаго хвоста.

— Что-же, ночевать, что-ли?

— Нѣ, братъ, обязательно ѣхать надо.

— Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степанычъ!

— А то кто-же? отвѣчалъ Никита.—А вотъ, какъ-бы, душа милая, намъ тутъ не сбиться опять.

— Гдѣ-же тутъ сбиться? Поворачивай назадъ по улицѣ прямо, а тамъ, какъ выѣдешь, все прямо. Влѣво не бери. Выѣдешь на большакъ, а тогда влѣво.

— Поворотъ-то съ большака гдѣ—по лѣтнему или по зимнему? спросилъ Никита.

— По зимнему. Сейчасъ, какъ выѣдешь, кустики, насупротивъ кустиковъ еще вѣшка большая, дубовая, кудрявая стоитъ, тутъ и есть.

Василій Андреичъ повернулъ лошадь назадъ и поѣхалъ слободой.

— А то ночевали-бы! прокричалъ имъ сзади Исай. Но Василій Андреичъ не отвѣчалъ ему, потрогивая лошадь:—пять верстъ ровной дороги, изъ которой двѣ были лѣсомъ, казалось легко проѣхать, тѣмъ болѣе, что вѣтеръ какъ-будто затихъ и снѣгъ переставалъ.

Проѣхавъ опять назадъ улицей, по накатанной и чернѣвшей кое-гдѣ свѣжимъ навозомъ дорогѣ, и миновавъ дворъ съ бѣльемъ, у котораго бѣлая рубаха уже сорвалась и висѣла на одномъ мерзломъ рукавѣ, они опять выѣхали къ страшно гудѣвшимъ лозинамъ и опять выѣхали въ открытое поле. Метель нетолько не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вѣшкамъ. Но и вѣшки впереди трудно было разсматривать, потому-что вѣтеръ былъ встрѣчь.

Василій Андреичъ щурился, нагибалъ голову и разглядывалъ вѣшки, но больше пускалъ лошадь, надѣясь на нее. И лошадь дѣйствительно не сбивалась, а шла поворачивая то вправо, то влѣво по извилинамъ дороги, которую она чуяла подъ ногами. Такъ-что, несмотря на то, что снѣгъ сверху усилился и усилился вѣтеръ, вѣшки продолжали быть видны то справа, то слѣва.

Такъ проѣхали они минутъ десять, какъ вдругъ прямо передъ лошадью показалось что-то черное, двигавшееся къ косой сѣткѣ гонимаго вѣтромъ снѣга. Это были попутчики. Мухортый совсѣмъ догналъ ихъ и стукалъ ногами объ кресла впереди ѣдущихъ саней.

— Объѣзжай... а-а-й... передомъ! кричали изъ саней.

Василій Андреичъ сталъ объѣзжать. Въ саняхъ сидѣло три мужика и баба. Очевидно, это ѣхали гости съ праздника. Одинъ мужикъ хлесталъ задъ лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то въ передкѣ. Укутанная баба, засыпанная снѣгомъ, сидѣла смирно, нахохлившись въ задкѣ саней.

— Чьи будете? закричалъ Василій Андреичъ.

— А-а-а...скіе! только слышно было.

— Чьи, говорю?

— А-а-а-скіе! изо всѣхъ силъ закричалъ одинъ изъ мужиковъ, но все-таки нельзя было разслышать, какіе.

— Валы! Не сдавай!

— Отъ праздника, видно.

— Пошолъ, пошолъ! Вали, Семка! Объѣзжай! Вали!

Сани стукнулись другъ о друга отводами, чуть не зацѣпились, расцѣпились, и мужицкія сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снѣгомъ, брюхастая лошаденка, тяжело дыша подъ низкой дугой, очевидно изъ послѣднихъ силъ ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снѣгу, подкидывая ихъ подъ себя. Морда, очевидно молодая, съ подтянутой, какъ у рыбы, нижней губой, съ расширенными ноздрями и прижатыми отъ страха ушами, подержалась нѣсколько секундъ подлѣ плеча Никиты, потомъ стала отставать.

— Вино-то что дѣлаетъ, сказалъ Никита. — На отдѣлку замучили лошаденку. Азіаты какъ есть!

Нѣсколько минутъ слышны были сопѣніе ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиковъ, потомъ затихло сопѣніе, потомъ замолкли и крики. И кругомъ опять ничего не стало слышно, кромѣ свистящаго около ушей вѣтра и изрѣдка слабаго скрипа полозьевъ по сдутымъ мѣстамъ дороги.

Встрѣча эта развеселила и ободрила Василія Андреича, и онъ смѣлѣе, не разбирая вѣшекъ, погналъ лошадь, надѣясь на нее.

Никитѣ дѣлать было нечего, и онъ задремалъ. Вдругъ лошадь остановилась, и Никита чуть не упалъ, клюнувъ впередъ носомъ.

— А вѣдь мы опять не ладно ѣдемъ, сказалъ Василій Андреичъ.

— А что?

— Да вѣшекъ не видать. Должно, опять сбились съ дороги.

— А сбились съ дороги, поискать надо, коротко сказалъ Никита, всталъ и опять, легко шагая своими внутрь ввернутыми ступнями, пошолъ ходить по снѣгу. Онъ долго ходилъ, скрываясь изъ вида, опять показываясь и опять скрываясь, и наконецъ вернулся.

— Нѣтъ тутъ дороги, можетъ впереди гдѣ, сказалъ онъ, садясь на сани.

Начинало уже замѣтно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабѣла.

— Хоть-бы тѣхъ мужиковъ услыхать, сказалъ Василій Андреичъ.

— Да вишь не догнали, должно далеко сбились. А може и они сбились, сказалъ Никита.

— Куда-же ѣхать-то? сказалъ Василій Андреичъ.

— А пустить лошадь надо, сказалъ Никита. — Онъ приведетъ. Давай вожжи.

Василій Андреичъ отдалъ вожжи тѣмъ болѣе охотно, что руки его въ теплыхъ перчаткахъ начинали зябнуть.

Никита взялъ вожжи и только держалъ ихъ, стараясь не шевелить ими, радуясь на умъ своего любимца. Дѣйствительно, умная лошадь, повертывая то въ одну, то въ другую сторону, то одно, то другое ухо, стала понемногу поворачивать.

— Только не говорить, приговаривалъ Никита. — Вишь, что дѣлаетъ. Иди, иди, знай. Такъ, такъ.

Вѣтеръ сталъ дуть въ задъ, стало теплѣе.

— И уменъ-же, продолжалъ радоваться на лошадь Никита.—Киргизенокъ тотъ силенъ, а глупъ. А этотъ, гляди, что ушами дѣлаетъ. Никакого телеграфа не надо, за версту чуетъ.

И не прошло еще получаса, какъ впереди дѣйствительно зачернѣло что-то: лѣсъ-ли, деревня, и съ правой стороны показались опять вѣшки. Очевидно, они опять выѣхали на дорогу.

— А вѣдь это опять Гришкино, вдругъ проговорилъ Никита.

Дѣйствительно, теперь слѣва у нихъ была та самая рига, съ которой несло снѣгъ, и дальше та-же веревка съ замерзшимъ бѣльемъ, рубахами и портами, которые все такъ-же отчаянно трепались отъ вѣтра.

Опять они въѣхали въ улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, пѣсни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что въ нѣкоторыхъ окнахъ засвѣтились огни.

Посрединѣ улицы Василій Андреичъ повернулъ лошадь къ большому, въ двѣ кирпичныя связи, дому и остановилъ ее у воротъ.

— Вызови-ка Тараса, крикнулъ онъ Никитѣ.

Никита подошолъ къ занесенному, освѣщенному окну, въ свѣтѣ котораго блестѣли перепархивающія снѣжинки, и постучалъ кнутовищемъ.

— Кто тамъ? откликнулся голосъ на призывъ Никиты.

— Съ Крестовъ, Брехуновы, милый человѣкъ, отвѣчалъ Никита.—Выдь-ка на часъ.

Отъ окна отошли, и черезъ минуты двѣ слышно было,—отлипла дверь въ сѣняхъ, потомъ стукнула щеколда въ наружной двери, и, придерживая дверь отъ вѣтра, высунулся старый съ бѣлой бородой мужикъ, въ высокой шапкѣ и накинутомъ полушубкѣ сверхъ бѣлой праздничной рубахи, и за нимъ малый въ красной рубахѣ и кожаныхъ сапогахъ.

— Просимъ милости, сказалъ старикъ.

— Да вотъ заплутали, братъ, сказалъ Василій Андреичъ. — Хотѣли въ Горячкино, да вотъ къ вамъ попали. Отъѣхали, опять заплутали.

— Вишь какъ сбились, сказалъ старикъ.—Петрушка, поди, отвори ворота, обратился онъ къ малому въ красной рубахѣ.

— Это можно, отвѣчалъ малый веселымъ голосомъ и побѣжалъ въ сѣни.

— Да мы, братъ, не ночевать, сказалъ Василій Андреичъ.

— Куда ѣхать, ночное время, ночуй.

— И радъ-бы ночевать, да ѣхать надо.

— Ну погрѣйся, по крайности, прямо къ самовару, сказалъ старикъ.

— Погрѣться — это можно, сказалъ Василій Андреичъ, — темнѣе не будетъ, а мѣсяцъ взойдетъ—посвѣтлѣетъ. Зайдемъ, что-ль, погрѣемся, Микитъ.

— Ну что-жь, и погрѣться можно, сказалъ Никита, перезябшій и только того и желавшій, чтобы отогрѣть на печи свои зазябшіе члены.

Василій Андреичъ пошолъ со старикомъ въ избу, а Никита въѣхалъ въ отворенныя Петрушкой ворота и, по указанію его, вдвинулъ лошадь подъ навѣсъ сарая. Сарай былъ поднавоженный, и высокая дуга зацѣпила за переметъ. Ужь усѣвшіяся на переметѣ куры съ пѣтухомъ что-то недовольно заквахтали и попапались лапками по перемету. Встревоженныя овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись въ сторону. Собака, очевидно, молодая, отчаянно взвизгивая, съ испугомъ и злостью заливалась, лаяла на чужого.

Никита поговорилъ со всѣми: извинился передъ курами, успокоилъ ихъ, что больше не потревожитъ, упрекнулъ овецъ за то, что онѣ пугаются сами не зная чего,

и не переставая усовѣщивалъ собаченку въ то время, какъ привязывалъ лошадь.

— Вотъ такъ-то и ладно будетъ, сказалъ Никита, охлопывая съ себя снѣгъ.—Вишь заливается! прибавилъ онъ на собаку.—Будетъ тебѣ! Ну буде—глупая. Буде. Только себя безпокоишь, говорилъ онъ.—Не воры, свои...

— А это, какъ сказано, три домашніе совѣтника, сказалъ малый, закидывая сильной рукой подъ навѣсъ оставшіяся наружи санки.

— Это какъ-же совѣтники? сказалъ Никита.

— А такъ въ Пульсонѣ напечатывано: воръ подкрадывается къ дому,—собака лаетъ: не зѣвай, значитъ, смотри. Пѣтухъ поетъ, значитъ: вставай. Кошка умывается, значитъ: дорогой гость, приготовься угостить его, проговорилъ малый, улыбаясь.

Петруха былъ грамотный и зналъ почти наизусть имѣвшуюся у него единственную книгу Паульсона и любилъ, особенно когда онъ былъ немного выпивши, какъ нынче, приводить изъ нея казавшіяся ему подходящими къ случаю изреченія.

— Это точно, сказалъ Никита.

— Прозябъ, я чай, дядюшка? прибавилъ Петруха.

— Да, есть-таки, сказалъ Никита. Они пошли черезъ дворъ и сѣни въ избу.

IV.

Дворъ, въ который заѣхалъ Василій Андреичъ, былъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ въ деревнѣ. Семья держала пять надѣловъ и принанимала еще землю на сторонѣ. Лошадей во дворѣ было шесть, три коровы, два подтелка, штукъ двадцать овецъ. Всѣхъ семейныхъ во дворѣ было 22 души: четыре сына женатыхъ; шестеро внуковъ, изъ которыхъ одинъ Петруха былъ женатый, два правнука, трое сиротъ и четыре снохи съ ребятами. Это былъ одинъ изъ рѣдкихъ домовъ, оставшихся еще недѣленными; но и то уже въ немъ давно шла глухая внутренняя—какъ всегда, начавшаяся между бабъ—работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести къ раздѣлу. Два сына жили въ Москвѣ въ водовозахъ, одинъ былъ въ солдатахъ. Дома теперь были старикъ, старуха, сынъ хозяинъ и сынъ пріѣхавшій изъ Москвы на праздникъ и

всѣ бабы и дѣти; кромѣ домашнихъ, былъ еще гость, сосѣдъ-староста.

Надъ столомъ въ избѣ висѣла съ верхнимъ щиткомъ лампа, ярко освѣщавшая подъ собой чайную посуду, бутылку съ водкой, закуску и кирпичныя стѣны въ красномъ углу, увѣшанныя иконами и по обѣ стороны ихъ картинами. На первомъ мѣстѣ сидѣлъ за столомъ въ одномъ черномъ полушубкѣ Василій Андреичъ, обсасывая свои замерзшіе усы и оглядывая кругомъ народъ и избу своими выпуклыми ястребиными глазами. Кромѣ Василія Андреича за столомъ сидѣлъ бѣлобородый, лысый старикъ-хозяинъ въ бѣлой, доматканной рубахѣ, рядомъ съ нимъ въ тонкой ситцевой рубахѣ, съ здоровенной спиной и плечами, сынъ, пріѣхавшій изъ Москвы на праздникъ, и еще другой сынъ, широкоплечій старшій братъ, хозяйничавшій въ домѣ, и худощавый рыжій мужикъ староста.

Мужики, выпивъ и закусивъ, только-что собирались пить чай, и самоваръ ужь гудѣлъ, стоя на полу у печки. На полатяхъ и на печкѣ виднѣлись ребята. На нарахъ сидѣла баба надъ люлькою. Старушка-хозяйка съ покрытымъ во всѣхъ направленіяхъ мелкими морщинками, морщившими даже ея губы, лицомъ ухаживала за Василіемъ Андреичемъ.

Въ то время какъ Никита входилъ въ избу, она, наливъ въ толстаго стекла стаканчикъ водки, подносила его Василію Андреичу.

— Не обезсудь, Василій Андреичъ, нельзя, проздравить надо, сказалъ старикъ.

Видъ и запахъ водки, особенно теперь, когда онъ перезябъ и уморился, сильно смутили Никиту. Онъ нахмурился и, отряхнувъ шапку и кафтанъ отъ снѣга, сталъ противъ образовъ и, какъ-бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образамъ; потомъ, обернувшись къ хозяину старику, поклонился сперва ему, потомъ всѣмъ бывшимъ за столомъ, потомъ бабамъ, стоявшимъ около печки, и, проговоря: съ праздникомъ! сталъ раздѣваться, не глядя на столъ.

— Ну и заиндивалъ же ты, дядя, сказалъ старшій братъ, глядя на запушонное снѣгомъ лицо, глаза и бороду Никиты. Никита снялъ кафтанъ, еще отряхнулъ его, повѣсилъ къ печи и подошолъ къ столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: онъ чуть не взялъ стаканчикъ и не опрокинулъ въ ротъ ду-

чистую свѣтлую влагу; но онъ взглянулъ на Василія Андреича, вспомнилъ зарокъ, вспомнилъ пропитые сапоги, вспомнилъ бондаря, вспомнилъ малаго, которому онъ обѣщалъ къ веснѣ купить лошадь, вздохнулъ и отказался.

— Не пью, благодаримъ покорно, сказалъ онъ нахмурившись и присѣлъ ко второму окну на лавку.

— Что-же такъ? сказалъ старшій братъ.

— Не пью, да и не пью, сказалъ Никита, не поднимая главъ, косясь на свои усы и бороду и оттаивая съ нихъ сосульки.

— Ему не годится, сказалъ Василій Андреичъ, закусывая баранкой выпитый стаканчикъ.

— Ну такъ чайку, сказала ласковая старушка.—Я чай, иззябъ, сердечный. — Что вы, бабы, съ самоваромъ копаетесь?

— Готовъ, отвѣчала молодайка и, обмахнувъ занавѣской уходившій прикрытый самоваръ, съ трудомъ донесла его, подняла и стукнула на столъ.

Между тѣмъ Василій Андреичъ разсказывалъ, какъ они сбились, какъ два раза возвращались въ ту-же деревню, какъ плутали, какъ встрѣтили пьяныхъ. Хозяева дивились, объясняли, гдѣ и почему они сбились, и кто были пьяные, которыхъ они встрѣтили, и учили, какъ надо ѣхать.

— Тутъ до Молчановки малый ребенокъ доѣдетъ, только потрафить на поворотѣ съ большака, кустъ тутъ видать. А вы не доѣхали! говорилъ староста.

— А то ночевали-бы. Бабы постелятъ, уговаривала старушка.

— Утречкомъ поѣхали-бы, — разлюбезное дѣло, подтверждалъ старикъ.

— Нельзя, братъ. Дѣла! сказалъ Василій Андреичъ. — Часъ упустишь — годомъ не наверстаешь, добавилъ онъ, вспоминая о рощѣ и о купцахъ, которые могли перебить у него эту покупку.—Доѣдемъ вѣдь? обратился онъ къ Никитѣ.

Никита долго не отвѣчалъ, все какъ-будто озабоченный оттаиваніемъ бороды и усовъ.

— Не сбиться-бы опять, сказалъ онъ мрачно. Никита былъ мраченъ потому, что ему страстно хотѣлось водки, и одно, что могло затушить это желаніе, былъ чай, а чая еще ему не предлагали.

— Да вѣдь только до поворота-бы доѣхать, а тамъ

ужь не собьемся, лѣсомъ до самаго мѣста, сказалъ Василій Андреичъ.

— Дѣло ваше, Василій Андреичъ, ѣхать такъ ѣхать, сказалъ Никита, принимая подаваемый ему стаканъ чая.

— Напьемся чайку, да и маршъ.

Никита ничего не сказалъ, но только покачалъ головой и, осторожно выливъ чай на блюдечко, сталъ грѣть о паръ свои озябшія руки. Потомъ, откусивъ крошечный кусочекъ сахара, онъ поклонился хозяевамъ и проговорилъ:

— Будьте здоровы, и потянулъ въ себя согрѣвающую жидкость.

— Кабы проводилъ кто до поворота, сказалъ Василій Андреичъ.

— Что-же, это можно, сказалъ старшій сынъ.—Петруха запряжетъ да и проводитъ до поворота.

— Такъ запрягай, братъ. А уже я поблагодарю.

— И чего ты, касатикъ? сказала ласковая старушка.— Мы рады душой.

— Петруха, иди запряги кобылу, сказалъ старшій сынъ.

— Это можно, сказалъ Петруха улыбаясь и тотчасъ-же, сорвавъ съ гвоздя шапку, побѣжалъ запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговоръ перешолъ на то, на чемъ онъ остановился въ то время, какъ Василій Андреичъ подъѣхалъ къ окну. Старикъ жаловался сосѣду старостѣ на третьяго сына, не приславшаго ему ничего къ празднику, а женѣ приславшаго французскій платокъ.

— Отбивается народъ молодой отъ рукъ, говорилъ старикъ.

— Какъ отбивается-то, сказалъ староста,—сладу нѣтъ Больно умны стали. Вотъ Демочкинъ, такъ отцу руку сломалъ. Все отъ большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался въ лица и, очевидно, желалъ тоже принять участіе въ разговорѣ, но былъ весь поглощенъ чаемъ и только одобрительно кивалъ головой. Онъ выпивалъ стаканъ за стаканомъ, и ему становилось все теплѣе и теплѣе, и пріятнѣе и пріятнѣе. Разговоръ продолжался долго все объ одномъ и томъ-же, о вредѣ раздѣловъ, и разговоръ, очевидно, былъ не отвлеченный, а дѣло шло о раздѣлѣ въ этомъ домѣ, раздѣлѣ, котораго требовалъ второй сынъ, тутъ-же сидѣвшій и угрюмо молчавшій. Очевидно, это было больное мѣсто, и вопросъ этотъ занималъ всѣхъ домашнихъ, но они изъ приличія при чужихъ не разбирали своего част-

наго дѣла. Но, наконецъ, старикъ не выдержалъ и со слезами въ голосѣ заговорилъ о томъ, что дѣлиться онъ не дастъ, пока живъ, что домъ у него слава Богу, а раздѣлить — всѣ по міру пойдутъ.

— Вотъ какъ Матвѣевы, сказалъ староста.—Былъ домъ настоящій, а раздѣлили, ни у кого ничего нѣтъ.

— Такъ-то и ты хочешь, обратился старикъ къ сыну.

Сынъ ничего не отвѣчалъ, и наступило неловкое молчаніе. Молчаніе это перервалъ Петруха, уже заложившій лошадь и вернувшійся за нѣсколько минутъ передъ этимъ въ избу, и все время улыбавшійся.

— Такъ-то у Пульсона есть басня, сказалъ онъ.— Далъ родитель сыновьямъ вѣникъ сломать. Сразу не сломали, а по прутику лёгко. Такъ и это, сказалъ онъ, улыбаясь во весь ротъ. — Готово! прибавилъ онъ.

— А готово, такъ поѣдемъ, сказалъ Василій Андреичъ.— А насчетъ дѣлежу ты, дѣдушка, не сдавайся. Ты наживалъ—ты и хозяинъ. Мировому подай. Онъ порядокъ укажетъ.

— Такъ фардыбачить, такъ фардыбачить, плаксивымъ голосомъ говорилъ все свое старикъ,—что нѣтъ съ нимъ ладовъ! Какъ осатанѣлъ ровно!

Никита между тѣмъ, допивъ пятый стаканъ чая, все-таки не перевернулъ его, а положилъ бокомъ, надѣясь, что ему нальютъ еще шестой. Но воды въ самоварѣ уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василій Андреичъ сталъ одѣваться. Нечего было дѣлать. Никита тоже всталъ, положилъ назадъ въ сахарницу свой обкусанный со всѣхъ сторонъ кусочекъ сахара, обтеръ полою мокрое отъ пота лицо и пошолъ надѣвать халатъ.

Одѣвшись, онъ тяжело вздохнулъ и, поблагодаривъ хозяевъ и простившись съ ними, вышелъ изъ теплой свѣтлой горницы въ темныя, холодныя, гудѣвшія отъ рвавшагося въ нихъ вѣтра и занесенныя снѣгомъ черезъ щели дверей сѣни, и оттуда на темный дворъ.

Петруха въ шубѣ стоялъ съ своей лошадью по серединѣ двора и говорилъ улыбаясь стихи изъ Пульсона. Онъ говорилъ: «Буря съ мглою небо скроитъ, вихры снѣжные крутятъ, ажъ какъ звѣрь она завоитъ, ажъ заплачитъ какъ дитя». Никита одобрительно покачивалъ головой и разбиралъ вожжи.

Старикъ, провожая Василія Андреича, вынесъ фонарь въ сѣни и хотѣлъ посвѣтить ему, но фонарь тотчасъ-же

задуло. И на дворѣ даже замѣтно было, что метель разыгралась еще сильнѣе.

«Ну ужъ погодка! подумалъ Василій Андреичъ;—пожалуй, и не доѣдешь, да нельзя, дѣла! Да и собрался ужъ. Лошадь хозяйская запряжена. Доѣдемъ, Богъ дастъ». Хозяинъ старикъ тоже думалъ, что не слѣдовало ѣхать; но онъ уже уговаривалъ остаться, но его не послушали. «Можетъ, я отъ старости такъ робѣю, а они доѣдутъ», думалъ онъ.—«Да и покрайности спать ляжемъ во время. Безъ хлопотъ».

Петруха тоже видѣлъ, что ѣхать опасно, и ему было жутко, но онъ низачто не показалъ-бы этого и храбрился, притворяясь, что онъ ни крошечки не боится, и стишки о томъ, какъ «вихри снѣжные крутять» бодрили его тѣмъ, что совершенно выражали то, что происходило на дворѣ. Никитѣ-же вовсе не хотѣлось ѣхать, но онъ уже давно привыкъ не имѣть своей воли и служить другимъ. Такъ-что никто не удержалъ отъѣзжающихъ.

V.

Василій Андреичъ подошолъ къ санямъ, съ трудомъ разбирая въ темнотѣ, гдѣ они, влѣзъ въ нихъ и взялъ вожжи.

— Пошолъ передомъ! крикнулъ онъ. Петруха, стоя на колѣнкахъ въ розвальняхъ, пустилъ свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавшій, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выѣхали на улицу. Опять поѣхали слободой и той-же дорогой, мимо того-же двора съ развѣшеннымъ замерзшимъ бѣльемъ, котораго теперь уже не видно было; мимо того-же сарая, который уже былъ занесенъ почти до крыши и съ котораго сыпался безконечный снѣгъ; мимо тѣхъ-же мрачно шумящихъ, свистящихъ и гнущихся лозинъ,—и опять въѣхали въ то снѣжное, сверху и снизу бушевавшее море. Вѣтеръ былъ такъ силенъ, что когда онъ былъ въ бокъ и сѣдоки парусили противъ него, то онъ накренивалъ на бокъ санки и сбивалъ лошадь въ сторону. Петруха ѣхалъ развалистой рысцей своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивалъ. Мухортый рвался за нею.

Проѣхавъ такъ минутъ десять, Петруха обернулся и что-то прокричалъ. Ни Василій Андреичъ, ни Никита не

слышали отъ вѣтра. Но догадались, что они пріѣхали къ повороту. Дѣйствительно, Петруха поворотилъ направо, и вѣтеръ, бывшій въ бокъ, опять сталъ навстрѣчу, и справа, сквозь снѣгъ, завиднѣлось что-то черное. Это былъ кустикъ на поворотѣ.

— Ну, съ Богомъ!

— Спасибо, Петруха!

— Буря небо мглою скроитъ! прокричалъ Петруха и скрылся.

— Вишь, стихотворецъ какой, проговорилъ Василій Андреичъ и тронулъ вожжами.

— Да, молодецъ хорошій, мужикъ настоящій, сказалъ Никита.

Поѣхали дальше. Никита, укутавшись и вжавъ голову въ плечи такъ, что небольшая борода его облегала ему шею, сидѣлъ молча, стараясь не потерять набранное за чаемъ тепло. Передъ собою онъ видѣлъ прямыя линіи оглобель, безпрестанно обманывавшія его и казавшіяся ему накатанной дорогой, колеблющійся задъ лошади съ заворачиваемымъ въ одну сторону подвязаннымъ узломъ хвостомъ и дальше, впереди, высокую дугу и качающуюся голову и шею лошади съ развѣвающейся гривой. Изрѣдка ему попадались въ глаза вѣшки, такъ-что онъ зналъ, что ѣхали пока по дорогѣ, и ему дѣлать было нечего.

Василій Андреичъ правилъ, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнулъ въ деревнѣ, бѣжалъ неохотно и какъ-будто сворачивалъ съ дороги, такъ-что Василій Андреичъ нѣсколько разъ направлялъ его.

«Вотъ справа одна вѣшка, вотъ другая, вотъ и третья», считалъ Василій Андреичъ,—«а вотъ впереди и лѣсъ», подумалъ онъ, вглядываясь во что-то чернѣющее впереди его. Но то, что показалось ему лѣсомъ, былъ только кустъ. Кустъ проѣхали, проѣхали еще саженъ 20-ть, четвертой вѣшки не было, и лѣса не было.

«Долженъ сейчасъ быть лѣсъ», думалъ Василій Андреичъ и, возбужденный виномъ и чаемъ, не останавливаясь потрогивалъ вожжами, и покорное доброе животное слушалось и бѣжало то иноходью, то небольшой рысцой туда, куда его посылали, хоть и знало, что его посылаютъ совсѣмъ не туда, куда надо. Прошло минутъ десять, лѣса все не было.

— А вѣдь мы опять сбились! сказалъ Василій Андреичъ, останавливая лошадь.

Никита молча вылѣзъ изъ саней и, придерживая свой халатъ, то липнувшій къ нему по вѣтру, то отворачивающійся и слѣзающій съ него, пошолъ лазить по снѣгу, пошолъ въ одну сторону, пошолъ въ другую Раза три онъ скрывался совсѣмъ изъ вида. Наконецъ, онъ вернулся и взялъ вожжи изъ рукъ Василія Андреича.

— Вправо ѣхать надо, сказалъ онъ строго и рѣшительно, поворачивая лошадь.

— Ну вправо, такъ вправо пошолъ, сказалъ Василій Андреичъ, отдавая вожжи и засовывая озябшія руки въ рукава.—Хоть-бы назадъ въ Гришкино вывезла, сказалъ онъ.

Никита не отвѣчалъ.

— Ну, дружокъ, потрудись, крикнулъ онъ на лошадь, но лошадь, несмотря на потряхиванье вожжей шла только шагомъ. Снѣгъ былъ кое-гдѣ по колѣно, и сани подергивались рывомъ съ каждымъ движеніемъ лошади.

Никита досталъ кнутъ, висѣвшій на передкѣ, и стегнулъ. Добрая, непривычная къ кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчасъ-же опять перешла на иноходь и шагъ. Такъ проѣхали минутъ пять. Было такъ темно и такъ курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось, иногда стояли на мѣстѣ, и поле бѣжало назадъ. Вдругъ лошадь круто остановилась, очевидно чуя что-то неладное передъ собой. Никита опять легко выскочилъ, бросая вожжи, и пошолъ впередъ лошади, чтобы посмотрѣть, чего она остановилась; но только-что онъ хотѣлъ ступить шагъ передъ лошадью, какъ ноги его поскользнулись и онъ покатился подъ какую-то кручь.

— Тпру, тпру, тпру! говорилъ онъ себѣ, падая и стараясь остановиться, но не могъ удержаться и остановился только врѣзавшись ногами въ нанесенный внизу оврага толстый слой снѣга.

Нависшій съ края кручи сугробъ, растревоженный паденіемъ Никиты, насыпался на него и засыпалъ ему снѣгу зашиворотъ..

— Эка ты какъ! укоризненно проговорилъ Никита, обращаясь къ сугробу и къ оврагу и вытряхивая снѣгъ изъ-за воротника.

— Микитъ, а Микитъ! кричалъ Василій Андреичъ сверху. Но Никита не откликался ему.

Ему некогда было, онъ отряхался, потомъ отыскивалъ

кнутъ, который выронилъ, когда скатился подъ кручу. Найдя кнутъ, онъ полѣзъ-было прямо назадъ, гдѣ скатился; но влѣзть не было возможности, онъ скатывался назадъ, такъ-что долженъ былъ низомъ пойти искать выхода кверху. Сажени на три отъ того мѣста, гдѣ онъ скатился, онъ съ трудомъ вылѣзъ на-четвереньках на гору и пошолъ по краю оврага къ тому мѣсту, гдѣ должна была быть лошадь. Лошади и саней онъ не видалъ; но такъ-какъ онъ шолъ на вѣтеръ, онъ прежде, чѣмъ увидалъ ихъ, услыхалъ крикъ Василья Андреича и ржанье Мухортаго, звавшихъ его.

— Иду, иду. Чего гогочешь, проговорилъ онъ.

Только совсѣмъ уже дойдя до саней, онъ увидалъ лошадь и стоявшаго возлѣ нихъ Василія Андреича, казавшагося огромнымъ.

— Куда къ дьяволу запропастился? Назадъ ѣхать надо. Хоть въ Гришкино вернемся,—сердито сталъ выговаривать Никитѣ хозяинъ.

— И радъ-бы, вернулся, Василій Андреичъ, да куда ѣхать-то? Тутъ овражище такой, что попади туда и не выберешься. Я туда засвѣтилъ такъ, что насилу выдрался.

— Что-же, не стоять-же тутъ? Куда-нибудь надо-же ѣхать, сказалъ Василій Андреичъ.

Никита ничего не отвѣчалъ. Онъ сѣлъ на сани задомъ къ вѣтру, разулся и вытряхнулъ снѣгъ, набившійся ему въ сапоги и, доставъ соломки, старательно заткнулъ ею изнутри дыру въ лѣвомъ сапогѣ.

Василій Андреичъ молчалъ, какъ-бы предоставивъ теперь уже все Никитѣ. Переобувшись, Никита убралъ ноги въ сани, надѣлъ опять рукавицы, взялъ вожжи и повернулъ лошадь вдоль оврага. Но не проѣхали они и ста шаговъ, какъ лошадь опять уперлась. Передъ ней опять былъ оврагъ.

Никита опять вылѣзъ и опять пошолъ лазить по снѣгу. Довольно долго онъ ходилъ. Наконецъ появился съ противоположной стороны, съ которой онъ пошолъ.

— Василій Андреичъ, живы? крикнулъ онъ.

— Здѣсь, откликнулся Василій Андреичъ. — Ну что?

— Да не разберешь никакъ, темно, овраги какіе-то. Надо опять на вѣтеръ ѣхать.

Опять поѣхали, опять ходилъ Никита падая по снѣгу, опять садился, опять падалъ и, наконецъ, запыхавшись остановился у саней.

— Ну что? спросилъ Василій Андреичъ.

— Да что, вымотался я весь. Да и лошадь становится.

— Такъ что-же дѣлать?

— Да вотъ постой. — Никита опять ушолъ и скоро вернулся.

— Держи за мной, сказалъ онъ, заходя передъ лошадью.

Василій Андреичъ уже не приказывалъ ничего, а покорно дѣлалъ то, что говорилъ ему Никита.

— Сюда за мной! закричалъ Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортаго и направляя его въ сугробъ. Лошадь сначала уперлась, но потомъ рванулась, надѣясь проскочить сугробъ, но не осилила и сѣла въ него по хомутъ. — Вылѣзай! закричалъ Никита на Василія Андреича, продолжавшаго сидѣть въ саняхъ, и, подхвативъ подъ одну оглоблю, сталъ надвигать сани на лошадь. — Трудненько, братъ, обратился онъ къ Мухортому,—да что-же дѣлать, понатужься! Но, но, немного! крикнулъ онъ. Лошадь рванулась разъ, другой, но все-таки не выбралась и опять сѣла. Она поводила ушами и нюхала снѣгъ, положивъ голову на снѣгъ, какъ-будто что-то обдумывала. — Что-же братъ, такъ не ладно, усовѣщевалъ Никита Мухортаго.—Ну, еще!—Опять Никита потащилъ за оглоблю съ своей стороны; Василій Андреичъ дѣлалъ то-же съ другой. Лошадь пошевелила головой, потомъ вдругъ рванулась.

—Ну! но! не потонешь небось, кричалъ Никита.

Прыжокъ, другой, третій, и наконецъ лошадь выбралась изъ сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотѣлъ вести дальше, но Василій Андреичъ такъ запыхался въ своихъ двухъ шубахъ, что не могъ идти и повалился въ сани.

—Дай вздохнуть, сказалъ онъ, распуская платокъ, которымъ онъ повязалъ въ деревнѣ воротникъ шубы.

—Тутъ ничего, ты лежи, сказалъ Никита,—я проведу, и съ Васильемъ Андреичемъ въ саняхъ провелъ лошадь подъ уздцы внизъ еще шаговъ десять и потомъ немного вверхъ и остановился.

Мѣсто, на которомъ остановился Никита было не въ лощинѣ, гдѣ-бы снѣгъ оставался, но оно все-таки отчасти было защищено бугромъ отъ вѣтра. Были минуты, когда за бугромъ вѣтеръ какъ-будто немного стихалъ, но это продолжалось недолго, и какъ-будто для того, чтобы наверстать этотъ отдыхъ, буря налетала послѣ этого съ

удесятеренной силой и еще злѣе рвала и крутила. Такой порывъ вѣтра ударилъ въ ту минуту, какъ Василій Андреичъ, отдышавшись, вылѣзъ изъ саней и подошолъ къ Никитѣ, чтобы поговорить о томъ, что дѣлать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдетъ ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижималъ уши и трясъ головой. Какъ-только немного прошолъ порывъ вѣтра, Никита, снявъ рукавицы и засунувъ ихъ за кушакъ, подышавъ въ руки, сталъ отвязывать съ дуги поводокъ.

— Ты что-же это дѣлаешь? спросилъ Василій Андреичъ.

— Отпрягаю, что-же еще дѣлать? Мочи моей нѣтъ,— какъ-бы извиняясь, отвѣчалъ Никита.

— А развѣ не выѣдемъ куда?

— Не выѣдемъ, только лошадь замучаемъ. Вѣдь онъ, сердечный, не въ себѣ сталъ, сказалъ Никита, указывая на покорно стоявшую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь. — Ночевать надо, повторилъ онъ, точно какъ-будто собирался ночевать на постояломъ дворѣ, и сталъ развязывать супонь. Клещи разскочились.

— А не замерзнемъ мы? сказалъ Василій Андреичъ.

— Что-же? И замерзнешь, не откажешься, сказалъ Никита.

VI.

Василію Андреевичу въ своихъ двухъ шубахъ было совсѣмъ тепло, особенно послѣ того, какъ онъ повозился въ сугробѣ; но морозъ пробѣжалъ у него по спинѣ, когда онъ понялъ, что дѣйствительно надо ночевать здѣсь. Чтобы успокоиться, онъ сѣлъ въ сани и сталъ доставить папиросы и спички.

Никита между тѣмъ распрягалъ лошадь. Онъ развязалъ подбрюшникъ, чрезсѣдельникъ, развожжалъ, снялъ гужъ, вывернулъ дугу и, не переставая разговаривать съ лошадью, ободрялъ ее.

— Ну, выходи, выходи, говорилъ онъ, выводя ее изъ оглобель.—Да вотъ привяжемъ тебя тутъ. Соломки подложу да разнуздаю, говорилъ онъ, дѣлая то, что говорилъ.—Закусишь, тебѣ все веселѣе будетъ.

Но Мухортый, очевидно, не успокоивался рѣчами Ни-

киты и былъ тревоженъ; онъ переступалъ съ ноги на ногу, жался къ санямъ, становясь задомъ къ вѣтру, и терся головой о рукавъ Никиты.

Какъ-будто только для того, чтобы не отказать Никитѣ въ его угощеніи соломой, которую Никита подсунулъ ему подъ храпъ, Мухортый разъ порывисто схватилъ пукъ соломы изъ саней, но тотчасъ-же рѣшилъ, что теперь дѣло не до соломы, бросилъ ее, и вѣтеръ мгновенно растрепалъ солому, унесъ ее и засыпалъ снѣгомъ.

—Теперь примѣту сдѣлаемъ, сказалъ Никита, повернувъ сани лицомъ къ вѣтру, и связавъ оглобли чрезсѣдельникомъ, онъ поднялъ ихъ вверхъ и притянулъ къ передку.—Вотъ, какъ занесетъ насъ, добрые люди по оглоблямъ увидятъ, откопаютъ, сказалъ Никита.—Такъ-то старики учили.

Василій Андреичъ, между тѣмъ, распустивъ шубу и закрываясь полами ея, теръ одну фосфорную спичку за другой о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшіяся спички, одна за другою, то еще не разгорѣвшись, то въ самую ту минуту, какъ онъ подносилъ ее къ папиросѣ, задувались вѣтромъ. Наконецъ, одна спичка вся загорѣлась и освѣтила на мгновеніе мѣхъ его шубы, его руку съ золотымъ перстнемъ на загнутомъ внутрь указательномъ пальцѣ и засыпанную снѣгомъ выбившуюся изъ-подъ веретья овсяную солому, и папироса загорѣлась. Раза два онъ жадно потянулъ, проглотилъ, выпустилъ сквозь усы дымъ, хотѣлъ еще затянуться, но табакъ съ огнемъ сорвало и унесло туда-же, куда и солому.

Но и эти нѣсколько глотковъ табачнаго дыма развеселили Василья Андреича.

— Ночевать такъ ночевать! сказалъ онъ рѣшительно. И увидавъ поднятыя оглобли, ему захотѣлось еще усилить эту примѣту и поучить Никиту.—Погоди-же ты, я еще флагъ сдѣлаю, сказалъ онъ, поднимая платокъ, который онъ, снявъ съ воротника, бросилъ-было въ сани. И онъ, снявъ перчатки и вытянувшись, чтобъ достать, тугимъ узломъ привязалъ платокъ къ чрезсѣдельнику подлѣ оглобли.

Платокъ тотчасъ-же отчаянно затрепался, то прилипая къ оглоблѣ, то вдругъ отдуваясь, натягивался и щелкалъ.

— Вишь какъ ловко, сказалъ Василій Андреичъ, любуясь на свою работу, и влѣзъ въ сани.—Теплѣе-бы вмѣстѣ, да вдвоемъ не усядешься, сказалъ онъ.

— Я мѣсто найду, отвѣчалъ Никита,—только лошадь укрыть надо, а то взопрѣлъ, сердечный. Пусти-ка,—прибавилъ онъ и, подойдя къ санямъ, потянулъ изъ-подъ Василія Андреича веретье. И, доставъ веретье, онъ сложилъ его вдвое и, скинувъ прежде шлею и снявъ сѣделку, покрылъ имъ Мухортаго.

— Все теплѣе тебѣ будетъ, дурачекъ, говорилъ онъ, надѣвая опять на лошадь сверху веретья сѣделку и тяжелую шлею.

— А не нужна вамъ дерюжка будетъ? Да соломки мнѣ дайте, сказалъ Никита, окончивъ это дѣло и опять подойдя къ санямъ.

И забравъ и то и другое изъ-подъ Василія Андреича, онъ зашолъ за спинку саней, выкопалъ себѣ тамъ въ снѣгу ямку, положилъ въ нее соломы и, нахлобучивъ шапку и закутавшись кафтаномъ, а сверху покрывшись дерюжкой, сѣлъ на постланную солому, прислонясь къ лубочному задку саней, защищавшему его отъ вѣтра и снѣга.

Василій Андреичъ неодобрительно покачалъ головой на то, что дѣлалъ Никита, какъ онъ вообще не одобрялъ необразованность и глупость мужицкую, и сталъ устроиваться на ночь.

Онъ разровнялъ оставшуюся солому по санкамъ, подложилъ погуще себѣ подъ бокъ и, засунувъ руки въ рукава, приладился головой въ уголъ саней къ передку, защищавшему его отъ вѣтра. Спать ему не хотѣлось. Онъ лежалъ и думалъ: думалъ все о томъ-же одномъ, что составляло единственную цѣль, смыслъ, радость и гордость его жизни: о томъ, сколько онъ нажилъ и можетъ еще нажить денегъ; сколько другіе, ему извѣстные люди нажили и имѣютъ денегъ, и какъ эти другіе наживали и наживаютъ деньги, и какъ онъ, такъ-же какъ и они, можетъ нажить еще очень много денегъ.

«Дубъ на полозья пойдетъ. Срубы сами собой. Да дровъ саженъ 30-ть все станетъ на десятинѣ», расцѣнивалъ онъ видѣнную имъ осенью рощу, которую ѣхалъ покупать.—«Десяти тысячъ всетаки не дамъ, а тысячъ восемь, да чтобъ за вычетомъ полянъ. Землемѣра помажу, сотню, а то полторы; онъ мнѣ десятинъ пять полянъ намѣряетъ. И за восемь отдастъ. Сейчасъ 3,000 въ зубы. Небось размякнетъ», думалъ онъ, ощупывая предплечьемъ руки бумажникъ въ карманѣ. «И какъ сбились съ поворота, Богъ ее знаетъ. Долженъ-бы тутъ быть лѣсъ и сторожка.

Собакъ-бы слышно. Такъ не лаютъ проклятыя, когда ихъ нужно». Онъ пріоткрылъ воротникъ и сталъ прислушиваться и глядѣть: видна была въ темнотѣ только чернѣющая голова Мухортаго и его спина, на которой развѣвалось веретье; слышенъ-же былъ все тотъ-же свистъ вѣтра, въ оглобляхъ трепанье и щелканье платка, и стеганье по лубку саней падающаго снѣга. Онъ закрылся опять. «Кабы знать, ночевать-бы остаться. Ну, да все одно, доѣдемъ и завтра. Только день лишній. Въ такую погоду и тѣ не поѣдутъ». И онъ вспомнилъ, что къ 9-му надо получить за валуховъ съ мясника деньги. «Хотѣлъ самъ пріѣхать, не застанетъ меня, жена не сумѣетъ деньги взять, очень ужъ необразована. Обхожденія настоящаго не знаетъ», продолжалъ онъ думать, вспоминая, какъ она не умѣла обойтись со становымъ, бывшимъ вчера на праздникѣ у него въ гостяхъ.—«Извѣстно, женщина. Гдѣ она что видѣла? При родителяхъ какой нашъ домъ былъ? Такъ себѣ, деревенскій мужикъ богатый: рушка да постоялый дворъ, и все имущество въ томъ. А я что̀ въ 15 лѣтъ сдѣлалъ? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка. Два имѣнія въ арендѣ. Домъ съ амбаромъ подъ желѣзной крышей», вспоминалъ онъ съ гордостью. «Не то что при родителѣ! Нынче кто въ округѣ гремитъ? Брехуновъ».

«А почему такъ? Потому, дѣло помню, стараюсь, не такъ, какъ другіе—лежни, али глупостями заниматься. А я ночи не сплю. Метель не метель, ѣду. Ну, и дѣло дѣлается. Они думаютъ такъ, шутя денежки наживаютъ. Нѣтъ, ты потрудись да голову поломай. Думаютъ, что въ люди выходятъ по счастью. Вонъ, Мироновы въ милліонахъ теперь. А почему? Трудились. Богъ и даетъ. Только-бы далъ Богъ здоровья». И мысль о томъ, что и онъ можетъ быть такимъ-же милліонщикомъ какъ Мироновъ, который взялся съ ничего, такъ взволновала Василія Андреича, что онъ почувствовалъ потребность поговорить съ кѣмъ-нибудь. Но говорить не съ кѣмъ было... Кабы доѣхать до Горячкина, онъ-бы поговорилъ съ помѣщикомъ, вставилъ-бы очки ему.

«Ишь ты, дуетъ какъ! Занесетъ такъ, что и не выберемся утромъ», подумалъ онъ, прислушиваясь къ порыву вѣтра, который дулъ въ передокъ, нагибая его, и сѣкъ его лубокъ снѣгомъ.

«И напрасно послушался я Никиту», думалъ онъ.—«Ѣхать-бы надо, все-бы выѣхали куда-нибудь. Хоть назадъ-

бы доѣхали въ Гришкино, ночевали-бы у Тараса. А то вотъ сиди ночь цѣлую. Да, что, бишь, хорошаго было? Да, что за труды Богъ даетъ, а не лодырямъ, лежебокамъ али дуракамъ. Да и покурить надо». Онъ сѣлъ, досталъ папиросочницу, легъ брюхомъ внизъ, закрывая полой отъ вѣтра огонь, но вѣтеръ находилъ ходъ и тушилъ спички одну за другой. Наконецъ онъ ухитрился закурить. Папироска зажглась, и то, что онъ добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурилъ больше вѣтеръ, чѣмъ онъ, онъ все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселѣй. Онъ опять привалился къ задку, укутался и опять началъ вспоминать и мечтать, и задремалъ. Но вдругъ точно что-то толконуло и разбудило его. Мухортый-ли это дернулъ изъ-подъ него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его,—только онъ проснулся, и сердце у него стало стучать такъ быстро и такъ сильно, что ему показалось, что сани трясутся подъ нимъ. Онъ открылъ глаза. Вокругъ него было все тоже, но только казалось свѣтлѣе. «Свѣтаетъ», подумалъ онъ,—«должно и до утра не долго». Но тотчасъ-же онъ вспомнилъ, что свѣтлѣе стало только отъ того, что мѣсяцъ взошолъ. Онъ приподнялся, оглядѣлъ сначала лошадь. Мухортый стоялъ все задомъ къ вѣтру и весь трясся. Засыпанное снѣгомъ веретье заворотилось одной стороной, шлея съѣхала на бокъ, и засыпанная снѣгомъ голова съ развѣвающимися чолкой и гривой были теперь виднѣе. Василій Андреичъ перегнулся къ задку и заглянулъ за него. Никита сидѣлъ все въ томъ-же положеніи, въ какомъ онъ сѣлъ. Дерюжка, которою онъ прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снѣгомъ. «Не замерзъ-бы мужикъ; плоха одежонка на немъ. Еще отвѣтишь за него. Да и замаялся онъ бѣгамши, а капиталъ въ немъ плохой», подумалъ Василій Андреичъ и хотѣлъ-было снять съ лошади веретье и накрыть Никиту; но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, боялся, какъ-бы не застыла.—«И на что я его взялъ? Все ея глупость одна!» подумалъ Василій Андреичъ, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее мѣсто къ передку саней.—«Такъ-то дядюшка разъ всю ночь въ снѣгу просидѣлъ», вспомнилъ онъ,—«и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали», тутъ-же представился ему другой случай,—«такъ тотъ померъ, закоченѣлъ весь, какъ туша мороженная».

«Остался-бы въ Гришкиномъ ночевать, ничего-бы не было». И старательно запахнувшись, такъ, чтобы тепло мѣха нигдѣ не пропадало даромъ, а вездѣ и въ шеѣ и въ колѣнахъ и въ ступняхъ грѣло его, онъ закрылъ глаза, стараясь заснуть. Но сколько онъ ни старался, онъ не могъ уже забыться, а напротивъ, чувствовалъ себя совершенно бодрымъ и оживленнымъ. Опять онъ началъ считать барыши, долги за людьми, опять сталъ хвастаться самъ передъ собой и радоваться на себя и на свое положеніе,— но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхомъ и досадной мыслью о томъ, зачѣмъ онъ не остался ночевать въ Гришкиномъ. Онъ нѣсколько разъ переворачивался, укладывался, стараясь найти болѣе ловкое и защищенное отъ вѣтра положеніе, но все ему казалось неловко; онъ опять приподнимался, перемѣнялъ положеніе, укутывалъ ноги, закрывалъ глаза и затихалъ. Но или скрюченныя ноги въ высокихъ валеныхъ сапогахъ начинали ныть, или продувало гдѣ-нибудь, и онъ, полежавъ недолго, опять съ досадой на себя вспоминалъ о томъ, какъ-бы онъ теперь могъ спокойно лежать въ теплой избѣ въ Гришкиномъ, и опять поднимался, ворочался, кутался и опять укладывался.

Разъ Василью Андреичу почудилось, что онъ слышитъ дальній крикъ пѣтуховъ. Онъ обрадовался, отворотилъ шубу и сталъ напряженно слушать, но сколько онъ ни напрягалъ слухъ, ничего не слышно было кромѣ звука вѣтра, свистѣвшаго въ оглобляхъ, и снѣга, стегавшаго объ лубокъ саней. Никита какъ сѣлъ съ вечера, такъ и сидѣлъ все время не шевелясь и даже не отвѣчая на обращенія Василія Андреича, который раза два окликалъ его. «Ему и горюшка мало,—спитъ, должно», съ досадой думалъ Василій Андреичъ, заглядывая черезъ задокъ саней на густо засыпаннаго снѣгомъ Никиту.

Такъ Василій Андреичъ вставалъ и ложился разъ двадцать. Ему казалось, что конца не будетъ этой ночи.— «Теперь уже должно быть близко къ утру», подумалъ онъ разъ, поднимаясь и оглядываясь. «Дай посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну да коли узнаю, что къ утру дѣло, все веселѣе будетъ. Запрягать станемъ». Василій Андреичъ въ глубинѣ души зналъ, что не можетъ быть еще утро, но онъ все сильнѣе и сильнѣе начиналъ робѣть и хотѣлъ въ одно и то-же

время и провѣрить и обмануть себя. Онъ осторожно распустилъ крючки полушубка и, засунувъ руку за пазуху, долго копался, пока досталъ до жилетки. Насилу, насилу вытащилъ онъ свои серебряные съ эмалевыми цвѣтками часы и сталъ смотрѣть. Безъ огня ничего не видно было. Онъ опять легъ ничкомъ, такъ-же какъ когда закуривалъ, досталъ спички и сталъ зажигать. Теперь онъ аккуратнѣе взялся за дѣло, и ощупавъ пальцами спичку съ самымъ большимъ количествомъ фосфора, онъ съ перваго раза зажегъ ее. Подсунувъ циферблатъ подъ свѣтъ, онъ взглянулъ и глазамъ своимъ не вѣрилъ... Было всего десять минутъ перваго. Еще вся ночь была впереди.

«Охъ, длинна ночь!» подумалъ Василій Андреичъ, чувствуя, какъ морозъ пробѣжалъ ему по спинѣ; и, застегнувшись и опять укрывшись, онъ прижался къ углу саней. Вдругъ изъ-за однообразнаго шума вѣтра онъ явственно услышалъ какой-то новый, живой звукъ. Звукъ равномѣрно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, такъ-же равномѣрно сталъ ослабѣвать. Не было никакого сомнѣнія, что это былъ волкъ. И волкъ этотъ былъ такъ недалеко, что по вѣтру ясно было слышно, какъ онъ, ворочая челюстями, измѣнялъ звуки своего голоса. Василій Андреичъ откинулъ воротникъ и внимательно слушалъ. Мухортый также напряженно слушалъ, поводя ушами, и, когда волкъ кончилъ свое колѣно, переставилъ ноги и предостерегающе фыркнулъ. Послѣ этого Василій Андреичъ ужь никакъ не могъ нетолько заснуть, но и успокоиться. Сколько онъ ни старался думать о своихъ разсчетахъ, дѣлахъ и о своей славѣ и своемъ достоинствѣ и богатствѣ, страхъ все больше и больше завладѣвалъ имъ, и надъ всѣми мыслями преобладала и ко всѣмъ мыслямъ примѣшивалась мысль о томъ, зачѣмъ онъ не остался ночевать въ Гришкинѣ.

«Богъ съ нимъ, съ лѣсомъ, безъ него дѣлъ слава Богу.—Эхъ, ночевать-бы», говорилъ онъ себѣ. — «Говорятъ пьяные-то замерзаютъ», подумалъ онъ, — «а я выпилъ». И, прислушиваясь къ своему ощущенію, онъ чувствовалъ, что начиналъ дрожать, самъ не зная, отъ чего онъ дрожитъ, отъ холода или отъ страха. Онъ пробовалъ закрыться и лежать, какъ прежде, но уже не могъ этого сдѣлать. Онъ не могъ оставаться на мѣстѣ, ему хотѣлось встать, предпринять что-нибудь, съ

тѣмъ чтобы заглушить поднимающійся въ немъ страхъ, противъ котораго онъ чувствовалъ себя безсильнымъ. Онъ опять досталъ папироски и спички, но спичекъ уже оставалось только три и всѣ худшія. Всѣ три ушмурыгались, не загорѣвшись.

— А чортъ тебя дери, проклятая, провались ты! обругалъ онъ самъ не зная кого и швырнулъ смятую папироску. Хотѣлъ швырнуть и спичечницу, но остановилъ движеніе руки и сунулъ ее въ карманъ. На него нашло такое безпокойство, что онъ не могъ больше оставаться на мѣстѣ. Онъ вылѣзъ изъ саней и, ставъ задомъ къ вѣтру, началъ туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться, сѣсть верхомъ да и маршъ», вдругъ пришло ему въ голову. — «Верхомъ лошадь не станетъ. Ему», подумалъ онъ на Никиту, «все равно умирать. Какая его жизнь, ему и жизни не жалко, а мнѣ, слава Богу, есть чѣмъ пожить...»

И онъ, отвязавъ лошадь, перекинулъ ей поводья на шею и хотѣлъ вскочить на нее, но сорвался. Тогда онъ всталъ на сани и хотѣлъ съ саней сѣсть. Но сани покачнулись подъ его тяжестью, и онъ опять оборвался. Наконецъ, въ третій разъ онъ опять подвинулъ лошадь къ санямъ и, осторожно ставъ на край ихъ, добился таки того, что легъ брюхомъ поперекъ спины лошади. Полежавъ такъ, онъ посунулся впередъ разъ, два и, наконецъ, перекинулъ ногу черезъ спину лошади и усѣлся, упираясь ступнями ногъ, вмѣсто стремянъ, на долевой ремень шлеи. Толчекъ пошатнувшихся саней разбудилъ Никиту, и онъ приподнялся, и Василію Андреичу показалось, что онъ говоритъ что-то.

— Слушай васъ, дураковъ. Что-жъ, пропадать такъ, ни за что? крикнулъ Василій Андреичъ и, поправляя подъ колѣна развѣвающіяся полы шубы, повернулъ лошадь и погналъ ее прочь отъ саней по тому направленію, въ которомъ онъ предполагалъ, что долженъ быть лѣсъ и сторожка.

VII.

Никита съ тѣхъ поръ, какъ сѣлъ покрывшись дерюжкой за задкомъ саней, сидѣлъ неподвижно. Онъ, какъ и всѣ люди, живущіе съ природой и знающіе

нужду, былъ терпѣливъ и могъ спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни безпокойства, ни раздраженія. Онъ слышалъ, какъ хозяинъ звалъ его, но не откликался потому, что не хотѣлъ шевелиться. Мысль о томъ, что онъ можетъ и даже по всѣмъ вѣроятіямъ долженъ умереть въ эту ночь, пришла ему въ то время, когда онъ усаживался за санями. Хотя ему еще было тепло отъ выпитаго чая и отъ того, что онъ много двигался, лазя по сугробамъ, онъ зналъ, что тепла этого хватитъ не надолго, а что согрѣваться движеніемъ онъ уже будетъ не въ силахъ, потому-что чувствовалъ себя сильно усталымъ, чувствовалъ себя въ томъ состояніи, въ которомъ чувствуетъ себя лошадь, когда она становится и ее надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Кромѣ того, одна нога его въ прорванномъ сапогѣ остыла, и онъ уже не чуялъ на ней большого пальца. И всему тѣлу его становилось все холоднѣе и холоднѣе.

Мысль о томъ, что онъ умретъ въ нынѣшнюю ночь, не показалась ему ни особенно непріятной, ни особенно страшной. Неособенно непріятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постояннымъ праздникомъ, а напротивъ, была неперестающей службой, отъ которой онъ начиналъ уставать. Неособенно-же страшна была эта мысль потому, что кромѣ тѣхъ хозяевъ, какъ Василій Андреичъ, которымъ онъ служилъ здѣсь, онъ чувствовалъ себя въ зависимости отъ главнаго хозяина, Того, Который послалъ его въ эту жизнь, и зналъ, что и умирая онъ останется въ власти этого хозяина, а что хозяинъ этотъ не обидитъ.

«Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что-жь дѣлать, и къ новому привыкать надо».

«Грѣхи?» пришло ему въ голову, и онъ вспомнилъ свое пьянство, пропитыя деньги, обиды женѣ, ругательства, нехожденіе въ церковь, несоблюденіе постовъ и все то, за что выговаривалъ ему попъ на исповѣди. «Извѣстно, грѣхи. Да что-же, развѣ я самъ ихъ на себя напустилъ? Такимъ, видно, меня Богъ сдѣлалъ. Ну и грѣхи. Куда-жь дѣнешься?»

Такъ онъ подумалъ о томъ, что можетъ случиться съ нимъ въ эту ночь, и, рѣшивъ это дѣло такимъ образомъ, отдался тѣмъ мыслямъ и воспоминаніямъ, которыя сами собой приходили ему въ голову. То онъ

вспоминалъ пріѣздъ Марѳы, пьянство рабочихъ и свои отказы отъ вина, и теперешнюю поѣздку, и Тарасову избу, и разговоры о дѣлежахъ, и о своемъ маломъ, и о Мухортомъ, который угрѣется теперь подъ попоной, и о хозяинѣ, который скрипитъ санями, ворочаясь въ нихъ. «Тоже, я-чай, сердечный самъ не радъ, что поѣхалъ», думалъ онъ: «отъ такого житья помирать не хочется—не то что нашъ братъ». И всѣ эти воспоминанія и мысли стали переплетаться, мѣшаться въ его головѣ, и онъ заснулъ.

Когда-же Василій Андреичъ, садясь на лошадь, покачнулъ сани, и задокъ, на который Никита упирался спиной, совсѣмъ отдернулся, и его полозомъ ударило въ спину, онъ проснулся и волей-неволей принужденъ былъ измѣнить свое положеніе. Съ трудомъ выпрямляя ноги и осыпая съ нихъ снѣгъ, онъ поднялся, и тотчасъ-же мучительный холодъ пронизалъ все его тѣло. Понявъ въ чемъ дѣло, онъ хотѣлъ, чтобы Василій Андреичъ оставилъ ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться имъ, и закричалъ ему объ этомъ.

Но Василій Андреичъ не остановился и скрылся въ снѣжной пыли. Оставшись одинъ, Никита задумался на минуту, что ему дѣлать. Идти искать жилья онъ чувствовалъ себя не въ силахъ, сѣсть на старое мѣсто уже нельзя было: оно все было засыпано снѣгомъ; въ саняхъ-же, онъ чувствовалъ, что не согрѣться, потому-что ему нечѣмъ было покрыться, его-же кафтанъ и шуба ничего не грѣли его. Ему было такъ холодно, какъ-будто онъ былъ въ одной рубашкѣ. Онъ постоялъ, подумалъ, потомъ вздохнулъ и, не снимая съ головы дерюжку, повалился въ сани на мѣсто хозяина.

Онъ ужался въ комочекъ въ самомъ низу саней, но никакъ не могъ согрѣться. Такъ пролежалъ онъ минутъ пять, дрожа всѣмъ тѣломъ; потомъ дрожь прошла, и онъ понемногу сталъ терять сознаніе. Умиралъ онъ или засыпалъ—онъ не зналъ, но чувствовалъ себя одинаково готовымъ на то и на другое. Велитъ Богъ проснуться еще живымъ здѣсь въ этомъ мірѣ и по-прежнему жить въ работникахъ, убирать все тѣхъ-же чужихъ лошадей, ѣздить съ чужой рожью на мельницу, все такъ-же загуливать и зарекаться и такъ-же отдавать деньги женѣ и все тому-же бондарю и дожидаться все того-же малаго, — Его святая воля. Велитъ Богъ проснуться въ

иномъ мірѣ, гдѣ будетъ все такъ-же ново и радостно, какъ были новы и радостны здѣсь, въ первомъ дѣтствѣ, ласки матери, игры съ ребятами, луга, лѣса, катанье зимой, и начнется ни на что не похожая, другая, новая жизнь,—Его святая воля. И Никита совершенно потерялъ сознаніе.

VIII.

Между тѣмъ Василій Андреичъ и ногами, и концами повода гналъ лошадь туда, гдѣ онъ почему-то предположилъ лѣсъ и сторожку. Снѣгъ слѣпилъ ему глаза, а вѣтеръ, казалось, хотѣлъ остановить его, но онъ, нагнувшись впередъ и безпрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мѣшавшей ему сидѣть холодной убитой гвоздиками сѣделкой, не переставая гналъ лошадь. Лошадь, хотя съ трудомъ, но покорно шла иноходью туда, куда онъ посылалъ ее.

Минутъ пять онъ ѣхалъ, какъ ему казалось, все прямо, ничего не видя, кромѣ головы лошади и бѣлой пустыни, и ничего не слыша, кромѣ свиста вѣтра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдругъ передъ нимъ зачернѣлось что-то. Сердце радостно забилось въ немъ, и онъ поѣхалъ на это черное, уже видя въ немъ стѣны домовъ деревни. Но черное, это было не неподвижно, а все шевелилось и было не деревня, а межа, поросшая торчавшимъ изъ-подъ снѣга высокимъ чернобыльникомъ, сгибаемымъ все въ одну сторону свиставшимъ черезъ него вѣтромъ. И почему-то видъ этого чернобыльника, мучимаго немилосерднымъ вѣтромъ, заставилъ содрогнуться Василья Андреича, и онъ поспѣшно сталъ погонять лошадь, не замѣчая того, что подъѣзжая къ бурьяну онъ совершенно измѣнилъ прежнее направленіе и теперь гналъ лошадь совсѣмъ уже въ другую сторону, все-таки воображая, что онъ ѣдетъ въ ту сторону, гдѣ должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому онъ все время сворачивалъ ее влѣво.

Опять впереди его зачернѣлось что-то. Онъ обрадовался, увѣренный, что теперь это уже навѣрное деревня. Но это была опять межа, поросшая бурьяномъ. Опять такъ-же отчаянно трепался бурьянъ, наводя почему-то страхъ на Василія Андреича. Но мало того, что это былъ

такой-же бурьянъ, подлѣ него шолъ конный, заносимый вѣтромъ слѣдъ. Василій Андреичъ остановился, нагнулся, приглядѣлся: это былъ лошадиный слегка занесенный слѣдъ и не могъ быть ничей иной, какъ его собственный. Онъ, очевидно, кружился и на небольшомъ пространствѣ. «Пропаду я такъ!» подумалъ онъ, но, чтобы не поддаваться страху, онъ еще усиленнѣе сталъ погонять лошадь, вглядываясь въ бѣлую снѣжную мглу, въ которой онъ ничего не видѣлъ, кромѣ изрѣдка показывающихся ему и тотчасъ-же исчезающихъ свѣтящихся точекъ. Разъ ему показалось, что онъ слышитъ лай собакъ или вой волковъ, но звуки эти были такъ слабы и неопредѣленны, что онъ не зналъ, слышитъ-ли онъ что, или это только чудится ему, и онъ, остановившись, сталъ напряженно прислушиваться.

Вдругъ какой-то страшный, оглушающій крикъ раздался около его ушей, и все задрожало и затрепетало подъ нимъ. Василій Андреичъ схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крикъ сталъ еще ужаснѣе. Нѣсколько секундъ Василій Андреичъ не могъ опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя-ли себя, или призывая кого на помощь, заржалъ своимъ громкимъ, заливистымъ голосомъ.

«Тфу ты пропасть, напугалъ какъ проклятый!» сказалъ себѣ Василій Андреичъ.

Но и понявъ истинную причину своего страха, онъ не могъ уже разогнать его.

«Надо одуматься, остепениться», говорилъ онъ себѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ удержаться и все гналъ лошадь, не замѣчая того, что онъ ѣхалъ теперь уже по вѣтру, а не противъ него. Тѣло его, особенно въ шагу, гдѣ оно было открыто и касалось сѣделки, зябло, болѣло и все дрожало. Онъ уже забылъ думать о сторожкѣ и желалъ теперь только одного: вернуться къ санямъ, чтобы не пропасть одному, какъ тотъ чернобыльникъ среди этой ужасной снѣжной пустыни.

Вдругъ лошадь куда-то ухнула подъ нимъ и, завязши въ сугробѣ, стала биться и падать на бокъ. Василій Андреевичъ соскочилъ съ нея, сдернувъ на бокъ шлею, на которую опиралась его нога, и свернувъ сѣделку, за которую держался соскакивая. Какъ-только Василій Андреичъ соскочилъ съ нея, лошадь справилась, рванулась впередъ,

сдѣлала прыжокъ, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась изъ вида, оставивъ Василія Андреича одного въ сугробѣ. Василій Андреичъ бросился за нею, но снѣгъ былъ такъ глубокъ и шубы на немъ такъ тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колѣна, онъ запыхался, сдѣлавъ не болѣе 20 шаговъ, и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки», подумалъ онъ,—«какъ-же это все останется? Что-жь это такое? Не можетъ быть», мелькнуло у него въ головѣ. И почему-то ему вспомнился мотавшійся отъ вѣтра чернобыльникъ, мимо котораго онъ проѣзжалъ два раза, и на него нашолъ такой ужасъ, что онъ не вѣрилъ въ дѣйствительность того, что съ нимъ было. Онъ подумалъ: «не во снѣ-ли все это?»—и хотѣлъ проснуться, но просыпаться некуда было. Это былъ дѣйствительный снѣгъ, который хлесталъ ему лицо и засыпалъ его, и это была дѣйствительная пустыня, та, въ которой онъ теперь оставался одинъ, какъ тотъ чернобыльникъ, ожидая неминуемой, скорой и безсмысленной смерти.

—Царица Небесная, Николай Чудотворецъ, Воздержаніе учителю, вспомнилъ онъ и вчерашніе молебны, и образъ съ чернымъ ликомъ въ золотой ризѣ, и свѣчи, которыя онъ продавалъ къ этому образу и которыя тотчасъ приносили ему назадъ и которыя онъ, чуть обгорѣвшія, пряталъ въ ящикъ. И онъ сталъ просить этого самаго Николая Чудотворца, чтобы онъ спасъ его, обѣщалъ ему молебенъ и свѣчи. Но тутъ-же онъ ясно несомнѣнно понялъ, что этотъ ликъ, риза, свѣчи, священники, молебны, все это было очень важно и нужно тамъ въ церкви, но что здѣсь они ничего не могли сдѣлать ему, что между этими свѣчами, молебнами и его бѣдственнымъ теперешнимъ положеніемъ нѣтъ и не можетъ быть никакой связи.

«Надо не унывать. Надо идти по слѣдамъ лошади, а то и тѣ занесетъ», пришло ему въ голову, и онъ бросился впередъ. Но, несмотря на намѣреніе идти тихо, онъ бѣжалъ, безпрестанно падалъ, поднимался и опять падалъ. Слѣдъ лошади становился чуть замѣтенъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ снѣгъ былъ не глубокъ.—«Пропалъ я», подумалъ Василій Андреичъ,—«потеряю и этотъ слѣдъ». Но въ ту-же минуту, взглянувъ впередъ, онъ увидѣлъ что-то черное. Это былъ Мухортый, и нетолько одинъ Мухортый, но и сани, и оглобли. Мухортый со сбитой на бокъ сѣделкой, шлеей и веретьемъ стоялъ

теперь не на прежнемъ мѣстѣ, а ближе къ оглоблямъ, и моталъ головой, которую заступленный поводъ притягивалъ ему книзу. Оказалось, что завязъ Василій Андреичъ въ той самой лощинѣ, въ которой они завязли еще съ Никитой, что лошадь вела его назадъ къ санямъ, и что соскочилъ онъ съ лошади не больше 50 шаговъ отъ того мѣста, гдѣ были сани.

IX.

Доваливши́сь до саней, Василій Андреичъ схватился за нихъ и долго стоялъ такъ неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнемъ мѣстѣ Никиты не было, но въ саняхъ лежало что-то, занесенное уже снѣгомъ, и Василій Андреичъ догадался, что это былъ Никита. Страхъ Василья Андреича совершенно прошолъ теперь, и если онъ боялся чего теперь, то только того ужаснаго состоянія страха, который онъ испыталъ на лошади, и въ особенности тогда, когда одинъ остался въ сугробѣ. Надо было во что-бы то ни стало не допустить до себя этотъ страхъ, и чтобы не допустить его, надо было не думать о себѣ, надо было думать о чемъ-нибудь другомъ, надо было дѣлать что-нибудь. И потому первое, что онъ сдѣлалъ, было то, что онъ, ставъ задомъ къ вѣтру, распустилъ шубу. Потомъ, какъ-только онъ немного отдышался, онъ вытряхнулъ снѣгъ изъ сапогъ, изъ перчатокъ, потомъ вновь, туго и низко, какъ онъ подтягивался, когда выходилъ изъ лавки покупать съ возовъ привозимый мужиками хлѣбъ, затянулся кушакомъ, приготовляясь къ дѣятельности. Первое дѣло, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василій Андреичъ и сдѣлалъ это и, освободивъ поводъ, привязалъ Мухортаго опять къ желѣзной скобѣ у передка къ старому мѣсту и сталъ заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, сѣделку и веретье. Но въ это время онъ увидалъ, что въ саняхъ зашевелилось что-то, и изъ-подъ снѣга, которымъ она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно съ большимъ усиліемъ, мужикъ приподнялся и сѣлъ, какъ-то странно, точно отгоняя мухъ, махалъ передъ носомъ рукой и говорилъ что-то, какъ показалось Василью Андреичу, призывая его.

Василій Андреичъ оставилъ веретье, не поправивъ его, и подошолъ къ санямъ.

— Чего ты? спросилъ онъ.—Чего говоришь?

— Поми-ми-мираю я, вотъ что, съ трудомъ, прерывистымъ голосомъ выговорилъ Никита.—Зажитое малому отдай. Али бабѣ—все одно.

— А что-жь, али зазябъ? спросилъ Василій Андреевичъ.

— Чую, смерть моя... Прости, Христа ради... сказалъ Никита плачущимъ голосомъ, все продолжая, точно обмахивая мухъ, махать передъ лицомъ руками.

Василій Андреичъ съ полминуты постоялъ молча и неподвижно, потомъ вдругъ, съ той-же рѣшительностью, съ которой онъ ударялъ по рукамъ при выгодной покупкѣ, онъ отступилъ шагъ назадъ, засучилъ рукава шубы, и обѣими руками принялся выгребать снѣгъ съ Никиты и изъ саней. Выгребши снѣгъ, Василій Андреичъ поспѣшно распоясался, расправилъ шубу и, толкнувъ Никиту, легъ на него, покрывая его нетолько своей шубой, но и всѣмъ своимъ теплымъ, разгоряченнымъ тѣломъ.

Заправляя руками полы шубы между лубкомъ саней и Никитой и колѣнками ногъ прихвативъ ея подолъ, Василій Андреичъ лежалъ такъ ничкомъ, упершись головой въ лубокъ передка, и теперь уже не слышалъ ни движеній лошади, ни свиста бури, а только слушалъ дыханіе Никиты. Никита сначала долго лежалъ неподвижно, потомъ громко вздохнулъ и пошевелился, очевидно согрѣваясь.

— А, вотъ то-то, а ты говоришь помирать. Лежи, грѣйся, мы вотъ какъ... началъ-было Василій Андреичъ.

Но дальше онъ, къ своему великому удивленію, не могъ говорить, потому-что слезы выступили на глаза, и нижняя челюсть быстро запрыгала. Онъ пересталъ говорить и только глоталъ то, что подступило ему къ горлу.

«Настращался я, видно, ослабъ вовсе», подумалъ онъ на себя. Но слабость эта его нетолько не была ему непріятна, но доставляла ему какую-то особенную, неиспытанную еще никогда радость.

— Мы вотъ какъ! говорилъ онъ себѣ, испытывая какое-то особенное умиленное торжество. Довольно долго онъ лежалъ такъ молча, вытирая глаза о мѣхъ шубы и подбирая подъ колѣна все заворачиваемую вѣтромъ правую полу шубы.

Но ему такъ страстно захотѣлось сказать кому-нибудь про свое радостное состояніе.

— Микита! сказалъ онъ.

— Хорошо, тепло, откликнулось ему снизу.

— Такъ-то, братъ! Пропалъ-было я. И ты-бы замерзъ, и я-бы...

Но тутъ опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и онъ не могъ дальше говорить.

«Ну, ничего», подумалъ онъ. — «Я самъ про себя знаю, что знаю», и онъ замолкъ.

Нѣсколько разъ онъ взглядывалъ на лошадь и видѣлъ, что спина ея раскрыта и веретье съ шлеею висятъ на снѣгу, что надо-бы встать и покрыть лошадь, но онъ не могъ рѣшиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояніе, въ которомъ онъ находился. Страха онъ теперь не испытывалъ никакого.

Ему было тепло внизу отъ Никиты, тепло и сверху отъ шубы; только руки, которыми онъ придерживалъ полы шубы по бокамъ Никиты, и ноги, съ которыхъ вѣтеръ безпрестанно сворачивалъ шубу, начинали зябнуть. Но онъ не думалъ о нихъ, а думалъ только о томъ, какъ-бы отогрѣть лежащаго подъ нимъ мужика.

— Небось, не вывернется, говорилъ онъ самъ себѣ про то, что онъ отогрѣетъ мужика, съ тѣмъ-же хвастовствомъ, съ которымъ онъ говаривалъ про свои покупки и продажи.

Такъ пролежалъ Василій Андреичъ довольно долго. Сначала въ воображеніи его носились впечатлѣнія метели, оглобель и лошади подъ дугою, трясущихся передъ глазами, и вспоминалось о Никитѣ, лежащемъ подъ нимъ; потомъ стали примѣшиваться воспоминанія о праздникѣ, женѣ, становомъ, свѣчномъ ящикѣ, и опять Никитѣ, лежащемъ подъ этимъ ящикомъ; потомъ стали представляться мужики продающіе и покупающіе, и бѣлыя стѣны и дома крытые желѣзомъ, подъ которыми лежалъ Никита, потомъ все это смѣшалось, одно вошло въ другое, и какъ цвѣта радуги, соединяющіеся въ одинъ бѣлый цвѣтъ, всѣ разныя впечатлѣнія сошлись въ одно ничто, и онъ заснулъ. Онъ спалъ долго безъ сновъ, но, передъ разсвѣтомъ, опять появились сновидѣнія. Представилось ему, что стоитъ онъ будто у свѣчного ящика, и Тихонова баба требуетъ у него 5-тикопѣечную

свѣчу къ празднику, и онъ хочетъ взять свѣчу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты въ карманахъ. Хочетъ онъ обойти ящикъ, и ноги не движутся, а калоши новыя, чищенныя, приросли къ каменному полу и ихъ не поднимешь, и ногъ изъ нихъ не вынешь. И вдругъ свѣчной ящикъ становится не свѣчнымъ ящикомъ, а постелью, и Василій Андреичъ видитъ себя лежащимъ на брюхѣ на свѣчномъ ящикѣ, т.-е. на своей постели въ своемъ домѣ. И лежитъ онъ на постели и не можетъ встать, а встать ему надо, потому-что сейчасъ зайдетъ за нимъ Иванъ Матвѣичъ, становой, и съ Иванъ Матвѣичемъ надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортомъ. И спрашиваетъ онъ у жены:—Что-же, не заходилъ?—Нѣтъ, говоритъ, не заходилъ.—И слышитъ онъ, что подъѣзжаетъ кто-то къ крыльцу. — Должно, онъ. — Нѣтъ, мимо. — Миколавна, а Миколавна, что-жь, все нѣту?—Нѣту.—И онъ лежитъ на постели и все не можетъ встать, и все ждетъ, и ожиданіе это и жутко, и радостно. И вдругъ радость совершается, приходитъ тотъ, кого онъ ждалъ, и это ужь не Иванъ Матвѣичъ становой, а кто-то другой, но тотъ самый, кого онъ ждетъ. Онъ пришолъ и зоветъ его, и этотъ тотъ, кто зоветъ его, — тотъ самый, который кликнулъ его и велѣлъ ему лечь на Никиту. И Василій Андреичъ радъ, что этотъ кто-то пришолъ за нимъ.— Иду! — кричитъ онъ радостно. И крикъ этотъ будитъ его.

Онъ просыпается, но просыпается совсѣмъ уже не тѣмъ, какимъ онъ заснулъ. Онъ хочетъ встать и не можетъ; хочетъ двинуть рукой, не можетъ; ногой—тоже не можетъ. Хочетъ повернуть головой, и того не можетъ. И онъ удивляется, но нисколько не огорчается этимъ. Онъ понимаетъ, что это смерть, и нисколько не огорчается и этимъ. И онъ вспоминаетъ, что Никита лежитъ подъ нимъ, и что онъ угрѣлся и живъ, и ему кажется, что онъ—Никита, а Никита—онъ, и что жизнь его не въ немъ самомъ, а въ Никитѣ. Онъ напрягаетъ слухъ и слышитъ дыханье, даже слабый храпъ Никиты.—«Живъ Никита, значитъ живъ и я»,—съ торжествомъ говоритъ онъ себѣ. И что-то совсѣмъ новое, такое, чего онъ не зналъ во всю жизнь свою, сходитъ на него.

И онъ вспоминаетъ про деньги, про лавку, домъ, покупки, продажи, и про милліоны Мироновыхъ, и ему

трудно понять, зачѣмъ этотъ человѣкъ, котораго звали Василіемъ Брехуновымъ, занимался всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ занимался.—«Что-жъ, вѣдь онъ не зналъ, въ чемъ дѣло», думалъ онъ про Василія Брехунова. «Не зналъ, такъ теперь знаю. Теперь ужь безъ ошибки, *теперь знаю*». И опять онъ слышитъ зовъ того, кто ужь окликалъ его.—Иду, иду! радостно, умиленно говоритъ все существо его. И онъ чувствуетъ, что онъ свободенъ и ничто уже больше не держитъ его.

И больше уже ничего не видѣлъ и не слышалъ и не чувствовалъ въ этомъ мірѣ Василій Андреичъ.

Кругомъ все такъ-же курило. Тѣ-же вихри снѣга крутились, засыпали шубу мертваго Василія Андреича и всего трясущагося Мухортаго и чуть видныя уже сани, и въ глубинѣ ихъ лежащаго, подъ мертвымъ уже хозяиномъ, угрѣвшагося Никиту.

X.

Передъ утромъ проснулся Никита. Разбудилъ его опять начавшій пробирать его спину холодъ. Приснилось ему, что онъ ѣдетъ съ мельницы съ возомъ хозяйской муки и у Ляпина взялъ мимо моста и завязилъ возъ. И видитъ онъ, что онъ подлѣзъ подъ возъ и поднимаетъ его, расправляя спину. Но, удивительное дѣло!—возъ не двигается и прилипъ ему къ спинѣ, и онъ не можетъ ни поднять воза, ни уйти изъ-подъ него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный-же! Видно, вылѣзать надо. «Да будетъ!» говоритъ онъ кому-то, тому, кто давитъ ему возомъ спину.—«Вынимай мѣшки!» Но возъ все холоднѣе и холоднѣе давитъ его и вдругъ стукаетъ что-то особенное, и онъ просыпается совсѣмъ и вспоминаетъ все. Холодный возъ—это мертвый, замерзшій хозяинъ, лежащій на немъ. А стукнулъ—это Мухортый, ударившій два раза копытами о сани.

— Андреичъ, а Андреичъ! осторожно, уже предчувствуя истину, окликаетъ Никита хозяина, напруживая спину.

Но Андреичъ не отзывается, и брюхо его и ноги—крѣпкія и холодныя, и тяжелыя какъ гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!» думаетъ Никита.

Онъ повертываетъ голову, прокапываетъ предъ собою снѣгъ рукою и открываетъ глаза. Свѣтло. Такъ-же свиститъ вѣтеръ въ оглобляхъ, и такъ-же сыплется снѣгъ, съ тою только разницею, что уже не стегаетъ о лубокъ саней, а беззвучно засыпаетъ сани и лошадь, все выше и выше, и движенья и дыханья лошади не слышно больше. «Замерзъ, должно, и онъ», думаетъ Никита про Мухортаго. И дѣйствительно тѣ удары копытъ о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертныя усилія удержаться на ногахъ уже совсѣмъ застывшаго Мухортаго.

— «Господи, Батюшка, видно и меня зовешь», говоритъ себѣ Никита.—«Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двухъ смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорѣе-бы»... И онъ опять прячетъ руку, закрывая глаза, и забывается, вполнѣ увѣренный, что теперь онъ уже навѣрное и совсѣмъ умираетъ.

Уже въ обѣдъ на другой день мужики откопали лопатами Василія Андреича и Никиту, въ 30 саженяхъ отъ дороги и въ полуверстѣ отъ деревни.

Снѣгъ нанесло выше саней, но оглобли и платокъ на нихъ были еще видны. Мухортый, по брюхо въ снѣгу, со сбившимися со спины шлеей и веретьемъ, стоялъ весь бѣлый, прижавъ мертвую голову къ закостенѣлому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндивѣли и тоже обмерзли точно слезами. Онъ исхудалъ въ одну ночь такъ, что остались на немъ кости да кожа. Василій Андреичъ застылъ, какъ мороженная туша и, какъ были у него разставлены ноги, такъ раскорячившись его и отвалили съ Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый ротъ его подъ постриженными усами былъ набитъ снѣгомъ. Никита-же былъ живъ, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, онъ былъ увѣренъ, что теперь онъ уже умеръ, и что то, что съ нимъ теперь дѣлается, происходитъ уже не на этомъ, а на томъ свѣтѣ. Но когда онъ услыхалъ кричащихъ мужиковъ, откапывавшихъ его и сваливавшихъ съ него закоченѣвшаго Василія Андреевича, онъ сначала удивился, что на томъ свѣтѣ такъ-же кричатъ мужики; когда-же понялъ, что онъ еще здѣсь, на этомъ свѣтѣ, онъ скорѣе огорчился этимъ, чѣмъ обрадовался особенно когда почувствовалъ, что у него пальцы на обѣихъ ногахъ отморожены.

Пролежалъ Никита въ больницѣ два мѣсяца. Три

пальца ему отняли, а остальные зажили, такъ-что онъ могъ работать, и еще двадцать лѣтъ продолжалъ жить сначала въ работникахъ, а потомъ подъ старость въ караульщикахъ. Померъ онъ только въ нынѣшнемъ году дома, какъ желалъ, подъ святыми и съ зажженной восковой свѣчкой въ рукахъ. Передъ смертью онъ просилъ прощенья у своей старухи и простилъ ее за бондаря, простился и съ малымъ, и съ внучатами, и умеръ, истинно радуясь тому, что избавляетъ своей смертью сына и сноху отъ обузы лишняго хлѣба, и самъ уже понастоящему переходитъ изъ этой наскучившей ему жизни въ ту иную жизнь, которая съ каждымъ годомъ и часомъ становилась ему понятнѣе и заманчивѣе. Лучше или хуже ему тамъ, гдѣ онъ послѣ этой настоящей смерти проснулся? Разочаровался-ли онъ, или наполъ тамъ то самое, что ожидалъ?—мы всѣ скоро узнаемъ.

ИЗЪ РУССКИХЪ ИЗДАНІЙ.

Повѣсть и романъ г. Боборыкина.—Современный Чацкій.—«Три года» г. Чехова.—Физическая нравственность по г. Вл. Соловьеву.—Личность «русскаго Евклида». — Благотворительное общество сороковыхъ годовъ. — Горячность Толстого. — Неприкосновенность писемъ въ Россіи.

Неутомимый г. Боборыкинъ, по обычаю, начинаетъ свой литературный годъ двумя большими вещами—повѣстью въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» и огромнымъ романомъ въ «Вѣстникѣ Европы». Повѣсть мало интересна: нѣкто, отбившій жену у мужа, убившій мужа на дуэли и отсидѣвшій за это полгода въ крѣпости, начинаетъ мучиться угрызеніями совѣсти, несмотря на любовь женщины, имъ отнятой. Кончается нервностью, умственнымъ разстройствомъ и самоубійствомъ. Гораздо интереснѣе большой романъ г. Боборыкина «Ходокъ». Со-

+ к. 2. : „Живіцу"

держаніе его полно животрепещущаго интереса. Дѣйствіе происходитъ въ Петербургѣ, время—черезъ два года *послѣ* голода, т.-е. приблизительно въ наши дни. Графъ Таманцевъ, молодой, красивый, богатый, тронутый народными страданіями во время великаго голода и возмущенный низостью петербургскихъ дѣльцовъ, спекулировавшихъ на этомъ бѣдствіи, бросилъ службу и карьеру и отправился спасать народъ. Черезъ два года онъ является въ Петербургъ уже въ качествѣ «ходока», ходатая по тяжбѣ мужиковъ Муракинской волости съ казною и сосѣдями изъ-за земли. Графъ пылокъ и благороденъ, да притомъ влюбленъ въ княжну Брянскую, которая за время отсутствія успѣла къ нему охладѣть. Холодная эгоистка, княжна втягивается въ кругъ распущенной молодежи и поддается вліянію развратнѣйшаго «миньона» Лушкова. Ткань романа состоитъ изъ переплетающихся сценъ ревности графа Таманцева и его посѣщеній разныхъ вліятельныхъ лицъ, которыхъ онъ старается заинтересовать въ крестьянскомъ дѣлѣ—что ему, по пылкости характера, совершенно не удается. Петербургскій міръ, по описанію г. Боборыкина, былъ занятъ не великимъ разореніемъ мужика—слѣдствіемъ недавняго голода,—а весь ушолъ въ карьеру и пользованіе жизнью. «А здѣсь, милый мой, твои сверстники какъ идутъ въ гору!.. говорилъ Таманцеву дядя генералъ: — Секретарекъ, дѣлопроизводитель — и глядишь, въ сановники пролѣзетъ въ какія-нибудь пять-шесть лѣтъ. Нынче всякій можетъ мечтать изъ капраловъ въ маршала попасть». Въ свѣтскомъ обществѣ устраиваютъ балеты, въ которыхъ, въ трико, какъ простыя танцовщицы, не стыдятся выступать дѣвушки лучшихъ фамилій. Противъ голодающаго крестьянства явилось даже раздраженіе. «Нечего, милый мой, пѣть Лазаря за мужичка, когда только для него все и дѣлается. Дворяне, чиновники, военные, купцы—пусть справляются какъ хотятъ, а мужичокъ особая статья! Да въ него десятки милліоновъ всаживаются, въ бездонную пропасть!.. Довольно мы скорбѣли о мужикѣ. Но пора и честь знать!»—«Честь знать! вспылилъ Таманцевъ: — Да,

вы правы; только такъ надо крикнуть не народу, а всѣмъ, кто здѣсь примостился, ко всей этой камарильѣ, имя-же ей не легіонъ, а тьма!» Понятно, что послѣ подобныхъ рѣзкостей «ходоку» народному приходится брать шапку и уходить домой. Посѣщаетъ онъ своего товарища, Овчинина, мѣтящаго въ министры. И тому онъ выговариваетъ горячую правду: «Вотъ вашъ лозунгъ (всѣхъ, что теперь идетъ въ гору, хочетъ вліянія и власти): «Мы одни проникнуты началами, необходимыми для общаго блага. Западъ намъ не указъ. Западъ если не сгнилъ, то не годится намъ въ менторы. Не нужно намъ его порядковъ. То, что тамъ считается буки-азъ-ба гражданскаго устройства, то намъ не ко двору. Мы—Азія! Мы—Азія!»

— Ты зарапортовался, вдругъ отрѣзалъ Овчининъ.— Кто-же кричитъ это?

— Столпы теперешняго statu quo—вотъ кто, братецъ. Я самъ и отъ чиновниковъ, и отъ земцевъ, и отъ сословныхъ представителей, и отъ свѣдущихъ людей, и отъ газетчиковъ, чувствующихъ подъ собою настоящую почву, слышу этотъ кличъ. Мы — Азія! Европейскихъ затѣй намъ не надо, мы знаемъ, куда мы ведемъ и какъ вести страну. И ты, вѣрно, той-же вѣры въ непогрѣшимость своего мандарината?.. Вы теперь одна клика. И прежніе, тѣ щедринскіе администраторы — ташкентцы изъ ресторана Бореля—были гораздо менѣе опасны, чѣмъ вы, господа. Тѣ были комическими персонами, и вся грамотная Русь такъ и смотрѣла на нихъ. А вы—съ направленіемъ, съ идеей»... «О чемъ здѣсь говорятъ? Что волнуетъ? Назначенія, мѣста, карьера, докладъ.. Докладъ! Вотъ магическое слово! Вотъ альфа и омега!» — Подобными ѣдкими монологами по адресу высшаго и служебнаго свѣта пересыпанъ весь романъ, построенный на мотивъ «Горя отъ ума»: подобно Чацкому, графъ Таманцевъ является къ разлюбившей его, пустой дѣвицѣ и видитъ ее увлекшеюся ничтожнѣйшимъ хлыщомъ, представителемъ ничтожнаго общества, помѣшаннаго на карьерѣ; въ досадѣ за потерю своей героини, новый

Чацкій не щадитъ современныхъ Скалозубовъ и Репетиловыхъ,—и тѣ, конечно, не щадятъ его.

Въ то время какъ второстепенные наши беллетристы, вродѣ гг. Потапенки, Мамина и др., заваливаютъ всѣ журналы своимъ сырьемъ, беллетристы лучшіе остаются вѣрными традиціямъ нашихъ классиковъ: пишутъ немного. Тѣмъ пріятнѣе встрѣтить въ новогоднихъ книжкахъ журналовъ новыя повѣсти гг. Чехова и Короленки, въ мѣстахъ, такъ сказать, «постоянной приписки» этихъ авторовъ: въ «Русской Мысли» и «Русскомъ Богатствѣ». А. П. Чеховъ началъ большой разсказъ «Три года». Молодой купецъ Лаптевъ, изъ старозавѣтной московской семьи, но прошедшій курсъ университета, влюбляется въ дочь провинціальнаго доктора Юлію Сергѣевну. Та къ нему совершенно равнодушна. Онъ неожиданно объясняется съ нею въ любви; она сначала поражена, отказываетъ ему въ рукѣ, но передумавъ ночью, взвѣсивъ свое печальное положеніе у отца-скряги, рѣшается выйти замужъ за Лаптева. Онъ чувствуетъ, что она его не любитъ и идетъ по разсчету; она чувствуетъ, что дѣлаетъ что то нехорошее; но ему отступать уже поздно, а ее гонитъ подъ вѣнецъ «пошлый опытъ»—разсчетъ и желаніе свободы. Послѣ свадьбы молодые тотчасъ ѣдутъ въ Москву; Юлія Сергѣевна знакомится съ свекромъ, купцомъ стараго закала, и съ семьей. Послѣ двухъ ночей, проведенныхъ въ домѣ мужа, она уже считаетъ свое замужество грубой ошибкой, непоправимымъ несчастіемъ. Она пытается развлекаться, ѣздить по Москвѣ, бывать въ театрахъ, оперѣ, концертахъ; около нея появляется свита поклонниковъ. Бѣдный мужъ чувствуетъ, что онъ для нея совсѣмъ чужой, сознаетъ свое одиночество. Особенно горько онъ чувствуетъ это послѣ встрѣчи съ прежней своей «особой», съ которою жилъ, которая его любила страстно и безкорыстно—съ Полиной Николаевной, женой педагога. Онъ не любилъ эту особу—и каялся въ томъ. Въ ткань этой драмы вплетается судьба нѣсколькихъ вводныхъ лицъ: сестры Лаптева,

умирающей отъ рака, мужа этой сестры — широкаго кутилы, измѣнявшаго ей и имѣвшаго двѣ семьи,—друга Лаптева, Кости, дѣлающагося однимъ изъ поклонниковъ Юліи Сергѣевны. И главные и второстепенные персонажи написаны превосходно, по-чеховски; вся картина жизни этихъ неудавшихся, бѣдныхъ и малосильныхъ людишекъ встаетъ какъ живая. Разсказъ читается, по обыкновенію, съ большимъ интересомъ,—но, судя по первой части, не обѣщаетъ выйдти той крупной вещью, которой такъ долго ждутъ отъ Чехова. Работа превосходная, но предметъ ея не самый нужный и значительный: авторъ отвѣчаетъ на какіе-то серьезные, но не главные, не самые важные интересы времени. Это, кажется, органическій недостатокъ большого таланта Чехова.

— — —

Противники Л. Н. Толстого довольно снисходительны къ его абстрактнымъ «заблужденіямъ», но что приводитъ ихъ въ искреннее негодованіе, такъ это его практическая нравственность: физическій трудъ, вегетаріанство, половое воздержаніе, отказъ отъ собственности. Насколько въ нашемъ народѣ всякаго рода аскетизмъ почитается, настолько въ образованномъ обществѣ онъ не въ уваженіи. Между тѣмъ существуютъ глубокія философскія основанія аскетизма какъ дисциплины духа въ цѣляхъ достиженія высшаго изъ благъ—свободы духа, *самообладанія*. Этого интереснаго вопроса касается небольшая статья Вл. С. Соловьева «Аскетическое начало въ нравственности» («Вопросы философіи и психологіи», I, 1895). Статья написана, къ сожалѣнію, слишкомъ академически, но нѣкоторыя ея мѣста любопытны. Авторъ въ началѣ статьи объясняетъ, какъ понимали зло религіозныя системы Востока: Веданта, Санкья и буддизмъ, затѣмъ выясняетъ разницу между *плотью* и *тѣломъ* по библейской терминологіи и приходитъ къ нравственной формулѣ: «Подчиняй плоть духу, насколько это нужно для его достоинства и независимости». «Первою ступенью» въ обузданіи плоти Л. Н. Толстой считаетъ, какъ извѣстно, отказъ отъ

мясной пищи. Вл. С. Соловьевъ совѣтуетъ прежде всего выработать власть надъ дыханіемъ и сномъ; онъ полагаетъ, что начинать духовное совершенствованіе нужно съ привычки дышать носомъ, а не ртомъ. «Дальнѣйшимъ шагомъ будетъ умѣнье удержать всякое дыханіе на болѣе или менѣе продолжительное время. Пріобрѣтенная духомъ власть надъ этимъ органическимъ отправленіемъ несомнѣнно укрѣпляетъ его силы и даетъ твердую точку опоры для дальнѣйшихъ аскетическихъ успѣховъ». Далѣе слѣдуетъ «умѣнье преодолѣвать сонъ и вызывать по своей волѣ пробужденіе—непремѣнное требованіе духовной гигіены». Далѣе слѣдуетъ воздержаніе въ пищѣ и питьѣ, количественное и качественное. Г. Соловьевъ безусловный сторонникъ вегетаріанства, но главнымъ образомъ потому, что «мясо, легче и полнѣе претворяемое въ кровь, скорѣе и сильнѣе повышаетъ энергію плотской жизни». Такъ-какъ его мотивъ отказа отъ мяса не милосердіе къ живымъ тварямъ, а физіологическія свойства мяса, то онъ считаетъ, напримѣръ, «естественнымъ» употребленіе рыбы при постномъ столѣ. Что касается питья, г. Вл. Соловьевъ отвергаетъ употребленіе крѣпкихъ напитковъ, но повидимому, лишь условно. «Вообще вино повышаетъ энергію нервной системы и чрезъ нее психической жизни (?)», — но на низшихъ ступеняхъ духовнаго развитія, гдѣ преобладаютъ плотскіе мотивы, это возбужденіе идетъ на пользу плоти и крайне вредно для духа, такъ что здѣсь необходимо полное воздержаніе «отъ вина и сикера». На болѣе-же высокихъ ступеняхъ нравственной жизни, какія достигались и въ языческомъ мірѣ, напримѣръ, Сократомъ (см. Платоновъ «Пиръ»), энергія организма служитъ болѣе духовнымъ, нежели плотскимъ цѣлямъ, и повышеніе нервной дѣятельности усиливаетъ дѣйствіе духа, а слѣдовательно можетъ быть въ извѣстной мѣрѣ нетолько безвредно, а въ нѣкоторыхъ, исключительныхъ случаяхъ и прямо полезно». «Послѣднею ступенью» въ совершенствѣ служитъ обузданіе половой функціи. Нашъ философъ придаетъ этой формѣ подвижничества *рѣшающее* значеніе. Тутъ г. Соловьевъ совершенно совпадаетъ съ Л. Н. Толстымъ.

«Преобладаніе плоти надъ духомъ всего сильнѣе, ярче и прочнѣе выражается въ плотскомъ соединеніи двухъ лицъ. Недаромъ именно съ этимъ связано непосредственное чувство стыда. Заглушать или извращать это свидѣтельство послѣ многихъ тысячелѣтій внѣшняго и внутренняго развитія, съ высоты утонченнаго ума объявлять хорошимъ то, что простое чувство дикаря уже признало дурнымъ,—вотъ величайшій позоръ для человѣчества и яркое доказательство нашей испорченности». Далѣе г. Соловьевъ категорически утверждаетъ, что «плотское условіе размноженія для человѣка есть зло; въ немъ выражается перевѣсъ безсмысленнаго матеріальнаго процесса надъ самообладаніемъ духа, это есть дѣло противное достоинству человѣка, гибель человѣческой любви и жизни; нравственное отношеніе наше къ этому факту должно быть рѣшительно отрицательное; мы должны стать на путь его ограниченія и упраздненія» и «обязательно для насъ рѣшеніе этому злу (половому акту) не поддаваться» и пр. и пр. Предупреждая банальное въ подобныхъ случаяхъ возраженіе о возможности прекращенія человѣческаго рода, г. Соловьевъ оговаривается, что проповѣдь полового отреченія, какъ-бы ни была она энергична, не въ состояніи ограничить физическое размноженіе.

Не прошло и сорока лѣтъ со смерти нашего великаго геометра Н. А. Лобачевскаго, какъ, по русскому обычаю, утратились почти всѣ воспоминанія о его личной жизни. Тѣмъ интереснѣе тѣ немногія изъ нихъ, которыя изрѣдка попадаются въ печати. Въ «Историческомъ Вѣстникѣ» неизвѣстный авторъ описываетъ свою встрѣчу съ единственнымъ оставшимся въ живыхъ сыномъ Лобачевскаго въ 1893 году. Эта встрѣча произошла въ отдаленномъ Маріинскѣ. Въ то время какъ весь ученый свѣтъ праздновалъ юбилей «новаго Евклида», единственный сынъ этого Евклида доживалъ свои дни въ Сибири, «на грязномъ дворѣ, въ полусгнившей избушкѣ, гдѣ-то надъ погребами, положительно безъ всякой обстановки, видимо въ крайней бѣдности». Сынъ

сообщилъ много интереснаго о жизни отца. Любопытенъ разсказъ, какъ Лобачевскій въ качествѣ профессора (и ректора) экзаменовалъ собственныхъ сыновей студентовъ. «Когда я переходилъ на второй курсъ, я срѣзался изъ дифференціальнаго счисленія, отказавшись отъ перваго билета. Я только успѣлъ взять второй, какъ въ залу вошолъ отецъ, тогда уже сильно недомогавшій. Увидавъ меня у доски, онъ ска[redacted]разъ во-время: сынъ къ [redacted]ъ сильно сконфуженъ
[redacted]лъ на билетъ, путаясь
[redacted]оставивъ L, я совер-
[redacted]ъ меня ободрялъ и
[redacted]ибку. Отецъ дога-
[redacted]и сдѣлалъ мнѣ нѣ-
[redacted]отвѣчалъ наобумъ.
[redacted] влѣпилъ мнѣ еди-
[redacted]запрещены, и невы-
[redacted]университета. Ко
[redacted]молодой профес-
[redacted]да отецъ ушолъ,
[redacted]мена, предложилъ
[redacted]то не переэкзаме-
[redacted]ьные профессора
[redacted]ку 3 и депутат-
[redacted] семью я засталъ
[redacted]ку отца занималъ
[redacted]грюмъ, вся семья
[redacted]одъ, отецъ спро-
[redacted]ь изъ главнаго
[redacted]ницу, и противозаконія онъ не допуститъ. Я объяснилъ о сданномъ экзаменѣ. Тогда отецъ позвалъ меня въ кабинетъ, заперъ двери, закурилъ любимую трубку. Подозвавъ меня къ доскѣ, онъ заставилъ повторить тѣ билеты, на которые я отвѣчалъ послѣ него, и сдѣлавъ мнѣ нѣсколько вопросовъ, распрямилъ свои черныя брови, поцѣловалъ меня и далъ 25 рублей. Вообще во время экзаменовъ брата или моего матушка всегда старалась задержать отца, но не всегда это удавалось»... Другой сынъ Лобачевскаго, переходя на 3-й

курсъ, срѣзался по физикѣ. «Отказавшись отъ перваго билета, братъ только-что хотѣлъ взять второй, какъ отецъ, замѣтивъ это, подошолъ и сѣлъ къ столу. Братъ взялъ другой и тоже незнакомый. «Ваше превосходительство, сказалъ онъ, обратившись къ отцу, я не успѣлъ прочесть четырехъ, и къ несчастію, два изъ нихъ взялъ,— позвольте мнѣ взять третій». — Что-же, вы совсѣмъ не можете отвѣчать на эти билеты? спросилъ отецъ... Нахмуривъ брови и опустивъ голову, онъ ушолъ къ другому столу. Срѣзавшемуся была назначена переэкзаменовка на осень. Когда время пришло, бѣдный студентъ явился проситься въ Казань на экзаменъ. «Тамъ собакъ не гоняютъ, рыбы не удятъ, а ты все лѣто только этимъ и занимался, сурово замѣтилъ отецъ:—какой-же ты хочешь держать экзаменъ? Дуракъ, пошолъ!» Послѣ заступничества матери, онъ вынулъ наконецъ три четвертака, подалъ сыну и проговорилъ: «Мнѣ лошади нужны самому, вотъ тебѣ на дорогу, ступай!» И студенту мать кое-какъ собрала семь рублей и проводила на Волгу. На другой день Лобачевскій объявилъ, что самъ ѣдетъ въ Казань, и такъ-какъ онъ опять срѣзалъ-бы на экзаменѣ сына, то ухитрились, по случаю поломки экипажа, задержать его на три дня. Когда отецъ пріѣхалъ въ Казань, сынъ уже пировалъ съ товарищами счастливое окончаніе экзамена, на полныхъ 5 балловъ. Тогда ученый переложилъ гнѣвъ на милость и выдалъ провинившемуся нѣсколько ассигнацій». Все, что сохранилось въ памяти о Лобачевскомъ, свидѣтельствуетъ о благородствѣ этого геніальнаго человѣка. Конецъ его жизни былъ печаленъ: «Совершенно одинокій, всѣми оставленный, отецъ занялся своей пангеометріей. Слѣпота не позволяла ему писать самому, и подъ его диктовку писали студенты 4 курса Бюрно и профессоръ Больцани. Послѣдній, несмотря на свою ученость, назвалъ сочиненія отца бредомъ сумасшедшаго»...

Помощь несчастнымъ, благотворительность, нигдѣ не принимаетъ такихъ колоссальныхъ размѣровъ, какъ въ странахъ, которыя принято упрекать въ разсудочности

и матеріализмѣ. Благотворительная организація Англіи, Соед. Штатовъ, Германіи просто поражаетъ своей энергіей и обширностью. Отчего-же въ Россіи благотворительность такъ бездѣятельна и слаба? У насъ много и казенныхъ, и частныхъ благотворительныхъ обществъ, но ихъ вліяніе на судьбу обездоленныхъ классовъ почти незамѣтно. Разрѣшеніе этой загадки можно почерпнуть въ исторіи крайне интереснаго благотворительнаго общества, о которомъ разсказывается въ «Запискахъ В. А. Инсарскаго», въ «Русской Старинѣ». Въ 1846 г. среди петербургской аристократіи возникла мысль устроить общество богатыхъ людей для разумной помощи бѣднымъ; иниціаторомъ былъ графъ Соллогубъ, «въ то время знаменитый левъ». Принципъ общества былъ тотъ, что помогать слѣдуетъ не иначе, какъ вполнѣ познакомившись съ нуждою просителя и по изслѣдованіи, какой способъ помощи будетъ всего полезнѣе. Члены-благотворители жертвовали, члены-посѣтители (взносъ 15 р.) обязаны были хоть одинъ разъ въ мѣсяцъ быть въ распоряженіи правленія и по указанію его посѣщать бѣдныхъ, и наконецъ, члены-распорядители составляли правленіе. Предсѣдателемъ былъ избранъ знаменитый князь Одоевскій. «Все, что было замѣчательнаго и умнаго въ Петербургѣ, принадлежало обществу; весь аристократическій міръ стоялъ въ его спискахъ; не было ни одного литератора или журналиста, который не былъ-бы членомъ общества; большая часть гвардіи спѣшила пріобрѣтать это скромное, но въ то-же время самое модное званіе; финансовыя знаменитости поддерживали общество, и наконецъ, огромный списокъ членовъ общества украшался именами императорской фамиліи, и первымъ въ числѣ ихъ былъ наслѣдникъ цесаревичъ» (впослѣдствіи императоръ Александръ II). Собранія были многочисленны и блестящи. Многіе члены (и авторъ записокъ) полагали въ благое дѣло всю душу свою; попечитель, герцогъ Лейхтенбергскій, принималъ сердечное участіе въ дѣлахъ правленія и постоянно участвовалъ въ засѣданіяхъ. Изъ другихъ дѣятелей выдавались Хрущовъ, женатый на любимой фрейлинѣ в. кн. Елены Павловны, гоф-

мейстеръ и впослѣдствіи министръ государственныхъ имуществъ Карамзинъ (сынъ историка), литераторы: Лонгиновъ, Панаевъ, Краевскій, Никитенко, Путята, Галаховъ, гр. Соллогубъ (котораго Инсарскій описываетъ, впрочемъ, какъ безнравственнаго человѣка) и пр. Общество имѣло болѣе 300 членовъ, устраивало блестящіе балы-аллегри, концерты, спектакли и «соединяло въ одну дружескую семью» все, что было порядочнаго въ Петербургѣ. Въ результатѣ явился рядъ учрежденій; нѣкоторыя изъ нихъ остались и до сихъ поръ (лѣчебница для приходящихъ); устроенъ былъ, напримѣръ, магазинъ, гдѣ бѣдные ремесленники сбывали свои продукты обществу, а оно заботилось объ ихъ распродажѣ. На попеченіи общества было до 15 тысячъ бѣдныхъ семействъ. Но пробилъ часъ для общества: необыкновенно успѣшная его дѣятельность возбудила подозрѣнія, крайне несправедливыя, какъ увѣряетъ Инсарскій. «Въ связи молодыхъ, можно сказать, передовыхъ людей съ такою массою бѣдняковъ правительство видѣло возможность государственныхъ потрясеній и начало постепенно вязать насъ по рукамъ и ногамъ...» «Общество рушилось подъ бременемъ ложныхъ подозрѣній... Давленіе сверху началось съ того, что въ одно прекрасное утро грозный императоръ Николай нашолъ неудобнымъ, чтобъ военные люди занимались дѣлами общества, вслѣдствіе чего оно разомъ потеряло почти половину своихъ членовъ... Между ними было много истинно полезныхъ личностей, но для меня было-бы трудно и перечислить всѣхъ достойныхъ и замѣчательныхъ нашихъ членовъ, носившихъ военный мундиръ, и изобразить силу и степень удара, нанесеннаго лишеніемъ ихъ нашему обществу». Въ 1848 г. обществу былъ нанесенъ новый и окончательный ударъ. «Волненія, происшедшія во Франціи, побудили наше правительство зорко оглянуться кругомъ, и оно сочло долгомъ прежде всего прихлопнуть насъ. Въ краснорѣчивомъ рескриптѣ на этотъ предметъ сочиненномъ, сказано было, что дѣятельность наша столь полезна, что удостоилась обратить на себя царское вниманіе и что, въ воздаяніе на-

шихъ заслугъ и добродѣтелей, наше общество присоединяется къ Императорскому человѣколюбивому обществу. Наше общество могло все перенести, только не это!...» Инсарскій краснорѣчиво описываетъ агонію живого общественнаго дѣла, отданнаго подъ ферулу канцелярскихъ людей, которые, несмотря на громадныя казенныя средства, ничего не могли производить, кромѣ пышныхъ бумажныхъ отчетовъ. Назначенный попечителемъ общества великій князь Константинъ Николаевичъ пробовалъ было представлять докладъ о возвращеніи независимости обществу, но «встрѣтилъ самый суровый отказъ». Такъ общество посѣщенія бѣдныхъ и погибло.

Все, что касается жизни и личности гр. Л. Н. Толстого, представляетъ во многихъ отношеніяхъ глубокій интересъ. Любопытны воспоминанія кн. Д. Оболенскаго, въ «Русск. Архивѣ», относящіяся къ началу 70-хъ годовъ. Въ то время гр. Толстой еще не былъ поглощенъ нравственными вопросами, это былъ веселый увлекающійся охотникъ и рѣдкій собесѣдникъ. Его споры съ Самаринымъ иногда длились за полночь и бывали крайне интересны. «Однажды Л. Н. Толстой опоздалъ на сборный пунктъ охоты, который былъ у меня въ Шаховскомъ (имѣніи моемъ, въ 35 вер. отъ Ясной-Поляны), и пріѣхалъ крайне разстроенный: оказалось, что судебный слѣдователь въ это утро допрашивалъ его въ качествѣ обвиняемаго за неосторожное держаніе скота, такъ-какъ его быкъ забодалъ пастуха, и слѣдователь обязалъ Толстого невыѣздомъ изъ Ясной-Поляны, т.-е. отчасти лишилъ его свободы. Какъ человѣкъ горячій, Левъ Николаевичъ былъ крайне возмущенъ дѣйствіями слѣдователя, который всего нѣсколько дней передъ этимъ найденное мертвое тѣло какого-то неизвѣстнаго отвезъ въ ближайшую усадьбу какой-то помѣщицы и сталъ мертваго вскрывать у нея на террасѣ. Левъ Николаевичъ никакъ не могъ успокоиться, ибо считалъ себя страшно стѣсненнымъ подпискою, которую съ него требовали о невыѣздѣ. «Одного ясно-полянскаго крестьянина полтора года слѣдователь продержалъ въ острогѣ по по дозрѣ-

нію въ кражѣ коровы, а послѣ оказалось, что укралъ не онъ, разсказывалъ Левъ Николаевичъ.—Такъ и меня продержатъ теперь годъ! Это безсмысленно, это полнѣйшій произволъ этихъ господъ. Я все продамъ въ Россіи и уѣду въ Англію, гдѣ есть уваженіе къ личности всякаго человѣка».

«Самаринъ живо возражалъ Льву Николаевичу, доказывая, что нетолько смерть человѣка, но и увѣчье, ему причиненное, настолько серьезный фактъ самъ по себѣ, что не можетъ остаться не обслѣдованнымъ со стороны судебныхъ властей, какъ въ данномъ случаѣ. Спорили долго, и кажется, Самаринъ переубѣдилъ Толстого, который, ложась спать, мнѣ сказалъ: «Удивительная способность Самарина успокоивать людей». Но утромъ Л. Н. Толстого опять разсердили. Пріѣхалъ за нимъ нарочный отъ жены. Онъ забылъ, что былъ назначенъ присяжнымъ засѣдателемъ въ Кравивнѣ, гдѣ за неявку его оштрафовали. «Какая нелѣпица: съ одной стороны, обязываютъ невыѣздомъ изъ имѣнія, а съ другой стороны штрафуютъ за непріѣздъ въ то-же время!»

«Чѣмъ-бы ни увлекался графъ Л. Н., продолжаетъ кн. Оболенскій,—все дѣлалъ онъ съ убѣжденіемъ, твердо вѣруя въ то, что дѣлаетъ, а увлекался онъ всегда вовсю. Я помню графа Л. Н. свѣтскимъ человѣкомъ, видалъ его на балахъ, и помню какъ-то его замѣчаніе: «Посмотрите, сколько поэзіи въ бальномъ туалетѣ женщины, сколько изящества, сколько мысли, сколько прелести хотя-бы въ приколотыхъ къ платью цвѣтахъ». Я помню его страстнымъ охотникомъ, пчеловодомъ и садоводомъ; помню его увлеченія сельскимъ хозяйствомъ, сажающаго лѣса и плодовые сады, занятаго коневодствомъ и многимъ другимъ. Мое сближеніе съ нимъ началось еще во время моего студенчества, когда онъ писалъ «Войну и миръ». Мои дѣды были участниками наполеоновскихъ войнъ, и я многіе разсказы той эпохи, слышанные отъ нихъ, сообщалъ Толстому.

«Читалъ Л. Н. Толстой просто, но удивительно хорошо. Разъ только впослѣдствіи слышалъ я его читаю-

щаго стихи. Это было послѣ охоты у меня. Говорили о поэзіи, и Л. Н. сталъ читать намъ еврейскія пѣсни Мея. Читалъ онъ очень вдохновенно и увлекательно. Чѣмъ только не увлекался онъ!»

Эффектная развязка «Ревизора» основана, какъ извѣстно, на нарушеніи почтмейстеромъ почтовой тайны. Сообщивъ объ этомъ значительному обществу, собравшемуся у городничаго, почтмейстеръ, очевидно, не видѣлъ въ своемъ поступкѣ ничего особенно предосудительнаго, и нѣтъ сомнѣнія, что его многочисленные коллеги на всемъ пространствѣ Россійской Имперіи не расходились съ нимъ во взглядахъ. Но *оффиціально* дѣло обстояло иначе: *оффиціально* у насъ уже втеченіе 113 лѣтъ ограждена неприкосновенность почтовой корреспонденціи, какъ это видно изъ небезъинтереснаго очерка «О неприкосновенности почтовой корреспонденціи по русскому законодательству», напечатаннаго въ мартовской книжкѣ «Журнала Юридическаго Общества». Въ 1782 г. было Высочайше повелѣно управляющимъ губерніями наблюдать, «дабы должное къ почтамъ довѣріе нетокмо сохраняемо, но и далѣе распространяемо было, и вслѣдствіе того, чтобы никакая власть или начальство или кто-бы то ни былъ не дерзали открывать писемъ на почтахъ, пересылаемыхъ внутри Имперіи, или-же ихъ удерживать». Потомъ это повелѣніе нѣсколько разъ и подтверждалось и сопровождалось разнаго рода изъятіями. Между прочимъ, любопытныя пререканія возникли между министерствами юстиціи и почтъ и телеграфовъ при введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ 1864 года. Министерство юстиціи, «въ видахъ содѣйствія возможно большему раскрытію преступныхъ дѣяній», настаивало на сообщеніи почтовыми учрежденіями суду разныхъ свѣдѣній о частной перепискѣ. Министерство-же почтъ и телеграфовъ не соглашалось, утверждая, что «такая мѣра безъ существенной для самаго дѣла пользы повела-бы къ неисчислимымъ злоупотребленіямъ, причемъ поколебалось-бы общее довѣріе публики къ почтамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ упалъ-бы и почтовый доходъ». Пререканія эти

кончились Высочайшимъ повелѣніемъ, чтобы отступленія отъ основного принципа неприкосновенности частной корреспонденціи допускались лишь въ видѣ особеннаго исключенія, съ Высочайшаго разрѣшенія, «по важности обстоятельствъ дѣла».

По дѣйствующему закону, вскрытіе почтоваго пакета есть наказуемое, преступное дѣяніе, подъ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы вскрытіе было сдѣлано никѣмъ инымъ какъ почтовымъ чиновникомъ: вскрытіе чужихъ писемъ частными лицами ненаказуемо. Чиновники же почтоваго вѣдомства за выдачу писемъ постороннимъ лицамъ подвергаются лишенію особенныхъ правъ и ссылкѣ въ отдаленныя, кромѣ сибирскихъ, губерніи и тюремному заключенію; за распечатаніе-же чужихъ писемъ почтовому чиновнику грозитъ: если преступленіе сдѣлано изъ простого любопытства—удаленіе отъ должности, если-же съ цѣлью сообщенія кому-либо содержанія письма—тюремное заключеніе.

Такъ обстоитъ дѣло по закону; интересно было-бы, еслибы кто-нибудь изслѣдовалъ вопросъ: насколько ушли мы отъ временъ «Ревизора» въ сближеніи, въ этой области, между закономъ и жизнью.

ИЗЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИЗДАНІЙ.

Новыя вѣянія въ англійскихъ деревняхъ.—Какъ поступаютъ американцы съ индѣйцами.—Медицина и медики въ Соединенныхъ Штатахъ.—Призывъ къ просвѣщенію народа.—Драма Прудона.—Японскія сказки.—Взглядъ Ломброзо на медіумизмъ.—Характеристика Ломброзо, сдѣланная его дочерью.

Въ февральской книжкѣ «Contemporary Review», въ статьѣ «Сельская революція», приведенъ подробный отчетъ о приходскихъ выборахъ, происходившихъ въ Англіи въ декабрѣ прошлаго года и показавшихъ, какой переворотъ произошолъ во взглядахъ сельскаго населенія на качество

представителей его нуждъ. Читатели «Недѣли» уже ознакомлены въ свое время съ порядкомъ и значеніемъ этихъ выборовъ, и мы приводимъ здѣсь только результаты ихъ, выяснившіеся впослѣдствіи. Извѣстно, что выборы по приходамъ распространяютъ самоуправленіе Англіи до самыхъ мелкихъ округовъ и привлекаютъ къ подачѣ голоса и къ представительству всѣхъ, не исключая женщинъ. Судя по процентному отношенію лицъ различныхъ сословій, прошедшихъ на этотъ разъ въ приходскіе совѣты въ графствахъ Англіи и Уэльса, можно предположить, что всего прошло въ нихъ около 15,000 сельскихъ и фабричныхъ рабочихъ. Впрочемъ, авторъ статьи оговаривается, что, дѣля англійскій народъ на рабочихъ и дворянъ, онъ не упускаетъ изъ вида, что эти два класса имѣютъ въ настоящее время только условныя границы. Раздѣленіе это необходимо лишь для того, чтобы дать понятіе о важности настоящаго движенія въ сельскихъ округахъ Англіи,—движенія, подобнаго которому не бывало со временъ Эдуарда II. Въ то время какъ въ нѣкоторыхъ приходахъ въ совѣтъ не прошло ни одного сельскаго работника и лишь двое-трое фабричныхъ рабочихъ, въ другихъ почти всѣ мѣста остались за рабочими. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ поведеніе дворянства, недовольнаго тѣмъ, что власть уходитъ изъ его рукъ, еще болѣе вооружила противъ него общественное мнѣніе. Въ Норфолькѣ, напримѣръ, въ одномъ изъ приходовъ, гдѣ прошли три крестьянина и одинъ грумъ, выбранные въ тотъ-же совѣтъ трое лицъ дворянскаго сословія отказались принять полномочія. Однако, не вездѣ дворянство поступало такъ необдуманно, и въ иныхъ совѣтахъ сидятъ теперь рядомъ и фермеры, и рабочіе, и грумы, и баронеты, и адмиралы. По мнѣнію автора, такіе совѣты обѣщаютъ болѣе практической пользы, чѣмъ если-бы они находились въ рукахъ одного класса. Одна провинціальная газета обрисовываетъ слѣдующимъ образомъ общій характеръ, представленный этими выборами: «Едва-ли когда въ нашихъ деревняхъ происходило такое движеніе. Люди всѣхъ сословій: сквайры, земледѣльцы, фермеры, лавочники, пасторы,—всѣ высказываютъ готовность служить въ новыхъ совѣтахъ и все обѣ-

щаетъ въ будущемъ пробужденіе гражданскаго духа въ нашихъ деревняхъ и сознанія отвѣтственности въ каждомъ человѣкѣ. Это должно влить новые соки въ управленіе дѣлами нашихъ сельскихъ округовъ». Иные указывали на то, что на послѣднихъ выборахъ, въ которыхъ участвовали женщины (въ окружные, попечители и приходскіе совѣты), кандидатокъ въ члены прошло ничтожное число; но авторъ опровергаетъ это показаніе.

Въ американскомъ журналѣ «Forum» помѣщена интересная статья нѣкого Поуэля, знакомящая съ настоящимъ положеніемъ индѣйскихъ племенъ въ Сѣверной Америкѣ. Авторъ, родившійся въ Висконсинѣ, съ дѣтства жилъ среди индѣйскихъ кочевниковъ, наслышался разсказовъ о нихъ отъ сторожиловъ и впослѣдствіи много путешествовалъ по округамъ, въ которыхъ обитаютъ индѣйскія племена. Избравъ изученіе ихъ своею спеціальностью, онъ живалъ въ ихъ кочевьяхъ, бродилъ съ ними по степямъ, изучилъ ихъ языкъ, нравы и миѳы. Въ статьѣ своей въ «Forum» Поуэль показываетъ, что сдѣлано американцами для распространенія просвѣщенія среди индѣйцевъ, и насколько тѣ оказались способными къ цивилизаціи. Онъ удостовѣряетъ, что онъ видѣлъ тысячи индѣйцевъ, перешедшихъ изъ дикаго состоянія въ полу-цивилизованное, а нѣкоторые изъ нихъ (правда, немногіе) усвоили себѣ вполнѣ цивилизованный образъ жизни. Тысячи дикарей, на его глазахъ, обмѣняли свой первобытный костюмъ Адама, съ фантастическими украшеніями изъ перьевъ и мѣховъ, на европейское платье. Молодежь говоритъ по-англійски, тогда-какъ изъ стариковъ лишь немногіе понимаютъ этотъ языкъ; пройдутъ еще одно-два поколѣнія, и онъ вытѣснитъ совсѣмъ разнообразные дикіе жаргоны. То, что враги американцевъ называютъ «вытѣсненіемъ» индѣйцевъ, происходило, по словамъ автора, такимъ образомъ: земли, покупаемыя у индѣйскихъ племенъ, всегда оплачивались щедро, и часть ихъ закрѣплялась за племенемъ. По мѣрѣ развитія цивилизаціи, части земель, закрѣпленныя за индѣйцами, поднимались въ цѣнѣ; многія племена такимъ образомъ сравнительно разбо-

гатѣли и почти всѣ сдѣлались зажиточными. Замѣчательно, что при заключеніи съ индѣйцами договоровъ объ уступкѣ ими земель, они обыкновенно ставили условіемъ учрежденіе у нихъ агентствъ, обученіе ихъ ремесламъ и заведеніе правительственныхъ школъ для ихъ дѣтей. Комиссары, которымъ поручалось вести съ ними переговоры, должны были обѣщать имъ все это, чтобы склонить ихъ на отчужденіе земель. Обѣщанія эти навязали правительству огромные расходы, отъ которыхъ ни одинъ конгрессъ и ни одна партія не считаютъ себя вправѣ отказаться. Другія націи слѣдовали совсѣмъ другой политикѣ въ своихъ отношеніяхъ къ туземнымъ племенамъ и не признавали за ними никакихъ правъ. Это вело къ приниженію и деморализаціи дикарей, тогда-какъ въ Соединенныхъ Штатахъ они сохранили самоуваженіе и не превратились въ нищихъ и разбойниковъ. Они такъ хорошо съумѣли постоять за себя, что несмотря на свою малочисленность (ихъ никогда не было въ Соединенныхъ Штатахъ болѣе 400 000 душъ) получили за свои земли свыше 300 000 000 долларовъ, оставшись при этомъ владѣльцами участковъ, которые въ настоящее время стоютъ дороже, чѣмъ вся принадлежавшая имъ когда-то территорія.

Первыя попытки къ просвѣщенію индѣйцевъ не имѣли успѣха, и первыя школы для нихъ просуществовали не долго. Это многихъ обезкураживало, пока просвѣтители не поняли причины неудачи. Дѣло въ томъ, что индѣйцы—не однородный народъ, говорящій однимъ языкомъ и исповѣдующій одну вѣру, а соединеніе множества племенъ, разнящихся между собою и языкомъ, и культомъ и обычаями. Св. писаніе, переведенное миссіонерами послѣ многолѣтнихъ трудовъ на одно изъ сотни индѣйскихъ нарѣчій, служило только для одного племени. При такихъ условіяхъ, естественно, что ни школы, ни книги не помогали. Первыми шагами къ прогрессу было только сближеніе дикарей съ людьми цивилизованными на почвѣ промышленности и торговли и обученіе индѣйцевъ ремесламъ. Чудеса промышленности производили на нихъ глубокое впечатлѣніе, и они начали учиться механическому труду, расчищавшему постепенно почву для школъ. Когда

все это было понято, система литературнаго и религіознаго просвѣщенія была отложена и замѣнена системой промышленной культуры. Пріучаясь пахать землю, строить дома, прокладывать дороги, улицы и работать на фабрикахъ, индѣйцы пріучались къ осѣдлой жизни и, приходя въ постоянное соприкосновеніе съ цивилизаціей, усвоивали ее себѣ инстинктомъ подражанія.

Взглянемъ теперь на одну изъ отраслей науки у янки,—на медицину. Съ положеніемъ и дѣятельностью людей этой профессіи въ Америкѣ знакомитъ интересная статья Теодора Ланге во «Франкфуртской Газетѣ», имѣвшаго случай, по его словамъ, часто встрѣчаться какъ со многими выдающимися представителями медицины, такъ и съ различными знахарями и «непризнанными» докторами, бѣлыми и неграми, въ различныхъ штатахъ. Въ этой странѣ медицина составляетъ своего рода гешефтъ, который, какъ и всякій другой, рекламируется съ большой затратой изобрѣтательности и денегъ. Конкурренція и въ этой профессіи такъ громадна, что выдвинуться можно только мозоля глаза публикѣ своимъ именемъ и ухищряясь въ рекламированьи. Иные врачи буквально устраиваютъ у себя витрины со своимъ большимъ фотографическимъ портретомъ посрединѣ и съ различными аттрибутами своей спеціальности, а также съ фотографіями паціентовъ до и послѣ лѣченія. Въ большихъ городахъ восточныхъ штатовъ многіе врачи выставляютъ свои портреты даже за витринами эстампныхъ и книжныхъ магазиновъ, рядомъ съ портретами театральныхъ звѣздъ. Газеты переполнены замысловатыми объявленіями вродѣ слѣдующихъ: «Нѣтъ пользы—нѣтъ и платы». Или: «Знайте, что за каждый случай, который мы беремся вылѣчить и не вылѣчиваемъ радикально, мы уплачиваемъ 500 долларовъ неустойки! Деньги внесены въ колумбійскій банкъ въ Чикаго». Во время всемірной выставки въ этомъ городѣ одна мѣстная ассоціація врачей публиковала, что она лѣчитъ отъ всѣхъ болѣзней за три доллара въ мѣсяцъ. Встрѣчаются и такія публикаціи: «Пожилой врачъ, имѣющій ежегодно до 3000 паціентовъ, дешево продаетъ свою практику молодому

врачу». Иные объявляютъ у себя абонементъ на годъ или менѣе. Одинъ врачъ подрядилъ оркестръ играть передъ его окнами въ пріемные часы. Многіе, подобно купцамъ, разсылаютъ свой прейскурантъ съ изложеніемъ своихъ методовъ лѣченія, и не одни шарлатаны прибѣгаютъ къ такимъ мѣрамъ. Что касается гонорара врачамъ, то онъ вообще высокъ въ Америкѣ. Извѣстные врачи дерутъ съ американскихъ плутократовъ огромные куши отъ 10—25,000 долларовъ. Но зато съ американскими докторами можно торговаться. У купцовъ западныхъ штатовъ, на новыхъ мѣстахъ, имъ приходится довольствоваться вмѣсто денегъ различными товарами. Впрочемъ, нерѣдко врачи, сверхъ совѣта, даютъ паціентамъ и лѣкарства, такъ-какъ аптекарское дѣло во многихъ мѣстахъ поставлено крайне ненадежно. Фармацевтами служатъ дрогисты, продающіе у себя, кромѣ аптекарскихъ матеріаловъ, также сигары, спички, гребни, щетки и пр. Американскій способъ подготовленія молодыхъ медиковъ значительно разнится отъ европейскаго. Хотя и тамъ также медицинскій курсъ беретъ въ большинствѣ случаевъ 4—5 лѣтъ, но особой подготовки къ нему не требуется, и лишь въ нѣкоторыхъ университетахъ необходимо широкое общее образованіе, съ исключеніемъ, впрочемъ, греческаго языка, а иногда и латинскаго. Многіе молодые медики, по окончаніи курса, отправляются довершать образованіе въ европейскихъ университетахъ. Въ иныхъ штатахъ доступъ на медицинскіе факультеты такъ легокъ, что въ нихъ попадаютъ простые рабочіе, успѣвшіе скопить своимъ трудомъ необходимую сумму. Есть даже такіе университеты, гдѣ можно купить себѣ докторскій дипломъ, какъ есть врачи, прописывающіе, по соглашенію съ паціентомъ, подъ видомъ лѣкарствъ спиртные напитки въ тѣхъ штатахъ, гдѣ публичная продажа ихъ воспрещена. Несмотря, однако, на эти частныя злоупотребленія, медицинское дѣло въ Америкѣ поставлено вообще хорошо. Особенно славятся американскіе хирурги, отчасти благодаря превосходству ихъ хирургическихъ инструментовъ, которые выписываются и въ Европу. Конкурренція и соперничество не мѣ-

шаютъ американскимъ врачамъ организовываться въ ширныя ассоціаціи, ревностно служащія научнымъ санитарнымъ цѣлямъ. Наконецъ, злоупотребленіямъ и тиводѣйствуетъ еще и то обстоятельство, что бѣд люди, лишившіеся по небрежности или невѣжес врача средствъ зарабатывать свой хлѣбъ, могутъ п влекать его къ суду и требовать отъ него обезпече себя. Такія требованія достигаютъ иногда 1 000 дол ровъ ежегодной ренты или крупнаго капитала, и многихъ случаяхъ суды высказываются въ пользу исп

Въ февральской книжкѣ «Nouvelle Revue» помѣще горячая статья Гектора Депасса, призывающаго свои соотечественниковъ не успокоиваться на томъ, что у сдѣлано для народнаго образованія, и продолжать дѣ просвѣщенія. Въ каждомъ ребенкѣ, которому забы дать образованіе, быть можетъ теряется новый Арх медъ или Ньютонъ. То, что пріобрѣтается въ шко до 12—13 лѣтъ и потомъ быстро забывается, не пр носитъ никакой пользы. Главное—слѣдующіе года, вкл чая года военной службы. Если въ эти года образован не продолжается, для него не сдѣлано ничего, и в надо начинать сначала. Никто не знаетъ, какіе высок умы таятся въ этой массѣ людей, лишонныхъ свѣт просвѣщенія; какія геніальныя изобрѣтенія, быть м жетъ, утрачиваются черезъ это человѣчествомъ. Шко не создаетъ геніальной изобрѣтательности; она толь подготовляетъ для нея почву и орудіе. И чѣмъ пр страннѣе будетъ образованіе въ народѣ, тѣмъ болѣе п лучится шансовъ на то, что изъ среды его выйдут новые Уатты и Эдиссоны, изобрѣтательные и предпріи чивые люди, которые усилятъ производительныя спосо ности страны и усовершенствуютъ способы пользовані ими. Мы живемъ и умираемъ среди вихря поразительных феноменовъ, которыхъ мы не замѣчаемъ, хотя они осаж даютъ насъ со всѣхъ сторонъ. Спектакль природы еш не имѣетъ зрителей. Ей мало Клодовъ Бернаровъ, Па стеровъ, Либиховъ: она хочетъ говорить уму всего чело вѣчества. И какъ она оживетъ и заговоритъ, когда вс

люди будутъ способны понимать ее! Какіе потоки благодѣяній польются на нихъ изъ ея лона! «Образованіе, нетолько начальное, заключаетъ авторъ, но образованіе всей націи, жаждущей свѣта истины,—таковъ долженъ быть планъ политики будущаго. Идеи бережливости, предусмотрительности, взаимности, начинающія такъ успѣшно прививаться къ нашему обществу,—самыя эти идеи могутъ быть правильно поняты и дать хорошіе плоды только у истинно просвѣщеннаго народа».

Въ томъ-же журналѣ напечатанъ сценарій неизданной драмы Прудона «Галилей», идея которой лежитъ въ борьбѣ между разумомъ и вѣрой. Изъ набросанныхъ сценъ важнѣйшая та, въ которой Галилей предстоитъ передъ судомъ инквизиціи. Онъ радъ, что можетъ, наконецъ, оправдаться, онъ полагается на просвѣщенный умъ своихъ судей и излагаетъ имъ, постепенно оживляясь, какъ онъ дошолъ до познанія двухъ величайшихъ силъ въ мірѣ: философіи природы и вѣры. Онъ старается доказать, что при толкованіи извѣстныхъ библейскихъ текстовъ по теоріи Коперника, религія, опирающаяся на науку, пріобрѣтаетъ необычайную степень достовѣрности, исключающую, по его мнѣнію, всякій поводъ къ невѣрію. Но монахи не понимаютъ его; они только пожимаютъ плечами. Прокуроръ церковнаго судилища объясняетъ подсудимому, что его преслѣдуютъ не за то, что онъ занимается науками и философіей и преподаетъ своимъ ученикамъ математику и астрономію. Церковь не врагъ науки. Папа Сильвестръ и кардиналъ Куза раньше Галилея занимались науками безъ всякаго вреда для христіанской вѣры. Послѣдній училъ даже тому самому, что Коперникъ и Галилей выдаютъ за свои открытія. Преслѣдуется Галилей за то, что онъ стремится ввести въ вѣру новый элементъ, способный подорвать ее: элементъ этотъ—философія. Или христіанское ученіе, въ томъ видѣ какъ оно преподавалось до тѣхъ поръ, неистинно, власть церкви не непогрѣшима и должна склониться передъ философіей; или-же христіанское ученіе истинно, и всякая философія, стремящаяся дополнить его, есть чистая ересь,

дьявольское внушеніе. Между вѣрой и наукой не можетъ быть связи; онѣ не соединяются; вся церковная система доказываетъ это, еслибы всѣ другіе доводы оказались недостаточными.

Набрасывая свой сценарій, Прудонъ пересыпаетъ его примѣчаніями, возраженіями самому себѣ, какъ-бы желая предупредить критику. Въ каждой сценѣ замѣчается стараніе придать ей жизнь, движеніе, огонь, что представляло большія трудности въ драмѣ, въ которой любви отведено только второстепенное мѣсто. Въ то-же время авторъ строго придерживается исторической истины. Изъ подлинныхъ писемъ Галилея явствуетъ, что священное судилище обошлось съ нимъ снисходительно. Его не пытали и присудили только къ пожизненному заключенію, которое папа Урбанъ VIII смягчилъ на изгнаніе въ окрестности Флоренціи. Поэтому, въ драмѣ Прудона нѣтъ ни орудій пытки, ни преувеличенныхъ жестокостей духовенства. Пытка, которой подвергается Галилей, есть пытка нравственная. Драматизмъ пьесы заключается въ борьбѣ между догматомъ и сомнѣніемъ, между вѣрой и анализомъ; и драматизмъ дополняется тѣмъ, что Галилей и самъ былъ вѣрующимъ и вѣрилъ въ возможность соглашенія науки съ св. писаніемъ. Но невѣжественные монахи не понимаютъ его, не въ силахъ стать на его точку зрѣнія, и онъ долженъ склониться передъ ихъ слѣпымъ, невѣжественнымъ приговоромъ.

Извѣстно, что духъ и міросозерцаніе народа лучше всего познаются по его миѳамъ и сказкамъ, а въ этомъ отношеніи японскій народъ ближе стоитъ къ европейцамъ, въ особенности къ нѣмцамъ, нежели къ своимъ братьямъ китайцамъ. «Кёльнская Газета», посвятившая фельетонъ японской народной литературѣ, очень напираетъ на этотъ фактъ, въ которомъ она усматриваетъ «сродство» національнаго духа. Сюжеты японскихъ сказокъ, какъ и у другихъ народовъ, взяты изъ міра фантазіи, но въ нихъ преобладаетъ то, что нѣмцы называютъ «gemüthlig», — простые, скромные идеалы жизни, проникнутые духомъ умѣренности

сердечной теплоты. Въ нихъ, какъ и въ европейскихъ миѳахъ, являются вѣдьмы, колдуны, злые духи, чудовища, богатыри и фигурируютъ представители фауны и флоры въ видѣ мыслящихъ существъ. Въ основаніи многихъ японскихъ сказокъ лежатъ тѣ-же миѳологическія представленія и эпическіе взгляды, какъ и въ нѣмецкихъ. Такъ напр. идея сказки о рыбакѣ и его женѣ (Гриммъ) воспроизводится японцами въ четѣ мышей, которая хочетъ выдать дочь свою не иначе, какъ за самое могущественное существо въ мірѣ. Онѣ сватаютъ ее солнцу, тучамъ, вѣтру и стѣнѣ, и наконецъ выдаютъ за такую-же мышь, какъ онѣ сами. Любопытно также совпаденіе японской сказки «Война обезьяны съ крабомъ» съ одной изъ сказокъ Гримма, въ которой курица, пѣтухъ, яйцо, утка, жерновъ, иголка и булавка ѣдутъ на одной телѣгѣ къ злому Корбсу, чтобы наказать его. Его нѣтъ дома; а когда онъ возвращается и хочетъ зажечь огонь, яйцо лопается и залѣпляетъ ему глаза; иголка съ булавкой колютъ его, и онъ бѣжитъ изъ дому; но жерновъ летитъ ему въ голову и убиваетъ его. Въ японской сказкѣ обезьяна нанесла кровную обиду крабу. Чтобы отомстить ей, крабъ вступилъ въ заговоръ съ яйцомъ, пчелой и рисовой ступкой. Они прячутся въ жилищѣ обезьяны въ ея отсутствіе. Обезьяна возвращается и разводитъ въ очагѣ огонь, чтобы заварить себѣ чай. Яйцо лопается прямо ей въ лицо, пчела жалитъ ее, а когда обезьяна бѣжитъ изъ дома, ступка падаетъ ей на голову и убиваетъ ее. И не въ одной этой сказкѣ встрѣчаются такія необъяснимыя аналогіи съ нѣмецкими народными сказками. Ко всему этому нужно прибавить, что въ произведеніяхъ японской народной литературы вообще преобладаютъ изящество вкуса, тонкость чувства и цѣломудріе.

Профессоръ Ломброзо возвращается въ февральской книжкѣ «Nouvelle Revue» къ своей извѣстной теоріи о невропатичности геніальныхъ людей, возбудившей въ свое время такую жаркую полемику. Онъ проводитъ параллель между геніальностью и безсознательнымъ состояніемъ ума, указывая множество примѣровъ аналогій. Возражая

своимъ критикамъ, онъ говоритъ, что новѣйшія изслѣдованія чувства осязанія, площади зрѣнія и уравновѣшенности талантливыхъ людей только укрѣпили его въ прежнихъ заключеніяхъ, которымъ онъ нашолъ подтвержденіе также и въ изслѣдованіяхъ англійскаго невропатолога Майрса. Многія изъ состояній, которыя англійскій ученый называетъ «высшими и безсознательными умственными способностями», объясняются чрезвычайной остротой чувствъ, не выходящей, однако, изъ предѣловъ физическихъ законовъ, какъ напр.: внушеніе, гипнотизмъ; другія-же, напротивъ того, кажутся намъ явленіями неподчиняющимися физическимъ законамъ, какъ напр.: телепатія, ясновидѣніе, предсказанія и т. п. Такія ненормальныя явленія представляютъ не что иное, какъ переходъ нашихъ чувствъ въ ненормальное состояніе, въ сонъ, экстазъ или истерію.

Любопытно, между прочимъ, объясненіе спиритизма въ этой статьѣ: «Пускай люди смѣются надъ медіумическими явленіями, говоритъ Ломброзо,—но кто, какъ я самъ, наблюдалъ ихъ и увѣренъ въ ихъ дѣйствительности, тотъ вправѣ смѣяться надъ невѣрующими. Я видѣлъ, какъ поднимался столъ, какъ опускались вѣсы, какъ перемѣщались на значительное разстояніе тяжелые предметы; я видѣлъ образы, слышалъ звуки. Но такія явленія всегда происходятъ въ присутствіи невропатическаго лица, уже ранѣе обнаруживавшаго склонность къ истеріи, или-же страдающаго травматическимъ поврежденіемъ головы. Такой медіумъ обыкновенно впадаетъ въ экстазъ или въ судорожное состояніе, тѣмъ болѣе серьезное, чѣмъ важнѣе явленіе, которое онъ безсознательно производитъ». Въ объясненіе этихъ явленій, Ломброзо допускаетъ у этихъ медіумовъ, какъ и у людей, подверженныхъ истеріи и гипнозу, усиленное возбужденіе нѣкоторыхъ центровъ, при парализаціи всѣхъ другихъ; эти чрезмѣрно возбужденные центры вызываютъ превращеніе психическихъ силъ, переходящихъ въ силу зрительную или двигательную. Такимъ образомъ, мозговая сила медіума можетъ, напримѣръ, поднимать столъ, дергать за бороду, бить, ласкать, словомъ производить обычныя въ этихъ случаяхъ явленія. Когда происходитъ перемѣ-

щеніе чувствъ, когда подбородокъ или носъ начинаютъ въ истерическомъ состояніи *видѣть* вмѣсто глазъ, мозговой зрительный центръ получаетъ способность видѣть помимо глаза. Ломброзо вмѣстѣ съ другимъ физіологомъ наблюдали это при помощи лупы и спектроскопа у трехъ гипнотиковъ во время сильнаго истерическаго состоянія. Когда гипнотикъ видитъ то, что ему велятъ видѣть, или не видитъ того, чего не велятъ, хотя предметъ находится передъ его глазами, это значитъ, что мозговой центръ замѣстилъ глаза и видитъ или не видитъ вмѣсто нихъ. При передачѣ мысли происходитъ, по мнѣнію Ломброзо, то-же самое. При извѣстныхъ, очень рѣдкихъ условіяхъ, мозговое движеніе, обусловливающее мысль, передается на болѣе или менѣе отдаленное разстояніе. Эта мозговая сила, обладающая способностью передаваться, обладаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и способностью превращаться изъ психической въ механическую.

Интересна характеристика Ломброзо, сообщаемая въ журналѣ «Zukunft» его дочерью. Самые тяжелые годы жизни Ломброзо мало кому извѣстны. Въ молодости онъ просидѣлъ полгода въ крѣпости по подозрѣнію въ участіи въ заговорѣ, потомъ участвовалъ въ кампаніи 1859—60 г. и, наконецъ, взялъ мѣсто врача-психіатра въ пріютѣ душевно-больныхъ въ Павіи. Въ то-же время онъ читалъ лекціи въ университетѣ, переводилъ Молешота и писалъ свое сочиненіе. Жалованья онъ не получалъ ни въ пріютѣ, ни въ университетѣ, а для книги не находилось издателя. Родители его были сами люди небогатые и не могли помогать ему, такъ-что ему нерѣдко случалось завидовать своимъ паціентамъ, обѣдавшимъ каждый день. Онъ питался каштанами и кофе и работалъ по ночамъ надъ переводомъ въ нетопленной комнатѣ. Въ довершеніе несчастія, авторъ былъ недоволенъ переводомъ, и переводчику постоянно приходилось выслушивать выговоры.

Годы матеріальной нужды, наконецъ, миновали, но за ними послѣдовали новыя непріятности, въ особенности по поводу эпидемической болѣзни, называемой «пеллагрой». Болѣзнь эта свирѣпствуетъ по всей Италіи и уноситъ много жертвъ. Ломброзо открылъ, что причина ея кроется

не въ климатическихъ условіяхъ, какъ думали ранѣе, а въ употребленіи въ пищу гнилой кукурузы. Много лѣтъ бился онъ, чтобы доказать справедливость своего заключенія,—но все было напрасно. Многіе помнятъ еще, какъ онъ пріѣзжалъ на лекціи съ чернымъ пѣтухомъ подъ мышкой, служившимъ ему для его опытовъ. Онъ давалъ ему ѣсть испорченное кукурузное сѣмя, и послѣ каждой дозы, у пѣтуха становились все замѣтнѣе симптомы пеллагры: дрожь, судороги и пр. Все это называлось шарлатанствомъ. Но несмотря на всѣ эти невзгоды, онъ сохранилъ веселый характеръ и способность дѣтски радоваться всякому удовольствію. Онъ обыкновенно диктуетъ своимъ дочерямъ, заставляя ихъ писать на клочкахъ бумаги, которые онъ въ безпорядкѣ бросаетъ на свой письменный столъ и проводитъ потомъ часть утра въ исканіи и собираніи того, что было написано наканунѣ. На столѣ у него вѣчный безпорядокъ. При этомъ онъ никогда не пишетъ на одномъ мѣстѣ, стараясь сидѣть такъ, чтобы на него падалъ солнечный свѣтъ. Лучше всего ему работается въ солнечное утро, при открытыхъ окнахъ и когда обѣ дочери участвуютъ въ работѣ. Онъ любезно принимаетъ всѣхъ своихъ многочисленныхъ посѣтителей. Его такъ долго игнорировали и осмѣивали, что всякое доказательство его возростающей популярности дѣлаетъ его счастливымъ. Появленіе каждой его книги встрѣчается имъ съ ребяческою радостью. Онъ всюду носитъ томъ съ собою, поглаживаетъ его и не спускаетъ съ глазъ. Такою-же дѣтскою радостью наполняетъ его и полученіе гонорара за свои книги или статьи. Сто франковъ, полученныхъ за литературную работу, доставляютъ ему болѣе удовольствія, чѣмъ тысяча, добытая безъ труда за врачебную консультацію. Онъ скупъ и расточителенъ въ одно и то-же время: плачется, когда въ домѣ разобьютъ стаканъ, и не задумываясь раздаетъ деньги всякому, кто ни попроситъ, даже антипатичнымъ ему людямъ. «Чѣмъ-же онъ виноватъ, что я его терпѣть не могу?» говоритъ онъ въ такихъ случаяхъ. Читая лекціи уже тридцать лѣтъ, онъ тѣмъ не менѣе къ каждой старательно готовится. Онъ чуждъ всякихъ предразсудковъ, не поклоняется авторитетамъ

и интересуется всякой новинкой. Въ 58 лѣтъ онъ сдѣлался страстнымъ велосипедистомъ, вѣритъ въ теорію Броунъ-Секара, увлекается всякими новыми открытіями. Во всемъ, что онъ видитъ, слышитъ, читаетъ, онъ ищетъ фактовъ, доказательствъ для теоріи, интересующей его въ данное время; и замѣтки, которыя онъ постоянно набрасываетъ, служатъ неистощимымъ матеріаломъ для пополненія и развитія его сочиненій. Такъ напримѣръ. книга его о геніальныхъ людяхъ, бывшая въ началѣ простымъ рефератомъ въ нѣсколько страницъ, доведена въ послѣднемъ изданіи до 800 страницъ.

ИЗЪ ЛИТЕРАТУРНАГО МІРА.

Новыя вѣянія въ русскомъ литературномъ мірѣ. — «Литературный домъ».—Заботы о чистотѣ языка.—Передвижныя библіотеки въ Нью-Іоркѣ.—Упадокъ книжной торговли въ Англіи.

Въ нашей литературной жизни какъ-будто замѣчается нѣкоторое оживленіе: оживляется интересъ къ литературѣ вообще и къ дѣятелямъ печати въ особенности. Въ жизни русской печати предчувствуется какъ-бы какое-то обновленіе. По крайней мѣрѣ съ самыхъ различныхъ и неожиданныхъ сторонъ возникаютъ разныя примѣты — отрывочныя и какъ-бы случайныя, но въ совокупности своей уже не имѣющія характера простой случайности. Съ одной стороны являются такіе факты, какъ вниманіе правительства къ печати, милостивое принятіе Государемъ Императоромъ депутаціи отъ «Русскаго литературнаго общества», съ другой—стремленія, возникающія въ средѣ самихъ писателей, стремленія къ упорядоченію своего положенія и своей дѣятельности извнѣ и изнутри; наконецъ, оживляется интересъ даже по отношенію къ орудію литературы, къ той отрасли народной дѣятельности, которая находится во власти литературы,— къ языку. При открытой теперь въ Петербургѣ первой

выставкѣ печатнаго дѣла ожидается скорое открытіе перваго въ Россіи съѣзда представителей печатнаго дѣла, который долженъ заняться многими существенными вопросами технической стороны литературной дѣятельности. Академія наукъ, какъ слышно, завершаетъ въ ближайшемъ будущемъ выработку правилъ своей дѣятельности по распредѣленію Высочайше жалуемыхъ ежегодно 50 тыс.,—хотя при этомъ нельзя не пожалѣть, что академія не поинтересовалась мнѣніемъ нетолько нашихъ литературныхъ коллегій: литературнаго общества и литературнаго фонда,—но и издателей и редакторовъ, этихъ оффиціальныхъ представителей литературной дѣятельности.

Въ числѣ явленій, касающихся литературнаго быта, болѣе всего заслуживаютъ вниманія толки о необходимости литературнаго клуба, неоднократно подымавшіеся въ печати. Дѣятельность существующихъ литературныхъ обществъ или вовсе безплодна, или слишкомъ одностороння и узка, чтобы удовлетворить всѣмъ тѣмъ потребностямъ, какія возникаютъ въ литературномъ быту, разъ признать дѣятелей слова особымъ профессіональнымъ классомъ, имѣющимъ свои особыя задачи и нужды. О созданіи такого литературнаго центра поднялъ недавно вопросъ П. П. Гнѣдичъ. «Мы, писатели, говоритъ онъ, получаемъ сотни тысячъ гонорара въ годъ, а до сихъ поръ не имѣемъ ни своей библіотеки, ни своего книгоиздательства, ни даже комиссіонера-книготорговца». Между тѣмъ, какъ легко это сдѣлать при наличности желанія и энергіи, показываетъ примѣръ даже Финляндіи. «Маленькая дикая Финляндія» съумѣла устроиться такъ, что литературное общество получаетъ ежегодный доходъ съ своей книжной торговли 18 000 марокъ, да изъ казны ему идетъ двадцатилѣтняя субсидія по 10 000 марокъ ежегодно. Кромѣ того, общество обладаетъ превосходнымъ домомъ въ Гельсингфорсѣ, на участкѣ, подаренномъ казною и выстроенномъ на частныя средства. Да разныя частныя лица предоставили въ распоряженіе общества болѣе 200 000 марокъ».

Возможенъ-ли у насъ подобный союзъ разрозненныхъ

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 03667 6115